

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1956

3

---

1956

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 3

Март, 1956 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
А. ХАВИН — Шаги индустрии (Из записок старого журналиста)	3
ПИМЕН ПАНЧЕНКО — Моим героиням, стихи. Перевод с белорусского Якова Хелемского	25
ЯКОВ БЕЛИНСКИЙ — Звёзды. Об стол ударил кепкой храбро... Стихи	27
НИЛ ГИЛЕВИЧ — Из детских лет, стихи. Перевод с белорусского Якова Хелемского	29
ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН — Трудная весна	30
В. ТЕНДРЯКОВ — Саша отправляется в путь, повесть. Окончание	79
ИЗ ЛИРИКИ. Назым Хикмет. Песня. Осень. Перевод с турецкого М. Павловой. ★ Евг. Винокуров. Любимые. ★ Тамара Жирмунская. Ожидание. ★ Евг. Евтушенко. Цельность. ★ Нина Бялосинская. Одиночество. Одно слово. ★ Е. Николаевская. Вдалеке	134
АЛЕКСАНДР БЕК — Жизнь Бережкова, роман. Продолжение	140
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Товарищам. Старик, стихи	177
И. ГОРЕЛИК — Точная позиция, рассказ	180
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ</b>	
А. И. ВЕРЁТЕННИКОВА — Записки земского врача	205
<b>Трибуна писателя</b>	
Н. НОСОВ — Поговорим о поэзии. Заметки сатирика	233
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	240
К. Наумов. Стол-то не круглый! — Н. Гаврюшина. Рассвет над Индией.— Е. Сашенков, Л. Симонян. Только название.	
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. АЖАЕВ — Молодые силы советской прозы	250
МАРК ЩЕГЛОВ — Есенин в наши дни	280
<b>ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ</b>	
М. ПРИЛЕЖАЕВА — По поводу рассказов Перча Зейтуняна	286

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>В. Соколов.</b> Место писателя в жизни. — <b>В. Рымашевский.</b> Трудное начало. — <b>В. Поп.</b> Стихи Дмитрия Вакарова. — <b>Н. Игнатьева.</b> Право любви. — <b>П. Бученков.</b> На пороге жизни. — <b>Ю. Ханютин.</b> Широта и непримиримость.	288
<i>Политика и наука</i>	
Кандидат юридических наук <b>Л. Савинский.</b> Китайские записи. — <b>Вал. Зорин.</b> Новая «Книга фактов о труде». — Член-корреспондент Академии наук СССР <b>А. Трайнин.</b> Особая точка зрения. — Доктор исторических наук <b>С. Утченко.</b> Первый том «Всемирной истории». — <b>Сергей Марков.</b> На плоту через Тихий океан.	301
<b>ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО</b>	
<b>Иракий Андроников.</b> Источник одного недоразумения. — <b>Ф. Белелюбский.</b> Восстание тайпинов и революционная агитация «Современника».	311
<b>РЕПЛИКИ</b>	
<b>Вероника Тушнова.</b> О долголети фильмов. — Художник <b>В. Фаворский.</b> О реставрации храма Василия Блаженного. — Доктор географических наук <b>Э. Мурзаев.</b> О журнале «Вокруг света».	314
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b>	317
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	319

---



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. ХАВИН

★

## ШАГИ ИНДУСТРИИ

(Из записок старого журналиста)

### Красноречивые цифры

**У** каждого человека есть своё сокровище. Один бережёт и гордится своей библиотекой, другой отдаёт часы досуга своему саду, третий возится с кюветками, увеличителями и альбомами фотографий... Моё сокровище уместается в ящике письменного стола. Это записные книжки журналиста, собранные более чем за тридцать лет. Искусственное продолжение непрочной человеческой памяти и вместе с тем постоянный побудитель к размышлениям, которыми всегда так хочется поделиться то ли в беседе, то ли на бумаге.

С чувством большой радости я пополняю своё сокровище. В наше время это стало не так уж просто: слишком много событий, слишком важно каждое из них.

В канун наступившего года, начиная новую книжку, я внёс в неё только несколько цифр:

«1955 год. Валовая продукция всей промышленности СССР превысила уровень 1913 года в 27 раз. Производство средств производства выросло в 60 раз, электроэнергия — в 86 раз, производство продукции машиностроения — больше чем в 160 раз».

Одно из последних мест занимало наше государство по производству электроэнергии. Теперь оно занимает второе место в мире. 29 декабря прошлого года дал промышленный ток первый гидроагрегат Куйбышевской ГЭС, менее чем через месяц — второй агрегат. Эта гидроэлектростанция будет производить в шесть раз больше электроэнергии, чем производилось во всей царской России в 1913 году. А за ней уже поднимаются Братская и Красноярская гидроэлектростанции мощностью 3,2 миллиона киловатт каждая.

Больше чем в 160 раз выросла за годы Советской власти продукция машиностроения, — станového хребта тяжёлой индустрии, базы технического прогресса в народном хозяйстве. Свыше тысячи образцов новых станков освоено и изготовлено нашими станкостроителями. Угольные комбайны. Турбобуры и электробуры в нефтяной промышленности. Мощные землесосные снаряды. Автоматизированные бетонные заводы. Механизированные электропечи ёмкостью свыше 100 тонн для выплавки высококачественных сталей. Паровые турбины мощностью в 200—300 тысяч киловатт на высоких и сверхвысоких параметрах пара. Большая электронная вычислительная машина, совершающая в среднем 7—8 тысяч счётных операций в одну секунду...

Итоги истекшего года — новые огромные успехи в создании материальной базы коммунизма, залог дальнейшего движения вперёд на всех парах.



Я вчитываюсь в Директивы XX съезда партии по шестому пятилетнему плану. Каждый пункт их, каждая цифра окрыляет, будит мысль, вызывает дорогие сердцу воспоминания, толкает к большим обобщениям и выводам. Ярче и убедительнее иных фолиантов свидетельствует этот исторический документ о героическом пути, пройденном страной, народом.

С каким волнением мы в своё время изучали планы великого строительства в первой, второй, третьей пятилетках. Поистине величественными казались они нам. Они и действительно были грандиозны. Но масштабы, темпы нынешнего пятилетия оставляют далеко позади показатели предшествующих пятилеток.

За эти пять лет в народное хозяйство будет вложено почти триллион (990 миллиардов) рублей — цифра астрономическая, которую трудно охватить воображением. Достаточно сказать, что в одном лишь нынешнем году государство вложит в тяжёлую промышленность 96,6 миллиарда рублей — почти столько же, сколько за две первые пятилетки. За один год две пятилетки!

Сорок лет назад наша угольная промышленность не была в состоянии удовлетворить даже скромные тогда потребности страны. А в 1960 году угольная промышленность СССР выйдет на первое место в мире: даст топлива примерно на 23 процента больше, чем в 1954 году добывали все вместе взятые капиталистические страны Европы, больше США.

В 1946 году Центральный Комитет партии поставил перед советским народом задачу исключительной важности: вести развёртывание тяжёлой промышленности такими темпами, чтобы она ежегодно производила до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти.

Директивами XX съезда КПСС определён объём производства на 1960 год — последний год шестой пятилетки — примерно в следующих размерах: чугуна — 53 миллиона тонн, стали — 68,3 миллиона тонн, угля — 593 миллиона тонн, нефти — 135 миллионов тонн.

Люди моего поколения, своими руками претворявшие в жизнь великий план ленинской электрификации, с особенным волнением читают разделы Директив, относящиеся к этой области работ. Единые энергетические системы охватят необъятные пространства Европейской части СССР и Центральной Сибири. Вырастут гигантские гидростанции на Ангаре и Енисее, электростанции-колоссы на Волге, Каме, Днепре, Оби.

Таковы темпы роста в шестой пятилетке.

### Вопрос, поставленный историей

В 1899 году Д. И. Менделеев побывал на Урале. Великий учёный, неутомимый поборник развития фабрично-заводского производства в России предпринял это далёкое по тогдашним временам путешествие для того, чтобы на месте подробно изучить причины упадка горно-металлургической промышленности.

Он побывал на родине русского булата — в Златоусте, поднимался на вершину горы Магнитной, ознакомился с Нижним Тагилом — одним из старейших центров чёрной металлургии, был в знаменитой Мотовилихе, Кизеле. Своё исследование Менделеев закончил проникновенными словами: «Вера в будущее России, всегда жившая во мне, — прибыла и окрепла от близкого знакомства с Уралом».

Учёный предложил широкую программу реконструкции уральской промышленности. Его проект не встретил поддержки со стороны царского правительства, патриотические мысли упали на бесплодную почву.

Антинациональная политика царизма неизбежно вела к дальнейшему разорению страны и народа. Россия всё больше и больше отставала в про-

мышленном развитии, усугублялся кризис в сельском хозяйстве. Наша страна была закабалена иностранным капиталом, превращалась в резерв главных империалистических государств.

Безудержное, всё увеличивающееся участие иностранного капитала сковывало производительные силы России, ограничивало её экономическую независимость. Агенты зарубежных компаний скупали нефтеносные земли Баку, Грозного, Майкопа, овладели месторождениями железных руд Криворожья, углем Донбасса. Правления акционерных обществ, заседавшие в Лондоне, Париже, Брюсселе, Берлине, решали судьбы шахт Горловки и Кадиевки, металлургических предприятий Юзовки и Макеевки. Синдикат «Продуголь», в котором главный тон задавали французские акционеры, искусственно задерживал развитие угольной промышленности, взимая штраф за каждый пуд угля, добытый сверх нормы, установленной синдикатом.

Русская буржуазия держала в своих руках главным образом текстильную и сахарную отрасли промышленности, рекламируя их как «национальные». Капиталисты Крестовниковы, Прохоровы, Коншины, Терещенко даже кичились тем, что на долю этих отраслей приходится до двух третей всей отечественной промышленной продукции, а лишь одна треть — на долю тяжёлой индустрии. В действительности же и лёгкая промышленность находилась в полной зависимости от иностранных концернов. Каждая вторая тонна хлопка, перерабатываемая на русских фабриках, выращивалась на плантациях Индии, Египта, Соединённых Штатов Америки. Расширение посевных площадей под хлопчатником тормозилось из-за отсутствия машин для ирригации, при помощи которых можно было бы увеличить фонд поливных земель в Средней Азии.

В лихую годину первой мировой войны вся Россия, все отрасли народного хозяйства, армия и тыл в одинаковой степени почувствовали, что означает слабость тяжёлой промышленности. В эту войну Россия вступила как отсталая, аграрная страна, целиком зависящая от промышленности Западной Европы. Великая держава, занимавшая одну шестую часть земного шара, производила меньше электроэнергии, чем Япония, Норвегия или даже крохотная Швейцария. В начале нынешнего века в России добывалось угля в 20 раз меньше, чем в США, и почти в 14 раз меньше, чем в Англии.

Царская Россия не вырабатывала ни качественных сталей, ни алюминия, ни автомобилей, ни тракторов. В топках кораблей Балтийского военного флота сжигался кардиффский уголь. Из-за границы ввозились сельскохозяйственные машины, турбины и генераторы, приборы, удобрения, каучук, свинец. Зависимость от других государств не замедлила сказаться во всём её трагизме.

Уже в декабре 1914 года, менее чем через полгода после начала войны, начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Янушкевич телеграфировал военному министру Сухомлинову: «Оба главнокомандующих (фронтами.— А. Х.) прислали такие депеши, что волосы дыбом становятся: «Патроны исчезают». Ещё через два месяца он же телеграфирует: «...По два-три раза в день фронты просят патронов, а их нет. Жутко на душе...» Надо было срочно развёртывать производство снарядов, винтовок, патронов, пушек, пулемётов. Но для этого требовались машины, металл, уголь, электроэнергия, то есть именно та продукция, недостаток которой постоянно сказывался в царской России. Русская армия терпела поражения, фронт отодвигался вглубь страны. Железнодорожный транспорт не справлялся с возросшими перевозками. В 1916 году железным дорогам недоставало двух тысяч паровозов и восьмидесяти тысяч товарных вагонов. А промышленность не могла их дать.

И военные неудачи и хозяйственная разруха внутри страны являлись следствием одного и того же фактора — экономической отсталости России,

низкого уровня тяжёлой промышленности. События тех лет с особой силой показали первостепенную роль, которую играет в жизни народа, в экономике страны производство средств производства. Не на ситце и деревянной сохе, а на металле, машинах, станках, электричестве должно строиться хозяйство, если государство хочет быть сильным, самостоятельным, независимым.

Экономическая и тем самым военная отсталость обязательно приводят к политическому закабалению в самых различных формах. История даёт много примеров, когда огромные страны, не имеющие своей собственной мощной промышленности, становились жертвами агрессивных устремлений иноземных захватчиков. Вспомним Индию, Китай, Индонезию, откуда непрощенные пришельцы, действуя огнём и мечом, выкачивали десятилетиями неисчислимы богатства, обрекая коренное население на голод, нищету, вымирание.

В колониальных и зависимых странах иностранные капиталисты всячески задерживают рост производительных сил, препятствуют развитию тяжёлой промышленности. И не случайно, например, Англия в своё время упорно тормозила создание в Индии чёрной металлургии, машиностроения.

Попытки индустриализировать страну делались и в царской России, преимущественно путём внешних займов, сдачи концессий. Само собой разумеется, что таким путём нельзя было освободить страну от иностранной зависимости, наоборот, это лишь ускорило процесс превращения России в полуколонию.

«...Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически... Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей», — писал В. И. Ленин в сентябре 1917 года.

Чтобы догнать и перегнать в экономическом отношении главные капиталистические государства, требовалось создать собственную могучую тяжёлую индустрию. Только так можно было обеспечить хозяйственную самостоятельность нашей Родины, укрепить её обороноспособность, превратить страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами нужное оборудование.

### **Всенародный подвиг**

Именно этими словами хочется охарактеризовать великий рывок вперёд, когда наш народ, под руководством своей партии следуя по пути, указанному Лениным, в кратчайший срок, менее чем за три пятилетки, сделал страну могущественной индустриальной державой, способной отстоять себя и дать отпор военному нападению любого врага. Нелегко советским людям дался первый в истории человечества опыт строительства социализма.

Перебирая записные книжки времён первых пятилеток с короткими надписями на обложках: «Сталинградский Тракторострой», «Магнитка», «Кузнецк», «Уралмаш», я останавливаюсь на сухих записях, сделанных в котловане, в цехе, в рабочем бараке, и за крючками цифр, за перечнем фамилий встают в памяти картины героических битв народа за новую индустрию — штурмовые ночи и дни, полные беззаветного, самоотверженного труда миллионов людей, нередко плохо одетых, зачастую сытых только хлебом да картошкой, но одушевлённых тем великим порывом, о котором говорил Ленин: «Погибнуть или на всех парах устремиться вперед».

Тяжёлые испытания выпали на долю тех, кто меньше всего думал тогда о себе, отдавая все свои силы для светлой и радостной жизни будущих



поколений. Сколько людей, лучших-из-лучших, целиком посвятили свою жизнь этому благородному делу!

Так пусть же каждый юноша, каждая девушка, встречая на своём жизненном пути ухабы и препятствия, вспомнят о самоотверженном героизме своих отцов и матерей и будут такими же негибаемыми, настойчивыми и упорными в преодолении всех трудностей нашего роста!..

Казалось бы, индустриализация аграрной страны, какой была Россия, требовала невозможного. На геологической карте дореволюционной России большая часть территории была покрыта белыми пятнами. В те времена имели самое смутное представление даже о действительных сокровищах, которые таил в своих недрах Донецкий бассейн, хотя он и разрабатывался уже в течение нескольких десятилетий и являлся единственной угольной базой страны. Не был разведан Кузбасс, ничего не знали об углях Караганды и Воркуты. Железные руды Магнитки, Орско-Халиловского района, Керчи, Горной Шории, ряда других районов не были известны. Соликамские калийные соли, хибинские апатиты также открыты уже при Советской власти. Считалось, что в стране нет сырья для алюминия, о многих месторождениях цветных металлов даже и не подозревали. Нефтеносные земли, по утверждению тогдашних специалистов, исчерпывались лишь узкой полосой на Кавказе.

Лёгкая и пищевая промышленность обычно создаётся в обжитых районах. А тяжёлую промышленность надо было строить у источников сырья — у месторождений угля, руды, нефти. Чаще всего они лежали в сотнях километров от населённых пунктов. Сюда следовало тянуть железные дороги, тут предстояло заново строить города. Только на Урале, в Сибири и Казахстане в годы довоенных пятилеток выросло пятьдесят новых городов.

Две трети всей промышленности сосредотачивалось в районах, составляющих только четыре процента всей территории страны. Огромные области не имели мало-мальски больших заводов и фабрик. В Поволжье, Заповжье, Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии почти не было ни крупной металлургии, ни машиностроения.

Индустриализация страны требовала вовлечения в народнохозяйственный оборот огромных естественных богатств и тем самым коренной перекройки всей экономической географии. Остро стоял вопрос о материальных и людских ресурсах. Но Коммунистическая партия непоколебимо верила в творческие силы народа, была твёрдо уверена в поддержке трудящихся масс.

...Снова и снова я возвращаюсь к своим записям. Москва. Зима 1919 года. Притихшие заснеженные улицы. Дошечка с надписью «остановка трамвая» кажется анахронизмом.

Железные дороги замирали. Каждый второй паровоз ждал ремонта. Нужен был металл, но во всей республике действовала лишь одна небольшая домна в Енакиеве. Угля добывалось мало. Замерзали города, оставались электростанции, всё больше пустели предприятия.

Белые захватили Донбасс. В мае 1919 года в телеграмме ЦК партии Совнаркому Украины говорится о немедленной и поголовной мобилизации рабочих Одессы, Екатеринослава, Николаева, Харькова и Севастополя, чтобы влить подкрепления Южному фронту. Телеграмма заканчивается словами: «Поймите, что без быстрого взятия Ростова гибель революции неминуема». Спустя несколько месяцев Владимир Ильич указывал Реввоенсовету: «Во что бы то ни стало снабдить всех рабочих Урала, особенно Екатеринбургский район, Кизел и другие угольные районы полным запасом необходимого продовольствия».

В далёком Кузбассе двинулись первые поезда по вновь проложенной железной дороге Кольчугино—Прокопьевск, открывшей прокопьевскому

углю путь на металлургические заводы Урала. Строители дороги сумели преодолеть и голод и эпидемию тифа. В самый разгар наступления Деникина в Поволжье выехала экспедиция с заданием наладить добычу сланцев.

Уже в первые месяцы после Великого Октября Советское государство приступило к строительству целой группы больших электростанций. В июле 1920 года в Шатуре была торжественно открыта временная электростанция мощностью 5 тысяч киловатт. Выступая на митинге, М. И. Калинин сказал: «Руками рабочих Шатурского строительства мы закладываем фундамент труда коммунистического строя».

В Москве создаётся Государственная комиссия по электрификации России — ГОЭЛРО. С волнением перечитываешь теперь записи о работах этой комиссии. Вот записи заседания от 17 февраля 1920 года. В них изложены следующие указания В. И. Ленина:

— Главнейшая задача — средства производства для средств производства. Нужно принять во внимание не просто само материальное оборудование, а обдумать, что необходимо иметь для его производства нам самим. Скажем так: в области торфяного производства мы закажем партию троса, одновременно мы должны подумать о заказе станков для производства троса. Надо посмотреть, что мешает поставить самостоятельное производство самих средств производства.

В этих немногих ленинских словах уже дана программа практических действий, план борьбы за индустриализацию, за создание тяжёлой промышленности. Производство средств производства — вот на чём концентрирует внимание Владимир Ильич.

В декабре 1920 года со всех концов страны в Москву съезжались делегаты Восьмого Всероссийского съезда Советов. Они коченели в нетопленных теплушках, пешком добирались по сугробам столичных улиц до Большого театра.

Но все невзгоды пути, все лишения трудных этих лет были позабыты, когда начался съезд.

В. И. Ленин выступил с докладом, и в этом докладе были слова, которыми начинался новый этап жизни народа.

«...Мы должны со всей силой осознать, что наступил переход от военных задач к задачам хозяйственным», — сказал Ленин.

Показывая на небольшую книжку плана ГОЭЛРО, он говорил:

«Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что мне не трудно будет убедить вас в особенном значении этого томика. На мой взгляд, это — наша вторая программа партии. Она нам нужна, как первый набросок, который перед всей Россией встанет, как великий хозяйственный план, рассчитанный не меньше чем на десять лет и показывающий, как перевести Россию на настоящую хозяйственную базу, необходимую для коммунизма».

Г. М. Кржижановский докладывал съезду Советов о плане электрификации. Он называл одну электростанцию за другой, один будущий узел передовой промышленности за другим, и на карте вспыхивали всё новые электрические огни. Завтрашний сияющий день Советской страны встал во всё его величии перед людьми, приехавшими с фронтов, с заводов, из деревень. И это завтра вливало новые силы, напрягало волю к борьбе и труду.

Правда, для того чтобы зажечь огни на этой карте, пришлось на несколько часов прекратить подачу электроэнергии даже в Кремль. Правда, вечером в общежитии приезжих ждали на ужин миниатюрная порция пшённой каши и морковный чай. Но делегаты уже живо представляли себе огни Волхова, Шатуры, Каширы, Днепра и других могучих фабрик электроэнергии, вызывающих к жизни новые гиганты тяжёлой промышленности.

1921 год был очень трудным для страны. По всему Поволжью и примыкающим областям ударила засуха. Она породила страшный голод. Внутри страны зашевелились вражеские силы. И всё же партия неуклонно осуществляла план электрификации, план возрождения и мощного развития промышленности нашей Родины.

### Первые шаги

С точки зрения нынешних масштабов размеры капитального строительства в те годы кажутся скромными. Действительно, даже в 1923—1924 годах, уже в период мирного строительства, во всю промышленность было вложено всего-навсего 245,3 миллиона рублей.

Каждый рубль, выделявшийся на строительство, давался с большим трудом. Его приходилось урывать, отказывая себе в самом необходимом, экономя на всём, даже на школах. Но партия непреклонно вела советский народ к главной цели — ликвидации отсталости, созданию могучей передовой тяжёлой промышленности.

Работой Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) тогда руководил Феликс Эдмундович Дзержинский. Ни одна отрасль индустрии не ускользала от его внимательных глаз. Но особенно много он занимался металлопромышленностью (этим термином объединялись вся металлургия и всё машиностроение).

— Рабоче-крестьянская Россия,— говорил Дзержинский на XIV конференции РКП(б),— разве она может быть другой, как не металлической, как именно такой базой, которая могла бы защитить наше государство и крепко держать октябрьские завоевания?

В стране родился лозунг «СССР должен быть металлическим!», лозунг, над претворением которого в жизнь работал советский народ в последующие годы.

И в те времена немало нашлось близоруких «защитников» лёгкой промышленности, требовавших направлять капиталовложения в первую очередь на производство хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Но партия терпеливо разъясняла, что только тяжёлая индустрия обеспечивает рост лёгкой индустрии.

Для того чтобы создать металлургию, большое машиностроение, нужны были огромные материальные ресурсы. Где их взять? Надо было мобилизовать все силы народа, вскрыть все внутренние резервы.

В марте 1925 года Дзержинский пригласил к себе работников редакции «Торгово-промышленной газеты» (орган ВСНХ). Свыше тридцати лет миновало с тех пор, как происходила эта беседа. Вот записная книжка с наклейкой на чёрной клеёнке: «Ф. Д.» И в памяти оживают все подробности того дня, словно это было только вчера.

Дзержинский был очень своеобразным оратором. Ни одного лишнего жеста. Тихий, ровный голос. Самые простые, казалось бы, обыденные слова. Его выступления походили на беседу. Он как бы думал вслух. Любил цифру, видел за нею большие жизненные явления и умел раскрывать их своим слушателям.

— Я хочу, — сказал Дзержинский, — чтобы вы поняли, что наша газета должна превратиться в орудие непримиримой борьбы за максимальную, суровую бережливость, за режим экономии. Разоблачайте расточительность в любых её формах — идёт ли речь о лишней автомашине, об излишествах в оборудовании начальнических кабинетов, о нежелании претворять в жизнь ценное изобретение или о неправильной организации труда. Покажите, что подлинным героем труда является тот директор, инженер, рабочий, который достигает максимальных результатов с минимальной затратой средств.



Обстановка кабинета Дзержинского, в котором не было ничего лишнего, никаких «украшающих» комнату предметов, аккуратный потёртый френч председателя ВСНХ являлись как бы живым воплощением этих слов.

Со всей страстью своего большого сердца ненавидел Дзержинский бюрократизм.

— Возьмите, — говорил он, и глаза его смеялись, — доклады, которые мной формально подписываются. Казалось бы, не может быть на свете более умного и всезнающего человека, чем Дзержинский. Он пишет доклады о спичках, о золоте, о недрах, он пишет абсолютно обо всём. Нет такого вопроса, по которому Дзержинский не писал бы, а того, кто непосредственно работал над этими документами, не видно. Это и есть, — делал он вывод, — выражение бюрократической системы.

В другой раз он образно показывал, как его запрос проходит через тридцать две инстанции, пока попадёт к непосредственному исполнителю. «А почему бы руководителю не иметь дела с этим исполнителем?» — спрашивал Дзержинский.

В улучшении управления промышленностью, в борьбе с бюрократизмом партия видела один из важнейших источников дополнительных накоплений для строительства тяжёлой промышленности.

### Споры о темпах

Проблема ликвидации хозяйственной отсталости, обеспечения экономической независимости страны, вопросы о путях и темпах промышленного строительства стояли в центре внимания XIV, XV, XVI партийных съездов.

В ряде документов — решениях съездов, постановлениях Центрального Комитета — Коммунистическая партия развернула величественную программу социалистической индустриализации страны. Эти решения, принятые партией, предопределили генеральный путь развития страны на долгие годы.

Разрабатывались варианты пятилетки. Всюду слышались названия новых гигантских заводов, железнодорожных магистралей, промышленных центров. Споры велись не только на совещаниях в ВСНХ или в Госплане, не только в печати, но и в трамваях, в фойе театров, дома за чайным столом.

Всего больше волновал вопрос о том, где взять колоссальные средства, без которых нельзя было осуществить программу невиданного строительства. В 1919 году в Москве вышла нашумевшая тогда книга профессора В. И. Гриневецкого «Послевоенные перспективы русской промышленности». Автор доказывал, что для развития промышленности в течение ближайших десяти—двенадцати лет потребуются вложения в размере 15—20 миллиардов золотых рублей. Так как, по его мнению, страна могла выделить лишь очень небольшую часть этой суммы, то следовал вывод: вся надежда на «варягов» — иностранных капиталистов!

Но, говорилось в книге, с этой задачей «справится, очевидно, не всякий политический режим» и потому, дескать, нужен режим (читай: государственный строй), который «сумел бы обеспечить себе и доверие иностранного капитала».

Советский народ избрал другой путь, путь, указанный Коммунистической партией, тернистый и трудный, но единственно возможный: он строил и построил промышленность собственными силами и средствами.

Основные установки партии на проведение в кратчайшие исторические сроки индустриализации страны подверглись ураганному обстрелу с трибун всевозможных совещаний, со страниц экономических журналов и

газет. Сказывались инерция, косность, привычка к старому, политическая и экономическая близорукость, если не говорить об элементах прямого саботажа. Когда теперь припоминаешь убогую аргументацию, приводившуюся противниками первого пятилетнего плана, то диву даёшься, как могли люди, кичившиеся своими учёными знаниями, прибегать к таким доводам, обнаруживая тем самым полное непонимание законов общественного развития.

Научно-технический совет чёрной металлургии высказался против ускоренного развития металлургии, предрекая, что... металл некуда будет девать. Один из руководителей Главметалла пытался доказывать, что механизация трудоёмких процессов вообще нам не подходит, что в СССР, в отличие от США, ручной труд более выгоден. Другие с пеной у рта утверждали, что предложенная программа строительства металлургических заводов утопична, что потребуется закупить за границей всё необходимое для этого оборудование, что у нас недостаточно своих инженеров, техников, мастеров. На Всесоюзной конференции по машиностроению говорилось и о том, что запроектированный пятилетний план машиностроения нереален, что для его выполнения нужно не пять и не шесть, а восемь и, может быть, даже десять лет. (Как известно, советские машиностроители выполнили первую пятилетку в три года.) Все эти малоубедительные возражения всё же кое-кого тогда смутили. В то же время правые оппортунисты в своей борьбе против партии поспешили использовать всё, что могли. Их влияние отразилось на первых проектах пятилетнего плана. В результате этого три варианта, первоначально разработанные аппаратом ВСНХ, были отвергнуты: они в корне противоречили основной задаче, поставленной XIV съездом партии, — превратить нашу страну из аграрной в индустриальную и вместо того, чтобы ввозить необходимые машины и оборудование, производить их самим.

Бурно протекают заседания планового совещания при Президиуме ВСНХ. Скрещиваются мнения. Идут ожесточённые споры по основным вопросам технической политики, экономики. На председательском месте — Валериан Владимирович Куйбышев.

Он всегда одет одинаково просто — в пиджаке, под которым косоворотка, стянутая ремнём, в высоких сапогах. Вдумчиво слушает выступающих, задаёт вопросы, стремится уточнить детали, помогает формулировать мысль. С особым интересом вслушивается в сообщения людей, пришедших с фабрик и заводов. Бережно отбирает из выступлений в прениях всё ценное, новое. В заключение выступает сам. Выступления Куйбышева направлены своим остриём против любителей тихого житья, против тех, кто пытается застраховать себя большими коэффициентами прочности, старыми «испытанными» методами и нормами. Он едко высмеивает буржуазных экономистов, штудирующих старые учебники, выскивающих исторические «прецеденты» и не сумевших понять лишь одного, а именно, что в результате Октябрьской революции в нашей стране создана новая, социалистическая система хозяйства, с её неисчерпаемыми резервами.

Куйбышев всегда старался использовать каждый факт, каждое конкретное явление, чтобы показать контуры грандиозного здания индустриализации. И это наполняло живым содержанием всю работу, создавало настроение необычайного подъёма. В эти минуты каждый слушавший Куйбышева ощущал себя не только свидетелем, но и участником огромных событий, которые открывают новую эпоху в истории Родины.

Четвёртый, последний вариант пятилетки был принят Президиумом ВСНХ СССР, а потом и Госпланом СССР. XVI партийная конференция постановила одобрить пятилетний план, как план, полностью отвечающий директивам XV съезда партии. V съезд Советов СССР утвердил этот вариант. Пятилетка стала законом.

### Пафос строительства

Предстояло соорудить многие сотни новых больших электростанций, шахт, заводов и фабрик. Но судьбу индустриализации, судьбу страны решали темпы строительства предприятий-гигантов. Сооружение их знаменовало рождение новых отраслей индустрии.

Первые бои за быстрее темпы строительства разгорелись в самом начале пятилетки на берегу Волги, в Сталинграде, на стройке тракторного завода. К тому времени миллионы крестьян решительно вступили на путь коллективизации. Новые колхозы ждали машин, в первую очередь тракторов.

Сначала предполагалось, что завод будет пущен в конце 1931 года, то есть построен примерно за два с половиной года. До этого большие предприятия строились обычно по четыре-пять лет. Однако события, происходившие в деревне, требовали ускорения работ. Строители предложили новый график, рассчитанный на сооружение завода за одиннадцать месяцев.

В июле 1929 года мне пришлось побывать на площадке строительства. Рабочие возводили пока второстепенные, подсобные сооружения — пожарное депо, здание школы ФЗУ. Металлические конструкции, оборудование для основных цехов ещё изготавливались где-то на заводах США.

Предо мной, как будто это было вчера, встают образы молодых инженеров и рабочих-строителей, их сверкающие верой глаза.

— Напишите в газете, — требовали они, — что мы обязательно выполним своё слово: через год сталинградские тракторы будут бороздить колхозные поля.

И хотя разговор происходил в палатке (общежития только строились) и площадка будущего завода представляла почти пустырь, их убеждённость заражала.

И действительно, график был реален. Он строился на жёстких, но обоснованных расчётах. Он не делал никаких скидок ни на зимние морозы, ни на осеннюю непогоду. Более того, Тракторострой потребовал и от американских фирм ускорить выполнение наших заказов на оборудование. Фирмы вынуждены были согласиться.

В сентябре 1929 года из Филадельфии должен был выйти пароход «Эксфорд» с грузом конструкций для СТЗ. Американские грузчики заявили, что они хотят помочь русским рабочим возможно скорее построить тракторный завод и потому не уйдут из порта, пока не окончат погрузку.

В те дни строители Сталинградского тракторного узнали, как много у них друзей во всём мире. Рабочие Детройта прислали коллективу строителей Красное знамя. Исполком Коминтерна писал: «Коммунистический авангард всех стран с восторгом узнаёт о вашей пролетарской клятве выполнить директивы ленинской партии». Название «Сталинградский Тракторострой» получило широкую известность за рубежом, подобно словам «пятилетка», «колхозы».

Теперь уже вся страна знала дату: 16 июня 1930 года. В этот день СТЗ должен войти в строй. И вот в назначенный срок первый новенький трактор выкатился из сборочного цеха завода. Он был отправлен в Москву, в подарок XVI съезду партии. Вагон, в котором находилась машина, был украшен красными знамёнами.

Торжественно встретила столица первенца тракторостроения. Делегации заводов пришли приветствовать дорогого «гостя». Когда трактор медленно двинулся по мосткам из вагона, восторженное «ура!» вырвалось из сотен грудей. А потом трактор прошёл по улицам Москвы. Это было подлинно триумфальным шествием. Прерывалось уличное движение. Люди



выбегали на мостовую. Они окружали трактор, гладили его руль, колёса, корпус.

Советский трактор!

Эта первая машина была символом индустриализации, она олицетворяла великое дело, которое вершил народ.

Одновременно со Сталинградским тракторным вступил в строй другой гигант — Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения, построенный также ударными темпами.

«...На грандиозных стройках Сталинграда и Ростова одержана победа новых, невиданных, подлинно революционных темпов... Отныне, после героического опыта Сельмашстроя и Тракторостроя, уже нельзя работать по-старому», — писал В. В. Куйбышев.

Следующий, 1931 год стал годом героических боёв за темпы по всему фронту строительства. Люди старшего поколения помнят этот год, прошедший под знаком двух цифр — «518» и «1040». Эти цифры означали, что в 1931 году предстояло ввести в эксплуатацию 518 промышленных предприятий и 1040 машинно-тракторных станций.

Рабочий класс всего мира с любовью и гордостью следил за событиями на многочисленных строительных площадках страны Советов. Выдающиеся иностранные журналисты и писатели-коммунисты — в их числе Анри Барбюс, Поль Вайян Кутюрье, Юлиус Фучик — много времени проводили на крупнейших стройках, рассказали своим читателям о героизме строителей. Анри Барбюс сказал, что «о необычайных подвигах, о подлинных сверхчеловеческих усилиях в великом и малом, осуществлённых на огромной советской стройке, можно написать множество эпических поэм». Габриель Пери писал в «Юманите», что «каждое новое предприятие, построенное в СССР, — новая крепость, новая линия окопов, занятая социализмом». Юлиус Фучик свою книгу об СССР назвал: «В стране, где наше завтра уже стало вчерашним днём».

Советские люди хорошо знали сроки пуска гигантов, жили этими датами, высчитывали остающиеся до них недели и дни.

Наступают пусковые дни. 1 октября 1931 года пущены ЗИС, Харьковский тракторный, 1 января 1932 года — Горьковский автозавод.

Очередь за Магниткой. В конце января 1932 года первая домна была готова к пуску. Возникло неожиданное препятствие. Хейвен, президент американской фирмы, консультировавшей строительство, заявил решительный протест: по традиции, установившейся в США, домны не пускают зимой.

Руководство строительства обратилось к Серго Орджоникидзе с просьбой о разрешении пустить домну зимой. После консультации с крупнейшими металлургами нарком санкционировал задувку домны. Пуск был назначен на 31 января.

В ту ночь население Магнитогорска не спало. А в редакциях московских газет то и дело звонил телефон:

— Каковы вести с Магнитки?

Наконец жидкий металл хлынул из лётки.

Невзирая на пургу, самолёт помчал первый слиток магнитогорского металла в Москву — в дар XVII партийной конференции.

Все её участники бурно аплодировали, когда председательствующий Михаил Иванович Калинин высоко поднял первый магнитогорский металл. В стране рождалась большая металлургия.

В первую пятилетку было построено 1500 новых предприятий, среди которых насчитывалось немало крупнейших заводов, занявших первое место в Европе по размерам и по уровню техники. Кроме того, сотни действующих предприятий подверглись коренной реконструкции.

Масштабы строительства в первой пятилетке, казавшиеся тогда грандиозными, значительно скромнее масштабов работ, осуществлённых в последующие пятилетки, но её действительное значение огромно. Первая пятилетка открыла путь индустриальной революции в нашей стране. Замечательная победа советского народа показала всему миру мудрость генеральной линии партии.

### Трудности освоения

Заводы-гиганты были построены. И тогда во весь рост встала задача не менее трудная — освоить новую технику, овладеть сложной передовой технологией.

Один из крупнейших американских специалистов, относившихся к нашей стране благожелательно, посетив Сталинградский тракторный завод, заявил: «Завод-то вы построили, такого завода в Америке нет, но я очень сомневаюсь, что вы его пустите. Не хватит сил. Лучше вам найти у американцев людей, которые вам этот завод пустят».

Многим казалось, что он прав, этот американец.

В январе 1932 года, через полтора года после пуска, завод достиг проектной мощности: стал давать 144 трактора в день. Это примерно шесть машинно-тракторных станций! Первый бой за освоение был выигран.

К этому времени уже уверенно работал и Харьковский тракторный.

Для того чтобы наладить работу доменных печей на Магнитке, туда по зову партии прибыли лучшие доменщики Юга и Урала. Они увидели незнакомые им механизмы. Сложный комплекс доменного хозяйства Магнитки резко отличался от крупнейших и передовых для дореволюционного времени доменных цехов страны. Нелегко было старым металлургам преодолеть свои многолетние навыки.

Все новшества вызывали в них недоверие. Помню, сколько усилий пришлось употребить, чтобы расположить стариков к «пушке Брзиуса». Этот механизм автоматически, не требуя никакого напряжения от рабочих, забивает лётку домны — отверстие, из которого выпускается чугун.

Мастер Усс сказал о пушке:

— Я прожил 54 года, 38 лет работаю на производстве и нигде не видел такого чудища...

Несмотря на то, что пушка Брзиуса была во много раз совершеннее всех других приспособлений, в течение месяца после пуска домны № 1 прекрасная машина бездействовала. Лётку забивали вручную, хотя это требовало огромной затраты физической силы. Даже заводоуправление капитулировало, и в цех был доставлен с одного из старых заводов дряхлый механизм, работать на котором было и тяжело и небезопасно.

Партийной организации не без труда удалось сломить эту приверженность к старому.

Магнитка и Кузнецк представляли собою образец новейшей, наиболее совершенной техники. Однако неровный ход агрегатов, скачки вверх и столь же стремительное падение выплавки металла были характерны для первых лет их работы. Бывало, узнаёшь: сегодня две печи Магнитки дали две тысячи тонн чугуна. Хорошо! Но вот читаешь сообщение из Кузнецка: выплавлено всего-навсего четыреста тонн. Проходит день, и Кузнецк уже выправился, а Магнитка отстала. Ровный, ритмичный ход печей никак не удавался.

Теперь, когда мы оглядываемся назад, причины этой аритмии нетрудно объяснить. Для того чтобы печи выпускали чугун изо дня в день точно по заданному графику, слаженно и дружно должны работать не только сами домны, но и шахты Кузбасса, добывающие коксующийся уголь, железная дорога, по которой он доставляется, заводская электростанция, коксовые батареи, рудник, внутризаводской транспорт,

всё обширное вспомогательное хозяйство. Малейшая заминка в одном из звеньев этого огромного конвейера — а они все осваивались одновременно — уже вынуждала переводить печи на другой режим. Партия приложила немало усилий, чтобы наладить всю эту сложную цепь взаимно связанных и друг на друга влияющих предприятий. Молодые и старые рабочие, работницы, мастера, техники, инженеры, хозяйственники — все проходили трудную школу учёбы в самом процессе освоения.

В 1937 году Советский Союз уже перегнал западноевропейские страны по добыче нефти, железной руды, выплавке меди, выпуску паровозов, размерам общего и сельскохозяйственного машиностроения, тракторостроения. Теперь наше государство целиком покрывало свои потребности в угле, чугуне, ферросплавах, хромите, цинке, тракторах, бокситах, суперфосфате, имело свою промышленность редких металлов, магниевую и так далее.

Работой тяжёлой промышленности в те годы руководил Серго Орджоникидзе. Оперативность, непосредственная связь со стройкой, с заводом — основной стиль его работы. Он добирался до самых отдалённых углов Урала, не раз бывал в Кузбассе, на Кузнецкстрое.

Часто у директора Магнитогорского комбината или Челябинского тракторного, Уралмаша, Харьковского паровозостроительного, Запорожского завода раздавался телефонный звонок. Это нарком. Он спрашивает о положении дел, входит во все подробности, тут же решает возникшие вопросы. Нередко нарком приглашал к телефону начальников цехов, рабочих. Он хранил в памяти имена не только директоров, главных инженеров, крупнейших металлургов заводов, но и начальников цехов, обермастеров. Знал по имени и в лицо многих рабочих. Того же требовал он от всех работников промышленности.

Серго Орджоникидзе органически не терпел писанины, бюрократизма. Он презирал тех, кто, боясь ответственности, стремился прикрыться многочисленными визами. Быстро решал иногда большие дела. Однажды на заседании коллегии мне пришлось наблюдать, как А. В. Винтер написал и передал наркому записку по вопросу, который уже не раз обсуждался и был по существу предreshён, но ещё недоговорён где-то в недрах наркомата:

«Товарищ Серго!

Прошу дать на Волгу 5 млн. руб.

А. В. Винтер».

(Тогда только что был создан Волгострой, которому поручалась разработка проектов волжских гидростанций. Во главе Волгостроя был поставлен А. В. Винтер.)

На этой записке нарком наложил резолюцию:

«Начальнику финансового отдела.

Дать 5 млн. рублей.

С. Орджоникидзе».

И тут же передал её для исполнения.

Выступая на совещаниях, Серго Орджоникидзе обычно не читал по писаному тексту. Перед ним лежала лишь краткая записка, в ней перечислены вопросы, которых он хотел коснуться. Но часто нарком и в эту записку не заглядывал.

Ни тени парадности не было в его речах. Искренняя, горячая забота о деле, о людях, убеждённости в правоте партии передавались слушателям. Его глаза останавливаются на одном, другом, третьем из присутствующих руководителей промышленности. Он подкрепляет свою мысль примерами, фактами, взятыми из практики руководимых ими орга-



низаций, предприятий. Ему не приходится искать материалы. У него в голове неисчерпаемый запас данных о работе заводов и даже цехов. Однако за этой конкретностью, иногда обыденностью фактов, за прозаичностью таких слов, как хозрасчёт, накопления, баланс, себестоимость, слушатели всегда чувствовали, понимали главное, основное — пафос строительства социализма.

У меня записан такой эпизод. Ночная редакция. За окнами вот-вот начнёт светать. Две полосы газеты ушли под пресс. Подписана ещё одна. С первой полосой не ладится: много правки. Выпускающий нервничает, а стрелка часов неумолимо совершает свой путь. График явно под угрозой. Вдруг прибегает Наташа — дежурный секретарь: зовут к кремлёвскому телефону. В этот поздний час мог звонить только один человек. Спешу наверх. Да, у трубки товарищ Орджоникидзе. Он терпеливо ждал у провода. Здравается.

— Уж не знаю, что сказать: доброй ночи или доброго утра!

Его голос звучит радостно:

— Только что,— говорит он,— я узнал, что обе домны Магнитки выдали 1900 тонн. Вот ведь какие молодцы! Дай, пожалуйста, сообщение в номер.

У меня вырывается:

— Товарищ Серго, мы опоздаем! Заново придётся набирать, верстать, сорвём график.

Орджоникидзе не приказывает, он убеждает:

— Ну, что поделаешь, а всё-таки надо дать, да на первую страницу, так, чтобы сразу было видно, да с крупной «шапкой». Это ведь такой большой праздник для всех советских людей!

Терпеливо диктует текст длинного сообщения, заботливо повторяет отдельные слова, то и дело допытывается: «Понятно? Записал?..»

Работники промышленности хорошо знали: нарком всё может простить, но не самоуспокоенность, зазнайство. Как-то на одном из заседаний директор Карабашского медеплавильного завода заявил, что завод перегнал Америку. Серго Орджоникидзе тут же потребовал все материалы. Оказалось, что показатели этого завода вдвое хуже тех, которых достигли лучшие американские предприятия.

— На кой чёрт нам нужно это хвастовство? — обрушился он на директора. — ...Если хотите перегнать Америку, изучите её каждый по своей отрасли, поставьте перед собой эту задачу и перегоняйте по-честному, чтобы по количеству было больше, по качеству было лучше и чтобы по цене было дешевле, чем у них.

Орджоникидзе хорошо понимал, какую трудную работу возложила страна на плечи командиров производства в те годы, когда опыт только накапливался, когда приходилось создавать новые формы управления, планирования, когда вся промышленность проходила ещё трудную школу. Нередко, сурово раскритиковав на заседании коллегии кого-либо из производственников, он в заключение двумя-тремя словами или брошенной затем репликой ободрял его. А ночью звонил в редакцию «За индустриализацию» и просил выбросить из отчёта свои наиболее резкие замечания, объясняя:

— Ведь он, бедняга, очень много работает, всего себя отдаёт делу, а неудачи у каждого могут быть. Он теперь будет стараться больше не повторять этих ошибок. Следовательно, не надо ещё раз его бить.

Но товарищ Серго мог быть и суровым, резким. На заседании коллегии слушался вопрос о выполнении промышленностью заказа сельского хозяйства. Орджоникидзе в зале не было, его вызвали, когда слово получил Шляпников — один из бывших лидеров так называемой «рабочей оппозиции». В то время Шляпников руководил большим главком.

Всё сообщение Шляпникова представляло собой сплошное нытьё. Вместо продуманных предложений о том, что надо сделать, оратор без конца жаловался на недостаток металла, топлива и так далее и тому подобное.

Во время этого выступления вернулся Орджоникидзе. Ему нездоровилось. Кутаясь в шинель, наброшенную на плечи, он слушал Шляпникова. Те, кто сидел вблизи, заметили, как лицо его бледнеет... Наконец он не выдерживает и гневно говорит:

— Если бы я даже и не видел, кто это говорит, я всё равно узнал бы, что это Шляпников. Он не работает, а только коллекционирует жалобы на всевозможные недостатки. Это не руководитель главка, а регистратор жалоб. Такой руководитель только сорвёт дело!

В годы первых пятилеток все силы народа были сосредоточены на создании тяжёлой промышленности. Оборудование, металл, строительные материалы и — что важнее всего — люди в первую очередь направлялись в тяжёлую индустрию. Но уже в процессе своего становления она оснащает передовой техникой все другие отрасли народного хозяйства, выводит их на широкую дорогу.

В 1938 году в колхозах и совхозах страны работало более 483 тысяч тракторов, около 196 тысяч грузовых автомашин, более 153 тысяч комбайнов и сотни тысяч других сельскохозяйственных машин. Их дали наши, советские, тракторные, автомобильные заводы, заводы сельскохозяйственного машиностроения.

Новые железнодорожные магистрали протяжением в несколько тысяч километров связали Сибирь со Средней Азией, пересекли степи Казахстана, малообжитые районы европейского Севера. Рельсы для этих путей прокатили новые рельсо-балочные станы. В четыре раза против дореволюционного времени вырос выпуск паровозов, более чем в три раза — выпуск вагонов. Уже тогда тяжёлая промышленность помогла своему родному брату, железнодорожному транспорту, крепко стать на ноги.

Во много раз увеличился объём вложений в коммунальное хозяйство. В десятках городов впервые проложены трамвайные линии, сети водопровода, канализации. В Москве вошла в строй первая очередь метро.

Опираясь на возросшие сырьевые ресурсы, используя все возможности машиностроения, партия неустанно развивает производство товаров народного потребления. В 1940 году СССР занял второе место в мире по производству хлопка, первое место по его качеству. Реконструированная, оснащённая новым оборудованием, располагающая отечественным сырьём и отечественными красителями, хлопчатобумажная промышленность СССР превысила в 1940 году дореволюционный (1913 год) выпуск тканей на душу населения более чем в полтора раза. Трикотажная промышленность переработала в 1940 году пряжи в 61 раз больше, чем до революции. Производство кожаной обуви выросло в 18 раз. Столь быстрое развёртывание отраслей лёгкой промышленности не было бы возможным, если бы нашей стране приходилось ввозить хлопок и дубители, ориентироваться главным образом на импорт машин и красителей.

Таковыми же темпами развивалась пищевая промышленность. За двенадцать лет, предшествовавших войне, были построены и реконструированы сотни предприятий — мясных, консервных, сахарных комбинатов. Советское судостроение оснастило рыбную промышленность большим паровым и моторным рыболовным флотом. Машиностроение дало оборудование судовым заводам, судоремонтным заводам. На далёкой Камчатке, на Сахалине работали многочисленные машины, доставленные из Ленинграда, Москвы, Харькова. С помощью тяжёлой промышленности были созданы новые отрасли производства, обслуживающие народное потребление, — химико-фармацевтическая, пластических масс.

Любой советский человек — тракторист и доярка, стрелочник и телеграфист, пилот и педагог, рыбак и ткачиха, врач и рабочий — на опыте своём, своего коллектива, своего родного города повседневно ощущал великую преобразующую силу тяжёлой индустрии. Выпускаемые ею машины и оборудование несказанно облегчали труд, создавали все условия для коренного улучшения быта.

В феврале 1931 года И. В. Сталин говорил: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Наш народ совершил подвиг, равного которому не знает история человечества: он пробежал это расстояние за десять лет. Он не только создал тяжёлую промышленность, но при её помощи перевооружил всё народное хозяйство новейшей техникой.

### Испытание войной

Каждый из нас на всю жизнь запомнил те минуты воскресного дня 22 июня 1941 года, когда мы слушали по радио слова В. М. Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

С 23 июня предприятия перешли на военный график работы. На заводы и фабрики вернулись старики пенсионеры, пришли женщины, чтобы заменить своих мужей и братьев, ушедших на фронт.

Подобно тому, как Советская Армия вынесла основную тяжесть борьбы с армиями фашистской Германии и её союзников, так и советской промышленности пришлось противостоять индустрии всех стран порабощённой Европы. Фашистской Германии служили заводы Шнейдера, Крезо и де Венделя, Ситроена и Гочкиса, Фармана и Блерио во Франции, мощные военные заводы Шкода в Чехословакии, металлургия Льежа, Шарлеруа, Монса в Бельгии, алюминий, никель, ферросплавы Норвегии, авиа- и танкостроительные заводы Австрии.

Гитлер поставил перед своими генералами задачу — в полтора-два месяца дойти до Урала. Фашистские головорезы стремились вывести из строя тяжёлую индустрию Советской страны. Они окружили огненным кольцом блокады крупнейший центр машиностроения — Ленинград, захватили Подмосковский угольный бассейн с его мощным центром химической промышленности и энергетики — Сталиногорском. Фашистские войска прорвались к Москве, к родине русской оборонной промышленности — Туле, они овладели Донецким бассейном — цитаделью тяжёлой промышленности.

Но гитлеровская клика не учла того, что теперь советский народ опирался также на могучую индустрию, созданную на Востоке. Арсеналом нашей армии стали Поволжье, Урал, Сибирь, Казахстан, Средняя Азия с их новыми электростанциями, заводами, вновь проложенными железнодорожными магистралями. Эти районы сделались также театром развёртывания крупной промышленности, переместившейся с юга, из центра, из западных областей страны. В течение нескольких месяцев 1300 предприятий перебазировалось на новые места — на Восток.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны Советская Армия имела танков в пятнадцать раз больше, самолётов и артиллерии в пять раз больше, чем в начале войны. В последние три года войны советская промышленность производила ежегодно свыше 30 тысяч танков. Заводы США выпустили за четыре с половиной года 75 тысяч танков, Англия — 83 тысячи танков, бронемашин и тягачей (с начала войны по январь 1944 года).

Опыт Великой Отечественной войны ещё раз подтвердил, что народному хозяйству, располагающему развитой металлургией, машиностроением

ем, углем, нефтью, не страшны никакие трудности. Тяжёлая индустрия обеспечила нам свободу и независимость нашей Родины.

Война показала также, что Советский Союз имеет не только первоклассную технику, но — что не менее важно — вырастил замечательные кадры, в совершенстве овладевшие этой техникой.

### На базе тяжёлой промышленности

Умолкли орудия. Бойцы и офицеры возвращались из рядов Советской Армии и занимали свои трудовые посты. Работы предстояло очень много. Немецко-фашистские захватчики разрушили 31 850 промышленных предприятий, на которых до войны было занято около четырёх миллионов рабочих.

Благодаря огромной помощи молодой металлургии и машиностроения Поволжья, Урала и Сибири уже на четвёртый год после войны возродились, превзошли довоенный уровень металлургия и угольная промышленность Юга, нефтяные промыслы Майкопа, Грозного, Западной Украины. Гиганты машиностроения в Ленинграде, Сталинграде, Харькове подверглись коренному обновлению.

Одновременно на Востоке продолжалось новое строительство, начатое в годы войны. Возникли заводы-двойники: один из них восстановлен в освобождённом районе, другой даёт продукцию за тысячи километров от него, на Востоке. Харьковский тракторный уже работает полным ходом, а в Рубцовске, куда в годы войны было вывезено оборудование Харьковского завода, делает тракторы его двойник — Алтайский тракторный. Рядом с ним вырос завод сельскохозяйственных машин. Выпускает оборудование для чёрной металлургии и угольной промышленности возрождённый Ново-Краматорский завод, а под Москвой, в городе Электросталь, также производит машины завод тяжёлого машиностроения, оснащённый мотолатами и станками, эвакуированными в 1941 году из Краматорска.

Восстанавливались Днепрогэс, электростанции Донбасса, Киева, Харькова. Одновременно на востоке, севере, в центре страны росли новые: Щербаковская — первенец «Большой Волги», далеко в Заполярье — Нивская № 3, Фархадская — в Средней Азии, Храмская и Сухумская — в Грузии. Широко развернулись работы по строительству новых гидроэлектростанций на Свири, Иртыше.

В пятой пятилетке строительство приняло ещё больший размах. Стройки пятой пятилетки преображают лицо целых областей, вносят в экономическую географию нашей страны коренные поправки.

На долю «Второго Баку» теперь приходится 60 процентов всего добываемого в стране жидкого топлива. Богатства Орско-Халиловского района сегодня поставлены на службу народу: новый металлургический завод, построенный в Орске, плавит местную руду. Претворена в жизнь мечта Серго Орджоникидзе об освоении бакальских руд — уже много чугуна дал стране новый Челябинский металлургический завод. В своё время Д. И. Менделеев писал о богатствах Дашкесанского месторождения железных руд, требовал их освоения. Ныне домы первого металлургического завода Грузии плавят чугун на дашкесанском сырье. Республики Закавказья получили недавно собственный металл.

Ранее мало известные города и городки стали центрами различных отраслей машиностроения. Мне рассказывали, что один профессор экономической географии говорил своим ученикам:

— Если вас спросят о любом городе, какая отрасль промышленности в нём развита, но вы не будете знать, отвечайте: машиностроение! И вы не ошибётесь.

Широким фронтом осуществляется сооружение величественного комплекса системы «Большой Волги». Уже в строю мощные узлы на верхней Волге и в Молотове на Каме. Пущена первая очередь гидроэлектростанции в Куйбышеве, в 1956 году даст ток сталинградский колосс. А впереди уже вырисовываются контуры будущих Братской и Красноярской гидроэлектростанций, по своей мощности невиданных в мире. В Советском Союзе работает электрическая станция на атомной энергии мощностью пять тысяч киловатт. Недалеко то время, когда войдут в действие атомные электростанции гораздо более крупные. В конце шестой пятилетки мощность одних лишь атомных электростанций в 2—2,5 раза превысит мощность всех электростанций дореволюционной России.

Мощность сооружаемых сейчас в стране гидроэлектростанций почти втрое превысит мощности всех гидроэлектростанций, действовавших к началу 1954 года. Опыт социалистического строительства показывает: рост энергетических мощностей должен опережать развитие всего народного хозяйства.

В апреле 1954 года в эксплуатацию вступила железнодорожная линия Барнаул—Кулунда — последний участок транспортной магистрали Магнитка—Сталинск, в полтора раза превышающей по длине Турксиб. Вопрос о постройке этой магистрали ставился в 1912 году. В официальном отчёте о результатах изыскания трассы читаем:

«Глухая тайга с массой поваленных ветром стволов, с травами выше человеческого роста без топора летом и осенью непроходима. Нет ни дорог, ни даже троп, по коим можно было бы делать предварительные осмотры местности. А между тем сама местность крайне изрезана частыми, глубокими логами. Колебания отметок поверхности земли так резки и причудливы, что прокладка дороги согласно техническим условиям невозможна».

Да, южносибирскую тайгу топором да лопатой не возьмёшь. Но советская тяжёлая индустрия вооружила строителей бульдозерами, экскаваторами, канавокопателями, путеукладчиками. Ныне огромная новая магистраль уже пересекла Сибирь. Вдоль её трассы выросли новые посёлки, города, совхозы. Строители продолжают путь на восток.

Великая сибирская река Лена... С нею ассоциируется представление о бесконечно далёком и необжитом крае. Эти представления уже давно устарели. Теперь магистраль Тайшет—Братск—Усть-Кут—Лена надёжно связала весь этот край с центральными районами. Перед ним открываются новые горизонты.

В 1932 году автомобильная промышленность СССР выпустила всего лишь... 34 легковые машины. Ныне советский автомобиль проник вглубь самых отдалённых районов. Общая сеть постоянно действующих линий автобусного движения достигла 170 тысяч километров.

Советский Союз, имеющий развитую тяжёлую промышленность, занимает почётное место в мировой торговле. На полях стран народной демократии и ряда других государств работают советские тракторы. Автомобили советских заводов можно видеть на дорогах Голландии, Бельгии, Швеции, Норвегии, Египта. СССР стал крупным поставщиком металло-режущих станков. Во многих странах мира теперь знают заводские марки десятков предприятий тяжёлой промышленности СССР.

Индустриализация подняла нашу Родину на вершину экономической мощи. «Советская страна,— сказал Н. С. Хрущёв в отчётном докладе ЦК КПСС XX съезду партии,— находится сейчас на крутом подъёме. Если образно говорить, мы поднялись на такую гору, на такую высоту, откуда уже зримо видны широкие горизонты на пути к конечной цели — коммунистическому обществу».

Советская промышленность завершила пятую пятилетку за восемь месяцев до срока. Второе превзойдён довоенный уровень производства.

Владимир Ильич Ленин учил, что неперменным условием расширенного социалистического воспроизводства является более быстрое развитие производства средств производства по сравнению с производством предметов потребления. Руководствуясь этим ленинским положением, наша партия неуклонно проводит линию на преимущественное развитие тяжёлой промышленности — основы могущества СССР, источника постоянного роста благосостояния трудящихся.

«Достигнутый уровень развития общественного производства, — указывается в Директивах XX съезда КПСС по шестой пятилетке, — даёт возможность Советскому государству быстрыми темпами развивать не только производство средств производства, которое было и остаётся неизбежной основой всего народного хозяйства, но и производство предметов народного потребления, значительно умножить общественное богатство и тем самым ещё дальше продвинуться вперёд по пути строительства коммунистического общества в нашей стране».

Огромные, пока что не использованные производственные резервы могут и должны быть поставлены на службу народу — в первую очередь за счёт ускорения темпов дальнейшего технического прогресса во всех отраслях промышленности.

Тот небывалый прирост продукции, который намечается в шестой пятилетке, в значительной мере должен быть достигнут за счёт лучшей организации производства и лучшего использования имеющихся производственных мощностей. Таким путём наша промышленность должна дать в 1960 году дополнительно 70 миллионов тонн угля и 7 миллионов тонн чугуна. Это равно всему количеству угля и чугуна, производившихся в нашей стране в начале второй пятилетки.

Технический прогресс, лучшая организация производства, решительный рост культуры труда — обязательные условия, без которых новая пятилетка выполнена быть не может.

С тем большей тревогой и суровостью должны мы огнестись ко всему, что противоречит этим условиям.

В докладе товарища Н. А. Булганина на июльском Пленуме ЦК КПСС мы находим много примеров, свидетельствующих о том, что в ряде случаев некоторые даже передовые, справедливо пользующиеся всесоюзной известностью заводы отстали от однородных зарубежных предприятий.

Коллективы предприятий, целых отраслей промышленности предъявляют серьёзный счёт обслуживающим их машиностроительным заводам. Действительно, куда же это годится, например, когда заводы «Коммунист» и Дебальцевский посылали в Криворожье машины конструкций, созданных четверть века назад, а текстильное машиностроение шлёт фабрикам ткацкие станки, конструкция которых разработана ещё шестьдесят лет назад!..

На многих предприятиях металл режут ныне с быстротой, недавно казавшейся фантастической. Однако это не всегда приводит к ответственному увеличению выпуска продукции, так как все вспомогательные операции — по установке, съёму деталей и контролю — попрежнему выполняются вручную. Естественно, станочник не поспевает за ходом резца. Поэтому нередко бывает так, что станок не столько работает, сколько бездействует. Следовательно, для достижения высокой производительности станков необходимо упорно работать над механизацией также и вспомогательных операций.

А сколько излишнего труда и средств затрачивают инструментальные цехи предприятий, чтобы производить мелкие партии различных приспособ-



соблений для своих станков? Между тем подавляющая часть этих приспособлений вполне поддается стандартизации. Их должны были бы выпускать специальные заводы. В Америке, например, имеется много небольших предприятий, изготовляющих приспособления для оснащения станков. У нас же пока существует один-единственный подобного рода завод.

Двадцать лет назад В. С. Мучник разработал гидравлический способ добычи угля. В 1947 году мне довелось наблюдать в Кузбассе шахту, где нет ни забойщиков, ни навалостбойщиков, ни врубовых машинистов, ни проходчиков. Здесь уголь добывает вода. Гидрошахта производит незабываемое впечатление. Это прообраз техники будущего... Тем не менее даже сейчас этот способ применяется только на двух шахтах.

В Директивах XX съезда КПСС уделено большое внимание вопросу специализации и кооперирования предприятий. В этом заложены огромные резервы мощного подъёма нашей промышленности.

А между тем тесное сотрудничество внутри всей промышленности всё ещё подменяется сотрудничеством в рамках отдельных министерств. И потому Министерство тяжёлого машиностроения возило литьё чуть ли не через всю страну — со «своего» Краматорского завода на другой «свой» завод — Металлический имени Сталина в Ленинграде. Однако ленинградские предприятия, входящие в системы других министерств, могли бы отлично справиться с этой задачей.

Нежелание сотрудничать с «чужими» предприятиями, стремление обязательно удовлетворять все потребности внутри «своего хозяйства» кажутся особенно нелепыми, если учесть уже существующую практику кооперированных заводов. Известно, например, что многие станкостроительные и инструментальные заводы Москвы и Ленинграда не имеют своих литейных цехов — литьё им дают специализированные литейные заводы тут же, в Москве и Ленинграде. Именно потому, что вместо множества заводских литейных цехов создано мощное централизованное производство литья, московское и ленинградское станкостроение обеспечено дешёвым и высококачественным литьём.

В шестой пятилетке в важнейших экономических районах страны будет создано 23 специализированных, оснащённых новейшей техникой литейных заводов. Они будут давать литьё всем заводам своего района.

Среди многих других важных вопросов хочу отметить ещё один. На заре социалистического строительства В. И. Ленин требовал, чтобы научно-технический отдел ВСНХ знакомил советскую промышленность «с европейской и американской техникой толком, во время, практично, не по казенному». Он указывал: «Москва должна иметь по 1 экземпляру в с е х важнейших машин и з н о в е й ш и х — чтобы учиться и учить».

Мне вспоминается такой эпизод, правда, относящийся ещё к довоенному времени. Из поездки в США вернулся молодой инженер — работник Московского насосного завода имени Калинина. На вопрос, что больше всего обратило его внимание в США, он ответил:

— Я побывал на одном из американских предприятий, оборудованном примерно так же, как завод, на котором я работаю. И что меня поразило — людей там занято меньше, чем на нашем заводе, а дают они продукции больше.

В ряде министерств имеются сравнительные подсчёты производительности труда на предприятиях СССР и зарубежных. Это хорошо, но ещё важнее, чтобы эти подсчёты были непосредственно на предприятиях. Пусть коллектив каждого завода, каждой фабрики знает, хотя бы на основе печатных данных, каковы выработка на одного работника, издержки производства на однородных передовых зарубежных предприятиях. Одно сопоставление этих показателей будило бы мысль, давало бы стимул к новым поискам в области технического прогресса и повышения производительности труда.

Хочется привести такой показательный пример. Ярославский автозавод производит большое количество дизель-моторов. Качество этой продукции решает судьбы автомашин, выпускаемых не только в Ярославле, но и на других предприятиях. Между тем этот двигатель отстал от требований передовой техники. Как же это случилось?

Нынешний дизель, рассказали мне заводские работники, пачат производством в 1946 году, проектирование его происходило ещё в конце войны. Тогда, десять лет назад, этот дизель не уступал лучшим аналогичным зарубежным машинам. Шли годы, маленькое конструкторское бюро Ярославского автозавода занималось одними лишь «заплатами»: улучшало отдельные детали из числа тех, которые вызывали особые нарекания. Люди не думали о перспективном проектировании, о завтрашнем дне двигателя, а мировая техника тем временем быстро шла вперёд. И спохватились лишь в 1954 году. Сколько же дорогого времени упущено, сколько государственных средств потеряно!

Поговорите с любым работником промышленности о том, что, по его мнению, больше всего мешает ему в работе, и он обязательно пожалуется на бумажный поток. Один видный инженер рассказывал мне:

— Во время войны жизнь заставила к минимуму свести бумажную волокиту. Не требовались тогда ни многочисленные визы, ни бесконечные согласования. Если надо было, я, инженер главка, минуя всю цепь высших инстанций, сносился непосредственно с руководителем всей отрасли промышленности, а с другой стороны—связывался с начальником участка на заводе, мастером. Руководство доверяло мне, я доверял заводским людям. Все мы хорошо знали друг друга, понимали, что добиваемся одной и той же цели, и не боялись ни ответственности, ни производственного риска. Но вот кончилась война, и снова хлынул бумажный поток. Не столько занимаешься живым делом, сколько визируешь бумажки или, наоборот, сам собираешь визы. Когда мы работаем, над нами незримо витает тень работников инспекции министерства, отдела кадров, штатной комиссии, всяких других контролирующих, проверяющих, опекающих инстанций. И я часто ловлю себя на том, что, разрабатывая свои предложения, стараюсь смотреть на них глазами этих людей. И нечего греха таить, нередко кое-что и выхолостишь, причешешь, сгладишь. Если я этого не сделаю, меня поправит начальство. Когда я составляю штаты, то учитываю, что штатная комиссия не поверит честности заявки и обязательно сократит. Точно так же, разрабатывая график освоения нового производства, я проектирую чуточку более длинный срок, чем это мне нужно. Знаю, что это не что иное, как прямая перестраховка. Знаю и мучаюсь этим. А назови я правильный срок, мне его тоже сократят.

Меня, как старого газетчика, сейчас волнует такой вопрос: как случилось, что наши журналисты и литераторы, наши публицисты просмотрели эти явления, не сигнализировали о них своевременно?

Литераторы, разрабатывающие промышленную тематику (а их немало!), прошли мимо острых и больших вопросов, беспокоивших сотни тысяч рядовых работников заводов, фабрик, шахт, новостроек.

Пусть не посетует на меня читатель за то, что я вновь обращаюсь к личным воспоминаниям.

Нарком тяжёлой промышленности Г. К. Орджоникидзе говорил, что свой рабочий день он начинает с чтения газеты «За индустриализацию». «Мне не удаётся выезжать на места так часто, как хотелось бы, поэтому газета должна помочь видеть то, что не заметишь из стен наркомата». Вот чего он ожидал от журналистов!

Много лет назад, когда я только начинал работу в печати, мой первый редактор, старый революционер-большевик Максимилиан Александрович Савельев, говорил мне:

— Мы должны выискивать новое в экономике, в рабочем классе, мы должны искать и находить самые слабые, едва только намечающиеся ростки нового, мы должны иметь мужество видеть и то, что нас печалит, что вызывает гнев. И не только видеть, не только констатировать, но и показать пути преодоления всего негодного, толкающего вспять. Мы должны писать так, чтобы, открыв газету, нашли для себя новое все те, кто выносит на своём горбу основную работу по подъёму промышленности, весь её актив. Если мы выпускаем номер, в котором такого материала нет, будем считать, что газета сработала вхолостую.

Думается, что это положение и сейчас сохраняет свою силу.

Советский народ приступил к выполнению плана шестой пятилетки, плана нового наступления. И как всегда, в рядах бойцов за новую величественную программу роста индустриальной мощи нашей Родины, благосостояния народа займут своё место советские литераторы.

Подобно тому, как четверть века назад каждый журналист стремился туда, где решались судьбы индустриализации,— на Магнитострой и Кузнецкстрой, Днепрострой и строительство Сталинградского тракторного, на Уралмашстрой и Березникстрой,— так и теперь каждый из нас рвётся на Ангару и Обь, на новые нефтяные промыслы Поволжья, в сотни новых точек, наносимых ныне на промышленную карту Родины.

В те дни, когда эти строки дойдут до читателя, корреспонденты газет, очеркисты, прозаики, поэты, вероятно, уже будут на строительных площадках Казахстана, Западной и Восточной Сибири — этих решающих участков борьбы за строительную программу шестой пятилетки. Они расскажут о героях новостроек, о трудностях, вставших на пути, о том, что мешает ещё быстрее двигаться вперёд. Пожелаем им творческих удач!

Будем помнить: немалая часть намеченного прироста промышленной продукции должна быть получена за счёт лучшей организации производства на действующих предприятиях. Вот где от нас потребуются зоркость глаза, умение глубоко проникать в организацию труда и экономику производства, смелая и острая постановка новых вопросов, новых проблем.

Будем же со всей страстью драться за темпы шестой пятилетки, за технический прогресс, за самую высокую в мире производительность труда, за неуклонное выполнение ленинского завета: на всех парах — вперёд!



---

---

ПИМЕН ПАНЧЕНКО

★

## МОИМ ГЕРОИНЯМ

Девчата родимые,  
Многих стихов героини,  
Простите меня —  
Я весьма легковесно не раз  
Водил вас  
По фронту, по снам, по стране,  
Но поныне  
Ещё не украсил  
Достоиную песнею вас.

А вы ведь не феи,  
Не комнатные созданья,  
Держались вы стойко  
В нелёгком труде, на войне,  
Вы шли на заданье  
Спокойнее, чем на свиданье,  
В кирзовой обувке,  
С гранатой на грубом ремне.

Клеймите презреньем  
Доселе смакующих сказки  
О жёнах походных.  
Кому эти сплетни нужны?  
Любую из вас  
Мы встречали в пилотке иль каске  
На самых крутых и высоких  
Вершинах войны.

А как бинтовали вы раны!  
А как на привале  
Задумчиво пели —  
И голос грустил молодой.  
Вы даже, случалось,  
Всю роту демаскировали  
Своим обаяньем,  
Девичьей своей красотой.

Как слабо писал я  
О вашей невянущей славе!  
Сестрёнки, родные!  
А сколько бесстрашных девчат  
Навеки увенчано горьким, святым  
Равноправьем

В тех братских могилах,  
Где павшие войны спят.

Я счастлив, что с вами  
Светло мне дружить довелось,  
И память с годами  
Томит всё сильнее и сильнее,

Как дождь тополиный,  
Как запах распиленных сосен,  
Как яблонь цветенье,  
Как вспышки далёких огней.

*Перевод с белорусского  
Якова Хелемского.*



---

---

## ЯКОВ БЕЛИНСКИЙ

★

### ЗВЕЗДЫ

Я в жизни не видывал ночи такой.  
Бил в ноздри смолистый запах.  
Большая Медведица над головой  
Шагала на звёздных лапах.

Сибирские звёзды мерцали с небес,  
Но спорили с силой небесных  
Земные созвездья Иркутской ГЭС,  
Сияя на кранах железных.

Повис над землёй эстакады мост,  
Весь полон сверканья мерцающего,  
А выше — двенадцать лучистых звёзд:  
Созвездье Большого Шагающего.

Стою, наблюдаю движение светил,  
От света сощурившись резкого:  
Вон Болсун ангарскую ночь осветил,  
Вон всходит созвездие Кревского<sup>1</sup>.

Я вас узнаю, дорогие друзья,  
Встречались нередко и просто мы,  
Пусть скажут, что в это поверить нельзя —  
Вы ночью становитесь звёздами!

До утренней смены в июльской ночи  
Горите вы, дерзкие, близкие,  
Вонзая во тьму молодые лучи,  
Сжигая туманы сибирские!..

Иркутская ГЭС.

★ ★  
★

Об стол ударил кепкой храбро  
И заявил в отделе кадров:  
— Я здесь на стройке не жилец,  
Обещан дом, а тут палатки,  
И со снабженьем неполадки...  
Короче — еду, и конец!..

---

<sup>1</sup> П. Болсун и Д. Кревский — передовые экскаваторщики Иркутской ГЭС.



И рубль не тот, и дождик мочит,  
 Пусть остаётся тот, кто хочет,  
 Пусть ест других таёжный гнус!..  
 Рюкзак свой за плечи — и ходу,  
 И тем же самым пароходом  
 Поплыл в обратный путь, в Иркутск..

...Набилось в комнату народу —  
 Не заходило столько сроду.  
 Интересуется любой:  
 — Ну как, растёт заметно стройка?..  
 Да, там держаться надо стойко..  
 Ты что, приехал за семьёй?..

Хотел сказать, как было, сразу —  
 Сама застряла в горле фраза..  
 Взглянул вокруг в десятки глаз,  
 Помял меж пальцев сигаретку,  
 К столу придвинул табуретку  
 И про тайгу повёл рассказ:

— Что ж, нелегко: живём в палатках,  
 И со снабженьем неполадки,  
 Да всё наладим — стол и дом..  
 А что до комаров и гнуса —  
 Состав придуман от укусов,  
 Есть накомарники притом..

Хвалили. Стопкою хмельною  
 Отметили друзья героя  
 И жали руки горячо..  
 — Наш Николай, он парень смелый... —  
 Жена от радости краснела,  
 Склонившись к мужу на плечо.

Восторженно глядели дети..  
 Настала ночь. Ушли соседи.  
 Жена уснула, дочка спит..  
 И вдруг — волною ледяною,  
 Потом горячею волною  
 Прихлынул к сердцу смертный стыд!..

Курил в кровати до рассвета  
 За сигаретой сигарету,  
 А ночь тянулась, словно год..  
 Жену с постели поднял рано:  
 — Давай уложим чемоданы.  
 Ведь завтра утром — пароход..

На Ангаре.



---

---

НИЛ ГИЛЕВИЧ

★

## ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ

«Кино сегодня!» Передвижку встретив,  
Мы первые — таков уже закон, —  
Всех на ноги подняв известьем этим,  
Кричим у всех крылечек и окон.

Не до еды нам. Детства мир привычный  
Нарушен — всё навыворот пошло.  
И пастушата раньше, чем обычно,  
Пригнали стадо с пастбища в село.

Пусть полон клуб — местечко в нём нашлось нам.  
Вся ребятня — порядок уж такой —  
Уселась впереди, в ногах у взрослых,  
И до экрана достаёт рукой.

...Как следует в картине разобраться  
Мы, дети, вероятно, не могли.  
Но вот враги ведут отряд кронштадтцев  
На каменный обрыв, на край земли.

Героев принимают волны моря,  
Чтоб в чёрном лоне их укрыть навек.  
И к горлу комом подступает горе,  
Я слёзы кулаком стираю с век.

Напрасно мама утешает сына:  
— Ну, что ты, зритель несмышлёный мой,  
Ведь это же игра, кинокартина...  
Все живы... Понял? Ну, не плачь, родной!

Но этих кадров отблеск величавый  
Лёг на душу, чтоб всякий раз опять  
Я вспоминал, как добывалось право  
Жить на земле, работать и дышать.

Сквозь годы вижу свет непреходящий.  
Пускай дорога будет нелегка,  
Опять прошу я: — Сердце, бейся чаще!  
Будь острым, зренью, твёрдою — рука!

*Перевод с белорусского Якова Хелемского.*

---

---

ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

★

## ТРУДНАЯ ВЕСНА

1

**В** конце февраля Мартынов, директор Надеждинской МТС Долгушин, председатель колхоза «Власть Советов» Опёнкин и новый председатель райисполкома Митин ехали из К-ска в Троицк домой, возвращались с пленума обкома.

Мартынов уступил место впереди толстяку Опёнкину, иначе Долгушин, Опёнкин и Митин, тоже крупный, полный мужчина, не уместились бы втроём на заднем сиденье «Победы». Ехали с приключениями: застревали в балках, оборачивались на полном ходу задом наперёд, на горки толкали машину. Всю дорогу в ветровые стёкла хлестал крупный, густой дождь.

Стояла странная, необычная для средней полосы зима. В ноябре и декабре давили сильные морозы, выпало много снега. А с января пошли дожди чуть не каждый день, ливни, по-летнему бурные, тучевые. В ночь под Новый год была даже гроза. Хлеборобы тревожились за озимые. Дожди попеременно с морозами превратили снег на полях в толстый слой льда, под которым озимые задыхались.

Выехали из города в два часа и к вечеру не проехали и половины пути. Шофёр Василий Иванович рано зажёл фары. От напряжения лицо его покрылось мелкими капельками пота, он скинул шапку и то и дело вытирал рукавом стёганки лоб. Дорогу плохо было видно за дождём и туманом, поднимавшимся в низинах от нарастающего снега. Местами ехали по лужам воды, перед буфером вздымались фонтаны, задок заносило в невидные под водой покатоности грейдера. На ночь оставалось ехать ещё километров шестьдесят, по льду и по воде, при фарах. И было впереди опасное место, которое особенно беспокоило шофёра, — Долгий Яр под Анастасьевкой, большой подъём с крутым обрывом у самой дороги.

— Можно бы на Кудинцево объехать, кабы знатьё, что там мост целый, — бормотал Василий Иванович, вытирая шапкой запотевшее изнутри стекло. — Может, закончили уже ремонт. А тут как мы на гору выберемся?..

— Подтолкнём, — угрюмо отозвался Мартынов.

— Далеко толкать! Целый километр!..

Опёнкин — по привычке старого председателя колхоза использовать для сна каждую свободную минуту на заседаниях и в дороге — дремал, откинувшись головой на спинку сиденья. Долгушин рассказывал Митину что-то из своей московской жизни, вспоминал министерство, главк, где он работал; чёрную металлургию. Мартынов молчал, отвернувшись, глядя в окно, за которым, вырванные из темноты боковым отсветом фар, изредка показывались то скирда соломы на старом полевом току, то одинокий

---

Продолжение очерков: «Районные будни», «На переднем крае», «В том же районе», «Своими руками».

столб на развилке дорог, со стрелкой — указателем расстояния до ближайшей деревни... Может быть, днём тут прогоняли скот, какая-нибудь корова почесалась о столб и стрелка теперь показывает направление совсем в другую сторону? И если, доверившись ей, поехать, куда она зовёт, не скоро доберёшься до жилья, где можно отдохнуть в тёплой хате после скучной ночной дороги, попить чаю, полежать на лавке, вытянув уставшие ноги, разогнув поясницу...

Мартынов вспоминал вчерашний разговор с секретарём обкома — не очень приятный разговор, с оттенком выговора ему.

Ещё в декабре Крылов, будучи у них, поездив с Мартыновым по району, посоветовал ему ввести в колхозах с нового года ежемесячное денежное авансирование колхозников. Мартынов согласился, что это дело хорошее, пообещал секретарю обкома обсудить его предложение с председателями колхозов, но сам как-то не очень загорелся, и кончилось тем, что авансирование ввели только в трёх колхозах. Мартынову даже подумалось тогда, что секретарь обкома забегает вперёд, увлекается нереальными на сегодня вещами. Ежемесячное авансирование, полагал Мартынов, можно вводить лишь в самых богатых колхозах с устойчивыми доходами, без риска, что окажешься в конце года вралём перед колхозниками, не покроешь всем годовым фондом распределения выданных месячных авансов.

Крылов после пленума обкома зазвал Мартынова к себе в кабинет и сердито отчитал за потерю времени.

— Три месяца прошло после нашего разговора, и ты по существу ничего не сделал! Я пощадил тебя и не распушил на пленуме только потому, что ежемесячное авансирование ещё никем не декретировано. Это — наше местное начинание, нельзя ругать человека за невыполнение того, чего по закону с нас ещё не требуют. Но я понадеялся на тебя, как на руководителя, не лишённого чувства нового. Подвёл, подвёл, товарищ Мартынов! Ведь дал слово, что сделаешь. Я бы с другими секретарями райкомов договорился.

Мартынов, оправдываясь, стал высказывать свои опасения, что в колхозах с неустойчивым доходом рановато ещё вводить такой порядок оплаты трудодней. Секретарь обкома перебил его:

— Если бы авансирование касалось только самых богатых колхозов, это было бы не так важно для нас. Я вижу здесь именно один из рычагов, который поможет нам поднять отстающие колхозы.

Только теперь, при вторичном разговоре с Крыловым, после довольно резкого упрека в неповоротливости и консерватизме, Мартынов понял до конца мысли секретаря обкома, «диалектику» его предложений.

— В отстающих колхозах упала материальная заинтересованность колхозников в общественном труде — вот тут-то и надо применить ежемесячное авансирование! — говорил Крылов. — Именно там, где есть опасение, что годовой доход будет низок, надо пойти на «риск» ежемесячного авансирования, чтобы поднять трудовую дисциплину и на этой основе добиться высокого дохода. И председателей колхозов мы заставим ежемесячным авансированием в двенадцать раз лучше работать!

— Почему в двенадцать раз? — спросил Мартынов.

— По количеству месяцев в году.

«Да, — думал теперь Мартынов, очень сожалел, что сразу «не дошло» до него, — это, конечно, намного повысит ответственность каждого председателя. Грубо арифметически — в двенадцать раз. То он один раз, после первого января, с бухгалтером костяшки подбивал, а то каждый месяц неотрывно будет следить за движением хозяйства. Раз в году распределить доход — это очень уж спокойная жизнь, фаталистом можно стать. Что уродит, мол, то и пожнём. Легче всего свалить на бога неудачи. А уж если пообещал людям по три рубля на трудодень за такой-то месяц — тут са-

мо дело заставит председателя вертеться вьюном!.. Поеду в один такой колхоз, засядем вместе с правлением и с карандашом в руках подсчитаем все возможности. Всё до копейки, что можно выкроить в хозяйстве для авансирования. Составим месячные приходо-расходные сметы. Молока за месяц каждая доярка должна надоить столько-то, а все вместе столько-то. Свиной на ферме должно быть откормлено столько-то, до такого-то веса. Пилорама стоит, не работает, а стройтрест в городе нуждается в досках — взять подряд на распиловку, пустить агрегат круглосуточно, пусть только подвозят кругляк. Старики слоняются по селу без дела, а все мастера — кто корзины плести, кто веники вязать, — посадить всех за работу. Речка рыбная, и рыбаки есть свои — почему не завести невода, сети? Лишнее тягло, что простаивает и зимой и летом, пустить на извоз, на лесозаготовки. Да мало ли откуда можно выбить живую копейку! В любом колхозе есть возможности. И уж если колхозники твёрдо усвоят, что для получения такого-то аванса за такой-то месяц нужно обязательно выполнить приходную смету, тут все станут контролёрами да ревизорами. Доярка Марья Агафонова не надоила за месяц положенного количества молока — к ответу Марью перед народом, на собрание! «Срываешь нам план, отщипываешь от нашей мартовской трёшки гривенники!» Не только ревизионная комиссия, весь народ будет контролировать!.. И на работе это так скажется, что в конце года потом к той трёшке ещё, может, рублей по пять добавят. Да и председатели колхозов у нас уже теперь такие, что можно с ними решать любые задачи. Не те пьяницы, бездельники, которым наплевать было на всё. Руденко, Сазонову, Грибову — им только подай хорошую мысль!.. Да, неладно получилось. Консерватором обозвали, и поделом! Не текучка ли стала заедать тебя, Пётр Илларионыч, что теряешь вкус к таким новшествам?..»

Были вчера ещё неприятности у него.

Мартынов перебрал в памяти разговор в редакции областной газеты, куда он заходил после пленума, и содержание писем из двух районов, которые показал ему редактор.

— Заставь дураков богу молиться... — вслух сказал Мартынов. — Придётся ещё одну статью писать.

— О чём ты? — проснулся Опёнкин.

— Оказывается, товарищи, — обратился ко всем Мартынов, — у нас в области завелась уже «мартыновщина». Есть такое ненормальное явление. Пишут в редакцию областной газеты.

— Как это понимать?

— «Мартыновщина» — сиречь головоупяцтво в подборе колхозных кадров.

— Что, что?..

— В Верхне-Никольском и Подгорном накуролесили с кадрами. Сделали по нашему примеру, и ничего у них не вышло. И колхозы не укрепили и учреждения оголили.

— Как же это получилось? — повернулся к Мартынову Долгушин. — Интересно!

— Интересно, да. Клянут меня там люди. Сам читал. Возмущённые письма от колхозников, сельских учителей, коммунистов... В Верхне-Никольском прочитали ту мою статью, что я писал после собрания партактива, и сделали точь-в-точь по-нашему: послали председателями колхозов и предрика, и прокурора, и начальника милиции, и управляющего госбанком, и судью. Только управляющий госбанком у них горький пьяница и исключался из партии за многоженство, начальник милиции страстный охотник, тридцать пять зайцев убил за зиму и пятьсот центнеров семенной пшеницы погноил, прокурор, юноша двадцати трёх лет, из горожан, в сельском хозяйстве, как вот Демьян Васильевич в индийском балете, разбирается, а судья на двух протезах, полуслепой, через дорогу не перейдёт

без поводыря, и к тому же болен туберкулёзом. А в Подгорненском районе поехали под шумок председателями те, которым уже в райцентре не улыбалось получить какую-нибудь должность. И совсем прекратили в этих районах выдвижение кадров в самих колхозах, из местного актива.

— Но ты разве писал в своей статье, что надо брать кадры только из районных учреждений? — спросил Митин.

— Нет, не писал. Может быть, как раз в этом и ошибка моя, что не написал, сколько у нас выдвиженцев работает председателями: Дорохова в «Родине» из лесников взяли, Самойлова в «Красном Октябре» из бригадиров выдвинули, Григорьев в «Искре» — бывший тракторист. Мы же сочетаем одно с другим.

— Так как же можно называть «мартыновщиной» такое обыкновенное тупоумие? — пожал плечами Долгушин. — Вы-то при чём, если кто-то где-то натворит глупостей?

— По-моему, ни при чём. Я писал всё же для тех, у кого есть голова на плечах. О заводных манекенах, которым на каждый случай жизни точный рецепт требуется, не подумал, каюсь. Выпустил таких из виду. Полагал, что это само собою разумеется — что надо продолжать и местные кадры выдвигать и специалистов направлять в колхозы.

— Дело же в принципе, — заметил Митин, — а не в том, чтобы скопировать в точности, как другие сделали.

— Прокурор прокурору рознь, — сказал Опёнкин. — Мы своего послали в колхоз не по чину, а по его хлебоборобской душе. И скажу вам, побывал я недавно в «Борьбе», старые долги ездил собирать, — очень понравилось мне, как он там за дело взялся. Начал сразу со строительства, чтоб люди поверили ему — не квартирант пришёл, не дачник, а хозяин. Так мне понравилось его настроение, что ещё отсрочил на год ту гречку, что ссужали им в пятьдесят первом на посев. Поверьте моему глазу, из Нечипуренко хороший председатель выйдет. А у них в Никольском, может, свои председательские таланты скрывает уполномоченный министерства заготовок или начальник политотдела железной дороги. Район крупный, при железнодорожном узле; там поискать — найдёшь кадров даже больше, чем нужно, не обязательно посылать в колхоз большого судью, которому три дня до смерти осталось.

— Вот и надо это всё разъяснить, — сказал Мартынов. — Придётся мне ещё раз писать в газету.

— А как? В какой форме? — спросил Митин. — Ты же не секретарь обкома, чтоб поправлять ошибки в других районах.

— Ту первую статью я написал по предложению Алексея Петровича. Не подумайте, что хотел прославиться, как инициатор некоего «мартыновского движения». Он мне два раза звонил. Нужно было, чтобы я рассказал для всей области, как мы провели партийный актив. Ну, а теперь опять надо писать. Раз моя фамилия становится нарицательной: «По методу Мартынова наломали дров». Какой же это мой метод?.. Жаль, когда был у товарища Крылова, не знал ещё про эти письма, я бы поговорил с ним. Приедем, позвоню ему по телефону.

За косыми потоками дождя перед машиной в неярком свете фар забелели хаты.

— Ровно половину проехали. Ногаевка, — сказал шофёр. — «Шесть сестёр», — кивнул он на огромное ветвистое дерево, липу, распростёршую могучую разлапистую крону над окраинными строениями придорожного села Ногаевки. Казалось, что это — одно дерево с густым сплетением веток, — летом под его листвою в тени укрылся бы целый батальон солдат с обозом, — но это были шесть лип, выросших ствол к стволу, в родственных объятиях. Так и прозвали их проезжавшие через село путники, всякий раз любовавшиеся этим чудом природы: «Шесть сестёр».



— Может, заночуем здесь?..

— А к утру, думаешь, улучшится дорога? — отозвался Опёнкин. — Дождь, видно, на всю ночь зарядил. Нет, уж лучше ехать.

Мартынов зажёл свет в машине, вынул из кармана пальто исписанный листок бумаги, развернул.

— Вот взял в редакции одно письмо, анонимное. Подписано: «Группа коммунистов». Вероятно, кто-то из тех писал, кого наметили послать в колхоз. Пишет: «И если товарищ не может ехать на постоянную работу в колхоз по какой-либо причине, по слабости здоровья или потому, что не чувствует особого призвания работать в сельском хозяйстве, то его сразу причисляют к лику «коробкиных» и отбирают у него партбилет. Так можно без партии остаться, если всех переисключаем... И опять же получается, что мы навязываем колхозникам в председатели людей со стороны, нарушаем колхозную демократию. Я думаю («я» — это группа-то пишет!), что наши руководители поторопились с подражанием Троицкому райкому. Этого Мартынова и редактора, который напечатал его статейку, по головке не погладят».

— Не чувствует призвания в колхозе работать. Ишь ты! — усмехнулся Опёнкин. — А в партию вступал по призванию? Небось, когда подавал в партию, писал в заявлении: «Буду выполнять любые задания, готов отдать жизнь за идеи коммунизма!» Портфельщик какой-то пишет, не обращай внимания, Ларионыч!

— Вообще-то, Пётр Илларионыч, в вашей статье — я уж после, когда читал её в газете, подумывал об этом — есть скользкие места, к которым можно придаться, — заговорил Долгушин с сердитым выражением на лице. — Вот вы там бросили такую фразу: «Те брешу, что образуются в районном аппарате, куда легче заполнить, чем подобрать хороших председателей колхозов». Но ведь из аппаратов взяли не технических секретарей и не завхозов, а ответственных работников. Значит, вы их ставите ниже председателей колхозов? В колхоз — самого крепкого человека, а на пост председателя райисполкома можно кого-нибудь и послабее? Недооценка руководящей роли районных организаций! Нигилизмом попахивает! Или вы считаете, что колхозы с хорошими председателями могут существовать и развиваться и без районного руководства?..

Сердито-грубоватое выражение смуглому лицу Долгушина, будто он не разговаривал спокойно, а всегда огрызался, придавал глубокий шрам на щеке, искрививший его рот. Странно контрастировали с этой застывшей на губах презрительно-злой гримасой глаза его, чёрные, цыганские, внимательно всматривающиеся в собеседника, чуть подёрнутые грустинкой, умные, добрые глаза.

— Та-ак... Ещё где там, по-вашему, в статье нигилизм? — нахмурившись, покосился Мартынов на Долгушина.

— Потушите свет, Пётр Ларионыч, — попросил шофёр. — Совсем не вижу дорогу, когда в машине свет горит.

Мартынов щёлкнул выключателем.

— Я не сказал, что это, по-моему, нигилизм, — спокойно продолжал Долгушин. — Ещё что?.. Ну, вот хотя бы то, что речь в статье шла только о председателях колхозов. Не об укреплении колхозных парторганизаций, не о бригадирах, заведующих фермами, специалистах, а только о председателях. Значит, председатель — единственно важная фигура в колхозе? Культ личности!

— Ого!

— Да, да. И к тому же вы как-то перевернули с ног на голову обычную, нормальную ступенчатость выдвижения кадров. Вы писали: «Мы послали на работу в колхозы районных работников и ждём, что на их места нам дадут товарищей из области, а обком пусть просит работников из центральных аппаратов». Стало быть, вы предлагаете передвижку кадров

сверху вниз. Но всегда было так, что кадры росли снизу вверх. Да иначе какой же рост, если не снизу? Я не работал в деревне, но, вероятно, обычно лучших организаторов из села выдвигали в район, из района — в область. Так ведь? А в армии? Пополнение кадрами идёт от командиров взводов, рот к командирам батальонов, полков, дивизий, отнюдь не в обратном порядке. Да вот и из своей практики работы в промышленности я знаю: если на должность директора какого-нибудь небольшого заводика в захолустье присылают проштрафившегося работника из министерства, он смотрит на своё назначение, как на ссылку, работает спустя рукава, с пренебрежением к такому ничтожному участку, и всё мечтает, как бы удрать снова в столицу. А выдвинь директором этого заводика хорошего мастера из местных кадров — это для него рост, движение вперёд, новые масштабы, он будет работать в полную силу, с увлечением. Видите, Пётр Илларионыч, сколько спорных положений и неувязок в вашей статье.

Мартынов с насторожённым интересом выслушал директора Надеждинской МТС, человека безусловно умного, образованного, начитанного, но во многом для него ещё непонятного. Долгушин попал к ним на должность директора МТС с большой работы в Министерстве чёрной металлургии, и в районе многие были убеждены, что неспроста попал. Сам Мартынов с трудом перебарывал в себе подозрение, что у Долгушина не всё ладно с его переводом сюда на работу, что он там, в Москве, где-то в чём-то провинился. Велика сила привычки. Не так уж много приходилось Мартынову видеть людей, по доброй воле менявших должности с высокими окладами и удобства жизни в больших городах на деревню.

— Вы, Христофор Данилыч, на самом деле считаете мою статью путаной? Я в статье описал только то, что мы сделали. Значит, по-вашему, мы наломали дров? Но ведь вы же тогда на партактиве, если мне не изменяет память, были полностью согласны с нами.

— И сейчас полностью согласен, — ответил Долгушин, улыбаясь одними глазами и с той же неизменной отталкивающей-презрительной гримасой на губах. — Согласен полностью. Не вижу никакого нигилизма в вашей передвижке кадров. Я говорю: это может показаться кой-кому нигилизмом или головотяпством. Догматикам, формалистам. Могу и объяснить, почему я с вами согласен.

Долгушин, помолчав минуту, продолжал развивать мысли, не сегодня, видимо, пришедшие ему в голову:

— Да, сейчас мы всё внимание направили на укрепление кадров председателей колхозов. Действительно, это главная фигура в колхозе, как и руководитель всякого предприятия, и «культ» тут ни при чём. Но сама жизнь выдвинет перед нами и другие задачи. Одно потянет за собою другое. Представьте себе, что все председатели колхозов у нас будут прекрасные хозяйственники, с хорошим образованием, талантливые организаторы. На две головы выше тех председателей, которым мы сейчас даём отставку. Вот такие. — Долгушин показал рукой, коснувшись пальцами потолка кузова машины. — А райком, значит, должен быть ещё выше? Ещё на голову, на две выше? Конечно. Таких председателей нужно уже учить не азбуке колхозного строительства, а вершинам этой науки. Согласитесь, Пётр Илларионыч, что вот таких председателей колхозов, — Долгушин опять достал рукой до потолка кузова, — может не удовлетворить нынешний стиль руководства некоторых районных организаций. Уполномоченных к ним не следует посылать, чтоб ходили за ними по пятам, подсказывали, когда начинать пахать, сеять. Неграмотного лектора такой председатель может, пожалуй, и в шею прогнать из колхоза. Да и агронома иного поучит творческому отношению к делу. И легче с такими председателями, но и труднее кое в чём. Руководить ими труднее будет. А? Как вы думаете, товарищи?

Мартынов, переглянувшись с Митиным, кивнул головой.

— Мы и сейчас уже это испытываем.

— Вот, вот! Руководить такими председателями, что много знают, много умеют,— надо самому знать ещё больше, видеть дальше, чем они видят! Значит, придётся укреплять и районное звено. В общем, Пётр Илларионыч, чего вы не договорили в своей статье, сама жизнь договорит за вас. Не останутся районные работники в обиде, что о них забыли. Начнут и вашего брата подтягивать «к уровню»!.. А возражения насчёт обратной передвижки кадров тоже нетрудно опровергнуть. Мне в Московском Комитете, когда вызвали меня для направления в МТС, прочитали одно место из статьи Ленина «О продовольственном налоге». Помните, где говорится о перемещении некоторых работников с центральной работы на местную? Там Ленин вспоминает польскую войну, когда не боялись отступать, как он говорит, от бюрократической иерархии, перемещать членов Реввоенсовета на низшие места. И теперь, говорит Ленин, почему бы не переместить некоторых членов ВЦИК и членов коллегий на уездную и волостную работу? Не настолько же мы «обюрократились», чтобы смущаться этим. Найдётся много центральных работников, которые охотно пойдут на это. И дело хозяйственного строительства очень выиграет от этого. Не помню дословно, но смысл таков. Значит, естественное выдвижение кадров снизу может благополучно сочетаться в некоторых случаях с такими нарушениями «бюрократической иерархии». К тому же,— добавил Долгушин,— вы не проштрафившихся районных работников послали в колхозы, а хороших коммунистов. Таких, что сами поняли, где их настоящее место.

— А вообще-то за всё время Советской власти слишком много мы навдвигали работников снизу вверх,— сказал Опёнкин.— На кой-какие кресла, что освобождаются сейчас в учреждениях, можно бы совсем никого больше и не сажать. Или хотя бы повременить, присмотреться хорошенько: а как оно, не будет большой беды, если эту должность совсем сократить? Вот же инспекцию по определению урожайности ликвидировали как класс, райсельхозотдел ликвидировали — и ничего, живём не хуже, как и жили.

— Аппараты у нас разбухли непомерно,— согласился Долгушин.— То, что намечено сейчас по сокращению аппаратов и передвижению оттуда людей на производство, я думаю, это только начало большого государственного дела. Очень трудного дела! Спротивление ему будет сильное. До сих пор, сколько мы ни сокращали, заметных результатов не видно. В одном учреждении сократят штаты, в другом раздут, из одной графы штатного расписания вычеркнут работника, в другую впишут — и опять всё по-старому.

Дорога за селом пошла лучше — старый, запущенный грейдер с почти заровнявшимися кюветами. Разбитый лёд перемешался с талым снегом и песком. Машина не скользила. Шофёр Василий Иванович попросил у Мартынова папиросу, закурил, откинулся на спинку сиденья, отдыхая.

— Штаты нужно сокращать так, как при товарище Дзержинском беспризорников ловили,— сказал он.— Я тогда работал шофёром в нашем уездном наробразе, знаю, отвозил их в детские колонии.

— А как их ловили? — поинтересовался Опёнкин.

— В одну ночь сразу во всех городах. Кинутся из Белгорода в Харьков — и там их ловят. В Курск — и тут на них облава. Некуда податься! Все засмеялись.

— Значит, рекомендуешь — в один день до всему Советскому Союзу, во всех учреждениях, на столько-то процентов?

— Ну да. Чтоб без перебежек...

— Всякий раз, когда мы заводим речь о сокращении аппаратов, мне кажется, что мы не добираемся до главного,— вступил в разговор Митин.— Ведь не только в каком-нибудь маслопроме сидят лишние писаря. В самих

партийных и советских органах много ненужных должностей. Ей-богу, у меня в райсовете столько работников, что иной раз приходится придумывать, чем их всех занять, чтоб не зря жалованье получали. А в области? Насмотрелся я там чудес, когда работал по орошению. Сколько параллелизма, лишней суеты! И в обкоме партии и в облсовете одни и те же отделы, одними вопросами люди занимаются, одинаковые решения готовят, только там подписи и печать обкома, а там—облсовета. Или вот учреждение — облплан. Во всех отделах облсовета есть плановики, в областном управлении сельского хозяйства есть своя плановая группа, и ещё, кроме того, облплан. Что ему делать? Сводки собирать у тех плановиков и перепечатывать на своей машинке? Тридцать человек изнывают от тоски, некуда день убить. Вот и планируют: сколько должны сдавать колхозы кож крупного рогатого скота поквартально при таком-то проценте падежа.

— Можно мне ещё слово сказать? — оглянулся на Мартынова Василий Иванович, пожилой человек, далеко уже за пятьдесят, седой, шофёр с тридцатилетним стажем.— Ещё хочу сказать о штатах... Я в нашем райкоме партии работаю с тридцать первого года. «Студебеккер» был у нас тогда легкой, наполнил с райисполкомом. Откуда он взялся у нас, не знаю, должно быть, ещё в революцию у какого-то помещика отобрали. Секретаря райкома возил и предрика. И жалованье мне платили сообщица — половину райком, половину рик. Так вот ежели припомнить то время — легче или труднее было работать районным руководителям? Район был большой, потом его разукрупнили, два района из него сделали. Коллективизация только начиналась, всё ещё не настроено, не налажено. Раскулачивание проходило, банды были в Михайловском лесу. Каждую ночь то в одном селе, то в другом какое-нибудь происшествие. Труднее, по-моему, было тогда работать. И сколько ж было народу в райкоме? Ну, секретарь, конечно. Тогда не называли ещё первый или второй, просто секретарь. Заместителем у него был зав... забыл, каким отделом.

— Заворотделом — подсказал Опёнкин.

— Так, заворг его звали. Ну, культпроп ещё, тот больше по массовой работе, с докладами выступал. Потом ещё была у нас по женской работе, женорг, товарищ Змиевская, рябая, некрасивая, трубку курила, как калмычка. Ещё — пара инструкторов, управдел, он же и на машинке печатал, конюх при выездных лошадях, ну, и я, стало быть, шофёр, пол-единицы, так меня и звали шутейно: в райкоме звали Василием, а в райисполкоме Иванычем. Вот и весь аппарат. Работали, не гуляли. Управлялись. Для перекурки, правда, времени мало оставалось. Так же и в райисполкоме, лишних не было. Раз, два — и обчёлся. Райисполком помещался в том доме, что сейчас пионерам отдали. Кабинет председателя и три комнатки небольших — все там умещались. Работы было больше, а работников меньше.

— Правильно, — подтвердил Митин. — У меня отец работал в те годы председателем Ясновского райисполкома; я всех помню, кто к нам в гости приходил. На Первое мая все сотрудники за одним небольшим столом усаживались. А сейчас, если мне пригласить на праздник в гости мой аппарат, надо иметь в квартире такой зал, как в министерстве иностранных дел для приёмов.

Мартынов только кивал головой и изредка вставлял в разговор слово-два, соглашаясь с тем, что говорили Василий Иванович, Долгушин и Митин. Он уже не хмурился, поглядывая на Долгушина, — директор Надеждинской МТС достаточно ясно изложил свои взгляды на вопросы, одинаково, оказывается, волновавшие их.

— И главное зло тут, по-моему, даже не в том, — сказал Мартынов, — что мы расходуем лишние миллионы рублей на зарплату управленческим работникам. Это материальные убытки. Но мы расплачиваемся за раздутые штаты ещё и другим, что дороже всяких денег. Мы портим людей,

неправильно воспитываем наши кадры. Десять человек должны подписать какую-то важную бумажку, и никто не решается первым сказать «да» или «нет». Прячутся один за другого. Есть кому и за кого спрятаться. Пере-страховка и безответственность — вот к чему привыкают люди там, где громадные штаты. Сокращение аппарата нужно в первую очередь для него же, для аппарата! Для улучшения его работы!

— А коллегиальность? — легонько толкнул Мартынова локтем в бок Долгушин.

— Вот у нас и коллегиальность некоторые поняли так, как в Верхне-Никольском мою статью, — сердито возразил Мартынов. — Шиворот-навыворот поняли! Согласовывать и увязывать до бесчувствия — так поняли коллегиальность. Пять человек на такую работу, где и один может справиться. Это уже не коллегиальность, а коллективная бестолковщина!

— Я не совсем ещё вошёл в курс дела, — сказал Долгушин, — но кажется мне, что даже у нас, на самом низу, в МТС, много лишних людей в администрации.

— Да, если посчитать, на сколько прибавилось штата во всех наших трёх МТС, пожалуй, больше окажется, чем было раньше в райсельхозотделе, — кивнул Опёнкин.

— Но тогда они жили в райцентре, все специалисты, а теперь всё же ближе к колхозам спустились, — заметил Митин.

— Ещё ближе надо бы кой-кого спустить! Прямо в колхоз, на трудодни!

— Ну, тебе дай волю, Демьян Васильич, ты бы и самого секретаря райкома перевёл на трудодни.

— А что? Чем плохо? И секретаря райкома и председателя райисполкома. Не на трудодни, но всё же надо бы как-то увязать вашу зарплату с колхозной доходностью. Чтоб был вам интерес лучше руководить колхозами!

— Демьян Васильич давно мне об этом толкует, — сказал Мартынов. — Вообще-то резонно. В одном районе колхозники получают по десяти рублей на трудодень, в другом — по рублю, а зарплата для районных работников одинаковая. Выходит: производственники все на сделышине, а руководители — на подённой оплате. И МТС наши до сих пор не заинтересованы как следует в урожае. У одного директора МТС урожай по зоне десять центнеров зерновых, у другого, рядом, на таких же землях — двадцать пять. Есть небольшие надбавки за урожай, но это всё не то. Я уж говорил об этом и в обкоме, и в министерство писал много раз. Резче надо дифференцировать! Если при десяти центнерах директор получает, скажем, полторы тысячи рублей в месяц, то за двадцать пять, право же, не жалко и три и три с половиной тысячи заплатить. И такую шкалу для всех — и для главного агронома, и для главного инженера, и для заведующего мастерской. Вплоть до горючевозов!

— Не возражаю, — согласился Долгушин. — Не знаю ещё, какими путями добиться этих двадцати пяти центнеров, но в принципе не возражаю.

Минут пять ехали молча. Шофёр вдруг рассмеялся.

— Чего ты? — спросил Опёнкин.

— Да вспомнил один случай. Как мы на том «Студебеккере» ездили... Запчастей к нему не достать, резина латанная-перелатанная. Двадцать километров проедешь по району — десять раз баллоны накачиваешь. Света не было, а по ночам ездить приходилось частенько. Фонарь «Летучая мышь» вешал впереди на радиатор. А однажды такой был случай. Едем мы с секретарём райкома товарищем Беловым ночью из Семидубовки. На заднем сиденье у нас заврайфо товарищ Некрашевич. Верх на кузове у этого «Студебеккера» был кожаный, толстая кожа, в палец толщиной, с носорога, должно быть, или с того зверя, что в воде живёт, как его...

— С бегемота,— подсказал Митин.

— Вот, с бегемота. Толстая, но трухлявая, потрескалась вся от давности, в дождь даже кое-где протекало. Вот едем мы, пассажиры мои дремлют, а знаете, когда люди рядом с шофёром спят, и ему трудно со сном бороться. Да и работа в те годы была — по три-четыре ночи подряд приходилось не спать, как на фронте. Едем, дорожка неважная, поперёк паханого поля, яма на яме. Секретарь райкома похрапывает, заврайфо носом в спину мне клюёт — и у меня глаза стали слипаться. Ка-ак подбросит нас на колдобине — думал, вот тут наша катафалка и рассыплется на кусочки! Нет, едем дальше, даже мотор не заглох. Едем и слышим с секретарём — хрипит кто-то, голос откуда-то загробный, не то из-под машины, не то сверху: «Сто-о-ойте-е!» Что такое? Оглянулись, смотрим, не поймём, что случилось. Товарищ Некрашевич вытянулся во весь рост, висит, плечами упёрся в потолок, и головы не видать. Оказывается, его так подкинуло на той яме, что он головою тент пробил, а кожа хоть гнилая, но твёрдая, толстая, взяло его под салазки и не пускает голову назад, руки в машине, а голова снаружи, повис и хрипит оттуда, со двора: «Сто-о-ойте-е!»... Вот какое было дело. После этого случая в райкоме без смеху смотреть не могли на товарища Некрашевича. Пришлось ему просить перевод в другой район.

Посмеялись. Разговор с делового перекинулся на разные воспоминания.

Опёнкин стал рассказывать, как он работал в товариществе по совместной обработке земли, ещё до сплошной коллективизации, трактористом на «Фордзоне»; как они выжимали из этой американской техники всё, что только можно было выжать: и пахали «Фордзоном», и косили, и молотили, и мельницу крутили, и свадьбы гуляли, украшая трактор разноцветными ленточками и цепляя к нему целый поезд телег с гармонистами на облучке; как владельцы «Фордзонов» устраивали на районной выставке в День урожая тракторные гонки и как он однажды взял первый приз на таких гонках: детекторный приёмник и четвертную бутылку водки.

Митин, оказалось, в прошлом был лётчиком Гражданского воздушного флота и мелиоративный институт закончил уже после того, как его отчислили из авиации по состоянию здоровья — сердце стало шалить. Он рассказал несколько случаев из своих полётов: как однажды попал в сильную грозу и молнией отбило кусок элерона; как сажал машину на деревья в лесу, когда отказал мотор и небольшая высота не позволила дотянуть до поля за лесом.

Проехали ещё одно село. Василий Иванович заговорил было опять о ночлеге — его никто не поддержал.

Дождь не утихал. По балкам бежали ручьи, как весной. За селом спустил баллон. Шофёр промок до нитки, пока сменил скат. Мартынов заставил его снять стёганку и верхнюю рубаху, дал ему своё пальто. В машине было жарко от печки. Поехали дальше.

Из Долгого Яра машина выбралась своим ходом лишь до половины горы. Подъём пошёл круче, колёса забуксовали на ледяной, омытой дождем дороге, «Победа» дёргалась из стороны в сторону и не подвигалась вперёд ни на сантиметр, даже как бы сползала понемногу назад, вниз. Слева от дороги показывался в свете фар молодой берёзовый лесок, справа, за редко расставленными полосатыми столбиками, чернел глубокий обрыв.

Как ни уютно было в тёплой машине, под непромокаемой крышей, надо было вылезать на дождь и толкать.

— Эх, погодка! — открыв дверцу, прокричал Опёнкин. — Табачок только сушить. У кого папиросы в кармане, советую выложить. А ты сиди, Ларионыч. Хоть ты не мокни. Сиди для груза, сцепление будет лучше.

Втроем стали подталкивать «Победу», оскальзываясь на льду в темноте, падая в лужи. Натужно ревя мотором, по метру в минуту машина двигалась вперёд.

— Идёт, идёт! — поддавая могучим плечом под задок кузова, покрякивал нараспев Опёнкин. — Раз, два, взяли-и! Ещё разок! Идётся! Ещё раз! Недалечко!..

И тут вдруг навстречу им, с бугра, из-за поворота узкой дороги, блеснув фарами, высунулся грузовик. Громадная пятитонная машина шла на хорошей скорости, и зад её забрасывало по льду то вправо, то влево. Водитель её либо принял в последнем селе граммов двести «от сырости», либо ни рулевое управление, ни тормоза уже не слушались его на скользком спуске — машина неслась с горы прямо на буксовавшую у края дороги «Победу». Опёнкин, Митин и Долгушин еле успели отскочить в сторону. Рёв мотора пятитонки, звон бьющегося стекла, скрежет железа... Последнее, что слышал Мартынов, теряя сознание от удара обо что-то головой, был отчаянный крик Василия Ивановича: «Что ж ты делаешь, бандит? У меня же люди!..» — и «Победа» покатила по крутому откосу, дважды перевернувшись, в глубокий, метров пятьдесят, яр. А грузовик с залепленными снегом и грязью номерами и без фары сзади, пройдя немного «юзом» и чуть не сорвавшись тоже в обрыв, выровнялся, свернул опять на дорогу и скрылся под горой за поворотом, в темноте.

...Пока Опёнкин с Долгушиным выносили из яра живых, дышавших, но не приходивших в сознание Мартынова и Василия Ивановича, Митин добрался до ближайшей деревни на горе, взял там в колхозе лошадей с повозкой и ездовым и примчался к месту аварии. В ту же ночь Мартынова и шофёра доставили в районную больницу.

Василий Иванович, с проломами черепа и разбитой грудной клеткой, умер ночью в больнице на операционном столе. Мартынов к утру очнулся. Сотрясение мозга оказалось не тяжёлым, у него были переломы ноги, руки и ключицы. Врачи за жизнь его не опасались, но пролежать в больнице, в бинтах и вате, ему предстояло несколько месяцев.

Не во-время и надолго вышел Мартынов из строя.

## 2

Вторым секретарём в Троицком райкоме партии был Василий Михайлович Медведев. К нему и перешли временно обязанности первого секретаря.

Дел Медведев от Мартынова никаких не принимал, напутственных слов не выслушивал — врачи с неделю не допускали к Мартынову никого, кроме жены, — обстановка в районе ему была известна, просто пересел из своего кабинета в кабинет первого секретаря и оттуда стал разговаривать по телефону с директорами МТС и председателями колхозов уже более требовательным и строгим голосом, нежели позволяло ему раньше разговаривать его скромное положение второго секретаря.

Медведев долгое время не то не находил себе места среди других руководителей района, не то неуверенно чувствовал себя в малознакомой обстановке сельской работы — был он тем «пятым колесом» у машины, без которого ехать можно и которое возят лишь про запас, на случай аварии. Молчаливый, с неизменной предупредительной улыбкой на лице, когда к нему обращались, вежливый, обходительный, мягкий, как будто даже слабохарактерный, он иной раз с утра до вечера просиживал в райкоме за подготовкой очередной лекции или чтением полученной райкомовской библиотекой новой литературы, и за целый день его никто не беспокоил ни телефонным звонком, ни личным посещением. Коммунисты из колхозов, приезжая в район по разным делам, заходили к нему лишь в том слу-



чае, когда, кроме него да дежурного по общему отделу, в райкоме больше не было ни души.

Медведев окончил педагогический институт в 1939 году и успел поработать учителем в своём родном городе, Низовске, до войны всего один год. Первые месяцы Отечественной войны он провёл на фронте, был ранен под Смоленском, около года пролежал в госпитале в Саратове, потом, разыскав в городском военкомате родственника, двоюродного дядю, устроился туда на службу делопроизводителем, там и находился до конца войны. В партию он вступил в 1945 году. После демобилизации вернулся в Низовск к матери, поработал немного на старом месте учителем, а затем получил назначение на должность директора семилетки.

Учился Медведев в своё время в школе и институте отлично. Не пропало для него и время службы в Саратовском горвоенкомате — много читал, посещал вечерние курсы марксизма-ленинизма. В Низовске вскоре обратили на него внимание, как на образованного коммуниста, точного в формулировках, с хорошей памятью на цитаты, способного прочитать лекцию на любую тему: «О диалектическом и историческом материализме», «О противоречиях между американским и английским империализмом», «О коммунистической морали и этике», «О происхождении жизни на Земле». Его зачислили в лекторский актив. В школе у него дела шли неплохо, успеваемость была приличная, никаких жалоб из школы от учителей и учащихся в городские организации не поступало. Молодой, статный, благообразный, с высоким красивым лбом философа, всегда чисто одетый, в толстых очках с золотой оправой, директор школы Медведев становился всё более заметной фигурой в городе. Через год-полтора его взяли на работу в горком партии пропагандистом, а ещё через год, после очередной городской партконференции, он уже был утверждён заведующим отделом агитации и пропаганды и избран на пленуме членом бюро горкома.

Прошлой весной его вызвали в обком и спросили: согласен ли он переехать в Троицкий район к Мартынову вторым секретарём райкома? Медведев слышал от работников обкома о Мартынове, что это человек с тяжёлым характером, заносчивый, что к нему хорошо относится первый секретарь обкома и он поэтому зазнался, что из-за него «полетел» опытный старый кадровик Борзов, что с ним нелегко сработаться, что он третирует работников своего аппарата, что он вообще держится на своём месте лишь до «больших перемен» в области, и прочее. Подумав, Медведев дал согласие. Всё же такое быстрое продвижение вверх на партийной работе не могло не радовать его. А насчёт «больших перемен» в обкоме действительно ходили тогда упорные слухи. Алексея Петровича Крылова хотели забрать будто бы в Москву, в аппарат ЦК.

Но и Крылов остался пока на месте, и Мартынова никто не собирался снимать. И у Медведева, вопреки предположениям, за всё время, что он работал в Троицке, не было крупных стычек с Мартыновым. Сам Медведев старался всегда как-либо обойти спорные вопросы, чаще отделялся молчанием на бюро или осторожно присоединялся к большинству, когда уже было ясно, как поделится голоса. Да и Мартынов не проявлял никаких агрессивных намерений, не «зажимал» и не третировал его.

Не было стычек, но и не было у них душевной близости. Мартынов не очень загружал его колхозными делами, больше требовал от него помощи по части партийной учёбы, лекционной пропаганды, работы с интеллигенцией. В хозяйственной жизни района ближайшим его советником был Руденко, а после него новый предрайисполкома Митин. Часто Мартынов то с Руденко, то с Митиным засиживался в своём кабинете за разговорами до поздней ночи. Медведева не звали, да и сам он не заглядывал к ним «на огонёк», даже когда шёл мимо райкома домой из кино или с учительского собрания. Не очень интересовали его эти ночные беседы, мечты вслух о будущих переменах в районе, строительство в тиши ночной «воз-

душных замков». Если какие-то вопросы перспективного развития района назрели, можно о них и днём поговорить, в официальном порядке, на заседании бюро или исполкома райсовета.

Руденко однажды обидно пошутил: «На Кавказе часы проверяют по рёву ишаков, а у нас их можно проверять по приходу товарища Медведева на службу и уходу домой — каждый день минута в минуту!»

Когда зимой перед памятным собранием партактива Мартынов, раздумывая, как «сломать лёд», завёл разговор с Руденко и Медведевым, что надо бы кому-то из них начинать, и Медведев отделался кислыми шутками, а потом сказался больным и до окончательного утверждения на бюро списка добровольцев не выходил из дому, — понял Мартынов, что, если нажать и заставить его всё-таки подать заявление о посылке в колхоз председателем, толку из этого не будет. С тех пор он просто как бы не стал замечать Медведева. Встречался и разговаривал с ним только по делу. Не мог забыть того ночного разговора в райкоме и перебороть в себе зародившейся неприязни к Медведеву. По должности, по штатной ведомости были они людьми самыми близкими друг другу — первый и второй секретари, а по душе — чужими.

И вот случилось, что Медведев на неопределённое время стал первым секретарём Троицкого райкома партии...

И как бывает иногда с такими, как будто неуверенными в своих силах, на вид мягкими и деликатными людьми, лишь сел Медведев за стол первого секретаря, как появились у него и крик, и стук кулаком по столу — пожалуй, от этой самой неуверенности, — и такие выражения в телефонную трубку, что у девушек на почте уши краснели, как лепестки пиона, и начальственная осанка, и первые признаки молодого, ещё не окрепшего, не развившегося по-настоящему самодурства.

Троицкие коммунисты наблюдали за ним с удивлением, не веря своим глазам: наш ли это тишайший и добрейший Василий Михайлович Медведев, не подменили ли человека?..

Дней за десять до начала полевых работ проходил пленум райкома. Обсуждался вопрос о весеннем севе. Это был первый пленум, который самостоятельно проводил Медведев. Доклад сделал Митин. Развернулись, как всегда, прения.

Выступил инструктор райкома по зоне Надеждинской МТС Зеленский и рассказал, что делается в колхозах, где четыре месяца назад были выбраны новые председатели. В его группе было три таких колхоза: «Борьба», где председателем работал бывший райпрокурор Нечипуренко, «Вехи коммунизма», куда поехал Руденко, и «Рассвет», где выбрали председателем бывшего инспектора по определению урожайности Бывалых.

Зеленский рассказал много хорошего о работе первых двух председателей, взявшихся за дело энергично, с душой, и обрушился на Бывалых, который, по его мнению, просто саботировал: тонко придерживался в работе такой грани, чтобы и не потерять партбилета за полный развал дела, но и чтобы не держали его там долго, чтобы всё же удрать из колхоза не позднее лета.

Говорил Зеленский и о предстоящем весеннем севе, о посевах кукурузы, потом опять вернулся к кадрам председателей и бригадиров, ещё долго, с возмущением говорил о Бывалых, о коммунистах из партийной организации этого колхоза, не подающих колхозникам примера честного отношения к делу, и закончил свою речь в смысле внутренней логики вообще-то правильно, но по форме выражения так, что кое-кому резнуло ухо:

— Всё же, товарищи, нам нужно продолжать укреплять колхозные кадры, а таких бездельников, где они ещё остались, гнать в шею! И тогда мы справимся со всеми нашими задачами! Кадры решают всё! С хорошим председателем, с хорошими бригадирами никакая кукуруза не страшна!

В зале засмеялись, а Медведев, строго нахмурившись, не сводя глаз с усевшегося на место Зеленского, тут же вышел из-за стола к трибуне и «дал отпор» его выступлению.

— Что хотел сказать товарищ Зеленский этими словами: «никакая кукуруза не страшна»? Значит, по его мнению, кукуруза — культура страшная? С нею страшно, опасно иметь дело? Да, такой вывод можно сделать из его слов. Он не сказал об этом прямо, но это мы уловили между строк. Видимо, товарищ Зеленский — против решений Цека и обкома!..

Сразу же после закрытия пленума Медведев позвал членов бюро в свой кабинет, чтобы обсудить «антипартийное» выступление Зеленского.

Растерявшийся Зеленский не знал, что и сказать в своё оправдание.

— Да я же ничего, товарищ Медведев! Я же не против кукурузы. Я воевал на Украине, видел, какие она там даёт урожай. Зачем вы цепляетесь к слову?

За него вступился Нечипуренко — он, Руденко и Жбанов оставались ещё членами бюро до очередной районной партийной конференции.

— Что мы тут делаем из мухи слона? К чему такая архибдительность? Ничего антипартийного не вижу я в выступлении Зеленского! Ясно же, что он хотел этим сказать. Что хороший председатель справится с этой культурой, сумеет и посеять, и убрать, и засилосовать. А плохой председатель завалит это дело. Факт! И есть ещё у нас такие председатели!

Бывшего прокурора поддержал Руденко:

— Зачем нам глаза закрывать на правду? Действительно, кукуруза новая у нас культура, нет ещё у нас опыта, как её выращивать. Выгода от неё хозяйству большая, но, конечно, и трудности будут большие, особенно на уборке. Время подойдёт и сахарную свёклу копать, и зябь пахать, и озимые сеять. Траншей надо много выкопать под силос, облицевать их. Куча работы! А товарищ Зеленский сообщает нам вот, что в «Рассвете» попрежнему половина колхозников сидит дома, семена некому чистить. Бороны до сих пор не отремонтировали. Конечно, в таком колхозе кукуруза не уродит. Её же обрабатывать некому будет. А если и уродит, так осенью до ума не доведут её, не уберут, не засилосуют. Я так понял Зеленского: чтоб была в колхозе хорошая кукуруза и чтоб вообще был там хороший урожай, нужен хороший председатель. Правильно сказано! О чём спорим? Не все наши добровольцы работают на совесть. И Ковригин в «Пятилетке» тоже воет на луну, поглядывает, как бы махнуть через тын. Аппендицит вырезали, теперь на сердце жалуется, в обморок уже, говорят, два раза падал на заседании правления. Не на то порох тратим, Василий Михайлович! Не Зеленского бы нам тут распинать, а подумать о таких колхозах, что с ними делать? Стоит ли держать там дальше в председателях этих нытиков припадочных?..

Митин и другие члены бюро тоже не нашли повода к тому, чтобы «распинать» Зеленского. Медведев остался в меньшинстве. За его предложение объявить выговор Зеленскому голосовали только он и Жбанов.

Закрыв заседание бюро, Медведев встал, рывком отодвинул кресло, вышел из-за стола, повернулся к окну и стоял так, молча, не оборачиваясь и не прощаясь, пока все не разошлись.

Руденко и Нечипуренко, пройдя длинный тёмный коридор в здании райкома и выйдя на крыльцо, переглянулись с невесёлой усмешкой и разом тяжко вздохнули: «Охо-хо-хо...» Руденко пропел сквозь зубы, застёгивая крючок под воротником овчинного полушубка: «Начинаются дни золо-тые-е...»

Нечипуренко сразу поехал домой на попутном «газике» Долгушина, а Руденко постоял немного, подумал, зашёл в магазин, купил банку клубничного варенья и пяток лимонов, разыскал во дворе райкома своего конюха с санями и подъехал к больнице, где лежал Мартынов, к большому

красивому, в готическом стиле дому, принадлежавшему некогда князю Барятинскому, в сосновом парке на окраине Троицка. Врачи допускали уже к Мартынову посетителей, и редкий день у него обходился без гостей из колхозов.

До поздней ночи стояли сани Руденко в затишке под каменной оградой больницы; конь, привязанный вожжами к телеграфному столбу, подбирал, нагибаясь и позвякивая удилами, брошенное ему под ноги сено, сторожко поводил ушами, прислушиваясь к глухому гудению проводов в вышине на сыром мартовском ветру, а конюх, опорожнив перед дальней дорогой четвертинку и закусив домашним салом, сладко храпел на снях под двумя тулупами.

Ушёл Руденко от Мартынова, наговорившись вдосталь обо всех районных и колхозных делах, лишь когда дежурная сестра стала уже гасить свет в палатах. Закурив папиросу, умащиваясь поудобнее в снях спиной к ветру, оглядываясь на высокое, со шпильями, исчезавшее в темноте за поворотом дороги здание больницы, Руденко бормотал про себя: «Нас — на передовую, а сам — в медсанбат... Непорядок, беспорядок! Угораздило же тебя, Илларионыч! Кого оставил за себя? Хлебнём мы, кажется, с этим ортодоксом горячего до слёз!..»

## 3

Особенно трудно пришлось без Мартынова директору Надеждинской МТС Долгушину. В большой и сложный переплёт попал этот человек в свою первую деревенскую, за пятьдесят с лишним лет жизни, весну...

Долгушин не один был в районе «москвич», как стали называть всех присланных на постоянную работу в МТС специалистов, хотя некоторые приехали совсем и не из Москвы — из Курска, Воронежа, Подольска.

Направленный в Семидубовскую МТС к Глотову главным инженером коммунист Чумаков, бывший заместитель директора одного крупного воронежского завода, просто позорил ту организацию, что рекомендовала его на работу в деревню, хныкал, жаловался на болезни, на неустройство семьи, оставшейся в Воронеже и не желающей переезжать в деревню, написал даже в автобиографии, когда заполнял личное дело: «С 1949 года страдаю гемороем в тяжёлой форме», совершенно не знал сельскохозяйственных машин и не старался их изучить, работал из рук вон плохо.

В Олешенской МТС не ладилось с главным агрономом Стрельниковым, присланным из области, из управления сельского хозяйства. Большой специалист, кандидат биологических наук, человек трудолюбивый и усидчивый, он отвык за много лет работы в канцелярии от живого общения с колхозниками-хлеборобами. Очень трудно было вытащить его из конторы МТС в поле к озорным и острым на язык колхозникам в бригадах, прозвавшим его за малый рост, смирный характер и округлую полноту «Карасиком». У этого агронома Стрельникова была ещё беда — травопольные севообороты. Он выпустил в своё время много брошюр о травополье, горячо пропагандировал расширение посевов многолетних трав в области, был за это крепко бит после февральско-мартовского Пленума ЦК и сейчас, очень напуганный, боясь, как бы и на новом месте в чём-нибудь не ошибиться, ни одного, самого пустякового вопроса не решал самостоятельно, без согласования в райкоме и областном управлении.

Одного инженера-цементника из Подольска, Кольцова, учтя его опыт партийной работы (он был в армии отсекром партбюро полка), утвердили секретарём райкома по зоне Семидубовской МТС. А в Надеждинскую МТС, к Долгушину, поехал зональным секретарём Холодов, присланный в район с ответственной работы в областном управлении МВД.

Из всех «москвичей» Долгушин был, пожалуй, самым «высокопоставленным» по должности, занимаемой до посылки в деревню, — заместителем

лем начальника главка в Министерстве чёрной металлургии. В его учётной карточке значились ещё такие посты: уполномоченный Наркомтяжпрома на крупном строительстве на Востоке, директор завода в Донбассе, заместитель директора треста. В гражданскую войну он служил в ЧОНе (части особого назначения), был в комсомоле с 1918 года, в партию вступил в 1925 году.

Среди других приехавших в деревню специалистов Долгушин повёл себя несколько необычно. Не обращался в райсовет за помощью насчёт жилья, снял себе комнату, пока был ещё без семьи, в доме одного бригадира на усадьбе МТС, получил сразу же в Госбанке причитающийся ему долгосрочный кредит и стал понемногу закупать лес и прочие материалы для строительства собственного дома в Надеждинке.

Медведев заметил тогда Мартынову:

— Хочет показать, что приехал к нам навсегда, не думает о возвращении в Москву. Пыль в глаза пускает. Как будто нельзя продать дом, в случае если будет отсюда удирать. Ещё заработает на этом деле тысяч пять!

На что Мартынов неопределённо пожал плечами.

— Поживём — увидим. Ему уже пятьдесят четыре года. Он мне говорил: много шатался по свету, а теперь уж буду устраиваться так, чтобы здесь и доживать на пенсии, когда выйду по старости в тираж. Посмотрим, как будет работать. Зачем заранее плохо думать о человеке?

А работать оказалось нелегко. Знал Долгушин, когда ехал в деревню, что ему предстоят большие трудности, но такого всё же не ожидал.

Надеждинка была одной из тех забытых министерством и областью молодых, организованных после войны на голом месте МТС, которым как дали в первом году тракторы, прицепной инвентарь, несколько изношенных станков для ремонтной мастерской и мизерную сумму денег на самое необходимое обзаведение, так с тех пор много лет подряд и не отпускали больше ни копейки на капитальное строительство. Тракторы, комбайны, севялки, культиваторы — всё зимовало в снегу, да и ремонтировалось почти на снегу, если не считать сарая, покрытого соломой, с жердевыми необмазанными стенами, где пыхтел нефтяной движок и стояли станки, куда можно было загнать на ремонт не больше трёх тракторов.

О Надеждинке забыли, да и сам бывший, последний перед Долгушиным директор МТС Зарубин не очень старался напоминать о её существовании, чтобы не нажить себе лишних хлопот в виде строительства новой мастерской, общежитий для трактористов и прочего. Зарубин был бесцветной личностью, из тех руководителей, о которых в народе после их снятия или перевода в другое место «ни сказок не рассказывают, ни песен не поют». Единственное, чем вспоминали Зарубина и что стало почти легендой, — это поразительное незнание им дорог в зоне своей МТС. За три года, что пробыл директором, он запомнил дорогу только в колхоз «Верный путь», где его жена работала акушеркой в родильном доме, да ещё в один-два самых богатых колхоза, хотя и сам водил «газик». Однажды заехал в тракторную бригаду, стал ругать трактористов за то, что не там пашут, где отвели участки под пар, а те смотрят на него с удивлением: откуда ты взялся у нас, такой начальник? Оказалось, не в свою бригаду попал, по ошибке в соседний район заскочил. Ни дорог в колхозы не знал, ни своих трактористов в лицо.

Кроме того, Зарубин не отличался особой щепетильностью насчёт точности в сводках и донесениях областным организациям. После уже, когда Долгушин стал немного разбираться в тракторах, а Зарубина отозвали из района и он уехал по торговой части куда-то на Камчатку, Долгушин обнаружил, что семь дизелей в числе принятых им ходовых машин, деньги на ремонт которых получены уже и израсходованы, нуждаются не в капитальном даже, а в восстановительном ремонте.

Принял он МТС с арестованным счётом в Госбанке, с двухмесячной задолженностью по зарплате рабочим и служащим, с перерасходованным лимитом горючего, без ремонтной базы, с почти голой усадьбой. Даже лампочку над письменным столом в обшарпанном директорском кабинете Зарубин выкрутил, как собственную, и унёс домой.

Чем больше знакомился Долгушин с положением в МТС, тем сильнее негодовал и недоумевал от всего увиденного. Однажды, уже перед весной, он зашёл в райком к Медведеву и высказал ему своё возмущение.

— Вот только сейчас, Василий Михайлович, когда растаяли сугробы, я вижу всё хозяйство МТС, вижу наш инвентарь и в каком он состоянии. И я просто поражаюсь: как Пётр Илларионович, вы и товарищ Руденко — он тогда был председателем райисполкома, — как вы отпустили с миром из района Зарубина? Ведь за такие вещи расстреливают! Это же государственные миллионы!

Медведев выслушал его с неудовольствием.

— Не с того начинаете, товарищ Долгушин. Этим не поправите положения, что будете валить вину на предшественника. Пора уже самому что-то сделать видное в МТС. Для того вас и послали туда, чтоб вы наладили дело.

— Сам знаю, — отвечал Долгушин, — что это не бог весть какая доблесть для руководителя охаивать всё, что было до тебя, и в этом искать оправдание сегодняшним непорядкам. Но, знаете ли, то, что я увидел, это уж переходит всякие границы терпимого. Не могу просто умолчать об этом. Если я поработаю в Надеждинской МТС три года и в таком виде стану передавать её новому директору, и меня нужно будет судить, как врага народа... Два года тому назад МТС получила пять новеньких льнокомбайнов, хотя, как вам известно, льна мы не сеем ни гектара. Какой-то растяпа, если не хуже, заслал их в нашу область вместо другой области, Псковской, может быть, не знаю, где лён сеют, я вообще-то недавно, здесь уже только узнал, что и как сеют колхозники на полях. И Зарубин ничего не сделал, чтобы эти льнокомбайны перебросили куда следует. Не написал в министерство, не обращался ни в областное управление, ни в обком, ни куда. Поставили их на усадьбе МТС на проходном месте; кому нужны гайка, болтик — идут, откручивают, и сейчас от этих комбайнов остались одни скелеты. Новые машины, каждая стоит десятки тысяч рублей. А жнейки! Я принял в числе прочего инвентаря двадцать конных жнеек. Они были переданы под сохранные расписки в колхозы. На прошлой неделе я проверил в четырёх колхозах, где эти жнейки, в каком они состоянии. И следа от них не нашёл! В «Коммунаре» только видел на поле колёса и раму от одной нашей жнейки. Оказывается, их в колхозах растащили по частям и употребили на ремонт своих жнеек. Боюсь, что все двадцать постигла такая участь. Из пяти новых зерновых комбайнов, полученных в прошлом году, два, как мне доложил главный инженер, требуют уже капитального ремонта. Да что ж это такое? И человек, который отвечает перед государством за эти миллионы, благополучно, с партийным билетом уехал в другую область на новую работу!

— Он был не в нашей номенклатуре. Не мы ведаем перебросками таких работников.

— «Не мы ведаем»... Он коммунист, Василий Михайлович, и мы коммунисты! — возражал Долгушин. — Ведь он же где-то и там, на Камчатке, подберётся к большому посту и так же будет губить народное имущество, разваливать дело! Скажите просто: умыли руки. Не захотели затевать скандала. Надо выносить решение, а потом отстаивать его перед областью, Москвой. Пусть уж убираться от нас с богом. Где угодно пусть вредит государству, лишь бы не в нашем районе... Я не понимаю, как можно было за три года ничего не построить на усадьбе! Трактористы за пятнадцать километров ходят из сёл к нам на ремонт тракторов. Три-четыре ча-

са поработают и идут домой. Нет общежитий. Не давали ему средств на капитальное строительство, но можно же было что-то сделать, хоть немного, своими силами, хозяйственным способом, мобилизовать как-то народ! Собрал бы жён трактористов — осенью, когда ещё было тепло, — привёз бы их на усадьбу: «Вот, смотрите, в каких условиях ваши мужья ремонтируют тракторы», и они бы, в порядке воскресника, обмазали глиной этот сарай, что мы называем мастерской. Чтоб хоть снегом станки не засыпало.

Медведев, перелистывая бумаги на столе с видом очень занятого человека, которому не до лишних разговоров, кисло усмехнулся.

— Ну, вот посмотрим, посмотрим, как у вас пойдут дела, как вы там будете мобилизовывать народ.

— Я прошу, товарищ Медведев, — твёрдо сказал Долгушин, — не только смотреть, как у меня пойдут дела, но и помогать мне.

— Вот как! — поднял голову Медведев. — Значит, вы считаете, что райком вам не помогает?

— По совести сказать, пока что помощи я видел мало, — сказал Долгушин, глядя в толстые стёкла очков Медведева, за которыми нельзя было разобрать ни цвета его глаз, ни их выражения. — Когда вы мне звоните и требуете, чтобы к такому-то числу был закончен ремонт последних тракторов, нельзя сказать, чтобы вы раскрывали передо мною в работе какие-то новые перспективы, которых я сам ещё не видел. Я был бы круглым идиотом, если бы не понимал, что перед весенним севом полагается отремонтировать весь тракторный парк. Но как инженер, имевший дело с машинами, я знаю, что тракторы должны быть не только в срок отремонтированы, но и хорошо отремонтированы. Мне уже известно, что в прошлом году Зарубин первым по области рапортовал об окончании зимнего ремонта тракторов, а на весеннем севе у него половина машин стояла... Когда я сижу на заседании бюро райкома и три оратора подряд называют меня человеком, лишённым чувства ответственности, не дорожающим государственными интересами, не понимающим, недооценивающим, не уважающим, не сознающим и так далее, — не могу и это признать помощью. Вряд ли это может кого-либо окрылить в работе. Я выхожу из райкома просто в недоумении: зачем же меня, такого ничего не понимающего бездельника, назначили директором МТС?..

— Насколько мне помнится, бездельником вас ещё никто не называл, — пожал плечами Медведев.

— Хуже! Преступником называли! — рассмеялся Долгушин. — И не кто иной, как вы сами называли, Василий Михайлович! Когда вы говорите на бюро, не указывая на меня пальцем, что Надеждинская МТС преступно срывает ремонт тракторов, то кто же всё-таки там этот первый и главный преступник? Конечно, я, директор МТС.

Медведев, выпрямившись в кресле, начал нервно постукивать согнутыми пальцами по столу.

— Ну, это вы, дорогой Христофор Данилович, бросьте! Этого мы вам не позволим! Не удастся! Не выйдет!

— Что?

— Вам не удастся лишить нас, райком партии, права руководить! Требовали и будем требовать от всех наших коммунистов ответственности в выполнении государственных заданий! Не вы руководите районом, а мы! А в какой форме требовать, это уж разрешите нам знать. У нас не институт благородных девиц, в выражениях мы не стесняемся. И исключений не делаем никому. Для нас все директора МТС и председатели колхозов равны. Мы не будем смягчать форму наших требований для некоторых товарищей, принимая во внимание их высокое положение в прошлом.

Теперь Долгушин пожал плечами.

— Дело не в прошлом моём положении, а в настоящем... Я помню первый наш разговор, в этом же кабинете, с товарищем Мартыновым и с вами, когда я приехал. Мне была обещана помощь.

— Какой же вы ещё хотите помощи?

Долгушин помолчал минуту.

— Я прошу вас, товарищ Медведев, усилить политическую работу в нашей МТС. У нас есть зональный секретарь товарищ Холодов, ему надо помочь нащупать главное. Он, видно, человек не пустой, но как-то не нашёл ещё себе места. То он пытается встать надо мною в роли начальника политотдела, то превращается в мою тень, ездим вместе, и он повторяет вслед за мною те же слова, что я говорю колхозникам. Было бы бестактно, если бы я стал учить его, как ему следует построить свою работу. А вам это можно и нужно сделать... И ещё прошу вас: займитесь колхозными парторганизациями.

Медведев снял очки, протёр носовым платком стёкла. Глаза его были опущены, глядели куда-то под ноги или в чуть выдвинутый ящик стола. Лицо, обычно свежерозовое, с приятным матовым оттенком кожи, словно припудренное, покраснело, вспотело. Левая бровь подёргивалась.

— Да? Вы советуете нам заняться колхозными парторганизациями? — насколько смог спокойно, сказал Медведев. — К вашему сведению, мы всегда ими занимались и занимаемся. Этого от нас требуют обком и Цека. Мы не ждали ваших указаний и советов по этому поводу... Насчёт Холодова я запишу и проверю, что у вас там получается, кто над кем пытается встать. — Медведев сделал пометку в настольном блокноте. — А колхозы вообще-то не ваша печаль, товарищ Долгушин. Знайте свой тракторный парк, комбайны, трактористов, прицепщиков и не лезьте туда, куда вас не просят.

— Нет, простите, товарищ Медведев, — тоже подчёркнуто спокойно возразил Долгушин, — я не собираюсь уподобиться бывшему директору Зарубину, который не знал дорог в колхозы. Я буду знать эти дороги, буду ездить по ним, уже езжу. В решениях Пленумов Цека записано, что машинно-тракторные станции отвечают за всё колхозное производство, за урожай, за надой молока, за настриг шерсти. И не только за производство. Заготовки, строительство, учёба колхозников — за всё отвечает МТС. Как же я могу не лезть в колхозы?.. Я не знаю, Василий Михайлович, как вы занимаетесь колхозными парторганизациями, но я встречаюсь кое-где в колхозах с такими фактами, что у меня с непривычки, после работы в промышленности, просто волосы дыбом встают. На заводе ведь такого не бывает, чтобы половина коммунистов, состоящих в парторганизации, болталась без определённых занятий и не принимала никакого участия в производственной жизни. Можно себе представить, чтобы там собирались на партийное собрание и обсуждали вопросы жизни завода коммунисты, не имеющие никакого отношения к заводу, к производству? Праздношатающиеся коммунисты? Начальники без портфелей? Этого на заводе не бывает и быть не может. А в колхозе «Рассвет» у товарища Бывалых именно такое положение. Там четыре бывших председателя колхоза, снятых за всякие провинности, бывший заготовитель. На рядовые работы не идут, слоняются по селу без дела, ожидают, пока подвернётся ещё какая-нибудь должность, хотя бы экспедитора в сельпо или заведующего парком. Что же это за парторганизация? А на секретаря парторганизации Чайкина у меня в МТС уже десять жалоб от колхозников. Он заведует там молочносливным пунктом. Обсчитывает колхозников на процентах жирности молока... Вы спрашиваете, товарищ Медведев, чем мне ещё нужно помочь. Не мне — колхозам нужно помочь. Если мы хотим добиться большого подъёма в массах колхозников, то надо же в первую очередь коммунистов поднять. Так всегда было в нашей партии — коммунисты шли в авангарде.



— Спасибо за сообщение.— Медведев склонил голову в вежливом полупоклоне.— У нас в плане работ на апрель записано: провести через нашего инструктора обследование работы парторганизации колхоза «Рассвет» и заслушать на бюро отчёт секретаря товарища Чайкина. Как видите, и без вас информация к нам поступает. Ваши новости — не первой свежести.

— Тем хуже! Чего же вы терпите там такое положение?

— А что прикажете сделать? Снять секретаря? Исключить из партии бывших председателей? Избиение учинить? Кто нам утвердит такое решение?..

— Не знаю, кто утвердит. Поговорить надо с этими не работающими коммунистами. Если не пройдёт до сердца, то, может быть, придётся и исключить кое-кого из партии. Надо разобраться, во всяком случае, с этой парторганизацией!..

— Разберёмся. А вы, товарищ Долгушин, во всяком случае, учтите, что с вас, как директора МТС, мы в первую очередь всё же будем спрашивать за работу тракторов, за качество сева, за сроки выполнения спущенных вам производственных планов, а не за воспитание коммунистов и не за колхозные избы-читальни. Не отвлекайте своё и наше внимание в другую сторону.— Тут голос Медведева сорвался наконец почти на крик.— И колхозы мы вам на откуп не отдадим! Райком партии руководил и будет руководить колхозами! Мы свои обязанности знаем! А вы, товарищ директор МТС, знайте своё место!..

— Министерские привычки... — бормотал Медведев дрожащими губами, вытирая платком потное лицо, поглядывая на дверь, закрывшуюся за Долгушиным.— Хочет превратить свою МТС в удельное княжество. Райкому указывать... Парторганизации, наши инструктора — это, видите ли, всё для него, ему в помощь!.. Подсобные службы... Ну, погоди, мы собьём с тебя спесь! Шёлковым станешь! Будешь навтыжку вставать вот перед этим столом, в этом кабинете!..

А Долгушин, усаживаясь в доставшийся ему по наследству от Зарубина выдавший виды, с разнокалиберными скатами, погнутыми, дребезжащими открывками и дырявой, облезлой фанерной будкой директорский «газик», думал, пожимая плечами:

«Или просто не умён, хотя и считается в районе образованным марксистом, или...»

А что ещё «или» и самому Долгушину было пока не ясно.

Вот так с самого начала сложились у него отношения с Медведевым.

Вторая трудность была у Долгушина — полное незнание сельского хозяйства. Не знал и не понимал он первое время в сельском хозяйстве ничего решительно, до смешного. Есть горожане, выходцы из деревни, которые хоть в далёком детстве гоняли лошадей в ночное или воровали на бахчах арбузы. Долгушин ни в детстве, ни в юности, ни в зрелом возрасте никакого дела с деревней не имел. Узнал он немного деревню, лишь когда в отрядах ЧОНа гонялся за бандами. А после он видел её только из окна вагона, когда приходилось ехать куда-либо железной дорогой.

Долгушин вырос в семье мелкого кустаря-лудильщика на Волге, в городе Вольске. Дед его, цыган, был изгнан из табора за то, что сошёлся с русской женщиной. Отец, по наружности тоже цыган, был оседлым уже с рождения до смерти. И Христофор вышел лицом в деда. Часто где-либо на базаре цыгане, приняв Долгушина за своего, заговаривали с ним на языке «рома», но он в ответ лишь разводил руками и смеялся — не знал ни слова по-цыгански.

Жена Долгушина была по происхождению крестьянка, до восемнадцати лет жила в деревне, пахала, боронила, вязала снопы. И вот к ней-то первое время, когда она ещё жила в Москве, Долгушин и обращался частенько за консультацией по разным сельскохозяйственным вопросам.

Поздно ночью, оставшись один в конторе МТС, он вызывал почту и заказывал номер своей московской квартиры.

— Люда? Здравствуй! Разбудил?.. Ну, как живёшь?.. Коля пишет? А от Нади есть письмо?.. Ну хорошо, хорошо... Дом? Пока только навозил кучу брёвен. Не скоро, пожалуй, отстроюсь. Придётся тебе переезжать пока на квартиру... Да вот так, как и я живу, у хороших людей... Ничего, ничего, перетерпим. Весна на посу, сама понимаешь — не до строительства мне сейчас... Милочка, вот у меня к тебе вопрос. Перерыл все справочники, нашёл разные породы коров: сентимен... симментальскую, костромскую, холмогорскую, ярославскую, швицкую, шортгорнскую, бестужевскую, остфризскую, а яловой не нашёл. Часто слышу, и не знаю, что это за порода — яловая?.. А?..

Из далёкой Москвы доносился в трубке сначала сонный и недовольный, а затем повеселевший, смеющийся женский голос:

— Дружок мой, это не порода. Это нестельные коровы.

— Как?.. Давай по буквам. Никифор, Елена, Степан, Терентий, Елена, Леонид, мягкий знак... Так. А что значит — нестельные? Которые уже не ходят с телятами? От которых отняли телят?..

В трубке слышался хохот.

— Ох ты, господи, и зачем только таких городских пижонов назначают директорами МТС!..

— Ну ладно, брось смеяться, ты мне объясни по-человечески.

— Это небеременные коровы. Понятно тебе? Такие, что или вообще почему-то не способны давать приплод или перегуливают.

— Ага, понятно. Не желают рожать, чтоб фигуру не испортить. И молока, конечно, такие красавицы дают меньше?..

— Меньше, меньше. Совсем не дают!

— Так, учтём... Милочка, вот ещё вопрос. Какими машинами шаруют сахарную свёклу? Не вижу никаких шарообразных орудий на нашей усадьбе, и спрашивать людей как-то неловко. Тут уже одного главного инженера в соседней МТС прозвали «зябликом» за то, что он сказал: «зябликовая пахота»... А-а, вот что такое шаровка. Понятно... А это правда, что куры могут нести яйца и без петухов? Не разыгрывают меня колхозницы? Я вот на одной птицеферме здесь видел одних кур... Правда?.. Ну, спасибо. Нет, пока всё. Хочу поехать дня два по колхозам, тогда ещё будут вопросы... Какие отношения с начальством? Да так себе... Ничего, наладится... Почему поздно звоню? После двенадцати ночи — по дешёвому тарифу. За свой звоню. В МТС на счёт денег нет... Ну, отдыхай, спи. Прости, что побеспокоил. Целую. До свидания!

Но Долгушин зря опасался, что к нему может пристать какое-нибудь нелепое и смешное прозвище, вроде «зяблика». Люди в МТС видели, что он берётся за дело по-честному, всерьёз, приехал в деревню не в гости, и охотно шли ему на помощь в изучении незнакомого сельского хозяйства. Никто и не думал потешаться над его городской «необразованностью» в делах хлеборобов. Все знали, что он инженер-металлург, был, возможно, большим специалистом в промышленности, а что не пришлось ему повидать, как сеют и убирают хлеб, — что ж тут удивительного? Так сложилась жизнь у человека — всё по городам, заводам, по металлу. Колхозники, простой народ, очень деликатны и чутки к новому, приехавшему к ним на работу человеку, будь он растрижда горожанин, если только видят, что он действительно хочет жить и работать в деревне и всерьёз интересуется их исконной земледельческой профессией, не ленится встать на зорьке, пройти пешком по полям, не гнушается похлебать с ними полевого супа «кандёра» и не зажимает нос надушенным платком, переступая порог свинарника. Пожилые колхозники помнили и двадцатипяти тысячников-рабочих и политотдельцев, которые поначалу тоже не знали сельского хо-

зайства, но были хорошими организаторами и с задачами, поставленными перед ними партией, справились успешно.

Добровольных учителей у Долгушина нашлось очень много. Даже шофёр Володя, с которым он ездил на «газике», молодой парень, только что отслуживший действительную в армии, часто останавливал, без просьбы директора, машину среди пути, молча выходил из неё на обочину дороги и подзывал к себе Долгушина.

— Вот тут, Христофор Данилыч, вспахано под зябь просто так, без предплужников. Видите — груды, канавы, корневища сверху. А вот это — с предплужниками. Как слитая пахота, и вся дернина уложена на дно борозды. Можно чуть тронуть боронкой, в один след, и сеять. Потому товарищ Вильямс и нажимал на предплужники, чтоб меньше распылять почву бороной. А вот что мы называем — огрех. Заснул, должно быть, тракторист и поехал с плугом не туда. Вон какую балалайку бросил. А вот это — перекрёстный сев, озимая пшеница. Видите — и так и так рядки. А делается это вот для чего.

Володя садился на корточки и начинал чертить сухой бурьянкой по земле, показывая, как размещаются семена в почве при обычном севе и как при перекрёстном, как увеличивается площадь питания для каждого зёрнышка и устраняется угнетение одного ростка другим. И хотя Долгушин знал уже о таком способе сева от своих агрономов и из литературы, он терпеливо выслушивал и эти объяснения молодого своего наставника, чтобы не отбить у него охоту рассказать в другой раз, может быть, и такое, что ему, Долгушину, было ещё неизвестно. Володя окончил в армии школу шофёров и там же прослушал курс лекций по агрономии, готовясь по возвращении домой поступить в сельхозтехникум. Но домашние обстоятельства — больная мать и маленькие братишки и сестрёнки — не позволили ему уехать на учёбу. Пошёл работать в МТС шофёром.

За зиму Долгушин если не на практике ещё, то всё же хоть в теории овладел основами земледелия и животноводства. Дни у него были до отказа заполнены деловой сутолокой в конторе и на усадьбе МТС, вызовами в область, в район, отчётами, сводками, заседаниями, совещаниями. Если Долгушина вызывали в областной центр, он прихватывал с собой и кого-нибудь из своих специалистов, агронома или зоотехника, чтобы всю дорогу в поезде, туда и обратно, десять часов, в разговоре с ним выуживать из его знаний необходимое и полезное для себя. На сессии райсовета Долгушин подсаживался в задних рядах к какому-нибудь старому опытному председателю колхоза и, если выступления ораторов были неинтересны, всё шептался с ним, расспрашивал, как он ведёт хозяйство, какие культуры и в какие сроки высевает, каким способом поднимает продуктивность животноводства, как при нехватке леса думает обернуться со строительством и т. п.

Для сна Долгушин оставлял четыре-пять часов в сутки. Завалил свою квартиру учебниками, сборниками агрономических статей, сочинениями Докучаева, Тимирязева, Вильямса, Лысенко, читал и перечитывал ночами нужные книги по несколько раз, заносил всё непонятное в особый вопросник для консультации со своими специалистами или с женой при очередном телефонном разговоре с нею. Даже из художественной литературы в «Когизе» внимание Долгушина в первую очередь привлекали книги с сельскохозяйственными названиями: «Жатва», «Урожай», «Комбайнеры», «Глубокая борозда».

Инженер-металлург, старый коммунист, Долгушин отнёсся к своему переезду на работу в деревню, как к боевому приказу партии. За тридцать лет пребывания в партии он привык только так принимать её поручения: как приказ, который надо выполнить беспрекословно, даже не заикаясь о трудностях, не щадя себя, думая лишь о деле, отодвинув всё остальное, личное, на задний план.

Неладно складывались отношения у Долгушина и с управлением сельского хозяйства.

Ему, свежему человеку из промышленности, выработавшийся в этом областном учреждении стиль руководства машинно-тракторными станциями показался просто юмористической пародией на руководство.

За зиму у него в МТС перебивало десятка два всяких ответственных работников из областного управления. Бог знает, зачем они приезжали. Ответственными они числились лишь по штатной ведомости там у себя, в учреждении. Здесь же, «на поле боя», они были обыкновенными сборщиками сводок и не решали самостоятельно и ответственно ни одного вопроса, ни большого, ни малого.— Что делать с этими семью «ДТ-54», на ремонт которых ещё Зарубин получил и израсходовал деньги? — Не знаем.— Как быть, если глубокая пахота по системе Мальцева потребует горючего больше против норм? Дадите добавочные лимиты? — Не знаем.— Планировать ли в колхозах на весну новые лесозащитные насаждения? Будет ли финансироваться это дело? — Не знаем.— Можно колхозам отказаться от договоров с Водстроем, который дерёт бешеные деньги за строительство колодцев, и бурить скважины собственными силами, если найдём специалистов и оборудование? — Не знаем.— Вернут нам комбайны, которые в прошлом году отправили на уборку на Восток? Планировать их ремонт? Или заменят их новыми? — Не знаем.— Ну, сможете хотя бы помочь нам достать шифера на крышу новой мастерской, если поставим стены своими силами? — Не знаем.

Пустая трата времени на разговоры с такими «ответственными» начальниками!..

Бумаг из областного управления в МТС стали слать меньше, чем раньше. При Зарубине дневная почта весила до килограмма, при Долгушине уменьшилась граммов до трёхсот-четырёхсот. Зато стало больше телефонных звонков из разных отделов. Редкий день обходился без того, чтобы директора не вызвали к телефону раз семь-восемь только из областного управления, не считая районных организаций. Настойчивый и сердитый голос требовал лично директора, его разыскивали по всей усадьбе, он прибегал, запыхавшись, в контору, но оказывалось, что нужны всего лишь сведения о количестве вывезенного на поля навоза за последние два-три дня после десятидневной сводки—для какого-то внеочередного доклада обкому.

Долгушин терпел, терпел — шесть-семь таких звонков, и рабочий день пропал начисто! — а потом установил в общей комнате бухгалтерии второй телефонный аппарат, спарил его со своим и завёл такой порядок. При звонке трубку поднимал кто-нибудь из работников бухгалтерии и спрашивал, кто звонит и откуда. Если звонил кто-то из колхоза, то без дальнейших расспросов стучали в стену Долгушину, и он брал трубку и разговаривал. Если же звонок был из областного управления, то первый подошедший к телефону сотрудник обязан был подробно расспросить, по какому вопросу хотят говорить, и, в зависимости от характера вопроса, направить позвонившего либо к главному агроному, либо к зоотехнику, либо к главному инженеру, либо просто к статистику. И выяснилось, что в большинстве случаев нетерпеливых и грозных областных начальников вполне мог удовлетворить цифрами из своей неразлучной потёртой и замызганной папки Онуфрий Артемьевич, статистик МТС.

С этим спаренным телефоном получился как бы бюрократизм, но необычный — снизу. по отношению к вышестоящему органу. И действительно, в областном управлении сельского хозяйства за директором Надеждинской МТС в первые же месяцы его работы утвердилась репутация заядлого бюрократа.

Однажды ему позвонил заместитель начальника областного управления,

- Это директор Надеждинской МТС?  
— Да.  
— Говорит Фёдоров. Можете назвать несколько фамилий лучших трактористов, отличившихся на зимнем ремонте тракторов?  
— Нет, не могу.  
— Что?!  
— Не могу назвать фамилии.  
— Почему?  
— Не знаю фамилий трактористов.  
— Какой же вы директор МТС, если не знаете фамилий своих трактористов? Как вас там держат?  
— Вот так и держат. Нет лучшего на моё место. Терпят.

В кабинете Долгушина рядом с ним сидел зональный секретарь Холодов. У того глаза на лоб полезли от такого разговора. На столе перед Долгушиным лежал только что подписанный им приказ, в котором он объявлял благодарность десяти лучшим трактористам-ремонтникам. Холодов потянулся одной рукой к телефонной трубке, другой — к списку трактористов. Долгушин спокойно отстранил его.

— Так что же будем делать, товарищ директор? — гремел раздражённый голос в трубке. — Мне, что ли, приехать к вам и самому на месте узнать фамилии лучших ваших трактористов? И вам их потом сообщить?

— Приезжайте, будем рады. А скажите, товарищ Фёдоров, вы знаете фамилию директора Надеждинской МТС?

— Как? Не понимаю. А... Что вы этим хотите сказать, товарищ... Долгушин?

— Да, Долгушин. У вас в области директоров МТС меньше, чем у меня трактористов. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Мы, кажется, не по здоровались с вами.

— Здравствуйте... Христофор Демьянович.

— Данилович. Ну, неважно. Вспомнили мою фамилию? Ну и я вспомнил фамилии трактористов, могу вам назвать их. Записывайте. Торопов Семён Ильич... По буквам: Терентий, Ольга, Роман, Ольга...

Не от хорошей жизни прибегал Долгушин к таким крутым мерам «воспитания» начальства, и эти крутые меры, в свою очередь, не способствовали улучшению его жизни. Всё же в руках Фёдорова и других начальников были и лимиты, и кредиты, и снабжение, какое ни есть, там и шифер, и лес, и цемент. А «ласковое теля двух маток сосёт». Не научил никто Долгушина этой мудрости с детства, а под старость уже поздно было учиться. Да и характер его не принимал таких мудростей...

В довершение всего и Холодов стал дуться и коситься на Долгушина. Медведев сдержал своё обещание поговорить с Холодовым и помочь ему составить план работы, но поговорил так, что получилось, будто Долгушин приходил в райком с жалобой на зонального секретаря, на его бездеятельность. Холодов стал чаще выезжать в колхозы самостоятельно, без директора, но с этих же пор завёл у себя на квартире особую тетрадку, вроде дневника, куда по вечерам заносил все обнаруженные безобразия в колхозах и МТС. Не всегда рассказывал он об этих безобразиях Долгушину, не для сообщения директору вёл учёт им. В этой же тетрадке он отвёл место и для самого Долгушина, для всех его «трюков», вроде спаренного телефона и разговора с заместителем начальника областного управления. Ничего хорошего, в смысле их делового контакта в работе, эта «особая тетрадка» Холодова не предвещала.

До Мартынова стали доходить в больницу самые разноречивые слухи и толки о директоре Надеждинской МТС. Рассказывала ему о Долгушине, что слышала от людей, и жена, были у него и Руденко, и Грибов, и

Щукин, и Рыжков. Редактор районной газеты Посохов и Саша Трубицын показывали ему письма, полученные в райкоме и редакции из Надеждинской МТС, с подписями и анонимные. Одни корреспонденты называли Долгушина актёром, поэром и бюрократом, другие горячо вступались за него, считали его настоящим коммунистом, а бюрократами называли тех, кто стал ему с первых дней работы в МТС чинить препятствия. Показал ему как-то Трубицын и донесение Холодова Троицкому райкому (копия обкому КПСС) о «художествах», как тот писал, директора Надеждинской МТС, где с хронометрической точностью были перечислены все ошибки и промахи, совершенные Долгушиным за время его работы в МТС.

Мартынов передал Медведеву записку через Трубицына, попросил Медведева зайти к нему в больницу.

— Знаешь, Василий Михайлович,— сказал Мартынов,— я думаю, нам нужно бы для пользы дела перевести Марию Сергеевну Борзову из Семидубовской МТС в Надеждинку, к Долгушину. На ту же работу — секретарём парторганизации МТС.

— За Марьей Сергеевной дважды уже приезжал её муж из Борисовки. Уговаривает её вернуться к нему.

— Да?.. Почему — вернуться? Не она ведь ушла от него, он отсюда уехал без неё и не принял её, когда она ездила к нему.

— Не знаю, как у них было. Зовёт, в общем, её в Борисовку. Он опять пошёл в гору. Заместителем председателя райисполкома работает. А сейчас там председатель болеет тяжело, отправили его на лечение — Борзов третий месяц сидит в райисполкоме за хозяина.

— А, вон что. Налаживается опять карьера. И, вероятно, посоветовали ему исправить свою бытовую ошибку? Разошёлся с этой лаборанткой, чтоб не портила ему анкету, и зовёт назад Марию Сергеевну с детьми?.. Ну, и как она? Собирается переезжать?

— Ничего пока не заявляла нам.

— А если не заявляла, что ж... Вот, я думаю, надо бы сделать так. В Семидубовке зональный секретарь Кольцов — сильный работник. Добровольно поехал в деревню, массовик. С Готовым у них ладится. Старик тоже из тех коммунистов, что интересы партии на мелочи не размывают. В общем, там у нас благополучно. Сработаются. А вот у Долгушина с Холодовым что-то не получается. Дело пахнет не контактом, а конфликтом. И кто там прав, кто виноват — трудно пока разобраться. Оба для нас люди новые, неизученные. Надо бы туда ещё нашего проверенного работника. Марию Сергеевну туда — секретарём парторганизаций.

— А в Семидубовку кого секретарём?

— Там можно из местных коммунистов выбрать. Спросить её — кого она порекомендует.

— Нехорошее это дело — перебрасывать часто людей с места на место. Она и в Семидубовке успела без году неделю поработать. Ну, если настаиваешь, поговорю с нею и обсудим на бюро,— согласился не очень охотно Медведев.

Прощаясь с Мартыновым, осторожно коснувшись кончиков пальцев его правой забинтованной руки, лежавшей поверх одеяла, Медведев заметил с некоторым неудовольствием:

— А вообще-то, Пётр Илларионыч, ты же сейчас на бюллетене. Чего беспокоишься о наших делах? Лежал бы себе, почитывал романы. Я тебе пришло двухтомник О. Генри, американские рассказы. Вчера взял в «Когизе». Занятные рассказы.

— Литературы-то у меня хватает.— Мартынов повёл левой рукой вокруг себя, указывая на белые больничные табуретки, заваленные газетами и журналами.— Да, ты прав,— усмехнулся он.— Я на бюллетене и формально, так сказать, не у дел. В отставке на неопределённое время.

Вы вообще можете к чёрту послать меня с моими советами. Пока я болен — ты первый секретарь. Но давай, Василий Михайлович, всё же без формализма. Заходи ко мне почаще. Ум хорошо, два лучше... Или думаешь, что я уже из больницы не вернусь на старое место? Привыкаешь к самостоятельности? Не знаю, может быть, и не вернусь. Месяца два ещё проваляюсь. Воды за это время много утечѐт. А потом — как обком решит...

Марья Сергеевна, узнав, что это рекомендация Мартынова, и будучи тоже наслышана о Долгушине как об интересном человеке, дала согласие на переезд в Надеждинскую МТС. Через неделю она уже была избрана там на партийном собрании секретарѐм парторгаанизации.

## 4

Из райкома позвонили в МТС Холодову и сказали, что Медведев требует представить ему к двенадцати часам дня социалистические обязательства на весенний сев всех бригадиров тракторных бригад и трёх-четырёх трактористов из каждой бригады.

Бригадиры по случаю последних сборов перед выездом в поле были все на усадьбе МТС. Были здесь и трактористы. Холодов разыскал Марью Сергеевну и вместе с нею быстро «оформил» понадобившиеся Медведеву сведения. Перед тем как передать их по телефону в райком, они зашли к Долгушину, показали ему список трактористов, взявших социалистические обязательства.

Долгушин, внимательно прочитав бумажку, усмехнулся, отложил её в сторону, придавил пресспапье.

— В десять часов, говорите, позвонили? И потребовали представить к двенадцати часам? И вы уже это дело провернули? Быстро, быстро!.. Марья Сергеевна! Когда вы были трактористкой, вы тоже вот так необдуманно давали сообязательства? Называли первую пришедшую вам в голову цифру?

Борзова покраснела.

— Я, Христофор Данилыч, если обещала вспахать за свою смену столько-то гектаров, то всё учитывала, как именно я это смогу сделать. И держала потом своё слово, как если бы перед самым товарищем Сталиным поклялась.

— Всё учитывали, говорите? А когда ж эти ребята,— Долгушин провёл пальцем по списку,— успели всё учесть? Они же это вам на ходу говорили, а вы на ходу записали... Григорий Петрович! — обратился он к Холодову.— Если эти сведения нужны товарищу Медведеву лишь для формы, то можете, конечно, их передать сейчас. Я-то их не подпишу. Не вижу смысла и пользы в этих взятых с потолка цифрах. Если же это нужно для дела, то прошу вас поговорить с Медведевым и убедить его подождать до завтра. Сегодня я занят другим, а завтра мы соберѐм трактористов и потолкуем с ними обстоятельно. Целый день для этого отведѐм, если ничто нам не помешает.

Холодов ничего не сказал, взял свой список, сунул его в полевую сумку, которую носил всегда на ремне через плечо, и пошёл в соседнюю комнату звонить по телефону в райком. Медведев разрешил отложить представление сведений до завтра.

На другой день у конторы МТС спозаранку кипела работа: трактористы вынесли из конторы табуретки и брились-стриглись прямо под открытым небом, на лёгком утреннем морозце. Предприимчивый надеждинский парикмахер, узнав о собрании механизаторов в МТС, сообразил, что в это утро ему представится там возможность хорошо подзаработать. Всем известны уже были новые крутые порядки, вводимые директором Наде-

ждинской МТС, Долгушин не раз уже делал замечания—в шутливой форме, но довольно неприятные и надолго запоминающиеся — трактористам, приходившим на собрание в грязном виде, с небритой неделю бородой, а чуть выпивших просто выпроваживал из своего кабинета; за появление же в нетрезвом виде на работе строго наказывал, штрафовал. Не всем нравились такие «московские» порядки, кое-кто и за это поругивал Долгушина бюрократом.

Трактористы торопили парикмахера.

— Ты по разу брей, Варфоломеич, а то не успеешь всех обработать. Вишь, какая очередь.

— Почище пройди один раз, без огрехов, и хватит — следующего!

— Нету, товарищи, калькуляции на такое бритьё — по разу. Как с вас деньги получать? Скажете: бреет наполовину, а берёт деньги полностью.

— Вот законник! Это же с нашего согласия.

— Не бойсь, не потребуем жалобную книгу.

— А кто вас знает!

— Нет уж, если один раз брить, пусть и плату берёт в половинном размере!

— Вот видите, есть несогласные.

Парикмахер кинул взгляд на свои ручные часы, на ожидающих очереди бородатых трактористов, подышал на коченеющие пальцы.

— Да, всех не успею привести в порядок. Могу для ускорения дела дать вам вот эти две бритвы. Есть умеющие бриться самостоятельно?

— Есть, есть!

— Вот вам ещё помазок. Мыло я видел у вас в конторе на умывальнике. А вместо зеркала — вон ледок в кадучке с водой. Которые фронтовики, обойдутся таким зеркалом. За амортизацию инструмента — на пол-литра мне.

— Много — на пол-литра!

— Ну, на сто пятьдесят с прицепом.

— На сто пятьдесят соберём.

— И как ты, Варфоломеич, догадался прийти к нам сегодня?

— Прямо бог тебя к нам поднёс!

— Это я ему вчера сказал, что у нас собрание.

— Смышлён, смышлён Варфоломеич!

— И сам подработал, и нас выручил.

— А не то опять бы кой-кому досталось!

— Как тогда директор на Михаила: вы что, говорит, в монахи собираетесь поступать или в артисты записались? Для киносъёмок партизанскую бороду огращиваете?

— А к Селихову пристал: «Какое у вас несчастье дома случилось?» Тот не поймёт, про какое несчастье спрашивает. «Дети у вас померли или жена тяжело болеет? Почему так себя запустили? Так, говорит, древние народы траур по покойникам справляли: разрывали на себе одежду и голову пеплом посыпали».

— Васёк дал трояк из своего кармана на бритьё и на баню.

— А Васёк, не будь дурак, пошёл домой, побрился сам, а за ту трёшницу кружку пива выпил.

— Не взял я у него трёшницу! Ещё чего не хватало! Будто я по бедности не брился. У меня тогда на щеке, вот тут, чирий сидел.

— Пусть построит нам сначала тут баню, а потом спрашивает культуру!

— Может, ещё прикажет галстуки прицепить к этой вот робе?

— Это ему, мать его, не в Москве в министерстве по паркету ходить! Посмотрим, каким сам станет, пока сев закончим! Может, ещё грязнее нашего коростой обростёт!



Ровно в девять часов Марья Сергеевна позвала всех собравшихся у конторы МТС в кабинет директора. Тот тракторист, что ругался насчёт культуры и паркета, дольше всех, однако, обтирал сапоги соломой, брошенной для этой надобности ворохом у крыльца. В небольшую комнату, именуемую кабинетом, снесли все лишние лавки, табуретки и стулья из конторы и заполнили её так густо, что дверь из бухгалтерии в кабинет можно было приоткрыть внутрь лишь с немалым трудом, спрессовав, не жалея сил, уместившихся против неё на длинной лавке трактористов.

Долгушин сидел за столом не только гладко выбритый, но и со следами пудры на лице, в темносером, хорошо выутюженном, отличного покроя костюме, в сорочке с белоснежным воротничком, с аккуратно вправленным под шерстяной узорчатый джемпер галстуком. Выглядел он гораздо моложе своих пятидесяти четырёх лет. Даже густая проседь в пышных чёрных волосах не старила его. Он был, видимо, совершенно не расположен к полноте. По лёгкой, подтянутой фигуре его можно было принять за вышедшего в запас старого офицера-строевика, хотя в армии он после гражданской войны не служил. Щёку разорвало ему осколком бомбы не на фронте, а при эвакуации одного донбасского завода на Урал.

У края стола, сбоку, сидел Холодов, в военном кителе без погон, красивый, рослый мужчина лет сорока, чуть начавший лысеть блондин с тёмными бровями.

Подперев щёку рукой, прикрывая ладонью перекошенный шрамом рот, Долгушин посмотрел на усевшихся трактористов, на список, лежавший на столе перед ним, и открыл совещание.

— Вот вы, товарищи трактористы, вчера брали социалистические обязательства на весенний сев, и меня удивило несоответствие между этими цифрами и вот этими.— Он ткнул пальцем в список взявших соцобязательства и в сводную ведомость производственных заданий на сев тракторным бригадам.— Семён Васильич! Как это получается, что по производственному заданию ты должен закончить весновспашку и сев ранних яровых культур в восемь рабочих дней, а в соцобязательстве стоит шесть дней? Значит, у тебя есть возможности раньше закончить сев? Может быть, у тебя ещё один трактор где-то припрятан? Или открыл какой-нибудь секрет, как повысить выработку машин? Чего ж ты не признался нам, когда мы составляли производственные задания бригадам?..

Бригадир седьмой тракторной бригады Семён Чалый, молодой парень лет двадцати пяти, не сразу сообразил, что это к нему обращается по имени-отчеству директор, и, помедлив минуту, встал.

— Никакого секрета мы не открывали... Это же, товарищ директор, так...

— Как «так»? — вцепился Долгушин.

— Ну, это же не обязательно. Это так, для газеты...

— Необязательное обязательство! — рассмеялся Долгушин, и все сидевшие в кабинете заулыбались, кроме Холодова и Марьи Сергеевны.— Вот вы как привыкли тут брать соцобязательства!

— Конечно, это же добровольно, вроде как наше обещание постараться. А законный план тот, что вы нам дали. За тот план спросят с нас... Нам товарищ Холодов сказал, что надо назвать срок поменьше, чем в производственном задании записано.

— Ну, и ты, значит, бухнул: в шесть дней посеём! А сам не надеешься в шесть дней управиться?

— Нет, не надеюсь. Весновспашки дюже много. Чем пахать? Если бы вы хоть один колёсник нам заменили дизелем.

— Замены не будет. Машины все распределены. Общая нагрузка у тебя даже ниже средней по МТС. Так, ясно... И ты, Андрей Ильич,— обратился Долгушин к другому бригадиру,— тоже давал своё соцобязательство «так»?

Поднялся бригадир Андрей Савченко, фронтовик, ради собрания не только побрившийся дома, но и подшивший к гимнастёрке белый подворотничок и прицепивший над левым нагрудным карманом три орденские колодки.

— Нет, Христофор Данилыч, мы с ребятами это дело обсудили. И с председателем колхоза договорились. Надеюсь, что при таком председателе, как у нас сейчас товарищ Руденко, не придётся нам стоять из-за семян или воды. Я не наобум Лазаря сказал. Сможем в шесть рабочих дней управиться с ранними колосовыми. Конечно, не считая плохой погоды, ежели, скажем, дождь перебьёт.

— Понятно. В шесть рабочих дней... А как же ты всё-таки рассчитываешь поднять выработку против запланированной? За счёт чего? Расскажи-ка нам подробно.

— За счёт чего?.. Да вот подобрали хороших прицепщиков, не пацанов, таких, что на плугах спят и на пашню сваливаются. Заправляются горючим и водою будем только в борозде, есть уже развозки, лошадей нам выделили с ездовыми. И как рассчитали мы с председателем, через неделю в аккурат будет полнолуние. Такими светлыми ночами на наших полях вполне можно сеять. Лишь бы агроном не запретил. Но я за своих трактористов ручаюсь, что посеют не хуже, чем днём. И сеяльщики у нас мужики самостоятельные, можно доверить им ночную работу.

— Хорошо. Мы с главным агрономом приедем, посмотрим ваш ночной сев. Так. Но ты дал обязательство за всю бригаду. А что трактористы твои скажут? Кто тут есть из твоих трактористов?

Поднялся богатырской комплекции, с пышущими жаром пухлыми щеками и большим животом тракторист Дудко.

— Посеем, Христофор Данилыч, за шесть дней. Отремонтировали трактора так, как никогда ещё мы их не ремонтировали перед севом. И товарищ Руденко обещается хорошо кормить нас. Завтра кабана колют. А знаете, в здоровом теле и дух здоровый.

— После свинины?.. Тебе,— Долгушин раскрыл один из блокнотов на столе, искоса заглянул в него,— Иван Поликарпович, должно быть, вредно есть свинину. На сердце не жалуешься?

— Ого! — засмеялись трактористы.— На сердце! У него сердце, как у воронежского битюга!

— В прошлом году ещё в футбол играл!

— Он на жену только жалуется!

— За что — на жену?

— А не слушайте их, товарищ директор! — смущённо ухмыльнулся Дудко.— Дурочку валяют. Издеваются надо мной, что жену себе взял не по росту. А чего они знают про мою жену? Что с того, что маленькая? Во все я не жалуясь на неё.

Дудко, не зная, что ещё сказать, затянул потуже пояс на штанах, вбрав живот, от чего полные щёки его ещё ярче запылали румянцем, и опустился на лавку.

— Сколько у тебя детей, Андрей Ильич? — спросил Долгушин у Савченко, переждав смех.

— Четверо, с маленьким.

— Уже четверо? Родила жена?

— На прошлой неделе. А откуда вы знаете, Христофор Данилыч, что у меня жена собиралась родить? — удивился Савченко.

— Директор обязан всё знать, что у него в МТС делается,— усмехнулся Долгушин.

— Уже всех нас по батюшке знают,— подал голос кто-то на задней лавке.— А от товарища Зарубина только и слышали — по матушке.

— Как здоровье жены? — Благополучно разрешилась? — продолжал расспрашивать Долгушин бригадира.

— Благополучно. Здорова. Уже работает по домашности.

— Значит, за детей спокоен? Будет в доме хозяйка, мать?.. Слышал я, товарищи, такую хорошую поговорку: домашняя дума в дорогу не годится. Верно сказано? А ваш выезд в поле на всю весну — это же всё равно, что отправиться в дальнюю дорогу.

— Дом меня не тревожит, Христофор Данилыч, — отвечал Савченко. Подумав, добавил: — Этот дом, что здесь. Мой дом. А вообще-то есть беспокойство. О другом доме.

— О каком другом?

— Отец наш живёт у моего меньшого брата, в Челябинске. Поехал к нему в прошлом году погостить и заболел там. И пишет мне, что очень ему там плохо. Невестка — женщина безжалостная, такая, что только о себе думает, о нарядах да гулянках. Лежит он там без ухода, иной день и супу горячего не похлебает. А брат всё в разъездах, он по геологии работает, по разведке недров. Забрать бы надо отца оттуда домой, но кто ж поедет за ним? Мне невозможно отлучиться. Зимой с ремонтом был прорыв, теперь вот посевная начинается. И жену с маленьким не пошлешь. А без провожатого он один не доедет, такую даль. Боюсь, помрёт отец и не увижу его больше. Может, вы бы подсобили? Если бы как-нибудь договориться, чтоб дали ему оттуда сиделку в дорогу? Я бы ей и билет оплатил в оба конца.

Долгушин посмотрел на Марью Сергеевну, та понимающе кивнула головой и вытащила из своей дамской сумочки маленькую записную книжку.

— Попробуем помочь тебе, — сказал Долгушин. — Вот Марья Сергеевна, секретарь парторганизации, сделала себе заметку. Напишем в Челябинский областной здравотдел, попросим, чтоб отправили твоего отца домой с сиделкой. Должны бы уважить нашу просьбу. И в Цека профсоюза напишем. Поможем... А больше ничего такого нет? Колхоз рассчитался с тобою и с трактористами? Хлеб есть?

— Рассчитались, полностью. Вот уже теперь, при товарище Руденко.

— С нами не рассчитались, товарищ директор, — поднялся один тракторист. — Колхоз «Рассвет». Дают нам прелую пшеницу, такую, что и куры клевать не станут, а мы не берём. Мы хорошую пшеницу из комбайнов выгружали, а что колхозники погноили её в кучах на токах — при чём мы? Себе пусть гнилую берут по трудовням, а нам пусть дают хорошую.

— Погоди, Селихов, — остановила его Марья Сергеевна. — Не перебивай. Дойдёт до вас очередь.

— Значит, точно рассчитал, Андрей Ильич? — продолжал Долгушин. — В шесть дней можешь закончить сев?.. Рассчитал — и молчишь. А производственное задание тебе — на восемь дней. Двойная бухгалтерия получается. Нехорошо. Да садись, чего ты стоишь. За сокрытие резервов в промышленности, знаешь, нашего брата, руководителей, не хвалят... Ну, а ты как, Игнат Сергеевич? — глянул Долгушин на бригадира Зайцева, работавшего в колхозе «Рассвет». Тот поднялся с лавки. — Сиди, сиди! Тоже давал обязательство?

— Давал.

— Сколько дней?

— А я не помню. Там товарищ Холодов записали...

Трактористы засмеялись.

— Вот это здорово! Давал обязательство и сам не помнит, на сколько дней!

Зайцев угрюмо поглядел на трактористов.

— Чего ржёте? Потому не помню, что это есть одна голая бумажная писанина. Хоть шесть, хоть семь дней скажи — всё одно не выполним. Куда нам уложиться в срок! Полмесяца нам долбаться с севом колосовых, а если ещё дожди будут перепадать, то и целый месяц.

— Почему у бригадира МТС такое паническое настроение? — нахмурился Долгушин. — В наших руках растянуть или сократить сроки сева.

— Кабы только в наших! Вы, товарищ директор, не знаете ещё колхозной работы. Вам показывается, будто вы на заводе, где всё в руках этого инженера или рабочего, который к машине поставлен. Нет, у нас маленько не так.

— Да уж разобрался, что не так.

Зайцев всё же встал — так ему удобнее было говорить.

— Вот на нас, трактористов, валят всю ответственность за урожай. В ваших руках, мол, техника, вы механизаторы, всю главную работу на полях делаете своими машинами. Мэтээс — фабрика зерна. Оно-то так, конечно. Похоже маленько на фабрику — дым идёт. Только порядку нет такого, как на фабрике. Вот ежели мы, к примеру, пашем, культивируем, стараемся, как лучше разделить землю, а колхоз дал негодные семена. Вот тебе и урожай! Либо навоза нет у них, скота не развели, нечем удобрять поля, либо вот, как Селихов говорит, готовое зерно погноили. Вот тебе и фабрика!

— Это я знаю, товарищ Зайцев, что над колхозным урожаем у нас пока два хозяина. В этом-то и сложности нашей работы. Но ты всё же объясни, почему целый месяц собираешься сеять?..

— Ну, не месяц, меньше. Это я сказал: если дожди будут нам мешать... С прошлого года беру пример. Как было у нас в прошлом году? И сами ездили «Универсалом» за водой, и поля очищали под пахоту, и сами за прицепщиков работали. Какая она работа, ежели день за сеялкой, а ночь за рулём? Не было у нас ни вагончика, ни кухарки. За харчами домой за двадцать километров бегали. Опять же, хлынет ливень, негде ребятам обсушиться, расплзлись по домам; на завтра с утра хорошая погода, солнышко, можно бы запускать машины, а они только к обеду в бригаду соберутся. Сколько у нас вот так, дурём, пропало золотого времени! И в нынешнем году в этом колхозе «Рассвет», Христофор Данилыч, никаких перемен против прошлого не замечается. Опять те же полеводческие бригады, самогонщики, бездельники, что всё лето под скирдами в карты резались. Будем, значит, опять загорать без прицепщиков и без горючего. Новый председатель там — ни рыба ни мясо. Ничуть не лучше старого. Тот был малограмотный и пьяница, так хоть видели его колхозники в поле, хоть глаза мозолил, покрикивал кой-когда на людей. А этот три раза на неделе ездит к жинке в Троицк, покажется в колхозе, как молодой месяц, на час — и закатился. И зачем было посылать этого Бывалых председателем колхоза? Там народ так соображает, что Бывалых не справился на районной должности и это ему сделали вроде как последнее испытание: годится ли он вообще в ответственные работники? Как бы опыты над ним делают. Оно-то не вредно, конечно, такой опыт сделать, может, его нужно проверить так, чтобы и партийным билетом больше не козырял, но это всё же на колхозе отражается! Время-то идёт! Вот он уже там четвёртый месяц, весна на носу — и никакого сдвигу! Если верно, что районные организации хотели испытать его, что он за коммунист, то пора бы уже кончать с ним вопрос. Всё ясно. И надо, пока не поздно, искать другого председателя... А есть там один человек, член партии, — поднял бы колхоз, дать ему только права в руки!

— Кто? — спросил с интересом Долгушин. — Я там знаю кой-кого из коммунистов.

— Артюхин, Филипп Касьяныч. Не заметили? Старичок такой, с бородкой, в очках, но ещё крепкий. Шестеро детей у него, меньшому пол-

года. Он там у них сейчас на рядовой работе, по ремеслу — кадушки делает, вёдра починяет. Человек он вообще замордованный. Пробовал бороться с этой шайкой-лейкой, что колхоз пропивают, так они ему подстроили штуку. Загорелся ночью телятник — а Филипп Касьяныч был тогда заведующим на животноводстве, — ни печку там не топили в тот день, ни корма не варили, и загорелся. Много погибло телят, и помещение сгорело. Потом выезжала комиссия, установили, что не было у него там каких-то предохранений против пожара, — припаяли ему, в общем, по суду что-то много тысяч, до сих пор выплачивает в колхоз. И опять же он не унялся, ещё написал письмо, в Москву, самому товарищу Сталину. Всё описал, что у них в колхозе творится. А у этих бандитов дружок-приятель был в Ореховке на почте, перехватил, должно быть, письмо, не пошло оно в Москву. Через сколько там дней едут колхозники с поля, стучат Артюхину в ворота: «Касьяныч! Там в Гадючьей балке твоя корова лежит, дошла уже. Голова порубана топором и горло перерезано». Вот так помыкался, помыкался человек — и согнулся. Что сделаешь один против них? Постукивает себе помаленьку молоточком, обручки набивает, книжки по вечерам почитывает. А дельный старик! Грамотный. У него там дома и Ленина сочинения, и Карла Маркса, и Льва Толстого. И когда он заведовал животноводством, порядок был на фермах! Дисциплина! Всё делалось по науке, скот был упитанный, кормов в достатке, падежа не знали. Вот я и говорю: кабы этого Филиппа Касьяныча Артюхина выбрали там председателем, он бы повёл дело не так! Только, может, сам не захочет, откажется. Надоело ему уже своей головой рисковать.

— Не знаю Артюхина, — сказал Долгушин. — Не видел у них такого старика. Может быть, вы, Григорий Петрович, знаете его?

Холодов отрицательно покачал головой.

Долгушин задумался.

— Ты вот, Игнат Сергеич, негодуешь на пьяниц в «Рассвете», а говорят про тебя, что и ты сам грешен по этой части. Говорят, крепко зашибаешь?

— Не крепко, это неверно...

Зайцев, пожилой человек, с сединой на висках, с худым, усталым, морщинистым лицом, смущённо потупившись, мял в руках шапку.

— От хорошей жизни не запьёшь, товарищ директор... Был за мной грешок. Прошлым летом товарищ Зарубин два раза застал меня в поле выпившим. Так по какой причине я выпил? По той причине, что нет порядку. Трактора стоят, людей нам не обеспечили, бригады магарычи за ворованное сено пропивают, никто об урожае не беспокоится. Ну, и сам... Упадёшь духом и выпьешь с горя... А ежели на то пойдёт, чтоб бороться с этим, то обещаю вам в рабочее время не пить. За выходной, конечно, не ручаюсь...

— Хорошо. Запомню твоё обещание.

Долгушин внимательно посмотрел на Зайцева.

— А у тебя есть корова, Игнат Сергеич?

— Есть. Корова и телок. Свинья есть.

— Не бойшься, что вот этот наш разговор про шайку-лейку станет известным в колхозе и твою корову постигнет та же участь, что корову Артюхина? Или хату спалят?..

— Всё может быть, товарищ директор. Хата моя там, в колхозе, семейство моё всё там живёт... Как не бояться. Боюсь. Но и терпеть уже невмоготу! — Зайцев поднял голову. — Один посовался было — замолчал, другой будет молчать — что ж оно получится? Читаем газеты, кругом после Цека постановления жизнь пошла в гору, а у нас — как в стоячем болоте!..

— Ты коммунист?

— Нет, компартийный... Коммунисты там примирились. А которые и сами замешаны... Есть там один тип, не коммунист, простой колхозник,

Кашкин, «Демократом» его зовут по-уличному. Когда-то давно, ещё до коллективизации, всё выступал на сходках: «Я за демократию! За братство, за равенство!» А сам у родного брата в голодный год за пуд муки хату купил; народный суд потом отменил эту куплю-продажу, как кабальную сделку. Вот этот «Демократ» любит там коммунистов опутывать! Пасека у него большая, сад, рыбу вентерями ловит, всегда есть у него выпить-закусить. И уж если кого подобьёт на грязное дело и привезёт себе коммунист украдкой охапку сена или соломы, так этот тип потом вокруг того коммуниста себе десять возов сена натаскает!

Долгушин, склонившись к Холодову, сказал ему тихо:

— Вот как, Григорий Петрович, переплетается наше эмтээсовское с колхозным! А Медведев говорит мне: не лезьте в колхозы. Как же не лезть в колхозы? И наша тракторная бригада не может работать в полную силу, если такое творится в колхозе!

Холодов молча, как бы соглашаясь, кивнул головой.

— Ну, теперь ещё расскажи нам, Игнат Сергеич, про свою бригаду.— Долгушин откинулся на спинку стула.— Насчёт колхоза — ясно. Ну, а как ты сам подготовился к севу? В каком состоянии машины? Как качество ремонта? Обкатал машины, испробовал? Как с прицепным инвентарём? В чём имеешь нужду? Какие у тебя претензии к нашей мастерской, к главному инженеру вот, товарищу Барсукову?

Зайцев рассказал, чего недостаёт ему из инвентаря, какие нужны запасные части. Беседу с ним Долгушин завершил так:

— Значит, главное, что нам нужно сделать поскорее,— навести порядок в колхозе «Рассвет». Так?

— Так, Христофор Данилыч. Дальше терпеть нельзя!

— Порядок наведём.

Холодов вскинул глаза на Долгушина и тотчас опустил их книзу. На губах его скользнуло нечто вроде улыбки. Его поразил самоуверенный тон этих слов директора.

— Наведём порядок. И если не будет тебе никаких помех со стороны колхоза — за сколько дней сможешь управиться с ранними колосовыми?.. Ты же старый механизатор, Игнат Сергеич, двадцать лет стажа; не одну, а три собаки съел на этом деле! И трактористы у тебя как будто неплохие.

— На трактористов не обижаюсь. Есть двое без практики, с курсов, ну ничего, подучим...

— Так за сколько рабочих дней?..

Зайцев сел, вытащил из внутреннего кармана пиджака, будто из-за пазухи, замасленную ученическую тетрадку, где у него было выписано количество гектаров весновспашки, боронования, культивации, сева, нормы сменных и дневных выработок, раскрыл её и долго молча шевелил губами, что-то подсчитывая про себя.

— На таких условиях,— улыбнулся наконец он и решительно хлопнул тетрадкой себя по колену,— могу, Христофор Данилыч, подписать обязательство на семь рабочих дней!

— Вот это деловой разговор! Без паники. Твёрдо?

— Твёрдо! Лишь бы вы свои обещания выполнили.

— Жми руку.— Долгушин встал и потянулся через стол к Зайцеву.— Марья Сергеевна! Разбивай, за свидетеля.

Борзова, под громкий смех трактористов, сильно рубанула ребром ладони по чёрным от въевшегося в поры и ссадины кожи масла, заскорузлым толстым пальцам бригадира, крепко сжавшим небольшую белую руку директора.

— Так и запишем... Бригада номер девять. Бригадир Зайцев. Сев ранних колосовых за семь рабочих дней.

Целый день продолжался вот такой разговор директора с трактористами. Было выяснено всё: и обнаруженные в последние дни недостатки

ремонта машин, требующие немедленного устранения, и обстановка в колхозах, и взаимоотношения тракторных бригад с полеводческими, и характер, слабости отдельных трактористов и бригадиров, и их семейные дела. Для себя Долгушин, кроме того, много узнал нового о сельскохозяйственной технике и особенностях предстоящих посевных работ в каждом колхозе. Лишь обдумав и обговорив всё, бригадиры со своими трактористами брали и подписывали социалистические обязательства на весенний сев.

— А теперь,— подвёл Долгушин итоги собрания,— давайте условимся, что будем в своей работе следовать такому правилу: обещал—сделай! Я всю жизнь провёл среди рабочего класса на заводах. Там люди дорожат словом, привыкли слово товарища считать реальной вещью. Там не дают обязательства просто «так», для газетки, как понял было это дело товарищ Чалый. Такие обязательства — это пустая болтовня. Болтовню будем изгонять из нашей жизни беспощадно! Я не для того потратил день на разговоры с вами, чтобы этот список с вашими обязательствами завести в красивую рамку, повесить вот тут на стене и любоваться им. Я буду требовать выполнения этих обязательств. И поскольку мы здесь всем нашим собранием выяснили, что обязательства эти не фантастические, вполне реальные, мы, руководство МТС, пересмотрим производственные задания бригадам. То, что взято в обязательствах, будет записано и в производственные задания. Не к чему нам вести этот двойной счёт—один для дела, другой для болтовни. Будем отныне заниматься с вами здесь, в Надеждинской МТС, только делом! Есть возможности сократить сроки сева ранних колосовых — сократим. И ещё запланируем дополнительно какие-то работы тракторному парку на эти дни. Вот видите, как это важно — выполнить своё обязательство! На нём будут построены все расчёты. Не выполнит один, не выполнит другой — подведёте МТС, сорвёте все расчёты. А МТС — это твои товарищи, друзья в работе, это единый рабочий коллектив. Не подводить товарищей, не бросать слов на ветер; дав слово, помнить его, как присягу! Самый опасный в обществе человек, слову которого нельзя верить. Болтовню — долой из нашей МТС! Вот так будем жить с вами, друзья.

Хотя всех разморило от жары и духоты в переполненном кабинете, ни один тракторист не задремал на этом необычном собрании, продолжавшемся — с небольшими перерывами для курения — часов шесть. С кем бы ни вёл разговор директор, слушать этот разговор было интересно и поучительно всем.

— Много вы им наобещали, Христофор Данилыч,— сказал Холодов, открыв форточку и закуривая под нею, когда трактористы, захватив с собой скамейки и табуретки, на которых сидели, вышли из кабинета.

— Так же, как и они нам,— ответил Долгушин.— И чтобы они свои обещания сдержали, нам надо сдержать свои. Очень прошу, вас, Григорий Петрович, поглубже заняться этим колхозом «Рассвет». Думается мне, что вам там найдётся работа и по вашей бывшей профессии следователя.

— Возможно,— согласился Холодов.

— Не кажется ли вам, дорогие товарищи,— сказал Долгушин, надевая пальто и шапку, весело поглядев на Марию Сергеевну и Холодова, довольный, видимо, удачно проведённым собранием трактористов,— что я сегодня отбил у вас кусок хлеба?

— Да, нашу с Григорием Петровичем зарплату за сегодняшний день надо перечислить вам,— ответила в тон ему, шутливо, но всё же смущённо Мария Сергеевна.— Такое собрание трактористов нам нужно было провести вчера! Я сегодня, слушая вас, многое поняла...

Но Холодов не сдавался.

— А сообязательства в основном остались те, что мы записали. По двум бригадам только изменили,— сказал он, запихивая свои блокноты в

туго набитую разными документами полевую сумку.— Цифры были правильные.

— Души не было в этих цифрах, Григорий Петрович, поймите! — горячо возразила ему Борзова, не думая в эту минуту, что самокритика — вещь не всем приятная и что рискованно называть бездушной работу старшего по должности товарища.

Разошлись из конторы МТС в разные стороны. Долгушин пошёл обедать на свою квартиру, к бригадиру Смородину, который жил тут же на усадьбе, за мастерской, в бывшем поповском доме,— в поповском потому, что сама МТС обосновалась на бывшей церковной площади, и контора стояла как раз на месте разобранной немцами в войну для ремонта моста через Сейм деревянной церкви. Холодов поехал на «газике» в Троицк, в райком, докладывать о проведённом собрании трактористов. А Марья Сергеевна пошла в село, где жила тоже пока на частной квартире, у одной старой бывшей учительницы, пенсионерки, которая охотно присматривала за её детьми, когда она отлучалась из дому. Надо было постирать бельё себе и ребятам, наварить, напечь им чего-нибудь побольше — перед выездом с тракторными бригадами в поле на посевную.

## 5

Холодов не выехал в «Рассвет» ни на другой день, ни на третий. Ему мешали разные, как он говорил, «оперативные» дела: он выполнял какие-то срочные поручения райкома, собирал сведения, составлял ведомости, передавал их по телефону и лично отвозил в Троицк, задерживаясь там всякий раз до ночи.

Посевная началась недружно. Почва плохо подсыхала из-за ночных заморозков. Местами, где на южном склоне можно было уже кое-как пахать и сеять, тут же, через перевал, на северном склоне плуги по самую раму утопали в грязи и тракторы буксовали в борозде. Приходилось другой машиной и плуг вытаскивать из трясины, назад, за грядиль, и самому трактору помогать выбираться на сухое. Но всё же гектаров по пяти—семи кое-где в колхозах удавалось посеять за день.

Холодов посоветовал Долгушину не давать пока сводок о таком выборочном севе в район.

— Почему? — удивился Долгушин.

— Потому, что с первой же нашей сводки нам зачтут начало сева. И если мы потом даже закончим сев раньше других МТС, всё равно будет считаться, что мы сеяли не семь-восемь рабочих дней, а двенадцать, пятнадцать.

— Чёрт возьми! — сказал Долгушин.— Мы с вами, Григорий Петрович, вместе начали работать в сельском хозяйстве. И моложе вы меня лет на пятнадцать. Но откуда у вас такой житейский практический опыт? Я бы ни за что не догадался!

— Передадим ли мы в район сводку или не передадим, всё равно в область она оттуда не пойдёт до начала массового сева.

— Да?.. В область не пойдёт?

— Но внутри района всё же будут считать, что мы начали сев такого-то числа.

Долгушин подумал.

— Значит, можем очутиться на последнем месте в районе по севу?.. Но как же так — посеяно уже почти двести гектаров и молчать?.. Ладно, дело товарища Медведева передавать или не передавать сводку в область, а мы в район передадим. Не будем копить гектары про запас. В конце концов, Григорий Петрович, первенство на севе ещё ничего не решает. Дело в урожае. Из сельскохозяйственных пословиц мне очень нравится одна: цыплят по осени считают.



В колхоз «Рассвет» поехал на второй день массового сева сам Долгушин.

Он был ещё мало знаком с работой колхозных животноводов и поэтому решил в первую очередь побывать в «Рассвете» на фермах. Молочная ферма «Рассвета», свиарники и птичник были по пути, на этой стороне реки Сейма, дорога на паром и в село пролегала как раз мимо животноводческого посёлка. Долгушин выехал из дому, чуть забрезжило на востоке. Он хотел поприсутствовать при утреннем доении коров — нигде никогда не видел он ещё, как это делается.

Делалось это в «Рассвете» самым обычным путём — руками. Ни доильных аппаратов, ни автопоилок, ни подвесных дорог на фермах не было. Тем не менее присутствие при этой работе директора МТС, которого доярки видели уже однажды у себя в колхозе на собрании, странным образом сразу же сказало на количестве надоенного молока.

Первым заметил смятение среди доярок шофёр Володя, ходивший с директором по коровнику в качестве консультанта.

— Да где же он, наш Голубчик? — закричала одна доярка. — Девки, Харитон ещё не пришёл? Это он у Дашки Караванхи зорюет. Пригрела его подмышкой. Куда молоко сливать? Посуды нет.

Другая доярка, тоже заметно чем-то обеспокоенная, вышла из коровника, вытирая руки полой синего халата, надетого поверх стёганки, взобралась на кучу навоза и закричала в сторону села:

— Эге-ге-ей!.. Харито-он Иваны-ыч! Эге-ей!.. Что-сь маячит возле паррома, кажись, он идёт, — сообщила она, вернувшись в коровник. — Чёртов пропойца! Когда он уже так нажрётся той водки, чтоб она ему в брюхе загорелась!

— Что ты, Пашка, слурела! Чего желаешь человеку! — укоризненно покачала головой одна доярка, самая старая из всех и, должно быть, самая сдержанная на язык.

— А докуда ж нам мучиться с таким заведующим? Бог не берёт его от нас, пусть сатана заберёт! Сколько ни говори ему, ни доказуй: того надо, другого надо — ничего не делает! С утра помнит, к обеду уже забыл. Уже похмелился, чёртики заиграли в голове, уже какая-сь сорока пригласила его ночевать, чуб накручивает, сапоги наваксивает — до коров ли ему?..

— Чего, девушки, бросили доить? Посуды не хватает? — подмигнув Долгушину, спросил Володя.

— Да надо ещё бидона три...

— А вчера куда сливали? Хватало посуды?

— Обходились...

— Чем же вы таким питательным накормили коров, что сегодня молока прибавилось?

— Чем питательным? А вон посмотри, что в яслях. Тем и накормили. Соломой пшеничной.

— И больше ничего не давали?

— Силосу ещё давали немного. Каждый день даём. Сена давали. Вон, видишь, какое. С осени ещё попрело на лугу, в воде. Его и не едят коровы.

— С чего ж прибыло молока?..

Доярки угрюмо молчали.

— Может, ваши коровы начальства испугались? Так с испугу или от какой другой помехи корова даёт меньше молока.

Володя обернулся к директору.

— Соображаете, Христофор Данилыч? Вчера им хватало посуды; а сегодня, при вас, не хватило. Значит, или недодавали или прямо на землю...

Доярка, которую звали Пашей, обвела сердитым взглядом подруг.

— Чего ж молчите, девчата? Так и говорите, правду говорите: недодавали. И на землю шло молоко. Верно, так и было. Так разве ж мы виноваты?..

— А куда его девать, раз посуды не хватает? — зашумели доярки. — В подол, что ли?

— В сапоги бы сливали, так нам сюда и сапог не дают. Вот в чём бродим тут, по грязи! — выставила одна доярка ногу в стоптанном дырявом валенке, из носка которого торчали тряпки и солома.

— Привезли в сельпо резиновые сапоги, так их враз расхватали мужики, которые охотники да рыболовы, а нам опять нету!

— Сколько было в колхозе этих бидонов в прошлом году! Чи побили их, чи поворовали?

— Самому председателю уже заявляли насчёт посуды — и тот мер не принимает!

— А тут ещё возчик у нас такой, с принципом: что заберёт за один раз на телегу, то и везёт, а другой раз ехать не хочет.

— Как зовут вашего заведующего? — спросил Долгушин.

— Бесфамильный.

— Как?

— Фамилия у него такая — Бесфамильный. А по-уличному зовём его Голубчиком. Поговорка у него за каждым словом: «Вы, мои голубчики...» Да вот он идёт сам.

К коровнику приближался медленной, развалистой походкой, подкручивая пышный рыжий ус, высокий мужчина лет сорока пяти, в галифе, чёрной сатиновой стёганке и шапке-капелюхе с опущенными неподвязанными наушниками. Хромовые сапоги его были начищены действительно до зеркального блеска, и весь его вид — сытая, плотная фигура, лоснящееся румяное, рябоватое лицо — говорил о том, что человек хорошо выспался, успел уже, вероятно, позавтракать и вообще доволен жизнью.

«Колхозный альфонс Харитон Голубчик», — отметил про себя Долгушин.

Остановившись метрах в десяти от коровника, Бесфамильный окинул хозяйским оком двор и закричал зычным голосом:

— Эй, девки, голубчики, что ж вы делаете? Сколько разов приказывал вам? Манька! Куда ж ты объедья бросаешь, тудить твою!.. — и осекся, увидев за углом коровника знакомый «газик» директора Надеждинской МТС.

Бросив быстрый взгляд в тёмный со двора проём двери коровника и заметив там среди столпившихся доярок две мужские фигуры, Бесфамильный подтянулся, вынул руки из карманов и подошёл к Долгушину почти строевым шагом.

— Здравствуйте, товарищ директор! — пахнул он в лицо Долгушину густым винным перегаром. — Приехали нас навестить? Ночевали в колхозе или прямо из дому? Из дому? Раненько, раненько вы встаёте!

— Кто рано встаёт, тому бог даёт, — тряхнул Долгушин своим запасом деревенских пословиц.

— Приехали к нам товарищ директор на нашу работу полюбоваться, а у нас опять незадача — посуды не хватает. Дойку бросили, — сказала старуха доярка. — Куда ж молоко сливать?

Недодоенные коровы беспокойно металась в стойлах, мычали. Доярки зло, исподлобья поглядывали на заведующего фермой.

— Это что за новости — посуды не хватает? — удивился Бесфамильный. — А вчера хватало?

— Вчера хватало, мы уже выяснили. По случаю приезда директора МТС надоили три лишних бидона, — улыбался Володя. — Вот бы вам, Христофор Данилыч, ничего не делать, ездить только вот так по фермам

и присутствовать, когда коров доят. Глядите, процентов на тридцать прибавилось бы молока. Без лишних кормов, без концентратов, без ничего!

— Где ж вам посуды взять?.. — Бесфамильный, сдвинув шапку на лоб, почесал затылок.

К коровнику подошёл колхозник, по виду ездовой, с кнутом, вероятно, тот самый, «с принципом», о котором говорили доярки, инвалид на деревяшке, поздоровался.

— Приехал, Тюлькин? Где твой драндулет? — обратился к нему заведующий.

— А там, — указал колхозник кнутом куда-то за коровник.

— Ну-ка, голубчик, смотайся в село, поищи там ещё бидонов несколько. Пройди по нашей улице. У Гашки Кузьменковой, кажись, есть один. У Феньки Сорокиной видел вчера, сушился на плетне. Чёртовы бабы, берут, ездят на базар, а не приносят в кладовую. И к моей там загляни... Живо, голубчик, духом! Одна нога здесь, другая там! — и сам расхохотался над своей шуткой.

Колхозник, что-то недовольно бормоча, заковылял на деревяшке за сарай, к повозке.

— Сколько у вас коров на ферме? — спросил Долгушин Бесфамильного. — Всего, фуражных?

Заведующий подумал с минуту.

— Всего, значит, так... семьдесят восемь коров у нас.

— А сколько доится?

— Сколько доится?..

— Сорок две коровы доим сейчас, — подсказала Паша-доярка.

— Так мало? Остальные что же — ещё не отелились? Яловые? — храбро продолжал Долгушин задавать такие вопросы, в которых сам ещё недавно плавал.

— Есть и не растелились. А есть и вообще не годные к госпроизводству.

— Как? К чему не годные?

— К госпроизводству, — важно повторил Бесфамильный. — Так называется у нас, по зоотехнике.

— В зоотехнике есть термин — воспроизводство стада, — пояснил Володя.

— Догадываюсь, о чём речь, — кивнул Долгушин. — Проще сказать — держите на ферме коров, которые вообще неспособны давать приплод?

— Неспособные, да. По два-три года уже не телятся.

— Зачем же вы их держите? У вас же молочная ферма, а не мясная.

— Ставил вопрос на правлении. Сдать бы надо их в мясопоставку, чтоб и корма на них не переводить.

— Но действительно ли все они бесплодные? Специалисты осматривали их? Может быть, плохая случка была?

— Нет, случали, как же.

— Учёт ведёте при случке? Какая корова покрыта, какая не покрыта?

— Да и учёт ведём... А вообще я, товарищ директор, на быков наденюсь. У нас хорошие быки-делопроизводители. Три быка. Вон стоят, посмотрите. Сам выбирал в совхозе. Цементальской породы.

Долгушин не выдержал, рассмеялся.

— Нет, у вас тут, товарищ Бесфамильный, какая-то особенная зоотехника! Такого я ещё не слышал!..

— Так мы называем, — обиженно надулся заведующий.

— Бык-производитель, — поправил его Володя. — Эх ты, животновод! Делопроизводители в канцеляриях сидят.

Долгушин с Бесфамильным и Володей молча прошли взад-вперёд по длинному, грязному, с дырами-просветами в соломенной крыше коров-

нику, постояли немного возле быков, возле одной коровы крупного мясного экстерьера, которая, как объяснил заведующий, за всю свою уже немолодую жизнь не дала ферме ещё ни одного телёнка. Скот был нечищенный, тощий. Доярки кучкой ходили следом за ними.

— Ох, Харитон Иванович, голубчик ты наш! — тяжело вздохнула Паша. — На быков, говоришь, надеешься?.. А скажи, какой доярке у нас лучше, у которой все коровы потелятся или у которой половина яловых?

— Конечно, для общего дела лучше, чтоб у нас не было совсем яловых коров, — ответил Бесфамильный.

— Я тебя не про общее дело спрашиваю, а про доярок!.. Товарищ директор! — вскипела, наконец, Паша и, покраснев от волнения, горячо жестикулируя, стала говорить. — Послушайте, товарищ Долгушин, как у нас делается! Всё вам расскажу! А вы, — кинула взгляд на доярок, — скажете, верно я говорю или брешу. Вот, за мной с позапрошлого году закреплено десять коров. Как и за всеми. У каждой у нас тут по десяти коров. Мои коровы прошлой весной все были покрыты, сама последила, пастуху пол-литра поставила, чтоб следил. Зимой, в феврале, в марте все потелились, как одна. Десять телят. А куда их девать? Телятника приспособленного нету. Тыкаемся с этими телятами по всем куткам. Пять телят взяла к себе в хату, а больше некуда. Тем вот тут, за кладовкой, отгородила место. Возилась с ними, пока трое телят пали. Одного телёнка отдала в колхоз от своей коровы на то место, а двое вот теперь на моей шее.

— Как — на вашей шее?

— А так, что грозятся вывернуть с меня при отчётном годе за телят из тех денег, что по трудовням заплатят. Видите, какие порядки! Теперь слушайте дальше. Все мои десять коров потелились, все десять дою. Работы, значит, мне больше? А вот вам Катька Архипова. У неё тоже десять коров. Как она их там случала, не случала — не знаю. Четыре коровы у неё всего отелились. Четыре телёнка. Выходила их без забот, без хлопот, все живые, передала их телятницам, никакого ей убытку. И теперь всего четыре коровы доит. А трудовень что мне, что ей — одинаково!

— Верно говорит Зайцева! Кто шесть коров доит, кто восемь — всем трудовень!

— Зайцева? — наострил ухо Долгушин. — Вы Зайцева? Не жена ли нашего бригадира?

— Жена.

— Она самая. Жена Игната Сергеевича, — подтвердили доярки.

— Ну, будем знакомы. Как вас по батюшке?

— Никитишна, — улыбнулась Зайцева. — Прасковья Никитишна. Мне про вас Игнат рассказывал, как вы там в мэтээсе кой с кого дурь выгоняете. Вот так бы ещё у нас тут!..

— Так почему же вам одинаково начисляют трудовни? Разве вы не получаете дополнительной оплаты за надой молока?

— Какая ж дополнительная оплата, когда мы плана не выполняем. А чем его выполнять? Какие у нас корма? Сами видите. Разве это сено? Его только на подстилку, гнильё такое! А чтоб там жмыху какого или картошки дать коровам — этого у нас и в помине нету. На смех поднимут тебя на собрании, ежели о концентратах говоришь. Но всё же мы считаем, товарищ директор, это неправильно!

— Что?

— Да вот. что поровну трудовни пишут. Пусть мы плана не выполняем, а всё же кто десять коров доит, кто четыре — разница? Нам говорят: ухаживает доярка всё равно за всем десятком. Так одно дело кормить, а другое дело ещё и доить! Какой же нам интерес не допускать, чтоб коровы яловели? Я за своих поставила пастуху пол-литра, чтоб случал, а Катька, может, за своих поставила ему два пол-литра, чтоб не случал!

— Ничего я ему не ставила, пустое мелешь! — озлилась Катерина Архипова. — Что я, вредительница какая, чтоб нарочно коров портить? Так пришлось, что мои не отгулялись.

— Может, и пришлось так, кто его знает. Но всё одно неправильно, что нам с тобою плата равная!

— Об этом начальники наши знают, как нам платить! Ты тут своих законов не установишь!

— На быков, значит, надеетесь, товарищ заведующий? — Долгушин взял под руку Бесфамильного и прошёл с ним несколько шагов по коровнику к выходу. — Это — дело. Так будете на них надеяться, скоро совсем останетесь на своей ферме без «госпроизводства». Я ещё нигде не видел в хозяйстве таких идиотских порядков — прошу не обижаться. Это же просто какое-то самоубийство! Оказывается, колхоз платит дояркам не за надои молока и сохранение телят, а за то, чтобы не было на ферме ни телят, ни молока!..

— Не я эти порядки здесь устанавливал, товарищ директор. До меня тут сто заведующих перебивало. Не мною это началось, не мною и кончится.

— Да как сказать... Началось не вами, а кончится, может быть, вами.

— И вообще обзывать нас идиётами хватает тут кому и без вас! — вдруг обиделся и озлился Бесфамильный и, высвободив свою руку, отошёл от директора. — Приезжают товарищи из района, из области. Есть над нами начальники. А вы валяйте в свою мэтээс и там командуйте!

— Да, товарищ Бесфамильный, я у вас тут никакой не начальник, — не повышая голоса, наружно спокойно, раздумчиво сказал Долгушин. — Таково уж моё положение: отвечаю за всё, что делается в колхозах, а распоряжений, приказов вам здесь давать никаких не могу. Но есть ещё начальник и над вами и надо мною — народ. Народ может приказать и вам и мне. Может и совсем оставить нас министрами без портфелей. Вот к этому начальнику и придёт, пожалуй, обратиться...

— У вас здесь на животноводстве был когда-то заведующим Артюхин Филипп Касьянович. Кто из вас работал при нём на ферме? — спросил Долгушин у доярки, когда Бесфамильный вышел из коровника и стал что-то делать у колодца, поправлять и укреплять столб журавля, который и без того достаточно прочно стоял на своём месте.

— А вы знаете Касьяныча? — заговорили доярки.

— Как же, многие при нём работали. И я работала, и Настя вот работала, и Марья работала.

— Вот то был заведующий! Хозяин!

— На быков не надеялся!

— У меня и сейчас похвальная грамота висит в красном углу, что при нём получила от партийного комитета из области!

— Премии нам давали. По пятьсот литров молока дополнительной оплаты получали!

— Курсы тут были на ферме, обучали нас по зоотехнике.

— Горькими слезами плачем о Касьяныче, кто помнит, как он здесь руководствовал!

— А вы чего спрашиваете про него, товарищ директор? Может, думка есть — назад его к нам повернуть?

— Не пойдёт он. Обидели человека!

— Вот на том месте стоял телятник, что сгорел. Вот там, где куча самана. Подожгли какие-сь головорезы. А его потом затягали по судам.

— И в колхозе эти наши фулиганы на него злобились, и власть — на него же! Разобрались, защитили человека!

— А кто такие эти ваши хулиганы, как вы их называете?..

Доярки замолчали.

— Да есть такие...

— Кто?

Женщины, поглядывая друг на дружку, молчали. Катерина Архипова взяла метлу, стала подметать проход между стойлами, другая доярка отошла к коровам.

— Вот так у нас всегда! — махнула рукой, горько усмехнувшись, Зайцева. — Промеж собою шумим, кричим, лютуем, готовы на мелкие кусочки их растерзать, а как до дела — и языки прикусили!

— «Кто, кто». Чего у нас спрашиваете, товарищ Долгушин? — выступила вперёд, отважившись, доярка, которую звали Марьей. — Целый час вы разговаривали с Голубчиком. Либо вам ещё не ясно, что оно за человек? Наш колхозный объедала, опивала! Трутень в нашем бабьем рою! Может, кому неловко про него так говорить, — Марья бросила вызывающий взгляд на Катерину Архипову, — а я скажу! Он ко мне ночевать не ходит, я его яешней с салом не кормлю, у меня свой мужик есть. Вот вам один такой безобразник! Живут в своё удовольствие, а на хозяйство наше им наплевать!

— И на фронте сумел как-то отвертеться от передовой, — подошла к Долгушину другая доярка, Настя. — Всю войну где-то в тылу огибался.

Женщины заговорили враз:

— Наши там головы положили, а он трофеи собирал! В трофейной команде был начальником!

— С такой мордой! Туда бы инвалида какого-нибудь, в тыл, а ему — пулемёт на горбу таскать!

— Пять аркадеонов привёз из Германии! А ещё там всякого добра — на тридцать лет продавать, жить, и работать не надо!

— Должно быть, какой-то начальник за трофеи и в партию его там принял. Задобрил кого-то.

— Его выгоняли уже раз из партии, перед войной. И судить надо было, да как-то замотали. По пьяному делу одного бригадира тут ножом пырнул. И два центнера мёду в кладовой не хватило. Нет же, опять партийным пришёл с фронта! Оправдался!

— Когда вот такие там заседают, так неохота и итти к ним в правление с какой-нибудь жалобой.

— Кому на кого жаловаться?..

К коровнику подъехала, дребезжа пустыми бидонами, телега. Ездовый сердито закричал, не слезая с неё:

— Эй вы, мокрохвостые! Забирайте свои бидоны! Растащут посуду по всему селу, а я ездий собирай! Кто мне полтрудодня запишет за лишнюю работу? А ну, живей поворачивайтесь! Когда я теперь доберусь до завода? И молоко ваше, к чёрту, прокиснет!

— Хоть бы уж ты не орал на нас, Тюлька! — зло замахнулась на него метлой Катерина Архипова. — Одно слово — Тюлька, а орёт тоже, как начальник!

— А как же, — зашумели доярки, — начальник над слепой кобылой!

— Вожжи в руках — значит начальник!

— Ежели ты ещё, Тюлька, будешь обзывать нас такими словами, гляди, как бы эти вожжи по тебе не походили!

— А чего, простое дело: штаны спустим и так тебя почешем, что и правнукам закажешь над бабами изгаляться!..

Ездовый Тюлкин, опасливо поглядывая на разъярившихся по неизвестной ему причине доярок, понимая, что, если они вздумают привести свою угрозу в исполнение, ему одному от них не отбиться, — директора МТС и шофёра, стоявших в глубине коровника, он не заметил, — сразу притих и, чего, видно, никогда не бывало, даже слез наземь и сам стал выносить из кладовой и устанавливать на телегу полные бидоны.

Женщины с цыбарками разошлись по коровнику додавать ревуших в стойлах коров. Долгушин и Володя, попрощавшись, поехали дальше.

«Вот тебе и яловая порода! — думал Долгушин, пытаясь на тряском ходу «газика» записать в блокнот кое-что из разговора с доярками. — Сколько вокруг этой породы новых новостей открывается!..»

Решение провести в этом колхозе открытое партийное собрание пришло к Долгушину уже перед вечером.

Часа в три дня пошёл сильный дождь, густой и обложной, надолго, на весь остаток дня, пожалуй, и на всю ночь. Тракторы остановились, народ повалил с поля домой, в село. Можно было созвать собрание без ущерба для посевных работ.

— Проводились ли здесь в колхозе открытые партийные собрания? — спросил Долгушин у инструктора райкома по зоне Надеждинской МТС Зеленского.

— Никогда, должно быть, не проводились, — ответил Зеленский. — Сколько ни проверял я у них протоколов — всё закрытые и закрытые собрания. А знаете, почему закрытые? Не потому, что секретные вопросы обсуждают. Стыдятся народа! Боятся приглашать на свои собрания колхозников!

С зональным инструктором Зеленским Долгушин встретился ещё утром, едуци с фермы в полевые бригады. Зеленский шёл из Надеждинки напрямик, полями, по непросохшей ещё местами стерне, волоча по пуду земли на сапогах, в сером прорезиненном плаще, со свёртком газет в кармане плаща и папкой подмышкой — типичный вид сельского «уполномоченного». Он рассчитывал провести в «Рассвете» дня два — для изучения работы партийной организации на весеннем севе. Долгушин пригласил его в машину.

Зеленский бывал уже в «Рассвете» много раз.

— Нечего мне тут уже изучать, — говорил Зеленский. — Для чего изучать? Делать что-то надо с этим колхозом, а не изучать! Что мы, диссертации будем писать на тему о недостатках в наших парторганизациях? Я уже десять докладных вручил Холодову об этом колхозе, а он их к делу подшивает. Что тут изучать? Я знаю, как они расставили коммунистов, сам был у них на собрании. Все прикреплены к бригадам. Но толкуто от таких прикрепленных!.. Вот придёт к колхозникам Егор Трапезников — есть тут такой член партии, был и заведующим мельницей, и председателем сельсовета, и председателем колхоза; отовсюду выгоняли его за всякие грязные дела, а теперь живёт спекуляцией. Всю осень брал в автоколонне машины, скупал у колхозниц картошку и возил её в Донбасс. Придёт в бригаду и станет разъяснять колхозникам решения Пленума, убеждать их честно и добросовестно трудиться. А им тошно смотреть на него, противно его слушать! Чья б мычала, а твоя молчала. У самого за прошлый год пятнадцать трудодней, и у жинки всего трудодней десять. Такие агитаторы только на нервы людям действуют. У них и Харитон Голубчик числится агитатором. Закреплён за животноводством. Тоже разъясняет народу, как надо жить, трудиться. Пюрочат, негодяи, партию в глазах колхозников!..

Долгушин с Зеленским побывали в полеводческих бригадах, на парниках, в колхозных мастерских. Нашли они и Филиппа Касьяныча Артюхина. Старик оказался не таким уж отчаявшимся и запуганным, как говорил о нём на собрании трактористов в МТС Зайцев. Он откровенно высказал свои соображения о делах в колхозе, дал обстоятельные характеристики всем членам правления, новому председателю колхоза Бывалых, местным коммунистам.

Зеленский, парень простой, без начальнического гонора, умеющий вовремя и скрепить разговор острым словцом и шутку пустить, располагал как-то к себе душевно людей. Колхозники рассказали ему и Долгушину о своей жизни много такого, чего другим «представителям», возможно,

и не стали бы рассказывать, поостереглись бы. Видимо, и о Долгушине прошли уже всюду хорошие слухи, как о директоре, не на шутку взявшемся наводить порядки у себя в МТС и отстающих колхозах, о человеке деловом, не бросающем слов на ветер.

В третьей полеводческой бригаде они не нашли на поле бригадира-коммуниста Милушкина; бригада начала сев без него. Милушкин в воскресенье справлял именины, третий день уже опохмелялся и всё никак не мог вернуться к работоспособному состоянию. Во второй бригаде с утра не было прицепщиков, потом, когда часов в одиннадцать пришли прицепщики, оказалось, что вывезли непротравленные семена. В первой бригаде некому было убирать с поля прошлогоднюю солому. Сами трактористы приспособили к «натику» волок и стягивали её на дорогу, вместо того чтобы пахать трактором. Зайцев был прав. Такая расхлябанность в организации полевых работ с первых же дней не предвещала ничего хорошего в смысле сроков сева.

В тракторной бригаде повариха, молодая девушка, комсомолка, сказала Долгушину и Зеленскому, как правление назначало её зимою старшей птичницей и почему она сбежала с той работы.

— Как-то мы на нашем комсомольском собрании стали говорить: почему это никого из комсомольцев у нас не назначают на животноводство, на другие отрасли? Разве нету нам доверия, или мы такие неспособные? Есть у нас грамотные парни, девушки, восемь, девять классов окончили. Можно бы кого и на курсы послать, по пчеловодству или по птицеводству. Записали в протокол, передали секретарю парторганизации товарищу Чайкину. Потом, слышим, было у них заседание правления. Зовёт меня товарищ Бывалых. «Назначаем тебя, Кострикина, старшей птичницей. Принимай птичник и с завтрашнего дня приступай к работе». Ладно. Пошла я туда, посчитала кур. Выписала корму на неделю. Помощницей у меня девочка одна, сирота, глухонемая и немножко не все дома, но работать может. А до меня там была старшей птичницей Лукерья Крутькова, жинка одного нашего бригадира. Заболела, положили её в больницу на операцию. Потому и назначили меня, что место освободилось.

Приезжает ко мне на птичник завхоз Мамченко. «Ну, смотри, Клавдия, чтоб всё в порядке было. Вон берданка висит, вот тебе два патрона, вот так надо заряжать, вот за это дёргать. Если будут лисы поблизости ходить — стреляй! Работай, говорю, доверяем тебе это дело. А продукция чтоб была — на уровне». И не поняла я его с первого разу — про какой он уровень говорит? «Постараюсь, говорю, кормов только давайте побольше». Приезжает он ещё дня через три. «Сколько вчера вечером сдала яиц в кладовую?» — «Двести тридцать штук». — «А сегодня сколько собрала?» — «И сегодня, говорю, около того — двести двадцать семь. Может, какая где-то в соломе снеслась, не нашла ещё». — «Как придет Тюлькин, отдай ему сто двадцать штук, остачу придержи пока, до особого распоряжения. Сложи в сундучок и замкни на замок». Приезжает опять через несколько дней. «Ты ж чего меня не слушаешь? Зачем все яйца сдаёшь? Сказано тебе: держи на том же уровне. Сколько у Лукерьи была сдача?» Посмотрели мы тетрадку, что осталась от Крутьковой, — сто, сто десять яиц принимал от неё Тюлькин. «Вот и ты, говорит, около этого сдавай, на яйцо больше, на яйцо меньше. А то — в особый фонд. Разберёмся потом. Что ж нам, ревизию теперь назначать, почему у Крутьковой такая была сдача, а у тебя такая? Женщина там в больнице, может, при смерти лежит, а мы тут дело на неё будем заводить? Разберёмся после!»

Потом иду я как-то из дому на птичник селом, тем краем, за оврагом, слышу — у Милушкиных гулянка. Танцы, песни. Орут! И товарищ Чайкин там, на гитаре бренчит. И Мамченко там. Все там. Про товарища Бывалых не скажу, его голоса не слыхала. Вечером, по-тёмному, — я уже всё позапирала и спать ложилась в сторожке — прибегают Петька Мамченкин



с кошёлкой. «Батя сказали, чтоб ты дала сотню яичек из особого фонда». Отсчитала ему сотню. «Батя говорили: и себе можешь взять десятка два, это тебе премия от правления». Потом на масленой у Бесфамильного собирались. Там компания побольше была. Две сотни яиц им дала и пять петушков зарубала... Поработала две недели и вижу: если на таком уровне держать, то и комсомольский билет свой потеряю тут и ещё, может, чего похуже будет. Отказалась. «Не могу, говорю, работать там. У меня мама больная, возле неё надо ночью кому-то быть, не могу ночевать на птичнике». Сдала кур Надьке Филиппенковой, невестке нашего бухгалтера. Не знаю, у неё теперь на каком уровне...

— И не заявляла никому об этом? — возмутился Зеленский. — Молчала? Факты на руках — и молчала! Или, может, тебе пригрозили, чтоб молчала?

— А кому заявлять? Чайкину? Так он же с ними лёг, с ними встал. Одна чашка-ложка. К товарищу Бывалых не добьёшься. Пошла как-то к нему, а он меня выгнал.

— Как — выгнал?

— В правлении, когда ни заглянешь, там люди всегда, неудобно при людях рассказывать. Я пришла к нему вечером на квартиру. Он лежит на диване в полосатой пижаме, слушает патефон. «Я, говорит, на квартире не принимаю по колхозным вопросам. Я здесь отдыхаю от ваших дрызг. Приходи в правление, по вторникам и четвергам, от десяти до двенадцати». И прямо взял меня за руку и вывел из комнаты. Очень был сердитый. Может, по дому взгрустнулось, жена, детишки вспомнились, в Троицк к ним захотелось, а тут я как раз не во-время со своими вопросами...

— Колхоз — дело общественное, тут в одиночку не украдёшь, обязательно компания нужна,— объяснял Долгушину «механику» воровства колхозный кузнец Тихон Кондратьевич Сухоруков. — Это Егор Трапезников здесь целую шайку развёл, когда ещё был председателем. На рынок полномоченным по колхозной торговле назначал жинкиного родича Ваську Жмакова. По полгода жил в городе, и кто его там учтёт, проверит, что почём продавали, ежели на базаре цены каждый день меняются? Объездчиком в поле держали пьянчугу Мишку Святкина, который за литру водки голый по селу среди бела дня пробежит. А зерно ночевало в кучах на всех токах, и сторожей не было. И шофёром на машине работал Мамченкин брат родной, Стёпка. Люди, может, не скажут, а кабы ту машину допросить, на которой Стёпка ездил, она бы рассказала, сколько тонн пшенички перевезла в город на мельницу, сколько муки из той пшенички Васька Жмаков на базаре продал! А бухгалтер у нас тоже гусь хороший. Бывший снятый заведующий сберкассой, в денежную реформу друзьям-приятелям незаконно сто тысяч обменял. Пьют же, сукины сыны, до ума помрачения! От водки болеют, водкой лечатся, водкой все дела вершат. Один пьёт с баловства, другой — со страха, что рано ли, поздно придётся за такие делишки отвечать, а третий — от подлости, от стыда, ежели ещё остался стыд. Сами пьют и кого хошь возле себя споят. Приезжал прошлым летом следователь из Троицка, так они его так накачали на прощание, что тот и портфель протёр об колесо, все бумаги растерял по дороге.

Старик Артюхин рассказал о «методах» зажима критики.

— Про телятник ничего не известно, может, и случайно загорелось, из мужиков, может, кто заходил да бросил цыгарку. А корова моя, конечно, не сама себе горло перерезала. А то есть ещё у них такой способ — оклеветать человека. Вот тут одного колхозника у нас, Грачёва, довели до того, что хоть в петлю лезь! Задал Грачёв вопрос на отчётном собрании: для какой цели Егор Трапезников с Бесфамильным целую скирду сена не заприходовали, продать ли собирались то сено или по домам развезти? А Трапезников оборачивается да на него: «Ты власовец, изменник роди-

ны, какое имеешь право тут на собрании голос поднимать?» Так и прицепилось это к нему — «власовец». Создали комиссию, следствие вели. И я был в комиссии. Никаких материалов нет на Грачёва. Ни в эмгэбэ, ни в военкомате, нигде ничего. Сушая клевета! Что Грачёв в плену был — это известно. В первые месяцы войны попал раненый под Ельней в плен, пять лет пробыл в лагерях, в немецких и американских. Это все знают. Документы есть у него, от наших органов, прошёл проверку. А насчёт власовца сам Трапезников выдумал и пустил слух: будто кто-то на фронте говорил ему, что видел Грачёва в бою у власовцев, узнал его по облику. Так они и делают! Сказал человек слово — и сразу же ему кляп в рот! А не клеветой, так чем-нибудь другим доймут. Нарядами могут донять. Есть в колхозе такие работы, что давно уже видно всем: не годятся нормы. Какой бы ни был хороший работник — и двадцати пяти соток не получит за день, хоть пуп тресни! Пересмотреть надо, дать правильные нормы. И не пересматривают! Нарочно! Чтоб было чем наказывать людей за критику. Выступил на собрании — вот тебе наряд на неделю на такую работу, где ноль без палочки запишут. Умно делают! Голыми руками их тут не возьмёшь!

Доярка Зайцева, которую Долгушин встретил ещё раз, в селе, когда они с Зеленским шли из мастерских к конторе, говорила:

— Мы уж так и привыкли понимать, что не всё то идёт от партии, что наши здешние партейцы делают. Слышим Москву по радио — вот то партия с нами разговаривает, то её голос. Читаем газеты, постановления Цека — это партии слова. А на своих перестали уж и внимание обращать. Раз ты говоришь одно, а делаешь другое — какой же ты партеец? Хоть вы и считаете Харитона Бесфамильного коммунистом, и на собрания его зовёте, и в райкоме он там где-то на учёт взятый, а мы его всё одно за члена партии не признаём! Не такая партия, как наш Харитон! Не верим мы, чтоб партия на таких пустобрёхах держалась! Это мы всё понимаем: где партия, а где охвостье, которое к партии примазалось. Нас эти поганцы не собьют с того пути, куда нас Цека зовёт, не потеряем мы из-за них веру свою. Но всё же трудно нам, колхозникам, хозяйство поднимать, когда вот такие люди у нас в парторганизации!..

Разговоры с колхозниками так разволновали Долгушина, что он, пожалуй, и не смог бы уже уехать сегодня домой ни с чем, не начав немедленно, сейчас же, что-то делать для оздоровления колхоза.

И Зеленский был настроен также на решительные меры. Зеленский говорил:

— Некоторое время назад у нас в сельском хозяйстве была круговая порука плохого. Станешь критиковать какого-то председателя, а он говорит: «Чего вы ко мне привязались? Вон у соседей, в «Красном пахаре», ещё хуже, чем у нас!» А в «Красном пахаре» говорят: «И мы не самые первые от заду, в «Рассвете» ещё хуже». Вот так и прятались друг за друга. А теперь нам надо создать круговую поруку хорошего. Все тянут в гору, а кто-то один тормозит. Теперь хорошего больше! И где осталось ещё вот такое плохое, как здесь, надо всеми силами навалиться на него и приканчивать. Облаву надо делать на плохое, как на волка! Брать его под перекрёстный огонь!

— Круговая порука хорошего, да! Именно круговую поруку создать! — Долгушину очень понравилось это выражение, он несколько раз повторил его. — Руденко, Щукин, Нечипуренко, Грибов — все взялись за дело честно. Коммунисты. Поняли важность момента. Мне на шестом десятке пришлось начать как бы вторую жизнь. Всё сызнова. Бросили металлурга на сельское хозяйство. Деревня, которую на картинках только видел, новые люди, новое дело. Что ж, сколько есть ещё сил у меня, всё положу здесь, а приказ партии выполняю. Мы могли бы за год нашу МТС со всеми колхозами зоны вытянуть в передовые! А этот Бывалых нож

в спину нам всаживает. Предатель! Волчью облаву — на такое плохое! Правильно!

Рассказал Зеленский, между прочим, Долгушину и о себе, как он попал в партийные работники.

В партию он вступил на фронте в сорок третьем году. После демобилизации из армии его, двадцатипятилетнего парня, капитана запаса, райком послал председателем кулпромартели «Геркулес». Но ему не пришлось там ломать голову над новым для него делом, изучать производство пива, халвы, джемов. В артели за него работал технорук, а он сам зиму и лето проводил уполномоченным в колхозах. Потом, при Борзове, его взяли в райком инструктором. Это было продолжением всё той же кампанейщины, вечных разъездов по колхозам в качестве «толкача». Меньше всего приходилось ему в этих командировках заниматься партийной работой. Обижался Зеленский и на Мартынова — за его невнимание к работникам аппарата райкома. У Мартынова все заботы ушли в кадры председателей колхозов, видимо, кроме хороших председателей, ему больше никого и не нужно было. На аппарат смотрел тоже, как на порученцев и на писарей. Есть кому расследовать жалобы и отвечать на бумажки обкому, и ладно. Не учил он инструкторов, как им построить работу, чтобы интереснее им было жить на свете, чтобы видели они хоть какие-то результаты сделанного ими. Вообще до партийных организаций, до рядовых колхозных коммунистов у Мартынова как-то не дошли руки.

Когда организовывали зональные группы, Зеленский сам напросился в Надеждинскую МТС — всё же ближе к живому делу, к народу. Но и здесь настоящего удовлетворения работой не получил.

— Надоело уже мне, Христофор Данилыч, — говорил он, — ходить вот так, пешим апостолом, из колхоза в колхоз. Четыре колхоза у меня — значит, ни за один как следует не отвечаю. Да и что я могу сделать своими советами? Должность у меня очень уж бесправная. Где хорошо в парторганизации, там и без меня обойдутся, а где плохо, как вот здесь, в «Рассвете», опять же моих прав не хватает, чтоб улучшить положение. Что толку давать Чайкину советы? Ему надо дать по шее, нельзя его дальше держать в секретарях ни одного дня! Я бы больше пользы принёс своей работой, если бы сел где-то на одном месте, секретарём колхозной парторганизации. Хотя бы здесь, в «Рассвете». Нет у нас освобождённых секретарей — ладно, не надо зарплаты, на трудовнях. Считали бы за мною всю культурно-массовую работу, учёбу колхозников, и за это — трудовни. И руководил бы партийной организацией. И комсомольцам помогал бы. Вот тогда можно сделать что-то видное.

Найдя в Долгушине внимательного слушателя, Зеленский охотно поделился с ним своими мыслями по поводу существа партийной работы в колхозах и организационных её форм.

— Очень много у нас стало работников в партийных аппаратах. Если всех посчитать — по несколько человек на колхоз придётся, должно быть. Но все они какие-то разъездные, командировочные. А ещё советские работники, заготовители всякие, земельные работники. Гастролируем по колхозам. И так как маршруты не согласованы, то иной раз в каком-нибудь звене, что при большой дороге работает, человек десять представителей за день побывает. Десять женщин работают с сапками, и десять уполномоченных за день. Там и «ЗИМ» из области, и «Победа» из района, и «газик» из МТС, и на линейке кто-то подъедет, и пешим ходом подойдёт кто-нибудь, вроде меня. И даже не то раздражает людей, что много ездит к ним начальников. Пусть бы ездили, да дело делали. Но дела-то иной раз и не видно. Безобразий в колхозе куча, и все мимо проскакивают. Нерядно всё как-то, по верхам. «Давай, давай!» Можно представить себе, сколько проехало начальников по полям «Рассвета» за все послевоенные годы, а в колхозе что творится!.. Был бы я здесь один-единственный пар-

тийный работник, в должности секретаря парторганизации, и никаких больше уполномоченных, и мне легче было бы работать, чем вот сейчас, когда нас слишком много да по пятам друг за дружкой ходим. По крайней мере не пришлось бы краснеть перед народом за гастролёров и оправдывать как-то наши раздутые штаты. Но думается мне, что всё же к тому идёт: кончать будем эти командировки и гастроли. Сажать каждого прочно на какой-то определённый участок и чтоб дело делали! А из наших райкомовских инструкторов, да и из обкомовских тоже, много бы вышло хороших секретарей колхозных парторганизаций! А может, и какой-нибудь заведующий отделом согласился бы променять канцелярию на колхоз? До каких же пор мы будем доверять воспитание колхозных коммунистов случайным людям в партии, вроде здешнего Чайкина? Разве секретарь в парторганизации нужен только для того, чтобы протоколы к делу подшивать? Председателей хороших в колхозы подбираем, а об этих кадрах мы ещё и не подумали!..

Вот после таких разговоров и почти целого дня езды и хождения по бригадам Долгушин с Зеленским и решили на свой страх и риск созвать вечером в колхозе открытое партийное собрание. Зеленский по лютому настроению Долгушина догадывался, какое именно он хотел провести собрание: вывести на чистую воду всех разложившихся, а коммунистов, не связанных с колхозными «объедалами» и «опивалами», но и не борющихся с ними, заставить почувствовать свою ответственность перед народом за судьбу колхоза.

Секретарь парторганизации Чайкин стал было возражать против такого собрания, без подготовки, в рабочий день. Его убедили тем, что дождь всё равно сорвал работы в поле и люди все дома, и что от него или от председателя колхоза не требуется обширного доклада — надо сделать лишь короткое сообщение о ходе полевых работ в первые дни сева. Зеленский добавил ещё такой аргумент:

— Непременно надо провести собрание! Иначе план работы парторганизации на этот месяц останется невыполненным. У вас же только одно собрание было. А знаешь, как Василий Михайлович требует сейчас от нас, чтоб все запланированные мероприятия выполнялись по количеству? Поедешь, товарищ Чайкин, отчитываться на бюро двадцать третьего числа — это тебя, может, только и спасёт, если на плане работы будут всюду стоять мои галочки: «выполнено».

Бывалых пытался безуспешно дозвониться из своего кабинета в конторе в райком к Медведеву, сообщить ему, что директор МТС занялся в колхозе не своим делом, посягает на функции партийных органов. Один раз ему ответили, что Медведев вышел, потом — что у Медведева представители из области и он просил его пока ни с кем не соединять, наконец, девушка на промежуточной, Ореховской почте сказала, что грозю по-вреждён провод на Троицк и связи не будет до утра. Холодова тоже не оказалось в МТС, уехал куда-то в колхоз. Отменить скоропалительное партийное собрание было некому.

Зеленский, прихватив с собою для порядка секретаря парторганизации, поехал на директорском «газике» по всем бригадам, фермам, хозяйственным точкам.

Если бы колхозников оповестили, что созывается обычное общее колхозное собрание, сходились бы долго и пришло бы, пожалуй, как всегда, человек сто из пятисот с лишним взрослых членов колхоза. Но когда народ узнал, что состоится партийное собрание, открытое, и принять участие и даже выступить на нём приглашаются все желающие, что приехал директор МТС и собрание, видимо, будет по очень важным вопросам, — к восьми часам вечера — на дворе было ещё совсем светло — в клуб пришло человек четырёхста. Двенадцать членов и кандидатов партии и четырёхста беспартийных колхозников.

Сообщение о ходе сева сделал Бывалых. Похвалиться было нечем — распушенность бригадиров и неорганизованность. Зеленский добавил, рассказал, что видели они с Долгушиным днём в бригадах. Никаких перемен, всё то же, что было здесь осенью, прошлым летом.

И начались прения. Выступали все, с кем Долгушин разговаривал днём, и ещё много незнакомых ему колхозников. Поднималось сразу по десятку рук — просили слова у председателя собрания Артюхина. Разговор с сева перешёл на общее положение в колхозе. Началось собрание в восемь часов вечера, а закончилось в два часа ночи.

Всё выказали колхозники, что накипело у них. За последнее время, видимо, каждый много передумал о том, что же делается у них в колхозе. Всюду вокруг жизнь на их глазах круто пошла в гору, а они в своём «Рассвете» остались, как в поле обсевок. Шайка бессовестных мазуриков захватила в свои руки главенство в колхозе, и все заботы их только о своём брюхе. Создали себе привольную жизнь и на тех, кто мешает им хозяйничать по-своему, бросаются, как звери. Иных порядков в колхозе им и нежелательно, потому что в здоровом колхозе нет места для паразитов. Что из того, что колхоз из года в год не выполняет планов государственных поставок и на последнем месте по урожайности? С двух тысяч гектаров как-нибудь наберётся всяких чёрных доходов достаточно для того, чтобы нескольким семьям жить в своё удовольствие. Потому и отпала охота у людей работать, что видят они, куда девается их общественное добро. Говорили колхозники о коммунистах, о каждом, кто чего, по их мнению, стоит. Говорили и о таких, что стали общипанными воронами, а были орлами. Бригадир Милушкин вступал в партию в партизанском отряде в сорок втором году, когда немец до самой Волги доходил. Про него не подумаешь, что примазался к партии ради должности, как Трапезников или Чайкин. Кое-кто в то время уже и не надеялся, что Советская власть вернётся. Человек кровью своей доказал преданность партии. У немцев в гестапо был. Под пытками ни слова не сказал о партизанских базах. Из-под расстрела бежал. Но что же сейчас случилось с ним? Кто его опутал? Кто довёл до беспробудного пьянства? Говорили о Бывалых. Чистоплюй, барин. Приехал в колхоз, как на дачу. Семью не перевозит, трижды на неделе ездит в Троицк, к жене. Раньше девяти утра в правление не является, и боже упаси потревожить его на квартире по какому-нибудь срочному делу! Компании с этими «объедалами» он не водит, но что толку из этого. И не трогает их, не мешает им попрежнему бесчинствовать. Никак не хочет человек работать в колхозе. Навозом воняет ему здесь в селе. Посмотришь на него, как он через силу разговаривает с людьми, слова тёплого никому никогда не скажет, — да он же просто ненавидит народ! Считает, вероятно, колхозников виновными в той неприятной перемене, что произошла в его жизни: послали с хорошей, непыльной районной должности председателем колхоза, да ещё в самое отстающее село!

Долгушин в конце собрания, подводя итоги прениям, говорил:

— Такое могло случиться с вашим колхозом только потому, товарищи колхозники, что вы позабыли свои хозяйские права. Колхоз — это же ваш дом, ваше общественное хозяйство, и хозяин этому дому — вы, общее собрание колхозников. А у вас в последние годы, говорят, с трудом удавалось созвать даже отчётное собрание. Не идёте на собрание, не желаете пользоваться своими правами. В жизни всякое может быть. Может случиться, что в райкоме будет худо с руководством, в партийной организации у вас могут завестись непорядки, как сейчас. Но при всём этом, что бы ни было — вы хозяева своему колхозу. За вами остаётся право сойтись вот таким собранием и прогнать в три шеи того, кто ведёт ваше общественное хозяйство к развалу, а вас — к копейным доходам. Всегда, при любых обстоятельствах, это — ваше неотъемлемое право! Никогда

ничего плохого не случится с колхозом, если у колхозников будет высоко развито чувство коллективного беспокойства за своё добро, чувство хозяев своей жизни. Это самая верная страховка от всех бед!

Когда подошли к принятию решения, Долгушин предложил первым пунктом исключить из партии Бывалых: за полное бездействие в течение четырёх месяцев, за попустительство врагам колхозного строя, за шкурническое стремление удрать из колхоза, ничего не сделав для его подъёма.

За исключение Бывалых проголосовали семь членов партии, и за ними в зале поднялся ещё целый лес рук. Секретарь собрания, писавший протокол, вопросительно поглядел на Долгушина, Зеленского.

— Ничего, — сказал Долгушин, — можно отметить в протоколе, что и столько-то беспартийных присоединилось к решению партсобрания. Это учтётся.

Зеленский подсчитал поднятые руки — четыреста три.

Исключили из партии Трапезникова и Бесфамильного. Отстранили от руководства парторганизацией Чайкина. Выборы нового секретаря решили согласовать с райкомом, отложили до следующего собрания, на ближайшие дни. И записали в решении, что новое руководство должно продолжить и довести до конца очищение партийной организации от примазавшихся шкурников и социально опасных людей. И ещё записали особым пунктом: просить следственно-судебные органы принять активное участие в очищении колхоза «Рассвет» от преступных элементов.

А затем тут же, с тем же составом участников, открыли общее собрание колхозников. Собрание сняло с должности председателя колхоза Бывалых, распустило правление, как не заслужившее доверия народа.

Кандидатуру нового председателя назвали сами колхозники: Артюхин. Видимо, люди знали с хорошей стороны и любили этого старого коммуниста — выбрали его почти единогласно, человек десять только воздержалось от голосования. В новый состав правления, кроме Артюхина, вошли доярка Зайцева, комсомолка Кострикина, Грачёв, кузнец Сухоруков и бригадир Милушкин.

Зеленский сказал Долгушину, что будет просить в райкоме, чтобы его освободили от работы в зональной группе и рекомендовали секретарём парторганизации в колхоз «Рассвет».

На другой день с утра нельзя ещё было начинать полевые работы, но к обеду, когда просохло и загудели тракторы, народу в бригады вышло столько, что у бригадиров даже и нарядов на всех не хватило; пришлось часть людей из полеводческих бригад отослать на строительство в село и на парники.

Ничего страшного не случилось от того, что сменили председателя и всё правление в разгар весеннего сева. Новый председатель Артюхин знал, как пять пальцев, всё хозяйство колхоза, поля, людей, ему не требовалось много времени, чтобы войти в курс дела. На севе это отразилось лишь самым благоприятным образом. В первую же пятидневку колхоз «Рассвет» показал такие темпы весенних полевых работ, что можно было уже не опасаться затяжки сева здесь на целый месяц.

Тем не менее Долгушину попало за это партийное собрание и самовольные выборы нового правления в «Рассвете». Да ещё как попало!..

*Конец первой части.*



В. ТЕНДРЯКОВ

★

## САША ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

*Повесть\**

10

**С**танция Великая — бревенчатый вокзальчик с дощатой платформой — наверняка со времени своего основания не видала такого нашествия.

Вдоль дороги борт к борту стоят грузовые машины: истрёпанные по дорогам полуторки, осанистые трёхтонные «ЗИСы», даже пятитонный дизель с высоко поднятым кузовом — предмет вечной зависти каждого колхозного председателя. У грузовиков к бортам из толстых верхковых досок приделаны клетки... Тут же — густо пропылённые от скатов до брезентовых тентов легковые «газики», та же пыль придаёт нарядным «Победам» утомлённый вид. Лошади, запряжённые в лёгкие ходки, плетушки, старомодные, начавшие, быть может, свой век до коллективизации, тарантасы. Лошади просто осёдланные. К ним уже из леспромхозовского посёлка набежали на даровое сено козы. Повозочные хлещут их кнутами, гонят прочь. Из того же посёлка появилась партия мальчишек, жадных до развлечения и пронырливых не менее коз.

Колхозные председатели стоят озабоченными кучками. Те из них, кто повидней, чей колхоз пользуется уважением, — в сторонке, на особи: рослый, с опущенными плечами Игнат Гмызин; с багровой шеей, наплывшей на ворот рубахи, Федосий Мургин; костистый, хищно вскинувший голову Максим Пятерский; молодой, в галифе, в рубахе навыпуск — ни дать ни взять красавец со старинной картинки — Костя Зайцев...

Из-под всех станционных кустов торчат головы, и в фуражках и простоволосые, рядом с ними — сапоги, а то и просто босые ноги — перематывал хозяин портянки да решил понежить на ветерке пятки.

Две большие группы женщин. Одни сидят на солнцепёке, распаренные, поскидавшие с голов на плечи платки, едва-едва перекидываются словом, другим. Вторая группа тоже на солнцепёке, но эти стоят и так громко и бойко разговаривают, что со стороны кажется — всем десятком враз торгуются о чём-то.

Молодёжь из колхозов, девчата и парни, похохатывает в тени вокзала. Среди них Катя Зеленцова.

Под развесистой берёзой — стол. Около стола — в белых халатах зоотехник Дядькин и главный ветеринарный врач района Пермьяков. Дядькина каждая хозяйка знает в Коршунове — он мастерски удаляет перерастающие зубы поросётам. Пермьяков, рыжеватый, веснушчатый, нетерпелив — всё время ищет в своих карманах что-то, цедит сквозь зубы:

— Экие увальни. В тартарары провалился их эшелон, что ли?

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. 47.

Дядькин сидит на стуле, косо стоящем на земле, спокоен, сосредоточенно, со вкусом курит, пропуская каждую затяжку сквозь заросшие волосом широкие ноздри.

Из станционных дверей вышло, сопровождая начальника в красной фуражке, районное руководство: Мансуров, Сутолоков, Зыбина...

Начальник станции, повертев торопливо своей красной фуражкой, оторвался и рысцой бросился куда-то к складам. Со всех сторон вслед ему полетели вопросы:

— Эй, хозяин! Долго нам сторожить твой порог?

— В болоте увяз их самовар.

— Свистни только — конями вытащим.

— Верно, быки сами паровоз тянут.

Начальник не отвечал, только передёргивал плечами. По потному лицу видно: районное руководство довело, сердит.

— Идёт, идёт, ребята! — громко сказал Павел Мансуров, проходя к председателям. — Через пять минут покажется. Готовьтесь принимать.

Все зашевелились, из-под кустов стали подниматься люди. Те, что, прохладяясь, лежали босиком, торопливо начали обуваться.

Ни одну знаменитость не встречали так многолюдно на Великой, как встречали сегодня первую партию племенного скота.

Эшелон обещали рано утром, да вот где-то застрял... Прошли уже три товарных и один пассажирский поезд. Из последнего выскакивали люди, подбегали к ожидающим колхозникам, спрашивали:

— Молочком не торгуете?

Им отвечали:

— Обождите, вот приедет — надоим.

Провожали густым смехом.

Наконец-то идёт...

Вслед за отдувающимся паровозом потянулись длинные пульмановские вагоны. От головы к хвосту по телу эшелона прошла крупная дрожь, залязгали буфера. Эшелон остановился. Из приотдвинутых дверей каждого вагона выглядывали люди — больше женщины.

Неизвестно откуда, похоже вынырнул из-под колёс, появился юркий чернявый человечек в картузе небелёного полотна и в такой же гимнастёрке, изрядно затёртой в дороге. Он перебросился несколькими словами с Мансуровым и Сутолоковым, затем, прижимая подмышкой полевую сумку, дрыгающей походочкой пошёл к столу под берёзой.

Колхозники, председатели толпились у вагонов, заглядывали в пахнущую навозом, сеном, молоком темноту дверей, заводили разговоры с сопровождающими.

— Издалеча к нам?

— В Кожве грузились.

— Это что за столица?

— В Коми...

— Вот те раз, с севера коров везут.

— Что ж, коль вы своим обеднели.

— Там колхозы так скотом богаты, что ли?

— Нет, тут все из совхозов да пригородных хозяйств.

— Жаль расставаться, поди?

— Чего там жаль... Нам кормить не легко, всё на привозном, у вас здесь сено своё...

— Своё-то своё, да не густо его. Чай, привередлива ваша скотинка, абы чего не жрёт?

— Что там привередлива... Рацион обычный.

— Наш рацион: летом по травке моцион, а зимой соломки под нос, добро бы овсяной, а то и ржаная идёт.

— Для таких заставят завести рационы — не простая порода.



— То-то и оно...

Открыли первый вагон, установили настил. Коровы, измученные долгим переездом в качающихся вагонах, ошеломлённые ярким солнцем, многолюдием, покорно выходили на свет, сразу же останавливались, пьяно пошатываясь. В их больших, тоскливых и покорных глазах лихорадочными тенями отражалась обступившая беспокойная толпа людей.

Игнат Гмызин пробил плечом тесную стену народа, встал впереди, широко расставив ноги, засунув руки в карманы. Лицо его было насупленным и холодным, маленькие глаза сузились, взгляд их стал острым, щупающим.

— Так, так,— бормотал он,— широкая кость, много мяса нарастёт... Похудали в дороге...

Его толкали в бока женщины, громко переговаривались, оценивали коров уже по-своему.

— Матушки мои, родимушки! Вот это вымечко! Что твоя торба.

— Пустое теперь, а как нальётся... Ведро, козь не больше.

— Вы на животы гляньте — брюхастые, на последях словно бы...

— В этакие пучины сколь корма войдёт. Съедят они нас живьём, голубчики!

— Тебя съешь — подавишься.

— У-у, ирод! Нашёл время зубы скалить.

На лицах женщин, потных, серьёзных и в то же время возбуждённых, чувствовалась растерянность и потаённый страх. Какая крестьянская душа, тем более бабья, останется спокойной при виде коров? Ещё каких коров — широкие спины чуть-чуть прогнуты, бока раздуты вширь, меж угловатыми крестцами и животом у каждой впалое место — дорога ещё сказывалась. У всех вымя висит мягкими тяжёлыми складками — недавно доены. Да кто понимает не разумом — душой, в кровь от прабабок и прадедов вьезшейся любовью к скотине, сразу увидит: это — богатство! Но оно-то и пугает... Местную пеструху можно выгнать с утра на выпас, вспомнить к вечеру и подоить. Сама себе найдёт, чем набить брюхо. Этаких ли барынь держать на пеструхиных харчах?..

— К ветеринарам ведите! Чего задерживаете? Ещё посмотритесь,— раздались голоса.

— И то... За простой вагонов, верно, платить придётся...

Люди зашевелились, большинство бросилось к вагонам, часть пошла отводить в сторону коров.

Через два часа у тихой станции Великой шевелилось, мычало тесное стадо — вскидывались рогатые головы; уже деловито, по-хозяйски, раздавались женские голоса:

— Марья! Марья! Эту сивую заверни! Ишь, домой захотелось...

— Далеко дом, голубушка, далеко! Иди-ко, иди!

Разгружали последние вагоны.

В маленьком станционном буфете были выпиты все запасы воды, на полках остались только коробки дорожных папирос — «Северная Пальмира», «Герцеговина флор» — да шоколадные плитки.

К неудовольствию начальника станции, неподалёку от приземистой водокачки был разложен костёр, варилось артельное ведро картошки.

С восторженным визгом носились ребятишки, козы ныряли в гущу коровьего стада...

Мычание коров, гул людских голосов, путающийся в ветвях пристанционных деревьев дым костра, лёгкий запах гари, резкий — навоза и пота животных... Казалось, на станции Великой задержалось великое становище кочевников, здесь оно собирает свою силу, чтобы двинуться дальше.

Павел Мансуров не мог усидеть на месте. От ветеринаров бежал к вагонам, сам хватал коров за рога, осторожно сводил по шатким доскам, от вагонов срывался и бежал искать Игната, весело спрашивал:

— Ну, как? Прицелился?.. Присматривайся, присматривайся, лучших коров тебе...

Но Игнат Гмызин не мог оторваться от огромного белого быка, похлопывал его по бокам, оглаживал, ногтем отколупывал грязь и навоз, приставший к шерсти. У быка, где вагонная грязь и железнодорожная сажа не тронули тело, под белой шерстью просвечивала розовая кожа, на шее, груди, коротких ногах перекачивались толстые каменные мышцы. Этот бык должен был попасть в колхоз «Труженик», и с Игнатом в эти минуты разговаривать не стоило, он отвечал лишь «да» или «нет». Бык, выворачивая кровавый белок, косил глазом на будущего хозяина, зло рыл копытом землю, гнул неподатливую толстую шею, собирал кожу в мелкие складки. В его розовом, нежнее детской кожицы, носу висело массивное железное кольцо; от кольца, обвивая ствол дерева, тянулась цепь.

Картошку на костре варила молодёжь. Верховодила Катя Зеленцова. Мутный кипяток слили, ведро было опрокинуто на траву, картошка рассыпалась дымящейся кучей. Девчата расстелили два платка, разложили крупно нарезанные ломти хлеба, соль на бумажке.

С пыhtением прошагал мимо Федосий Мургин, нажимая тугой шеей на воротник, оглянувшись, позавидовал:

— Одначе неплохо...

— Верно, неплохо... Примите в компанию! — Павел Мансуров быстрым шагом подошёл, скинул пиджак, запачканный в вагонах известью или мучной пылью, отбросил в сторону.

Фаня Горохова, доярка из колхоза «Первое мая», безбровая, солидная, щёки вздрагивают от каждого движения, подобрав юбку, освободила рядом с собой место:

— Милости просим, не побрезгуйте...

И величаво, с достоинством, как хорошая хозяйка на именинах, поджала губы.

Катя вдруг поймала себя на том, что позавидовала Фане.

Павел Сергеевич перебрасывал с ладони на ладонь горячую картошку, смеялся глазами, рот напряжённо приоткрыт, дышит часто, видны ровные блестящие зубы. «Боже мой, на мальчишку похож!» Он, видно, почувствовал на себе взгляд Кати, поднял голову, и по его смуглым скулам разлился неяркий кирпичный румянец. Катя поспешно отвернулась.

В это время со стороны раздался женский пронзительный крик:

— Бабоньки! Родимые!

Послышалась крепкая мужская ругань, лёгкий перезвон, треск, утробное — короткими, частыми выдохами — мычание.

Огромный белый бык, который недавно был крепко привязан цепью к дереву, своротив стол ветеринаров, круто согнув короткую шею, выставив лоб, слепо шёл вперёд, волоча по траве цепь.

— За цепь его хватай! За цепь!.. Успокойся!

— Серёга! Куда прёшь?

— Не с того конца, дурулом! Смерти хочешь?

— Господи! Миленькие! Да сзади, сзади, родные, подходи!

Игнат Гмызин — без фуражки, бритая голова блестит на солнце, — отталкивая в стороны попадавших на его пути людей, бросился сзади к быку, с несвойственной резвостью нагнулся к тянущемуся по траве концу цепи... Но бык, словно почуял, круто повернулся, плечом сбил Игната на землю.

— А-а-а! Милушки! Затопчет!..

Тяжёлый, рослый Игнат по-мальчишески весело, с боку на бок, покатылся от копыт в сторону. Он, видно, успел схватить цепь, дёрнуть ее. Бык с силой яростью взревел от боли. Не обращая внимания на Игната, не успевшего вскочить на ноги, он медлительной рысцой, от которой, казалось, вздрагивала земля, ринулся на сбившийся в кучу народ. Сталкива-

ясь, падая, снова вскакивая, люди кинулись врассыпную перед многопудовой тушей, тараном несущей впереди себя короткую, словно обрубленную, голову. Из-под твёрдых, крутых надлобий бешеной злобой горели налитые кровью глаза.

Платок сорван, волосы растрёпаны, в группу девчат и ребят, окруживших потухший костёр и разбросанные на земле платки, врезалась женщина.

— Смёртынька моя! Спасайте, люди добрые!

Катя видела, как одеревенели крутые скулы на лице Павла Мансурова, он весь вытянулся, словно вырос, на своих чуть выгнутых, туго облитых галифе и мягкими сапогами ногах, упруго шагнул вперёд, навстречу крикам и воплям.

Перед мордой быка оказался один человек, зоотехник Дядькин. Широкозадый, неуклюжий, в мятом халатике, он растерянно выплясывал, подавая назад, боясь повернуться спиной к быку. В руках у него была какая-то папка, он отмахивался ею, а оборвавший свою рысь и перешедший на скупые шажочки бык напирал головой. Дядькину кричали:

— Не махайся! Зря гневишь!

— В сторону прыгай, в сторону!

— Да беги ты, чёрт!

— Ой! Пропал человек!

Наконец Дядькин, задев за короткие рога распахнувшимися полами халата, повернулся и заячьими прыжками бросился прочь. Бык качнулся, от тяжести не сразу набрав быстроту, ринулся следом.

Навалившись животом на станционную оградку, Дядькин перевалился и упал... Лёгонькая оградка, сколоченная из тонких планок, разлетелась в щепки, пропустила быка.

— О-ох! — Общий, как один, выдох пронёсся по народу.

Дядькин не успел подняться. Сбитый тупой головой, он снова упал на землю и вяло, мешком, перекатился. Бык с разгону упёрся в бревенчатую стену станционного здания, очумело, непонимающе стоял секунду, другую, повернулся, попрежнему взбешённый; по тяжёлому кольцу, выпущенному из розовых ноздрей, текла тягучая слюна. Безумные, сумасшедшие глаза искали новую жертву.

И тут только все заметили, что около быка близко, очень близко стоит один человек — Павел Мансуров. Его заметил и бык, качнулся к нему, громадный, белый, лоснящийся от пота, бока с натугой раздвигаются и опадают — вот-вот ринется, смешает со щепой...

Павел шагнул навстречу. Бык резко вздёрнул голову, но промахнулся — рога не задели Павла — и вдруг дико взревел... Но в этом хриплом рёве слышалась боль и жалоба. Павел держал рукой кольцо, вправленное в розовые ноздри.

Покорно вытянув голову, бык двинулся за Мансуровым. Лишь размашисто ходившие бока выдавали в нём с трудом остывающий гнев.

Около разбитой оградки лежал ничком, в халате, задранном на лопатки, Дядькин. Вокруг него на траве белели листы бумаги, разлетевшиеся из папки. Он с трудом поднял голову, с натугой застонал — то ли невнятно выругался, то ли позвал... О нём вспомнили, к нему бросились...

Игнат Гмызин сконфуженно ощупывал синяки на бритом черепе.

Катя как вскочила на ноги, так и не двинулась с места. Она вытягивала шею, старалась разглядеть в обступившей быка толпе Павла Сергеевича.

Скот увозили и угоняли партиями. Станция быстро пустела. Начальник в красной фуражке ходил взад-вперёд, грустно глядел на оставленные коровами лепёшки, на разбитую оградку. Будь на то его воля — прогнал

бы эшелон с таким грузом подальше, к чёрту на кулички. Да станция крошечная, разъездные пути только напротив вокзала...

У Кати от райкома комсомола была своя лошадь, тихая и покорная кобылка Погожая. Ездить на ней, держать в руках вожжи, покрикивать ласково: «Н-но! Родненькая! Шевелись!..» — доставляло Кате почти детскую радость.

За складами, где шоссе уходит прямо в лес, она вдруг увидела задумчиво стоящего на самой дороге Павла Сергеевича, пиджак накинут на плечи, подмышкой папка Дядькина. Он быстрым, решительным шагом двинулся ей навстречу.

— Екатерина Николаевна, подберите подкидыша.— Он положил на передок пролётки руку, глядя ей в лицо, улыбнулся виновато.— Отправил на своей машине помятого Дядькина в леспромхозовскую амбулаторию. Пока возился, все поразъехались...

— Да, да, пожалуйста.— Катя торопливо задвигалась в набитой соломой пролётке, освобождая рядом с собой место.

Дорогой они говорили не о племенном скоте, не о колхозах, вообще ни о чём серьёзном. Павел Сергеевич, забрав вожжи в свои руки, выкинув из пролётки одну ногу в хромовом сапоге, рассказывал о том, что встреча с таким взбесившимся быком вторая у него в жизни. В детстве он рубил дрова с отцом. Выскочил такой же бык. Отец бросил топор (чтоб сгоряча не садануть — отвечать придётся) и скатился в овраг. Он, Павел, не помня себя взлетел на дерево, и это дерево, молодую берёзку, бык стал раскачивать рогами.

— Думал, стряхнёт меня или с корнем дерево выворотит. Лес да земля вместе с небом перемешались...

Путь не короток до села Коршунова. Павел Сергеевич успел рассказать о диких зарослях малинника в лесных чащах Северного Урала: «Продираешься, бывало, верхом, а лошадь у нас белая была; приедешь домой — живот и ноги у неё красные, а сапоги от сока промокли». Рассказал о дикой реке Чусовой, о донских степях с прыгающими перекати-поле, где пришлось воевать.

Кате почему-то казалось всегда, что он замкнутый, — нет, оказывается, очень простой, разговорчивый. Как ошибёшься иногда в людях...

## 11

Поздно вечером большое здание райкома и райисполкома пустеет. В коридорах, где днём постоянно толчётся народ, — тишина. В общем отделе на столах — покрытые чехлами машинки. В кабинетах торчат окурки в пепельницах (всё, что осталось от делового дня), безмолвствуют телефоны... Как красят люди помещение! Ушли все, и вот уже из углов уютно пахнет канцелярией — пыльной, залежавшейся бумагой, химическими чернилами и ещё чем-то официальным, нежилым.

Из всего здания только в одном месте теплится жизнь. В маленькой прихожей, перед кабинетом первого секретаря, до самой поздней ночи горит свет. Здесь по вечерам сидит дежурный. Дежурят по очереди все работники райкома и даже просто члены партии, проживающие в райцентре.

Дежурить — дело не мудрёное. Возьми с собой книгу, хочешь — сиди читай, хочешь — дремли над ней. Позвонят — расспроси кто, по какому вопросу и звони на квартиру к первому секретарю. Впрочем, ночные звонки стали редкостью...

В два часа ночи появляется ночная сторожиха Ксения Ивановна. Пока дежурный собирает свои книги, надевает плащ, она чинно сидит на крашке стула. Дежурный уходит. Ксения Ивановна, распустив платок, позёывая, шупает рукой замки на шкафах, затем уходит в кабинет пер-

вого секретаря — там мягкий диван. Свет в дежурной комнате не тушит — пусть видят его с улицы, дверь в кабинете оставляет открытой — позвонят, слышно.

Кате приходилось дежурить не в первый раз.

Она раскрыла заложенную конфетной обёрткой книгу, принялась читать:

Ты услышишь всё то, что не слышно врагу.  
Под защитным крылом этой ночи вороньей..

Подняла глаза и засмотрелась, как по матовому абажуру настольной лампы ползает серая, клинышком, ночная бабочка.

Что-то непонятное творилось в её жизни. Более полугодом она встречалась с Сашей... Старая сосна за селом, размолвка, примирение, наконец слова: «Хочу, чтоб стала женой...» Этих слов она ждала, давно ждала. Отмахивалась про себя: «Пустое... Встречаемся, и только...» Но какая девушка с первой встречи, если парень понравится, хотя бы мельком не подумает об этом. Подумает, а там уж одно из двух — или разочарование, или ожидание от встречи к встрече, от вечера к вечеру. Это ожидание особое, оно не тягостное, не трудное, с ним легко жить, каждую минуту ждёшь какую-то великую новость.

И вот свершилось, слово сказано Сашей, ожидание кончилось. После этого должно случиться что-то огромное, после этого катина жизнь должна измениться совсем, стать новой.. Прошло уже около недели, а всё по-старому. Саша не показывается... Но слово-то сказано!

Однако самое страшное и удивительное не то, что исчез неожиданно Саша. Пугает другое... Она сама спокойна. А должна бы волноваться, не находить себе места, негодовать, если позволит гордость, искать его... Что с ним? Как теперь думает? Неужели раскаялся в своих словах?..

Не ищет, не волнуется — спокойна. А обрадуется ли она, если Саша появится и снова будет настаивать на том, что сказал? Даже сейчас при одной мысли об этом чувствует какую-то растерянность.

Что-то непонятное творится в жизни. Лучше не думать...

Ты услышишь всё то, что не слышно врагу.  
Под защитным крылом этой ночи вороньей..

Серая бабочка ползает по абажуру, как будто внимательно, сантиметр за сантиметром, изучает его.

Тихо... И отчего быть шуму, когда на обоих этажах, в длинных коридорах, многочисленных комнатах — ни души. Тихо, а стоит прислушаться и — на лестнице таинственный скрип, над потолком что-то легонько погромыхивает. Дом-то старый, строен ещё купцом Рябовым для себя, для семьи, для конторы и разных служб, после этого десятки раз перестраивался, ремонтировался, но всё-таки старый. А в старом доме всегда что-нибудь трещит, осыпается...

Катю не оставляет одно навязчивое ощущение: вот-вот должен кто-то прийти, и потому она не может читать, всё прислушивается... И кому приходиться, когда идёт двенадцатый час ночи? Давно уже кончилось кино, переговариваясь, прощаясь на ходу, прошёл мимо народ. Ксении Ивановне ещё рано... Нет, надо читать.

Ты услышишь всё то, что не слышно врагу..

А всё-таки который час? Катя тянется к телефону, но рука её ещё не успела коснуться трубки, как телефон сам, громко, казалось на весь опустевший дом, загремел. Катя вздрогнула: «Экий голосистый...»

— Дежурный слушает...

Незнакомый усталый басок:

— Мансуров случайно не засиделся?

— Это кто звонит? Откуда?

— Из леспромхоза... Так нет его?.. Ну что ж, на нет и суда нет.

— Если срочное дело, я могу позвонить к нему на дом. Позвонить? А?..— Катя едва сдерживает нетерпеливость голоса.

Но усталый басок возражает:

— Звонил уже, нет его дома.

Далеко, за тридцать с лишним километров, в конторе леспромхоза кладут трубку. С неохотой кладёт трубку и Катя. Связь её с миром оборвалась. Телефон снова безмолвный, бесстрастный, мёртвая вещь на столе.

«Ты услышишь...» Нет, она совсем не может читать, она волнуется, ждёт... Почему так взволновал её телефонный звонок, что ей такое сказали из леспромхоза?.. Ага! Нет Павла Сергеевича дома... Но где же он тогда? Ведь уже полночь. Смешно подумать, чтобы он в такое позднее время мог подняться сюда... «Вот оно что! Ведь это его ты ждёшь, прислушиваешься — не его ли шаги раздадутся по лестнице?»

Серой бабочке стало горячо на абажуре, она сорвалась, принялась выплясывать над лампой. Катя склонилась над книгой.

— Дорогие мои, я хочу вам помочь!  
Я готова.

Я выдержу всё.

Прикажете,

Внизу глухо хлопнула дверь. У Кати упало сердце: слышалось или нет? На лестнице раздавались размеренные, неторопливые шаги. Как хорошо всё слышно в этом пустом старом доме. Но кто же это идёт? Выскочить? Спросить? А вдруг и на самом деле?..

Катя торопливо склонилась над книгой:

Тишина, тишина нарастает вокруг...

Шаги раздались по коридору. Сейчас откроется дверь. Неужели он?.. Дверь открылась. Вошёл он.

Катя, сгорбившаяся над книгой, растерянным, жалобным взглядом встретила Павла Мансурова,

— Дежуришь?.. Никто не звонил?

Голос у него холодновато-сдержанный, вид обычный — верно, просто зашёл проверить.

— Звонили... Из леспромхоза... Вас спрашивали...

— Угу.

Павел присел к столу. При свете, упавшем из-под абажура на его лицо, Катя заметила, что под устало опущенными веками глаза у него неспокойные, горячие, он сам это чувствует и прячет их. Она со страхом ждала, когда он поднимет глаза.

— В твои годы, — начал Павел спокойно и негромко, — я от института ездил на практику в тайгу... Красивые места...

«К чему это он?»

— Дикие и красивые... Но всё портит одна вещь — мелкая мошка, гнус. Вот и в обычной жизни так. Всё вроде бы хорошо, а мелочи, мошки заедают, и становится трудно до нестерпимости...

«К чему это он?..»

— Молчишь?..

Катя молчала — ну, что ей ответить?

— Понятно... Что тебе сказать на это? Ты только начинаешь жить.

Павел Сергеевич говорил, но глаз не поднимал, а только поглядывал осторожно, краешком.

— Не понимаю, — растерянно призналась Катя.

И глаза его взметнулись, горячие, с разлившимися до белков зрачками, его рука властно легла на задрожавшую руку Кати, придавила к столу.

— Я перестал любить свою жену... Мне тяжело. Я в растерянности... Ты теперь понимаешь, для чего я всё это говорю?

О-о! Это не Саша... Страшно, жутко сейчас, но самую большую радость на свете ни за что не променяешь на этот страх. Сказать ему что-то надо, возразить, отодвинуться... Да что уж там... Бессильна пошевелиться. Вот она, вся перед тобой. Требуй.

## 12

Раньше, если в хозяйстве родится телёнок,— в доме радость. Соседи поздравляют: «С прибавком вас...»

В Коршуновском районе — «прибавок». В каждый колхоз прибывает племенной скот. И, казалось бы, надо радоваться — впереди богатство! Но вскоре в разных колхозах, разными людьми была замечена одна, на первый взгляд, пустячная вещь: выпущенные на свежую траву (она уже густо поднялась на выпасах и по просекам), племенные коровы уныло стоят, косят по сторонам голодными глазами, мычат жалобно и ни былинки не берут в рот.

Все они, как одна, выросли, не зная выпасов, ни разу в жизни не видали зелёной травы, в совхозах и пригородных хозяйствах, близких к Крайнему Северу, они пестовались на стойловом кормлении — завозном сене, пророщённом зерне, силосе.

Ещё задолго до весны во многих колхозах кончилось сено, последние остатки приели в посевную лошади (не держать же их, работающих на полях, на соломе), до травы изворачивались — подкидывали овсяную солому, крошили и запаривали ржаную. Свели концы с концами, дождалась травы. Не впервой.

И вот в эти самые дни, когда уже в колхозах не особенно беспокоятся о корме для скота, скотницы, приставленные ухаживать за племенными коровами, со слезами начали обивать пороги правленческих контор: «Освободите, ради бога. Из рук даём, отворачиваются... Долго ли до греха...»

Из райкома, из райисполкома звонили по разным областным организациям, запрашивали, где купить сена, хоть в кредит, хоть наличными. Но, верно, с напылом нового поголовья в область такие запросы летели от многих. В МТС и в райисполком пришли лишь бумаги, где во всех подробностях было описано, как ухаживать за прибывшим скотом, приложены во всей точности разработанные рационы: грубых кормов столько-то, сочных столько-то, столько-то красной моркови для введения витаминов в организм. Районные руководители, читая эти разумные наставления, кисло морщились.

Во всём районе не было ни одного председателя колхоза, который не завидовал бы Игнату Гмызину: «Назаквашивал силосу, теперь знай яму за ямой распечатывает — горюшка мало...» Да и как не завидовать... Если обычная коровёнка из «навозного племени» падёт, за ту таскают, расспрашивают с пристрастием, а тут на особом учёте, сдохни хоть одна племенная — не миновать суда.

И не дай бог оказаться в беде первым — весь гнев выльется на голову несчастного.

Председатели колхозов изворачивались, как могли, выписывали всё — овёс так овёс, ячмень так ячмень, даже припрятанные на всякий случай остатки яровой пшеницы отпускались из амбаров для племенных коров.

Но миновать беду трудно. Первое известие пришло из колхоза Федосия Мургина. Скотница Прасковья Кликушина, получив по наряду овёс, накормила два дня голодавшую корову Карамель и по глупой доброте своей или по забывчивости напоила. А ночью к спящему Федосию Мургину с грохотом — вот-вот выскочат из рамы стёкла — постучали. Карамель умирала от колик. За ветврачом сразу же послали лошадь. Тот приехал рано утром, сказал: «Поздно», составил акт и уехал...

Самое страшное — ждать наказания.

За четыре дня перед бюро Федосий Мургин осунулся, лицо пожелтело.

Никакой вины он за собой не чувствовал. Прасковья опростоволосилась. Вот уж воистину куриная голова у бабы — весь век на крестьянской работе, а такой простой вещи не сообразила. Виноват и Куницын, заведующий молочной фермой, — недоглядел; зоотехник Рубашкин — не подсказал во-время...

Он, Федосий Мургин, не собирается отыгрываться на Прасковье или на Куницыне. Подло свалить всё огулом на глупую бабу, когда у той куча ребятишек, муж убит на фронте. Но взять да раскрыть грудь — бейте, всё приму! — ни к чему это вовсе.

Мансурову же одно интересно — проучить, чтоб другие задумались. А на примере с Прасковьей не проучишь — мелка. Но уж так повелось, что всегда ответчик за беду — председатель колхоза.

Помнится, в колхозе «Большевик» (нынче влился в «Труженик») жулик кладовщик во время сева подсунул вместо отсортированных подопревшие семена. На ста гектарах не взошло. Кто ответил? Председатель Тимофей Ивашко.

А в Чапаевском колхозе погнила тысяча центнеров овощей. Виновники посторонние — начальники орсов, которые заключили договоры. Ни одной машины, черти дубовые, не прислали, а Алексей Семёнович Попрыгунцев перед судом отвечал...

Нет, Федосий Савельич, ты конь старый, выезженный, знаешь, с какого конца палка бьёт. За твой загрибок возьмутся. Одно может помочь тебе — седые волосы, двадцать с лишним безупречных лет на председательском месте!

Федосий плохо спал по ночам, вспоминал в подробностях всю свою жизнь. Шестьдесят пять лет за плечами, много пережито, всякое случилось... Кажется бы, можно набраться ума, всякую беду на версту вперёд видеть, но правду говорят: век живи — век учишь...

Мургин ворочался грузно с боку на бок, припоминал, как учила его жизнь. Ох, велик путь, нелегка дорожка...

Отец его был столяр и печник — «золотые руки да непутёвая головушка». Мог бы жить неплохо, но пил. Раз в два месяца спускал всё, что имел и что не имел, — пропивал в долг будущую работу, — потом ходил, взяв гармонь за одно ухо, кичливо кричал: «А ну, кто против Савёлки Мургина!» Пьяным и был убит в Троицу на гулянье.

Он оставил после себя избу с разобранной крышей — собирался наново перекрыть, да тёс-то пропилил — и крошечный клинышек земли за Приважским лугом.

Не в отца пошёл Федосий. Летом пропадал на поле, пахал на чужой лошади. Зимой ходил по окружающим сёлам и деревням, перекладывал печи, случалось, и зарабатывал, но обнов не покупал — каждую копейку хоронил на лошадь. Хотел стать хозяином. «Ужо, пообзаведусь, легче будет...» Это под старость разнесло — поперёк себя толще, а раньше был жиловат, сух, как перекрученная корявая сосенка на песчанике, уёму в работе не знал. Редкую ночь спал больше четырёх часов, даже в праздники не давал себе отдыху.

И стал хозяином.

Выходил поутру во двор: лошадь бьёт о переборку копытом — хоть мелковата, стара, живот бочкой, но своя! Корова вздыхает — своя корова! Овцы шуршат в подклети — свои овцы! Хозяин! Обзавёлся! Но легче не стало: «Мало! Больше надоть!»

Себя не жалел, не жалел и жену. Она родила двух погодков, Пашку да Стёпку, а ещё троих — мёртвыми. У неё дети, хозяйство, мужу помощница. «Шевелись, Матрёна! Не богатые, чтоб полати пролёживать!»



И Матрёна шевелилась, так и умерла на ходу — поднимала на шесток полутораведёрный чугунок с пойлом и упала... На другой женился.

Подросли сыновья, на сыновей навалился Федосий. И уж не одна брюхатка на дворе, а две лошади холками под потолок да к ним ещё стригунок, четыре коровы, овец стадо... Но... «Мало! Больше надоть!»

Сперва случилось одно несчастье — сыновья сбежали от отцовской каторги. Ушли зимой в город на сезон рабочими и не вернулись.

Его считали крепким середняком — не терпел чужих рук при дворе, всё вывозил на собственном горбу. Каждая стёжка на оброти, каждая лоснившаяся шерстинка на лошадиной спине была прошита, выхолена им самим, не придерёшься, не эксплуататор.

В деревне его не любили. Он тоже без особого почтения относился к однодеревенцам. На богатых смотрел косо, голь презирал. Помнил одно: «Велика земля, а жить тесно. Чем дальше от других, тем покойней». И нелепым, глупым, страшным показалось ему то, что не кто-нибудь, а его родные сыновья, вернувшись (оба уже отслужили в армии), начали звать мужиков соединиться в одну жизнь, в одну семью, в колхоз!

С давних пор самым большим врагом Федосия был кулак из Шубино-Погоста Лаврушка Жилин. Федосий как-то прицелился купить мельницу — Лаврушка у него перехватил; Федосий приглядывался к лугам по речке Ржавинке — Лаврушка снимал их первым; вздумал было Федосий заняться шорничеством, накупил кож, пригласил из Ново-Раменья старика Данилку Пестуна в помощники, но Лаврушка и тут подставил ногу — свою шорную наладил, сманил и Данилку. Кулаки грыз от злости Федосий, когда начали гнить кожи. Жидковат он был против Жилина. Друг на друга не смотрели, друг с другом не здоровались, а как подпёрли колхозы, сошлись они душа в душу. Не таясь, ругал Федосий перед Лаврушкой своих сыновей.

И как бы повернулось тогда дело — неизвестно, если б в одно утро у крыльца Остановского сельсовета не нашли мёртвым старшего сына Федосия — Степана. Сзади, в упор, дробью разнесли ему череп.

С топором под полой искал тогда Федосий Лаврушку, но... сбежал, собака.

В тот день Федосий впервые задал себе вопрос: для чего он живёт?

Для чего?

Иные любят жизнь просто. Любят росу поутру, тревожные затишья перед грозой, ливень пополам с солнцем, любят цветистую радугу на обмытом небе... Всё это они любят бескорыстно, только за то, что красиво, что это жизнь.

Такой жизни Федосий не знал и не хотел знать.

Для него обильная роса на траве — хорошо, значит будет погожий день, значит он, Федосий, успеет выкосить свой загон.

Притихло всё, жди грозы — плохо, не дай бог, побьёт хлеб градом.

Ливень с солнцем — славно! Сохнут хлеба, давно пора обмочить землю.

А радуга — это пустое, она могла быть, могла и не быть. Пусть висит, никому не мешает.

Федосий корыстно любил жизнь, слова: «Мало! Больше надоть!» — не давали ему покоя.

Он жил для хозяйства.

После смерти Степана он задал себе вопрос: для чего ему оно? Чтоб быть сытым? Нет. Миску щей и кусок хлеба он мог иметь и без большого хозяйства, а к разносолам Федосий всегда относился равнодушно.

Для сыновей? Нет. Из-за этого хозяйства и отказались от него сыновья.

Выходит, что ни для чего! Жизнь показалась впереди пустой, ложись и умирай — ничего другого не оставалось.

Но Федосий не умер, жизнь повернулась по-новому...

Он всё, что копил десятилетиями, вытягивая жилы из себя и из родных, отдал в колхоз, всё — лошадей, коров, овец. Чего уж жалеть, коли жизнь кончена.

Председателем колхоза тогда стал его Пашка. И хоть не хватай его голыми руками — уже партиец, но как был сопливый мальчишка, так и остался. Постоянно бегал к отцу, спрашивал: «А как здесь, батя, поступить? Что ты тут посоветуешь?..» Выручал его Федосий, подсказывал, втихомолку от людей поругивал: «Власть ваша несуразная, молокососов к такому делу допускает...» Сам же работал простым колхозником. После домашней каторги работа в колхозе показалась забавой. Легко работалось, но работал не от души, а так — просто без работы жить скучно.

Помнит, первый раз на общем собрании вызвали перед всеми к красному столу и вручили премию. Премия пустяковая — ситчик горошком на рубашку. Но Федосий ходил подавленный. Раньше, чем он больше работал, тем чаще слышал: «Мало ему, прорве, подавился бы! Хапуга!» Шипели от зависти. А вот нынче: «Спасибо тебе, Федосий Савельич. Чем богаты, тем и рады — ситчик горошком прими». Эх! Люди!..

Под отцовским доглядом Пашка уже начал разбираться в хозяйстве, но ударило парню в голову ехать учиться. На собрании нежданно-негаданно выбрали председателем его, Федосия. «Человек ты хозяйственный, непорядку не допустишь, помним, какое хозяйство для себя своротил, теперь для народа потрудись...»

Это было двадцать один год тому назад.

Тогда уже казалось, что его прошлое отпало, как старая короста... Во время войны, с одними бабами, выдавал фронту по две тысячи центнеров хлеба, а масла, а мяса сколько!.. Колхоз-то был — две маленькие деревеньки. Подал заявление в партию, приняли без возражений.

Своими деревнями жили семейно, дружно, а на соседей косились — колхозы кругом были незавидные, любили просить займы, за них приходилось доплачивать то поставки, то в фонд обороны... Недолюбливали в колхозе Мургина тракторы и комбайны — за них приходилось платить натуроплату. То ли дело лошади: что ни сделал на них — всё в своём кармане.

Век живи — век учись... Плохо, оказывается, работал, непутёво. Всё хозяйство держал на своих плечах, раз председатель — значит маточная балка всему колхозу. Был твой колхоз — две деревеньки, триста га пахотной земли, — ворочал, ума хватало. Запрягли в колхозище, земли уж не триста га, за день на пролётке не объедешь, — стал спотыкаться на ровном месте.

Не только своим умом жить, людей заставлять надо думать. Есть один агроном Алёшин — золото парень, остальные ждут, что скажет председатель. Оттого и кормов нехватка, оттого и несчастья...

Дай бог эту беду миновать — животноводов на курсы пошлёт, трактористов толковых из своих ребят подберёт, заставлять будет: думайте своей головой, не ждите указки. Лишь бы беда с места не столкнула. Столкнёт — конец Федосию Мургину, годы не те, чтоб снова подниматься, ложись тогда и помирай. Не столкнёт — покажет ещё, на что старики способны. Уж покажет!..

Два часа продолжалось бюро. Два часа распаренный, осунувшийся Федосий Мургин выслушивал упрёки, возражал, оправдывался, признавал свою вину. Ничем другим так быстро не купишь прощения, как тем, что во-время — пусть скрепя сердце — признаешь вину. Голоса становятся сразу тише, упрёки снисходительнее, взгляды мягче.

На прощание Мансуров сказал:

— Возраст тебя спас. Твои седины жалею. С кем другим разговор был бы более короткий. Но гляди — случись ещё раз такое, не мы с тобой будем разговаривать, а прокурор!

Мургин спустился к своему коню сумрачный: выговор, да ещё строгий, шутка ли на старости лет схватить. Но в глубине души чувствовал облегчение: могло быть и хуже, до крайности не дошло, на председательском месте оставили. Об этом даже страшно подумать... Пусть выговор, пусть строгий... Обидно, но теперь-то он возьмёт в оборот своих колхозников, к Игнату Гмызину без стеснения на выучку пойдёт. Через год, глядишь, и нет выговора — снимут. Кончились страхи, слава богу!..

Правда, и кроме выговора, есть о чём печалиться. За корову-то платить придётся, а она, окаянная, не простых кровей — четыре тыщи с гаком стоит. Ну, «гак» покроется, прирезать успели... Четыре тыщи! Их бы по закону должна Прасковья заплатить. А что с неё взять? Придётся обмозговать с правленцами..

Покряхтывая, Федосий с трудом влез в плетушку, поёрзав, устроился на вянущем клевере («Вот дожили, даже председательскому коню — ни клока сена»). Лошадь с охоткой тронулась к дому.

Выехал за село, пустил пролётку по обочине, чтоб не трясло на булыжнике, задремал. Пролётка нет-нет да кренилась. Сонный Мургин всей своей рыхлой тяжестью заваливался набок, покрикивал сипловато: «Н-но! Слепота!» — и снова засыпал.

Своя деревня встретила его весёленькими огнями, пробивающими густую листву кустов и деревьев перед окнами.

«Э-э, — сразу же встрепенулся председатель, — уж за полночь, почему свет горит?»

Погребное и Сутолоково освещались от маленькой ГЭС, построенной на месте бывшей мельницы. Летом, по указу Федосия Савельича, в одиннадцать часов свет выключали, ГЭС запиралась на замок. Зачем попусту заставлять крутиться генератор, кому нужен свет ночью, да и спать народ будет ложиться раньше, значит раньше вставать на работу.

«Гришка Цветушкин, поганец, своевольничает, — решил Федосий. — Ребята с девками, видать, пляску устроили, уговорили посветить. Вот я ему посвечу! Уж коль невтерпёж, выплясывайте при керосине...»

В темноте хлопнула калитка, кто-то выскочил, побежал вперёд, слышался женский голос, негромкий, со сдержанным испугом:

— Господи! Господи! Твоя воля! За что только такая напасть?

«Ужель опять что случилось?» — похолодел Федосий, подхлестнул лошадь, позвал:

— Авдотья! Ты это?.. Чего причитаешь?..

— Савельич! Солнышко! Ведь наново беда! Наново!

Федосий нагнал Авдотью, придержал лошадь:

— Ты не колготись. Толком рассказывай! Где беда? Какая?

— Ох! Горемычные мы! И твою головушку не помилуют...

— Ты, бестолочь, не тяни жилы!

— У сваты-то Натальи...

— Опять на скотном?

— Ой, там, родимый, опять там...

Федосий не стал больше спрашивать, как молодой, легко вскочил на ноги, отчего пролётка застонала, заходила ходуном, и изо всей мочи стал нахлестывать лошадь.

На скотном дворе вместо тусклых лампочек были ввёрнуты большие, стосвечовые. Яркий свет освещал бревенчатые, в старой побелке стены, затоптанный, нескоблёный пол. Коровы, возбуждённые этим непривычным светом, все до единой поднялись, тревожно оглядывались на сгрудившихся людей, негромко мычали. Заведующий молочной фермой Трифон Куницын свирепо и в то же время трусливо ругался, не стесняясь скот-

ниц, вспоминал и бога и мать. Заметив перешагнувшего через порог Федосия Савельича, сразу же, споткнувшись на полуслове, сник — знал, что старик не выносит матерщины.

Перед председателем расступились. Одна из новых коров, по кличке Влага, лежала на свежей, поверх истоптанной подстилки, соломе, как отдыхающая собака, уронив вытянутую вперёд голову. Дышала она порывисто, поводя боками, судорожно вздрагивая кожей спины. Крупный глаз, направленный на людей, влажен, ресницы по-человечьи слиплись мокрыми стрелками, мелкая слезинка медленно пробиралась по жёсткой короткой шерсти носа.

Все удивились спокойствию голоса Федосия Савельича. Он спросил коротко:

— Овёс?

— Не давали овса, Савельич! Пропали он пропадом, овёс этот!.. — сыпанула плаксиво скотница Наталья, отнимая от глаз захватанный кончик платка.

Куницын перебил её:

— Хуже. Сеном накормили, тем, что из Люшнева привезли.

— Так, так, не овёс...

Федосий Савельич, жмурясь от яркого света, — без того узкие глаза стали, как щёлки, — по-чужому бесчувственно разглядывал больную корову. Он не ругался, не прятал свой гнев. И то, что гнева не было, это всем стоящим рядом казалось сейчас страшным.

Куницын, снизив голос, пояснял торопливо:

— Из тех стогов, Савельич, что залило... Помнишь, песок в сено нанесла вода. Песок и ил. Поганое сено. На подстилку привезли. А эта есть, видно, его стала.

— Знатьё, да разве ж я бы... — всхлипнула Наталья.

— Молчи! — цыкнул на неё Куницын.

— Так, так, верно... На подстилку оно гоже... — повторил председатель.

— Что? — уже совсем испуганно переспросил Куницын.

Женщины замерли.

Куницын, не дождавшись ответа, снова, захлёбываясь от поспешности, заговорил:

— За врачом сразу же послали... Иван на грузовике поехал... Как ты с ним разминулся?..

— Так, так... Не встретился, нет... Разминулись...

Вдруг Федосий Савельич с какой-то беспомощной убедительностью выдавил:

— Зарезали вы меня... без ножа...

Качнувшись, он отошёл, опустился на край навозной тачки, подставив под взгляды широкую, пухлую спину, обтянутую выгоревшим пиджаком. Все увидели, что эта спина вздрагивает, седая, коротко остриженная голова председателя опускается всё ниже и ниже. Он не сумел выйти и спрятаться, плакал на людях.

Скотница Наталья тоненько, боязливо прикрывая рот концом платка, завывала...

Корму нет. Даже трава на этот раз не спасает. До первого сена ещё не близко. Болезни среди племенного скота становятся изо дня в день обычным явлением. Падёж в колхозе Мургина, случай падежа в колхозе «Искра»... Появились недовольные, многие сомневаются: а правильно ли действует он, Павел Мансуров?

То, что он сделал и продолжает делать, нельзя назвать иначе, как атакой. Может, он поспешил, может, слишком горячо рванул, но дело сде-

лано — в атаке на полдороге не останавливаются. К тем, кто хочет залечь на полпути, надо относиться без жалости.

В обкоме, думалось Павлу, пока ещё в него верят. Всего несколько дней назад в областной газете упоминалась его фамилия как пример инициативности и решительности. А если случаи падежа будут продолжаться, то в первую очередь обком, затем все, кому не лень, начнут бросать упреки: «Хвастун! Беспочвенный, наглый авантюрист!» Добро бы только упреки... Падёж каждой головы — убыток в несколько тысяч рублей, да, кроме денег, племенной скот — это надежда на зажиточность, это мост к будущему счастью. И если этот мост рухнет по его вине, не жди прощения — отберут партбилет, возможен и суд. Он, Павел Мансуров, заставивший говорить о себе, уважать себя, рухнет в грязь вместе со своими высокими мечтами, с широкими замыслами.

Идёт атака, он впереди! Велик риск, но оглядываться и сомневаться поздно. Не место колебаниям!

О том, что в колхозе «Светлый путь» пала вторая корова, Павел Мансуров узнал утром, а в полдень к нему в кабинет явился сам Федосий Мургин.

Держался он прямо, казался даже выше ростом, только лицо стало словно более плоским. Когда он опустился без всякого приглашения на стул, Павел заметил перемены: плечи сразу обвисли, под глазами — потные тяжёлые мешки.

С минуту Мургин молчал — после лестницы не мог отдышаться, — глядел в сторону, наконец начал тихим, но внутренне напряжённым голосом:

— Суди, Павел Сергеевич... Вот как случилось.

Усталые глаза из-под нависших век встретились с отчуждённо холодным взглядом Мансурова, отбежали в сторону. Мансуров молчал.

— За последние дни вот оглянулся я назад, — продолжал тихо и осторожно Мургин, словно шёл по натянутой верёвке, — и увидел — глупая у меня была жизнь, длинная и глупая. Одно интересное в ней — колхоз... Из шестидесяти пяти лет — эти двадцать...

— Короче, Федосий Савельич. Разжалобить надеешься? Надежды напрасные.

Мургин вгляделся в Мансурова — вытянутая шея, отвердевшие скулы, губы жёстко сжаты, пропуская слова, шевелятся неохотно — и вздохнул.

— О жизни говорить хочу, а коротко-то о жизни нельзя... Так вот, кроме колхоза, у меня ничего. Оставить мне колхоз, не пугая скажу, — смерть. Куда я?.. Просто ворочать рядовым — стар, даже на прополку с бабами ходить не гоже. Для другой какой работы не способен. Одно остаётся — ложись под образа да выпучи глаза...

— Прямо! Без подходов! Боишься, что с председателей снимут?

— Боюсь, Павел Сергеевич. Боюсь, как смерти.

— А ты думаешь, если председатель смертельно боится слететь со своего места, мы из жалости доверим ему колхоз? Он не может научить скотниц и животноводов уходу за скотом, он не успевает во-время заготовить корм, он допускает падеж — всё это пусть, лишь бы не боялся, сидел прочно на стуле.

— Павел Сергеевич! — Мургин поднялся, грузный, приземистый, с угрюмым взглядом узких глаз. — Коль я боюсь больше смерти уйти с председателей, значит я врос, значит я после такого урока костями лягу, а всё выправлю, вытасу колхоз, людей подниму. Не жалости прошу — поверить! Как человеку поверить, как коммунисту!

— Как коммунисту?.. Ты делами подмочил своё слово коммуниста! Простить, по говунке поглядить? Чтoб другие нерадивые глядели на это и радовались — ничего, мол, в райкоме добренькие сидят, всё спишут. Не-ет,

защищать тебя не буду! Буду настаивать, чтоб сняли с председателей, немедленно!.. И это не всё. Мы партбилет попросим показать!

Мансуров стоял против Мургина, тонкий, подобранный, красивый, кудри упали на брови, глаза большие, тёмные. Мургин — рыхлый, вялый — осел на стуле, подставил под взгляд Мансурова седое темя.

— Мне шестьдесят пять лет, — медленно заговорил он в пол, — а после такого... Павел Сергеевич, две коровы, пусть самых породистых, ведь не дороже они человека. Всё сломается у меня! Всё!

— Не в коровах дело! Прости тебя, другие спустят рукава. Нет, не обессудь, в следственные органы заявим, районную газету заставим кричать о твоём ротозействе... Да как тебе не стыдно, товарищ Мургин, оглянись — пришёл милости выпрашивать...

Мургин с усилием поднялся.

— Верно... Стыдно...

Его кожаный картуз упал с колен. Мургин этого не заметил, наступил сапогом.

— Стыдно... — ещё раз сипло повторил он, хотел что-то добавить, но, судорожно глотнув воздух, махнул рукой. Сутулый, вялый, шаркая подмётками по крашеному полу, пошёл к дверям, в дверях ударился о косяк плечом...

У Павла шевельнулась жалость: «На самом деле, ничего не останется у человека...» Но он решительно отвернулся от бережно прикрытой двери. «Нечего раскисать. Тем сильнее другие задумаются, коль такой, с двадцатилетним стажем, скатится».

На полу, примятый сапогом, валялся вытертый кожаный картуз Мургина. Павел поднял его, положил в угол, на сейф: «Вернётся — возьмёт».

Но Мургин уже не вернулся...

На другой день рано утром в Погребное, прямо к конюшне, без пролётки, в расклевнятом хомуте, с волочащимися вожжами пришла Проточина — старая, смиренная кобыла, возившая председателя. Из Погребного высыпал народ, стали прочёсывать лес...

Федосия Мургина нашли лежащим под берёзой, уткнувшимся лицом в прелую прошлогоднюю листву. Сук берёзы сломался под грузным телом, но длинная сыромятная супонь, снятая с хомута Проточины, крепко врезалась в толстую шею.

## 16

Жил и не замечал, что был до отказа счастлив, не ценил этого, считал — так и должно быть, не иначе. И вот сорвалось, нелепо, глупо!.. Последние события, даже смерть малознакомого Мургина, не взволновали Сашу — всё заполнила своя беда, не оставила места другому.

Надо пойти к Кате, надо встретиться с ней. Пойти — значит рассказать, признаться. Признаться! Но ведь это же плюнуть ей в душу. Разве можно потом надеяться на прощение! Тут не оправдаешься, сам же себя за это презираешь.

Настю он сразу же резко оттолкнул от себя, и та, обиженная, сердитая, встречаясь, надменно отворачивалась. А сегодня подошла и, поджимая губы, тая в глазах ядовитую насмешку, сообщила:

— Ты что ж коршунскую цыганочку не навестишь? Иль напрочь от ворот поворот дала?..

Саша не захотел разговаривать, повернулся, пошёл от Насти. Но та крикнула ему в спину:

— Зря мучаешься! Ты для неё мелка рыбёшка. На матёрую щуку крючок точит!

Ушёл за деревню, в поля. Стынул красный, злой закат — к ветру, должно быть. А на другом конце неба поднялась луна. Она, казалось, весь день пряталась от солнца в реке, выползла сейчас бледная, вымочен-

ная. Кусты, пышно взбитые, ещё не потеряли дымчатой весенней лёгкости, издали кажется — улеглись отдохнуть на землю нагулявшие по небу облака.

И так трудно найти себе место, а тут ещё Настя... Что она хотела сказать этим? Катя, может, сама всё узнала? Узнала — и решила порвать. Она горда, от одной обиды готова такое натворить...

Он прячется, ведёт себя, как трус. Что ни день, то непонятней для Кати его поведение. Что ни день, то глубже тонешь. Нечего выжидать. Надо итти к ней, всё сказать, просить прощения, без гордости! А там, как хочет...

Не заворачивая в деревню, Саша направился к шоссе...

Невысокий домик, сквозь кусты — свет из окон, расхлябанная калитка в оградке, к ней ведёт выбитая неширокая тропинка; отступив в сторону, стоит старая липа... Знакомое место! Раньше было родным, теперь от большой вины роднее оно в тысячу раз.

Вот где-то здесь, за кустами, за окном, — Катя. Она живёт, она существует на свете. Не легенда, не вымысел — по этой самой тропинке недавно прошли её ноги, за шершавую ручку у калитки бралась её рука...

Саша осторожно открыл калитку, шагнул во двор. От неизвестности на какое-то мгновение застыло сердце: «Как-то встретит? Что-то скажет?..»

Между кустами красной смородины и бревенчатой стеной легко пролезть к окну. Приезжая неожиданно из колхоза в село, Саша всегда стучал в крайнее окно — чуть-чуть, два раза. Рядом с этим окном катин столик...

Окно было задёрнуто, но между занавеской и косяком — щель... Саша припал к стеклу, увидел знакомый кусочек маленького письменного стола: толстая потрёпанная книга, на ней — руки, её руки! С тонкими запястьями, сухими маленькими кистями, они сейчас выражают покой и задумчивость. О чём же задумалась Катя?.. Только оконное стекло да занавесочка отделяют от неё. Катя, Катя... Саша легонько стукнул. Руки на книге дрогнули, замерли тревожно, но с места не двинулись — прислушиваются... А сердце стучит так оглушительно, что, наверное, слышно в комнате. Катя, Катя!.. Руки слабеют, распускаются, всем своим видом говорят — послышалось.

Саша стукнул ещё раз. Руки сорвались с книги. Занавеска откинулась, и, глаза в глаза, через стекло Саша увидел лицо Кати.

— Катя, — позвал он беззвучно.

Занавеска упала, в расширившуюся щель стала видна часть комнаты, стена со знакомой репродукцией «Синопский бой». Стариковской походочкой проплыл мимо картины катин дед.

Спотыкаясь, цепляясь за кусты, Саша бросился к двери.

Долго, долго не открывалась дверь. Бесстрастная, поблёскивающая в свете луны кольцом — никакой жизни за ней. «Где же Катя, да услышала ли? Догадалась ли? Может, просто не хочет выйти?.. Ну, скоро ли? Катя! Катя!..»

Осторожный звук послышался за дверью. Кольцо дрогнуло, повернулось, стукнуло, и дверь вкрадчиво проскрипела: «З-зде-есь...»

Катя вышла, закутанная в белую шаль, — не видно лица, не видно рук. У Саши сжалось горло, с трудом вытолкнул хриплые:

— К-к-к-к-к-к!.. — и замолчал, разглядывая её, высокую, с опущенной головой, длинные кисти с концов шали свисают к коленям.

Катя, не поднимая глаз, заговорила:

— Хорошо, что ты пришёл. Я должна тебе сказать...

— Катя! Я сам тебе всё скажу! Всё!

— Сказать должна я! — возвысила голос Катя. — Прости меня, но теперь понимаю — я просто была увлечена... Я не любила... Ой, да не всё ли равно!.. Саша, прошу — не ходи больше.

— Катя, выслушай сначала...

— Зачем мучить друг друга... Я теперь по-настоящему люблю... другого человека.— Катя с облегчением закончила: — Вот всё.

Уже из полуоткрытых дверей, из темноты, добавила торопливо:

— Хотелось, чтоб ты понял.

Дверь на этот раз скрипнула резко и испуганно, будто выкрикнула: «Ой!»

Долго качалось кольцо. Ничего не понимая, без мысли, без боли, с какой-то пустотой и в голове и в душе Саша смотрел на это кольцо до тех пор, пока оно не замерло в неподвижности.

У калитки он остановился, привалился спиной к столбу — ослабили ноги. Луна, часа два тому назад бледная, вымоченная, теперь светила вовсю, окрепшая, косорожая, довольная...

Вспомнилось, как в первый раз прощались с Катей у этой калитки. Так же были разбросаны по земле лунные зайчики, так же лениво они шевелились при ветерке... Один зайчик — ласковая голубая ладошка — поглаживал белую кофточку Кати. Только луна была круглей и ещё ярче...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

Кожаный картуз с головы Мургина лежал в углу кабинета, на сейфе. Мансуров даже забыл о нём — последние дни не сидел за столом: выезжал в Погребное, давал справки следователю, лично присутствовал на похоронах, сам проводил общее собрание колхозников, где выбрали новым председателем молодого агронома Алёшина.

Мансуров забыл о картузе, но о самом Мургине переставал думать разве только глубокой ночью.

Вспоминалась сгорбленная, сразу же осевшая фигура, вялая, шаркающая походка. Вспоминались слова его: «Всё сломается у меня!..» Сиплый голос, обронивший: «Стыдно...» Вспоминалось, как шатнуло его у дверей, ударился о косяк плечом...

Что и говорить, по-человечески жаль мужика. Жаль! Но даже теперь Мансуров не хотел признавать за собой вину. Он всегда может сказать, что не имел права смягчать топ, сглаживать острые углы, удерживаться от упрёков, прощать и тем самым давать повод к новой безответственности. Он поступил так, как обязан был поступить!

Но кому эти оправдания нужны? Свершилось недопустимое, будут искать виновника. Непременно заинтересует обком. Кажется, отольётся эта история... Если признают хоть косвенно виновным, на партийной работе держать не будут. Приклеят ярлычки: «Недостаточно гибок... Отсутствует глубокое понимание людей». Эх, мало пней да кочек, ещё один камень на дорогу!

Мансурову в эти дни вдруг захотелось поговорить с кем-то не просто, а по душам. И он обрадовался, когда к нему вечером появился Игнат Гмызин. Если кто и друг Павлу, то это он, Игнат. Хотя в последнее время что-то стала стираться их дружба — реже встречались, а если и встречались, то слово, другое — и врозь. Да ещё с Анной натянутые отношения, как-никак Игнат ей родной брат, и это безотчётно, против воли, немного стесняло Павла.

— Вижу свет у тебя... — проговорил привычное Игнат, протягивая через стол руку.

Загорелый, широкоплечий, добротный, голова недавно выбрита, с плавными выступами и округлостями, она лоснится, словно навощённая, так и хочется её погладить рукой. Кажется, люди такого вот типа по своей



природе не могут ни терзаться сомнениями, ни чувствовать растерянность, они постоянно ровны, уверенны, покойны. Шажок за шажком, не торопясь и не спотыкаясь, тянет вверх Игнат свой колхоз. Неудачи с освоением племенного скота, чрезвычайные происшествия, вроде смерти Мургина, — всё это проходит где-то в пространстве, не задевая бритой гмызинской макушки. Павел с тайной завистью разглядывал Игната.

— Рад, что пришёл. Очень рад.

— А у меня дело...

— К чёрту дела! Давай хоть раз посидим да поговорим, как обычные люди, не о кормовой базе, а так, ни о чём, хоть о вчерашнем дождичке. Ты знаешь, Игнат, — тяжело... Тут ещё это с Федосием... Вроде и авторитет у меня, уважение, а ведь приглядеться — один, как перст.

— Почему бы это? Уж не потому ли, что в начальство вышел?

— Не знаю. Кажется, не заношусь, спесью не надуваюсь.

Оба помолчали. Не о делах, оказывается, они говорить разучились. Бывало, когда-то Игнат приглашал Павла к себе на рыбалку — под деревней Большой Лес на озере неплохо ловились в мерёжу караси, — сходились за бутылкой, вспоминали каждый на свой лад фронт. Нынче давно уже по занятости не ездили за карасями, не распивали бутылочек...

Павел хотел было произнести со вздохом: «Ну, какое там дело, выкладывай», как Игнат поднялся:

— Что это у тебя?

Он шагнул, снял с сейфа картуз Мургина. Мясистое, мягкое лицо отвердело, какая-то непривычная чёрствость появилась в нём.

Для самого Павла появление картуза сейчас было неожиданностью. Оба молча минуту, две разглядывали: кожа порыжелела, потёрлась — видно, много лет служил картуз своему неприхотливому хозяину, — козырёк дряблый, тёмный, захватанный — его руками захватан! — внутри околыш засалился от пота, ввевшийся запах пота ещё сохранился. В этой старенькой вещи о н продолжал жить. И обоим, Павлу и Игнату, позавчера только похоронившим его, эти памятки жизни казались странными...

— Оставил... Я прибрал. Отдать потом хотел... И не вышло, — вполголоса пояснил Павел.

— Так, так... Без картуза выскочил, — хмуро обронил Игнат.

— Игнат... ты винишь меня?

— В чём? В этом? Ведь отчитывал ты не с намерением, чтоб он бежал искать верёвку.

— Некоторые, должно быть, подумают...

— Вряд ли...

Снова неловкое молчание. Игнат продолжал вертеть в руках картуз, разглядывал со всех сторон, а Павлу хотелось остановить с досадой: «Да брось ты! Нашёл забаву...»

— Признайся, — Игнат наконец отложил картуз, — Федосия-то хотел пугалом выставить?

— При чём тут пугало? Я одного хотел — чтоб другие серьёзнее к своим делам относились.

— Телега не смазана, воз туго идёт — не конь виноват.

— Ты без загадок...

— Какие загадки. Перегнул ты, Павел, со скотом.

— Слышал. Обычная перестраховка.

— Мне, брат, страховаться нечего. Свой скот я накормлю, в тепло поставлю, падежа не допущу, весь приплод сохраню.

— Чего тогда и беспокоишься?

— Не за себя. За Никиту Бочкова из «Искры», за Лушильникова из «Красной зари», за все колхозы беспокоюсь. Врасплох их скот застал.

— Уволь. Как-нибудь мы сами об этом побеспокоимся.

— Кто это «мы»?

— Райком.

— Я член бюро райкома. Почему я должен меньше тебя болеть за район?

Мансуров криво усмехнулся:

— Выходит, не меньше, а больше болеешь. Ничего не скажешь, похвально, очень похвально.

— Смотри — молодой осот легче выдернуть, свежую ошибку проще исправить.

...Нет, что-то треснуло в прежней дружбе. Перебросились о сенокосе, об МТС, которые до сих пор не перегнали тракторных косилок (Игнат и заглянул, чтоб сообщить это), простились сдержанно.

Мансуров думал с раздражением: «Идёшь на риск, а кругом жмутся, оглядываются... Игнат-то, Игнат! Как он не понимает: скот прибыл, распределён, поверни на попятную — подыметесь страшный шум в области...»

Каргуз Мургина лежал на столе. Что с ним делать? Не держать же его у себя. Выбросить? Почему-то не поднимается рука. Отослать старухе Федосия?.. Что тогда подумают в деревне Погребное? От секретаря райкома пришёл каргуз покойного председателя — чего доброго, насочиняют ещё историй. Да и каргуз-то гроша ломаного не стоит.

Павел сунул его в самый нижний ящик стола, запер на ключ — от посторонних глаз подальше.

## 2

Как и ожидал Павел Мансуров, его вызвали в обком.

Кем он станет, если его отстранят от работы, куда пойдёт? За всю свою беспокойную жизнь он так и не успел получить профессии. Не инженер, не агроном, не учитель, даже офицер такой, что сдан в запас. Где смог бы он устроиться?.. Скорей всего сунут на заведование промтоварной артелью или в сонную контору какого-нибудь пищеблока...

Но в кабинет к Курганову Павел вошёл внешне спокойный, голову нёс прямо, с достоинством, от дверей к столу чётко отстучали по паркетному полу каблук его ботинок.

Через огромные окна ломилось во всю силу пыльное городское солнце. Курганов сидел без пиджака, ворот свежей сорочки расстёгнут на потной шее. Обычно живые, колющие мелкими зрачками, глаза секретаря обкома сейчас глядели из-под припущенных век устало. И утомлённое жарой лицо Курганова, его веки, коричневые, тяжёлые, прячущие под собой зрачки, и то, что без пиджака он, по-простецки в рубашке, — всё это, как ни странно, успокаивало Павла Мансурова. Не верилось, что этот пожилой (только теперь Павел почувствовал возраст Курганова), будничный на вид человек может перетряхнуть его жизнь. Для этого, казалось почему-то, непременно нужна необычная обстановка и не обычный, а официальный вид обкомовского секретаря.

На красном сукне стола для заседаний, как раз напротив того места, где уселся Павел, стоял большой макет какой-то постройки: стены сложены из игрушечных брёвнышек, крошечный шифер на крыше не отличился от настоящего, из распахнутых дверей выбегают рельсы, на них — вагонетка, столбы с электрическими лампочками, само строение — два корпуса, приставленные один к другому в виде буквы «Т». Разглядывая макет, время от времени косясь на Курганова, Павел Мансуров стал рассказывать, просто, не волнуясь, не оправдываясь, словно докладывал не чрезвычайное происшествие, а вводил в курс дела по сеноуборке.

...Кормов мало. Да, это так. Но когда кризис с кормами почти миновал, у Мургина на скотном дворе случился падёж, два раза подряд — несчастье дуплетом. Он, как секретарь райкома, разумеется, не мог смотреть на это сквозь пальцы. Было бюро, он, Павел Мансуров, не скрывает,

выступал резко, а как же иначе?.. Словом, та или иная причина, но, как снег на голову, неожиданно-негаданно трагическая развязка. Оправдываться он не будет. Если обком и районные коммунисты найдут нужным по-ставить всё это ему в вину — что ж, он примет...

Курганов, слушая, смотрел вниз, и только время от времени веки его медленно поднимались и крошечные зрачки пытливо, ищуще упирались в лицо Павлу. У Павла в эти моменты липко потели ладони, но взгляд он выносил, не сбиваясь с ровного тона.

— А что ж ты тогда пугаешься? — неожиданно спросил Курганов. — Иль всё-таки вину в чём-то чувствуешь?

Павел виновато пожал плечами.

— Человек покончил с собой — испугаешься... А вина, чёрт его знает, может, и есть.

Веки Курганова снова поднялись. У Павла появилось неприятное ощущение, словно к его переносице крепко прижали холодный металл.

— Вина есть. Её не может не быть. — Голос Курганова был так же твёрд и суров, как и взгляд. — За смерть человека нет оправданий. Что говорит твоя партийная совесть? Подскажи сам: какого ты достоин наказания?

Павел молчал.

— Ну!

— Готов на любое.

— Событие позорнейшее! Случай чрезвычайный! Но насколько ты виноват — неясно. Выговор за такие дела не записывают. Исключать — нет оснований. Важно, чтоб ты почувствовал тяжесть на своей совести, как человек и как коммунист...

Павел слушал, глядел на макет непонятной постройки и чувствовал, как мало-помалу сваливается с души тяжёлый груз. «Пронесло. Признал невиновным. Да и с какой стати... Пусть отчитает, его обязанность...»

— Тяжёлый урок, помни! — Курганов поднялся, вышел из-за стола.

Павел хотел уже попрощаться, но секретарь обкома ласково провёл рукой по крыше игрушечной постройки, словно погладил, и сказал совершенно другим голосом:

— Вот ведь не любопытный. Глазами мозолит, а не спросит, что такое.

— Не пойму. — Павел с виноватым смущением вглядывался в макет. — Коровник? Нет. И на свиноферму не похоже...

— То-то! Плохо мы знаем, что кругом делается. Второй год такое оружие в колхозе у Борщагова действует. Мне эту игрушку прислал — то ли просто в подарок, то ли в назидание: учись, мол, да других учи уму-разуму...

Павел насторожился: колхоз Борщагова был знаменит. Сам Борщагов — признанный талант-самородок. Его, человека с трёхклассным образованием, не кончившего и церковно-приходскую школу, не раз приглашали читать лекции профессорам в Тимирязевскую академию. Должно быть, опять какое-то нововведение, опять подымут шум газеты. Интересно узнать.

— Это, дорогой мой, не коровник и не свинарник, а фабрика-кухня... Да, да, фабрика! Вот смотри... — Курганов снял шиферную крышу и начал рассказывать о кормозапарниках, о трубах с горячим паром, о машинном отделении. — Словом, в эти ворота въезжает воз, скажем, с соломой, а через час вагонетки развезут корм, на солому не похожий. Борщагов смеётся: гвозди железные можно приготовить, коровы будут есть да облизываться. Удои поднялись. Прокорм одной головы обходится вдвое дешевле. Электричество качает воду, электричество мельчит корма, развозит их. Человеку нужно только остановить вагонетку возле кормозапарной ямы да опрокинуть её.

Курганов, цепко взяв за локоть Павла, усадил рядом с собой и, глядя твёрдыми, радостными глазами в лицо, продолжал:

— Вот на что надо держать курс! Племенной скот есть, есть старая кормовая база — сено, силос и прочее, нам остаётся увеличить её. В этом деле помогут вот такие кормоцеха. Эшелоны мяса, масла пойдут тогда из нашей области, и дешёвого! Твой район идёт в числе первых по освоению племенного скота, он должен первый подхватить и почин Борщагова.

— Кормоцеха... Да-а, вещь завидная,— без особого восторга согласился Павел,— только дорогая, нашим колхозам, пожалуй, не по карману.

— Электричество у вас есть. Это основа. Никто не будет требовать — вынь да поставь завтра готовые кормоцеха. Постепенно обстраивайтесь, но обстоятельно, навек. Только не старайтесь ограничиться обещаниями. Если начинать, то надо сейчас, не сегодня-завтра закладывать кормоцеха...

Поезд, отстукивая на стыках рельсов, уходил от города. Среди пассажиров, ехавших в Сибирь, шла своя налаженная жизнь. Она начиналась до того, как Павел появился в вагоне, и будет продолжаться, когда он сойдёт на своей станции Великой. В купе стучали костяшками домино, смеялись над анекдотами, клевали сонно над книгами...

Павел стоял у окна. История с Мургиным могла кончиться иначе. Он, Павел, должен бы чувствовать теперь облегчение, но нет, легче не стало... У многих колхозов развалились скотные дворы, зимой будет мёрзнуть племенной скот. Куда там кормоцеха! Не по Сеньке шапка. А Курганову не возразишь... Сразу поставит вопрос ребром: «Сил мало?.. Почему тогда хапнули столько скота, почему не рассчитали свои силы?..» Что ответить?..

Тут ещё Игнат... Он, если заговорил, будет теперь настаивать — признайся, что перегнул. Попробуй-ка признаться — грянет гром из обкома, пыль пойдёт от секретаря Мансурова. Скот, бескормицу, даже смерть Мургина припомнят. Тугой узелок завязывается, как распутать его?

За окном проплывали знакомые картины: лениво кружились широкие луга с тихими, пригревшимися на солнце деревеньками, с рыхлыми заплавами паров, с пыльными дорогами и неизменным страдальцем-грузовиком на них. Иногда виднелись косилки, цветные платья женщин, забравших сено, копны, полусмётанные стога.

Покойная, мирная жизнь кругом. Жить бы вместе со всеми и радоваться. Нет, не получается.

## 3

Молча, ревниво пряча от всех, носил Саша первую в жизни тяжёлую обиду. Пусть эта обида не свела со щёк румянца, пусть не сушила его по ночам бессонница и загибистому словечку, брошенному каким-нибудь бригадиром в правлении, он весело смеялся вместе со всеми, но от этого не меньше было горе.

Настя Баклушина торжествовала. Как-то вечером она подошла к Саше, и тот сам повёл её на берег...

Игнат Гмызин послал Сашу в новую бригаду «Труженика» — в Кудрявино.

С весны до сенокосов — время недолгое. Жизнь в Кудрявине изменилась, но немного. Бригадиром вместо Вязунчика стал Пётр Мирошин, длинный, сухой, с тонкими жердистыми ногами, с острым, словно проглотил сколотый камень, кадыком на тонкой шее (за эту шею и за густой, кричающий голос прозвали его за глаза кудрявинцы «Гусаком»). В колхоз он пришёл в прошлом году из армии, был сверхсрочником, но дослужился только до старшины. Носил жиденькие ржавые усики, постоянно, подкручивал их, сердиться по-настоящему не сердился, а кудрявинцы

побаивались его. Даже в лес бегали реже, может быть потому, что лесная страда — пора грибов и ягод — ещё не настала. Засеяли в эту весну кудрявинцы землю не по-старому: ячменём да пшеницей самую малость, больше подсолнухом, кормовым турнепсом да горохом под зелёную массу. Мирошин каждый день собирал народ рыть силосные ямы. Кудрявинцы ворчали: «Песок ворошим, то-то от этого хлебом разбогатеем...» Но когда в конце каждого месяца из Нового Раменья стали приходить подводы с мукой (смолотой не на ручных «притирушках», а на пищепромовской вальцовке) и Мирошин по списку выдавал на трудодни, замолчали, стали напрашиваться на рытьё ям... Игнат не на шутку решил сделать Кудрявино животноводческой бригадой.

Когда-то, в давние времена, среди леса лежали глубокие озёра, связанные друг с другом затянутыми осокой ручейками. С годами эти озёра высохли, съёжились, превратились в болотистые «ляжины». В одних летом вода цвела всючей зеленью, в других даже в самый светлый день она стояла чёрная, дегтярная.

Берега, обсохшие от воды, превратились в небольшие луговинки, по весне заливаемые водой. При единоличном житье каждый хозяин оберегал свой участок, нет-нет да срежет не в меру разогнавшийся куст. При колхозе кудрявинцы запустили эти и без того стеснённые лесами луговинки. Косить почти нечего. Так, кой-где трогали одичавшую, соперничающую в росте с кустами траву, плохую, одеревенелую.

Весь день Саша вместе с колхозниками махал косой, выбирал прогалы. В деревню решили не итти, переночевать тут же, в лесу, завтра добрать, что можно, и уходить совсем. Те жалкие охапки травы, которые удавалось выцарапать из-под кустов, не стоили труда.

На сухом месте разожгли большой костёр, над ним повесили вёдра — в одном варился суп из солонины, в другом — на всю ораву чай. Огонь костра то разгорался, закрывая рвущимся пламенем вёдра, то спадал. Ночь то теснилась в стороны, выдвигая вперёд розовые при свете костра стволы берёзок, то сдвигалась, ревниво прятала их. Тени женщин, хлопотавших около вёдер, при разгоравшемся огне были могучими, срывались в темноту с верхушек деревьев. Они, шевелясь, казалось, перемешивали тусклокрасный лес.

Саша лежал в стороне на охапке свежей травы вместе с бригадиром Мирошиным. Мирошин, откинувшись на спину, уставив в неясно мерцающее звёздами небо острые колени, говорил сипловато:

— Просмотрел я все их бумаги... Лугов сто десять га числится. Сто десять! Да! А скашивают их здесь — ей-ей, не соврать — от силы гектар пятьдесят. Те, что лежат под самой деревней. Да! Планы-то им спускают из какого расчёта? Само собой, из расчёта ста десяти.

— Сколько сумеем скосить, столько и скажем...

— Скажем?.. Эх, ты, молодой да горячий. Вот возьмут тебя за загривок и начнут трясти: почему планы не выполняешь, почему не всё скосил? Сто десять гектар по плану, а у тебя сколько?.. Что скажешь?

— То, что есть, и скажу.

— Ну, ну, говори. Ты ведь правлением поставлен руководить здесь покосами. Да! Моё дело — ямы силосные, уход за полями.

А у костра, угнездившись среди женщин, бывший кудрявинский бригадир, теперь просто рядовой колхозник, Саввушка Вязунчик детским голоском задумчиво (верный признак — побывальщину хочет рассказать) рассылал:

— Нашу травку, братцы мои, надо умеючи брать, сноровки одной мало... Вот слышали, как кузнец Дёмка Крюков косил? — Вязунчик победно поворачивал вправо-влево сморщенное, плачущее от дыма лицо.—

Ты-то, Дарья, должна помнить Дёмку-то... Так вот этот Дёмка одну траву знал. А называется она «тумка»...

— Ну, держи, бабы, подолю, пойдёт Саввушка сыпать.

— Как жеребец хороший, только вожжи опусти...

— Да пусть треплется. Всё одно ждать.

— Валяй, Савватий, слушаем.

— Так вот,— переждав, пока стихнут голоса, тем же задушевым родниковым голоском продолжал Саввушка,— есть такая травка, на вид ну, самая что ни есть неприметная. Её-то, братцы мои, Дёмка-то и узнал... А как узнал? Это, братцы, история... Раз как-то он лежит у своей кузни, должно быть, квасу напился, животом переживает. Вдруг видит, едет по дороге хургон, на передке цыганка старая сидит, трубку курит, вожжами правит; за хургоном гусенятами цыганёнки бегут. Приостановила лошадь цыганка и просит: «Подкова отпала, подладь, красавец. Заплачу, не обижу». Долго ли Дёмке при сноровке-то: лошадь выпряг, копыто промеж ног, тук-тук — и готово. «Плати, говорит, ведьма». Цыганка-то хватъ с земли пук травы и подаёт: «Вот, мол, держи». Дёмка за молоток да на неё: «Смеяться надо мной, растуды тебя, карга старая!» А та его за руку придержала да на ухо — шоп, шоп, и смяк Дёмка. Так-то, братцы мои... Уехала цыганка с цыганятами, Дёмка взял ведро, травы той нарвал, водой залил и прямо в кузне сварил... И вот, братцы мои, сковал он себе косу... А ковал её так: накалит, вынет, аж светло в кузне, да в ведро со словами, в навар тот самый... Семь, что ли, раз так-то. Накалит и окунёт, накалит и окунёт... Пошёл он в лес со своей косой. Махнёт — будто сквозь воздух, через деревину коса пройдёт, куст так куст, берёза так берёза — всё не мешает, не цепляется коса-то, а трава самая маленькая ложится, ну, чисто под бритвой. И не тупилась коса-то. Перед смертью Дёмка нет чтоб в общество отдать — в реку косу бросил. Сказывают: на том месте три дня вода ключом кипела... Вот дела-то какие...

Саввушка торжествующе оглядывался кругом.

— Ты видел косу-то, что ль?

— Он Дёмке ковать помогал.

— Дёмка ковал, он нашёптывал...

— Нашептать может не хуже цыганки.

— А с цыганами снова вот какой случай был. Я в ту пору малолетком бегал...

Саша устал от непривычной работы, сейчас в каждой косточке — сладкая ломота, руки свинцовые лежат вдоль тела; великое наслаждение лежать вот так, не двигаясь, вдыхать смешанный с сыростью запах дыма, думать о своём под захлёбывающийся от торопливости (чтоб не оборвали) голос Вязунчика.

Катя отодвинулась сейчас далеко-далеко; в прошлом она, в другом мире. Незаметно поднявшаяся за деревьями луна запуталась в чёрной хвое высокой ели, так и остановилась там. Над лицом ноют невидимые в темноте комары, десяток — молодых, писклявых, один — басовитый, матерый. Он всё время прилаживается сесть на висок Саше — то-то бы наслаждение пришибить надоедливого, но тяжела намахавшаяся за день рука, не поднять её.

Мысли Саши лениво кружатся около кудрявинских покосов. Строго судить, их нет в этой бригаде, наглухо заросли. Мирошин, чудак, беспокоится: станут спрашивать, почему не скосили. А какой тут спрос, когда косить нельзя... Завтра же отпустит всех косцов в деревню, пусть Мирошин использует их, куда нужно. Доложит Игнату Егоровичу...

Тянутся мысли неторопливые, дремотные, мысли отдыхающего человека. Накинуть бы на себя ватник, поверх ватника плащ, подтянуть колени к подбородку и уснуть... И чего это там долго возятся с ужином?

Наконец рассказ Саввушки оборвался. Сашу и уже успевшего задремать Мирошина позвали к костру.

Саше, сонному, растрёпанному, отчаянно жмурающемуся после темноты на огонь костра, подали на колени глубокую миску густого, дымящегося супу. Суп чуточку отдавал болотной тиной.

Костёр угас. Косцы носили траву охапками, укладывались спать. Саввушка Вязунчик, устроившийся в кустах, ворочался, треща ветвями, шумел:

— Бабоньки! Холодно одному, шли бы ко мне, гуртом спинку погрели.

— Велика ли корысть от тебя, кабы помоложе был.

— А ты иди, Марья, узнаешь, есть ли корысть. Я б тебя погладил, мяконецкую.

— Уж спи, старый козёл, отгладил своё. Небось, молоденькие-то голос не подают.

Сладкие зевки, кашель, ворчание, женский затихающий шепоток.

## 4

После лесных покосов даже деревня Новое Раменье кажется оживлённой. Стучат топоры на стенах нового скотного двора. Там же сгружают с машины кирпич. Бригадир строителей Фунтиков, подсмывая на тощем животе штаны, сердито кричит на девчат:

— Я те брошу! Я те повольничаю! Как ребёночка, кирпичик клади!

Бродят загорелые, испачканные мазутом трактористы, слышится стук мотора за домами... Шумно. Вот что значит центр колхоза, а не дальняя околица Кудрявино.

Саша всего неделю не был здесь, а его уже встретили новостями.

Когда уходил в Кудрявино, все были озабочены — у племенных коров стали гноиться глаза, да и молоко от них нехорошо пахивало. Ломали головы — что да как?..

Секрет же оказался прост: плохо прибирали кормушки, новые порции силоса валили в объедки. Теперь кормушки три раза на день моют...

Саша знал, что многие коровы, которые прежде отворачивались от травы, стали охотно есть кошенный клевер. Но до сих пор из-под ног на выпасах траву не брали. Крепка, видать, привычка — жить на том, что подносят. Игнат Егорович установил премию той скотнице, что первая приучит своих коров пастись на воле.

Игната Егоровича Саша застал в его «закутке» — так называли бригадиры председательский кабинет, угол в одно окно, отгороженный дощатой переборкой.

— Только вспоминал тебя. Ну-ко, с ходу рассказывай, как там, в Кудрявине, разворачиваются?

Саша рассказал: заросло больше половины покосов, что не заросло — выкосили, людей отпустил на другие работы.

Игнат Егорович озадаченно крякнул.

— Так и знал.—Вынул из стола бумаги.— Отчитываться надо, а как? Из-за Кудрявина мы, выходит, не докосили шестьдесят гектаров.

— Сообщить надо, что заросло.

— Кому? Знают. У многих позаросло.

Игнат Егорович взял ручку, задумчиво обмакнул её в чернила.

— Хошь не хошь, а придётся докосить пёрышком по бумаге.

Саша видел, как на синем шершавом бланке Игнат Егорович поставил число и вывел твёрдую цифру — 60.

— Игнат Егорович! Ведь это же обман!

— Обман, Сашка, обман. Подписываю и чуть ли не фальшивомонетчиком себя чувствую.

— Не пойму... Зачем же тогда?

Игнат Егорович отодвинул в сторону бумаги, положил на стол тяжёлые, с набухшими венами руки и, встретив недоуменный взгляд Саши, заговорил:

— Хотелось бы, чтоб ты таких штучек не знал. Очень хотелось! Но жизнь есть жизнь, и не след от неё прятаться. Те люди, которые меня контролируют, цифрами привыкли питаться. Поднеси им не ту цифру, всполошатся, начнут забрасывать к нам в колхоз бумаги, телефонограммы, одну другой грозней. Почему не выполнен план? Подводите район! Подрываете колхоз! Втолковывать, что район мы не подводим, колхоз не подрываем, план в конце концов от этого не страдает,— бесполезное дело. Дай им нужную цифру, иначе не будет видимости, что всё благополучно.

• — Так лучше обман? Перед собой же стыдно!

— Хорошо, буду совестливым, упрусь. Меня начнут таскать по заседаниям, по совещаниям, указывать пальцем. Ну, это ещё полбеды. Перестанут доверять, пришлют уполномоченных, тех, для кого цифра — бог. Они по пятам начнут ходить, указывать, сдерживать, руки свяжут. И всё это из-за маленькой цифры. Не напиши её или напиши, покриви чуточку или выдержи правду — всё равно от этого кудрявинские покосы не очистятся от кустов, сена с них не прибавится и не убавится. Если б вредило, мешало жить — кровь из носу, а воевали бы. Ни попреки, ни уполномоченные, поверь, не испугали бы. А сейчас — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Саша сидел растерянный и подавленный — всю жизнь приходилось слышать: будь честным, прямым, не криви душой... Как-то не сходится, непонятно...

Игнат Егорович долго вглядывался в Сашу, с виноватым вздохом обронил:

— Что и говорить, неладно... Цифре больше верят, чем человеку.

Разговор этот Саша скоро забыл. До него ли...

Пастух, по прозвищу Незадача, весёлый старик, горький пьяница, узнав о премии, каждый вечер приходил из деревни Большой Лес, вваливался в председательский закуток, начинал надоедать Игнату Егоровичу:

— Что там премия! Ты мне косушку поставь да разреши своих породистых пустить в моё стадо, не траву — кур щипать будут. Эко, незадача!

Приставал до тех пор, пока не решились испробовать — чем чёрт не шутит. И верно, через несколько дней племенные коровы в стаде Незадачи паслись с таким же усердием, как и местные.

Премию самому Незадачке не отдали, а выписали на имя его старухи. Но Незадача своё вытянул, два вечера подряд ходил козырем перед правлением, восхищался собой:

— Я слово знаю! Профессоров в коровьем деле забью! Егорыч! Эй, председатель! Ты мне верь! Мы с тобой хозяйство, как балалаечку, настроим. Не жизнь у нас — плясовая будет!

## 5.

До поздней ночи в здании райкома партии, в центре над входом, во втором этаже, ярким жёлтым светом светятся два окна. Сейчас в них мелькает тень, иногда же оттуда доносятся голоса, иногда там тихо, только строгий ясный свет обливает телеграфный столб, поднимающийся у крыльца.

Если на улице было пустынно и никто не мог её видеть, Катя останавливалась, прислонялась плечом к оградке, смотрела со стороны на окна.

Там, за этими окнами, — о н!

Всего один раз слышала Катя от Павла Сергеевича, что она тот человек, который сможет понять, оценить его, что они оба родственны духов-



но... Один-единственный раз он держал её за руки, жёг, угрожал, ласкал глазами. Та памятная встреча во время дежурства в райкоме перевернула жизнь Кати.

После неё приходилось встречаться на людях. Перебрасывались взглядами, незначительными словами... Но даже слова о молодёжных кормозаготовительных бригадах, произнесённые его голосом, обращённые к ней, были для Кати подарком.

Один раз она принесла ему список комсомольских докладчиков. Павел Сергеевич был один в кабинете. Он долго смотрел список, хмурился, Катя стояла рядом и робела. Наконец он поднял голову, взял Катю за руку и произнёс:

— Как неуютно устроена жизнь.

В это время за дверями кабинета послышалось движение, и Катя, оставив на столе Павла Сергеевича список, выскочила, едва не ударив головой входившего Сутолокова.

Она потом долго думала над этой странной фразой. Что он понимал под словом «неуютно»? Наверно, то, что много домов в селе, велики поля вокруг Коршунова, а для них нет места, чтоб встретиться, чтоб перекинуться наедине словом. Не может же Павел Сергеевич прийти в дом к Кате, и сама Катя перестала навещать Анну. Встречаться где-нибудь на берегу или в роше, как коршуновские ребята и девчата, вовсе неудобно. Павел Сергеевич не мальчик, видный человек, да к тому же женатый! Что подумают люди, какие сплетни после этого появятся!

Минуты, когда Катя, прислонившись к забору, глядела на окна, заменяли ей свидания. Что только не думала, о чём не мечтала она тут!

Дед Кати постынно повторял: «Не по пословице наша семья — она без урода. У Зеленцовых перед людьми чиста совесть».

Бабка Кати, как и Аркадий Максимович, работала в школе, умерла от приступа грудной жабы, так и не закончив своего последнего в жизни урока.

Мать Кати была врачом. В одно жаркое лето в удалённом Верхнешорском сельсовете вспыхнула эпидемия дизентерии. Мать выехала туда, сама схватила заразу. Сказалась утомительная работа по восемнадцати, по двадцати часов в сутки — не перенесла болезни. Матери тогда было двадцать два года, Кате — три.

Отец Кати погиб зимой сорок второго на Сталинградском фронте.

Сам дед, Аркадий Максимович, проработал в школе около тридцати лет...

Катя вместе с ним гордилась своей семьёй и мечтала, как о величайшем счастье, отдать свою жизнь на что-нибудь необыкновенное. На подвиг, несущий людям пользу.

Но что она может, девчонка, без особого таланта, не выдающаяся умом? Ей ли совершать необыкновенные дела? Если б случай какой... Но случая нет, жизнь кругом ровна и буднична.

Только в последнее время, глядя на освещённые окна, Катя жила новыми надеждами, чувствовала новые желания.

Там, за знакомыми окнами, сидит не просто близкий человек, любимый ею, нет, там человек, создающий жизнь. Как знать, может, именно в эти минуты он решает важный вопрос для засыпающего села, для разбросанных по лесам и полям деревень, для тысяч людей, живущих в них, для учителей, колхозников, шофёров, детишек... Для всех. Всем хочет он счастья!

Слышно: ребята идут с гармошкой из роши, старый конюх райисполкома ругается во дворе с уборщицей из-за лопаты, всё обычно, никто не думает о том, что делается за этими окнами, кто там сидит. Он же помнит о них, это его обязанность!

Вот сейчас в окне мелькает тень. Он ходит по кабинету, размышляет. Подтянутый, плечистый, голова в густых курчавых волосах всегда горделиво вскинута, лёгкая, сильная походка, — даже вспоминая, любуешься им. Партийный вожак района! И человеческая красота и величие будущего, всё, что с пионерского возраста волнует душу, — всё в нём! И он, кажется, любит её... Любит! Это её великая гордость, великая радость!

## 6

Из обкома пришло письмо. Павел Мансуров давно его ждал. Кратко описывались выгоды и достоинства кормоцехов, рассказывалось о том, как у Борщагова в колхозе такой кормоцех повысил доход, говорилось, что почин должен быть подхвачен во всех районах, строительству кормоцехов уделено достойное внимание и т. д. и т. п.

Письмо привычное, но Павел Мансуров, прочитав его, начал ходить по кабинету, раздумывать...

Кормоцех — полезная вещь. Можно верить — немалые доходы получает с него Борщагов.

Но в колхозе Борщагова ворочают миллионами. Скотные дворы у них давным-давно механизированы, давным-давно построены водонапорные башни, проведены водопроводы; всё было в хозяйстве, не хватало только кормоцеха, и его построили. В коршуновских же колхозах часто проблема, как перекрыть крышу на телятнике.

Труд не велик: выбрать место, подвезти лес, закупить материалы, сообщить — кормоцех заложен. А дальше?.. Наверняка эти кормоцеха будут стоять недостроенными, наверняка в старых, дырявых фермах зимой будут болеть племенные коровы. Все б силы на ремонт этих ферм бросить, на постройку новых. Планы, расчёты, всю жизнь коршуновских колхозов могут запутать эти кормоцеха.

Однако скотные дворы — вещь обычная, ими никого не удивишь. Кормоцеха же — дело новое, подхвати его, сразу станешь на виду, все заметят, какой ты деятельный!

На красный стол с обеих сторон положено несколько десятков пар рук. Впереди, друг против друга, лежат тяжёлые, большие, простодушные руки Игната Гмызина и костистые, цепкие руки Максима Пятерского. Руки Кости Зайцева, председателя «Первого мая», широкие, красивые, сильные, переплелись пальцами, нетерпеливо мнут одна другую, воют. По ним видно — не нравится хозяину то, что он слышит сейчас. Белые, мягкие, ничего не выражающие ладошки председателя из «Нивы» Дудыринцева чинно сложены одна на другой, как у примерного первоклассника. А рядом, словно нарочно подсунуты на отличку, руки Дарьи Терёхиной — не по-бабы громадные, корявые, короткопалые. Немало переворочали они земли на веку, должно быть, и теперь им легче выметывать на вилах пудовые охапки сена, чем выводить на бумагах председательскую подпись. На дальнем конце стола — руки безликие, выглядывают из обтреканных рукавов.

Павел Мансуров докладывает о необходимости развернуть строительство кормоцехов по колхозам и не глядит на лица... Гсворят, что по рукам легко отгадать характер человека. Ой-ли! Руки Игната Гмызина самые простодушные из всех, а Игната-то Павел Мансуров и боится сейчас больше всех.

А вдруг да не только Игнат, все хозяева этих разнохарактерных рук поднимутся стеной против кормоцехов...

Не должно этого случиться! Райком партии за строительство, обком — тоже. Кому интересно навязываться на неприятности? Кроме того, ещё

покойный Комелев крепко-накрепко привил привычку — есть указания сверху, значит надо подчиняться.

Не должны возражать! Только крупные руки Игната заставляют Павла Мансурова быть настороже.

Он кончил, отложил в сторону бумаги и только теперь поднял глаза от красного стола на лица.

Иссиня-белый череп Игната был низко опущен. Сухое, длинное, с хрящеватым носом и резкими морщинами лицо Максима Пятерского казалось невозмутимо бесстрастным, но только казалось. Когда взгляд Павла Мансурова остановился на нём, веки Пятерского с неуловимой поспешностью прикрыли глаза: «Не выйдет, не дознаешься, о чём я думаю...» Большинство председателей избегало глядеть на секретаря райкома, и только с чистого, розового лица Дудыринцева глаза так и прыгали навстречу, ловили взгляд.

Обсуждения на заседаниях, как правило, начинают с общей заминки, минуту-две все молчат. И в эту минуту молчания Павла Мансурова охватила смутная тревога — вот он сидит один против всех, чужой этим людям. Склонили головы, взгляды отводят, — что они думают о нём, какие упрёки зреют под черепом Игната Гмызина, под гладко зачёсанными жидкими волосами Максима Пятерского?.. Может, презрение, может, даже ненависть?..

— Разрешите парочку словечек...

Из угла, за председательскими спинами, поднялся Серафим Сурепкин. Рыжеватый ёжик волос повернулся в одну сторону, затем в другую, выцветшие глаза, искренные и детски наивные, обежали присутствующих.

— Товарищи! Мы, как один, должны отдать свои силы на укрепление колхозного строя. Наша задача, товарищи, — поднять животноводство. Наш долг — капля по капле отдать свою кровь за дело процветания...

К выступлениям Сурепкина все обычно относились, как к повинности, — надо перетерпеть положенное время, выговорится, сядет, никому от этого ни холодно, ни жарко. Павел Мансуров ещё при Комелеве недолюбивал безобидного инструктора — такие ли работники нужны райкому! — позже хотел даже освободить его от работы, взять на его место человека боевого, думающего, но не доходили руки, да и сам-то Сурепкин не давал повода к недовольству — был добросовестен и исполнитель.

Но вот сейчас, когда увидел высокую сутулую фигуру, услышал голос с заученными, то повышающимися, то спадающими интонациями, Павел Мансуров неожиданно почувствовал облегчение — этот не скажет против, наверняка поддержит...

А Сурепкин, словно угадывая его желание, каждым своим словом гладил по сердцу:

— Кормоцеха, товарищи, — великое дело. Их строительство — первейшая задача...

Недалёкий человек, он в эту минуту среди угрюмо молчащих председателей, сам того не подозревая, стал другом Мансурову. Павел сдержанно кивал каждому его слову: «Так, так, верно».

Преисполненный скромным достоинством, Сурепкин сел. Поднялся Дудыринцев. Круглый, мягкий, чистенький, с тихим голосом, влетающим в душу, этот председатель всегда первым откликнулся на кампании, всегда давал высокие обязательства, но не всегда их выполнял, жаловался — того не хватает, этого нет, остороженько гнул линию — отдать государству поменьше, положить в амбары побольше, задабривал и колхозников, умастил и районное начальство.

— Правильно сказал Павел Сергеевич, что кормоцеха могут спасти положение с животноводством. Я обеими руками подписываюсь под тем, чтоб приступить к строительству...

И Павел Мансуров снова кивал головой: «Так, так, верно...» Но уж выступление Дудыринцева настораживало. Хитёр — так перестатит, что все возмутятся. Будет потом сидеть и пожимать плечами: «Я что? Я придерживаюсь взглядов Павла Сергеевича». А Павел Сергеевич отдувайся...

Так оно и получилось. Дудыринцев, расхваливая кормоцеха, словно мимоходом обронил, что они важнее новых скотных дворов. Это была нелепость. Павел Мансуров не успел возразить, из-за стола поднялся Игнат Гмызин, всем телом повернулся к устраивающемуся на стуле Дудыринцеву и спросил:

— Ты веришь, что теперь строительство кормоцеха принесёт твоему колхозу пользу?.. Можешь не отвечать. Знаю — не веришь! А ты сам, Павел Сергеевич?.. — Игнат повернулся к Мансурову.

— Верю! — с поспешностью ответил Павел. — Да, я верю в пользу, не сейчас, а в будущем.

— В будущем польза? Это не тогда ли, когда наш племенной скот померзнет зимой в неотремонтированных дворах?

Рука Игната Гмызина, выглядевшая до сих пор такой простодушной, схалась в увесистый кулак, угрожающе закачалась над столом.

— Никто не верит в такую пользу, ни я, ни Дудыринцев, ни ты сам, товарищ Мансуров! Кроме, может, одного Сурепкина... Не верим, а настаиваем, приводим с серьёзным видом доказательства. Только потому, что желательно блеснуть этими кормоцехами перед областью. Что ж это, товарищи, жизнь устраиваем или игру играем? Если это игра, то опасная. Ставка в ней — благополучие всего района. С такой ставкой не шутят.

— По-твоему, выходит, обком игрушками занимается? — не выдержал Павел Мансуров. — С чьего совета мы начинаем?..

— Обком плохо знает наш район, передоверился таким, как ты! А ты запутался и стараешься выкрутиться нечестными путями...

— Мы, кажется, здесь разбираем вопросы не личного характера, — бросил Мансуров сдержанно.

— Где уж личное, когда ты, чтоб выигрышней показать себя перед областью, ставишь на кон животноводство всех колхозов.

Мансуров резко встал, прямой, подтянутый, грудь вперёд, голова закинута, глаза горят тёмным, недобрым огнём, голос ледяной:

— Товарищ Гмызин! Не вносите склочный характер в обсуждение. Иначе я вынужден буду лишить вас слова.

— Не стоит лишать, я уже кончил. Ещё раз повторяю: в нашем положении сейчас кормоцеха — опасная афера!

Игнат Гмызин сел.

Теперь все до единого глядели в лицо Мансурову — одни с испугом, другие с сумрачным торжеством, третьи с любопытством.

— Дайте мне слово, — поднялся Максим Пятерский.

Длинный, узкоплечий, лицо схимника, только седой бородки недостаёт, он вынул распухшую, захватанную записную книжку, не спеша оседлал хрящеватый нос очками, заговорил не торопясь:

— Вот, товарищи, послушайте цифры...

Павел Мансуров устался в пряжку брючного ремня на тошем животе Максима Пятерского и слушал... Лесу для кормоцеха нужно столько-то, рабочих рук — столько-то, материал, доставка, рубли, копейки, статьи годового дохода... Не хватит на ремонт крыши телятника... Он, Павел Мансуров, не хочет этого слышать, не хочет понимать! Ему понятно одно: кормоцеха — шит, кормоцеха — занавеска, не будет их, придётся предстать перед обкомом голеньким, а после истории с Федосием Мургиным надо быть начеку. Надеялся. Надеялся — не возраят, побоятся. Возразили! Игнат виноват, лезет на рожон. Хорошо же, Игнат Егорович, придётся, видать, всерьёз схлестнуться. Ещё узнаешь Павла Мансурова!

## 7

Павел знал: Игнат сильнее других убеждён, что излишек скота — ошибка, что Мансуров перегнул палку и боится открыть это перед обкомом.

Игнат убеждён, что Федосий Мургин не виноват, что его вину раздули.

Наконец, Игнат единственный из всех людей видел в кабинете Мансурова картуз, догадывается о характере разговора, после которого старика нашли мёртвым в лесу. Стоит пожелать Игнату, и история с Мургиным снова всплывёт. Случись такое, к Павлу Мансурову станут уже относиться с предельной подозрительностью.

А то, что Игнат постоянно напоминает о нехватке кормов... А рассуждения его о неготовности животноводческих построек к зиме...

Павел до сих пор успокаивал себя — свой человек, старая дружба своё покажет... При встречах против воли заигрывал, трепал по плечу, заводил разговоры о близости:

— Нас же с тобой не базарное знакомство связывает...

Сам не замечал, что жил какой-то заячьей надеждой — авось не тронет, помилуется. Тронул, да ещё как! Перед всеми вывесил: «Выкрутитесь стараясь нечестными путями...»

Теперь, вспоминая Игната, Павел Мансуров наливался ненавистью. Ненавидел всё: приглушённый, медлительный басок, щупающий взгляд маленьких серых глаз, до синевы выбритый череп, даже привычку сидеть, ненавидел — локти в стороны, кулаки в колени, без того широк, а тут ещё растопорщится. Монумент, а не человек.

Совещание председателей ничего не решило. А время не ждёт. В областной газете что ни день, то информация: такой-то колхоз в таком-то районе приступил к строительству кормоцеха. Коршуновцы медлят, коршуновцы отстают, тянутся в хвосте. В обкоме, должно быть, создаётся впечатление — Мансуров работает спустя рукава...

Второе такое же совещание собирать бессмысленно. Снова председатели встанут за широкую спину Игната Гмызина.

Павел Мансуров начал вызывать председателей поодиночке, разговаривал с ними с глазу на глаз.

— Можно?

Приглаживая ладонью волосы, бочком протискивается Максим Пятерский, сутулится, ищет взглядом, куда бы сунуть кепку.

Павел Мансуров встаёт из-за стола, в вытуженном полотняном кителе, свежевыбритый, идёт навстречу, протягивает руку:

— Заходи, заходи, Максим. Ну-ка, присядем.

Полуобняв председателя за плечи, тянет к дивану, усаживает, сам садится, закидывает ногу в хромовом сапожке, щёлкает портсигаром.

— Закуривай. По какому вопросу тебя вытащил, ты знаешь?

— Догадываюсь, Павел Сергеевич, — вздыхает Пятерский и отводит горбатый нос в сторону.

Он чувствует — сейчас будет поединок, а выиграть его не легко. Это не на совещании, там и справа и слева сидят такие же, как он сам. Они и реплику подбросят, и взглядом ободрят, и выступлением поддержат — не робей, действуй. Тут — один. Корешки толстых книг виднеются сквозь стекло шкафа, чёрным и коричневым лаком блестят два телефона, один местный, звонить по колхозам и районным организациям, другой — прямой провод в область. Всё значительно, всё напоминает о больших деловых связях, о широком размахе в работе. Павел Сергеевич прост с виду, глядит в глаза без хитрости, но в любое время может подняться и сказать: «Я, как секретарь райкома партии, считаю...» Легко ли возражать?

— Так ты категорически отказываешься от строительства кормоцеха? — спрашивает Павел Мансуров, чуть-чуть нажимая на слово «категорически».

— Павел Сергеевич, сами посудите... — Максим Пятерский поспешно выуживает из кармана свою пухлую записную книжку.

Но Павел Сергеевич не даёт её раскрыть.

— Всё понимаю... Ты думаешь, мне неизвестны ваши трудности? Рабочих рук нет, в кредиты и без того залезли... Хорошо! Решим не строить, отстанем от других районов, признаемся перед областью: простите, нет сил преодолеть трудности...

— Объяснить надо, Павел Сергеевич. Такое-то дело поймут...

— Объяснить? Ты человек в годах, коммунист со стажем. Ты понимаешь, слово «не могу» — не наше слово. Через него приходится перешагивать...

Павел Мансуров, стряхивая пепел на ковёр, покачивая носком начищенного сапога, говорит спокойно, неуверенные возражения Пятерского опрокидывает без усилий. И мало-помалу Максим Пятерский понимает — поединка не получилось, сопротивляться бессмысленно.

— Игнат Гмызин — толковый хозяин, — продолжает неторопливо Павел Мансуров, словно не замечая подавленности Пятерского, — но для меня, близко с ним знакомого (ты же знаешь, мы даже родня), он как человек до сих пор загадка. Вот тебе факт: сам Гмызин просил племенной скот, получил его, а тем, что другие получили, недоволен. Наверно, не раз от него слышал: «Перегнули палку, не под силу набрали...» Сейчас он возражает против кормоцеха, но, я уверен, будет исподволь готовиться к его строительству. Сам построит, а такие, как ты, будете глядеть с раскрытым ртом, удивляться: ну и хозяин, вон как вырвался! Не могу утверждать, но мне кажется, честолюбив мужик, хочет быть первым, боится делить славу. Такое честолюбие — позор для коммуниста...

Через час Максим Пятерский уходил от Мансурова, дав слово начать строительство кормоцеха, унося в душе растерянность.

А через пятнадцать минут в кабинет Мансурова снова просовывалась выгоревшая на солнце кепка, слышался вопрос:

— Можно?

И Павел Мансуров шёл навстречу:

— А-а, Никита Фомич! Заходи, заходи...

Разговор начинался снова.

Игнат Гмызин думает, что колхозные председатели поднимутся вокруг него частоколом. Павел надеется: хватит сил расшатать такой частокол. И всё же он понимал — это ещё не победа...

Этот Максим Пятерский начнёт строить кормоцех: привезёт лес, заложит фундамент, а недостроенный телятник будет стоять без крыши, мучить председательскую совесть... Да к тому же на всяк роток не накинешь платок — члены правления, колхозники непременно станут попрекать: «Неладно поступаешь. Кормоцех нам не к спеху, телятник позарез нужен...» Разве можно быть уверенным, что Максима опять не охватит сомнение? А если охватит, кому он его понесёт? Не секретарю райкома, который не поддержит. Только Игнату Гмызину, не иначе...

Всё тихо пока. Колхозы берут в банке кредиты, заготавливают лес. Тихо... Но искорка тлеет, её не затоптал ещё Павел Мансуров. Где гарантия, что при первом же удобном случае не разгорится снова сыр-бор?

И всё Игнат Гмызин, крапивное семя!..

Пять лет Саша Комелев носил в кармане комсомольский билет. Пять лет — срок немалый, это четверть сашиной жизни.

Две недели тому назад в колхозе «Труженик» было партийное собрание. Собрались: чисто выбритый, лоснящийся, но без привычного добродушия, суровый Игнат Егорович, Евлампий Ногин, навесивший бородку

над протоколом, скотница Мария Гуляева, по-бабьи встревоженно поглядывающая на Сашу, Пётр Мирошин, Фёдор Гуляев, Иван Пожинков, все трое — фронтовики, «гвардия», как называл их Игнат Егорович.

Саша вместе с ними уселся за стол.

Председательствовал кудрявинский бригадир Пётр Мирошин. Встал, крикнул, поглядел грозно на Сашу и объявил:

— На повестке один вопрос: приём в кандидаты партии Александра Комелева. Да!

Попросили Сашу рассказать о себе. В комсомол вступал — терялся, нынче попрежнему трудно говорить о жизни: кончил школу, теперь в колхозе, и вся недолга.

Выслушали, посочувствовали:

— Ничего, парень, дело наживное. Вырастет ещё твоя биография.

Читали рекомендации, спрашивали по Уставу. Приняли единогласно...

Пять лет носил в кармане комсомольский билет, пять лет — больше четверти жизни! Пришла пора с ним расстаться.

Саша сидел в общем отделе райкома, дожидался, когда вызовут к Мансурову. Тот должен сейчас вручить ему кандидатскую книжку.

Только что в кабинет к Мансурову вошёл высокий парень, тракторист-трелёвщик из леспромхоза. Он до этого тискал меж колен кепку, два или три раза, наклоняясь, указывая глазами на дверь кабинета, таинственно спрашивал у Саши:

— Не знаешь, друг, там по политике гонять не будут?

Оставшись один, Саша вынул из кармана комсомольский билет, развернул. Билет совсем новенький, словно вчера получил, за шесть лет — ни пятнышка, ни потёртости. Берёт его, на работу с собой не брал, боялся, как бы от пота не пожелтел. Теперь даже обидно — уж очень свеженький, не обжитый. Возраст билета только и сказывается в многочисленных лиловых штампах, да ещё в фотокарточке — мальчишка взъерошенный, нос задран, глаза круглые, как у совёнка...

Саша вспомнил тот день, когда впервые взял в руки этот билет. Секретарь райкома комсомола Женя Волошина вручила его: «Помни, кто ты теперь!» На улице тогда была осень, мелкий дождичек щекотал лицо, булыжник мокро блестел на шоссе, погода не из праздничных. Вместе с Сашей получил билет Пашка Варцов. Они учились в разных классах, имели разных товарищей, даже в ночное, на рыбалку не ходили вместе. А тут вышли из райкома, оглянулись и поняли: никогда до самой смерти уж не забудут этот серенький день, с дождиком, с мокрым булыжником, со словами, которые ещё продолжают звучать в ушах: «Помни, кто ты теперь!» Будут помнить день, будут помнить друг друга. Смущённо улыбаясь, они протянули руки: «Поздравляю...» «И тебя тоже...»

Мать, увидев билет, сказала своё: «Не хватай грязными руками, живо завозишь, глядеть будет не на что...»

Отец подержал билет в руках: «Вот и вырос, Сашка. Теперь ты нам помощник».

Сам Саша не мог успокоиться много дней. Оставаясь один, вынимал из кармана, разглядывал, не уставая: серая обложка, силуэт Ленина, развернёшь — под длинным номером полностью фамилия, имя, отчество. Никогда ещё в жизни не имел документа — этот первый.

И Саша старался себе представить, как будет выглядеть этот билет через много лет. Видел его Саша потёртым, покоробившимся, кто знает — забрызганным кровью, его кровью! Будущее связано с этой книжкой. Как тогда хотелось заглянуть в него! Может, придётся прятать билет в солдатскую пилотку, чтоб переправиться на вражеский берег, может, вода незнакомой реки размочит лиловую печать райкома комсомола, может, горячий осколок полоснёт по груди, вырвет уголок серой обложки...

Через минуту-две получит книжку кандидата партии, комсомольский билет придётся сдать. И обидно, что он новенький, только у краёв чуть пожелтела бумага.

У Пашки Варцова билет, должно быть, выглядит не так. Он поступил в ремесленное, сейчас, слышно, работает далеко, в Новосибирске, жизнь более шумная...

Парень-трелёвщик вышел из кабинета красный, сияющий. Путаясь в кармане, он с ревнивой суетливостью прятал книжку.

— Спросил, газеты читаю ли, — доверительно и радостно сообщил он. — Регулярно ли их доставляют, перебоев нет ли?.. — И добавил шёпотом: — Давай, друг, шевелись, тебя приглашает...

Саша вошёл в кабинет, смущённо поздоровался, замялся у порога.

— Прошу, товарищ Комелев, проходите.

Павел Сергеевич Мансуров поднялся из-за стола, чуть-чуть склонив курчавую голову на правое плечо, протянул руку, крепко, по-мужски пожал.

— Присаживайтесь.

Саша сел на самый кончик стула. Он, как и только что вышедший отсюда тракторист-трелёвщик, ждал каких-то особых, мудрёных вопросов.

— В институте учишься?

— Да, на заочном, — ответил Саша и похолодел: «А вдруг да спросит, как студента, про эмпириокритицизм, например! Буду плавать...»

— И на каком курсе?

— На втором.

— Когда кончишь, чем думаешь заниматься?

— Как — чем? Буду работать в колхозе.

— А сейчас в колхозе что делаешь?

— Вот на сенокосе работал.

— Кем же ты на сенокосе работал? Простым косцом?

— И простым случается. Правление меня послало в кудрявинскую бригаду...

— Как в этом году кудрявинцы справились?

— Скрывать нечего, заросли у них покосы. Гектаров шестьдесят не пришлось тронуть.

Саша понемногу успокоился — вопросы все были простые, житейские.

— Заросло? А по сводке всё скошено, — удивился Мансуров.

— Что поделаешь, — невольно подражая Игнату Егоровичу, сокрушённо развёл руками Саша, — приходится кривить душой.

— Приписали?

Это слово было подброшено с поспешностью, взгляд Мансурова из официально приветливого стал пристальным, острым. Саша почувствовал неловкость, словно Мансуров его поймал на лжи.

— Да, — ответил он растерянно.

— По инициативе Игната Егоровича Гмызина?

— Да, — снова обронил Саша, чувствуя что-то недоброе.

К счастью, Мансуров на этом кончил с вопросами. Он поднялся, взял из лежащих на столе бумаг коричневую книжку, лицо его стало торжественным, голос звучным:

— Комелев Александр Степанович! С этой минуты вы считаетесь кандидатом в члены КПСС! Надеюсь, что вы с честью станете носить звание коммуниста. Возьмите вашу книжку!

Саша с волнением взял её.

— Разрешите поздравить вас, товарищ Комелев, — прозвучало у него над головой.

Оторвав взгляд от книжки, Саша увидел протянутую руку. Он схватил её, с силой сжал...



На обратной дороге в колхоз Саша не спешил, не гнал лошадь: хотелось побыть одному, подумать.

Встречный грузовик, промчавшийся мимо, как загнанный конь запахом пота, обдал горячим дыханием бензина. Затихая, удалялся шум его мотора за спиной. Лошадь шла ленивым шагом, лениво покачивалась дуга. Саша глядел вперёд и не видел её. Далеки были мысли, покойным ручьём текли они по сашиней жизни...

...Коршуновский дом культуры, над сценой всего только две электрические лампочки. В зале из темноты выступают ребячьи лица, лица родителей... Холодно в одном пиджаке и без шапки. Саша стоит, уставился в темноту зала, поднял руку над головой, повторяет вместе с другими ребятами:

— Я юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей...

В нестройный хор детских голосов вплетается шум метели, срывающей снег с железной крыши.

Они кончили. Пионервожатая Галя Пекарева должна была каждому повязать галстук. Но вдруг появился на сцене отец Саши, в высоких валенках, в тяжёлом полушубке, с воротником, занесённым снегом. Он встал посреди сцены, снял шапку, поднял её над головой и сообщил громко и радостно:

— Товарищи! Кончились бои под Сталинградом! Большая победа!

Кричали, хлопали в ладоши. Саша под общий шумок, кажется, даже выплясывал на сцене от радости, но никто не остановил, никто не обратил внимания.

— Вас поздравляю, юные пионеры! — обернулся отец к сбившейся шеренге. — Вы наденете красные галстуки в памятный день!

Закричали «ура». Отец схватил подвернувшуюся под руку Машу Журавлёву, поднял, поцеловал.

Вожатая Галя первому повязала галстук отцу Саши. Тот стоял в растёгнутом полушубке, края галстука лежали на мокром мерлушковом воротнике, лицо, как галстук, красное то ли от радости, то ли от смущения, то ли просто от мороза — почётный пионер.

С того дня, наверно, и начался сашин путь к партии. Ждал: «вот вырасту большим...» Слова «большой», «взрослый» для него не отделялись от слов «член партии». И вот он взрослый, вот он переступил порог партии. Отец теперь сказал бы: «Ты не помощник. Ты такой, как я».

Истомлённая жарой, гнулась к земле почти поспевшая рожь. Парит. Не соберётся ли к вечеру дождь?

Саша вспомнил, как в прошлом году он вместе с Игнатом Егоровичем на этой дороге попал под дождь. Помнится, как тот сорвал с головы кепку, прижал к сердцу, чтоб не замочило партбилет. Мелочь, а вот запала в память...

Игнат Егорович сейчас ждёт... Вчера вечером, после занятий, они вышли вместе на крыльцо, уселись под звёздами. Игнат Егорович курил, хмурился, думал о чём-то своём и, должно, не совсем весёлом.

И Саша спросил: о чём думает?

— О честности, Сашка, — ответил Игнат Егорович.

— Почему это вдруг о честности?

— Не вдруг. Жизнь заставляет.

— И что ж ты думаешь?

— Я думаю, что не тот честный, кто в чужой карман не залез, а тот, кто другого схватил, залезть не дал. Последнее-то труднее. Завтра партийный документ получать едешь, вспомни эти слова.

Вспомнить-то их нетрудно, вот и сейчас вспомнил, но не совсем они понятны для Саши: кого хватать, кто лезет в карман? Мудрит что-то Игнат Егорович.

Игнат Егорович был занят. В его закутке сидел корреспондент областной газеты, донимал вопросами.

У разъездного корреспондента Ильи Ромадского первый запал юности уже исчез вместе с густой шевелюрой. Последнюю сменила лысинка на макушке, пока ещё довольно удачно прятанная в остатках чёрных сухих волос. Ромадский начал уже слегка полнеть, но ни живости движений, ни молодой энергии не утратил. Газетной работой дорожил, но продолжал писать лирические стихи про «синглазое счастье» и «золото волос». И хотя жена его была ярко выраженная брюнетка, она прощала мужу любовь к синим глазам и золотым волосам, так как твёрдо верила в его добropорядочность.

Илья Ромадский считал себя зрелым корреспондентом, мастером собирать материал. В этом деле он придерживался теории, которая заключалась в следующем. В нашей жизни важно новое, нарождающееся, а не старое, отмирающее. Новое в нашей жизни — лучшее. Значит, в первую очередь надо показывать только лучшие колхозы, лучших людей. Худшие же колхозы, худшие люди суть старое, отмирающее, они недостойны внимания.

Поэтому, выезжая в Коршуновский район, Илья Ромадский ещё в городе узнал, что одним из лучших колхозов там считается «Труженик».

Шофёр Никита Шуренков, получавший на станции оборудование к автопоилкам, привёз корреспондента в Новое Раменье вместе с его плащом, фотоаппаратом и крошечным, выдавшим виды чемоданчиком.

В шляпе, сбитой на затылок, в потёртом костюмчике, в галстук с захватанным узлом Илья Ромадский предстал перед Игнатом Гмызиным.

Ещё не видя председателя, зная о нём понаслышке, Ромадский уже заочно любил его. Как же иначе, когда тот — герой его будущего очерка.

— Придётся вам извинить меня — отниму время. Приехал специально побеседовать с вами...

Каждый новый человек всегда немного смущал Игната, а тут ещё корреспондент, пишущий в газетах. Игнат виновато улыбнулся:

— Не знаю, сумею ли быть умным беседчиком...

Ромадский с ходу оценивающе приглядывался к будущему герою, мысленно представлял, как напишет его портрет: «Коренастый, крепкий, как выросшее на приволье дерево... Умное, русского склада лицо...»

Усевшись в председательском закутке, Ромадский принялся задавать привычные вопросы:

— Как приживается племенной скот?

— Ничего, не жалуемся.

«Председатель Гмызин не из тех, кто любит хвастать своими успехами. Он скуп на ответы...» — мимоходом отметил про себя Ромадский.

— Как с заготовкой кормов?

— Силосу ещё прошлогодного хватит, ну и в этом году заготовили. А с силосом и о сене не печалимся.

«...Но по скупым ответам можно судить, в каком прекрасном порядке содержится колхозное хозяйство...»

— Надеюсь, что вы в числе первых приступаете к строительству кормоцеха?

Игнат Гмызин пожал плечами:

— Пока не думаю.

— Как так?

— Нам в первую очередь надо сейчас поставить новый скотный двор с автопоилками, с электродоильными агрегатами, словом, со всей механизацией.

— Ну, а кормоцех?

— Преждевременно.

— Отказываться от передового с вашими возможностями! Нет, нет, не укладывается у меня в голове.

— Передовое с куста не сорвёшь, в карман не положишь. Атомная электростанция — вещь более передовая, чем, скажем, ГЭС. Но сейчас в нашей стране строят в широком масштабе гидростанции. Всему своё время, дойдут и у нас руки до кормоцехов.

Игнат Гмызин навалился грудью на стол и принялся терпеливо и подробно рассказывать корреспонденту, почему сейчас колхозу нужней строить механизированные фермы, а не приступать к кормоцеху.

Ромадский вышел от Гмызина в лёгкой растерянности.

Он любил постоянно повторять слова — «глубокое проникновение в жизнь», верил, что с каждым выездом он совершает такое проникновение. Но проникать в жизнь было просто-напросто некогда, ему не приходилось подолгу задерживаться в одном колхозе. Вместо того чтобы самому заметить, самому выяснить, невольно прислушивался к чужому мнению и высказывал, как своё. И это-то собирание чужих мнений он искренне считал проникновением в жизнь.

В редакции все были убеждены, что кормоцеха полезны во всех случаях. Убеждён в этом был и Ромадский. Теперь Игнат Гмызин, колхозный председатель, пользовавшийся уважением в области, заявил обратное. Ромадский стал колебаться.

«А что, если развернуться очерком на подвал и факт за фактом доказать — строительство кормоцехов не всюду можно выставлять как первоочередную задачу?...» И ему уже представлялось — очерк вызывает шум, горячие диспуты. Ответственный секретарь Сорочинцев, разумеется, будет против помещения очерка — перестраховщик. Заведующий отделом Корольков любит боевые выступления.

Но одного мнения Игната Гмызина было недостаточно.

Ромадский попросил «подкинуть» его в село Коршуново и часа два спустя сидел уже в кабинете Мансурова, осторожно передавал недавний разговор.

— А вы как думаете, — перебил его Павел Мансуров, — прав Гмызин или нет?

— Я думаю, отчасти прав.

— Отчасти? Гм...

Ромадский поспешил поправиться:

— Пожалуй, даже очень во многом.

— Вы, газетные работники, — начал не торопясь, внушительно Мансуров, — часто смотрите на жизнь в увеличительное стекло. Для вас достаточно, чтоб какой-нибудь председатель колхоза пошевелил ногой, как тут же громогласно извещаете: такой-то товарищ идёт твёрдой поступью к коммунизму!

— Не скрою, не скрою, всякое случается.

— Игнат Гмызин — толковый хозяин, умный мужик. За четыре года колхоз поднял — не узнать...

— Вот-вот, я заметил это. Не правда ли, его замечания о кормоцехах не лишены здравого смысла?

— Но это очень сложная личность...

— А на вид, представьте, простоват...

— Этот человек выступает против всеми признанного ценного начинания только потому, что не хочет иметь соперников...

Павел Мансуров вышел из-за стола, принялся ходить по кабинету от стены к столу, говорил громко, уверенно, словно диктовал корреспонденту его будущий очерк. Тот, поджав губы, следил быстрыми глазами за шагающим секретарём, ловил каждое слово.

— В душе он честный, порядочный, колхозники его уважают за принципиальность, но желание казаться лучше, чем есть на самом деле, желание быть первым во всём заставляет Гмызина совершать довольно-таки некрасивые поступки. Всего несколько часов тому назад один колхозник из «Труженника», получавший кандидатскую книжку, сообщил мне, что Гмызин посылал в район дутые сводки.

— Как так?

— Очень просто. Их покосы кой-где позарастали кустарником. Вместо того чтоб выкосить всю траву между кустов, Гмызин просто вписал цифру. Если строго судить, он обманул райком, партию, обманул государство!..

— Простите, как фамилия того колхозника, который сообщил вам этот факт?

— Комелев. Александр Комелев. Сын покойного секретаря райкома Комелева. Неглупый парень. Работает в колхозе, учится на заочном в сельхозинституте. Сегодня я ему вручил партийный документ.

— Так, так, я слушаю...

В этот же день Ромадский покинул Коршуновский район. Дорогой, в вагоне, он был возбуждён, чувствовал в себе творческий зуд.

Он начнёт очерк со встречи с председателем колхоза «Труженик», расскажет, какое произвёл тот на него впечатление — «коренастый, крепкий, как выросшее на приволье дерево... умное, русского склада лицо...» Он не скроет, что Гмызин толковый хозяин, что пользуется уважением колхозников, вызовет вначале к нему восхищение у читателя, а потом штришок за штришком раскроет сущность: честолюбив, не желает, чтоб остальные колхозы шли в ногу с его колхозом, выступает энергично против передового, падок на тёмные махинации... Да ведь это же образ, многоплановый, сложный! Удачный подвернулся материал!

## 10

Коршуновская МТС помещалась в старой церкви. Внизу — вагранка и кузница. Там, где прежде был алтарь, за царскими воротами, — кабинет директора. На заброшенной колокольне хозяйничают голуби. На паперти, развалиясь, сидят обычно трактористы, шофёры, приехавшие по делам колхозники, передают друг другу кисеты, крутят цыгарки.

Саша приехал договориться о переброске кустореза в кудрявинскую бригаду. Директора не было. Обещал к обеду вернуться. Саша сидел вместе с другими на паперти, слушал ленивые разговоры о травах, о горючем, о подгонке подшипников...

К чугунной ограде, где висела газетная витрина, забранная проволочной сеткой, подошла девушка с кипой газет, не спеша сменила старую газету на свежую, крикнула сидевшим на паперти:

— Чем лясы точить, читать идите! О нашем районе пишут.

Старичок из колхоза «Светлый путь» соскочил первым, подрыгивающей походочкой направился к девушке.

— Погоди, красавица. Ненужную-то газетку на раскурочку нам оставь. Взял газету, принялся свёртывать и застыл, пригнувшись к витрине.

— Пойти почитать, что пишут, — лениво поднялся один из трактористов.

А через минуту около газетной витрины уже стояла толпа.

Тракторист, низко пригнувшись, выставив зад с двумя удивлёнными глазами заплат, читал вслух:

— «Вдумчивый, расчётливый хозяин, способный организатор, председатель Гмызин всеми силами противится передовому. В чём причины?..»

— Вот что значит начальство против шёрстки гладить.

— Да-а, вlepили мужику промеж глаз.

— Тише, черти! Слушайте. Читай дальше, Серёга.

— «В чём причины?.. А причины кроются в том, что товарищ Гмызин из сугубо эго... эгоистических расчётов...»

Саша, чувствуя над ухом чьё-то горячее дыхание, весь сжавшись, слушал, слушал и не совсем понимал: что случилось? До сих пор ни от кого не слышал даже слова, даже намёка, что Игнат Егорович нечестный человек, что он хитрит ради своей выгоды. Все относились к нему только с уважением. И вдруг такие упрёки! Без малого враг колхозам. Как всё перевернулось! Где правда? Чему верить?

Спотыкающийся голос тракториста Серёги доходил, словно издалека, недоуменные, путанные мысли, закипевшие в голове, мешали сразу схватывать смысл. Вдруг Саша вздрогнул — тракторист произнёс его имя и фамилию. Произнёс и споткнулся, замолчал. Стоявшие вокруг Саши люди зашевелились, он почувствовал на себе насторожённые взгляды.

— «...Колхозник Александр Комелев,— продолжал тракторист,— получая из рук секретаря райкома партии товарища Мансурова кандидатскую книжку... кандидатскую книжку, сказал, что не может утаить такой факт... факт, когда председатель Гмызин подсовывал райкому и райисполкому фальшивые сводки...» Эх, мать честна! Выходит, жульничал. Не похоже на мужика.

— Какой факт? Не говорил я! Ничего не говорил! — закричал сердито Саша.

— Помолчи-ко, друг. Опосля петушиться станешь,— обрезал его голос сзади.

— «Фальшивые сводки...» Э-э, черти, сбили меня... вот... «Покосы колхоза «Труженик» отчасти заросли кустарником. Вместо того...»

У Саши обмякли ноги — трудно стало стоять, невозможно слушать дальше, отойти бы, сесть в сторонке, опомниться... Но Саша не посмел пошевелиться, прослушал всё до конца.

Тракторист кончил. Люди зашевелились, раздвинулись, не спеша потянулись к церковному крыльцу.

— Камешек спустили.

— Пересолили.

— Пересолили, не пересолили — тут уж разбираться поздно. Припечатали, и баста.

— Теперь, поди, не усидеть в председателях.

— А то... На всех заборах по области вывесили.

Саша отошёл, опустился на траву, под кирпичный фундамент ограды, лёг лицом вниз. А со стороны доносился разговор. Говорили просто, не боясь, что он услышит.

— Гляньте — вроде мучается паренёк-то.

— Что ему мучаться. Не его стукнули — председателя.

— Да его-то Игнат обхаживал, как добрая корова телка.

— За то, видно, он и свинью ему подложил.

— Молод, молод, а уж знает, как по чужим костям на печку влезть. Саша вскочил на ноги, зашагал прочь.

То отбегая от берега, то прижимаясь к самой воде, вдоль Ржавинки бежит тропинка. Она, как и шоссе, может привести к деревне Новое Раменье. Но если шоссе через овраги, через угоры и поля проламывает себе прямой путь, то тропинка, как и речка, капризно вертлява. Путь по ней до Нового Раменья вдвое дольше.

Над вздрагивающими от течения камышами задумчиво висят стрекозы. Подёргивая узкими хвостиками, прыгают трясогузки по выступившим из воды камням. Солнце обливает кусты и речку со всей её непотроженной живностью.

Ни быстрая ходьба, ни тихий уют суетливой Ржавинки не могли успокоить Сашу.

Он был помощником, он был товарищем, он был почти сыном Игнату Егоровичу. Он верил и сейчас верит, что Игнат Егорович честный человек. Как он думает о нём, Саше, в эту минуту? За спиной сказал, тайком на-ябедничал — вот благодарность за все заботы! Люди уже говорят: «Свинью подложил... По чужим костям на печь влезть...» По чужим костям! Не по чужим, выходит, по костям Игната Егоровича! Да не хотел он никуда лезть! Как это получилось? Не понял Мансуров. Ведь только он мог сказать, он один!

Посреди речки лежали валуны. Их, ноздреватых, с зелёной слизью, неприступно молчаливых и старчески безобразных, Ржавинка игриво, по молодому щекотала водой, весело и ласково на что-то уговаривала.

Только бы не встречаться с Игнатом Егоровичем! Стыдно. Страшно. Страшен взгляд его глаз, страшен будет и голос его, а разве не страшно, когда промолчит, не упрекнёт ни в чём. Нельзя встречаться, нельзя идти в Новое Раменье. А люди?.. Там-то ведь живут те, кто знает Игната Егоровича. Если посторонние сказали: «Свинью подложил...» Что тогда скажут раменцы? Даже Настя и та должна отвернуться...

Тропинка нырнула в кусты, потянуло от земли запахом прели. С каждым шагом он всё ближе и ближе к деревне Новое Раменье. Зачем он идёт? Нельзя там показываться!

Нельзя?.. Остановиться, выбрать место поглуше, прилечь в тень на травку... Вода меж камней журчит, стрекозы висят коромыслами, трясогузки прыгают. Глядеть на всё это, слушать воду, не думать ни о чём, пролежать до ночи. А ночью — домой, к матери, собрать вещи, взять денег — и утром, с первой машиной, на станцию. Оставить здесь весь стыд и позор.

Тропинка вынырнула из кустов, врезалась в рожь. В этом году рожь вымахала высокой, колосья бьют по глазам... Он продолжает шагать. Он идёт. Куда? Зачем? Нельзя идти!

Нельзя?.. Скрыться?.. Вот тогда-то уж Игнат Егорович подумает — от стыда сбежал, вот тогда-то скажет — подлеца вырастил. Прав будет!

Саша прибавил шагу, колосья хлестали по лицу...

Всё вышло неожиданно просто. С замирающим сердцем Саша толкнул дверь в председательский закуток. Игнат Егорович встретил его спокойным взглядом, кивнул — «садись», продолжал писать. Крупная, с натруженными венами рука старательно выводила тонкой ученической ручкой букву за буквой. Наконеч отодвинул бумагу, закурил, произнёс:

— Ну, рассказывай, как там вышло?

Широко раскрытыми глазами, с удивлением и благодарностью Саша уставился на Игната Егоровича. Тот усмехнулся:

— Думал, что возмущаться буду?

— Игнат Егорович! Всё не так... Всё иначе...

— А ты рассказывай. Знаю, что иначе.

Саша, сбиваясь и спеша, принялся передавать разговор с Мансуровым.

— Подлец!

— Игнат Егорович...

— Не ты подлец, а Мансуров... В нашей жизни, Сашка, есть рамки. Часто в них трудно развернуться — тесны. Надо, скажем, купить партию шифера, и деньги есть в банке, а не дают — не по смете. Надо посеять клеверу — нельзя, не по директивной установке. А эти сводки... В Кудрявине покосы позарастали лет десять тому назад, а в сводках требуют — учитывай их. Кому не приходилось обходить стороной эти сметы, директивы, сводки? Я обошёл. Суди меня — отвечу, но подними вопрос о том, чтоб ни у меня, ни у других председателей не случилось больше нужды

объезжать на кривой, поправь жизнь. Но разве это нужно Мансурову? Для него партийная работа — лишь лесенка, по которой удобно подняться над всеми... Что ж, Павел Сергеевич, пришла пора поговорить в открытую... Вот, Саша, прочитай: в обком пишу...

Саша взял в руки бумагу.

## 11

Велика сила слов, напечатанных на шершавом газетном листе.

Все знакомые Игната Гмызина вроде бы не соглашались со статьёй, многие даже возмущались ею, многие от чистого сердца высказывали сожаление:

— Поводил какой-то пёрышком по бумаге, глянь — матёрому мужику ноги обломал.

— После такого тумака трудно не захромать.

Игната Гмызина жалели, а тех, кого жалеют, невольно начинают считать слабыми, беспомощными, в них перестают верить.

Сам Игнат продолжал жить, как жил. Утром рано уходил на поля — не пришла ли пора начинать выборочную жатву? Днём всегда его можно было увидеть на стройке нового скотного — там бетонировали дорожки, устанавливали автопоилки. Попрежнему добродушно спокойный, уверенный в себе, нахлобучив на гладкий череп мягкую кепку, увесисто-твёрдой походкой ходил он по деревне. Те, кто видел его каждый день, мало-помалу начинали забывать о газетной статье. И только Саша помнил, не мог успокоиться.

Между сашиным домом и школой на пустыре, теперь застроенном сельповским магазином и складами, раньше стояла осина. Каждый день Саша по несколько раз проходил мимо неё, не замечал, не обращал внимания. И вот однажды в летний день, после дождя, когда от низких тяжёлых туч лёгкий сумрак рассеян в воздухе и тусклые лужи разбросаны по дороге, Саша бросил случайный взгляд на осинку. Бросил и остановился: тонкий ствол отликает металлическим холодком, твёрдые листья невесомо окружают его, цвет их под стать стволу — неяркий, серебристо-прохладный, — осинка живёт, дышит, купается во влажном густом воздухе. В течение многих лет каждый день по несколько раз пробегал мимо и не замечал, что она красива, стой и смотри хоть час, хоть два — нисколько не надоест. Открытие!

Так иногда поражаешься красоте человека.

Не день, не месяц, больше года знал Саша Игната Егоровича. Кажется, ничем он не мог уже удивить; кажется, наперёд известно — что скажет, как поступит. Но вот простой случай: вместо того чтоб осердиться, отвернуться после газетной статьи, он встретил простыми словами: «Расскажи, как там вышло». И Сашу поразило — понял, без объяснений. Саша ждал обиды, уязвлённого самолюбия. Как он смел так думать об Игнате Егоровиче? Ведь знал его, жил вместе...

День ото дня росло негодование — какого человека оклеветали! Где правда? Почему не возмущаются?..

Порой появлялось желание подняться на второй этаж райкома, войти и сказать в лицо, с ненавистью всё, что знал, что думал. Глупость, конечно, мальчишество, этим делу не поможешь.

Не это ли желание заставило выложить всё перед Катей?

После той ночной встречи, когда Катя ушла, хлопнула дверь, они не перебросились ни единым словом. Саша видел её только издалека.

Сбежала раз с крыльца райкома, лёгкая, быстрая, чем-то озабоченная. Ветер полоснул подолом светлого платья по загорелым ногам. Резко повернула голову, в открытое окно кому-то бросила слово,

Или же... Шёл в кино. Плечи теснит отглаженная рубашка, потная рука в кармане мнёт билет. Навстречу девчата. Среди пёстрых платьев, заброшенных на плечи шёлковых косынок словно ударило по глазам — гладко зачёсанные волосы, белый лоб, под ним ровные брови, лицо и знакомое и забытое!.. Блестящие глаза вздрогнули и скользнули в сторону. Прошла мимо...

После таких встреч день, два не оставляло беспокойство — не мог сидеть на месте, бросал одно дело, хватался за другое, чего-то не доставало, что-то искал. Проходили дни — успокаивался.

Дошли до Саши и смутные слухи, что Катя любит не кого-нибудь, а Мансурова, что она вечерами «все глаза проглядела» на его окна, что тот за занятостью даже не замечает её. Саша против воли прислушивался, верил и не верил, ругал самого себя: «Мне-то что? Не всё равно теперь, о чьи окна глаза мозолит».

В этот раз Саша пришёл в райком комсомола, чтобы сдать свой билет. Давно бы пора это сделать.

Попал в обеденный перерыв. В первой комнате ни души. В открытое окно влетает ветер, шевелит на столах бумаги. Заглянул во вторую комнату. Катя с гримасой упрямства и мученичества на лице одним пальцем отпечатывала на машинке какую-то бумагу. Она заметила Сашу, и он вошёл, сказал в сторону:

— Здравствуй. Я комсомольский билет хочу сдать.

— Здравствуй.

Притихшая, робкая, виноватая... Сразу же где-то в дальнем уголке души шевельнулась надежда: а вдруг да раскаялась, вдруг да захочет, чтоб было попрежнему...

— Вот...— Саша выложил на стол свой билет.

Катя взяла его, застенчиво улыбнулась, глядя на фотографию, предложила:

— Хочешь взять её на память?

— Не надо.

— А если я возьму?

— Тебе-то зачем?

— Саша...— Она подняла глаза, доверчивые, добрые, просящие. И Саша вздрогнул — неужели!.. Но он ошибся. Хоть голос Кати, как и глаза, был доверчивый, просящий, но говорила она совсем не то, что бы хотелось ему услышать.— Саша... Разве мы не можем быть просто хорошими товарищами?

— Чего зря толковать... Билет-то примешь или Клешинцеву подождать?

— В партию вступил... Недавно слышала, как о тебе Павел Сергеевич Мансуров говорил Сутолокову. Хвалил тебя...

— А я в похвале Мансурова не нуждаюсь!

— Почему?

И тут Сашу взорвало. Он высказал всё, что слышал от Игната Егоровича, что думал сам.

— ...Он карьерист, а не партийный работник! Занимается не делами — интригами! Не смотри на меня так — не боюсь! В лицо ему скажу! Всё! Прямо!..

Глаза Кати округлились. Они сначала налились ужасом, потом вспыхнули негодованием, наконец губы её скривились презрительно, лицо из доброго, мягкого стало сразу сухим, каким-то острым.

— Мелкая душонка,— оборвала она.— Ведь знаю, почему ты так говоришь. Знаю! От злобы! Из-за личных счётов! Наслушался сплетен... Я-то считала порядочным, в товарищи напрашивалась... Уходи! Уходи! Слушать тебя не хочу!..



Изогнув шею чёрным лебедем, лампа бросает яркий круг на зелёное сукно стола. Отступив в уголок от границы света, поблёскивают телефоны. Во всём кабинете мрак. Освещённый кусочек кабинета — второй дом Павла Мансурова и даже не второй, а единственный.

Если глядеть со стороны на его жизнь с Анной, она не вызовет упрёка. Между ними, боже угаси, не было ссор, жили и живут, как положено мужу и жене. Павлу не в чем упрекнуть Анну — он обедает во-время, пуговицы пришиты, подворотнички всегда чистые. Анне тоже нельзя пожаловаться... Редко бывает дома — что ж, занят по горло работой. Даже поднявшийся было нечистый слушок и тот стих, исчез, как ленивый ветерок в жаркий полдень.

И всё же день ото дня Анна становилась более чужой. Даже откровенно думать стеснялся в её присутствии. Она связывала мысли.

Думай и помни, что Анна — сестра Игната, она и без того удивлена, что Игнат стал обходить их дом, она догадывается, косо посматривает. Хочешь не хочешь — путаются мысли.

Только поздними вечерами в кабинете, когда можно не опасаться случайного посетителя, Павел чувствовал себя совершенно свободным.

Сейчас он перебирает бумаги и не спеша думает:

«Теперь в твоём же гнезде легко взять за шиворот. Соберём партийное собрание в «Труженике». Поговорим. Пора... Пусть-ка встанут в защиту! Против общественного мнения? За раскритикованного вдребезги? Кому захочется лбом на обух лезть. Как ты, Игнат Егорович, себя чувствовать будешь?.. Вот тогда и поговорим по душам. Зла-то тебе не хочу, лишь бы под ногами не путался...»

Павел толстым карандашом пометил на листке календаря: «Вызвать из «Труженика» Ногина».

«Может, не доводить до собрания? Встретиться с Игнатом, дать почувствовать, что вожжи в моих руках...» — продолжал думать Павел и тут же решительно отмахнулся. — «Не поймёт — толстокож, упрям, самоуверен. Только лишний шум поднимет — делу во вред».

Где-то был документ — прошлогодняя записка Игната, отданная Павлу, чтоб тот положил её тогда в свою папку. Помнится, там мимоходом говорится о пользе кормозапарников. Кормозапарники Игнат в прошлом году защищал, а теперь отвергает кормоцеха. Интересный документ, очень может пригодиться...

Павел выдвигал ящики стола, рылся в них. Запустив руку в нижний ящик, он вдруг наткнулся на что-то твёрдое, вытащил... Свет лампы упал на сплюснутый кожаный картуз Мургина.

За тёмными окнами спало село. Только по дощатому тротуару простучали шаги запоздавшего прохожего, затихли вдали. Снизу, с первого этажа, доносился непонятный скрип и потрескивание.

Павел положил картуз под лампу. Странно было его видеть среди кабинетных бумаг — грубый, заскорузлый, с жёванным козырьком, у околыша чуть-чуть распоролся шов, подкладка бурая от пота, он всё хранит следы жизни человека, который отходил своё по земле.

Павел забыл даже, что картуз лежит здесь. О многом забыл... Не потому ли, что неприятно оглянуться назад?..

«Не у меня одного неудачи... В Шумакове, у соседей, тоже плохо с кормами! Банникова, секретаря райкома, каждый месяц вызывают в обком на бюро, записали уже выговор. Перхунов из Сумкова — авторитет! — а весной чуть ли не треть колхозов оставил без рабочей силы, ушли люди на строительство целлюлозного комбината, сорвали сев, — теперь освобождён мужик от работы... А недавно в газете раскатали соборянского секретаря райкома за то, что его уполномоченные подменяли колхозных председателей. А разве мало было неприятностей у Комелева?.. Всем труд-

но работать, но не было ведь случая, чтоб на чьей-то совести висела человеческая жизнь. Не слышно такого... Ты один, Павел Сергеевич, отличился... Один!.. Любуйся теперь картузом...

Хотел быть среди людей лучшим, хотел добыть для района первенство. Думал — заметят, оценят, выдвинут в область. На опыте коршуновцев — победа всей области... Чем чёрт не шутит. Не боги горшки обжигают. Так, должно быть, и вырастают люди, управляющие государством.

Вот чего хотел. Получается иначе...

Что впереди? Долго ли итти такой неверной походкой? Каков будет конец?..»

От этих упирающихся в тупик мыслей и от ссохшегося картуза среди бумаг, вызывавшего смутные мучения совести, Павел Мансуров почувствовал себя ненужным, заброшенным. Как крот в норе, сидит сейчас в этих стенах, что-то выкапывает, что-то плетёт... Возможно, и удастся столкнуться с дороги Игната, а через неделю не поднимется ли другой Игнат? Не вечно же воевать. Когда-нибудь поднимешь вверх руки, признаешься: «Всё! Нет больше сил!» Перебросили бы в другой район, там бы начал по-новому, там бы стал умнее...

Неожиданно Павел услышал, что кто-то открывает дверь. Он нервно вздрогнул, схватил картуз, заслоняя рукой от слепящей глаза лампы, всмотрелся.

В дверях стояла Катя. Увидев, что Павел Мансуров заметил её, решительно шагнула вперёд.

— Не могу больше... — обронила она тихо и опустилась на диван. В полутьме на бледном лице выделялись большие тревожные глаза. — Хочу услышать от вас самого...

— Что с тобой, Катя?

— Павел Сергеевич, про вас говорят нехорошие вещи... Говорят, что вы... Нет, не могу повторить... Скажите: есть хоть маленькие основания упрекать вас? Мне это нужно, мне не безразлично знать...

Павел Мансуров глядел на Катю и удивлялся: как он заездился за последнее время. Забыл даже, что когда-то заронил искорку. Она разгорелась. Теперь даже не знает, как отвечать, как держаться... Не минутная прихоть, не вольность женатого человека, но и не настоящее... Для настоящего не хватило его, как не хватает и в других делах. Разве сможет она это понять?.. Сидит, кутается в платок, передёргивает плечами, в глазах боль и тревога. За него тревожится — славный человек.

— Павел Сергеевич, что ж вы молчите? — громким шёпотом переспросила Катя, подаваясь вперёд, вся взвинченная, напряжённая — вот-вот сорвётся с места.

— Катя... — ласково и грустно произнёс Павел, не зная ещё, что сказать ей, в чём признаться. В руке он держал картуз Мургина, помедлив, протянул: — Вот!

— Что это? — Лёгкие руки Кати вынырнули из-под платка.

— Не признаёшь?

— Нет.

— Эту вещь забыл в моём кабинете Федосий Мургин за несколько часов до своей смерти.

Катя вздрогнула.

— И я признаюсь в большем: если б я говорил с ним не так жёстко, он, возможно, был бы жив.

— Павел Сергеевич...

— Я человек, а не бог. Я могу ошибаться. Я хотел людям хорошего, я знал, что без дерзости, без решительных бросков его не добудешь. Я дерзнул, сделал бросок, а вокруг меня были равнодушные. Я начал с ними воевать, понял, что не обойтись без жестокости. Одному человеку я бросил несколько жёстких слов (всего несколько слов!) — и вот... вместо

человека в моих руках остаётся только его картуз... Я не железный, и меня порой охватывает отчаяние. Мне трудно, Катя.

Павлу хотелось жалости, и он её добился. Катя поднялась с трепетно мерцающими глазами на вытянувшемся, мутно бледном в комнатных сумерках лице.

— Если б я могла помочь,— дрожащим голосом произнесла она,— я бы считала подвигом в своей жизни. Но что я могу, что могу?

— Спасибо, Катя. Доброе слово — тоже помощь.

— Вы для меня выше всех. Счастьем было бы вечно быть с вами, вечно помогать вам... Никакие сплетни — ничего, ничего! — не смогут изменить моё отношение!.. Вы не знаете, кто вы для меня! Вы для меня не только любовь. Больше! Вы моя надежда! Может, глупо навязываться... Но пусть! Знайте!.. Долго молчала...

Катя выронила картуз из рук, уткнула лицо в ладони, резко повернулась. От разметнувшегося платка шевельнулись на столе бумаги. Павел не остановил её. Он долго сидел, не двигаясь, прислушивался, как стучат по лестнице каблуки её туфель. Ему стало стыдно...

Любит? Да! Но не его — другого! Трудно жить. Может, легче было бы признаться начистоту перед всеми?.. Скажут: запутался, напакостил — каешься. Нет, Москва слезам не верит... Пусть один... Вперёд, отступать поздно!

Уходя, Павел захватил с собой картуз Мургина, на полдороге к дому бросил его за чью-то изгородь в густо разросшуюся крапиву. Лежи здесь, недобрая память, пока не сгниёшь от дождей...

А на следующий день в райком партии был вызван Евлампий Ногин, секретарь парторганизации колхоза «Труженик».

В тот же день, поздно вечером, Евлампий Ногин пришёл домой к Игнату Гмызину. Нерешительно пощипывая бородку, виновато ворочая выпуклыми жёлтыми белками, попросил Сашу:

— Ну-ко, милоч, иди спать, мы тут с Егорычем посеCRETничаем.

Саша вышел, и Евлампий, придвинув бородку к самому лицу Игната, зашептал:

— Плохи твои дела... Не должен бы тебе говорить этого. Мансуров узнает — в муку меня сотрёт. На партсобрании тебя обсуждать предложили...

— Так что ж, пусть... Обсуждайте.

— Эко! Пусть... Не Сашка — знаешь, чем пахнет!

— Вы-то что, младенцы? За правду постоять не можете?

— Такой момент, нас и прижать не трудно. Газета тебя долбанула? Долбанула. Против передового ты выступал? Признано — записано — выступал. А история со сводкой?.. Её ой-ой как повернуть можно. Сунем-ся мы, а нас в один рядок поставят, в пух-прах разнесут.

— Боишься в одном ряду со мной стоять?

— Не побоялся бы, коль смог бы доказать. А как тут докажешь, когда даже в газете утверждено, что ты такой, ты сякой... Ты вот что,— боясь, что Игнат перебьёт, заторопился Евлампий,— не лезь на рожон. Если в ошибках признаешься, покаешься, не выкажешь гордыню — всё сойдёт, верь слову. Полезешь напролом, упрёшься — раздуется пожар. Не таким быкам рога обламывают...

Игнат презрительно глядел в виновато бегающие глаза Ногина.

— Одначе заячья же душа у тебя. Напрасно выбрали в секретари. Партбилет я ношу не для того, чтоб только увёртками его спасать. Когда получал, давал обещание: ежели замечу пень на колхозной дороге, ни сил, ни жизни не пожалею — выворочу. Мансуров пнём стал. Не мне теперь этому пню кланяться. Иди да на ус себе намотай.

Они расстались.

На бревенчатые стены из низеньких окон падали медные отсветы разбушевавшегося за деревней заката. Упрямо и безнадежно точила стекло залетевшая оса.

Бухгалтера, кассиры, вся контора кончила рабочий день сегодня раньше, случайных посетителей заворачивали обратно — собиралось закрытое партийное собрание, лишние могли помешать.

Пока явились на собрание трое: Евлампий Ногин, Иван Пожинков и Саша Комелев. Евлампий нет-нет да и прилипал бородкой к стеклу: не пылит ли машина, с минуты на минуту должен подъехать Мансуров.

Евлампий был одет ради собрания в чистую косоворотку, пегая бородака расчёсана на две стороны, на коричневом, стянутом сухими морщинами лице застыло выражение брюзгливой измученности, какая бывает у людей, страдающих утомительной зубной болью. Он не мог спокойно сидеть, ёрзал на лавке и, обращаясь к Пожинкову, жалобно говорил без умолку:

— Я ведь было лыжи наострил из колхоза. Думаю, бабу оставлю дом стеречь, а сам — на лесокombинат. Кто меня остановил? Он, Игнат. Теперь живу хоть и не князем, а корова без сена не сохнет, подсвинка хлебцем подкармливаю, не корыстные, а деньжата водятся. Лонись парню велосипед купил. А купил бы я его без Игната? Нет. Вот и рассуди — могу ли я его не уважать? Бесценный человек..

Иван Пожинков, подперев простенок широкими плечищами, склонил квадратную голову, и не понять, что он слушает — то ли Евлампия, то ли ноющую на окне осу.

— Как родного отца люблю. Он мне жизнь устроил. При нём я помолодел словно.. И вот теперь..

Пожинков молчал. Евлампий, не услышав от него ни сочувствия, ни возражения, продолжал:

— Мансуров из рук в руки бумагу передал. Вот, мол, выступи, и принципиально, личные счёты отбрось начисто. А в этой бумаге, хуже чем в газетной статье, на Игната каких только собак не навешано..

Пожинков молчал. Евлампий помедлил, покосился, вздохнул:

— Эх-ма! Как подумаю: буду говорить, а Игнат рядом сидит, в душу смотрит. Что делать?.. Нечего. Красней, рак, колья в кипяток попал! Отмолчаться нельзя. Поперёк пойдёшь — в райкоме спросят: с газетой споришь, общественному мнению перечишь? А ну-ко, дай пощупаем — какое в курочке яичко сидит!

Пожинков молчал. Саша сидел взъерошенный, сердито, исподлобья, поглядывал на беспокойного Евлампия.

— Слышь, Евлампий! — окликнул он. — Мне на собрании разрешается выступать?

— А как же, как же! — встрепенулся Евлампий, обрадованный уж тем, что откликнулась живая душа. — Тебе только голосовать прав не дано. Выступай себе на здоровьице.

— Тогда выступлю, — мрачно пообещал Саша.

— Только, сокол, помни: партийное собрание — не бригадирская сходка. От молодой прыти не напори чего. Каждое словечко в протокол заносится, а протоколы-то наверх идут, их там по буквам прочёсывают.

— Вот-вот, пусть прочешут. Я расскажу, как ты до собрания хвалил Игната и как на собрании всё наоборот толкуешь. Докажу — партийному собранию лжёшь!

Иван Пожинков пошевелился, с интересом поглядел на Сашу, не спеша полез за кisetом. Рачьи с жёлтыми белками глаза Евлампия растерянно уставились на Сашу. С минуту он молчал, вздрагивая бородкой.

— Типун тебе на язык, — выругался незлобиво. — Пойми ты, цыплёнок недосиженный, что я спасти Егорыча хочу, спасти! Он хоть не молод,

но тоже, не дай бог, бедовая головушка — всё лбом стенку пробить не ровит. Не подзуживать его надо, а уломать, чтоб мирно решилось, чтоб в председателях оставили... «Докажу — лжешь!..» Эх, хватил. Я ли лгу-то, газета же выступила, на всю область ославила. Море вокруг Игната разлилось, уж не думай — мы с тобой это море не выхлебаем.

— И это скажу.

— Задолбил: скажу да скажу. Думаешь, у нас честности меньше, чем у тебя, сосунка.

— Честный не тот, кто в карман не залез, а тот, кто другому это не дозволил.

— Эх!..

Но в это время застучали сапоги по крыльцу, распахнулась дверь, один за другим вошли люди. Низкий, покойный голос Игната спросил:

— Что сумерничаете, как на посиделках? Зажгли бы огонь.

Свет зажгли, в конторе сразу стало шумно.

— Где Мирошин? Хвастался — кучу новостей привез.

— С лошадьё к конюшне не завернул ли?

— Здесь я, здесь. Не сбежал с новостями.

При свете тусклой лампочки, нескладно сгибаясь под низкой притолокой, шагнул через порог Мирошин. Прошёл, опустился рядом с Пожинковым, прямой, даже сидя долговязый, с острым кадыком на тощей шее, с проржавленными от табачного дыма усиками.

— Да! Вот так.. Не знаю только, хороши ли новости-то.

— Какие есть, за плохе бить не будем.

— Приехал к нам в район самый первый секретарь из области.

— Курганов?

— Он самый. Невысокий такой, полноватый, лицо не улыбочное. Глаз, как и полагается, строгий. Да!

— Во-время! Не мешает ему погостить у нас.

— Может, распутает петельки.

— А ехал он в одной машине с Мансуровым. Да! Плечико в плечико сидели, как я теперь с Пожинковым.

— Ясно дело, не с тобой же ему ехать.

— Напоёт ему Мансуров.

— Мансуров-то машину остановил, за локоток меня взял и в сторонку отвёл, говорит: не буду я у вас сегодня...

— Не будет. Нам доверяет? Зря.

— Что жалеть-то, без него вольготней.

Мирошин повернулся к Евлампию:

— И ещё велел передать: собрание-де лучше отменить, так как вопрос об Игнате Егоровиче пока будем решать в более высоких... как их?.. инстанциях. Вот как. Да!

— Ого!.. Это новость, братцы.

У Евлампия от такой новости удивлённо отвисла губа. Он секунду глядел на Мирошина своими выкаченными глазами и вдруг, всегда осторожный, всегда почтительный к начальству, вскипел:

— Да что ж это? Чего он выплясывает? То настаивал, бумаги всучил, то теперь, как норовистую кобылу, в сторону бросило.

— Бросит, когда Курганов приехал.

— Боится, как бы осечка не вышла.

Евлампий не успокаивался:

— А что мне с бумагами этими делать? Хранить иль свиньям скормить? Глядеть на них не могу!

Общий шум прорезал неожиданно звонкий голос Саши:

— Товарищи! Партсобрание надо проводить! Обсудим эти бумаги! По-своему обсудим!

— Ну, ты! — цыкнул Евлампий. — Судили мыши kota...

• — Э-э, Евлампий, не горячись, — возразил Мирошин. — Парень-то, гляди, толковое предлагает. Дал.. Как, ребята?

Молчаливый Пожинков, сидевший невозмутимо во время шума, придал окурком о ребро скамьи, скупно обронил:

— Верное дело.

На минуту все притихли, заоглядывались.

— Как ты, Игнат Егорыч, глядишь? — спросил Мирошин.

Игнат Гмызин стоял у входа в свой председательский закуток, заполняя узенькие двери громоздким телом. Он медленно повернул крупную, тяжёлую голову в сторону Саши, посмотрел без улыбки пылливо, ласково.

— Умно и во-время, — согласился он.

Евлампий Ногин послушно сел за стол, привычно раздвинул пальцами бородку, произнёс:

— Ежели так... Кто протокол вести будет? — и спохватился: — Вы всё-таки шутейно или всерьёз предлагаете бумаги Мансурова обсуждать?..

Непривычно, ново, страшновато было для него начинать собрание, «не согласовав» и «не увязав»...

#### 14

В четыре часа утра ещё спит село Коршуново. Даже шоссе — самый неутомимый и беспокойный труженик — отдыхает. На нём, где пыль лежит густо, остались нетронутыми зубцы от шин последнего грузовика. Их не успели растоптать ноги прохожих, их не смяли колёса утренних машин. Это след вчерашних суток, новый день не стёр его.

В пол пятого румянятся стволы берёз. С этих берёз, что окружены молодыми липками — берёзам подмышки, — взлетает галчиная стая. Беспорядочно побранившись друг с другом в воздухе, галки опускаются на пустынное шоссе и тут, как одна, становятся важными, переваливаются, деловито перелетают с места на место.

Вспугнув их, нетерпеливо прошагал первый прохожий — долговязый кассир сберкассы Акиндин Митрофаныч. В руке — прокопчённое ведёрко, на сутоллом плече — удочки. И так каждое утро. Седина в бороду, бес в ребро...

Ровно в пять, как и во всяком добропорядочном русском селе, кричат петухи, поднимаются хозяйки. Всклопоченные, с пылающими после тёплых подушек щеками, хозяйки, позванивая вёдрами, тянутся к колодцам.

В шесть, немилосердно гремя расхлябанными бортами, пронесится первый грузовик. Пыль после него оседает на влажную листву палисадника.

В умытое небо из печных труб потянулся вялый угарный дымок.

Похоже, дюжина взбесившихся двустолок загрохотала за калиткой одного дома. То Славка Калачев завёл свой мотоцикл. Он его купил месяц тому назад и до сих пор никак не может привыкнуть к своему счастью. Ему мало вечером пролететь лихачом по селу, — день испорчен, если утром, чуть продрал глаза, не послушает мотора. Хлопки, судорожный грохот, чихание милей всякой музыки...!

Время отдало людям свой обычный и драгоценный дар — сон. Подарить сон — значит подарить силы.

И чтоб этот подарок принимался радостней, часы пробуждения празднично украшены: трава особенно зелена, воздух особенно свеж, даже железные щеколды дверей, даже бревенчатые стены, даже полустёртые булыжины шоссе — тронь рукой — облакают бодрой росяной прохладой. Вставай, человек, в чистый, обмытый, приготовленный для тебя мир! Вставай с новыми силами!

Мансуров плохо спал ночь, поднялся с головной болью. Куда, к чёрту, радоваться утру, непросохшей росе на кустах под окном — до того ли? Новый день... Если б перескочить через него...

Прошла целая неделя с тех пор, как Курганов появился в районе. Встретился он тогда с Мансуровым суховато, сообщил о письме Гмызина, пристрашал: «Если из того, что написано, хоть одна треть — правда, пеняй на себя». Не ко времени такой гость, но Павла успокаивала одна фраза, брошенная вскользь Кургановым: «Пока весь район не объездим и до косточек не общупаем, ни на один шаг не отпущу от себя...» Ездить-то вместе придётся, будет время покаяться, пожаловаться, а там, глядишь, и договориться. Не след пасовать...

Не повезло Павлу...

На следующее утро, выехав с Кургановым из Коршунова, перед въездом в деревню Тароватка Павел увидел Игната Гмызина. Тот сидел в пролётке, перегнувшись, разговаривал с дюжим парнем в рубахе распоясской. Парень сидел на длинном сосновом бревне, взваленном на тележный передок. Его неказистая лошадёнка дремала в оглоблях, не обращая внимания на беспокойное похрапывание сытого гмызинского жеребца. Рано ли, поздно — Курганов должен был встретиться с Игнатом, и Павел указал:

— Может, поговорить нужно. Вон он, Гмызин-то.

Думал, что Курганов не захочет на ходу разговаривать.

Но Курганов остановил машину.

Тут же, на обочине дороги, между Гмызиным и секретарём обкома при молчаливом присутствии Мансурова и дюжего парня, с любопытством поглядывавшего из-под путаного чуба, произошёл короткий разговор.

— Товарищ Гмызин, к вашему письму нужны ещё конкретные доказательства. Когда я смогу их получить?

— Да кое-что хоть сейчас, товарищ Курганов.

— Так быстро?

— Пяти минут не займёт.

— Вот как... Что ж, попробуем выслушать это пятиминутное доказательство.

— Слушать нечего. Идёмте смотреть.

Впереди Игнат Гмызин, за ним Курганов, за Кургановым, насторожённый смутной догадкой, Павел Мансуров, на почтительном расстоянии парень, засовывающий на ходу рубаху за брюки, — двинулись в сторону от дороги, к дремотно растянувшемуся под утренним солнцем скотному двору.

Стены скотного угрожающе покосились и были подпёрты под верхние венцы брёвнами.

Гмызин остановился, кивнул головой:

— Вот... Картина для нас не редкая.

— Исправлять такие картины надо, а не любоваться, — сказал Курганов.

— То-то и оно, надо исправлять. Яков! — крикнул Игнат стоявшему в стороне парню. — Скажи: куда ты лес возишь?

Дюжий Яков смущённо склонился, выбивая каблуком сапога ямку в земле, произнёс:

— Известно куда... На том конце кормоцех строим, туда и вожу...

Курганов повернулся к Якову, с минуту оглядывал с ног до головы, спросил:

— Как по-твоему, когда этот кормоцех кончите?

Парень замялся.

— В будущем году ежели... Да то, должно, председатель знает.

— В будущем году... А ремонтировать коровник когда?

— Чего тут ремонтировать. Раскатать да наново поставить — дешево будет.

Курганов простился с Игнатом, дорогой молчал и, только завидев пылящий навстречу грузовик, попросил:

— Павел Сергеевич, задержите эту машину.

И когда недоумевающий Мансуров, выйдя на дорогу, остановил грузовик, Курганов спокойно произнёс:

— Садитесь, поезжайте обратно. Я решил один поехать по колхозам. Так они расстались.

Курганов колесил по району. На перегоне между деревнями Плёсо и Дворки он сломал свой «газик», потребовал из МТС другой и продолжал разъезжать — не угадаешь, где был, куда нацелился, что высматривает.

До Павла доходили только обрывочные слухи...

Курганов облазил всё хозяйство «Труженика» — многозначительно!

Курганов провёл целый день в колхозе покойного Мургина — неспроста.

Курганов всюду интересуется силосованием и подготовкой к зиме скотных дворов...

Наконец позавчера раздался звонок: «Собирайте районный партактив, готовьте доклад по вопросу зимовки скота».

Всё ясно.

Вчера вечером Курганов появился в райкоме: тронутый загаром, посвежевший на коршуновском воздухе, в галифе, в громоздких сапогах.

Сейчас он вместе с коршуновцами встречает утро...

Догадывается ли, что творится в эти минуты на душе у Павла Мансурова? Возможно. Впрочем, вряд ли поймёт пастух овцу. Поговорить с ним надо начистоту, но не по-овечьи...

Павел умылся, сел, чтобы выпить стакан чаю. Анна, уже причёсанная, одетая, сидела за столом. Светлое, с голубыми наивными цветочками ситцевое платье молодило её. Она привыкла ничем не интересоваться, ни о чём не расспрашивать, молчала, как всегда.

Тревога ли, может быть, тоскливое чувство одиночества заставило Павла вдруг понять — пусть она далека от него, а всё же ближе никого нет на свете. Никого кругом!

— Анна, — произнёс он осторожно, — на меня сегодня обрушатся...

Анна вопросительно взглянула на мужа.

— ...Все кругом настроены твоим братом...

Она долго молчала, наконец спросила:

— Для чего ты мне это говоришь?— Подождала, не скажет ли он что, и добавила: — Может, это к лучшему.

Павел молча допил свой стакан.

Жену не тревожит его беда, какого же сочувствия ждать от других? Никто, только он сам может защитить себя. Надо поговорить с Кургановым начистоту, другого выхода нет.

Павел шёл по улице в своём выужоженном летнем кителе, в начищенных сапогах, как всегда чуточку шеголеватый и торжественный. Ни резко выступившие скулы, ни усталые круги под глазами не изменили на лице привычного достоинства.

Встречные, как всегда, почтительно здоровались с ним.

Ухабистые просёлки, деревни, то разбросанные среди полей, то растянувшиеся по берегам весёлых речек, деревни, утопающие в картофельной ботве, бесконечные встречи: старухи, девушки, парни, неторопливые разговоры среди мужчин с неизменными цыгарками — день за днём раскрывался Коршуновский район, дальний уголок области, руководителем которой был он, Курганов.



Из всех пёстрых собеседников в этой поездке последним оказался агроном МТС Чистотелов. Курганов столкнулся с ним в одном из колхозных правлений и попросил сводить его на поля.

— Боюсь, загоняю вас. Вразвалочку-то ходить не умею.— Чистотелов из-под нависших бровей пристально с ног до головы оглядел секретаря обкома.

— Кто кого загоняет. На мой животик не смотрите. Я, брат, охотник. В горах по козьим тропам лазил, диких козлов бил.

— Коль так, идёмте...

Переходя с поля на поле, вели обычные разговоры: о нехватке минеральных удобрений, о клочковатости полей, разбросанных по лесам, о трудностях обработки их машинами.

Уже на обратном пути попали под дождь, короткий и сильный, вымокли, но Курганову было жарко — грела ходьба.

Огрузневшее вечернее солнце затонуло в лиловом мареве. Между чёрной землёй и тяжёлым плоским облаком, как раскалённая река среди берегов, разлился багровый закат.

Шли полем льна. Лён давно отцвёл, сейчас на каждой зелёной головке висела дождевая капля, тянула к земле. И эти капли, все как одна, украли у растекшегося по небу пламени частички света, мизерные дольки — капля не может украсть больше капли. Раскинулось вокруг тёмное поле, на нём миллионы льняных головок истекают мягким светом. Куда ни глянь — всюду бережливо висят над землёй робко тлеющие огоньки. Они разбиваются о голенища сапог...

Курганова в эти дни ни на минуту не оставляла тревога. Сейчас — то ли от застойной неподвижности в природе, подчёркнутой сияющими дождевыми каплями на головках льна, то ли от того, что спутник подвернулся не из болтливых, не мешал думать, — тревога выросла, сжала сердце Курганову.

Он считал себя принципиальным руководителем — не жаловал льстецов, не бил с высоты своего положения тех, кто осмеливался возражать. Работал и был покоен: он понимает людей, люди — его.

Но теперь в Коршуновском районе этот покой мало-помалу исчез. Он вдруг почувствовал, что ошибался, не всегда-то хорошо понимал людей.

Оценивал: кто добросовестно исполняет поручения, кто не плачется на трудности, тот истинный руководитель. Мансуров всё выполнял, Мансуров не жаловался, больше того, хватал на лету любую идею, рождавшуюся в стенах обкома. В нём ли было сомневаться?..

И вот племенной скот, загнанный в дырявые коровники, близкая зима и... сводки: начато строительство кормоцехов, подвезено столько-то леса, заложен в таких-то колхозах фундамент...

Чистотелов, видно, понял молчание Курганова, он обернулся и произнёс:

— Вот оно как... Издалека-то, бывает, и петух на насесте за ястреба сойдёт.

— Мне намёк? — спросил Курганов.

Тяжёлые брови Чистотелова двинулись вверх, открыли спрятанную усмешку в светлых запавших глазках.

— Что там намекать... Раз человека бросает из одного конца района в другой, значит задело за большое.

— Задело, — признался Курганов. — Что скрывать — обманулся.

— Э-э, только ли вас обманул он! Вы-то в городе сидели, мы рядышком с ним жили, каждый день бок о бок отирались и не заметили, как расцвёл цветочек. Я сам сначала за него горой стоял.

— На что же клонули?

— На лён. Горячо он за лён схватился, документы собирал: мол, по таким-то и таким-то причинам плохо растёт... Оказалось, нужен ему не рост льна, а свой рост в райкомовском кресле.

— Что ж вы в обком знать не давали?

Чистотелов хмыкнул в жёсткие прокуренные усы, кольнул из-под бровей взглядом.

— Не догадываетесь?..

— Нет, не догадываюсь.

— Просто побаивались: вам же выгодней Мансурову верить, чем, скажем, мне или Игнату Гмызину.

— Это почему?

— Потому что, кто, как не обком, Мансурова за верёвочку дёргал. Вам хотелось, чтоб он дело делал, а он по-своему выплясывал.

— Приехал же я... разбираюсь... не Мансурова сторону держу.

— Это теперь, когда доспело. Приехали бы в прошлом месяце, у Мансурова тогда только кой-где треснуло, долго ль ему перед вами, приедем человеком, все щели замазать.

Закат потускнел. Лён всё ещё мокро хлестал по сапогам, но уже сияющие дождевые капель не было видно. Природа побаловала своими маленькими радостями и спрятала их до другого раза.

— Значит, по-вашему, обком виноват? — перебил минутное молчание Курганов, исподтишка разглядывая спутника.

Длинный, сухой, кадыкастая шея вытянута. На фоне отливающего бронзой заката чётко виден рубленый профиль — из кустистости бровей выгнулся массивный нос с хрящеватым выступом на изгибе, крепкий, шероховатый от щетины подбородок подпирает ровно срезанные усы.

Чистотелов не повернул головы, спокойным голосом ответил куда-то в пространство:

— Вы сами так считаете, иначе бы эти дни возле Мансурова сидели. Курганов долго шагал молча, наконец усмехнулся:

— Считать так — не значит ещё признаться. А признаваться надо.

— Не лёгкое, видать, дело, — посочувствовал Чистотелов.

Впереди, стиснутое тёмной зеленью полей, синело шоссе. У обочины маячила неподвижная машина: это шофёр Курганова выехал их встречать...

Вернувшись в Коршуново, Курганов поселился у Чистотелова.

Утром перед собранием партийного актива он, как и Мансуров, поднялся рано. Пробуждающееся село с розовеющими от солнца стволами берёз, с хозяйничающими на пустынном шоссе галками вдруг вызвало в Курганове непонятную радость. Все эти дни на душе лежала тяжесть, всё это время он засыпал и просыпался с тревогой. Сегодня легко...

Какой-то долговязый паренёк с полотенцем на плече размашисто прошагал по безлюдной улице в сторону реки. И Курганову вдруг самому захотелось до нетерпеливого зуда в теле окунуться в обжигающую холодком утреннюю воду.

Он тихонько зашёл в дом, достал из своего чемодана мыло и полотенце.

На реке из-под прибрежных кустов клочьями выползал туман. В тени он был синий, тяжело льнул к воде, выбираясь на солнце, сразу же розовел, становился невесомым, растворялся в воздухе.

Легко — да, это так! Сегодня он, секретарь обкома Курганов, сбросит груз. Игнату Гмызину, Чистотелову, всем партийцам Коршуновского района он признается, в чём был виноват, откровенно.

Через два часа Курганов, в вытуженном костюме, при галстукe, недопустно суровый на вид, был в райкоме. А у крыльца райкома, у Дома культуры останавливались повозки, машины, верховые — народ съезжался на совещание.

С полудня до вечера в Доме культуры будет идти совещание партийного актива. А вечером для участников этого совещания коршуновский кружок самодеятельности даст концерт.

Под сценой в полуподвале — две комнаты. На бревенчатых стенах висят пыльные парики, в конторском шкафу хранятся костюмы, в одном углу стоит большой барабан с медной тарелкой на макушке — его вытаскивают наверх, когда нужно изобразить гром. Есть труба, не находящая применения. Есть старая фисгармония. Есть гримировальный столик с трюмо, крапленным по стеклу ржавыми пятнами.

Перед концертами в этих комнатах воюет кладовщик райпотребсоюза Василий Васильевич Боровсков. Почтенный возраст (Василию Васильевичу за сорок), куча детей, злая жена, даже фронтовое увечье — остался без ноги, — ничто не смогло заглушить его любовь к святому искусству. Он со своей лысиной, тощей фигурой, висящей на костылях, всё ещё продолжает испуганно мечтать, что когда-нибудь да сыграет Гамлета. «Я так её любил, как сорок тысяч братьев любить не могут!» — частенько читал он кому-нибудь со слезой.

Сейчас он прыгал среди своих доморощенных актёров, всем возмущался, роняя на пол костыли, хватаясь руками за лысину, кричал:

— Вы кафтан принесли! Чацкий в кафтане! Варвары!

Кате надоела эта репетиционная суета. Сюда, в полуподвал, доносился приглушённый шум из зала — собирались участники совещания.

В последние дни приходилось слышать нехорошие разговоры о Павле Сергеевиче. Не понимают люди, что Павел Сергеевич — человек поиска. Поиски без ошибок невозможны! Сегодня утром издалека видела Сашу, приехал вместе со своим Игнатом Егоровичем на совещание. Искренний, честный парень, а попал в руки Гмызина, поёт его голосом. Этот Гмызин — по одному виду можно судить — человек самоуверенный: краснолицый, широкий, идёт, раскачивает плечищами, сам чёрт ему не брат. Саша рядом — штаны пузырями на коленках, а кепчонка на затылке — тоже петушок. Перед такими-то Павел Сергеевич сумеет себя отстоять.

Народ собирается на совещание, пора и Кате идти в зал.

По узенькой скрипучей лесенке она поднялась на сцену, заставленную старыми декорациями. Пахло олифой, пылью, чем-то нежилым, неудобным: задворками театра. Шарканье ног, голоса, скрип стульев — весь шум постепенно заполнявшегося народом зала здесь был слышен уже не приглушённо. Эту заднюю часть сцены от того места, где стоял длинный красный стол президиума, отделял лишь занавес.

Из-за косо стоящей фанерной колонны с облупившейся побелкой Катя неожиданно увидела около занавеса двух человек. Коренастый, крепко стоящий на расставленных ногах, секретарь обкома Курганов, заложив за спину руки, выжидательно снизу вверх смотрел на Мансурова. Павел Сергеевич, вытянувшийся, какой-то собранно-решительный, тоже в упор шупающим взглядом уставился на Курганова. По выражению его лица Катя поняла, что идёт такой разговор, где свидетели нежелательны, и что ей в эту минуту просто неудобно проходить мимо, лучше переждать.

— Мне очень хотелось сказать вам несколько слов, — негромким, но чётким голосом говорил Мансуров, — в последние дни никак не мог улучить время встретиться наедине.

Кате было видно его похудевшее лицо, остро обозначившиеся скулы, глаза в усталых коричневых глазницах потеряли знакомую твёрдость, ищущим, шупающим взглядом они блуждали по Курганову. Какая-то пронзительная, нежная жалость залила катину душу — страдает, никем не понятый, кроме неё, Кати, для всех чужой.

— А почему нам нельзя было говорить на людях? — возразил Курганов. И Катю покоробил его сухой, недружелюбный тон.

— Мне кажется, Алексей Владимирович, есть вещи, которые безрас- судно выносить на широкое обсуждение, не поговорив о них заранее.

Курганов лишь поглядел с подчёркнутым вниманием на часы.

— Мне тяжело признаться, — продолжал Мансуров, — но приходит- ся... Со всей откровенностью, с болью, Алексей Владимирович, говорю вам: да, я понял — Гмызин прав... Прав целиком...

«Целиком?.. Зачем же так? Гмызин не может быть прав целиком! — К жалости Кати прибавился страх. — Неужели испугался? Невозможно! Не тот человек!»

— Я перегнул со скотом. Моя вина — не послушал советов, не рассчи- тал, не спохватился во-время... А история с кормоцехами, когда отмах- нулся от здравых предупреждений...

«Со скотом не прав, с кормоцехами не прав?.. Что он говорит?» — Катя, сжавшись, с испугом следила за Мансуровым, а тот тем же негром- ким, твёрдым голосом продолжал:

— Как видите, Алексей Владимирович, я ничего перед вами не скры- ваю, выворачиваю душу. Если прежде меня можно было упрекнуть в нечестности, если до сих пор я изворачивался, боялся, как бы обо мне плохо не подумали, то теперь хочу говорить открыто...

— Когда говорят открыто, не прячутся за углом, товарищ Мансуров. Душу нужно открывать там! — Курганов кивнул на занавес.

Всё было непонятно. Странно поведение Павла Сергеевича, странно и то, почему не удивляется Курганов. Разве можно спокойно слушать такие слова, разве можно не поражаться?

— Сказать там — никогда не поздно... — По усталому лицу Павла Мансурова пробежали досада и раздражение и тут же исчезли, в голосе зазвучало отчаяние. — Алексей Владимирович! Кто не хочет быть чест- ным? Кому не в тягость, оступившись однажды, нести на своих плечах ложь? Помогите очиститься. Не отталкивайте, не топчите... Поверьте, в другом месте, уехав из Коршунова, я очишусь от грязи, с самой решитель- ной, с самой горячей радостью забуду прошлое!

— Значит, я должен поставить вопрос о переводе вас в другой район?

— Переведите или пошлите в партийную школу, помогите сбросить всё коршуновское...

— Короче говоря, вы просите: помогите спрятать от людей поганень- кие дела.

Катя, окаменев, стояла за бутафорской колонной и слушала.

От последних слов Курганова Павел Мансуров распрямылся, глаза потемнели, рот жёстко сжался.

— В вашей воле переиначивать мою просьбу, я же прошу — и это моё право — дайте возможность стать мне снова честным коммунистом.

— Честным коммунистом?.. Для коммуниста преступно не то, что он допустил ошибку, вдесятеро преступней скрыть её! Вы в течение многих месяцев замазывали, прятали ошибки, теперь осмеливаетесь предлагать мне: скройте меня с прошлыми грехами, помогите стать чистеньким. Не выйдет это, товарищ Мансуров!

— Так... Не выйдет... Мси ошибки!.. Вы хотите, чтоб я о них сказал во всеуслышание, там? — Мансуров кивнул на занавес. — Что ж, скажу. Скажу: я стал таким, пусть судят. Но кто виноват в том, что стал таким? Кто поощрял меня, когда я не по силам решил набрать племенной скот? С чьего молчаливого одобрения я настаивал на строительстве кор- моцехов? Я лез по зыбкой дорожке, но кто меня подбадривал и словом, и бумажкой, и добрым сочувствием? Мне придётся обо всём говорить, товарищ Курганов!

Курганов, невысокий, прочно упирающийся расставленными ногами в пол, заложив руки за спину, стоял, поглядывая на Мансурова исподлобья,

и только на его крепкой шее, над воротником, туго перехваченным галстуком, узелками вздулись вены.

— Очень хорошо, — спокойно заговорил он, — хорошо, что скажете. Я свои ошибки прятать не собираюсь. Не только вы, я и сам скажу. Не беспокойтесь, буду требовать для себя жёсткого суда! И неужели вы думаете, что сумеете запугать, что я поддамся на шантаж, соглашусь скрывать от народа свои грехи, а вместе с ними и ваши? Ошиблись, не все на ваш манер кроены!.. Да что тут метать бисер — идёмте, нас ждут!

Курганов шагнул к занавесу и задержался, снова повернулся к Мансурову:

— Сейчас ваш доклад. Не забудьте упомянуть в нём о том, какую сделку мне только что предложили.

Он исчез за занавесом.

Расправленные плечи Мансурова обмякли, подобранность исчезла, он стоял, не двигался, потом бочком, болезненно приподняв одно плечо, полез за занавес...

Стихли покашливание и шорох. В зале за занавесом, во всём просторном здании районного клуба наступила внимательная тишина. На столе президиума шелестели бумаги...

А в тёмном углу сцены, среди свёрнутых холстов на полу, среди щитов, оконных переплётов, дверей, каких-то брусьев с торчащими гвоздями, сжавшись в комок, пачкая платье о побелку фанерной колонны, давилась в молчаливых рыданиях Катя, маленькая, потерянная в этом пыльном хаосе.

Саша сидел рядом с Игнатом Егоровичем. Светлые волосы старательно зачёсаны, только над крутой выпуклостью мальчишески чистого лба упрямый зализ поднялся воздушным вихорком. На трибуне, медленно копаясь в бумагах, собирался начать свой доклад Мансуров. Саша, не мигая, уставился на трибуну — ждёт. Только где-то в уголках плотно сжатого рта можно приметить волнение. Он готовится выступить, он сегодня вместе с другими будет решать серьёзные партийные дела.



---

## ИЗ ЛИРИКИ

НАЗЫМ ХИКМЕТ

### ПЕСНЯ

Там, над горой...  
Есть облако, полное солнцем вечерним,  
там над горой...

Я сам не свой...  
День без тебя — это значит без целого мира,  
я сам не свой...

Жди, расцветёт красное-красное,  
листья расправятся.  
Жди, расцветёт красное-красное —  
ночная красавица...

Молчаливые храбрые крылья  
носят нашу тоску в шуме жизни,  
ту тоску, что похожа  
на тоску по отчизне...

### ОСЕНЬ

Короче дни.  
Уж начались дожди.  
И это — осени начало.  
Моя распахнутая дверь ждала тебя...  
Ты почему так опоздала?

Вот на столе  
зелёный перец, соль и хлеб.  
И время ужина настало.  
Я в ожиданьи выпил половину  
вина, которое оставил для тебя.  
Ты почему так опоздала?



Любимых, как известно, не балуют —  
 Два-три письма за столько лет и зим!  
 Они прижмут к груди и зацелуют  
 Те десять строк, что мы напишем им.

Они в товарниках, по первопуткам  
 К нам добирались в тот далёкий год.  
 В морозы с узелком они по суткам  
 Толкались у казарменных ворот.

А часовой глядел на них сурово...  
 Любимые, не зная про устав,  
 Молили их пустить и часового  
 В отчаяньи хватали за рукав.

Они стоять могли бы так веками  
 В платках тяжёлых, в лёгких пальтецах,  
 От частых стирок с красными руками,  
 С любовью беспредельною в сердцах!

---

### ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

#### ОЖИДАНИЕ

Я беру, как бьющиеся вещи,  
 Томики прославленных стихов  
 В честь чужих, любимых кем-то женщин,  
 Старше нас на несколько веков.

Я включаю радио — и треснет  
 И растает сразу грусти лёд.  
 Это кто-то ласковые песни  
 Пусть не мне, но с нежностью поёт.

Помню, как, застенчиво тихи,  
 Нас мужчины спрашивали вдруг:  
 — Вы какие любите духи? —  
 И несли их для своих подруг.

Может, даже и не вспомнишь ты  
 Девочкой растерянной себя,  
 Взяв с улыбкой первые цветы,  
 Купленные только для тебя.

Оттого, что это быть должно,—  
 Лишь осталось руки протянуть,—  
 Я пока одна хожу в кино,  
 Выбирая самый близкий путь,

Я сама точу себе коньки,  
 Падаю, взметаю снежный дым,  
 И учу признания-стихи,  
 Нежно посвящённые другим.

---



**ЕВГ. ЕВТУШЕНКО**

**ЦЕЛЬНОСТЬ**

Довольно небо  
 тем, что голубое.  
 Рассвет доволен  
 тем, что он рассвет.  
 А ты?  
 Скажи:  
 доволен ты собою?  
 Я вижу по глазам твоим,  
 что нет.  
 Ты часто говоришь и мыслишь ложно,  
 и редко ты бываешь прост и прям.  
 Порою разобраться невозможно,  
 где не твоё в тебе,  
 а где ты сам.  
 Не слушал ты предупреждений чьих-то,  
 что так недолго потерять себя.  
 Был,  
 не любя,  
 ты пылок нарочито  
 и нарочито холоден,  
 любя.  
 Открытая и полная доверья,  
 живёт природа,  
 и она права.  
 Они не притворяются —  
 деревья,  
 она всегда естественна —  
 листва.  
 Гляжу на реки, на берёзы, ивы,  
 задумавшись над собственной судьбой.  
 Да,  
 это очень трудно —  
 стать счастливым,  
 да, прежде надо  
 стать самим собой.

---

**НИНА БЯЛОСИНСКАЯ**

**ОДИНОЧЕСТВО**

Говорят, я одинока  
 потому, что ты далёко,  
 что одна готовлю ужин  
 и одна хожу в кино,  
 что одна в передней шуба  
 и что ветер сушит губы...  
 Говорят, я одинока,  
 все мои подружки.  
 Но  
 как же мне поверить в это,

если в каждом взмахе веток,  
 если в каждом вздохе ветра,  
 в каждой капле дождевой  
 каждый раз встречаю снова  
 столько твоего, родного —  
 узнаю твоё движенье,  
 слышу вздох и голос твой...  
 Если вдруг,  
     в четверг иль в среду,  
 телеграмма:  
     «Еду! Еду!» —  
 или просто так, без стука,  
 ты ворвёшься наяву...

И опять мои подруги  
 зря болтают на досуге...  
 Как им знать,  
     что в этот вечер  
 я совсем одна живу,  
 хоть и две в передней шубы,  
 хоть и шёпот — губы в губы...  
 Что же мне поделать,  
     если  
 не найду ни в чём твоём  
 ничего себе родного —  
 ни движения, ни слова...

И не справиться мне с этим  
 одиночеством вдвоём.

## ОДНО СЛОВО

Мы столько дней дышали друг без друга.  
 Мы столько перепутали с тобой.  
 Но все концы опять сомкнулись кругом —  
 нет сладу  
     ни с собою,  
     ни с судьбой.  
 Стоим на том же перекрёстке снова.  
 И дела нет  
     до города другого,  
 нет дела мне  
     до вразь прошедших лет,  
 до женщины другой  
     мне дела нет.  
 Да. Говори.  
     И повторяй сначала...  
 Нет, я скажу...  
 Нет, ты опять скажи...  
 Как ты скучал?  
 А я-то как скучала!  
 Да как мы смели друг без друга жить?  
 Мы столько снов  
     друг другу подарили.  
 Мы столько слов  
     друг другу накопили,

что возле них  
 утратили значенье  
 все пересуды  
 и нравоченья.  
 Я жить хочу!  
 И ты услышишь снова  
 давно когда-то замершее слово.  
 Но почему оно оборвалось,  
 ни звука больше.

Только дождь  
закапал.

Что там,  
 в далёком городе,  
 стряслось?

Там  
 девочка твоя сказала:  
 — Па-па.

Едва-едва сказала.  
 В первый раз.  
 И все слова отобрала у нас.

Мне легче, стиснув зубы, вековать,  
 чем это слово у неё отнять.

---

## Е. НИКОЛАЕВСКАЯ

### ВДАЛЕКЕ

И когда нахлынет тоска,  
 Разговоры вести начнёт,  
 Вспоминается мне река,  
 Что сквозь горы твои течёт,  
 Для которой препятствий нет,  
 Что туман разрывает в клочья,  
 Что несёт человеку свет  
 Непроглядной дремучей ночью.  
 И кипит она в тишине,  
 И летит она сквозь пороги,  
 И в бурлящей её волне  
 Нету лодке пути-дороги.  
 Дарит людям тепло она,  
 Заливает светом дома,  
 Но сама она холодна,  
 Но бурна и темна сама...

Часто я от тебя вдалеке  
 Вспоминаю о той реке.

---

---

---

АЛЕКСАНДР БЕК

★

## ЖИЗНЬ БЕРЕЖКОВА

*Роман\**

27

**С**лучилось так, что в этот же день и в этот час, 17 марта, перед рассветом, — в час смерти великого русского учёного, который нас напутствовал, — начался штурм Кронштадта.

Наш маленький отряд в составе шестнадцати аэросаней, приданный штабу Седьмой армии, сосредоточившейся против Кронштадта, находился на берегу моря в Ораниенбауме.

Я был назначен водителем саней № 2, а также помощником командира по технической части. Следующее место в боевой колонне отряда занимал Ладосников, водитель машины № 3. Четвёртым номером управлял Гусин. Ещё несколько саней были вверены другим нашим товарищам по «Компасу».

Мы укрывались за дачными садами и строениями, частью разбитыми попаданиями снарядов. Вдали, прямо перед нами, отделённая от нас семью или десятью километрами ледяной глади, днём, в ясную погоду, виднелась тёмная полоска каменных зданий Кронштадта. В бинокль можно было разглядеть бетонные серые массивы фортов, казармы, собор, причалы и силуэты броненосцев, захваченных контрреволюционерами. Это были «Петропавловск», «Севастополь» и ещё некоторые корабли, названия которых я сейчас не помню. Их ещё сковывал лёд. Но кругом всё таяло. На нашем низком, отлогом берегу кое-где уже обнажился песок. Дул влажный тёплый ветер. Лёд на море потемнел, потерял блеск. На этой тусклой свинцовой ледяной равнине блестели лишь большие лужи морской, чуть зеленоватой воды в тех местах, куда угодили снаряды из Кронштадта. Кромка воды уже другого цвета, мутной, снеговой, разлилась поверх льда и у берега. Штурм нельзя было откладывать. Вот-вот залив мог вскрыться.

За несколько дней до нашего приезда уже была предпринята первая атака Кронштадта. Красноармейцы не дошли до крепости. Под огнём с кораблей и из фортов, под градом снарядов, пробивающих, рвущих пласт непрочного, тающего льда, бойцы отхлынули назад. Тогда в эти полки были влиты рабочие-коммунисты Петрограда, и, кроме того, как вы, наверное, знаете, из Москвы, со съезда партии, прибыли триста участников съезда, которые встали в строй с винтовками, как рядовые солдаты. Среди делегатов съезда, посланных на штурм Кронштадта, находился и Родионов.

Вечером, накануне штурма, он появился на короткое время у нас, в нашем отряде. Мы все дежурили около саней, даже спали в эти ночи

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

в кабинках. Может быть, во мгле я не узнал бы Родионова, если бы не услышал негромкое характерное «нуте-с». Он у кого-то спрашивал:

— Нуте-с... Где командир отряда?

Из Кронштадта время от времени стреляли по нашему берегу. Незадолго до сумерек артиллерии мятежников удалось зажечь в Ораниенбауме два дома, и теперь пламя пожаров, треплющееся по ветру, служило для них ориентиром. Являясь не только водителем аэросаней № 2, но, как сказано, и помощником командира по технической части, я пошёл на голсс. В неверном, то меркнушем, то более ярком, красноватом полусвете я увидел Родионова. У него за плечом висела, точно у бойца, винтовка с привёрнутым штыком.

Да, он стал тут бойцом, одним из тех, кого разумеют, когда говорят, что в батальоне или в роте столько-то штыков. Полк, в рядах которого он находился, занял исходные позиции здесь же, в Ораниенбауме, поблизости от нас, и Родионов, рядовой этого полка и одновременно политический комиссар бронесил республики, зашёл на часок в наш отряд, в единственную механизированную военную часть, которая могла вместе с пехотой участвовать в предстоящем штурме, действовать на этом непрочном, рыхлом льду, уже не выдерживающем в иных местах даже тяжести лошади, не говоря уже о броневиках или пушках.

Я подошёл. Родионов узнал меня.

— А, товарищ Бережков?

— Так точно, товарищ Родионов.

— Нуте-с, как поработали? Как машины? В порядке?

Я поднял большой палец, чего в красноватой мгле он, вероятно, не увидел.

— В порядке, товарищ Родионов.

Так же сдержанно, немногословно он задал ещё несколько вопросов о готовности отряда и выслушал мои ответы. Потом спросил:

— Флаги получены? Розданы?

— Какие флаги? Нет, товарищ Родионов.

— Вот как... Где же ваш штаб? Где командир?

Мы показали ему помещение штаба — сарай, к которому тянулись шнуры проводов. Родионов направился туда. Через некоторое время в штаб вызвали всех водителей — командиров саней.

Внутри сарай был освещён маленькой электролампочкой, работавшей от аккумулятора. На столе лежала большая, как скатерть, топографическая карта нашего берега и Кронштадтской крепости, карта, где будто разлилась голубая краска моря, то более густая, то светлеющая, то есть с указаниями глубин, которые, если бы уж пришлось попасть под лёд, были для нас, как вы сами понимаете, в совершенно одинаковой степени малоинтересны. Тут же на столе высилась стопка сложенных четверо полотнищ алого, почти огненного, шёлка. Как оказалось, это было шестнадцать, по числу саней, длинных красных вымпелов, приготовленных для нас.

Командиром нашего отряда был кронштадтский моряк Мельников, коммунист, когда-то механик миноносца «Новик», давно, чуть ли не с начала гражданской войны, воевавший на суше, водивший броневики и аэросани, смелый, спокойный красавец-исполин, демонстративно сменивший в эти дни шинель на прежнюю морскую форму — на чёрный бушлат и бескозырку с ленточками.

Мы, добровольцы из Москвы, были обмундированы по-красноармейски. Ладошников, в солдатской папаче с жестяной красной звездой, в серой шинели, стянутой поясным ремнём, раньше всех нас приобретший здесь, в отряде, военную собранность, подтянутость, сидел рядом со мной. Около стола, на скамьях, на чурбачках, разместились и другие водители.

Когда все собрались, Мельников взглянул на Родионова, сидевшего тут же, словно испрашивал у него позволения открыть боевой сбор.

— Пожалуйста,— кивнул Родионов.

Однако Мельников сказал:

— Товарищ политический комиссар, разрешите просить вас огласить нашу задачу.

— Хорошо.

Родионов поднялся и, по своей манере, приступил к делу без всяких предисловий.

— В три часа ночи, товарищи, начинаем штурм. В истории ещё не бывало, чтобы подобная первоклассная морская крепость, в изобилии располагающая боеприпасами всех видов, была взята пехотой с моря, по льду. А мы её возьмём... Какие к этому у нас основания?

Вся его речь, которую я попытаюсь сейчас вам передать, продолжалась, вероятно, не более четырёх-пяти минут. Во всяком случае, мне она показалась удивительно краткой. И вместе с тем удивительно ясной. Я, конечно, дословно не восстановлю сжатых, порой как бы чеканных его фраз, которые так естественно, легко ему давались, а изложу по памяти самую суть. Он проанализировал соотношение сил. Огневая мощь Кронштадтской крепости была очень велика. Мы на берегу далеко не имели такого количества дальнобойных крупнокалиберных орудий, как Кронштадт. В критический момент, когда мятежники заметят наступающие цепи, у нас, может статься, будут только винтовки против сотен пушек и пулемётов.

— И наши сердца, наша решимость, — продолжал Родионов.

И он попрежнему ясно, как-то очень убедительно сказал, что нашим вооружением являются не только винтовки, патроны и штыки, но великая, священная идея, которую он тоже формулировал очень точно, наверное, точнее, чем я скажу сейчас,— идея освобождения человека от эксплуатации, от всяческого порабощения, воодушевляющая народ на беспрецедентный подвиг. Ради этой идеи лучшие люди земли, говорил он, безбоязненно шли на каторгу, на пытки, на смерть. Эта идея сильнее всего на свете, она непобедима. Мятежники изменили ей и тем лишили себя силы, той особенной силы, которой обладают люди, борющиеся под нашим красным знаменем. Ради вольной торговли (при этом он слегка усмехнулся) не очень-то пойдёшь на подвиг.

Затем, как-то сразу, без переходных фраз, он заговорил о боевой задаче отряда.

— Вы сможете действовать только засветло. В данный момент трасса вашего рейда командованием армии ещё не определена. Возможно, той или иной пехотной части придётся залечь где-нибудь на льду под огнём. Тогда ваша колонна под этими знамёнами...

Сдержанным жестом он приподнял верхний кусок красного шёлка, который легко развернулся и словно заструился вдоль его шинели, приподнял и положил назад.

— Ваша колонна под этими знамёнами, стреляя по противнику из всех пулемётов, вынесется в этот пункт, отвлечёт на себя огонь и таким образом поможет пехоте подняться, совершить последний бросок... Будьте, товарищи, к этому готовы. Подробности вы обсудите сейчас с командиром. До свидания. Мне надобно идти.

Он оборвал свою речь как-то круто, без какого-либо обычного призыва или восклицания, что называется, не закругляясь. На прощание он чётко поднёс руку к козырьку, взял свою винтовку, прислонённую к стене, умело и, видимо, привычно накиннул её ремень на плечо и вышел из штаба, чуть наклонившись в дверях, чтобы штык не задел о притолоку.

После этого сбора командиров мы тут же, в наших походных мастерских, изготовили новые длинные древки, флагштоки, и накрепко установили, подобно тонким мачтам, на всех аэросанях. К верхушкам, которые Мельников упорно именовал клотиками, вели прочные шнуры, вдетые за отсутствием блоков в железные кольца, моментально сделанные нами из простых гвоздей, и было достаточно потянуть рукой за шнур, чтобы над санями поднялся и заколыхался огненно-красный шёлк.

Затем мы бесшумно, не заводя моторов, на руках протащили сани, машину за машиной, к морю и, перебравшись через прибрежные лужи, порой черпая голенищами, выстроили нашу колонну на сравнительно твёрдом льду.

А на берегу в это время строилась пехота. Пожары догорели. Теперь там, в этих точках, лишь тлел жар, раздуваемый тёплым сырым ветром, да взвивались голубые язычки, уже ничего около нас не освещавшие. Впрочем, и свет, если бы вдруг сюда достал луч прожектора, вряд ли мог бы что-либо выдать. Всей армии были розданы маскировочные белые халаты с капюшонами. Даже вблизи трудно было различить белые фигуры красноармейцев на фоне льда и снега. Наши аэросани тоже были заново выкрашены цинковыми белилами. Подобно всем бойцам, и мы облачилились поверх шинелей и шапок в белую ткань. Над морем стояла тьма и тишина. На небе не проглядывала ни одна звезда, и только в одном месте, где светлел большой мутный круг, за которым угадывалась луна, было видно, как ветер гонит облака.

Лёд, уже утративший кристаллическое строение в своём верхнем слое, пористый, рыхлый, не отражал света. Было чуть видно, как ползают щупальца прожекторов из крепости, но отражения, смутные блёстки, возникали лишь тогда, когда луч касался воды, разлившейся вокруг какой-нибудь пробоины. В этот глухой предрассветный час артиллерия мятежников смолкла. Не раздавалось ни одного выстрела и с нашей стороны. У пехоты слышались негромкие оклики, негромкие команды, будто люди опасались, чтобы туда, за полосу льда, не донёсся голос.

Вот наконец ещё одна команда — и полк двинулся. Я не мог разглядеть, как построены бойцы, — лишь зашлёпали сотни или тысячи сапог сначала по талому снегу, потом по воде, потом по крошащемуся под каблуками льду. Я стоял, прислонившись к передку своих саней, и вдруг увидел, или, вернее, почувствовал, рядом с собой Ладошникова. Велико же было его волнение, если он, всегда сдержанный, скупой на проявления дружбы, сейчас подошёл и обнял меня. Так, в обнимку, наверное никому не видимые в своих белых халатах, мы молча наблюдали за происходящим. Вот несколько белых фигур с винтовками прошагали мимо наших саней. На салазках провезли пулемёт. Далее, тоже на салазках, протащили катушку провода, который уже разматывался и ложился чёрной змейкой на лёд. Потом... Потом больше никто не прошёл. Некоторое время ещё можно было слышать хлюпающие по сырости шаги, становящиеся всё неотчётливее. А теперь не уловишь и шагов, доносится лишь неясный удаляющийся шорох. Замер и шорох... Тьма и тишина снова нависли над морем.

Истёк час, полтора. Давно ушёл к своим саням Ладошников. Время от времени мы то прохаживались, то в несчётный раз осматривали свои машины. Федя то вставал, то опять садился к пулемёту. Всё ещё ни выстрела, ни звука, никакого сигнала или признака тревоги на том берегу. Мы смотрели туда, в темноту, где исчезли бойцы, ушедшие на штурм. Казалось, вот-вот остановятся елозящие во всех направлениях далёкие лучики прожекторного света, остановятся, упрутся в какую-нибудь точку, где будут обнаружены наши шагающие цепи, и вдруг ледяная равнина осве-

тится белым сиянием ракет, заблещут молнии орудийных выстрелов, и всё там загрохочет. Но прожекторы попрежнему ищут, ничего не находя, и попрежнему, перекидывая порой луч с края на край, обводят небо световыми дугами. В какой-то момент ветер разорвал облака, проглянула луна, озарила бледным светом лёд. Нас лихорадило: сейчас, сейчас начнётся. Но тишь не нарушалась. Окно в небе снова затянулось, луна скрылась, и стало как будто особенно темно. Это бывает, если вы замечали, перед тем, как забрезжить рассвету. Вдруг какой-то один луч действительно застыл на месте; тотчас другой остановился на этой же линии; в этот момент в гнезде мятежников, наверное, отчаянно прозвучал первый крик тревоги, и вот, как вспышки магния, сверкнули первые белые зарницы выстрелов, и посыпались, загремели удары, слившиеся в единый грохот, от которого и здесь, под нами, стал мелко дрожать лёд.

Запечатлелся ещё один миг. Неожиданно взвились ракеты, пущенные, как мы потом узнали, нашими частями по приказу: «Осветить Кронштадт», и мы увидели на какое-то мгновение далёкую зубчатую полоску зданий, шапку собора, неясные, скорее угадываемые, очертания фортов, где мелькали вспышки. Ракеты погасли, но будто оставили какой-то след. Помню, меня изумило, что тьма не возвращалась. Вокруг помутнело. Я понял, что ночь перешла в рассвет. Приближалась наша минута.

Была дана команда: «Завести, прогреть моторы». Запустив двигатель своих саней, я прошёл по колонне, проверяя ещё раз исправность моторов. В стуже выхлопов мы перестали различать пушечный гром и, конечно, уже не опасались, что нас услышат на той стороне. Потом моторы были выключены. В уши снова хлынул грохот боя. Мы опять принялись ждать.

Около саней № 1, где сидел на водительском месте командир отряда Мельников, был установлен полевой телефон. Боевой приказ поступит сюда по телефону. Я вернулся к себе, к рулевому управлению саней № 2, сел и, подняв ветровое стекло, смотрел в сторону Кронштадта.

«Отвлечь на себя огонь», — сказал нам Родионов. Вы понимаете, что содержалось в этой фразе? Будущая кривая нашего пути пока ещё неизвестна, её укажут нам по полевому телефону, но проляжет она в самом трудном месте. «Помочь красноармейцам подняться в последний бросок». Это тоже понятно.

С какой-то отчётливостью я видел в воображении отдельные отрезки предстоящего пути, взрывы снарядов, пробойны, проломы во льду, где предстояло маневрировать, снизив скорость.

Помню одно удивительное ощущение, ещё никогда с такой яркостью меня не посещавшее. В эти часы перед боем окружающий мир приобрёл для меня необыкновенную выразительность красок, небывалую отчётливость. Чернота ночи, далёкие взблески, гром выстрелов, проглянувшая луна, дрожание льда, зубчатая полоска зданий Кронштадта, освещённая на несколько мгновений, — всё это так у меня оттиснулось, что я и сейчас, закрывая глаза, вижу это перед собой. Даже туман, зыбкий, мутный туман, поднявшийся с рассветом и, казалось бы, всё заволокнувший, был для меня тоже красочным, особенным, как никогда в жизни, — я различал в нём отдельные струи, видел его космы, несущиеся по ветру.

Это странное, обострённое ощущение мира распространилось не только на то, что я тогда слышал или видел воочию, но и куда-то дальше, далеко за этот кусок нашей земли, за этот лёд, за это море. Никогда ещё с такой потрясающей ясностью я не ощущал округлости земного шара, выпуклости моря и суши, что обычно не воспринимается органами чувств.

Были мгновения, когда мне чудилось так. Кто это стреляет из тьмы? И я словно видел, что на нас наведены пушки не только из Кронштадта, но и издалека, очень издалека, из-за рубежей нашей страны. Казалось, снаряды оттуда дробят сейчас балтийский лёд.



Туман редел. И вдруг на верхушки, или, по флотскому словцу нашего командира, на клотики, свежеобструганных мачт упал солнечный луч. Я поднял голову. Облаков как не бывало. Небо ещё было белёсым, не голубым, но оно блистало, светилось, источало свет. С востока, со стороны Петрограда, поднялось солнце, удивительно яркое для такой рани.

Или, может быть, оно лишь мне показалось очень ярким. Это блещущее небо и солнечный луч были словно предвестием победы. Только в эту минуту я как-то сразу поверил наконец своим ушам: пальба впереди уже не та. Слева пушечный гул явно ослабел, в центре тоже образовалась какая-то умолкшая зона — там, наверное, прорвались наши,— и лишь справа пушки стучали и стучали.

Солнце добралось уже до белых корпусов наших саней, сразу заигравших мельчайшими капельками осевшей влаги, когда Мельникова позвали к телефону. Как и все мы, он был одет в белый халат с капюшоном, закрывшим его бескозырку. Я видел, как склонилась над полевым телефоном его исполинская фигура, каким напряжённо внимательным стало его лицо, как шевелился его крупный рот, когда он что-то говорил. Затем, положив трубку, он выпрямился и крикнул:

— Командиры, ко мне! Захватите с собой карты!

Мы подбежали. Мельников сказал нам следующее. В некоторых пунктах штурмующие части ворвались в город и ведут уличный бой; в других местах мятежникам удалось задержать наше наступление и заставить красноармейцев лечь на лёд в нескольких стах метрах от Кронштадта.

Поступил приказ вынести всей колонной к одному укрепленному участку и с ходу на вираже обстрелять там с возможно близкой дистанции батареи и пулемётные гнёзда, ведущие огонь.

Лёгкая дымка, пронизанная солнцем, ещё застилала Кронштадт, но Мельников, повернувшись туда, указывал нам ориентиры, будто ясно видя перед собой знакомый контур города. Он говорил спокойно и уверенно, входя во все нужные подробности, но внутренний жар проступил красными пятнами на щеках. Показав нам на местности дугу нашего рейда, он затем начертил её на карте, на голубой краске моря. Затем в одной точке этой дуги, приблизительно в полутора километрах от крепости, он поставил красную отметку. Там надлежало сделать видимой нашу призрачную, белую, незаметную на льду колонну, поднять красные флаги. Мы нанесли эту линию и эту отметку на свои карты. Мельников скомандовал:

— По местам! Завести моторы! Двигаться по порядку номеров. Не сбиваться в кучу. Следовать за ведущим.

Он неторопливо завязал тесёмки на ворота халата и сел на своё место — на водительское место саней № 1. То тут, то там затрещали моторы. Моим помощником, мотористом саней № 2 и одновременно стрелком-пулемётчиком в переднем отделении машины был Недоля. В задней кабине находилась команда ещё двух пулемётов. Мы быстро запустили мотор. Мельников обернулся, оглядел сквозь вращающийся пропеллер колонну, подождал, пока над какими-то припоздавшими санями не появится выхлопной дымок, потом поднял руку, махнул и плавно стронул свои сани.

Отпустив Мельникова на полсотни метров, покосившись на Ладошников, которому надлежало двигаться вслед мне, дав ему знак рукой, я нажал педаль и почувствовал, что полозья заскользили.

До поля боя, куда мы понеслись, нам было хода четыре-пять минут. Но мне показалось, что протекло лишь одно мгновение и перед нами, как будто совсем близко, возник тёмный берег, отвес набережной, какой-то бронированный корабль у причалов, серый приземистый форт и белые взбросы на льду, фонтаны битого льда и вспененной воды. Я ещё не успел

разглядеть, где же лежат наши бойцы, как над санями. Мельникова взвилось и затрепетало, простёрлось по ветру огненно-красное знамя. Федя уже держал руку на шнуре. Он взглянул на меня, я кивнул, не отрывая глаз от набегавшего с бешеной скоростью льда, и над нашими санями тоже взвилось длинное яркое полотнище красного шёлка. Теперь надо было пересечь полосу взрывов, прорваться за неё. Я уже различал, как на льду сначала возникали крупные искры, рассыпавшиеся снопиком пламени, и как тотчас же, ещё в этом пламени, вырастал столб воды и льда. Всюду ослепительно сияли, отражая солнце, лужи, озёрца, натёкшие из пробитых снарядами дыр. Вода мешала видеть эти проломы. Федя припал к пулемёту и уже стрелял; из сотрясающегося пулемётного рыльца вылетали едва заметные острия пламени. Мельников мчался вперёд, разбрызгивая лужи, оставляя за собой след взбурлившей под полозьями воды. Он сбросил белый капюшон и немного привстал, сжимая руль. Вихрь трепал реюющие ленточки его морской бескозырки. В упоении боя он что-то кричал, всё приближаясь на мчащихся санях к укреплениям изменников-кронштадтцев.

Мятежники, наверное, уже перенесли на нас прицел пулемётов, застрочили по нашей колонне. В шуме мотора нельзя было расслышать ни одного иного звука, но глаз схватывал, как в лужах вскипали кое-где пунктиры пузырьков и маленьких столбиков воды. Этим на ничтожный миг было отвлечено моё внимание, и когда я снова посмотрел вперёд, то не увидел саней Мельникова. Лишь поверхность небольшого озерца была ещё взбаламучена. Где же он? Подо льдом? Но размышлять об этом некогда. Сейчас уже я веду колонну. Слегка отвернул в сторону, полынья осталась сбоку. Вот и амбразуры крепости!

— Дай им, Федя! Бей!

В пылу атаки я тоже приподнялся за рулём и стал кричать, как только что кричал наш командир. Ещё немного, ещё чуть поближе к амбразурам — и пора осторожно, очень осторожно, помня советы и статью Жуковского, заложить вираж. Я покосился в зеркало, укреплённое перед водительским местом, позволяющее видеть, что делается сзади. Да, летят, расстилаются в небе язычки красных знамён. Их не так много, всего восемь или девять, но мы уже прорвались сквозь завесу орудийного огня. А вот и она, наша пехота; вот наконец когда я её увидел — наступающую, бегущую вперёд цепь бойцов в белых халатах с чёрными, очень тонкими полосками винтовок.

А где же Ладосников? Я ишу в зеркале идущие за мной сани... Неужели же?... Нет, вот он... Успеваю разглядеть яростное, вдохновенное лицо моего друга, который ночью молча обнял меня. Однако внимание, внимание, Бережков! Какие-то орудия бьют уже сюда. Сбоку впереди блеснула искра, взметнулись пламя и вода. Сани качнуло волной воздуха. Что же, стреляйте, стреляйте, недолго вам осталось жить, пехота сейчас добежит! А мы... Через минуту мы уже пронесёмся, выйдем из обстрела. Я опять чуть повернул руль, описывая дугу на льду. Ещё одна искра... И ничего больше не помню.

Очнулся лишь на другой день в госпитале.

Очнулся и сразу же спросил у палатной няни, наклонившейся ко мне:

— Няня, Кронштадт взят?

— Взят, голубок, взят...

На соседней койке сидел Федя с забинтованной головой. Мне захотелось привстать, крикнуть: «Феденька, ура!», — но я едва смог пошевелиться. При каждой попытке повернуться, сдвинуться я ощущал дикую боль в ноге. Она была распухшей, огромной, неподвижной, как бревно.

В душе уживались два чувства: с одной стороны радость победы, а с другой — тревога. Что с моей ногой? Неужели для меня, участника всех пробегов, чемпиона аэросаней и мотоциклетки, конструктора, который, бывало, сам отливал и точил детали для своего мотора, сам в поте лица запускал, заводил его,— неужели для меня всё кончено?

Я потребовал доктора, сестру. Мрачно выслушал их неопределённые, успокоительные уверения. Потом кое-как повернулся и упёрся взглядом в белую больничную стену.

Таким меня и застал Ладошников. Его, высоченного дядю в грубых солдатских сапогах, нарядили в кургузый, тесный в плечах белый госпитальный халат. Мы с Федей не могли сдержать улыбок. Даже я на время отложил мрачный тон. Ладошников был приподнят, возбуждён. Он сразу принялся рассказывать о том, как, став ведущим, провёл колонну через полосу обстрела, как благополучно вернулся со всеми уцелевшими санями в Ораниенбаум. За нахлынувшими грустными мыслями о Мельникове и других павших товарищах пришли думы о будущем.

— Как вы, Михаил Михайлович? — спросил я. — Какие у вас планы? Когда собираетесь домой?

— Изволь-ка бросить это «вы», — сказал Ладошников. — Мы с тобой теперь однополчане. И на льду ты меня на вы не величал.

— Ладно... Когда же ты в Москву?

— Ну, то-то же... Наверное, завтра вечером... Отвоевались... Теперь только и начнётся настоящая работка.

В стенах госпиталя его голос гудел, казался зычным. В тот день мы ещё не ведали того, о чём уже знала Москва, не ведали, что умер наш учитель, наш Жуковский.

...Три месяца пришлось мне провести в постели. Хорошо, что по соседству некоторое время лежал Федя. О чём только мы тогда с ним не болтали, каких только великих изобретений не совершали! Во всяком случае, мы там придумали автомобиль совершенно нового типа, без коробки скоростей и с удивительным мотором, действующим без карбюратора.

Моя сестрица, примчавшаяся в Петроград, сумела раздобыть нам рулон ватмана, необходимого для наших чертежей.

Потом Федю выписали, а меня перевели в один из госпиталей Москвы. Мне уже было известно, что врачи не всесильны: с моей ногой не могут ничего больше поделать. Помню, солнечным июньским утром я подъезжал к Москве, вглядывался в её окраины, в неотчётливые далёкие очертания города. Что же впереди? Что мне предстоит? Нет, никто не даст ответа. На душе было и радостно и смутно.

Уф, друзья, разрешите сделать на этом передышку.

### Часть третья

#### Без компаса

##### 1

На потолок комнаты, где мы всю ночь слушали рассказы Бережкова, легла полоска солнца. Это напомнило солнечный луч из его рассказа о штурме Кронштадта, луч, что коснулся кончиков мачт, как предвестник победы.

Было около четырёх часов утра. Выпив чашку горячего чёрного кофе, Бережков привалился к подушкам дивана и отдыхал, полускрыв глаза. Теперь было заметно, как он утомлён. На щеках проступил нервный румянец, обычно не свойственный Бережкову, краснота тронула и веки.

Не буду передавать негромкие разговоры, которые происходили в комнате. Гости как будто стали расходиться. Первым ушёл Недоля. Он

уезжал на завод, в конструкторское бюро Бережкова, где дежурила и, конечно, тоже не спала всю ночь молодёжь, ожидая вестей о полёте. Я понял, что и мне пора уходить, тем более, что рука, державшая столько часов карандаш, почти онемела и уже отказывалась служить. Собрав свои тетрадки, всю драгоценную добычу этой ночи, я откланялся всем и, стараясь не всполошить Бережкова, направился к двери.

Однако уйти не пришлось. Бережков вскинул веки и тотчас энергично подался вперёд, оттолкнувшись от подушек.

— Куда? — воскликнул он.

Его взгляд упал на портрет Жуковского, висевший напротив. В ожившихся маленьких зеленоватых глазах мелькнули искорки, и Бережков крикнул:

— Э, дети, я вижу, вы совершенно не умеете работать!

Он встал, потянулся, поддернул вверх рукава рубашки и объявил:

— За дело! Писать так писать! Сейчас, друзья, я у всех вас разгоню дремоту! Следует новая глава из жизни вашего покорного слуги, грандиознейшая эпопея под названием «Вольный художник». Или нет, назовём-ка её так: «Без компаса».

Не дожидаясь, пока я снова пристроюсь к столу и разложу бумагу, он уже с вдохновением, с огоньком, будто и не было бессонной ночи, стал продолжать свою повесть. Пожалуй, лишь в ту минуту я понял, какой заряд энергии таится в нём, моём Бережкове, с каким напором, должно быть, он ведёт дело в своём конструкторском бюро. Я забыл, что рука онемела, и скорей сел записывать. Снова заходил мой карандаш.

## 2

— С вашего разрешения, — начал Бережков, — мы поднимем занавес в один осенний день 1921 года.

Вообразите пасмурное утро, холодноватую комнату, где обитает ваш покорный слуга, его самого, не желающего вылезать из-под одеяла, и, наконец, неутомимую Марию Николаевну, которая, перед тем как уйти на службу, должна позаботиться о приунывшем братце, приготовить ему завтрак, поговорить с ним, прслить бальзам на его истерзанную душу. Машенька в то время работала штатным художником в Губсовнархозе, или, говоря по-русски, в Губернском Совете Народного Хозяйства, — рисовала всяческие диаграммы, писала лозунги, клеила фотомонтажи и особенно прославилась как художник-оформитель выставок. Ни одна большая выставка в Москве, например, к съездам Советов или профсоюзов, не обходилась без её участия.

Итак, преданная своему брату, добрая, любящая Маша подходит к кровати:

— Алёша, вставай...

— Зачем?

Маша всегда теряет после такого вопроса. В самом деле, не может же она в продолжение трёх месяцев ежедневно повторять одно и то же: «Затем, чтобы взяться за дело!» Об этом в госпитале мне говорил и Ладосников: «Найди себе дело по сердцу». А я не нашёл. Мог бы после госпиталя поехать в Вятку, куда, поближе к северу, перевели производство аэросаней, однако отбыть из Москвы я не пожелал. Остальные мои совместительства, мои службы тоже лопнули.

В стране происходили большие перемены — переход от военного коммунизма к новой экономической политике, к так называемому нэпу. Это была величайшая сенсация: большевики разрешили частный капитал. Не скрою, в то время я абсолютно не задумывался над политическим смыслом нэпа, не имел даже и понятия о том, что новой политикой решались огромные исторические вопросы. В моём представлении весь нэп, повто-

ряю, заключался в одном: разрешена вольная торговля и частный капитал.

Газет я не читал. Сестре мрачно объявлял, что жить не хочется, и предпочитал валяться, показывая всем своим видом, что я отслужил, никому не нужен. Ещё бы, ведь мне выдают паёк инвалида. Прощай, кипучая жизнь! Прощай, старый друг мотоциклетка! Признаться, втайне я всё-таки подумывал иначе. Во всяком случае, когда в трудную минуту Маша робко предложила продать мою мотоциклетку, я пробурчал, что оставляю её как память.

Маша жалеет меня, считает, что я безжалостно брошен друзьями. Верно, Ладошников давно не появлялся, очевидно, занят испытаниями своего нового самолёта «Лад-2». Ганьшин засел за научный труд, за диссертацию. А Федя влюбился в свой завод и поостыл к человеку, который предался мрачной философии. Да, Бережков, ты позабыл! То обстоятельство, что друзья отступились не сразу, что на меня истрачено немало времени и ораторского пыла, конечно, не принимается в расчёт. Да и вообще, меня уже ничто не вернёт к жизни. Разве что сверкнёт какая-либо изумительная мысль, потрясающая выдумка, которой я удивлю всех. В глубине души я убеждён, что это обязательно случится, но вслух не признаюсь.

Вот и сейчас, глядя с упрёком на сестру, я испускаю ужасающий вздох. Маша вздыхает в ответ. Ей некогда заниматься разговорами, она приводит в порядок мою комнату, подметает пол, тщательно обтирает тряпкой медведя, коршуна и другие фигурки, вырезанные из дерева руками Станислава. Ещё года не прошло, как её муж погиб под Перекопом, а я самым бессовестным образом терзаю её.

Наконец, опустив руки, Маша поворачивается ко мне:

— Может быть, сходишь опять к Августу Ивановичу?

— Зачем?

Я уже навевывался к Шелесту, бывшему нашему батьке по «Компасу», нашему председателю, спортсмену и умнице, участнику всех наших пробегов, профессору двигателей внутреннего сгорания в Московском Высшем техническом училище. Теперь Август Иванович задумал создать при училище научно-испытательную станцию авиационных двигателей и ожидает утверждения проекта и сметы этой станции. Он мне сказал: «Охотно приглашу вас работать. Только теперь уже не времена «Компаса». Засажу вас за книги, за теорию. Будете исследовать моторы по моим заданиям». Я осторожно спросил: «А что, если я сам что-нибудь выдумаю?» Шелест весело ответил: «Не торопитесь... Давайте-ка сперва изучим, что выдумали до нас с вами другие. А затем... Поверьте, Бережков, у вас будет множество случаев показать свои возможности». Таков был тон этой беседы. Не скрою, перспектива поработать у Шелеста одновременно прельщала и отпугивала меня. Трудиться по его заданиям? Конечно, неплохо пройти такую школу... Но не подчинит ли он меня себе, своей творческой личности? Не стану ли я незаметным винтиком на службе у него? В мыслях снова и снова всплывало полюбившееся мне выражение: «Конструктор должен быть свободным». Каков же к этому путь?

Маша опять пытается как-то меня утешить, что-нибудь посоветовать. Она уговаривает меня зайти сегодня в Совнархоз.

— Посмотришь нашу выставку. Увидишь, что делается на заводах. Некоторые ещё ничего не выпускают, но везде уже есть инициативные группы инженеров и рабочих... Вот бы и тебе... Выбирай, что хочешь. Тебя везде возьмут. Ведь ты такой талантливый...

— Кому я теперь нужен?

— Как кому? Везде! На любой службе...

— Службе?

Скорбно глядя в потолок, я натягиваю одеяло повыше. Нет, не влечёт меня служба. Служить — значит кому-то подчиниться. В своё время я совместительствовал, носился по Москве, затем целиком отдался «Компасу», даже поселился чуть ли не на полгода в мастерских «Компаса» и при этом всегда чувствовал себя свободным, поступающим согласно своей воле, своей страсти. Это была, как мне казалось, не служба, а игра всех моих жизненных сил. И сейчас, постанывая, валяясь, вызывая страдание своей любящей сестрицы, я ощущаю: чёрт возьми, сколько во мне их, этих жизненных сил, энергии, желания и готовности совершить что-то необыкновенное. Вот вскочить бы и... И что? Куда? Не знаю... И снова брюзжу:

— Ну, что ты смыслишь? Ты, может быть, считаешь, что служба человечеству это и есть служба в учреждении? Нет, моя милая, изобретатель — это художник, вольный художник. Как ты думаешь, Репин, Серов ходили на службу? За канцелярским столом они создавали свои полотна?

Маша не знает, как ответить, как заикнуться, что она уже опаздывает в свой Совнархоз.

— Что у нас на завтрак? — мрачно интересуюсь я.

— Ржаная каша,

— Опять?!

Машенька приносит с кухни тарелку горячей каши, сваренной из зёрен ржи. Эту немолотую рожь мы оба получали в качестве пайка.

Поднощу ложку ко рту, разжёвываю разбухшие, распаренные зёрна, выплёвываю шелуху. Невкусно.

— Эх, хорошо бы, Маша, эту рожь смолоть...

— Негде, — говорит сестра.

— Как негде? Неужели во всей Москве нет мельницы? Напекла бы ты коржиков, оладий...

— Сама была бы рада угостить тебя... Но в Москве нигде нельзя смолоть. Не берут у частных граждан.

— А что же другие делают с этим зерном?

— Тоже варят. Завтракай, Алёша, и вставай.

Чмокнув меня, сестра вышла из комнаты.

А я в самом мрачном настроении продолжал лежать, поглядывая на остывающую кашу.

## 3

И вдруг звонок... Прислушиваюсь. В передней Маша кому-то открывает дверь, с кем-то говорит. Узнаю глуховатый, буркающий, всегда будто сердитый голос Ладошников. Вспомнил всё-таки!

— Чего там? — доносится знакомое бурканье. — Чего там раздеваться?

Моментально вскакиваю, натягиваю штаны. Поглядываю на измятую, раскрытую постель, пытаюсь наскоро привести её в порядок.

Потом спешу в коридор. Там, в сумраке, словно заблестело солнце. Это Ладошников держит в руках охапку золотистой осенней листвы. Я здороваюсь, влеку гостя к себе. Но он упирается, смущённо поворачивается к Маше, протягивает ей листья.

— Везде теперь суют это добро, — как бы оправдывается он. — Не отстают, пока не купишь.

Маша благодарит, принимает букет.

— Простите, я вас оставлю, — говорит она. — Пора на работу. Ухожу.

— Ну и хорошо, — бурчит Ладошников.

Это звучит невпопад, Маша улыбается, но Ладошников упрямо повторяет:

— Хорошо... А это, — он показывает на листья, — извольте-ка нарисовать. Потом преподнесёте своему ученику.

Было время, когда Ладосников упросил Машу позаниматься с ним. Он провозгласил, что каждый конструктор обязан уметь не только чертить, но и рисовать. Эти уроки сдружили их. Когда Маша овдовела, Ладосников как бы ненароком придумывал всевозможные темы для её рисунков. Он был убеждён, что, когда человеку плохо, его лечит дело, увлечение делом.

Маша благодарит за букет, прощается, она не может задержаться больше ни минуты.

Мы с Ладосниковым входим в комнату. Его глаза скрыты под нависшими бровями. Кажется, будто Ладосников ни на что не обращает внимания, ничего вокруг не видит, но на самом деле — и я это отлично знаю — он замечает всё. Конечно, он разглядел и неприбранную постель и мою небритую физиономию. Чего доброго, ещё расхохочется, посмеётся надо мной. Но он молчит. Вроде и сам не весел.

Мой гость садится к столу, садится в том самом виде, как вошёл с улицы, — в большой суконной кепке, в кожаной куртке. Он носит эту куртку чуть ли не во все времена года, мне всё знакомо в ней — и выцветшие потрёпанные обшлага, и протёртые почти добела локти, и даже большое масляное пятно у левого борта. Знакомы и запахи грушевой эссенции, столярного клея, эфира, которые принёс с собой Ладосников.

— Возишься с ацетоном? — не без зависти спрашиваю я.

Ацетон, растворитель целлулоида, входит в состав авиационных лаков, и не случайно от рабочей куртки конструктора самолётов исходит этот эфирный сладковатый запах. Однако Ладосников в ответ угрюмо машет рукой. Странно... Что с ним?.

— Стакан чаю дашь? — говорит он. — Хотел было в чайную зайти, благо их теперь много развелось... Но повернул к тебе.

Мне вспоминается ночная извозчицья чайная, клубы морозного пара, расплывчатые пятна лампочек, водка в белом чайнике и пятерня Ладосникова, которую он простёр запрещающим жестом, не позволяя говорить о его самолёте.

— Михаил, а почему ты сегодня не на работе?

— Свободен, — неопределённо отвечает он.

Я решаю больше не допытываться — захочет, сам обо всём скажет. Ухожу на кухню, ставлю на керосинку чайник и возвращаюсь к Ладосникову.

Он разгуливает по комнате, с хрустом жуёт яблоко, протягивает и мне такое же.

— Сегодня уезжаю, — наконец сообщает он.

— Куда?

— В Питер... На новую работу...

— Как так? А «Лад-2»?

— С ним всё покончено. Не принят в серию.

— Не принят? Но ведь на испытаниях...

— Мало ли что? Комиссия, в общем, постановила так: время деревянных самолётов отошло, сейчас не имеет смысла брать фанерную конструкцию на вооружение Красной Армии. Нужны самолёты из металла... Ну и... Одним словом, я признал решение правильным...

Ладосников опять шагает от стены к стене. Я смотрю на его сапоги, простой дубки, прочные, большие. Он крепко, твёрдо ставит ногу. Нелегко согнуть, сломить такого. Вот он остановился, посмотрел на меня, сказал:

— Когда выяснилось, что «Лад-2» не нужен, я попросил, чтобы мне дали возможность конструировать большой самолёт. Примерно такой, как «Лад-1»... Мне отказали... Несвоевременно. Нет больших моторов...

— Как нет? А, скажем, «Адрос»? Почему над ним не поработать?

— Если Бережков валяется, кто ж будет работать?

— Гм... А если воспряну, комиссия, думаешь, пересмотрит своё мнение?

— Вряд ли...

— Я тоже так полагаю... Ну, а зачем тебя посылают в Питер?

— На заводик «Аэро». Слышал? Назначен туда главным конструктором. Сейчас там всё растащено. Будем восстанавливать. На первых порах придётся выпускать не самолёты, а всякую мелочь из кольчугалюмина.

— Из чего?

— Из кольчугалюмина. Не знаешь? Это лёгкий сплав. Его сейчас производит Кольчугинский завод... Пока суд да дело, освоимся с этим материалом.

— Что же вы будете делать? Сковородки? Примуса? — насмешливо спрашиваю я.

Ладошников, видимо, задет.

— Хотя бы и сковородки! — с вызовом отвечает он. — Не побрезгаем и этим, чтобы восстановить завод... А потом дело закрутится, пойдёт...

Я не без удивления вижу, что Ладошников уже захвачен своей новой задачей. Или, верней сказать, в тот день он ещё раздваивался: горевал о своём детище «Лад-2», а вместе с тем был уже мыслями на новом месте, уже начинал любить разрушенный заводик в Петрограде, куда нынче ему предстояло ехать.

На меня, на мой иронический тон, Ладошников недолго обижался.

— В общем, постараемся, — объяснил он, — просуществовать на хозяйственном расчёте... И будем готовить выпуск самолётов из металла. Если удачно сконструируем, если удачно испытываем... Тогда надобны лишь подкрепления и приказ: вперёд! Вот, Алёшка, какая перспектива! Жаль только...

— Твоего «Лад-2»?

— Ну, он не пропадёт даром. Знаешь, я уже подумываю о трубчатой конструкции из металла... Жаль только, что придётся опять делать маленькую машину. Под мотор всего в сто сил. Моторчики, вероятно, будем покупать у немцев. И, кажется, попытаемся на заводе «Двигатель» выпускать «Гном-Рон» в сто сил.

Он посмотрел в окно, повернулся ко мне, проговорил:

— Конечно, это не то... Хочется, Алёша, делать большие машины. Понимаешь?

Я ответил кивком. Ещё бы мне этого не понимать?! Большой самолёт, мощный мотор — ведь и я мечтал об этом. Ладошников опять метнул на меня взгляд из-под бровей и вдруг расхохотался.

— Но ежели ты будешь валяться, — сказал он, — то я, видимо, не скоро заполучу мотор для большой машины.

В эту минуту у меня мелькнула замечательная, как мне показалось, мысль. Я вскричал:

— Слушай! Давай пошлём к чертям всякое начальство! Будем сами строить большой металлический самолёт твоей конструкции!

— Как же это сами?

— Очень просто... Как вольные конструкторы! Устроим своё проектное бюро, свои мастерские... Ты же сам говорил, что конструктор должен быть свободен!

— Дурень! Свободен от Подрайского...

— Ну нет... Полностью свободен...

— Погоди... На какие же средства будет существовать твоё бюро?

— На хозяйственном расчёте... Ты же собираешься на заводе «Аэро» сначала заняться сковородками. А мы с тобой придумаем что-нибудь похлеще сковородок. Изобретём что-нибудь такое, что к нам сразу потекут денежки.



- Алёшка, не туда заехал...
- Почему не туда? Создадим контору выдумок, собственный экспериментальный завод.
- Ты что же, хочешь стать капиталистом?
- Не капиталистом, а вольным инженером. Свободным поэтом! И дерзнём сделать такое, чего тебе никогда не позволят на службе!
- Нет, брат, я поеду в Питер.
- А я тебе докажу... Пойду путём вольного конструктора... Дай мне два-три года и увидишь...
- Я вижу, что ты мелешь чепуху... Это, брат, мысли кронштадтцев, которые требовали «вольного капитализма»... А мы с ними разговаривали оружием. — Несколько смягчившись, Ладошников добавил: — Ты сам не знаешь, чего хочешь...
- А ты знаешь?
- Ладошников неожиданно опять расхохотался.
- Знаю... Зверски хочу есть...
- Как гостеприимному хозяину мне пришлось отправиться на кухню и принести ржаную кашу.

## 4

Вот тут-то и начинается (лукаво улыбаясь, Бережков поднял указательный палец) новая глава нашей невыдуманной повести. К этой главе подошёл бы эпиграф: «Роковая минута приближалась. Пушкин».

Предложив Ладошникову завтрак, я счёл нужным извиниться за непритязательное угощение.

— Понимаешь, нет больше ни черта. И мне и Маше выдали такой паёк. Кроме того, ещё со времён «Компаса» у меня остался целый мешок ржи. Этим и питаюсь. Как по-твоему, есть можно? Уварилась?

— Сойдёт...

Ладошников безропотно стал уминать распаренные зёрна ржи, выплёвывая колючую шелуху.

— А почему ты, — спросил он, — не смелешь эту штуку?

— Негде... Во всей Москве нет ни одной мельницы, где нам с тобой смололи бы зерно. Не берут от частных граждан.

— Эх ты, изобретатель... Вздыхаешь, поешь... Лучше сотворил бы мельницу.

В тот же миг я чуть не привскочил, словно подброшенный ударом тока. У меня сверкнула грандиозная идея. Вот она, изумительная выдумка, первая из тех, которые принесут мне — вольному изобретателю! — потрясающие деньги, основной и оборотный капитал для моей будущей свободной экспериментальной мастерской.

Как заворожённый, я глядел на кашу. Ведь в учреждениях и на предприятиях до сих пор выдают пайки, до сих пор тысячи людей получают немолотую рожь и затем, выплёвывая шелуху, едят кашу из варёных зёрен, потому что их негде смолоть. Следовательно, в самом деле надо устроить мельницу! Теперь это разрешено. Клянусь, это нужно и государству!

Ну-с, дорогой Ладошников, посмотрим, что ты скажешь о твоём друге, свободном конструкторе, через год-другой?

Не помню, как я попрощался со своим гостем. Проводив его, я быстро оделся и выскочил из дому. Выскочил, чтобы найти помещение для мельницы.

## 5

С деревьев падали листья, скупо пригревало осеннее солнце. Куда ити? Чего долго раздумывать? Пойду навстречу солнцу. Распевая, весь во власти вдохновения, я шагал по бульварам Садового кольца. Уши пылали, тротуар пружинил подо мной.

Близ Самотёки я заметил небольшой жёлтенького цвета особнячок, одноэтажный с мезонином. Домик стоял на юру, на углу тихого переулка, и был нежилым, заброшенным — это угадывалось с одного взгляда. От забора, растащенного, очевидно, на дрова, остались лишь обрубки столбов; оконные стёкла запылились и кое-где потрескались; на двери висел огромный ржавый замок.

Я потрогал замок и заглянул в окно. На полу валялись затоптанные обрывки бумаг, как это часто бывает в нежилых домах. Удалось разглядеть что-то странное: какие-то станки (ого, это подходяще!), какие-то ванны или корыта, брошенный около дверей продранный диван.

Я моментально разыскал домоуправление.

— Чей дом?

Председатель домоуправления, который, судя по свисающему пиджаку, был когда-то толстым, оглядел меня, очевидно проникся почтением, встал, откашлялся и с готовностью сообщил, что до революции в доме помещалась мастерская по оцинковке и никелировке металлических изделий, а потом хозяева куда-то выехали. Теперь мастерская числится за автосекцией Московского Совета. Смиранный председатель так никогда и не узнал, что в эту минуту я его чуть не обнял. Но в те времена я уже умел сдерживать свой адский темперамент, умел уравновешенно беседовать о том, что клекотало внутри.

Мне буквально ворожила бабушка. В автосекции я всегда встречал ласку и привет как один из её основателей, как достойный сотоварищ братства автомобилистов.

С Самотёки я поспешил в автосекцию, разыскал председателя, своего доброго знакомого, и сказал:

— Дай мне ключ от особняка на Самотёке.

— Какой ключ? Какой особняк? Понятия не имею ни о каком особняке.

— Дом числится за тобой, там висит замок.

— Ну и что же?

— Я хочу посмотреть, нельзя ли там опробовать одно мое изобретение.

— А что ты придумал?

— Объясню потом. Разреши сначала осмотреть.

— Пожалуйста. Мне этот особняк пока не нужен.

— Пошли кого-нибудь со мной. Мы откроем и произведём опись.

Вместе с одним из служащих автосекции я отправился обратно на бульвар и одним ударом лома сшиб заржавевший замок. Нашим взорам предстала брошенная на ходу жестяная и никелировочная мастерская.

Внизу стояло несколько ванн, в которых когда-то производились оцинковка и никелировка. В одной из комнат сохранились остатки обстановки: хромое кресло, облупившийся комод и продырявленный диван.

Опись была составлена в четверть часа. По этой описи я принял дом, обязавшись в ближайшие же дни снова приехать в автосекцию, чтобы оформить аренду.

## 6

Словно охваченный пламенем, я не мог уgomониться.

Не было покоя и Маше. Первоклассная специалистка по устройству выставок весь вечер орудовала тряпкой и щёткой, подметала, мыла, скребла и всё-таки никак не могла справиться с осевшей в особнячке многолетней пылью.

А я тем временем занялся электричеством, проверил провода, зачистил контакты и, абсолютно не чувствуя усталости, притащил из дому массу необходимых вещей, в том числе несколько лампочек, и осветил особнячок.

У Маши уже накопилась груда мусора.

— Алёша, всё это надо вынести... Выбросить в помойку.

— Выбросить? Ты сошла с ума! Это драгоценнейшие вещи!

Я бережно перебрал всю кучу. Дырявые вёдра — пригодятся; стоптанный ботинок — это же кожа, понимаешь, Маша, кожа для разных прокладок; драные решёта, ого, ещё как потребуются; обрезки жести — нужны, нужны; сломанные пружины от дивана — тоже пойдут в дело; рваная бумага — вот этим, пожалуй, можно пожертвовать. И то не выбросить, а протопить печку, подсушить воздух. Благо, вот и дровишки завалялись.

Рассортировав мусор, я занялся печкой, просмотрел дымоход, очистил топку от золы, прожёл бумагой подтопок, надымил (чем, конечно, вызвал ропот Маши) и был необыкновенно счастлив, когда наконец печка потянула.

Прекрасное помещение!

— Машенька, ты думаешь, я ограничусь мельницей? Как бы не так... Это только начало. Плацдарм...

— Для великих дел? — подаёт голос сестра.

Я улавливаю лёгкую иронию. Весь день Маша помалкивает, не хочет портить моё великолепное настроение, помогает мне, но порой вздыхает.

Потрясающая идея сооружения мельницы явно не привела её в восторг. Но ведь сама же она уговаривала меня хоть чем-нибудь заняться, лишь бы я перестал хандрить, валяться.

Какое там валяться! С нынешнего дня я буду спать вот на этом диване, из которого торчат концы пружин, буду вскакивать на рассвете и работать, трудиться над своим изобретением.

— Что? Ты намереваешься здесь ночевать?

Отбросив свою робость, Машенька принялась разносить ужасное, отсыревшее помещение, в котором за одну ночь можно заработать туберкулёз или по меньшей мере ревматизм. Но я только посмеивался. Ещё раз сбегав домой, я притащил свою подушку, простыни и одеяло.

Спокойной ночи, Маша! Я целую и выпроваживаю возмущённую сестру, затворяю дверь, стелю на диване, гашу свет, ложусь. И погружаюсь в раздумье. Как же устроить мельницу?

Надо вам сказать, что о мельницах я не имел никакого представления. Лишь один раз в жизни я побывал на водяной мельнице и видел запруду, деревянное мельничное колесо и огромные жернова. Никакой литературы об устройстве мельниц у меня не было.

Но я вспомнил, что среди вещей, которые я захватил при переселении, имелся толстенный универсальный справочник для инженеров.

Я вскочил, снова зажёл лампу, взял справочник и среди слов на букву «М» разыскал «Мельницы». Очень внимательно прочёл. Потом открыл букву «Ж», нашёл «Жернова» и узнал, что жернова делаются следующим образом: берётся камень какой-нибудь твёрдой породы, мелко дробится, просеивается, засыпается в форму и заливается соляной кислотой, которая связывает каменную мелочь в монолит. Все сведения о жерновах были изложены в одном столбце убористой печати. Вернувшись на ложе, я продолжал соображать.

Камень какой-нибудь твёрдой породы... Ба! Накинув пальто, в ночных туфлях я вышел на улицу и под покровом темноты выковырял из мостовой несколько булыжников.

Доставив добычу в особняк, я всю ночь дробил булыжник. Несколько раз я угодил молотком по пальцам, но к утру с удовольствием созерцал разбросанный всюду битый камень и поставленное на лист жести решето, доверху наполненное каменной крупой.

Теперь нужна соляная кислота. Где её достать? Денег у меня, как вам известно, совершенно не было, я ринулся на путь вольного изобретатель-

ства без копейки за душой. Где же раздобыть кислоту в кредит? И ведь мне её надо немало...

Пораскинув умом, я вспомнил о Подрайском. Конечно, у него сколько угодно соляной кислоты. Да, вот кто мне её одолжит!

Что? Неужели я ничего не рассказывал о том, как устроился Подрайский при новой власти? Ну, тогда мы сейчас это восполним.

## 7

Итак, с Подрайским произошло вот что.

Впрочем, с вашего разрешения, я лучше нарисую одну сценку, относящуюся к весне 1919 года. Вообразите солнечный апрельский или мартовский денёк.

Я сидел в промозглом, не топившемся всю зиму большом здании на Ордынке, где помещался тогда Комитет по делам изобретений, и, будучи там (разумеется, по совместительству) председателем технического совета, принимал изобретателей.

Помню, вошёл бритый, худощавый человек в «финке», очень распространённой в те времена круглой кожаной шапке с меховым околышем, в потёртой чёрной жеребковой куртке. Огромные шофёрские перчатки с крагами были сунуты подмышку.

Я обратил внимание на какой-то странный запах — не то дыма, не то дёгтя, — который исходил от посетителя.

— Садитесь, — любезно сказал я. — Чем могу служить?

И вдруг прозвучал потрясающе знакомый голос:

— Алексей Николаевич, неужели вы не узнали меня?

Боже мой! От изумления я чуть не свалился с кресла. Передо мной был Подрайский, бывший наш «бархатный кот»... Куда-то девались его чёрные усики, чарующая улыбка, румяные круглые щёчки. Я не встречался с ним с 1917 года, с того времени, когда солдаты, строители амфибии, вывезли его на тачке. Где он обретался эти годы? Какие превращения претерпел? И что привело его сюда?

Он протянул мне руку, тоже какую-то странную — заскорузлую, жёлтую, будто крашенную хной. Я опять предложил ему стул.

— Прошу вас, Анатолий Викентьевич... Вы ко мне по делу?

Подрайский, однако, не сел... По давней привычке оглянувшись, он тихо произнёс:

— Да... Имеется величайшее изобретение...

— Любопытно... Какое же?

— Алексей Николаевич, вы не смогли бы спуститься сейчас со мной на улицу?.. Я вам всё покажу в натуре.

Через минуту мы вышли из здания. У подъезда стоял очень потрёпанный, облезлый легковой автомобиль «Фиат». Подрайский открыл переднюю дверцу и широким жестом, который мне напомнил наконец его безупречные былые манеры, пригласил меня в машину.

— Куда же мы поедем? — спросил я.

Подрайский таинственно ответил:

— Осмотрим изобретение.

Сев за руль, он повёл машину. Несколько минут мы молча ехали, кое-где раздавливая слежавшийся почерневший снег, разбрызгивая ручейки и лужи.

— Ничего особенного не замечаете? — спросил Подрайский.

— Нет, ничего не замечаю...

Подрайский улынулся и сказал:

— Может быть, попробуете управлять сами?

— Что же, можно.

Мы поменялись местами. Взяв руль, я поддал газу, потом попридержал машину, потом опять её погнал, она поскрипывала, как и полагается старушке, но, в общем, слушалась.

— Ну как? — снова спросил Подрайский. — Ничего особенного не замечаете?

— Не замечаю... Только, пожалуй...

— Что, Алексей Николаевич?..

— Пахнет как-то странно...

Подрайский, казалось, ожидал этих слов. Он довольно засмеялся и сказал:

— Знаете, чем это пахнет?

— Чем?

— Новой эрой в автомобильном деле. Отныне советский автотранспорт не будет больше испытывать недостатка в горючем.

— Ого! Если так, это действительно великое дело.

— Да, — подтвердил Подрайский. — Затормозите-ка, Алексей Николаевич.

Я остановил машину, Подрайский сошёл, отвернул гайку карбюратора, налил оттуда прямо на ладонь немного жидкости желтоватого цвета и поднёс к моему носу. Жидкость оказалась скипидаром. Так вот откуда этот запах дёгтя... Не знаю, самому ли Подрайскому пришла идея использовать скипидар в качестве горючего или он где-либо залучил это «изобретение», но, во всяком случае, его предложение произвело сенсацию.

Ввиду отчаянной нехватки бензина «изобретение» было немедленно принято, хотя, как вскоре выяснилось, от скипидара залипали кольца, что создавало всякие затруднения для шофёров.

В распоряжение Подрайского был выделен заводик около Москвы, где он организовал возгонку скипидара.

Наверное, у Подрайского найдётся бутылка соляной кислоты. Он не откажется дать мне её взаймы. Скорее туда, к нему!

## 8

Что такое двадцать километров? В прежние времена я бы ответил: «Двадцать минут езды на мотоциклете!»

Однако теперь, зайдя домой, чтобы наскоро позавтракать, я лишь вздохнул, посмотрев на свою машину, стоящую в передней. Может быть, всё-таки решиться? Выведу её, испробую... Нет, я уже примеривался — левая нога не доставала до опоры.

Двадцать километров для меня теперь нелёгкий путь. Трамваем я смогу подъехать лишь к заставе. А дальше? Э, доберусь на перекладных. Есть, знаете ли, такой способ. Оглянешься, увидишь попутную подводу, подождёшь, попросишь: «Эй, друг, подвези». Возница хмуро посмотрит на тебя и хлестнёт лошадь; следующий тоже не посадит; третий, глядишь, и подвезёт. Невесело, но чего не предпримешь, когда впереди маячит сверкающая огромная бутылка с прозрачной, как вода, чудесной жидкостью, посредством которой я превращу обыкновенный булыжник в прелестный жерновок.

Но вдруг Подрайский откажет мне в кредите? Вдруг его давно уже нет на скипидарном заводе? Так и хотелось хлестнуть лошадёнку. Скорей, скорей!

При крохотном заводике, в маленькой директорской квартире, на окнах которой красовались отнюдь не малиновые, а скромные полотняные занавески, обитал Подрайский.

Дверь открыл он сам.

— А, Алексей Николаевич! Какими судьбами? По делу? Великолепно... Люблю деловых людей.

Подрайский провёл меня в столовую. Вещи были новенькие, видимо, сделанные здесь же, в столярной мастерской завода, отсвечивали лаком.

— Да, всё новое, — восклицает Подрайский, заметив, что я окинул взглядом комнату. — Из старой жизни ничего не взято... Всё кануло. И в душе ничего старого.

Его чёрные живые глазки останавливаются на развешанных веером портретах. Рядом с Марксом — выдающиеся представительницы коммунистического женского движения: Клара Цеткин, Роза Люксембург, кажется, Коллонтай...

Я повторяю:

— У меня к вам срочное дело, Анатолий Викентьевич!

— О делах успеется... Лёлочка! Алексей Николаевич, знакомьтесь с моей женой.

Я, конечно, ничем не выражаю удивления, когда вместо Елизаветы Павловны, почтенной дамы, чьим именем был в своё время назван таинственный «лизит», меня приветствует довольно юная особа. Она шутиливо восклицает:

— Рукопожатия отменяются!

Таков текст распространённого в те времена плаката. Я отвечаю поклон. Супруга Подрайского откидывает со лба короткие пышные волосы. Глядит она победоносно. Загорелая, в грубоватой, армейского сукна юбке, в складных полумужских сапожках. Весьма современный вид!

Однако сейчас меня интересует отнюдь не хозяйка дома.

— Анатолий Викентьевич, мне нужна всего одна бутылка...

— Бутылочка всегда найдётся в нашем доме.

Жена моментально подхватывает этот сигнал. Раскрываются дверцы буфета. На столе появляются водка, сало, хлеб, солёные огурчики.

— Не взыщите: угощение пролетарское, — говорит современная женщина.

Хозяин собственноручно накладывает мне маринованных рыжиков. Его руки, которые я в последний раз видел заскорузлыми, жёлтыми, теперь пополнели, порозовели.

Из кухни выплывает сковородка жареной, потрясающе румяной картошки. Мы беседуем о том о сём. Лёлочка несколько дней не была в Москве и сейчас выражает неудовольствие. Как это я не знаю, сколько ещё магазинов появилось на Петровке? Правда ли, что в Столешниковом открылась кондитерская?

Меня жгуче интересует другое. Достану ли я у Подрайского то, что дозарезу мне необходимо. «Бархатный кот» так и не ответил, есть ли у него соляная кислота. Впрочем, меня волнует и другой вопрос: предложат ли мне ещё жареной картошки? Проклятый аппетит...

Но что поделаешь, если с утра во рту ничего не было, кроме нескольких ложек опостылевшей каши?!

Подрайский любезно угощает:

— Разрешите наполнить вашу рюмку, Алексей Николаевич! Выпьем за вас, за вашу энергию, ваше будущее!

Супруга Подрайского значительно добавляет:

— Теперь жизнь повернулась к энергичным людям.

Подкрепившись, я и сам ощущаю прилив энергии:

— Анатолий Викентьевич, придумана потрясающая вещь. Нужна ваша помощь.

— С удовольствием, с удовольствием, — мурлычет Подрайский.

Я с удивлением узнаю интонации прежнего «бархатного кота». Благоклонно взирая на меня, он поддакивает супруге:

— Лёлочка права. Государство снова открыло дорогу энергичным людям.

— Да, да, — соглашаюсь я. — И вот потребовалась бутылка соляной кислоты.

— К вашим услугам... И даже без всякой накидки. Так сказать, по себестоимости.

Вот чёрт, как выговорить, что я приехал за бутылкой без гроша в кармане? Я бормочу:

— Но я... Но мне... Поверьте мне, Анатолий Викентьевич, на недельку в долг... Пушу мельницу и расплачусь!

— Мельницу?

— Да, прелестное изобретение, — спешу объяснить я. — Совершенно оригинальное...

«Бархатный кот» наклоняется ко мне, с интересом выпрашивает о мельнице.

— Всё понятно, — говорит наконец он. — Едем!

— Куда?

— Подкатим прямо к вашему особнячку... Получите бутылку, так сказать, с доставкой на дом... Сам довезу вас на машине.

— Только не на машине!

Это протестует Лёлочка. Её крупные ноздри выразительно потягивают воздух, и я вспоминаю запахи скипидара, пропитавшие облезлый «Фиатик» Подрайского.

— Поедешь на Еруслане, — решает она. — Сейчас скажу, чтобы подавали к крыльцу нашу конармию.

Меня несколько страшит неожиданная услужливость Подрайского, но предложение весьма кстати. Как иначе я дотащусь со своей драгоценной ношей?

Вскоре мы с Подрайским усаживаемся в заводской тарантас, у наших ног покоится в корзине с соломой заветная бутылка. Мой благодетель, указав на широкую спину кучера, подносит палец ко рту и шепчет:

— Тссс... Ни слова!

## 9

Подрайский помог мне втащить бутылку в особняк.

— Буду в Москве, загляну к вам.

— Разумеется, разумеется...

Он повертелся, пожелал удачи и исчез.

«Удачи, удачи...» — напевал я. Немедленно из листа жести я соорудил примитивный противень, поставил туда решето, наполненное толчёным бульжником, и залил кислотой. Затем в прекраснейшем настроении я отправился к Маше. Она принялась угощать меня всё той же кашей — это после того, как меня попотчевали у Подрайских!

Нет, хватит с меня разбухших зёрен!

Я уговорил бедную сестрицу продать на рынке всю оставшуюся рожь, вырученные деньги пойдут, как я выразился, на капитальные затраты. Пока, Маша, мы с тобой кое-как просуществоваем, а через несколько дней... О, через несколько дней мельница вознаградит своего творца, к нему рекой потекут деньги. Это обеспечит ему, твоему славному братцу, независимость, свободу творчества. И он возьмётся за серьёзные большие изобретения — за автомобильные, за авиационные моторы! И, может быть, у него — позволь, Маша, помечтать — будет собственный экспериментальный завод моторов. Как это тебе нравится — экспериментальный завод вольного изобретателя?!

Маша покачивала головой, пыталась возражать. Но мне некогда углубляться в споры: будущая мельница требовала меня к себе. Напевая, я отправился туда. Заночевал я опять в особняке.

Наутро, сгорая от нетерпения, я прежде всего понёсся к решету. Ура! В решете — застывший монолит; тронул рукой — пальцы ушли во что-то студнеобразное, я заорал: кожу ожгло кислотой.

Чёрт побери, значит не схватило! Ничего, подождём, схватит. На следующее утро каменная каша затвердела. Получился прелестный маленький жёрнов.

## 10

Жернова есть, но как их установить? Как крутить?

Надо вам сказать, что на всех мельницах земного шара жернова лежат плашмя и, вращаясь вокруг вертикальной оси, размалывают зерно притёртыми каменными плоскостями. А в моём распоряжении — в станках, которые мне достались вместе с домом, — имелись лишь горизонтальные оси.

Мгновенно родилось изобретение. Впервые в мировой истории я поставил жернова вертикально, наподобие точильных камней. Конечно, нет ничего хитрого в том, чтобы закрепить на горизонтальной оси два круглых камня, но все специалисты скажут, что молоток на таких жерновах нельзя. Прелесть творчества, однако, в том и заключается, что вы переступаете через «нельзя».

Я придумал особую насечку жёрнова, насечку по принципу архимедовой спирали. Терпеливо выбивая на камне рисунок замысловатой спирали, я воображал себя зерном, попадал в ручеёк спирали, с наслаждением чувствовал, как меня прихватывают, раздавливают, перетирают жернова, и, довольный, вываливался струйкой замечательной муки. Ещё многое предстояло мне придумать и соорудить, чтобы пустить мельницу в ход. Всё это я делал молниеносно, так как идеи обуревали меня.

Например, ремень. Из чего сделать передаточный ремень? О настоящем ремне в те времена не приходилось и мечтать. В годы гражданской войны и разрухи было срезано и превращено в подмётки грандиозное количество заводских ремней. Над проблемой ремня я поломал-таки голову.

Перебирая в уме всяческие комбинации, я вспомнил о брандмайоре города Москвы, с которым когда-то, работая в мотосекции, чудесно провёл один день, демонстрируя в поездке на сто километров отличные качества машины, переоборудованной в пожарную из обыкновенного грузовика.

Вы, пожалуй, спросите: при чём брандмайор, когда дело идёт о ремённой передаче? А пожарный шланг?! Явившись к брандмайору, я получил два куска рваного пожарного шланга. Срастив их, просмолив, я стал обладателем великолепного ремня.

## 11

Теперь дело за мотором.

Оставалось раздобыть где-нибудь электромотор, и жернова закрутятся, мельница пойдёт.

Я знал, что в своё время в мастерских «Компаса» имелось два-три запасных электромотора небольшой мощности, как раз то, что требовалось мне.

После того, как «Компас» со славой закончил свою миссию, его на следствии занялась ликвидационная комиссия. Я понёсся туда. Меня встретили радостными возгласами:

- Алексей Николаевич, что подельваете?
- Друзья, продайте мне электромотор.
- Зачем?
- Пока тайна. Одно гениальное изобретение.



Мне, однако, ответили, что ликвидационная комиссия, к сожалению, не вправе ничего продавать.

— Тогда дайте во временное пользование. Я подпишу обязательство, что по первому требованию верну мотор в идеальном состоянии.

Такая комбинация, по компетентному заключению главного бухгалтера, была признана возможной. Мы составили бумагу, согласно которой я получал во временное пользование один электромотор для того, чтобы, как было сказано в бумаге, испытать изобретение.

Завладев такой бумагой, я уже собирался крепко пожать всем руки и бежать за мотором, но оказалось, что необходима ещё одна формальность: подпись профессора Шелеста. Теперь он, бывший председатель «Компаса», в знак уважения и доверия числился председателем ликвидационной комиссии.

С драгоценной бумагой я немедленно отправился в Высшее Техническое училище к Шелесту.

Тут, едва я увидел знакомое здание, едва ступил во двор, на меня со всех сторон пахнуло воспоминаниями.

Вон оно, кирпичное нештукатуренное трёхэтажное строение во дворе, так называемое «красное здание». Там Николай Егорович Жуковский устраивал когда-то с помощью семи-восьми учеников-студентов свою аэродинамическую лабораторию, уместившуюся в одной комнате. Я был в числе этих семи-восьми; я там строгал, клеил, мастерил вместе с Архангельским, Ладошниковым, Тупослевым, Микулиным, Ветчинкиным. Кто-нибудь из них, наверное, и теперь в лаборатории. Может быть, заглянуть?

Нет, начнут ещё спрашивать... Осмеют «вольного изобретателя»... Или, ещё хуже, пожалеют. Нет, я к ним приду потом, приду вовсе не смешным, не жалким.

А вон вдалеке сарай, где когда-то стоял наш мотор, наш «Адрос». Пять лет тому назад мы с Ганьшиным проектировали и строили его, как самый мощный бензиновый мотор в мире. Перед смертью Николая Егоровича я дал ему обещание ещё поработать над этим мотором. И поработаю! Сначала лишь создам себе плацдарм.

Мне не хотелось, как сказано, заходить в «красное здание», но оказалось, что Шелест находится там. Я решительно прошёл через двор, толкнул дверь и, не оглядываясь по сторонам, не предаваясь больше никаким воспоминаниям, взбежал на второй этаж, куда мне указали.

Шелест стоял в середине большой комнаты, где несколько студентов и рабочих пилили и строгали, мастерили какие-то помосты. Он живо повернулся ко мне, и я, как всегда, ощутил энергию, которую источали его ясные серые глаза. Да, недаром и в пятьдесят лет он всё ещё управлял мотоциклеткой и азросанями, этот профессор с красивой сединой цвета серебра с чернью, учитель всех русских инженеров — специалистов по моторам.

— А, Бережков! — радостно воскликнул Шелест. — Вот наконец он! А мы, как видите, — он показал вокруг, — оснащаем новый корабль. Я своё обещание держу. Команда небольшая, но для вас я оставил место.

И Шелест рассказал, что Совет училища выделил помещение — на первое время одну эту комнату — и некоторые средства для организации научно-исследовательской станции автомобильных и авиационных моторов.

— Испытаем, изучим заграничные марки, а затем, — Шелест подался ко мне и заманчивым шёпотом проговорил, — а затем будем конструировать свои авиамоторы. А? Что скажете?

Откинувшись, он посмотрел на меня. Опять склонившись ко мне, он продолжал:

— Сначала засажу вас, словно студента, за учебники... Наверное, многое за эти годы позабылось?.. Поработаем, подрастём и превратим

нашу станцию в институт, создадим русскую школу авиационного моторостроения. А пока начинаем с нуля, с нескольких пар горячих рук, с нескольких горячих голов. Знаю, это как раз вам по нраву.

Да, это было по мне. Для меня всегда было невыразимо приятно оказаться там, где начиналось что-то новое, быть самому среди таких начинающих. Опять вспомнилось, как мы в этом же здании, этажом ниже, строили вот так же лабораторию Николая Егоровича Жуковского... Может быть, откинуть всё и остаться здесь, у Шелеста? Воспользоваться его предложением, воспользоваться случаем и вернуться к тому, с чего когда-то я, пятнадцатилетний неистовый изобретатель, начинал? К тому, что осталось навсегда незабываемым, как первая любовь,— к конструированию моторов? Нет, в ту минуту меня интересовал лишь один мотор... Получу ли я его? Как хотите, я уже не мог остановиться.

— Как же, тебя остановишь! — раздался голос Ганьшина.

Окружающие дружно засмеялись. Очевидно, здесь всем был понятен этот возглас. Но Бережков выразительным жестом отмахнулся: он не хотел, чтобы сейчас его что-нибудь отвлекало от рассказа.

## 12

— Мог ли я остановиться? — повторил он. — Мог ли загасить пламя, пожирившее меня? Нет, нет, я был уже не в силах расстаться с моим особнячком, с моими маленькими жерновами, с моей архимедовой спиралью. Я уже сам попал в эту спираль, она с потрохами втянула меня. Нужен лишь ещё один шаг, один разговор, одна подпись и...

И завтра я услышу первый шорох трущихся частей, завтра пойдёт, обретёт жизнь моя изумительная мельница. А когда-нибудь потом я вернусь к моторам. Э, мало ли чудесного мне предстоит потом?

Внутренне дрожа от нетерпения, я, однако, оживлённо поддакивал Шелесту:

— Да, да... Это адски интересно, это потрясающе. Но сейчас, Август Иванович, я увлечён одним небольшим изобретением. И у меня к вам просьба.

— Что такое?

— Пустяк... Уже всё оформлено, требуется лишь ваша подпись. Мне нужен на несколько дней электромотор.

И я решительно протянул Шелесту бумагу.

— На несколько дней?

— Да.

Я заявил это, не моргнув глазом, настолько сильна была моя уверенность, что через несколько дней я смогу купить хоть десяток электромоторов.

— А для чего вам мотор?

— Сначала, Август Иванович, подпишите, а потом скажу.

— Извольте... Я всегда с удовольствием готов помочь вам, чем смогу, в ваших изобретениях.

И, достав автоматическую ручку, он одним росчерком подписал разрешение. Я мгновенно засунул бумагу глубоко в карман.

— Так для чего же? — спросил Шелест.

— Это пока секрет. Я открываю мельницу.

— Мельницу? Какую мельницу?

— Обыкновенную. Которая мелет зерно. Это будет первая и единственная мельница в Москве для свободного помола.

— Как вы сказали? Для...

— Для свободного помола. У вас, например, дома есть, наверное, пайковая рожь.

— Ну, и что из того следует?

— Что? Вы приносите вашу рожь ко мне на мельницу и... раз, два — получается мука. Вот и всё. Древнейший и гениальнейший фокус.

— Бережков, неужели вы говорите всё это всерьёз?

— Вполне...

— Не понимаю... К чему вам эта мельница?

— Чтобы разбогатеть. Я хочу быть вольным конструктором-изобретателем.

— Дайте обратно бумагу, которую я вам подписал.

— Нет, Август Иванович, не дам.

Шелест несколько секунд молча смотрел на меня. Я спокойно выдержал этот жёсткий взгляд.

— Что же... Вы в конце концов взрослый человек, — проговорил он. — Мне остаётся только пожалеть, что я был в числе ваших учителей. Поступайте, как вам угодно. Но имейте в виду, что я никогда не прощу вам этого!

Я не вслушивался в слова профессора, меня словно нёс какой-то вихрь.

— Август Иванович, вы увидите, чего я добьюсь. Не скрою, у меня есть смелая мечта когда-нибудь пригласить вас быть главным консультантом в моей фирме.

— В мучной?

— Нет, мука только начало. Погодите, то ли ещё будет!

— Уходите! — гневно сказал Шелест. — Уходите и не вздумайте, когда вас накажет жизнь, прийти ко мне пожаловаться на свою судьбу.

И он повернулся ко мне спиной. Я вышел.

### 13

Остаток денег, добытых продажей зерна и предназначенных на капитальные затраты, был поглощён перевозкой мотора в особняк. Установив мотор, я сам произвёл все электромонтажные работы.

Настал наконец знаменательный миг, когда я включил рубильник. Пробежала голубоватая искра. Она, эта искра, означала, что мотор принял ток. В полнейшей тишине слышалось нарастающее жужжание мотора. Затем я перевёл передаточный ремень с холостого на рабочий ход. Жерновок мягко сдвинулся, запел, зашуршал на ходу. Вот он, первый шорох ожившего камня и металла, первый шорох конструкции, которая зародилась в фантазии. Другой жерновок, прилегающий к первому, был плотно насажен на деревянную ось. Я стал осторожно сближать их, уменьшая просвет. Раздался скрежет, посыпались искры, я быстро чуть-чуть развёл камни.

Лаская сердце, мельница отлично крутилась, но решающее испытание было ещё впереди. Ведь изобретение заключалось в том, что, впервые в мире поставив жернова вертикально, я применил в насечке архимедову спираль. Будут ли мои жернова молоть, правилен ли принцип?

Зерна, зерна, полцарства за зерно!

Но у меня не осталось ни горсти зерна. Весь мешок ржи был продан. Так случилось, что я оказался без зерна как раз в тот момент, когда оно потребовалось для испытания, когда конструктор готов прозакладывать душу, лишь бы испытать свою вещь.

Но уже вечер. Уже нет времени куда-то бежать, где-то раздобывать зерно. Э, была не была, открою мельницу так. Открою завтра с утра. И произведу испытание из зерна первого клиента. Так ваш покорный слуга разделался с этим затруднением.

Значит, всё решено — утром открываю, утром начну молоть! А ещё не сколочен помост, по которому, словно заправский мельник, я буду похаживать и посматривать, как идёт помол. И не готова вывеска. Надо сейчас же заказать вывеску Маше. Скорей, скорей домой!

Вот когда я оценил дарование своей сестрицы. Откуда-то, чуть ли не с крыши, был притащен старый кровельный лист, Маша послушно выложила на стол все запасы масляных красок, и закипела работа.

— Не жалея, Машенька, красок. Скоро я притащу тебе их целый ящик.

Маша только посмеивалась. Чего только я, будущий богач, не наобещал ей в эти дни!

— Не жалея красок! — повторяю я. — Пиши с выдумкой, с блеском. Стукни прохожего по голове.

Сочинив текст вывески, я отправился во двор, нашёл в сарае несколько досок и, взвалив их на плечо, потащился по ночным улицам в особнячок завершать последние плотничьи работы, возводить помост.

За ночь я не прилёг ни на минуту, но к свету — а осенью светает поздно, — к свету в особнячке всё было совершенно готово.

Безумно торопясь, я побежал за вывеской.

Меня ожидал шедевр. На темносинем фоне красивыми золотыми буквами было начертано: «Первая московская механическая мельница конструкции инженера Бережкова».

Однако при первом же взгляде на вывеску я почувствовал, что мимо неё можно пройти равнодушно, едва скользнув по ней взглядом. Озарённый вдохновением, я, несмотря на протесты сестрицы, намалевал внизу крупными буквами: «Свободный помол».

Затем, наскоро позавтракав, я потребовал, чтобы Маша по дороге на службу помогла мне водрузить вывеску. Мы шли нестерпимо медленно, так как краска на вывеске была ещё сырой и приходилось быть крайне осторожными.

Как раз вблизи особняка высился толстый столб, уцелевший от бывшего забора. Я давно присмотрел его для вывески. Но лестницы у меня не было, и поэтому с приколачиванием вывески, прочно набитой на примитивную деревянную раму, мы опять-таки провозились довольно долго. Наконец всё завершено.

Я отбежал на противоположный тротуар. Магические слова «Свободный помол» были ясно видны и оттуда.

Итак, мельница открыта!

Отпустив сестру — пусть отправляется на свою службу, — я остался у мельницы один. Вошёл в особняк, взобрался на помост и встал там, ожидая клиентов.

#### 14

Я долго стоял, снедаемый огнём ожидания. Но клиентов не было.

Несколько раз я выбегал наружу и впивался взглядом в улицу — то в одном направлении, то в другом, — не приближается ли кто-нибудь с мешком зерна за спиной?

Но люди проходили и проходили мимо. Мне нестерпимо хотелось остановить кого-нибудь — первого попавшегося! — потрясти его за плечи, указать на вывеску и прокричать: «Видишь? Сейчас же беги домой, тащи сюда зерно!» Некоторых я пытался загипнотизировать, но, увы, безрезультатно.

Утешая себя разными соображениями и отнюдь не теряя веры в гениальность моей выдумки, я возвращался в особняк, снова взбирался на помост и ждал, облокотившись на перила. Но клиенты не появлялись. Никто не стучался, никто не приходил.

Много мечтаний и мыслей пронеслось в эти часы ожидания. Думалось о грядущем богатстве, о каких-то великих будущих моих изобретениях.

Вспоминался, конечно, и профессор Шелест, который отвернулся от меня, но когда-нибудь — иначе я буду не я! — преклонится перед моим талантом и удачей.

Однако все эти мысли и мечты лишь слабо мерцали во мне, чуть вспыхивали и потухали. Все они оттеснялись переживаниями, что ведомы каждому конструктору. Никакие мечты о богатстве, о славе, о любви не сравнятся по силе, по жгучести с волнением, которое всегда овладевает мною, когда рождается замысел новой вещи и, в особенности, перед первым её испытанием.

А ведь тут испытание по существу ещё не произведено. И поэтому самым трепещущим, адски волнующим, адски интересным — гораздо интереснее всех благ, которых я ожидал от мельницы, — был для меня в те минуты вопрос, правилен ли конструкторский замысел, будет ли моя мельница молоть.

На дворе стало темно. Разочарованный, разбитый, я собрался уже закрывать мельницу, но вдруг кто-то неуверенно постучал в дверь.

Я закричал во всю глотку:

— Входите!

Дверь в ожидании клиентов не была заперта, но никто не вошёл. Неужели я ослышался, неужели дошёл до галлюцинаций?

Я прыгнул с помоста, как тигр, и ринулся открывать дверь. На пороге стоял председатель домового комитета, тот самый, что на днях предупредительно отвечал мне на вопросы насчёт особняка. Как сейчас помню его полуиспуганную, полуудивлённую, виновато улыбающуюся физиономию.

Он смотрел на меня, согнувшись под тяжестью большого мешка. Вы понимаете — мешка!

— Простите, товарищ Бережков, — начал он, — я только что пришёл со службы и увидел вашу вывеску. Значит, у нас во дворе теперь будет мельница?

— Да.

— И можно смолоть рожь?

— Пожалуйста. Сколько угодно.

— И частным гражданам можно?

— Конечно. Вы же видели: «Свободный помол».

— А дело законное? — спрашивал мой первый клиент.

— Конечно. Нэп.

Я с твёрдостью заявил это, хотя в тот день у меня не имелось никакого торгового патента, никакого разрешения.

— Я как пришёл домой, — говорил председатель, опуская мешок, — как увидел вашу вывеску, так и решил смолоть рожь. У меня много немолотой ржи.

Без дальнейших разговоров я подхватил мешок и поставил на весы, словно всю жизнь только этим и занимался. С приобретением весов тоже была своя история, но всего не перескажешь — ведь это же тысяча и одна ночь.

Взвесив, я ловко вскинул мешок на помост, вскочил туда сам и засыпал зерно в конус. Мой клиент с любопытством наблюдал за мной. Я тоже проделывал свои манипуляции с чрезвычайным любопытством: что выйдет из этого?

Прижал рубильник. Стрельнула голубоватая искра. Мотор зажужжал, двинулся жёрнов. Приоткрыв задвижку для зерна, я стал поджимать жернова друг к другу. Вдруг они завизжали, заскрежетали, завыли. И вслед за этим в ящик, куда должна была течь мука, посыпалось с искрами какое-то кашцеобразное, землистого цвета вещество. И невероятно пахучее, словно жжёная калоша.

Я увидел испуганное лицо председателя и сам перепугался. Однако с самым невозмутимым видом, будто всё шло как надо, быстро раздвинул жернова. Но теперь зерно просыпалось в ящик, не размалываясь. Я опять стал с величайшей осторожностью сближать жернова, и в ка-

кой-то момент снова раздался дикий визг соприкоснувшихся камней. Снова распространился аромат жжёной калоши.

Меня бросило в холодный пот. Что случилось? Мельница не работает.

Но в ту же минуту я догадался, что надо действовать смелее, надо прибавить подачу, то есть ещё сблизить камни, чтобы мука могла создать плёнку между ними. Я бесстрашно прибавил подачу, визг прекратился, перестали выскакивать искры, в ящик посыпалась мука. Уф! Наконец-то.

Правда, мука оказалась смолотой неважно, на зубах она хрустела, но всё-таки это была мука.

Я заставил своего первого клиента полюбоваться, выразить своё восхищение остроумным устройством мельницы, затем мы с ним свернули из двух газет колоссальный кулёк, и он щедро отсыпал мне — за помол — несколько фунтов муки.

Через минуту в замке особняка щёлкнул мой ключ. Прижимая к груди кулёк с мукой, я сделал пируэт на крыльце.

Вдруг, откуда ни возьмись, прозвучал женский голосок:

— Дорогу мучному королю!

Что такое? Возле столба, к которому была приколочена вывеска, остановился фэтон Подрайского. На тротуар, отклонив помощь супруга, ловко прыгнула Лёлечка. Быстрыми шажками она подошла ко мне.

— Узнаёте? А мы случайно оказались в вашем районе. Знаете, ездили по магазинам.

Крепкая загорелая ручка принялась отряхивать муку с моего пиджака. Фу ты, оказывается, я перепачкался с головы до ног. Действительно мучной король.

— Не сомневалась, что вы добьётесь успеха! — Лёлечка одобрительно оглядела меня и добавила свою, как видно, излюбленную фразу: — Жизнь принадлежит энергичным людям!

Розовое лицо Подрайского сияло добродушием.

— Рад вас поздравить, Алексей Николаевич.

Я топчусь возле гостей. Неужели придётся пригласить их в особняк?.. Дома меня дожидается Маша. Предстоят грандиозные оладьи. И вот извольте — неожиданная встреча... Как бы мне сбежать? Однако «бархатный кот» сам проявляет чуткость.

— Не беспокойтесь,— раскланивается он.— Мы только мимоходом... Как-нибудь в другой раз вас навестим.

— Пожалуйста, пожалуйста...

— У вас, значит, всё идёт удачно?

— Ещё бы! — Видя, что гости прощаются, я в восторге повторяю: — Ещё бы, потрясающая, волшебная удача!

Супруги усаживаются в коляску, я машу им рукой, снова прижимаю к груди драгоценный кулёк и бегу домой.

Маша, улыбаясь, замешивает тесто. Она любит принять, угостить друзей.

Но кого же пригласить? Ганьшина, засевавшего за учёный труд, безнадежно звать. Одна надежда на Федю. Не будь я Бережков, если не притащу его сегодня на оладьи. Не помню, говорил ли я, что Недоля поступил слесарем-сборщиком на завод «Красный металлист» в Замоскворечье. Как бы добраться поскорее к Феде в общежитие? Трамваем? Ох, тяжело... Особенно в этот час, когда москвичи возвращаются с работы. И слишком медленно. Нет, это примитивный, устарелый способ передвижения. Но иначе как же?

Я и сам не заметил, как очутился возле своей мотоциклетки, стоявшей попрежнему в передней. Может быть, всё же попытаться? Ведь не меша-

ет же мне нога бегать, носиться по улицам. Нет, как ни прилаживайся, а левая ступня не достаёт до подножки, лишена упора. А что, если?.. Что, если приподнять подножку? Или надставить небольшой брусок? Чёрт возьми, почему я раньше не додумался? Это же так просто...

Руки уже орудут гаечным ключом, отвёрткой, молотком. Вот опора поднята. Сядем-ка, примеримся... Прекрасно. Обе ноги твёрдо упираются в подножки. В баке плещется горючее. Надо лишь вывести машину на волю, во двор, запустить двигатель и... Э, была не была — вперёд!

И ваш покорный слуга, изобретатель, празднующий открытие необыкновенной мельницы, уже вылетает из ворот на своей мотоциклетке. Огнуться бы, увидеть в окне Машу, наверное, и обрадованную и встревоженную одновременно, — нет, страшновато оторвать взгляд от мостовой.

Постепенно я прибавляю ходу. Свистит ветер. Ух, хорошо!.. Помните Гоголя: «Какой же русский не любит быстрой езды?»

Промчался через центр... Мимо Кремля, над которым уже почти четыре года развевается красный флаг. Вот Пречистенка, Садовая, Крымский мост, Калужская площадь. Началась окраина. Потянулся глухой длинный забор завода «Красный металлист». С одного взгляда заметно запустение: в фонарях крыш выбиты стёкла, уцелевшие тусклы, загрязнены; кое-где под карнизами птицы свили гнёзда. Среди многих труб завода лишь несколько дымятся; виден наконец действующий цех; блестят вымытые окна; блестят смолёные железные колонны корпуса.

Ого, и тут свежая вывеска! Над главными воротами красуется крупная надпись: «РСФСР. Государственный завод «Красный металлист». Рядом с вывеской — красное полотнище, на нём выведен призыв восстановить основу социализма — тяжёлую промышленность.

А где же общежитие? Федя говорил: «Двухэтажный дом почти напротив заводских ворот». Наверное, этот... Стоп!

Минуту спустя я вторгся в комнату, где обитал Недоля. Скромная комната. На некоторых койках — одеяла серые, солдатские, на других — лоскутные, деревенские.

У стола сидели несколько молодых рабочих, слушавших газетную статью, которую кто-то читал вслух. Разглядев Федю, я помахал ему рукой. Чтение оборвалось. На меня вопросительно воззрились.

— Алексей Николаевич, здравствуйте, — сказал Недоля. И пояснил для всеобщего сведения: — Это товарищ Бережков... Который был моим командиром под Кронштадтом...

Этих слов было достаточно. Тотчас присутствующие заулыбались. Меня пригласили сесть, послушать статью Ленина. Но я повлёк Федю в коридор.

— Федя, одевайся, едем!

— Куда?

— Ко мне, Федя! На оладьи!

— Какие оладьи, Алексей Николаевич?

— Мои! Из моей собственной муки.

— Ясно, не из чужой...

— Ты ничего не понимаешь! Я сам её смолол. На своей мельнице.

— Как «на своей»?

— Да, Федя, на собственной. Я сегодня открыл мельницу.

— Алексей Николаевич, вы что-то не то говорите.

— То, именно то! Могу называть её своей, если я изобрёл её?

— Конечно, можете.

— Она тебе, Феденька, адски понравится.

Черта пальцем на стене, я поведал историю небывалых, поставленных вертикально, жерновов, сделанных из обыкновенного булыжника. Наконец Федя поверил. Поверил и восхитился.

— Здорово! Неужели так и мелет без отказа?

— Говорю же, едем на оладьи. Это моя первая мука. Кстати, Федя, я сегодня решился взобраться и на мотоциклетку. Она здесь, внизу...

— Мотоциклетка?!

— Пошли! Сядешь на багажник, и поедем. А дома потолкуем. Мельница, брат, это только так... Игра ума. База для дальнейшего! Эх, какая мастерская мне мерещится! Или, скажем, депо выдумок.

— Здорово! Только вам лучше всего поступить к нам на завод. Нам сейчас как раз не хватает таких... Таких, как вы.

— Нет, Федя, меня на службу не заманишь. Что ты так на меня глядишь? Ведь каждому свой путь. Я должен быть сам себе хозяином. Вольным изобретателем. Слышал такое: вольный художник? Тот, кому дорожке всего свобода. Лучше, Федя, ты переходи ко мне работать. В депо выдумок. Построим потрясающий автомобиль, который мы с тобой придумали...

Федя потупился, отрицательно повёл головой.

— Чего ты? Не согласен... Иди, одевайся. Потолкуем за оладьями.

— Мне не хочется оладий...

— Ну, чего ты куксишься?

— Я не люблю оладий, — упрямо сказал он.

Он не стал объяснять, не решился поучать меня. Застенчивый, деликатный Федя стоял, переминался с ноги на ногу, но когда я сделал попытку вновь заглянуть в комнату, он решительно заслонил дверь. Ему теперь не хотелось, чтобы товарищи по общежитию видели его бывшего командира.

Так и пришлось мне вернуться в одиночестве домой.

## 16

На следующий день на мельницу пришли три или четыре женщины с мешками. Я с деловым видом принимал зерно, взвешивал, молот, выдавал муку. За помол я получал по четыре фунта муки с пуда. В этот день мне очистилось около двадцати фунтов. Ночевать я опять пришёл домой. Уплетая оладьи, я заверял Машу, что недалёк день, когда вокруг нашего стола соберутся друзья и все будут удивляться, поздравлять меня с удачей.

Отправившись к особнячку утром — это было утро третьего дня моей мельницы, — я ещё издали увидел нечто потрясающее. У мельницы выстроилась колоссальнейшая очередь. У самого дома люди сбились толпой. Там стоял крик, конная милиция оттесняла толпу и наводила порядок. (Тут над диваном вскинулась, словно сигнал, нога в коричневой штанине. «Конная?» — иронически переспросил Ганьшин. «Ну, пускай пешая», — уступил Бережков.) Подняв над головой ключ от мельницы, я протискивался через толпу, крича во всё горло, что я мельник.

В особнячок со мной вошли представители милиции. Мне было предложено предъявить документы, свидетельствующие о моих правах на мельницу. Что я мог предъявить? Милиция приступила к составлению протокола. Мне вменялось в вину беспатентное занятие промышленностью и торговлей, а также нарушение общественной тишины и порядка.

— Гражданин Бережков, подпишите протокол.

— А что же будет дальше? — спросил я.

— Мельницу мы опечатаем. Печати снимем, когда внесёте штраф и всё оформите.

— Какой же штраф?

Была названа сумма, превышающая в данный момент все мои возможности. Вот если бы мне разрешили продолжать молоть, располагать



выручкой... Нет, об этом милиция не хотела и слышать. Сперва, гражданин Бережков, внесите штраф, потом будем разговаривать. Тяжело вздохнув, я подписал протокол.

В эту минуту дверь особнячка распахнулась. Нежданно-негаданно предстал Подрайский. До сих пор не понимаю, как сумел этот гроссмейстер чёрной магии выбрать столь подходящую минуту для появления, как ухитрился протолкаться сквозь толпу, осаждающую дом, и обойти милицию, которая никого на мельницу не пропускала. Несколько помятый в давке, без двух-трёх пуговиц на пальто, видимо, только что оборванных, но всё же представительный, розовый, улыбающийся, он напомнил мне прежнего Подрайского, владельца таинственной лаборатории. Пожалуй, и усики начнёт отпускать.

— Что тут стряслось? — «Бархатный кот» вкусно чмокнул губами.

А я кинулся к нему, как к своему спасителю, указал на злополучный протокол. Подрайский не проявил никакого удивления.

— Что же, надобно выкладывать штраф,— мирно сказал он и с видом бывалого человека справился о сумме. Затем без дальних слов вытащил бумажник, отсчитал пачку дензнаков и положил на стол. Я был так поражён, что едва смог пролепетать:

— Анатолий Викентьевич, этот долг я в самые ближайшие дни...

Подрайский не дал договорить:

— Пустяки... Сочтёмся...

Далее он предъявил властям различные свои бумаги, удостоверяющие его личность — личность автора нескольких выдающихся изобретений, запатентованных законным образом, получившего в своё распоряжение завод около Москвы.

Солидным тоном он предложил взять с него, Подрайского, письменное поручительство в том, что в недельный срок мной всё будет оформлено.

Не дав представителям милиции опомниться, Подрайский подтолкнул меня:

— Алексей Николаевич, покажите товарищам изобретение.

Я постарался не ударить лицом в грязь: продемонстрировал на ходу мою конструкцию, рассказал, как родилась идея, как было произведено испытание, рассмешил, заинтересовал. Подрайский взялся тотчас же поехать в надлежащие инстанции и достать все разрешения. Я подписал разные заявления, обязательства, доверенности, набросал чертёжик, который следовало запатентовать, и вручил всё это Подрайскому.

В заключение мой благодетель ещё раз блеснул. По его предложению мы тут же, в присутствии милиции, нарезали массу талонов и пронумеровали их. На каждом талоне Подрайский поставил печать — свою личную печать конструктора-изобретателя. При этом «бархатный кот» даже предъявил удостоверение, разрешавшее ему пользоваться такой печатью.

Тем временем в особняке каким-то образом оказалась и Лёлочка. Она тоже не погнушалась прийти мне на выручку. Смело взялась навести порядок в очереди, то есть раздать талоны с номерами. Предваряя дальнейшее повествование, должен сказать, что в это же утро талоны были розданы на несколько дней вперёд.

В общем, милиция пока удовлетворилась тем, что мы предприняли, и покинула мельницу; Подрайский отправился оформлять предприятие; его жена, весело покрикивая, раздавала на крыльце талоны, а я под напором клиентов молот, молот, с головы до ног в муке, и даже закусывал на помосте, не задерживая помола. Выручка этого дня составила около десяти пудов муки; по тем временам это была невероятнейшая ценность.

Подрайского, как мне казалось, я видел насквозь.

Вот он завтра или послезавтра явится, принесёт мне документы, мурлыкающий, розовый, плутоватый. Я скажу: «Анатолий Викентьевич, я бесконечно вам обязан. Говорите, чем вас отблагодарить?» Он ответит: «Принимайте меня в дело».

«Бархатный кот», разумеется, всё рассчитал. Он знает, что отказать я не смогу: ведь он, можно сказать, меня облагодетельствовал, спас мою мельницу. Любопытно, как велика часть, на которую он метит. Пожалуй, процентов двадцать пять, а то и тридцать...

Но я не собираюсь торговаться. Пожалуйста, Анатолий Викентьевич, пятьдесят на пятьдесят! Только уж, будьте добры, берите дело в свои руки, сами управляйте мельницей. Моё дело выдумывать, творить! Я представляю себе, как заворочает делами мой компаньон. О, тут запоёт, заиграет «Тона-Бенге»! Вырастет новый корпус, появятся новые механические приспособления... Элеватор будет подавать зерно на второй этаж. Мука потечёт в мешки, они будут автоматически взвешиваться и автоматически завязываться.

Ваш покорный слуга всё это с удовольствием сконструирует. Подрайский же пусть занимается коммерцией. Отдаёт мне пятьдесят процентов прибыли. Это будет, чётк возьми, немало! Хорошая основа для моих будущих конструкторских исканий!

Только бы «бархатный кот» не охладел, не отступился!

Нет, он всё время подавал вести о себе. На следующее утро у дверей мельницы меня встретила Лёлочка, которая попрежнему ретиво поддерживала порядок в очереди. Эта юная энергичная особа сообщила, что её супруг весь вчерашний день посвятил мельнице, продолжает и сегодня свои хлопоты. Затем она деловито передала его совет: немедленно устраивать и пускать в ход второй постав. Возможно, Подрайский сегодня же пришлёт два первоклассных, фабричного изготовления, жёрнова, которые ему случайно подвернулись. Он уже выехал за ними.

Вскоре действительно прибыла от Подрайского телега с небольшими жерновами, а также с досками, фанерой и разными другими материалами в сопровождении дюжего неразговорчивого дяди. Тотчас был сооружён верстак, дядя стал по моим указаниям ладить второй постав, а я продолжал молоть.

Меня деятельно опекала Лёлочка. Моё кредо вольного изобретателя ей безумно нравилось. Она твердила, что надо заботиться о лице предприятя, «сохранять лицо», дабы нас, изобретателей, упаси бог, не спутали с какими-нибудь частниками, нэпманами. Оформить такое «лицо» было, как она объясняла, не легко. Но появлявшийся время от времени на мельнице услужливый Подрайский твёрдо обещал всё повернуть.

Ещё несколько дней я молот сам, затем у жерновов меня заменил специально приглашённый мастер-мукомол. Мельница попрежнему приносила мне по десяти пудов муки в день. Муку некуда было девать, и я объявил денежную плату. Вот тогда-то я и влетел вечером к Маше, где не показывался два или три дня, влетел с огромной кипой денег, крича: «Клад! Клад! Золотые россыпи!»

Моя идея, моя мельница, действительно оказалась золотой жилой. Я уплатил все долги: и за соляную кислоту, и за дом, и за всё прочее, добытое в кредит. Электромотор я вернул «Компасу», как и обещал, через неделю, ибо купил в другом месте за наличные деньги не один, а сразу два электромотора.

А Подрайский то забегал лишь на минутку, то вовсе целыми днями не показывался.

Однажды Лёлочка сообщила:

— Анатолий Викентьевич придет сюда завтра утром. Все дела по оформлению мельницы у него закончены. Он сам всё вам доложит...

И вот настало это утро — двенадцатое утро моей мельницы. Подойдя к особняку, я чуть не свалился с ног. На столбе красовалась новая вывеска: «Мельница «Прогресс» изобретателя Подрайского».

Как? Неужели он меня ограбил? Захватил мельницу? Да, представьте, именно это и случилось. «Бархатный кот» меня попросту сглотнул — проглотил в один приём. Оказалось, что все документы были выписаны на его имя: и патент на изобретение, и арендный договор, и прочее, и прочее.

Он сам предъявил мне все эти бумаги, вернее — копии, заверенные у нотариуса. Я хотел запустить ему в физиономию чем-нибудь тяжёлым, но возле меня стоял с видом вышибалы неразговорчивый дядя, присланный на днях Подрайским...

Впрочем, с вашего разрешения, я воспроизведу всю эту красочную сцену...

## 18

Высокий, худощавый, удивительно лёгкий на подъём, Бережков не раз вскакивал посреди рассказа и, то безудержно хохоча, то принимая трагический вид, представлял в лицах свои приключения.

За раскрытым окном солнце уже осветило улицы. Москва проснулась, шли трамваи.

Вдруг зазвонил телефон. Смолкнув, мгновенно побледнев, Бережков схватил трубку. Некоторое время мы прислушивались к его восклицаниям.

— Что, что? В тумане? Как? А экипаж?

Очевидно, произошло что-то исключительно важное, но по тону Бережкова я не мог понять, счастливая это или тревожная весть. Наконец он выкрикнул:

— Да, да... Сейчас выезжаю!

И положил трубку. Первый раз за все наши встречи я увидел, что у него дрожали руки.

— Сели, — отрывисто проговорил он.

Мы ждали подробностей, но Бережков без слов торопливо надевал ботинки взамен домашних туфель. Отовсюду раздавались вопросы.

— Сели, приземлились, — повторил он. — Кажется, всё благополучно. Экипаж цел. Мотор до последнего момента работал безотказно...

У кого-то вырвалось:

— А рекорд?

Он взволнованно кивнул. Мы поняли: рекорд побит. Бережкову явно хотелось уйти в эту минуту в себя: пережить всё молча, без наших распросов. И всё же у него хватило выдержки, убегая, улыбнуться нам всем на прощание и в дверях помахать рукой.

Вскоре со двора донёсся стрекот мотоциклетного мотора. В следующую минуту выхлопы уже раздавались под окнами, выходящими на улицу.

Из окна я увидел Бережкова. Забыв дома кепку, пригнув корпус и непокрытую, коротко стриженную голову к рулю, он, удаляясь, мчался на мотоциклетке. Его подбрасывало на булыжной мастовой, пустынной в этот час; ветер вздул его лёгкую голубую рубашку.

## 19

Некоторое время спустя после «ночи рассказов», в осенний солнечный день, мы с Бережковым ехали в автомашине по Москве. Эта поездка была предпринята по моей просьбе. Мне хотелось увидеть места, о которых я знал по рассказу, — домик Жуковского в Мыльниковом переулке, Московское Высшее техническое училище, где учился Бережков, секретную

лабораторию Подрайского, мастерские комиссии по постройке аэросаней и мельницу Бережкова.

Однако от мельницы не осталось следов. Неподдалёку от Самотёки, на углу, где когда-то Бережков приколачивал свою вывеску, теперь строился многоэтажный каменный дом. Прежние дома были снесены. В перспективе улицы виднелись и другие возводимые большие здания. В ясном небе тут и там были вычерчены строительные мачты и стрелы подъёмных кранов — своего рода герб пятилеток.

Бережков остановил машину, показал мне, где в своё время находилась его мельница. Мы молча оглядели уходящую ввысь нештукатуренную кирпичную кладку с прямоугольными пустотами окон.

Я пошутил:

— Теперь я могу как угодно расписать в книге вашу мельницу. Придумаю какие-нибудь башни, подвесные пути, что-нибудь в вашем стиле.

Бережков уже с интересом относился к книге, что я писал по его рассказам.

— Нет, нет, — сказал он. — Я вам всё это вычеркну. Будем придерживаться истины.

Я невольно воскликнул:

— Алексей Николаевич, ведь вы же сами, я уверен, немало фантазируете в своих рассказах.

Бережков обернулся. На нём было распахнутое осеннее пальто коричневого драпа, такая же кепка, красивый, отнюдь не кричащий галстук, завязанный искусным, как бы небрежным, лёгким узлом. Моё восклицание вызвало у Бережкова улыбку. Впрочем, склад его лица и особенно губ был таков, словно он всегда вам улыбался. Несмотря на то, что Бережкову шёл уже пятый десяток, жизнь ничуть не оттянула вниз уголки его крупных, удивительно свежих губ. Наоборот, уголки были слегка подняты, создавая рисунок прирождённой безмятежной улыбки.

— Не верите, не буду и рассказывать, — произнёс он.

Пришлось его улащать. Наконец он уступил.

— Когда-то здесь, на Садовой, — сказал он, — и на других улицах нередко можно было повстречать огромные крытые фургоны с надписью «Мука Подрайского». Может быть, помните такие? При ближайшем рассмотрении вы могли прочесть на этих фургонах ещё несколько слов, выведенных мелкими буквами. В целом это выглядело так: «Мука, изготовленная на мельнице системы изобретателя Подрайского». А? Не угодно ли? Цапнул, да ещё и «сохранил лицо», как учила Лёлечка.

— А вы с ним не боролись?

— Из-за мельницы? Нет... Он предложил мне мировую: десять процентов за идею. А я крикнул: «Подавитесь моей мельницей! Я выдумаю ещё сто таких вещей!» Повернулся и ушёл. Но к Маше явился в отчаянии: «Трагедия! Катастрофа! У меня украли мельницу!»

— Чем же кончилась эта история?

— Конец был потрясающим... Однажды за завтраком — дело было уже не то в 1922, не то в 1923 году — я заглянул, как обычно, в свежую газету. Заглянул — и чуть не упал со стула. На самом видном месте крупным шрифтом было помещено объявление об открытии двух государственных паровых мельниц. С величайшим интересом я прочёл, что любой гражданин с сегодняшнего дня может молотить своё зерно на этих паровых мельницах по цене один рубль за пуд. Я знал, что Подрайский, как и другие мукомолы-частники, брал по пяти рублей. В один миг он был разорён, то есть буквально раздавлен, как букашка. Объявление означало моментальный и полный крах всех мукомолов-частников. Забыв про собственные мытарства — о них у нас ещё будет речь, — я, как вы понимаете, злорадствовал.

— А как Подрайский? Был раздавлен навсегда?

— Что вы? Несколько лет спустя он опять вынырнул. Причём в самом невероятном месте!

— Где же?

— Узнаете. Не торопитесь. Не будем нарушать хронологическую последовательность.

Бережков хотел ещё что-то добавить, но внезапно отвлёкся. Его взгляд пробежал по улице, где мы проезжали, и лицо вдруг стало лукавым, небольшие зеленоватые глаза заблестели, засмеялись, как мне показалось. Он неожиданно спросил:

— А про банку вы написали в вашей книге?

Я удивился:

— Про какую банку?

— Как «про какую»? Про банку эмалевой краски.

— Первый раз слышу. Вы ничего не рассказывали об этом.

Бережков энергично скомандовал:

— Стоп!

Мы остановились посреди Садового кольца, на Смоленском рынке. Впрочем, все эти названия давно превратились в анахронизм. Среди зданий Москвы будто прорублено широчайшее круговое шоссе, убегающее меж каменных отвесов в городскую дымку, что всегда чуть затушёвывает Москву, её отдалённые выступы, её перспективу. В редких пунктах Москвы в тридцатых годах машинам был открыт такой простор, как на Садовом кольце. Никакого Смоленского рынка давно не существовало: трудно было представить, что здесь когда-то под открытым небом кипела толкучка. Теперь там всё было очищено для потока автомашин, теперь всё это было единой полосой асфальта, разделённой вдоль белой осевой линией, полосой, где могло двигаться в каждую сторону по шести-семи машин в ряд.

— Без банки у вас никакого романа не получится, — заявил Бережков таким тоном, словно он написал не менее чем двадцать романов. — Хорошо, что я вспомнил. Это случилось как раз тут. Я вышел сюда вон тем переулком.

И, живо показывая все координаты, он преподнёс такую историю.

## 20

Однажды, вскоре после того, как Подрайский прикарманил мельницу, Бережков проходил мимо Смоленского рынка. Дальнейшие перспективы вольного изобретателя были крайне неопределённые.

Сам не зная зачем, он завернул на толкучку. Пошатался там, порой прицениваясь к разным вещам. У него не было никаких мыслей о покупках, ибо он располагал всего лишь трёхрублёвкой. Правда, в те времена ещё не была введена твёрдая валюта, ходили миллионы, или, как их называли, «лимоны», но в переводе на обыкновенные рубли вся денежная наличность Бережкова приблизительно равнялась трёшнице. Неожиданно он увидел, что кто-то продаёт банку эмалевой бледнокоричневой краски.

— Впрочем, нет, — поправил себя Бережков. — Такой цвет называется теплокоричневым. Это был не банальный тон кофе с молоком, а нечто иное. Знаете, на топлёном молоке бывает слегка подрумяненная, коричневатая поджаристая пенка. Ну вот, цвет был приблизительно такой, очень тёплый, живой. Как вам известно, лёжа в петроградском госпитале, то есть приблизительно год назад, мы с Фёдей придумали автомобиль, совершенно необыкновенный, без карбюратора и без коробки скоростей. Этот автомобиль в мечтах представлял мне окрашенным именно в такой чудесный тёплый цвет.

Бережков повествовал, обернувшись ко мне, удобно навалившись грудью на спинку сиденья. Мимо непрерывно двигались автомашины — почти сплошь советских марок, грузовые и легковые «ЗИСы» и чёрные сверкающие «эмочки», как ласкательно мы тогда их называли. В нашу машину, в маленький домик на колёсах, врвались шумы Москвы — свистящий шелест автопокрышек, всяческие сигнальные гудки, фыркание моторов, музыка из радиорупора, паровозные свистки с недалёкого вокзала, но шум явно не мешал Бережкову, истому сыну этого мира. На осевой линии асфальта, среди мелькания и гула, в тонком металлическом кузове автомобиля он чувствовал себя так же свободно, как и дома.

История продолжалась так. Бережков спросил продавца:

— Сколько стоит эта банка?

Продавец назвал цену. У Бережкова была именно такая сумма — не больше и не меньше. Не задумываясь, он вынул деньги, уплатил и забрал банку.

С банкой он явился к сестре

— Что ты принёс? Что-нибудь к обеду?

— Нет. Это банка эмалевой краски. Прелестнейший цвет. Коричневая пенка на топлёном молоке.

Это вызвало недоумение. В доме не было денег не только на какую-то удивительную пенку, но и на обыкновенное молоко. Однако Бережков торжественно заявил:

— Этой краской я выкрашу свою новую машину. Клянусь, Машенька, у нас скоро появится своя машина.

Мария Николаевна слушала с улыбкой недоверия. Несколько задевший, Бережков ещё более торжественно добавил:

— Это будет самая красивая, самая чудесная машина в Москве. Около неё будут останавливаться, её будут разглядывать. А пока... Пока пусть банка постоит на этажерке.

## 21

Далее, в наших последующих беседах, Бережков рассказал, что всякий раз, когда ему приходила на ум новая выдумка, он с воодушевлением расписывал её дома, потом подводил сестру к этажерке, где стояла в неприкосновенности банка эмалевой краски, и лукаво спрашивал:

— Ну-с, что ты скажешь теперь об этой баночке? Не зародилось ли у тебя предчувствие, что моя пенка очень скоро пойдёт в ход?

И особым образом, словно под музыку, он водил в воздухе рукой. Было похоже, что он держит кисть и с нежностью красит.

Одной из таких выдумок был выключатель. Да, да, маленький комнатный электровыключатель. Возможно, где-нибудь в архивах за 1923 год ещё и сейчас хранится патентная заявка на изобретение под названием «выключатель Бережкова».

Сам он изложил мне это так:

— Началось вот с чего. Возвращаюсь как-то вечером домой. Нашариваю рукой выключатель. Что за дьявол? Света нет. Выключатель не работает. В последние дни я чинил его два раза, и вот снова в нём что-то неладно.

Не угодно ли, вы приходите к себе, может быть, после какого-то решительного разговора, в мыслях печально повторяя, что женщины не любят неудачников, приходите с разбитыми мечтаниями, которые столько раз витали в вашей комнате, и... Впрочем, неважно, чем я был расстроен в этот вечер (в нашей книге мы с вами не касаемся моих сердечных тайн), но я больше не захотел чинить эту испорченную, надоевшую вещь. Попытка сорвал её и выбросил. И завалился спать.

Утром я проснулся совсем в другом настроении. Когда-то, в студенческие годы, Ганьшин, бывало, будил меня фразой: «Вставайте, вас ждут великие дела!» Ганьшин клялся, что граф Сен-Симон, знаменитый утопист, приказал слуге поднимать его каждое утро таким возгласом. Сейчас, проснувшись, я моментально произнёс эту фразу и решил: «Пойду поброжу, поищу по Москве счастья, кстати куплю выключатель».

В Москве к тому времени открылось множество отличных государственных магазинов. В витринах были выставлены мужские и дамские костюмы, пальто, обувь разных фасонов, шёлковые абажуры, галстуки, перчатки, меха. Каскадами ниспадали разные красивые ткани: текстильная промышленность уже оживала после разрухи. Выключателей, однако, нигде не оказалось.

Не спеша — спешить мне было некуда — я добрался до известного всем москвичам магазина электротехнических изделий на Мясницкой, ныне улице Кирова.

Представьте, выключателей не оказалось и там. Я попросил позвать заведующего. Вышел маленький приятный старик.

— Скажите, пожалуйста, почему во всей Москве нет выключателей?

— Временно наши фабрики не делают. Не хватает металла.

— Какого металла?

— Для корпусов. Делали корпуса из меди, из жести. Теперь этих материалов нет.

— А скоро ли будут?

— Ничего не известно. Лично я предполагаю, что не скоро.

— Гм... А что, если,— сказал я,— делать выключатели из чего-либо иного?

Мой собеседник улыбнулся.

— Надо изобрести.

— Изобрести? — переспросил я.

И в тот же момент — как хотите, верьте или нет — я уже придумал, уже изобрёл, как и из чего делать выключатели.

В том же доме на втором этаже помещалось и правление «Электротреста». Я немедленно поднялся туда. Отыскал там заведующего производственным отделом. Заявил, что обошёл всю Москву и не мог купить выключателя. Узнал то же самое, что и в магазине: для выключателей в данный момент на фабриках нет металла.

— Но, может быть, — спросил я, — вы готовите выпуск выключателей иной конструкции? Из иных материалов?

— Нет, это у нас пока не запланировано. Надеемся, будет металл. Ожидаем.

Откланявшись, я удалился, не раскрывая своих замыслов.

На улицу вышел возбуждённый. Моя идея была очень проста: я придумал выключатель из стекла. Замечу здесь кратко, что идея у меня всегда возникает, как образ и чертёж вещи. Уже в ту минуту, когда меня озарило в магазине, я мысленно увидел совершенно готовую вещь — её изящную форму, присущую данному виду материала, её цвет, почему-то синий, все её внутренние выемки, расположение винтов, удобную, красивую кнопку. Но, самое главное, я тут же представил себе пресс собственной, совершенно оригинальной конструкции для штамповки моих выключателей.

Будто под лёгкую музыку я шагал и шагал, уже влюблённый в своё новое изобретение — «выключатель Бережкова». Конечно, это звучит юмористически: «выключатель Бережкова», но фантазия по каким-то своим законам вдохновенно творила, как в любом случае, когда я что-

нибудь выдумывал, будь то мотор, или мельница, или всего лишь выключатель.

И одновременно неслись мысли о моей судьбе. Да, мне надо изобретать и изобретать.

Эх, когда же я осную собственную конструкторскую фирму, своё чертёжное бюро, свою контору? Над входом повешу небольшую вывеску: «Бережков. Контора изобретений». Из дерзости, из мальчишеского озорства подмывало прибавить на вывеске ещё одну строку: «Изобретаю решительно всё». Вот был бы фурор! Но всего лучше было бы так: на изящном щитке под стеклом выведено лишь одно слово «Бережков». И всякий прохожий знал бы, что здесь, за этой надписью, за дверью, находится знаменитая контора гениальных изобретений.

Однако и сейчас прохожие с любопытством оглядывают меня. Странно, почему они так смотрят: я, кажется, пока что не прославился. Э, ведь я, как полоумный, жестикулирую и разговариваю с собой. Это, чёрт побери, обязательно бывает, когда я увлечён.

Да, я увлёкся. О конторе изобретений думать пока рано. Нужны какая-то база, репутация, фонд капитальных затрат. Короче говоря, нужна удача!

Вдруг одна мысль заставила меня остановиться среди тротуара. По Москве бродит множество изобретателей. Неужели никто раньше меня не увидел, не протянул руку, не поднял эту драгоценную находку? А что, если в Комитете по делам изобретений уже заявлен и запатентован новый выключатель? И, может быть, не один.

Скорее туда! Скорее ставить заявочный столб, если он не поставлен. Я вскочил на ходу в трамвай, как вскакивали герои Джека Лондона в несущиеся нарты, запряжённые собаками, спеша вбивать колья в вольную землю, ещё никем не занятую, где найдена золотая жила.

Было бы слишком долго излагать все перипетии моего изобретения. Скажу вам кратко. С заявкой меня никто не опередил. Соорудив свой штамп в мастерских Высшего технического училища, я провёл затем несколько месяцев на одном стекольном заводе под Москвой, где меня приютили и приласкали, поили и кормили, лишь бы я «довёл» во славу стекольного дела свою вещь. После многих опытов мы получили прелестнейшие корпуса чудесной окраски: под рубин, под топаз, под аметист. Но нас побила пластмасса (или, по тогдашнему выражению, «карболит»). Государственная комиссия, которая решала вопрос о производстве выключателей, отдала предпочтение фабрике пластических масс, представившей свои образцы.

Как видите, не повезло... Мои стеклянные выключатели так и не появились в магазинах. Оставалась нетронутой на этажерке и моя баночка эмалевой краски.

*(Продолжение следует)*





---

## МИХАИЛ ЛУКОНИН

★

### ТОВАРИЩАМ

Я живу на Песчаной,  
приходите ко мне!  
Снег и снег величаво  
кружится в вышине.  
Снег и снег, снег и снег...  
Товарищи,  
приходите скорей!  
Снег оттопайте тающий,  
веник есть у дверей.

Я прошёл по дорогам  
из Москвы в Сталинград,  
и теперь я о многом  
побеседовать рад.  
Нам, товарищи, вместе  
надо быть в этот час.  
Я дорогою вести  
встретил —  
вести от вас.  
Вести важные плыли  
через лес, через степь.  
в тех вагонах, что были  
с меткой:

«Годен под хлеб».

Грейдер вытерт до лоска,  
кони шли и быки,  
от вестей на повозках  
распирало мешки.  
«ЗИСы» встречные пели,  
было весело им,  
и рессоры терпели  
под зерном трудовым.  
Проводил меня снова  
Сталинград на заре.  
Мне не надо иного,  
чем земля в ноябре!..

Я живу...

вы запомните.

Приходите, друзья!  
Мне без вас в этой комнате  
больше просто нельзя.  
Я зову вас надолго —

до конца моих дней,  
как зовёт меня Волга  
и поэма о ней.  
Собирайтесь от Волги,  
от речонки любой.  
Чистый ветер тревоги  
захватите с собой.  
Отогрева, обдува  
жду от ветра того.  
Очень надо обдумать  
мне себя самого...

Снег, товарищи.  
В инее  
стёкла окон моих,  
что-то очень уж зимнее  
нанесло на двоих.  
Где сегодня летаете?  
Приходите ко мне,  
отдышите,  
оттайте  
иней тот на окне!

## СТАРИК

Двор МТС,  
закатом занесённый,  
всё утихал.  
Плотней ложились тени.  
Стоял над душевой весёлый гомон,  
устало рассыпались голоса.  
Шли по домам рабочие  
и дружно  
кивали старику:  
— Спокойной ночи!..  
И выходили.  
В воздухе неслышно  
слоились папиросные дымки.  
Машины остывали от работы,  
под ними куры шествовали важно,  
выскивая в хедерах комбайнов  
и в гусеницах тракторных горячих  
застрявшие неловко колоски.  
И был петух похож на бригадира,  
он смело полз под выгнутые днища,  
звал, наводил, указывал,  
шёл дальше,  
тащил нигролом вымазанный хвост.  
Так вечерело.  
Так и вечерело.  
Тогда старик за дело принимался —  
ворота закрывал  
и шёл к машинам,  
поглаживал, похлопывал хозяйски  
луною освещённые бока.

Потом влезал на самый крайний трактор,  
что у ворот.

Садился на сиденье,  
склоняя голову на рычаги.

А ночь дышала...

Трактор, оживая,  
пошёл, пошёл.

И перед ним лежало  
парное поле,  
борозды...

Вдали

шумела рожь озимая без края,  
вставало солнце. Близилась страда.

Гудел мотор.

В работе сразу взмокла  
рубашка на спине у тракториста,  
он капельки с лица, смеясь, стирает  
плечом,

не выпуская рычагов...

— Эй, кто там, на машине?

— Кто там?

— Кто там?

— Да это Васька! — ахают девочки,  
роняя неожиданно серпы.

А рожь сама за трактором ложится,  
комбайн стрекочет.

Из села за горкой

гармонь доносит тонкий перебор.

Потом в лицо повеяло прохладой.

Дрожит в руках машина. День в разгаре.

И дышится легко под этим небом...

— Опять уснул.

— Слабеет дед Василий,

пожалуй, надо сторожа менять,—  
толкуют, собираясь, трактористы,  
жалуют.

А старик с улыбкой гордой  
спит, на большой рычаг облокотясь.

И юность не придёт уже обратно,

страда к нему обратно не вернётся.

Рассвет идёт на цыпочках к нему.

Не надо,

я прошу вас —

не будите!

Он на свиданьи с юностью далёкой,  
постойте,

пусть досмотрит эти сны!



---

И. ГОРЕЛИК

★

## ТОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ

Рассказ

**У**ходил с завода Анатолий Максимович Рудницкий, главный технолог. Трудно было представить себе, что отныне в большом зале — отделе главного технолога — уже не приведётся встретить этого высокого близорукого человека, так шурившего при разговоре глаза, что казалось, теперь-то он совсем не видит собеседника; и уже не будут мешать ничему стремительному бегу по залу длинные, паганелевские ноги, вечно высывывавшиеся из-под маленького канцелярского стола, за которым шесть лет просидел этот милый и спокойный человек. Другой сядет на его место. Каким он окажется? Сумеет ли этот новый, ещё никому не известный, сохранить дружеские отношения с директором завода Кононенко, с мастерами в цехах, с конструкторами или, как это нередко бывает, затеет нескончаемую «гражданскую войну» между ОГК и ОГТ — отделом главного конструктора и отделом главного технолога?

В уходе Рудницкого не было ничего неестественного. Он получал повышение, становился главным инженером соседнего завода. Надо же человеку расти! И всё-таки было жаль расставаться — так привыкли к нему люди.

Только один человек не разделял общего огорчения — старый инженер Сергей Арсентьевич Баевский. Уход начальника открывал долгожданные возможности. Будет вполне нормальным и справедливым, если Кононенко назначит на освободившееся место не кого-нибудь со стороны, а его, Баевского, того, кто на протяжении многих лет был заместителем Рудницкого и, немало хлебнув неприятностей, выпадавших на долю технологов, уже заработал право на самостоятельную работу. От совершенно равного Кононенко, правда, можно было ожидать каких угодно выкрутасов: этот, как известно, умел делать непредвиденные для партнёра ходы. Но и в таком случае у Баевского оставалась в резерве другая перспектива: став главным инженером «Красного знамени», Рудницкий мог со временем перетащить его к себе и сделать своей правой рукой.

Одни огорчались, Баевский строил планы, сам же Рудницкий находился в состоянии удивления. Повышения он не ожидал и, признаться, на него не рассчитывал. Оно не радовало, а, как ни странно, обижало. Никто, в сущности, прямо не спросил, хочет ли он перейти на другое предприятие, пусть и на большую должность; никто не вызывал его для специального разговора в Москву, в министерство. Только однажды приезжавший на завод заместитель министра по кадрам полуслушя сказал:

— А не пора ли вам, Анатолий Максимович, свежего ветерка глотнуть?

— В каком смысле? — спросил Рудницкий, не придавая большого значения этому вопросу, брошенному мельком, между делом.

— Ну, людей посмотреть, себя проявить...

— Вам виднее...— как всегда миролюбиво соглашаясь, ответил Рудницкий.

Вот и всё, если не считать ещё, что в одну из поездок в Москву в главе почему-то усиленно посвящали Рудницкого в положение дел на другом машиностроительном заводе того же города — «Красное знамя». Как будто он хуже их знал, что творится у соседа! Его просили хорошенько подумать, а потом посоветовать, как сделать наконец этот завод настоящим передовым предприятием.

И вот пришёл приказ о его назначении. Всё уже оказалось согласованным с горкомом. Из Москвы звонил начальник главка, поздравляя Рудницкого, сказал, какие надежды в министерстве возлагают на нового главного инженера. Ему предложили приехать в Москву, если есть необходимость в личной встрече, и сделали даже намёк на то, что, дескать, это только начало, пусть Рудницкий приступит к работе, пообвыкнет, а там будет видно...

Рудницкий выслушал всё это молча. Но и во время телефонного разговора и позже он не переставал думать о том, как трудно уходить от людей, с которыми в мире и согласии прожил шесть лет. Чувство горечи не покидало его. Как же так? Кто-то властной рукой передвинул его на другую клетку, отчего он из простой пешки (а так уж сложилось у них на заводе: технолог — это не больше, чем простая пешка, маленький винтик в машине) сразу стал ферзем, а чувствовал он себя при этом вовсе не ферзем...

Ещё одно обстоятельство, может быть самое обидное, расстраивало Рудницкого: как получилось, что директор завода отдал его без всякого боя? Почему он не вмешался, не отстоял? Неужели только потому, что не захотел ссориться с министерскими работниками?

Рудницкий находил этому одно лишь объяснение: директор никогда не ценил и теперь не ценит технологов, потому он и расстаётся с ними с такой лёгкостью.

Всякая неизвестность всегда пугала Рудницкого, и будущая работа тоже вызывала в нём ощущение тревожного томления: «Как-то оно там сложится?» Но он старался успокоить себя. В тех двух-трёх местах, где ему довелось работать, он умел находить товарищеский тон, ладил с людьми, даже с директором Кононенко. Поладит и сейчас. И во что бы то ни стало постарается вытянуть «Красное знамя».

Через день он уже передавал дела Сергею Арсентьевичу Баевскому, который, впредь до появления постоянного преемника, становился главным технологом.

Кончив разговор со своим заместителем, терпеливо и внешне почтительно выслушивавшим последние немудрёные наставления бывшего начальника, Рудницкий, жалко улыбнувшись, сказал:

— Вот видите. Повысили...— и ушёл попрощаться с директором в последний раз.

Завод, которым руководил Кононенко, много лет подряд работал хорошо; если он и не числился первым по министерству, то и не вызывал там тревоги. Из года в год планы выполнялись; машины выпускались примерно одинаковыми партиями каждый месяц, так что, привыкнув к ритму, заводские работники не чувствовали чрезмерного напряжения в конце квартала или года. Каждая новая программа приносила небольшое увеличение продукции, небольшое, но всё-таки увеличение. Иногда завод получал переходящее Красное знамя, иногда надолго утрачивал его, но никогда при этом не позорилось доброе имя «фирмы», как говаривал Кононенко. А что касается качества машин, то тут Кононенко любил даже похвалиться:

— Можем любую машинку сделать, даже чтоб она «папа-мама» кричала...

Секретарём партийного комитета на заводе был Михаил Кондратьевич Столбун — сильный работник, в прошлом конструктор, человек самостоятельных суждений. С директором он вёл себя независимо, впрочем, без нужды не демонстрируя этого.

Как раз заканчивалась лёгкая перепалка между ними, когда дверь отворилась и в кабинет заглянул Рудницкий.

— Заходите, заходите...— позвал директор.— Или теперь узнавать нас не будете, стали начальством?

— Я на минутку, только попрощаться.

— Зачем же на минутку?

Рудницкий приблизился к столу, Кононенко вышел ему навстречу, обнял, усадил в кресло.

— Видишь, Столбун,— сказал он, обращаясь к секретарю партийного комитета,— как оно бывает. Подрастёт в семье дочка, глядишь — в другой дом уходит.

— Да, именно так,— невнятно пробормотал Михаил Кондратьевич, и едва уловимая ироническая улыбка появилась на его лице.

— В большое плавание, значит. Что же, не забывайте нас,— продолжал Кононенко.— Чего-нибудь попросим, скажем, чугуничка в долг, не откажете, надеюсь, по старой памяти?.. А не хочется уходить?

— Так ведь не спрашивают.

— Ну, как говорится, не место красит человека... В общем, от души поздравляю вас с доверием, с повышением и всё такое прочее. Признаться, не знаю, какие при этом полагается говорить слова.

— Спасибо, я пошёл.— Рудницкий поднялся с кресла.— Думаю, и дальше будем друзьями...

— А как же!

Обернувшись к Столбуну, директор проговорил:

— Что же ты, партийный секретарь, молчишь? Сказал бы Анатолию Максимовичу добрые слова на дорожку... Что-нибудь душевное, морально-политическое...

Но тот и на этот раз произнёс невнятную фразу, а Рудницкий, быстро пожав обоим руки, поторопился уйти. Дверь за ним скрипнула, и после этого в кабинете воцарилась неловкая тишина. Директор не сразу сел в кресло. Некоторое время он продолжал ходить взад и вперёд по комнате, а Столбун, густо задымив, следил за ним испытующим взглядом. Наконец директор сел на своё место, посмотрел на Столбуна и недовольно произнёс:

— Ну, что ты?

— Ничего...

— У тебя все вопросы ко мне?

— Все,— ответил Столбун.

— Значит, договорились.

— Договорились.

— Вот, значит, так.

— Так,— подтвердил Столбун.

Казалось, между ними всё уже было переговорено на сегодня, но секретарь партийного комитета, повидимому, не собирался уходить. Глубоко затянувшись, пустив над собой колечко дыма и глядя не на директора, а куда-то вверх, в пространство, он произнёс:

— Это ты его, так сказать, выдвинул?

— Кого?

— Кого, кого...

— Да ты что? С ума сошёл?

— И думаешь, Василий Филиппович, я тебе верю?

— Что же, по-твоему, отдам я так, за здорово живёшь, главного технолога какому-то там «Красному знамени»?

— Да как же не отдашь, когда отдал...

— Нет, вы поглядите на него,— сказал Кононенко,— в мыслях читает. Что за партработник — экстрa класс.— И вдруг, расхохотавшись, мотнув головой, дескать: «вот напоролся», с обезоруживающей простотой сказал: — Ну, выдвинул, ну, посчитал человека неподходящим, зачем же ты меня вгоняешь в краску?

— Это другой разговор...

— Видишь ли, из него в цехах верёвки скоро стали бы вить... То ли он ко всему привык, присмотрелся и всё тут на заводе так ему примелькалось, что мысль у него обленилась, то ли просто характер стал инертным...

— Что-то он вкус к жизни утратил,— медленно, раздумывая, подтвердил Столбун.

— Вот, вот... Раньше он словно держался за какую-то ниточку, она его вела, он и двигался, а потом уронил и стал как слепой. Ходит ощупью, всем улыбается... Снимать жалко и держать — не расчёт.

— Да, не глупо ты это провернул,— усмехнулся Столбун.

— Ты не думай, я не то что по старому принципу поступил: «На тебе, боже, что мне не гоже»,— горячо сказал Кононенко.— Нет, я искренне полагаю, что перестановка его встряхнёт. Человек он в житейском смысле неплохой, инженер знающий. Людей встретит других, неизвестных, почувствует больше ответственности и начнёт веселее шевелиться.

— Может быть...— в раздумье проговорил Столбун.— И кого вместо него?

— А я ещё не знаю,— признался Кононенко.— Найдём. Поищем, так найдём. А если эту операцию не проделать, никогда бы искать не стали. Есть человек, и ладно... Не горит.

— Баевского?

— Подождёт малость. Я было о нём подумал, но как посмотрел — такое у него на физиономии счастье написано, что даже как-то за Рудницкого обидно стало. А Баевский уже и стол свой наискосок поставил,— усмехнулся директор,— сразу видно, кто теперь в отделе главный. От такого будет много треску, руководящих указаний, а дела — на грош. Пусть пока, конечно, заворачивает, а там найдём человека. Среди своих же и найдём.

— Только ты, Василий Филиппович, перед тем как на ком-нибудь остановишься, всё-таки с парткомом посоветуйся.

— А как же!

— Как же! — ворчливо сказал Столбун.— Небось, когда решил обратиться на Рудницкого внимание начальства, никого из нас не спросил.

— Это — другое дело. Это и по форме и по существу сделано было правильно. Тут обижаться не приходится. А как нового главного технолога подберу, первым делом приду к тебе. Твёрдо обещаю.

Несколько недель должность главного технолога оставалась вакантной. То, что Рудницкий ушёл с завода, никак не отразилось на работе отдела. Всё шло по-старому, без особых новшеств и без каких-либо больших упущений. И вдруг Баевскому удалось блеснуть.

Эта история тянулась ещё с тех времён, когда Рудницкий зажёгся идеей внедрить вихревую нарезку винтов. Кажется, то была последняя вспышка его инженерского темперамента. Для того чтобы сделать из куска металла винт необходимой точности, рабочий обычно подводил резец к изделию добрые три десятка раз и столько же раз отводил его, то есть совершал всю операцию примерно за тридцать проходов. Много минут, складывавшихся в часы, превращалось в то, что называется вспомогательным, непроизводительным временем.

В каком-то журнале Рудницкий прочитал о попытках на некоторых заводах нарезать винты вихревым способом. Винт должен был изготовляться за один-единственный проход. Не металлическая болванка вращалась перед резцом, а как раз наоборот. Заготовка была неподвижной, зато резцовая головка с зажатым в ней инструментом, подобно вихрю, обегала её и превращала металлическую болванку в изящно отработанный винт.

Рудницкий тогда загорелся, подолгу сидел в цехе, советовался со старыми рабочими, увлёк весь отдел этой идеей и кое-чего достиг: с короткими винтами дело шло отлично. Но во всём этом начинании было какое-то колдовство. Едва только токарь принимался обрабатывать вихревым способом длинные заготовки, как резцы не выдерживали, крошились или ломались. А самое главное, на длинных винтах получалась разность «шагов».

Расстояние между одним витком и другим, то есть то, что называется «шагом» винта, никак не выходило одинаковым. И, что самое странное, где-то под конец операции, во второй половине детали, «шаг» был равномерным, а первая половина вихляла, как будто работал пьяный человек, а не квалифицированный рабочий.

И Рудницкий, и Баевский, и ещё один технолог, спокойный человек, никогда не нервничавший и потому быстрее других разбиравшийся в загадках, Артемий Иванович Малинин, и самые опытные токари судили, рядили, но никак не могли доискаться причин. Так из этой затеи ничего и не вышло, и Рудницкий быстро к ней остыл. Артемий Иванович продолжал возиться с вихревой нарезкой, но ведь давно сложилось убеждение, что Малинин упрям, да к тому же и чудаковат. С него ничего не спрашивали и ему не мешали. Нравится ему заниматься «вихрем», пусть себе и трудится!

И вдруг, когда стали забывать не только о предложении Рудницкого, но и о самом бывшем главном технологe, Баевский сообщил главному инженеру Широкову, что у него есть необычайно важное известие. Через пятнадцать минут оба они уже стояли перед Кононенко, и сияющий Баевский докладывал директору, что проблема вихревой нарезки длинных винтов, можно сказать, решена.

Бережно, как будто он сам, этими руками в веснушках, выточил детали, Баевский положил на стол три сверкавших, словно их специально отполировали, длинных винта. ОТК их принял, и, если директор хочет, он может сам проверить «шаг». Что в начале, что в конце — одинаково! Допуск — плюс минус две сотки на десять «шагов». А сделан каждый винт за один проход! Хотите верьте, хотите нет.

— Ну, и кто же это постарался? Вы? — спросил Кононенко, хотя и не проявляя восторженности, как Баевский, но не скрывая удовольствия.

— Как — кто? Весь коллектив, — похвалился Баевский.

— Разумеется, — согласился директор, — но ведь был там какой-нибудь запевала, что ли... Помнится мне, все в отделе во главе с Рудницким горели, потом вслед за ним все остыли, кто-нибудь всё-таки поддерживал температуру?

— Ну, если вы так уж настаиваете, если вам нужен герой, — рассмеялся Баевский, — то, конечно, предпочтение надо отдать Артемию Ивановичу.

— Малинину? Это тому, что немножко глуховат?

— Да. Говорят, его на фронте контузило.

— Так, так. Артемий Иванович... А интересный он мужик? — не оставляя в покое Баевского, продолжал расспрашивать Кононенко. — Любопытный?

— Чудаковат.

— Вот как? — удивился директор.



— Не то что чудаковат, а какой-то странный. Я бы сказал, старомодный.

— Может быть, может быть...— Спрашивая, соглашаясь, снова задавая вопросы, Кононенко узнавал не только то, что думал Баевский о Малинине. Из ответов Баевского Кононенко хотел ещё отчётливее представить себе характер самого и. о. главного технолога, своего собеседника. Сейчас это было всего важнее директору.— Старомодный, говорите...— протянул Кононенко.— И в чём же это выражается?

— Никогда не погорячится, хоть бы тут пожар загорелся, говорит тихо. Как работе конец — одной минутки не задержится, будто у хозяйчика служит, а не на наш народ трудится... Рассердишься на него, а он шуруется, улыбается... Нет, странно, определённо странно. Да вы поближе приглядитесь к нему, Василий Филиппович, он того стоит, право слово.

— Некогда мне к оригинальным личностям присматриваться,— сказал директор с напускным равнодушием. Баевский его больше не интересовал, разговор можно было заканчивать, а для себя Кононенко уже твёрдо решил поближе познакомиться с Малининым. После короткой паузы директор добавил:— А вы всё-таки представьте его к премии. Только не забудьте. Какой бы он там старомодный ни был, а дело сделал. Вас же я сам представляю. Ты не возражаешь?— спросил он главного инженера Широкова, который не столько прислушивался к беседе, сколько следил за выражением лица Кононенко, удивляясь, как и. о. главного технолога не понимает игры директора.— А к вам, Сергей Арсентьевич, я зайду. Интересно мне, какими он дорожками плутал. Я ведь инженерию люблю. Мне бы не директором быть, а главным инженером. Да, да... Не смейся,— сказал он, заметив улыбку на лице Широкова.— Так, говорите, странно?— снова обратился он к Баевскому.

На следующий день работники отдела главного технолога увидели директора у себя. Одних технологов он расспрашивал, над чем те работают, с другими советовался, разговаривая с третьими, интересовался их семейными делами. Всё это было так непривычно; что люди немного нервничали, отвечали невпопад и мечтали о той минуте, когда Кононенко уйдёт к себе.

Повидимому, директор предупредил секретаршу, где будет находиться, потому что сюда непрерывно звонили из разных цехов, спрашивали директора, и Кононенко прямо отсюда отдавал распоряжения.

Под конец пребывания в отделе он подошёл к Артемию Ивановичу Малинину, несколько минут постоял за спиной технолога, который неподвижно сидел над какими-то бумагами, не шевелясь, ничего не вычерчивая, не делая никаких пометок. Почувствовав постороннего человека за собой, Малинин обернулся, привстал, поздоровался.

— Помешал?— спросил директор.

— Что?— не расслышал Малинин.

— Простите, кажется, помешал?— громче повторил Кононенко.

— Слегка... Ничего, успею доделать.

— До конца дня?

— Нет, до конца недели.

— Понятно. Ну, что новенького? Как работается?— спросил Кононенко, тут же подумав, что он почему-то не находит нужных слов и задаёт необыкновенно банальные вопросы.

Артемию Ивановичу посмотрел на директора не то удивлённым, не то чуть насмешливым взглядом и попрежнему спокойно ответил:

— Как работалось, так и работается.

Было заметно, что Малинин ждёт окончания этой странной церемонии, того, что можно было бы назвать «вторым знакомством» давно уже шапочно знакомых людей. Но Кононенко, задав ещё несколько незначитель-

ных вопросов, не только не ушёл, но, наоборот, плотнее уселся на стуле, который он хозяйским жестом потянул от соседнего стола.

— Хотелось бы знать,— сказал он уже деловито,— как же вы добились равномерного «шага» на винтах?

Сначала односложно, а потом, увидев на лице Кононенко искреннюю заинтересованность, подробно, в той последовательности, в какой Малинин сам для себя решал эту задачу, технолог объяснил, в чём состояло «колдовство», сбивавшее людей с толку. И, как тут же подумал Кононенко, Малинину пришлось призвать на помощь не только свои знания и опыт, но и то драгоценное качество, которое отличает истинно талантливых людей,— интуицию.

— Ну что ж,— сказал, улыбаясь, Кононенко.— Как всё хорошее — просто. Представляю, сколько вы натерпелись, пока догадались. Нравится мне, что вы не забросили эту работу.

— А как же иначе? — искренне удивился Малинин.

— По-всякому бывает... Мы ведь не исследовательский институт. Там любую работу нужно довести до конца, хотя бы для того, чтобы установить: эксперимент не удался! Науке и это важно знать. А на заводе, показалось, что не выходит,— бросай, возись с этим некогда.

— Да, Василий Филиппович, это верно. Так в жизни и происходит...

— Такова директорская психология... — будто подтрунивая над собой и как бы утверждая, что иначе и быть не может, сказал Кононенко.

Что-то всё же кольнуло его, когда Малинин охотно согласился: «Да, да... Директорская психология...» Уже собираясь уходить, Кононенко подумал: «А ты не такой простачок, каким тебя тут считают. Не зря ты меня заинтересовал...» Прощаясь, он сказал:

— Вы, говорят, уходите домой пунктуально в пять?

— Да. Есть грех.

— Укладываетесь в рабочие часы?

— Не всегда.

— И всё-таки уходите?

— Стараюсь, во всяком случае.

— Семья требует?

— Принцип.

— Принцип... — протянул Кононенко. — Всё-таки, если когда-нибудь задержитесь, загляните ко мне. Посидим в спокойной обстановке, поговорим. Только не раньше шести. А то ведь не дадут побеседовать.

— Слушаюсь, — ответил Малинин.

Видимо, технолог ни разу не ушёл позже обычного, потому что прошло больше недели, а он так и не встретился с директором. Тогда Кононенко начал сам захаживать в отдел.

Он не часто останавливался у стола Малинина. Но каждый раз, как будто невзначай, прислушивался к тому, как разговаривает Малинин с мастерами и с цеховыми технологами, являвшимися сюда со своими вопросами и сомнениями. Было что-то поразительно привлекательное в манере Малинина неторопливо искать и находить сложные технические решения. Всегда получалось так, что не он, Малинин, догадывался, как поступить, а тот, цеховой технолог, который пришёл сюда, растерянный, за советом. Технолог разводил руками: как просто... А Малинин, как будто забыв о только что решённой трудной задаче, уже занимался какими-то другими делами.

Кононенко быстро уловил ещё одну особенность Малинина: тот всегда точно знал, что ему нужно получить от собеседника.

Как это Малинин до сих пор оставался в тени?

Уже не было сомнений, что в работе, которую когда-то провёл отдел по уменьшению вспомогательного времени, немалая заслуга принадлежала Малинину. И в то, как были перестроены рабочие шкафчики в механическом цехе, оказывается, была вложена немалая толика малининского труда. И в другое и в третье...

Кононенко сумел узнать кое-что и о семье технолога. У него была жена — хирург городской больницы, как говорили, красивая, умная женщина, очень любившая мужа. Её считали властной, и ходили слухи, что она тонко, незаметно для Малинина, руководила всеми его поступками. Дочь их училась в институте. Жила с ними ещё бабушка, не то его, не то её мать...

«Из Малинина получится отличный главный технолог завода», — всё определённое решал Кононенко. В один из дней он поделился этой мыслью со Столбуном.

— А не рискуем мы взять, так сказать, второго Рудницкого? — усомнился Столбун. — Шило — на швейку?

— Ты посмотри, — горячо убеждал директор. — Человек он скромный, вперёд не лезет, точен до педантичности. Ни перед кем не лебезит... Не мальчишка какой-нибудь — серьёзный, вдумчивый человек, разумный инженер. Я не знаю ни одной толковой идеи, поступившей из цехов, снизу, которую он угробил бы или затормозил.

— Так, так... — отвечал Столбун. — Я-то против Малинина ничего не имею.

— И быть по сему. Давай считать это дело замётанным...

— Ну, всё-таки, может, ещё разок взвесим? Ты говоришь, вперёд не лезет... А может быть, ему не с чем? Точен? Педантичен? Хорошее качество! А не потому ли, что завод для него — служба, и только. Работает он добросовестно с восьми до пяти, а ушёл — и трава не расти... Идей не гробил — так ведь это, собственно говоря, элементарная обязанность. За это людям памятников не ставят.

Всё, что говорил Столбун, было по-своему резонным. Высказывал же он свои соображения как-то неопределённо — они относились непосредственно к Малинину и в то же время имели, так сказать, общий характер.

Кононенко стоял на своём.

— Надлежащий он человек на надлежащем месте, — доказывал директор. — Если б от меня зависело, я бы приказал всем начальникам отделов кадров на анкете, которую они представляют, ставить штамп: «Надлежащий человек на надлежащем месте». И расписываться. И нести за свою подпись моральную и материальную ответственность. Вот это было бы дело!

— А ты приглядишься к нему ещё, приглядишься!

— Да что он — девушка, жениться я должен? — уже начинал сердиться директор. — Этот тебе не подходит, потому что не лезет вперёд, а тот — оттого, что слишком выпячивает свою личность. Один работник плох, потому что до ночи не вылезает из цеха, весь в мыле, со всеми переругался, другой голоса никогда не повысит, как смене конец — домой уходит, — опять нехорошо.

— А Малинин не откажется?

— Знаешь, — рассмеялся директор, — мне это в голову не приходило. Пойдёт, уговорю!.. — уверенно махнул он рукой.

В тот же день Кононенко позвонил в отдел главного технолога, вызвал к телефону Малинина и попросил его задержаться на заводе. Как только в делах появится «окошечко», они смогут побеседовать.

— Хорошо, — ответил Малинин.

— Вы скажите дома, чтоб не ждали к ужину, дескать, директор назначил мне встречу, мы у него в кабинете чайку и попьём...

— Я имею привычку за несколько часов до ужина обязательно обедать, — улыбнулся Малинин.

— Теперь понятно, почему вас считают старомодным человеком, — рассмеялся директор. — Ну, в общем, скажете, что там сами считаете нужным, только я вас сегодня полою на часок... Между половиной седьмого и семью.

— Хорошо, — повторил Малинин.

В двадцать минут седьмого Кононенко вновь позвонил в технологический отдел. Ему ответили, что Артемий Иванович давно уже ушёл домой. Это было по крайней мере невежливо со стороны Малинина, и Кононенко рассердился. Но ровно через пятнадцать минут секретарша доложила: технолог Малинин в приёмной.

Небольшое «окошечко» в делах, которое образовалось у Кононенко, когда он позвонил в отдел главного технолога, чтобы пригласить Малинина для беседы, теперь было заполнено — у директора находился председатель завкома, двое других работников дожидались приёма. Заверив Малинина, что он постарается быстро отпустить людей, Кононенко попросил его посидеть тут, в кабинете, подождать. Вот тогда они смогут поговорить так, чтоб им никто не помешал.

Малинин устроился в сторонке, на одном из стульев, аккуратно расставленных вдоль стены, а директор продолжал разговаривать с председателем завкома, не обращая внимания на технолога и не стесняясь его присутствием. Впервые Малинин наблюдал за разговором Кононенко и заводского работника, можно сказать, с глазу на глаз; до этого случая он видел директора только на совещаниях, на торжественных собраниях или когда тот разговаривал с рабочими и инженерами в цехах.

Председатель завкома настаивал на том, чтобы Кононенко участвовал в заседании производственной комиссии, а Кононенко отказывался, обещая прислать вместо себя главного инженера.

— Я бы пришёл, Борис Петрович, — терпеливо объяснял Кононенко, — но как раз завтра будут хоронить Кирпичёва. Старый лекальщик, хороший человек, помнишь его? Не могу, не проси...

— Пусть пойдёт главный инженер, — настаивал председатель завкома. — Он и будет от дирекции.

— А я не от дирекции, я от себя лично пойду... Не ценишь ты старых рабочих, хоть и профсоюзный деятель... — мягко попрекнул Кононенко.

— Я о живых беспокоюсь. Кому-кому, а вам хорошо известно, — намекнул председатель завкома на их частые стычки.

— Да, да... — чтобы не спорить, согласился директор. — Но давай уж в этот день каждый по-своему: ты на комиссию, я на похороны... Любил я этого человека, не могу не пойти. И не в том дело, что каждый заметит, если Кононенко не придёт, а просто я сам себя уважать не стану...

Его нельзя было переубедить, и председатель завкома ушёл, так и не договорившись. Не только то понравилось Малинину, что директор проявил твёрдость, но и то, с какой сердечностью он говорил о покойном лекальщике, как верно чувствовал, что в этот печальный день рабочие обязательно вспомнят о директоре: проводит он или не проводит старого рабочего в его последний путь.

Потом пришёл начальник цеха, и Кононенко долго выпытывал у него, отчего не получается последняя модель машины. Что-то заедало шпиндель, и, хотя все расчёты были трижды проверены, её никак не удавалось отладить.

— В четвёртый раз мы с вами встречаемся и в четвёртый раз толкуем: отчего заедает шпиндель? — нетерпеливо расспрашивал Кононенко. — Что-нибудь с подшипниками, с системой смазки?

— Не знаю, Василий Филиппович, — в отчаянии отвечал начальник цеха. — Беда. Не получается.

— Когда ж вы, наконец, разделаетесь с ней? Сроки! Хоть самые приблизительные сроки! Не могу я работать с закрытыми глазами.

Но начальник цеха не находил объяснений.

— Может быть, в конструкции просчёт?

— Боюсь сказать.

Директор откинулся на спинку кресла, прищурил глаза, как-то насмешливо посмотрел и после короткой паузы, в течение которой он, казалось, оценивал своего собеседника, снял телефонную трубку и начал вызывать по очереди то главного инженера, то главного конструктора, то инструментальный цех. Он как бы невзначай польстил старому рабочему, назвав его «профессором» и попросив зайти завтра утром посоветоваться о том о сём, потом и в самом деле позвонил профессору Мельникову в Индустриальный институт и уговорил Николая Никитича приехать к ним завтра на завод.

Сделав всё, что только можно было, — а каждый новый телефонный разговор звучал упрёком начальнику цеха, — Кононенко на несколько мгновений откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза, словно отдыхая, потом сказал:

— Вот так. Ко мне бы приставал директор, я бы тоже сначала отвечал, как вы: «Не знаю, отчего заедает шпиндель, не знаю...» А уж очень бы напирал директор, я бы на вашем месте рассердился. Я бы ему так сказал: «Если бы я знал, отчего заедает шпиндель, его бы не заедало!» И голову даю на отсечение, директор стал бы вас уважать...

Начальник цеха улынулся. Малинин тоже.

С каждым человеком Кононенко разговаривал по-разному. С одним он говорил мягко, как будто упрасывая сделать любезность ему лично, Кононенко, а не просто директору или заводу, с которыми можно и не посчитаться; с другим — настойчиво, не допуская возражений; с третьим — просто по-товарищески, как бы советуясь. Это да ещё его необыкновенная энергия и находчивость открывали характер Кононенко в различных его проявлениях. Как видно, директор был ярким, сильным человеком.

Потом они остались вдвоём. Выйдя из-за стола, усаживая технолога рядом на диван, Кононенко по старой своей привычке решил сразу, как говорится, «брать быка за рога».

— Есть такая думка, — сказал он, пристально взглядываясь в лицо Малинина, — сделать вас главным технологом завода. Как вы к этому относитесь?

— Меня? — переспросил Малинин.

— Вас. Почему же нет?

— А я ещё не сказал «нет».

— Тогда выходит «да»?

— И этого я не говорил, — улыбаясь, возразил технолог.

— Ну, а третьего не бывает! — уверенно констатировал Кононенко. Для него действительно никогда не существовало третьего варианта.

— Разве? Бывает ещё «может быть»...

— Это ваш ответ?

— Бывает ещё «я подумаю»...

— Сколько же вам нужно времени на размышление?

— Три минуты. Можно, Василий Филиппович?

— Значит, помолчим?

— Помолчим.

Директор отошёл к окну, словно оставляя Малинина наедине, но технологу не понадобилось и такого короткого времени, чтобы принять решение.

— Вы не рассердитесь, Василий Филиппович, если я откажусь от этой высокой чести?

— Рассержусь! — сказал Кононенко. — Может быть, вы объясните, почему вас не устраивает такое предложение?

— Говорить правду?

Кононенко пожал плечами.

— Подумайте, что собой представляют технологи на наших заводах? На словах — как будто незаменимые люди. Начинаем новую машину — и давай, разрабатывай технологию изготовления каждой детали, технологию сборки, технологию того, другого, третьего... А на заводе нас мало, и делаем мы всё в спешке...

— Продолжайте, — сказал Кононенко.

— Да, я продолжу, я ведь только начал, — мягко, с виноватой улыбкой отозвался Малинин.

Он говорил о том, что есть профессии, которые каждому человеку кажутся на первый взгляд доступными, лёгкими и оттого не стоящими уважения. Никакой заводской работник не осмелится указывать конструктору, как спроектировать узел или машину. Для того чтобы вступить с конструктором в спор, нужно обладать эрудицией — это понимает всякий. А так уж установилось за многие годы, что нет инженера, который не считал бы себя вправе вмешиваться в технологические решения. Слово для того, чтобы определить наиболее простой, экономичный и быстрый способ изготовления детали, эрудиция вовсе не обязательна...

— Пожалуй, это верно... — рассмеялся Кононенко. — Во всяком случае, метко.

А Малинин продолжал. По его словам получалось, что технической мыслью на заводе никто не интересуется. Ставки у технологов маленькие, на заводе технологов меньше даже, чем конструкторов, хотя, по простой логике, должно быть не меньше. Если уж работники отдела главного технолога — люди второстепенные, что же говорить о технологах в цехах? В сущности, они на побегушках у начальника цеха. Сегодня занимаются одним, завтра другим... Не тем, что может серьёзно поднять цех, а тем, что жжёт, мешаят сию минуту работать...

Он говорил лаконично, не развивая, а как бы только намечая свою мысль, предоставляя Кононенко самому вникнуть в неё и тем самым показывая, что уважает собеседника, доверяет его уму и опыту. Выходило, что согласиться с предложением директора — значило принять и на себя долю ответственности за это положение, закрыть на него глаза и жить, как все живут.

И ещё он говорил о том, что ближайшие помощники директора резко разделены на две группы: тех, кто решает технические проблемы, и тех, кто заботится о хозяйственной стороне дела. Казалось бы, одни должны дополнять других и всё должно идти гладко, хорошо. Нередко так оно и бывает. Но жизнь сложна, и часто она заставляет из меньшего вычитать большее, да так, чтобы получить разность со знаком плюс... Разве не так? Разве жизнь не сталкивает иной раз людей одной цели лбами? Цели одни, а пути оказываются разными. Особенно когда осваивается новая машина. А директор, тот, кто должен быть арбитром, почти всегда жертвует технической победой, которая окупит все усилия, когда она придёт, ради сегодняшнего преходящего успеха. Он первый посягает на технологию, если у него не ладится с программой. И выходит, что, хочет того или не хочет директор, по злой ли воле или в силу обстоятельств, он перестаёт объединять людей вокруг важнейших принципов, на которых строится производство, и становится не арбитром, а стороной в споре. Иные с этим мирятся, а он, Малинин, не сможет...

Кононенко слушал то с насторожённым любопытством, то любуясь Малининым, а моментами и с лёгкой неприязнью. По странной логике

Малинина получалось, что если он окажется главным технологом, то из-за всех этих причин не сможет дать даже десятой доли того, чего от него начнут ждать. А если останется на прежнем месте, право, сделает во много раз больше...

— Нет уж, увольте, Василий Филиппович. Не по характеру моему эта должность. Да я и не справлюсь с ней. Честное слово, не из ложной скромности...

Говорил Малинин тихо, и, может быть, именно поэтому каждое его слово казалось весомым, давно продуманным. Хотелось возразить такими же полновесными доводами, но Кононенко никак не ожидал отказа и сейчас этих доводов не находил.

— Да, незавидная должность... — согласился он только. — Что ж, примириться с этим? Вот стали бы вы главным технологом, Артемий Иванович, вы бы и подняли эту профессию на нашем заводе. А то Рудницкий её совсем уронил.

— Ну, что вы! — воскликнул Малинин. — Разве в Рудницком дело?!

— Как бы там ни было, — сказал Кононенко, который теперь тем сильнее желал назначения Малинина, чем упорнее технолог отказывался, — никуда вам от меня не уйти. Быть вам главным технологом! На радость друзьям, на страх врагам...

Воспользовавшись шутовой интонацией, с которой закончил фразу директор, Малинин и сам отделался шуткой.

— У меня странное впечатление — согласись я, и, может быть, сразу же в вашу душу заползло бы сомнение: а правильно ли я выбрал кандидата? Жизнь удивительно устроена. Если вы станете просить, чтоб вас отпустили с работы, то, хотя бы вы особой ценности и не представляли, за вас будут держаться изо всех сил...

— Верно, — смеясь, подхватил Кононенко. — Правда. И бывает так: станете цепляться за место — при первом же сокращении штатов окажетесь уволенным. Ну, что тут будешь делать! Таинственный закон природы!

Разговаривать, собственно, больше было не о чем, и, прощаясь, Кононенко заключил:

— Одним словом, так: подумайте. Может быть, если нужно, посоветуйтесь. И, пожалуйста, не отказывайтесь. Я вас просто прошу об этом. Через несколько дней вернёмся к нашему разговору. Идёт?

— Ладно, — на этот раз поколебавшись, сказал технолог. — Подумаю, только вряд ли скажу что-нибудь другое.

Он ушёл растерянный. Кононенко сразу почувствовал себя усталым. Что-то он не то говорил, не так убеждал. Да и Малинин не высказал полновесности своих обид за всех технологов. И всё же Кононенко решил, что, пораздумав, Малинин обязательно примет его предложение.

Но через два дня, не заходя в кабинет директора, а просто позвонив ему по телефону, Малинин сказал, что он тщательно всё взвесил и, к сожалению, должен отказаться. Он будет очень рад, если к этому вопросу не придётся возвращаться.

«Ну, дудки, — подумал Кононенко. — Слишком быстро решил. Это тебя жена накрутила. Ты было совсем согласился, я видел. Ничего, я сам с ней побеседую, я тебя отобью. Ещё посмотрим, как будет!»

Перед тем как уехать домой, по давней своей привычке Кононенко обходил заводские цехи. Всё его радовало. Сквозь широкие просветы окон он видел деревья, которые уже буйно разрослись. Когда-то Василий Филиппович сам приказал озеленить двор и, хотя возражал бухгалтер (не было средств), настоял на своём. Потом Госконтроль сделал на директора начёт. Но Кононенко не расстроился, а потом министр выдал ему перед отпуском лечебное пособие больше обычного, приблизительно на ту сумму, которую удержали по акту Госконтроля.

На сборке снимали последнюю в эту смену машину, и Кононенко веселили шумные разговоры слесарей, команды крановщиков, резкое скрежетание цепей... Он прошёл мимо аккуратно огороженного участка, на котором делался специальный заказ. Ещё два с половиной месяца — и заказ будет выполнен, освободится площадь. Кононенко уже заранее решил поместить там диспетчерский пункт, совсем как на большом заводе. Это удовлетворило бы его тщеславие, в котором Кононенко, разумеется, не признался бы даже самому себе. Потом он побывал и в строившейся новой литейной, обошёл двор...

Одна мысль не оставляла его ни на минуту. Как бы ему половчее, то есть так, чтобы это не показалось специально подстроеным, встретиться с женой Малинина, Галиной Владимировной? Нелепо было бы, да и несолидно явиться незванным к ним в дом. Может быть, пригласить её под каким-нибудь предлогом к себе, ну, скажем, поговорить об общественной работе в заводских яслях? Не годится, шито белыми нитками. Да и она ведь не без дела, хирург, и, говорят, неплохой.

И вдруг счастливая идея осенила его. Вероятно, Малинин, как и другие инженеры, бывает с женой по воскресеньям в заводском однодневном доме отдыха. Поехать туда, как будто случайно встретиться, найти повод поговорить?

В субботу он справился в завкоме и, к его полному удовольствию, узнал, что Малинин взял две путёвки: одну — для себя, другую — то ли для жены, то ли для дочери.

Едва приехав в дом отдыха, с трудом освободившись от опеки сестры-хозяйки, засуетившейся при виде директора, Кононенко спросил официантку:

— Настенька, Малинины где сидят?

И на её понимающий кивок заговорщицки сказал:

— Ага! И я там. Устрой.

Малинина оказалась невысокой миловидной шатенкой, выглядевшей много моложе своих лет, с гладко зачёсанными на пробор волосами, совсем не такой, как её представлял себе Кононенко. Интересно было наблюдать за Малиниными, когда они находились рядом: как будто совсем разные люди, и всё же что-то едва уловимое, что, пожалуй, трудно было определить, делало технолога и его жену похожими друг на друга.

Непринуждённый разговор начался сразу же за столиком и продолжался в парке, куда они вместе пошли гулять.

— Мы не будем говорить о болезнях человеческих? — сказала Галина Владимировна, и Кононенко пообещал, что не произнесёт на эту тему ни одного слова.

— И о заводских делах тоже?

— Разумеется! — весело откликнулся Кононенко. — Мы будем говорить о чём-нибудь, не имеющем отношения ни к технике, ни к медицине. О рыбах, хотите? О животных?

Он принялся рассказывать забавные истории из жизни рыб, а знал он их множество. Кононенко приводил такие странные названия, которых Малинина никогда не слышала. Иногда он снижал голос, как будто перед его взором мелькнула тень рыбы и он боялся её спугнуть.

Галина Владимировна слушала внимательно, чуть насмешливо, как будто думая: «Ты действительно разбираешься во всех этих чудесах, но только зачем щеголяешь?» Потом он рассказывал об оленях. У них есть друзья и враги. Когда олениха родит оленёнка, тут же появляются вороны. Они работают попарно. Одна кружится, отвлекая внимание матки, другая норовит выклевывать младенцу глаза, чтобы он не смог уйти и можно было потом насладиться его мясом. Но мудрая олениха собирает силы, чтобы сдержаться и не смотреть на ворону, которая кружит над ней.



И своим телом она прикрывает оленёнка. А сорока — друг оленя. В его шкуру часто заползают клещи, причиняя боль. Сорока садится то на шею, то на спину животного и вытаскивает клеща. Олени радуются, подставляют себя и покорно ждут, пока сороки склёвывают клещей.

— О, оленихи умеют отличить друзей от врагов, они никогда не спутают ворону с сорокой... — говорил Кононенко.

Артемий Иванович тоже с интересом слушал. Иногда опирался на руку жены, и они шли рядом, тесно прижавшись друг к другу, не стесняясь постороннего человека; иногда Малинин, погрузившись в свои мысли, отходил в сторону. Всё время Кононенко казалось, что Галина Владимировна ждёт, когда же он заговорит о том, что на самом деле его интересует, и пытался смягчить её насторожённость. В какой-то момент, воспользовавшись тем, что Артемий Иванович оставил их, она вдруг спросила:

— Вы предложили Малинину пост главного технолога?

— Да,— сказал Кононенко, мгновенно почувствовав, что с этой женщиной нет смысла хитрить.

— Он отказался?

— А вы не знаете?

— Знаю, конечно.

— Не без вашего влияния?

Она подняла голову, удивлённо посмотрев на Кононенко снизу вверх.

— Ошибаетесь.

— Разве? — поразился Кононенко.— А я думал, что это вы его так настроили. Запугали...

Она рассмеялась.

— Вещь невозможная.

— Что именно?

— Запугать Малинина.

— Так, может, мы вместе уговорим Артемия Ивановича?

— А вы действительно хотите, чтоб он стал у вас главным технологом?

— Если б я не хотел этого, он никогда бы им не стал.

— Да, разумеется... — согласилась она. — А вам не кажется, что вы нисколько не знаете Малинина?

— Разве он такая уж непостижимая личность?

— Нет, конечно. Он просто очень хороший человек.

— И я так полагаю.

Они помолчали некоторое время, потом она заговорила, медленно, как будто размышляя вслух:

— Все наши знакомые считают, что в семье я, так сказать, главная. Как же, Галина — она властная... И только я одна знаю, что главный-то он. Мы и ссоримся и миримся. Но почему-то всегда оказывается, что прав он, а не я. Как это получается — один бог ведает.

Кононенко улыбнулся. Она заметила, нахмурилась.

— Он любит завод, — продолжала она, — но там, у вас, этого, кажется, не понимают. А я признаюсь: мне как-то обидно за него. Столько лет он ходит, если так можно выразиться, никем не открытым. Вот теперь вы, вероятно, понимаете, почему я хотела бы, чтобы он ответил соглашением на ваше предложение. И в то же время мне боязно за него.

— Чепуха!

— Вас ничто не смущает?

— Абсолютно.

— Смотрите, Василий Филиппович, — сказала она с шутливой угрозой. — Вы в нём главное почувствовали? Это человек всегда очень определённой, очень точной позиции.

— Как это понять?

— Ну, хотя бы так: тот, кто его знает, всегда сможет угадать, что он скажет о таком человеке, а как отнесётся к другому, как поступит в этом случае, а как в ином...

— Вы не упрощаете его? Любя? — сказал Кононенко.

— Когда-нибудь вы сами ответите на этот вопрос. Хорошо? — лукаво ответила она.

— Идёт. Всё меня устраивает в Малинине.

— Послушайте, — сказала Галина Владимировна, — имейте в виду: он не подаст заявления об уходе, если с вами не поладит.

— Но ведь вы же ладите!

— Да, потому что он мой, куда ему от меня податься... — рассмеялась Галина Владимировна.

— А тогда он будет ещё больше наш, заводской...

— Да, будет. Хотелось бы мне только, чтоб вы никогда об этом не пожалели.

— Пять минут тому назад вы сообщили, что застращать Малинина — вещь немислимая, — в тон ей пошутил Кононенко. — Может, это относится и ко мне?

— Охотно верю. Как раз это меня и смущает.

— Да что вы, милая Галина Владимировна. Сами говорите: человек хороший, точной позиции, работы такой достоин. Что же ещё требуется? — сказал Кононенко. И вдруг подумал: «А ты, Василий Филиппович, тоже имеешь по всем вопросам точную позицию?» И с удовольствием ответил себе: «Конечно. Разве разговор с Галиной Владимировной и то, как я добиваюсь Малинина, не доказывает, что и у меня точная позиция?»

Малинин приближался к ним, они перевели разговор на другую тему. А Артемий Иванович, словно почувствовав, что жена только что говорила о нём, опёрся на её руку. И тогда Кононенко, в нарушение всей своей принятой им на сегодня тактической линии, сказал:

— И не вздумайте отказываться, Артемий Иванович! Мне не удалось склонить на свою сторону вашу жену. Но не могу же я уехать отсюда со счётом два ноль не в мою пользу?..

Назначение Артемия Ивановича Малинина поразило всех сотрудников ещё больше, чем уход Рудницкого. Как? Этот глуховатый, малоразговорчивый, педантичный человек?.. Конечно, нельзя отрицать за ним инженерских качеств, но ведь надо иметь, кроме того, и административную «жилку», талант организатора! Больше всех других был взволнован Баевский. Он уже свыкся со своим новым положением — исполняющего обязанности главного технолога, и то, что теперь оказался как бы обманутым, вызывало в нём чувство бессильного негодования.

Сергею Арсентьевичу казалось, что он понимает нехитрую механику директорского манёвра. Кононенко, конечно, несколько не заботился о заводе, больше всего он думал о самом себе. Бесцветная фигура главного технолога должна была ещё рельефнее выделить распорядительность, энергию и предприимчивость директора. Если бы, паче чаяния, Малинин ввёл какие-нибудь новшества, то все заслуги Кононенко мог бы легко приписать себе. А в случае провала нетрудно было сослаться на неопытность помощников, с которыми директору приходилось иметь дело. Прежде — Рудницкий, теперь — Малинин... Просто беда!

Баевский не знал обстоятельств, при которых Рудницкий ушёл на «Красное знамя», а если бы и знал, не стал бы над этим задумываться. Это не совпадало с теми мотивами поступков директора, которые придумал Баевский. Обиднее же всего казалось то, что Малинин как бы не оправдал надежд и о. главного технолога. Ведь это он, Баевский, обратил внимание директора на Малинина. А тот оказался ловкачом, проявил

практическую смётку, ухитрился понравиться директору завода и теперь занял место Баевского.

Временами хотелось пойти к секретарю партийного комитета Столбуну, излить перед ним душу. Но потом Баевский махнул рукой: «Все они в сговоре, одним миром мазаны»...

Внешне ничто не изменилось в поведении Артемия Ивановича. Так же неторопливо рассматривал он чертежи и делал какие-то выписки; как и прежде, чаще бывал в цехах, чем в своём отделе, как будто там ему лучше думалось. Он мог, опершись о станину, набросать карандашом на маленьком обрывке бумаги чертёжик и отдать его цеховому технологу. «Вот так попробуйте...» Это была лишь графически выраженная идея, над которой нужно было ещё думать и думать. Но Малинин делился своими идеями с беспечной щедростью. Никому не приходило в голову, что, вернувшись в отдел, он мелким почерком, аккуратно, заносил всё в тетрадку, чтобы потом не забыть проверить.

Теперь он часто задерживался на заводе, но выражал вслух недовольство, если сотрудники засиживались в отделе. Впрочем, сердился он тоже как-то по-особенному, с напускной строгостью, как врач на больного, не принявшего во-время назначенных ему лекарств.

За короткий срок Малинин успел сделать много хороших, хотя и небольших дел. Из года в год так велось, что механический цех, стараясь поскорее выполнить план, передавал на сборку корпусные детали без мелких отверстий, через которые крепились другие части. Собирая машину, сборщики заодно и делали эти отверстия. Но сборщики сверлили вручную, а в механическом цехе можно было бы делать на станках, быстрее и точнее.

— Да стоит ли менять, Артемий Иванович? — пытался урезонить начальник механического цеха. — Сборщики привыкли, а нам — возня.

И всё же настоять на своём начальнику цеха не удалось. А идти наперекор Малинину с первых его шагов на новой должности не хотелось.

Кононенко узнал об этой перемене случайно. То, что Малинин сломал привычный порядок — что и говорить, неразумный! — не потревожив директора, не втягивая его в спор между начальниками цехов, Кононенко понравилось.

— Мой-то какой молодец! — сказал он Столбуну. — А то, в самом деле, чистоплюями стали в механическом. Им, видишь ли, неохота заниматься какими-то паршивенькими отверстиями. Это же надо придумать!

— Стараются?

— Ещё как!..

С каждой неделей завод всё больше чувствовал влияние главного технолога. То он вмешался в работу термистов, уговорив их перевести некоторые детали на азотирование вместо цементации, и это оказалось удачным. То предложил заказать агрегатные станки, чтобы корпусные детали обрабатывались одновременно с четырёх-пяти сторон. Это было выгодно, да и ничто не нарушалось в планах директора, так как заказывать станки приходилось на стороне.

Нет, решительно Малинин оправдал надежды Кононенко. И зря мерещились Столбуну какие-то страхи.

Может быть, только один недостаток стоило отметить в работе Малинина. Всё, что он пока делал, носило случайный характер. Сегодня одно, завтра другое... Кононенко ещё не чувствовал ниточки, той, за которую когда-то держался Рудницкий.

Очень скоро, однако, Кононенко понял, что ошибается, и с этого всё и началось.

Приближалась зима, рано темнело, в пять часов секретарша уже включала свет в кабинете директора. Кононенко устал за день, но не растратил того запаса энергии, которым был заряжен с самого утра. Десять минут

тому назад из Москвы позвонил начальник главка. Он порадовал директора: плановики подсчитали результаты работы за квартал и собираются выдвигать завод на Красное знамя. Может быть, и не выгорит, зато вторая премия обеспечена.

Под ещё не присуждённую премию Кононенко выпросил дополнительные кредиты для переоборудования литейного цеха. Стоило министерству похвалить их завод, как у Кононенко тотчас оказывались неотложные нужды. Зато, если на предприятии не ладилось, он не совался с просьбами, как бы туго ни приходилось.

Директор соседнего завода однажды сказал Кононенко:

— Делаешь ты, Василий Филиппович, тактическую ошибку. Когда тебе плохо, требуй, даже лишку проси, всё дадут. Кто тебя знает, ещё выступишь на партактиве, речугу закатаешь: «Бросают, мол, при трудностях на произвол судьбы...» А в хорошие времена перебивайся сам. Тебе же тогда легче.

— По тактике, может быть, и правильно, а по стратегии — ещё неизвестно, — отшутился Кононенко. Он был твёрдо убеждён, что тем, кого жалеют, дают одни подачки и, только поднявшись на гребень волны, можно рассчитывать на щедрость.

Получив обещание насчёт кредитов, мысль о которых пришла ему в голову в самый момент беседы с начальником главка, Кононенко пришёл в отличное расположение духа. И когда в кабинет заглянул Малинин, он ему обрадовался. Директор считал, что он «открыл» Малинина, и теперь смотрел на главного технолога, как на собственное творение.

— Что будем дальше делать? — шумно приветствовал Кононенко Малинина. — Линию хочу чувствовать, линию главного технолога!

— Недоволен я собой, — утомлённо ответил Малинин. — Взгрустнулось. Вот и захотелось зайти, поговорить...

— А что такое? Дела идут неплохо. Слышал я краем уха, в Москве собираются нас к знамени представлять. Но я только тогда поверю, когда денежки поступят в банк.

— У вас неплохо, а у меня так себе. Там залатаю, тут заплату положу. Трудно как-то всё это сразу охватить, а нужно...

— Ну, и действуйте. Кто вам мешает?

— Вот, кстати, — сказал Малинин, не расслышав последних слов, — это вы разрешили выдать под шестерёнки нестандартную сталь?

— Главный инженер. Всё равно, что я.

— Неладно получилось...

— А что? — встревожился директор. — Неужели не сделали? Что же они, ведьмины внуки, хотят план запороть?

Малинин ни с того ни с сего улыбнулся.

— Да кто вас ослушается...

— То-то... — удовлетворённо вздохнул Кононенко. — Ну, и всё в порядке, и чего ж нервничать?

— А неправильное это распоряжение, — после неловкой паузы, словно он долго подыскивал слова, сказал Малинин. — Болванки вдвое полнее, чем надо, и погубили мы пропасть металла.

Директор поморщился. Что сделано, то сделано, к чему эти замечания!

— А как было поступить? — сказал он. — Нет сейчас на заводе другой стали. Это бы министерский работник какой-нибудь поругал меня — я понимаю, а вы-то свой человек.

— Да ведь это называется... — мягко проговорил Малинин и не окончил фразы. Директор перебил его:

— Нарушение технологии.

— Верно, — улыбнулся Малинин. — Директору всё можно?

Кононенко были неприятны эти упрёки, и, если бы их сделал другой работник, они не остались бы без ответа, но на главного технолога не хотелось сердиться, и Кононенко притворился, будто ничего обидного не было сказано. Малинин ушёл. Неприятный осадок после его слов долго ещё сохранился в душе Кононенко. Вот так всегда бывает: у человека хорошее настроение, а придёт кто-нибудь и ни с того ни с сего испортит.

Но на следующий день, проходя по цехам, Кононенко залюбовался тем, как главный технолог, в халате с чужого плеча, возился с машиной, которая, как все знали, никак не поддавалась отладке. И от вчерашнего, впервые возникшего неприязненного чувства к Малинину ничего не осталось.

А халат принадлежал токарю Ганьке Черняеву. Вдвоём они только что проверяли какое-то ганькино приспособление, и, когда рабочий протянул ему свой халат, он охотно взял, да так и забыл переодеться.

Года два тому назад счастливая мысль осенила Ганю: он придумал приспособление, позволявшее не напаивать, а механически закреплять резцовую пластинку на державке. Инструмент его оказался устойчивее обычного, и стружка не вилась, а ломалась, облегчая ему работу, а главное, у Ганьки никогда больше не было «ряби» — той волнистой поверхности, которая превращает изделие в брак.

О Ганьке зашумели на собраниях и в газетах. Портрет его повесили на огромный щит в заводском дворе. В каждом праздничном номере газеты, на первой полосе, красовался Гавриил Черняев, девятнадцатилетний новатор, в нарядном костюме. Галстук он надевал только для фотографа, и лицо Гани выходило недоуменно-напряжённым.

Популярность Черняева оказалась недолгой. Слишком быстро он возомнил о себе. Однажды, получив зарплату меньшую, чем, по его расчётам, ему полагалась, он сказал начальнику цеха:

— Я уже в шестую пятилетку вступаю, и мне вас оттуда что-то не видно...

Эта фраза мгновенно облетела весь завод, узнали о ней и в парткоме.

— Ты что думаешь, паренёк, всемирно известный новатор, — не скрывая издёвки, сказал Столбун, — ты какие себе выражения позволяешь? Мы тебя, дурака, учили, партия, можно сказать, на ноги поставила, прославил, а ты задрал свой конопатый нос?

— Вы партии не касайтесь, — запальчиво возразил Ганька. — Меня не партия, меня Дм. Красных сделал знаменитым.

— Дм. Красных? — опешил от неожиданности Столбун. — Это кто же будет — Дм. Красных? Я такого учреждения не знаю.

— Это не учреждение, а корреспондент, — гордо ответил Ганька. — И написал он про моё новаторство первый, когда вы ещё про меня ничего и не слышали.

— Дурень ты! — Столбун мазнул рукой по его голове, растрепав ему волосы, отчего Ганька сразу превратился в милого, смешного мальчишку. Столбун уже не мог больше сердиться на Черняева, он еле сдерживался, чтобы не расхотеться и тем не испортить весь педагогический эффект. — Садись, я тебе лекцию про партию и про меня с тобой прочитаю...

Очень скоро Ганька обнаружил, что газета выходит без его портрета, в президиум перестали выбирать и вообще никто им как будто не интересуется. После нескольких недель растерянности Ганька установил, что всё-таки жить ему стало спокойнее. Его не хвалили, но и не ждали от него чудес. Больше всего на свете он не выносил, когда его спрашивали: «Скоро ли нас чем-нибудь новеньким порадуете? Что теперь изобретаёте?» А несколько ребят, группировавшихся возле него и с восхищением следивших за ганькиной мастерской работой, попрежнему оставались ему верны, и это утешило Ганьку,

То ли Малинин не знал истории взлёта и падения Черняева, то ли не придавал ей значения, но, встретив Ганю в цехе, он внимательно выслушал его сбивчивый рассказ. У паренька были интересные замыслы. Он хотел, например, сделать пневматические тиски. Да, он не слесарь, а вот запала в голову такая идея. Ничего не надо нажимать, ничего не надо закручивать, повернул рычаг — воздух зашипел и зажал всё намертво. Быстро, и человеку удобно работать.

Была у него ещё мысль о барабанном кондукторе. Повернул барабан — и обрабатывай какое хочешь отверстие. А мастерить всё это, проверять, испытывать негде было.

— Пустили бы нас помудрить, мы бы такое понавыдумывали, — жалобно, перебивая друг друга, тянули Ганька и его дружки. — А то придёшь в БРИЗ, а там смотрят так подозрительно, будто ты только премию хочешь урвать...

Технологическая лаборатория — вот что нужно было заводу!

Уже не раз мечтал о ней Малинин с тех пор, как заменил Рудницкого.

Кто сказал, что завод не должен вести исследований, что для этого есть институты? Малинин отлично понимал, как много полезного могут дать предприятию люди науки. Но он верил и в способности заводских работников. И уж, во всяком случае, если заводу говорили, что он должен делать, то он был вправе сам ответить на вопрос, как это делать. А для этого позарез необходима технологическая лаборатория. Директор, назначая Малинина на новую должность, обещал поддерживать его. Вот и пришло время платить по векселю.

После той первой лёгкой размолвки между Малининым и Кононенко у них состоялся ещё один неприятный разговор. Он возник оттого, что в обработку были пущены совсем недавно поступившие на заводской склад чугунные отливки. Им бы, после грубой обдирки, ещё отлежаться, пройти тот естественный процесс «старения», без которого использованный в машине чугун мог через некоторое время деформироваться! Но ждать было некогда, не хватало даже времени для того, чтобы металл провести через термическую обработку, через стадию искусственного «старения». И директор махнул рукой:

— Некогда! Обойдётся...

Впервые Малинин не сдержал себя.

— Так велось до меня, так, видно, будет и впредь. Директор — первый нарушитель технологии.

— Ну, что вы такие жалостные слова произносите? — поморщился Кононенко. — Скажете ещё тоже: нарушитель. Может быть, я заодно нарушитель границы, нарушитель общественной тишины... Дело требует, нечего каждый раз в святцы смотреть.

— Неужто я выгляжу в ваших глазах педантом, обыкновенным тупым формалистом? — тихо, с горечью спросил Малинин. — Или милиционером, который стоит на техническом посту и всматривается, не нарушен ли где-нибудь порядок?

Директор улыбнулся, до того смешным показалось ему сравнение Малинина с милиционером на шумной заводской улице. А Малинин, заметив, что заставил Кононенко улыбнуться, продолжал:

— Поймите же меня правильно, Василий Филиппович. Я знаю, что в жизни всякое бывает, приходится лавировать. И пока это мелочи, частности, может быть, не стоит обращать на них внимание. Но вот сегодня мы отступили в одном, пустили, скажем, в ход нестандартную сталь, завтра — в другом, закрыли глаза на то, что металл не прошёл термообработку, — ведь в самом деле было некогда! — а там недалеко и до мысли: столько потеряли, чего ещё жалеть!

Разговор был неприятен Кононенко, Малинин хорошо сознавал это, но он решил выговориться до конца.

— А люди в цехах на нас смотрят и тоже сами себе дают индульгенцию. Нам можно, а им нельзя? Попробуй потом всё налаживать, завинчивать... А вы про меня думаете: педант он, милиционер...

Улыбка уже сошла с лица Кононенко, и директор сказал:

— Оставим этот разговор. Там видно будет...

Теперь, собираясь разговаривать с Кононенко о технологической лаборатории, Малинин отчётливо представлял себе, какие доводы приведёт директор против этой идеи. Инженеров туда дай, а их на заводе не так уж и много; рабочих дай, станки сними в цехах, переставь сюда... Когда ещё будут результаты, а хлопоты с первого дня!

Так и оказалось. Но, кроме всех этих причин, Кононенко не соглашался ещё и потому, что не находил ни одного метра свободной площади, которую можно было бы без ущерба для завода отдать под технологическую лабораторию.

— А участок, где шёл спецзаказ? — возразил Малинин. — Чем плох? С заказом рассчитались. Это место и отдайте нам.

И тут Малинин ощутил, что директор не просто не согласен, хуже, он как-то весь оштынился. Об этом надо забыть! Давно уже Кононенко вынашивал мысль устроить здесь диспетчерский пункт. Он живо представлял себе застеклённые боксы, листы графиков, над которыми склонились диспетчеры, телефонные аппараты... И вдруг кто-то покушается на выношенную, можно сказать, взлелеянную директором мечту!

— Вы, кажется, поставили перед собой задачу обязательно со мной поспорить. Знаете, это вам удаётся, — сухо сказал Кононенко, напрягшись от возмущения и даже упершись локтями в стол, чтобы удержаться на месте.

— Отнюдь! — ответил главный технолог. — По правде сказать, я этого боюсь. Тогда уж не видать мне технологической лаборатории. А хочется дожить до того дня, когда вы всё-таки подпишете приказ, — попытался внести в разговор шутивную интонацию Малинин.

— И того вам хочется и этого хочется... — сказал Кононенко. — Вот уж на что вы никогда не согласитесь — это поменяться со мной местами. А стоило бы, хоть на одну неделю, просто так, для общего развития...

...И всё-таки лаборатория была создана. Как это получилось, трудно сказать, но вдруг, на всех собраниях, на партийном заводском активе, даже в кружке по изучению экономических проблем социализма, кто-нибудь нет-нет да и заговаривал о лаборатории, без которой, как вдруг выяснилось, завод совершенно не мог работать.

Уступая, Кононенко решил: чёрт с ним, с этим одержимым. Может быть, он хоть теперь отвяжется. Но скоро директор убедился, что вызвал дух, который уже не в состоянии укротить.

То, что Кононенко отметил ещё в ту пору, когда только наблюдал за Малининым, теперь проявилось в полной мере: Малинин знал, чего хотел. Смешно было, что ещё не так давно Кононенко мысленно упрекал главного технолога за то, что он не имеет руководящей идеи, ниточки, за которую держится.

«Всё верно, — размышлял Кононенко, — Малинин развернул буйную активность, он хочет лучшего для завода. А разве я хочу плохого?!» Чувство обиды всё больше поднималось в душе директора. Ведь едва Малинин бросал на что-нибудь свой взгляд, как почему-то тотчас оказывалось, что и тут не всё ладно. Это не могло не затронуть Кононенко — он любил свой завод и отдал ему много сил.

Вот они строили литейный цех, мечтали: будут дополнительные вагранки, расширится помещение, исчезнет эта вечная нехватка чугуна. А Малинин не радовался вместе с ними. Спокойно и бесстрастно он сказал, что литейный цех запроектирован неправильно, точно таким же, как

и прежняя литейка, только больших размеров. А надо-де внедрять корковые формы, литьё по выплавляемым моделям, всякие там красивые штучки... Тогда, мол, можно будет в достатке обеспечить себя отливками для средних и мелких деталей и даже соседей снабжать ими от всего сердца.

— А крупные кто нам даст? — спросил директор не без ехидства.

— Получим на стороне... — спокойно ответил Малинин.

— Кооперация?! — понимающе кивнул головой Кононенко. — А если обманет меня ваш кооператор, зашьётся, что я тогда буду делать? Сяду на мель? Жалобу напишу? Вы лично, Артемий Иванович, поедете выколачивать отливки? — Он был упрям, директор, и выражение его лица говорило: «Знаю я эти модные штучки. Не хочу я зависеть от кого бы то ни было. И не такой я добренький, чтоб другим отдавать, а самому у кого-то кланчить...»

Но самое крупное столкновение разыгралось тогда, когда главный инженер приказал инструментальному цеху проточить и отфрезеровать большую партию деталей, с которой не успевал справиться механический цех.

Таким ещё Кононенко не видел Малинина. В тот день, казалось, он слышал ещё хуже обычного и совершенно не мог говорить. Разные люди возмущаются по-разному: одни кричат, другие задыхаются от ярости. Малинин сжался, он как будто действительно стал меньше ростом и как-то уже.

— Ну, что вы горячитесь? — пытался успокоить Малинина Кононенко. — Испокон веку, с тех пор, как бог создал землю и поселил на ней рядом директоров и главных технологов, они именно из-за инструментальных цехов и бросаются в рукопашную. Вы просто ещё к этому не привыкли, дорогой мой Артемий Иванович...

— Не для того существуют инструментальные цехи, чтоб выполнять за других программу... — с трудом выговорил Малинин.

— А для чего? — всё ещё сдерживаясь, сказал Кононенко. — Может, вы объясните директору завода, для чего существуют инструментальные цехи?!

Но скоро они разгорячились, заговорили повышенным, раздражённым тоном, и, пожалуй, в первый раз им обоим показалось, что они успели ожесточиться друг против друга.

Оба они понимали, что каждый из них по-своему прав: директор, беспокоясь о выполнении программы и загружая ею инструментальный цех, который издавна считался цехом вспомогательным, а не основным, и Малинин, ограждавший инструментальщиков — самых квалифицированных, как и на каждом заводе, токарей, фрезеровщиков, слесарей — от не свойственной им работы.

Но был в их споре один момент, который не мог не всплыть, и он всплыл: цена вспомогательного рабочего. Министерство определяло заводу, какой процент вспомогательных рабочих по отношению к основным он вправе иметь. Стоило директору превысить этот процент, и он мог в любое время услышать строгое внушение. И так немало было хлопот, зачем ещё тут итти наперекор!

А Малинин не хотел с этим мириться. Он не признавал такое деление разумным. Но министерство было от него далеко, а директор сидел тут, напротив, и, как ни странно, отстаивал необходимость всячески сокращать число вспомогательных рабочих. Даже за счёт инструментальщиков. Неужели же он не понимал, что инструментальщики — золото, которое грешно растрачивать! Кто всех вспомогательных рабочих занёс в одну рубрику? Почему с этим соглашается Кононенко?

Может быть, директор всё это отлично понимал, но, хотя он никогда не был формалистом, один непреложный закон существовал и для него:



по одежке протягивай ножки... Одежонка была уже узковата, но это была его одежонка.

— У вас получается, — сказал наконец Кононенко, — будто инструментальные цехи — это ваши, технологические, а программа — моя, директорская...

— Какая чушь! — обиделся Малинин.

Во всех их столкновениях самым неприятным для Кононенко было то, что главный технолог всегда в принципе был прав, а он, директор, нет. Но Малинин как будто видел перед глазами предприятие не таким, каким оно сейчас было, а каким должно быть. А над Кононенко стоял главок, его мысленному взору всегда представлялся толстый переплетённый журнал — годовая программа, с её бесконечными колонками цифр: производительностью, номенклатурой, трудоёмкостью, себестоимостью, соотношением между основными и вспомогательными рабочими...

Временами Кононенко пытался представить себе Малинина в роли директора завода, с себя — главным технологом. Вот он, Малинин, сидит в этом же кресле, за этим же письменным столом. Слева — четыре телефона. Всё они слышали, эти чёрные телефонные трубки: приказы, требования, благодарности и угрозы, растерянные просьбы и покровительственные похвалы, слова простого человеческого одобрения и слова холодного осуждения... Если бы записать, день за днём, всё, что было произнесено по ту и эту сторону телефонного провода, только записать, ни слова не прибавляя, какое удивительное произведение вышло бы из-под пера!

И вот Кононенко — главный технолог — предлагает всякие новшества, а Малинин — директор завода — принимает их. Они вдвоём с жаром берутся осуществлять всё то, что решил внедрить Кононенко. Какие радужные надежды согревают их обоих!

А потом начинается реальная жизнь.

Литейная с самыми совершенными способами выплавки чугуна? Хорошо! Став директором, тот же Малинин тотчас сталкивается с десятком сложнейших проблем: нужны бункера, карусели и многие другие механизмы. Их нигде не закажешь. Это то, что называется нестандартным оборудованием, его нужно изготавливать самому на своём же заводе. Как? Экономить средства на другом, насущном? Загружать рабочих изготовлением не тех деталей, которые нужны для выполнения программы, а тех, из чего и состоит нестандартное оборудование?

Прежние деревянные модели теперь не будут годиться, потребуются металлические. А где взять металл? И сколько усилий придётся потратить директору, чтобы получить фенольные смолы, и то, и другое, и третье...

Кононенко представил себе, как Малинин обращается за помощью в главк. Там его благословляют, конечно, может быть, похлопывают по плечу, хвалят на каких-нибудь совещаниях. Но всё равно оборудование придётся делать самому и металл, скорее всего, находить на собственных складах...

Как знать, не откажется ли тогда Малинин, став директором, от той хорошей, поистине прогрессивной идеи, за которую он ратует теперь, когда его место не за столом в директорском кабинете, а в отделе главного технолога?!

Или взять их спор о вспомогательных рабочих. Вот ему, Малинину, воображаемому директору, твёрдо сказано: пятьдесят процентов его рабочих должны принадлежать к категории основных, а пятьдесят — вспомогательных. Он уже не уложился в эти нормы: вспомогательных рабочих на один-два процента больше. И вдруг к нему приходит главный технолог Кононенко.

— Мы разработали одно приспособление, — говорит он, — которое полностью обеспечит нас деталью «3824». Сейчас её изготавливают пять то-

карей. Оставьте одного, дайте ему двух девушек для подсобной работы, и они втроем заменят пятерых...

Как поступит Малинин? Ведь выгода ясна!

Так ли легко он согласится увеличить число вспомогательных рабочих, как этого требуют теперь? Или не один раз подумает, прежде чем решится нарушить установленную ему норму?

Было много правдивого в той картине, которую представил себе Кононенко, вообразив Малинина директором, а себя поставив на его место. Но как всё это объяснить Малинину? Как приспособить его воззрения к реальной жизни завода, к той манере работать, которую избрал Кононенко и которая тоже приносит неплохие плоды?

Иногда директору хотелось закричать на Малинина так, как он иной раз позволял себе «разносить» других работников завода. Кажется, ничему бы так не обрадовался Кононенко, как если бы главный технолог не выдержал и ответил тем же. Но, если не считать последней их стычки, ни разу Малинин не изменил своей полuirонической, внешне бесстрастной манере разговаривать. И директор заставлял себя сдерживаться. Он уважал Малинина за его точную позицию и за это же ненавидел.

И всё же, как ни неприязненно относился Кононенко к Малинину, но когда в машине, в которую он захватил Баевского, заместитель главного технолога начал нелестно отзываться о Малинине, у директора появилось неудержимое желание не дать своего противника в обиду, а сам Баевский вызвал отчётливое ощущение брезгливости.

Было два человека, перед которыми Кононенко чувствовал себя неловко: Галина Владимировна, жена Малинина, и Столбун. Что он сказал бы ей, если б им довелось встретиться? «Муж у вас не то что трудный, он просто невыносимый...» Умная женщина, золото, а не человек. И всё-таки не она в семье главная, а Малинин. Кононенко в этом уже не сомневался. Как это она объяснила причину? Ах, да. «Точная позиция...» И опять перед Кононенко встал тот же вопрос, что и в доме отдыха, в парке, во время прогулки с Галиной Владимировной и Малининым: «А как ты, Василий Филиппович, ты тоже человек точной позиции?» Но на этот раз Кононенко просто не знал, как ответить самому себе.

Кононенко не встречал Галину Владимировну, но со Столбуном он виделся каждый день. И однажды, после очередной стычки с Малининым, Кононенко позвонил Столбуну.

— Зайди ко мне, будь добр, — в изнеможении сказал он. — Душу хочу отвести.

— Что случилось?

— Ничего особенного.

— Малинин?

— Он.

— Допёк? — пошутил секретарь парткома.

Директор швырнул трубку на рычаг.

Через несколько минут Столбун был у него в кабинете. Запершись с ним, приказав секретарше никого не пускать и ни с кем по телефону не соединять, Кононенко зашагал по комнате.

— Ты можешь мне объяснить, — говорил он взволнованно, — я сошёл с ума, у нас действительно на заводе чёрт знает что творится и надо скорее перестраиваться, или этот технолог просто фанатик?

— Да как тебе сказать? Давно уже ничего особенного у нас на заводе не происходило, и это, как видно, и есть то главное событие, которое беспокоит Малинина. Он, как дрожжи, без них тесто не подымется...

— Какие тут дрожжи, если всё ему не нравится, всё неладно. Литейкая — не годится, инструментальную — не трогай, того не делай, этого не позволяй... Да кто всё-таки директор: он или я?

— Тебе виднее...

- Ты смеёшься?
- Нет, вспоминаю, как ты в него влюбился, как ваш роман развивался...
- Ошибся. Всё! Ошибся.
- Думаешь, надо заменять?
- Попробую.
- Посмей только... — тихо обронил Столбун.
- Ты мне угрожаешь? — поразился Кононенко.
- Нет, — сказал Столбун. — Зачем? У тебя же совесть есть? Партийная совесть?

Тревожное, сосущее чувство с этого дня не покидало Кононенко. Всё перепуталось. Раньше Столбун относился насторожённо к Малинину, а он, Кононенко, его расхваливал на все лады, теперь он никак не может найти общий язык с Малининым, а Столбун стоит за него горой.

Одно было ясно: нужно найти общую точку зрения или же расстаться. Совсем. Чтобы не мешать друг другу.

В один из вечерних обходов завода Кононенко заглянул в технологическую лабораторию. В меньшей комнатке из двух разместилась конторка: письменные столы, чертёжная машина, на окне — свитки чертежей. В большей стояли станки.

Кончался год, и в цехах шла «подчистка» — почти готовые, но ещё не комплектные машины оснащались последними мелкими деталями. Где-то нажимали, торопились, чтобы встретить новый год с чистой совестью, всё, что требовалось по программе, должно было быть выполнено, и даже с превышением. Шумная, предпраздничная атмосфера царила на всём заводе. А здесь, в полузатемнённой лаборатории, было удивительно тихо, так по крайней мере показалось Кононенко, когда он зашёл сюда из производственных цехов. Кто-то возился у шлифовального станка — он пробовал пускать эмульсию не так, как обычно, а через поры шлифовального круга. В конторке, безмолвно склонившись над доской, играли в шахматы Малинин и Ганька Черняев, задержавшийся после смены.

— Пожалуйста, пожалуйста... — ответил директор, когда Малинин встал. — Я с удовольствием посмотрю...

Кононенко сел на стул, а Ганька Черняев, застеснявшись, поспешно ушёл, оставив их наедине.

— Вот и новый год приближается, — сказал Кононенко.

— Да...

— Как, Артемий Иванович, — широко улыбаясь, спросил директор, — и в новом будем воевать?

— Не знаю...

— А может быть, условимся: мир! Никто нас сейчас не слышит, говорим мы с глазу на глаз, давайте выясним: хотите жить со мной в дружбе?

— Хочу. Разумеется.

— Что же нам мешает? Кто нас ссорит?

— По-моему, никто, — удивился Малинин вопросу.

— Значит, всё остальное зависит от нас самих, — убеждённо сказал Кононенко.

Он поднял глаза, посмотрел прямо в лицо Малинину и вдруг увидел на нём болезненно-виноватую улыбку. «Я бы рад, ты сам видишь, но это выше моих возможностей», — как будто говорила она.

— Послушайте, — мягко убеждал Кононенко, — я вас ценю, Столбун, главный инженер — все ценят, отдают должное и вашим передовым взглядам и упорству, энергии. Вы хотите добра заводу. Но разве я хочу чего-нибудь другого? Отчего ж нам не жить в согласии? Нет, правда!

— Да, мы все за технический прогресс... И слова на сей счёт знаем хорошие... — Неожиданно оборвав свою мысль, которую Кононенко слу-

шал с напряжённым вниманием, Малинин заговорил другим, попрежнѣму деловым тоном: — Надо, Василий Филиппович, заказать кислородные установки для литейки... Я хочу перевести вагранки на кислородное дутьѣ...

— Это всё, что вы можете мне сказать?

— Пока всё...

— Ну, до завтра...— Кононенко встал.

— До завтра.

...Вернувшись в кабинет, Кононенко зажѣг настольную лампу, погасил верхний свет, уселся плотнее в кресло и задумался. Что же он сделал неправильного во время беседы с Малининым, почему у них не получился разговор? Но ответа на этот вопрос не мог найти. Да, он поистине вызвал дух, который не может укротить!

Здесь, у себя в кабинете, особенно в вечерние часы, он чувствовал, как дышит, ворочается огромное живое существо — завод. Его завод. Сюда залетали молнии электросварки из корпуса, расположенного рядом с водоуправлением, чуть-чуть сотрясался потолок кабинета: это доносились сверху вибрации машин... Вот так каждый день, каждый вечер. Вероятно, Кононенко не мог бы прожить и дня без своего завода.

Позвонить, что ли, Столбуну, позвать, поговорить о новом годе, о том, что их ждѣт? Он уже потянулся за трубкой, как вдруг тишину прорезал резкий телефонный звонок. Его вызывала Москва.

Долго ничего нельзя было разобрать: какие-то шумы, треск, далѣкая музыка — эфир тоже готовился к Новому году,— наконец раздался знакомый голос начальника главка:

— Привет, Василий Филиппович. Как там живѣте? Как год кончаете?

— В норме...

— Значит, могу надеяться, вы мне сводку не испортите?

— На нас и не похоже.

— Знаю. Да и у соседей ваших, на «Красном знамени», вроде бы подтянулись... Этот ваш Рудницкий, ничего, оправдал себя.

— Наши кадры, — усмехнулся Кононенко, — откуда ж им быть плохими? Одни уходят, другие вырастают. Так и живѣм...

— Может быть, кто-нибудь ещё порос? Можем на самостоятельную работу выдвинуть.

— А вам нужны люди?

— Я знаю, вы хозяин прижимистый, — пошутил начальник главка. — Мы можем взять и на повышение!

— Иначе и не дал бы. Есть у меня на примете для вас один человек, — медленно, всё ещё колеблясь, сказал Кононенко. — Сильный работник.

— Кто такой? — живо заинтересовался начальник главка, и Кононенко отчётливо представил себе, как в этот миг он берѣт со стола карандаш и тянется к календарю, чтобы записать фамилию.

— Зовут его... Как же его зовут? — И вдруг, удивляясь самому себе, Кононенко сказал: — Что вы говорите? Фамилию? Вот чѣрт, выскочила из головы. Только что называл, а тут, как назло, выскочила из головы...

— Хитрите, хитрите... Ну ладно, — ответил начальник главка, — в другой раз.

— Идѣт. С наступающим...

— И вас также!

А часы у углу кабинета уже били десять, и пора было собираться домой.



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

А. И. ВЕРЕТЕННИКОВА

★

## ЗАПИСКИ ЗЕМСКОГО ВРАЧА

Автор публикуемых воспоминаний, Анна Ивановна Веретенникова,— одна из первых женщин-врачей в России, двоюродная сестра Владимира Ильича Ленина.

В книге «Детские и школьные годы Ильича» Анна Ильинична Ульянова рассказывает: «...приехала к нам двоюродная сестра, женщина-врач. В то время женщины-врачи были редкостью. Эта двоюродная сестра была одной из первых».

Двоюродная сестра, о которой вспоминает А. И. Ульянова, это Анна Ивановна Веретенникова.

Закончив в 1882 году высшие медицинские курсы в Петербурге, Анна Ивановна, отказавшись от возможности остаться в городе, поехала работать в глухой Белебеевский уезд Уфимской губернии, видя в этом не только свой врачебный, но и свой гражданский долг.

Страстная увлечённость своей профессией, стремление принести пользу своими знаниями населению деревень, лишённых медицинской помощи, горячая, хотя и наивная вера в возможности земских учреждений, которая быстро рассеивается при столкновении с земской действительностью, пронизывают записки А. И. Веретенниковой, со страниц которых встаёт необыкновенно привлекательный, чистый и цельный характер врача-общественника.

Н. И. Веретенников, брат А. И. Веретенниковой, готовя её воспоминания для печати, писал:

«Анна Ивановна была ниже среднего роста, худощавая шатенка с выпуклыми серыми глазами, носила стриженные, до плеч, волосы. Когда её спрашивали, почему она не носит длинных волос, как все, неужели она находит, что так красивее, она отвечала: конечно, причёска с длинными волосами более красива, но занятия на курсах, в анатомическом театре, в клиниках, больницах, лабораториях и уроки как средство для жизни не оставляют ей времени заниматься своей внешностью.

Вспоминается мне, как мать собирала Анюту в отъезд на работу в земстве, заботясь снабдить её всем необходимым при разъездах по уезду; сама же Анюта очень мало уделяла внимания таким предметам, как тёплый тулуп или валенки, и гораздо более была озабочена приобретением часов с секундной стрелкой и ярко горящей керосиновой лампы, необходимых ей как врачу.

Обладая общительным характером, она любила горячо поспорить с подходящими собеседниками, вела длиннейшие разговоры за самоваром в Казани со студентом-математиком Мышкиным. Оба они, и сестра и Мышкин, посвящали своё свободное время чтению Канта, Гегеля, и беседы их пестрили именами философов, а иногда разгорались в оживлённые споры.

Любимым собеседником Анны Ивановны был Илья Николаевич Ульянов (отец Владимира Ильича Ленина). Говорили они о литературе, о Глебе Успенском, цитировали Щедрина, и часто, отставая от группы гуляющих или присаживаясь на отдалённой скамейке в цветнике, они вели нескончаемые беседы. Их соединяла общность интересов, деревня, работа в земстве, школа, врачебная помощь населению — всё это было так близко им обоим! О разговорах Ильи Николаевича с Анной Ивановной рассказывает в своих воспоминаниях и А. И. Ульянова-Елизарова.

Расстроив своё здоровье тяжёлой и непосильной работой в земстве, Анна Ивановна уезжает в Казань.

Но врачебная практика в городе не удовлетворяет её.

Недостаточно отдохнув, не поправив расшатанного здоровья, она снова берётся за работу в земстве. Но подорванные силы не дают возможности продолжать любимое дело. Вскоре она серьёзно заболевает и оставляет службу.

В июле 1887 года, в возрасте 32 лет, А. И. Веретенникова скончалась от туберкулёза. «Записки земского врача» были найдены в её бумагах в стенографической записи и расшифрованы нашей матерью».

Незаконченные записки А. И. Веретенниковой — яркий человеческий документ, рисующий время и обстановку, в которой работал в восьмидесятых годах прошлого

*века молодой сельский врач, и раскрывающий облик автора, его целеустремлённость и самоотверженность, столь характерные для передовой части русской интеллигенции. Этим и интересны никогда ранее не публиковавшиеся «Записки земского врача» для современного читателя.*

*«Записки земского врача» публикуются нами с некоторыми сокращениями. Медицинскую терминологию автора, отчасти устаревшую, мы оставляем без изменений. Равным образом сохранены и фамилии-характеристики (Краснобаев, Продуновой и т. д.), которыми А. И. Веретенникова заменяла в ряде случаев подлинные фамилии земских деятелей.*

### О МОИХ ЗАПИСКАХ

**В**есной роковой для женских курсов 1882 года сдала я выпускной экзамен на женских врачебных курсах при Николаевском военном госпитале.

Судьба оказалась ко мне благосклонной: через пять месяцев после окончания курсов я получила приглашение на место участкового земского врача в Белебеевский уезд Уфимской губернии<sup>1</sup>.

Однако же в этой улыбке фортуны заключалась, как оказалось впоследствии, значительная доля коварства.

Бегая в отдалённые концы Петербурга на уроки, просиживая бессонные ночи над перепиской и переводами, которые едва обеспечивали мне завтрашний день, посещая в то же время клиники и лаборатории, вообще добросовестно занимаясь медициной, я в минуты уныния и сомнения рисовала себе светлые перспективы моей будущей деятельности в земстве.

Разумеется, я сама хорошо понимала, что несколько увлекаюсь, что в созданиях моей фантазии много украшений, которые рассыплются в прах при первом соприкосновении с реальной действительностью, но должна признаться, что самое представление об этой действительности было слишком книжное, слишком отвлечённое, если можно так выразиться.

Теперь, когда я оставила земскую службу, картины пережитого и передуманного в глухой деревушке, затерянной в степи, возникают в моей памяти так живо и отчётливо, как будто всё это происходило только вчера. А передумать и переиспытать во время почти двухлетней моей службы в земстве пришлось мне много, страшно много...

Должна сознаться, что хотя в большинстве случаев картины моего прошлого безотрадны, унылая природа края, в который забросила меня судьба, мало привлекательна, но воспоминания об этом прошлом, о моей земской службе, о времени, проведённом в том краю, о среде, в которой мне приходилось вращаться, принадлежат к числу самых дорогих и незабвенных воспоминаний моих, затрагивают самые чувствительные струны моей души.

Если теперь, набрасывая эти строки, я решилась ещё раз последовательно пережить в воспоминаниях всё, что переживала в действительности, то единственно потому, что я не смотрю на своё положение, как на исключительное. Далеко нет!

Я убеждена, что в России есть много глухих уголков, где товарищи мои работают приблизительно в таких же условиях, какие выпали и на мою долю.

Я убеждена, что большинство земских врачей, особенно же врачей-женщин, встречает в своей деятельности те же преграды, о которые могут разбиться любые благие намерения. А между тем женщины-врачи вносят в плохо обставленную, бедную средствами земскую медицину преданность и самоотвержение, относятся к своему делу с живым, горячим участием, а не формально.

Думаю, что моя земская эпопея, которую я считаю «одной из многих», имеет общий, а не личный только интерес. Это и побуждает меня приняться за её изложение.

Я буду строго придерживаться фактической стороны событий, не давая фантазии ни малейшего простора.

Если бы кто-нибудь пожелал ознакомиться исключительно с одними тёмными сторонами земской медицинской деятельности, то я сомневаюсь, чтобы он мог найти более удобный объект для своих наблюдений, чем Белебеевский уезд.

<sup>1</sup> Для дальнейшего чтения «Записок» интересны сведения, сообщаемые об этом уезде в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (издание 1892 года): «Белебеевский уезд — в западной части Уфимской губернии. . . Пространство... 22162,4 кв. км. ...Жителей обоёго пола считалось 368 201 (1888)». (Примеч. ред.)

Во главе земского самоуправления стояли люди, чуждые всему, кроме заботы о личной выгоде и самых узких, мелочных интересов. Земская касса была хронически пуста, эпидемии и падежи скота никогда не прекращались, меры к их прекращению существовали лишь на бумаге. Врачи не имели ни сколько-нибудь толковых помощников — фельдшеров, ни медикаментов, ни инструментов и, как большинство земских служащих, по несколько месяцев не получали содержания.

Если прибавить к этому, что местное население говорит на неизвестном мне языке и что в его жизни много непривычных обычаев, прибавить крайне бедную природу, затруднительность путей сообщения и изолированность от всего мира, невозможность получать книги и необходимые жизненные припасы, то получится довольно верное представление о том уголке, куда я попала со студенческой скамьи.

### ЕДУ

Глухой осенью, в конце ноября 1882 года, отправилась я из Казани к месту своего назначения. Снег уже выпал, но санный путь ещё не установился, и путешествие моё было не из удобных. Переправлялись через Каму вечером, почти ночью. Лёд был ещё очень тонок и грозил подломиться под экипажем. Чернели громадные полыньи. Пришлось идти пешком.

Но что значили неприятности и неудобства, даже опасности, сравнительно с тем счастливым, возбуждённым настроением, в котором я находилась во время этого путешествия!

Прислушиваясь к однообразному, заунывному мотиву татарской песни моего ямщика, я старалась представить себе новую, незнакомую мне среду и обстановку, в которой буду жить, ту арену, на которой начну свою практическую деятельность,

Как-то отнесётся ко мне местное население?

Будет ли оно доверять врачу-женщине, да к тому же ещё русской?

Мне случалось во время студенчества проводить лето в деревне. Я знала по опыту, как доверчиво и просто относится наш русский деревенский люд к женщине-врачу, как охотно обращается он к ней со своими недугами.

Крестьянам нашим в простоте души и в голову не приходит, что между врачом-женщиной и врачом-мужчиной может существовать какая-нибудь разница в знании и умении, лишь бы лечили их и помогали им.

— Дай бог тебе доброго здоровья, спасибо, вылечила, — говорили они, не разбирая, кто помог им — мужчина или женщина.

Так просто и бесхитростно разрешают они этот столь мудрёный для культурного человека вопрос.

Но так ли, думалось мне, отнесётся ко мне население того края, куда я еду? Не послужит ли различие национальности, религии, языка непреодолимой преградой между моими пациентами и мной?

Чем ближе к цели путешествия, тем более очевидной становилась для меня необходимость заняться на первых же порах изучением башкирского языка. На почтовых и вольных станциях ямщики и приходившие в избу крестьяне разговаривали между собой исключительно по-башкирски, а женщины даже не понимали ни слова по-русски, и мне по целым дням приходилось слушать незнакомую и непонятную для меня речь. Я убедилась, что знание языка будет непременно условием моей деятельности, и твёрдо решила приложить все старания, чтобы, не теряя времени, изучить его по крайней мере настолько, чтобы более или менее свободно объясняться и понимать то, что мне говорят.

Достигнув Белебеевского уезда, который, кстати сказать, занимает огромное пространство, я легко убедилась, что в нём свирепствует оспенная эпидемия. Во въезжих избах, где мне приходилось останавливаться, я встречала ребятешек, покрытых с головы до ног оспенными пустулами, мечущихся в лихорадочном жару.

— Разве вашим детям не прививают оспу? — спрашивала я,

— Как же, прививают, — был ответ.

— Отчего же вы не привили?

— Так, не пришлось, оспенник давно не был, — отвечали мне.

Впоследствии я узнала, что в Белебеевском уезде оспопрививанием занимался местный житель, получивший свидетельство на право прививания предохранительной оспы. Земская управа платила ему по пяти копеек за каждый случай удачной прививки оспы.

Так как список, представляемый в управу, обыкновенно никем не проверялся, то этим открывался широкий простор для мошенничеств всякого рода. Так, например, «оспенник» вносил в список имена детей, не только не подвергавшихся оспопрививанию, но даже не существовавших.

Оспенная лимфа сохранялась доморощенными оспопрививателями неопратно и небрежно. Будучи людьми невежественными, они сплошь да рядом снимали оспенную материю с детей, страдающих наследственным сифилисом и другими болезнями, и переносили её на здоровых детей, прививая им, таким образом, вместе с оспой сифилис.

К довершению всех зол, «оспенники» сделали из предохранительного оспопрививания своего рода натуральную повинность.

Используя издавна существующее в народе предубеждение против вакцинаций, «оспенник» предлагал желающим откупиться от этой операции за двугривенный, чем, конечно, немало дискредитировал в народе такую полезную предохранительную меру, как оспопрививание.

Всё это, разумеется, я узнала уже много времени спустя. Теперь же возвращаюсь к моему прерванному рассказу.

### БЕЛЕБЕЙ

После шестидневной езды достигла я наконец цели моего путешествия — уездного города Белебея<sup>1</sup>.

— Самый это Белебей и есть, — указал мне мой возница с вершины горы на беспорядочно расположенную в ложине между горами группу маленьких, большей частью деревянных домишек.

За одним концом города виднелся минарет мечети, а на площади с неизбежным рядом лавок, загромаждённой возами по случаю базарного дня, находилась церковь и большое жёлтое двухэтажное каменное здание присутственных мест; словом, всё обстояло как быть должно в уездном захолустье. А между тем, несмотря на то, что я впервые увидела этот городок, освещённый яркими лучами зимнего солнца, в ясный морозный декабрьский день, вид его вызвал во мне хотя мимолётное, но тем не менее безотчётно тоскливое ощущение...

Было ли это предчувствием многих тяжёлых минут, которые мне пришлось пережить в этой глуши, или просто результатом сравнения Белебея с хорошо мне знакомыми живописными и чистенькими приволжскими уездными городами — решить не берусь.

Как бы то ни было, Белебей встретил меня в первый раз крайне негостеприимно: оказалось, что в нём нет никакой гостиницы, никакого постоянного двора, где бы можно было остановиться приезжему человеку; это, впрочем, естественно, так как в этом городке нет никакого спроса на заведения подобного рода: издали никто туда не приезжает, кроме разве ссыльных, о помещении которых предусмотрительно заботится полиция.

Положение моё становилось критическим (хоть среди площади оставаться!), если бы мне не предложила приюта семья мастеровых.

Едва успела я войти в единственную комнату моих хозяев и внести туда свои пожитки, как на меня градом посыпались вопросы, которые я уже раньше читала в любопытствующих взглядах. Кто я? Откуда? Зачем приехала? Есть ли у меня отец, мать?

Знакомая с нравами и обычаями уездного города, я не была удивлена этим обстоятельством и по возможности кратко удовлетворила любопытство моих хозяев.

В земской управе меня ожидало новое разочарование. Оказалось, что председатель управы и старший член, заменяющий его во время отсутствия, уехали в губернский город на губернское земское собрание и пробудут там не менее месяца.

<sup>1</sup> «Белебей, — сообщает та же Энциклопедия, — уездный город Уфимской губернии... Население — 4 450 душ обоего пола (1888). В городе две православные приходские церкви... мечеть. Жилых домов 458, лавок 106, больница, водочный завод, два мыловаренных». (Примеч. ред.)



Перспектива провести целый месяц в этой глуши, где я никого не знала, без всякого дела, почти без пристанища, буквально привела меня в ужас.

Мне посоветовали немедленно отправиться в деревню Санн, находящуюся на пути в губернский город, так как председатель и члены управы имели намерение остановиться в той деревне дня на два по случаю торгов на поставку леса для новой земской больницы в Белебеевском уезде. Разумеется, я так и сделала.

Приехав на другое утро в Санн, я застала белебеевскую земскую управу почти в полном составе: председателя, старшего члена, младшего члена и бухгалтера.

По окончании торгов я переговорила с председателем управы Краснобаевым обо всех существенных для меня вопросах.

Позднее я вернусь к личности Краснобаева. При первом знакомстве он произвёл на меня какое-то странное, двойственное впечатление. Я видела перед собой несомненно интеллигентного и образованного человека, правда, чересчур многоречивого, но внутреннее чувство подсказывало мне, что между заученными фразами, которые произносит его язык, и мыслями, возникающими в его голове, господствует полнейший разлад.

От Краснобаева я узнала, что земское собрание назначило местом моего жительства большую базарную деревню Буздяк, находящуюся верстах в восьмидесяти от Белебея. Один раз в году, в декабре, в этой деревне бывала довольно большая ярмарка, продолжавшаяся около трёх недель, на которую приезжали купцы из многих больших поволжских городов.

Так как я приехала в самый разгар ярмарки, когда найти квартиру в Буздяке не представлялось никакой возможности, то Краснобаев посоветовал мне возвратиться в Белебей и дожидаться там как окончания ярмарки, так и приезда старшего члена управы, который должен был вернуться из губернского города через две недели. По возвращении его состоится разделение участков между врачами (кроме меня, в Белебеевском уезде было ещё три врача, и между ними одна женщина). Тогда мне можно будет отправиться в назначенный мне для жительства пункт и вступить в заведование моим участком.

Я так и поступила. В Белебее меня ожидало приглашение от моего коллеги — женщины-врача, приехавшей в Белебей двумя-тремя месяцами раньше меня и жившей тут в ожидании разделения участков. Она уже знала о моём приезде: вести в Белебее распространялись быстро, и моя скромная особа уже служила предметом толков, комментариев и глубокомысленных соображений всякого рода.

Я была чрезвычайно обрадована, встретив здесь, в этой глуши, среди совершенно чужих мне людей, сбрата по профессии, товарища, человека одного уровня и приблизительно одинаковых убеждений.

— И вы сюда приехали? — встретила она меня.

— А что, здесь очень плохо? — спросила я.

— Поживёте — увидите сами, — был ответ.

Бесконечно длинными показались мне три недели пребывания моего в Белебее. Мёртвая тишина и однообразие, моё вынужденное бездействие раздражали меня, вызывая в воображении яркие картины жизни трудовой, сознательной, полной...

Само собой разумеется, жители Белебея не оставили меня в покое. Движимые естественным любопытством и желая поближе познакомиться с новым экземпляром, диковинкой — женщиной-врачом, они оказались неистощимыми в изобретении предложений для знакомства и немало донимали меня своими приглашениями. Сегодня жена бухгалтера управы, заболевшая малокровием, воспламенялась желанием лечиться именно у меня (хотя в городе, кроме меня, были два врача, у которых она тоже лечилась), завтра приглашал меня какой-нибудь купец посмотреть его ребёнка, на самом деле здорового.

Я твёрдо решила ради пользы дела не восстанавливать против себя без особых к тому поводов белебеевский мирок и поэтому посещала приглашавших меня, выслушивала их повествования о болезнях, большей частью крайне бестолковые.

Особенно памятен мне некий судебный пристав, живший в окрестностях Белебея, который имел обыкновение рассказывать о своём недуге в продолжение пяти часов кряду, неизменно начиная своё повествование с 1863 года и доводя его постепенно, год за годом, в хронологическом порядке, до 1883 года.

Как бы то ни было, но моё внимательное и любезное отношение к пациентам расположило белебеевскую публику в мою пользу. Многие местные дамы изъявляли мне своё негодование по поводу того, что земство, пригласив двух женщин-врачей, посылает их в деревни лечить мужиков и баб, которые могли бы обойтись и без этой роскоши, между тем как белебеевские дамы желали бы иметь в городе женщину-врача.

К счастью для меня, решение этого вопроса от них не зависело.

Пришлось мне также, несмотря на сильное нежелание, делать визиты белебеевской аристократии. У меня уже было некоторое понятие о нравах уездного города. Я знала, что уездное общество в большинстве случаев не умеет отделить личных симпатий или антипатий от дела, и боялась, что белебеевская верхушка может повредить делу, ещё не начатому, но уже дорогому мне. Поэтому я не хотела на первых же порах вооружить против себя общество. На многие компромиссы шла я ради дела. Пошла, разумеется, и на этот.

Посещение белебеевской «знати» я начала, как подобает, с предводителя дворянства, председателя воинского присутствия, уездного по крестьянским делам присутствия и бывшего председателя земской управы.

Усталая и обременённая всеми банальными фразами, которыми мне пришлось обменяться в этот злополучный день, я вздохнула свободно лишь в семье белебеевского воинского начальника, куда отправилась с последним визитом. Там я сразу почувствовала себя далеко от белебеевского мирка, в знакомой и близкой мне по понятиям среде.

Славные это были люди, чуткие и отзывчивые на всё хорошее и гуманное в лучшем смысле этого слова! Они выписывали много журналов, газет, читали, и у них собиралось всё, что было мало-мальски свежего и хорошего в Белебее и его окрестностях.

Впоследствии, приезжая в Белебей по делам службы, я не раз отдыхала у них душой от различных дряг и тревожений моей жизни.

Заговорив о белебеевских обитателях, не могу не упомянуть добрым словом товарища моего по профессии, городского больничного врача Лебедева. Это был в высшей степени симпатичный, мягкий человек, хороший, деятельный врач и прекрасный товарищ.

## БУЗДЯК

Однакож всё на свете имеет конец. Миновало и это тяжёлое для меня время. Участки были разделены, фельдшера найдены, получены кое-какие медикаменты, нанята больничная прислуга, и я немедленно отправилась в Буздяк.

Несмотря на радушное приглашение белебеевцев встретить Новый год в их среде, а не в деревне, я вздохнула свободно только тогда, когда Белебей скрылся из виду и предо мной открылась широкая снежная равнина.

Наконец-то я могу приняться за дело.

Трудно, почти невозможно описать в кратких словах ту жизнь, которая началась для меня со второго же дня моего водворения в Буздяке.

Любители комфорта, наверно, нашли бы её ужасной. Но, поглощённая массой новых впечатлений, непрерывной вознёй и хлопотами с утра до вечера, я не замечала личных неудобств, не обращала на них внимания. Мне было не до них: меня широкой волной охватила новая жизнь. Рой свежих впечатлений, мыслей и наблюдений, которые я едва успевала обдумывать и перерабатывать, овладел мной.

Я действительно жила в это время всем существом своим, как не жила ни раньше, ни позже.

Едва я успела расположиться в нанятой мной избе, состоявшей из одной-единственной комнаты, разделённой дощатой перегородкой на две половины, как ко мне нахлынул народ из этой и ближайших деревень. Многие, разумеется, шли под предлогом болезни просто из любопытства, чтобы посмотреть на такую никогда не виданную диковинку, как врач в их местности, к тому же ещё женщина и русская. Но многие были действительно больны.

В первую же неделю моего приезда у меня перебивала масса хронических больных с нагноениями, костоедой, с затяжными болезнями суставов, застарелыми язвами,

сифилисом, глазными болезнями. Я получала ежедневные приглашения к больным, которые не могли явиться сами; дверь моей избы не затворялась с утра до вечера.

В базарные дни, по вторникам, когда в Буздяк съезжалось много крестьян из окрестных деревень, пользующихся случаем обратиться к врачу, моя изба не могла вместить всех посетителей, многие дожидались очереди на крыльце или на дворе.

Много надо было энергии и живости, чтобы удовлетворить всех обращающихся ко мне.

В промежутках между делами я прислушивалась к языку и заучивала башкирские и татарские слова и обороты речи; благодаря счастливой памяти это дело пошло у меня быстро и успешно, так что через два-три месяца я могла уже довольно сносно вести с моими пациентами разговор, касающийся их болезни и лечения.

### УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Белебеевское земство, устроив четвёртый медицинский участок, пригласив врача и ассигновав ему, равно как и двум участковым фельдшерам, содержание, нашло, вероятно, что оно достаточно уже сделало для народного здоровья и что врач одним своим присутствием будет приносить исцеление страждущим. По крайней мере я не получила ни инструментов (за исключением несчастного фельдшерского набора), ни перевязочных средств, ни посуды для отпуска лекарств, ни достаточного количества медикаментов.

Первым делом, получив жалованье, выписала я из Казани кое-какие инструменты и перевязочные средства (карболовое мыло и гигроскопическую вату, дренажные трубочки и прочее). В ожидании их получения при лечении хирургических больных мне приходилось довольствоваться купленными в Белебее мылом и кисеёй.

Не раз случалось, что запас этот истощался раньше, чем удавалось поехать или послать в Белебей, и тогда мне не оставалось ничего другого, как истреблять на бинты и компрессы свои простыни и сорочки. За этим занятием и застал меня как-то один интеллигентный гласный, добившийся впоследствии ассигнования кое-каких сумм на приобретение медикаментов, посуды и перевязочных средств.

Что касается медикаментов, то они отпускались из белебеевской земской аптеки участковым врачам в крайне недостаточном количестве, которого едва хватало на две недели. Таким образом, через каждые две недели мне приходилось или самой ездить в Белебей за лекарствами и тратить непроизводительно время на стошестидесятивёрстную прогулку, или же посылать туда единственного находившегося при мне фельдшера.

Вообще белебеевская аптека составляла для меня источник немалых огорчений и испортила мне порядочно крови.

На весь огромный Белебеевский уезд существовала одна аптека, снабжавшая лекарствами земских врачей и в то же время производившая вольную продажу лекарств.

Существование аптеки обходилось земству недорого, так как она в значительной части окупалась выручкой, получаемой от вольной продажи лекарств. Но такой порядок вещей всей своей тяжестью ложился на нас, участковых врачей.

Ссылаясь на то, что согласно правилам вольные аптеки не имеют права отказывать в отпуске лекарств по платным рецептам, аптекари, заведующие аптекой, немилосердным образом сокращали количество лекарств, предоставляемых участковым врачам.

Сплошь и рядом лекарства, стоящие сколько-нибудь подороже (как, например, хинин), не отпускались земским врачам вовсе. Если же и отпускались, то чуть ли не в гомеопатических дозах, так как средства эти сберегались для «чистой публики», которая платит за рецепты наличными, земские же плательщики — крестьяне — должны были довольствоваться чем придётся, а то и совсем оставаться без лекарств.

Один из членов управы — я передаю его слова буквально — сказал, что дорогие лекарства, как, например, хинин, «вредны для мужика, потому что у него натура грубая, и чем грубее, а главное, дешевле лекарство, тем благотворнее должно на него действовать». Ни один мой приезд в Белебей не обходился без препирательства и спо-

ров с аптекарями. Многие средства, которые мне были необходимы, приходилось брать с бою, чуть не насильно.

— Помилуйте, — говорил мне аптекарь, — ведь если я отпущу, например, такое-то и такое-то средство, требуемое вами, а завтра поступит на него требование по вольной продаже и у меня нечем будет его удовлетворить, то на меня может быть подана жалоба во врачебное отделение, и я буду в ответе, а ведь своя рубашка к телу ближе.

Весной в моём участке свирепствовала перемежающаяся лихорадка, в большинстве случаев хорошо поддающаяся лечению хинином, но не уступающая более дешёвым его суррогатам.

Ежедневно приходило ко мне человек тридцать—сорок страдающих лихорадкой с убедительной просьбой дать им «горького лекарства». Так они называли хинин.

Время было горячее, страдное, рабочие руки нужны, больные нередко в жару, в лихорадочном пароксизме тащились на своих изнурённых клячонках по несколько десятков вёрст к врачу в чайнии получить от него помощь.

Неужели же можно было отпускать их ни с чем?

У меня на это не хватало духу, а земство по большей части оставалось глухо и немо к моим представлениям.

Не раз, выведенная из терпения, я покупала из белебеевской аптеки (следовательно, у своего же земства) на собственный счёт хинин и раздавала его своим пациентам.

Вообще, хотя получаемое мной жалованье — 1 500 рублей в год — было довольно значительно, но его едва доставало мне при моём скромном образе жизни, так как более половины его я тратила обыкновенно на приобретение лекарств, перевязочных средств и на содержание оперированных больных, которых, за неимением больницы, я оставляла или у себя на квартире, или в нанятом мной для них помещении.

Да не подумает читатель, что я упоминаю об этом из мелкого тщеславия, ради какого-нибудь возвеличения своей особы. Я человек совсем не корыстолюбивый от природы и всегда считала и считаю материальные жертвы ничтожными сравнительно с теми нравственными уступками и компромиссами, без которых не могло обойтись моё дело.

Если я тратила часть своего жалованья на нужды земской медицины, то делала это не во имя какой-нибудь ложно понятой филантропии, а, во-первых, из-за вполне естественного в молодом, начинающем враче желания не сидеть сложа руки, а приносить посильную пользу, совершенствуясь при этом в своей специальности. Во-вторых, я исходила из следующего соображения экономического характера: поступая на земскую службу, я, разумеется, никоим образом не желала быть бременем, обузой для населения, на средства которого я содержалась. Врачи стоят ему слишком дорого! Оценивая практические результаты своей деятельности, единственно подлежащие оценке (да и как же в самом деле оценивать благие порывы, несбывшиеся мечты, затраты нервных сил и энергии?), я прихожу к заключению, что те сравнительно немногие случаи, о которых я по совести могу сказать, что моё вмешательство спасло человека от смерти, избавило его от опасности быть калекой, другими словами, принесло бесспорную и несомненную пользу, обошлись этому населению слишком дорого, если они оплачивались им по 1 500 рублей в год!

Само собой разумеется, это рассуждение относится только ко мне. Другие могут оценивать свой труд иначе или приносить больше пользы, чем я, да, наконец, и оценка эта совершенно произвольная, субъективная.

Как бы то ни было, но, исходя из этого соображения, я считала себя не вправе тратить на свою особу больше половины получаемого мной жалованья.

Да я и не имела возможности поступить иначе. Во всей деревне ни один крестьянин не соглашался отдать мне в наём целую избу. Пришлось довольствоваться половиной, то есть одной комнатой аршин в пять длины и в четыре ширины, с огромной печью в одном углу, занимавшей чуть ли не четверть всего помещения, с дощатой перегородкой, разделявшей комнату на одну большую часть, служившую мне приёмной, и другую — маленькую, тёмную, в которой я спала. Здесь находились нары (широкая лавка, заменяющая местному населению кровать, стулья и столы). Два деревянных стола, посудный шкаф, два-три стула составляли всю незатейливую мебельку моей большой комнаты.

Куда же мне было девать привезённые из Белебея медикаменты, между которыми были и сильно действующие ядовитые средства?

Поместить их в моей комнате и предоставить фельдшеру тут же готовить лекарства было невозможно. Как я уже упоминала раньше, моя приёмная, особенно в базарные дни, не могла даже вместить всех посетителей, а женщин, которые по мусульманским верованиям не должны показывать своего лица, я принимала и осматривала в своей спальне.

Понятно, что при таких условиях нечего было и думать о том, чтобы поместить там же мою небольшую аптеку. Так как земство не ассигновало никаких средств на её помещение, мне пришлось на собственный счёт нанять для неё половину избы у соседнего крестьянина и в течение дня много раз бегать через двор в избы, носившую громкое название «аптека», и следить за тем, как мой фельдшер готовится там лекарства.

Невежество фельдшера Баскакова было столь велико, что он преспокойно мог отпустить, например, мышьяк или морфий вместо соды. Если этого ни разу не случилось, то лишь благодаря тому, что все сильнодействующие средства хранились не в аптеке, а у меня на квартире, и когда я выдавала их на руки фельдшеру, то присутствовала при приготовлении лекарства сама и затем, когда лекарство было готово, снова отбирала склянку с сильнодействующим веществом.

Мой фельдшер был неряшлив до последней степени. Нередко случалось, что в приготовленном им снадобье плавал всякий сор, волосы, тараканы и тому подобные приправы. Поэтому я завела такой порядок, что каждый больной, получив от меня рецепт и отправившись с ним в аптеку, снова возвращался ко мне в приёмную с приготовленным лекарством. Я объясняла больному, как принимать его, и при этом проверяла, чисто ли приготовлено лекарство; в противном случае отправлялась с лекарством в аптеку, выливая его в лохань и заставляла фельдшера при себе приготовить новое.

Но приучить моего фельдшера к чистоплотности было подвигом выше сил человеческих. Вообще он был пробным камнем моего терпения. Мне приходилось следить за тем, чтобы он не напился и в пьяном виде не наделал в аптеке каких-нибудь безобразий, чтобы он не воровал земских лекарств и не продавал их потом тайком от меня, чтобы он не вымогал с больных взяток за приготовление лекарств если не деньгами, то натурой: угощением или съестными припасами.

Кстати, по поводу фельдшера замечу здесь, что до открытия последним земским собранием медицинского участка, которым заведовала я, участок этот, состоящий из восьми больших волостей, разделялся между двумя участковыми земскими врачами, которые по дальности расстояния и по обширности своих участков никогда почти в них не заглядывали. Медицинская помощь населению подавалась, или, вернее, должна была подаваться, фельдшерами. На самом же деле эти фельдшера жили мирно в своих избах, занимаясь сельским хозяйством, но отнюдь не лечением больных.

Этим эскулапам отпускались время от времени из земской аптеки кое-какие медикаменты, вроде тысячелистника, липового цвета, касторового масла, грудного чая. К счастью для населения, в числе этих лекарств не было сильнодействующих средств.

В случае если какой-нибудь больной уж очень неотступно просил помочь ему, особенно предлагая за это какую-нибудь мзду, то фельдшера лечили его как бог на душу положит. Мой Баскаков, например, как он сам мне рассказывал, давал всем своим пациентам грудной чай, который он считал панацеей от всех недугов. В крайних случаях, не поддававшихся действию грудного чая, он заменял его другим средством, например, касторовым маслом.

Понятно, что после привольного житья Баскакову не очень-то нравилось служить при враче.

Иногда он объявлял мне, что не может столько работать, что служить больше он не желает, и отправлялся в питейное заведение, а мне приходилось справляться одной и с осмотром больных и с приготовлением им лекарств.

На другое утро Баскаков являлся ко мне с изъявлением раскаяния, с просьбами о прощении.

Я, понятно, сдавалась не потому, что верила ему, а по той причине, что заменить его было некем и приходилось поневоле терпеть. Оставшиеся за штатом фельдшера, хотя жаждали тоже поступить на место, были, как это ни трудно себе представить, ещё хуже моего Баскакова, тем более, что мне удалось научить его некоторым механическим приёмам составления наиболее употребительных лекарств. Вначале же его невежество в этом отношении было так велико, что, когда я прописала две унции касторового масла, Баскаков пресерьёзно собрался наливать касторовое масло прямо на чашку весов. Теперь же он по крайней мере знал, что жидкие вещества наливаются при определении их количества в мензурку.

Кроме того, я назначила себе двухмесячный срок для того, чтобы научиться башкирскому языку настолько, чтобы объясняться хоть сколько-нибудь свободно с больными по вопросам, касающимся их болезни и лечения, а пока Баскаков был необходим как переводчик.

Через два месяца, когда я оказала некоторые успехи в изучении языка, я нашла себе другого фельдшера, далеко не идеального, но по крайней мере имеющего необходимую для фельдшера подготовку.

Баскаков возвратился в свою деревню, где у него была изба и хозяйство, но, однако же, долго преследовал меня нелепыми прошениями или кляузми на фельдшера, заступившего его место.

Была в Буздяке, правда, ещё акушерка, девица весьма зрелых лет и очень лёгкого нрава.

Очередное земское собрание назначило ей местом жительства деревню Буздяк и предписало состоять при враче второго участка, то есть при мне.

Но так как местные крестьянки при нормальных родах никогда не обращались к акушерке, а в случаях патологических родов звали меня, ибо акушерка в этих случаях не могла оказать им помощи, то и присутствие её в деревне было бесполезно и делать ей было решительно нечего.

Я предложила ей помогать мне при приёме больных и при перевязках, а также готовить в аптеке лекарства, на что она вначале охотно согласилась.

Довольно сметливая и расторопная, она была мне полезна при приёме больных, помогая записывать их, в аптеке, где я довольно скоро научила её составлению некоторых несложных лекарств. При поездках в уезд я поручала ей следить за оставляемыми мной острыми больными, измерять температуру, переменять повязки и т. п.

Оборотная сторона её помощи состояла в том, что мне приходилось по целым дням выносить её общество.

Неглупая от природы, но необразованная, Серафима Михайловна отличалась крайним легкомыслием и резко выраженной склонностью к сплетням, и притом к сплетням не только сравнительно невинного характера, из любви к искусству, но к сплетням злым, имеющим целью повредить ближнему.

Таковы были окружавшие меня люди. Немудрено поэтому, что мне буквально не с кем было слова сказать, «некому руку пожать в минуту душевной невзгоды», а такими минутами богата жизнь современного интеллигентного человека.

Зато мне очень повезло с устройством моего домашнего хозяйства. Вела его довольно молодая девушка Александра Филипповна.

Расторопная, чрезвычайно аккуратная и трудолюбивая, она поспевала всюду и вела в моём холостом, так сказать, хозяйстве порядок и аккуратность, избавив меня от всяких забот по этой части.

К этому надо прибавить, что она была в высшей степени тактична и сдержанна.

Я предоставила ей полную свободу хозяйничать по её усмотрению, не донимала её мелочами, обращалась с ней всегда дружески и безукоризненно вежливо, к чему приучила и своих посетителей, которые, по моему примеру, обращались к ней не иначе, как на вы, и по имени и отчеству.

Если я была довольна Александрой Филипповной, то, повидимому, и она была ко мне искренне привязана: не раз при моих затягивавшихся долее предполагаемого времени отлучках она выбегала на крыльцо встречать меня с непритворными слезами, вызванными тревогой обо мне.

Мы с моей Александрой Филипповной прожили так почти два года тихо и мирно, не считая двух размолвок. О них я и расскажу.

Месяца через два после водворения у меня Александры Филипповны у меня произошла с ней первая размолвка.

Мне пришлось делать операцию вылушения большой жировой опухоли на спине у одной крестьянки. Операцию, за неимением больницы или другого какого-нибудь подходящего помещения, я сделала у себя дома, в единственной комнате своей квартиры.

На другой день после операции Александра Филипповна заявила мне, что она отроду не видывала таких ужасов, что у неё целый день болела голова от запаха хлороформа и ночью мерещилась кровь и что жить при таких условиях, когда операции производятся на дому, она не может.

Целый месяц прожила я после этого совсем одна, без прислуги, покидая своё жилище во время частых отлучек на волю божию. Занятая приёмом больных, я, конечно, не имела времени ходить на базар за провизией и готовить себе обед, сидела, как я говорила смеясь, всё это время «на яичной диете», то есть питалась яйцами, сваренными в самоваре, и чаем.

Мне приходилось иногда ложиться спать спозаранку, так как, исключая базарные дни, в другое время в деревне негде было купить керосину или свечей, а я не могла вырваться из дому. Словом, неудобств было много, но, несмотря на них, я не решалась взять к себе в дом домашнего шпиона в лице какой-нибудь престарелой кумушки, весь век прожившей в атмосфере сплетен и пустословия.

Однако же моя Александра Филипповна через месяц после того, как она ушла от меня, решилась примириться с запахом хлороформа и видом крови и, к большому моему удовольствию, вернулась, взяв, впрочем, с меня обещание, что при первой возможности я найму целую избу, состоящую из двух половин, и буду принимать больных и производить операции в назначенной для этого половине.

Через несколько времени мне удалось найти такую избу за довольно, впрочем, высокую для деревни цену.

Второй раз моя Александра Филипповна чуть не ушла от меня по следующему поводу.

Я получила от судебного следователя приглашение прибыть в одну деревню для освидетельствования башкирской девушки, обвиняемой в детоубийстве.

Нужно заметить, что подобные факты, как внебрачное сожитительство и роды, составляют редкость среди мусульманского населения.

Религия, обретающая мусульманку на совершенно замкнутую жизнь, ограниченную лишь сферой самых узких интересов, естественно, препятствует сближению полов.

Свадьбы обыкновенно устраиваются родителями, которые сговариваются между собой относительно калыма (выкупа, который должен заплатить жених за невесту) и всего прочего, а жених с невестой даже и не видят друг друга до свадьбы.

Понятно, что при таких нравах внебрачное сожитительство молодой девушки было явлением исключительным, возбуждавшим в её среде крайнее негодование и презрение. Несчастливая девушка, для освидетельствования которой я была вызвана, сделалась мишенью злословия, праздного любопытства и злобных выходок всей деревни.

Родные не соглашались принять её к себе, по крайней мере до окончания следствия.

Ей некуда было деваться, негде скрыться от ожидавших её оскорблений и надругательств. Вследствие этого, с согласия судебного следователя, я взяла её на поруки и увезла к себе в Буздяк до окончания следствия, тем более, что ей необходимо было оправиться и полечиться после родов, которые происходили, разумеется, без всякой акушерской помощи.

Привыкшая к частому проживанию у меня больных, Александра Филипповна сначала встретила нас с обычной приветливостью, но так как в деревне всякая новость распространяется очень быстро, то она всё же узнала, кто была привезённая мной больная. Мещанская добродетель её так сильно возмутилась проживанием под одним кровом с «падшим созданием», что она заявила мне об уходе от меня, если я не отпущу этой больной.

Сознавая своё бессилие поколебать её мещанский кодекс нравственности, я объявила ей, что большую до положенного срока я ни за что не отпущу, ей же не могу препятствовать уйти, если она этого желает.

Видя, что я не обращаю на это ни малейшего внимания, она благоразумно примирилась и осталась.

### ВИЗИТЕРЫ И ЖАЛОБЩИКИ

Не в одном только приёме больных проходили у меня базарные дни. После приёма, если он не очень долго затягивался, а иногда и во время приёма, приходили ко мне представиться разбогатевшие кулаки из окрестных деревень, муллы, вообще деревенская аристократия, бывали проездом различные судебные и становые пристава, исправники, непрременные члены и другие лица, власть имущие.

Не скажу, чтобы эти посещения доставляли мне удовольствие, но они были небесполезны, так как удовлетворяли моему желанию познакомиться с деятельностью уездной администрации не по книжке, а воочию.

В базарные же дни доставлялась мне обыкновенно различная корреспонденция, один вид которой на первых порах приводил меня в уныние. Впоследствии, когда я приобрела некоторую опытность и познакомилась поближе с обстановкой моей службы, я стала относиться хладнокровнее ко всяким, часто возмутительным для свежего человека, отношениям, донесениям и кляузам, сыпавшимся на мою голову.

На второй год моей службы я приобрела даже некоторую неуязвимость в этом отношении. На первых же порах я искренне возмущалась, когда в базарный день посреди приёма на мой двор въезжали сани, запряжённые парой, и вслед за тем в избу входил кучер и вручал послание от какого-нибудь помещика не только не моего участка, но даже из соседнего уезда, с просьбой немедленно пожаловать к нему, так как его сын страдает золотухой.

Приходилось отрываться от спешного дела в такое время, когда дорога каждая минута, и объяснять письменно этому господину, что, во-первых, он должен обратиться к своему участковому врачу, во-вторых, что я оставляю приём и уезжаю в базарные дни только в случаях, требующих безотлагательной медицинской помощи, к каковым золотуха не принадлежит, и, наконец, что я езжу вообще только к таким больным, которые не могут приехать ко мне сами, так как в противном случае больные, приезжающие ко мне иногда из очень дальних деревень, не заставали бы меня дома; ребёнка же, больного золотухой, беспрепятственно можно привезти ко мне.

Посланный удалялся, и в лице его хозяина я, несмотря на вежливый тон моего ответа, приобретала себе непримиримого врага.

Мой коллега, городской врач, рассказал мне как-то, что один из таких помещиков пожаловался ему на меня:

— Помилуйте, какая важность, что мужики, приезжая в базарный день, не застанут врача. Они, канальи, должны быть довольны и тем, что иногда застанут врача и получат от него лекарство. Конечно, она не может ездить к каждому золотушному крестьянскому мальчишке, на это не хватило бы времени. Но ведь есть разница, я думаю, между каким-нибудь паршивцем и моим сыном. Мужики-то платят копейки земского сбора, а я — десятки рублей.

При этом «резонном» рассуждении, разумеется, не упоминается, что и земли-то у барина гораздо больше, да и недоимки числятся за ним довольно солидные.

Проходит немного времени после ухода первого посланника, является второй — от какого-нибудь целовальника (ведь целовальники мнили себя в тех местах важными персонами) или волостного писаря, с просьбой отпустить хозяину какого-нибудь лекарства «для разбивания крови». Приходится объяснять, что такого лекарства нет или, по крайней мере, что я такого лекарства не знаю и что вообще я заглазно лекарств не даю.

Но всех таких визитов не перечесть.

С течением времени, когда мне удалось правильнее организовать приёмы, завести всё необходимое, когда я уже порядочно владела языком, имела в своём распоряжении толкового фельдшера и освоилась с местными нравами, я спокойнее относилась к подобным эпизодам, но вначале они меня раздражали тем сильнее, что я не позволяла этому раздражению прорываться наружу.



В базарные дни у меня бывало обыкновенно на приёме от восьмидесяти до ста больных. Но, возбуждённая и заинтересованная новым делом и массой впечатлений и наблюдений, я не чувствовала усталости во время работы и занятий, а ночью засыпала моментально как убитая, лишь только голова моя касалась подушки.

Помимо корреспонденции, которую мне приходилось получать от станowych, судебных следователей, от управы, я получала письма чисто кляузного характера.

Один из волостных писарей моего участка — Кирсанов — прислал на меня жалобу в управу, в которой значилось, что в последний мой проезд из Белебея в деревню Чукадит он, Кирсанов, сломав себе ногу, обращался с просьбой о помощи, но я осмотреть его не пожелала.

Признаюсь, что эта ябеда, лживая от первого слова до последнего, возбудила во мне гораздо более сильное негодование, чем она заслуживала. Я не могла только понять, чем вызвано со стороны этого Кирсанова желание доставить мне неприятность. Впоследствии некоторые обстоятельства заставили меня подозревать, что скрытой пружиной клеветы был местный воротила Самодуров, о котором я расскажу дальше.

Возмущённая этой жалобой, я изложила управе всё по этому поводу и просила управу обязать лиц должностных, грамотных, обращаться ко мне в случае нужды письменно: моя расписка в получении пакета будет служить неопровержимым доказательством того, что я действительно получила вызов.

Подобные меры, писала я, быть может, избавят меня во многих случаях от необходимости отписываться и оправдываться по различным обвинениям и сохранят мне, таким образом, время, которого у меня и без того не хватает.

Я полагала, что кирсановская кляуза будет не единственным образчиком обличительной литературы, с которой мне придётся иметь дело в земстве, и, естественно, желала ограничить на будущее время подобную переписку.

Во время я была ещё новичком в земской службе. Впоследствии же, познакомившись с её изнанкой и вникнув в те нехитрые пружины, которые регулируют весь её ход и все взаимные отношения служащих друг к другу, я начала относиться к всевозможным ложным доносам и кляузам с тем спокойным презрением, которого они заслуживают.

Конечно, эта кляуза была не единственной.

Меня начал осаждать своими посещениями помощник волостного писаря под предлогом боли под ложечкой или тошноты, причём он неизменно являлся ко мне или пьяным, или по крайней мере выпившим.

Я же поставила себе за правило не допускать никогда пьяных на приём, не желая подрывать уважение к себе и обращать приёмную врача в такое место, куда можно являться, не стесняясь, в каком угодно виде.

В начале моей службы некоторые крестьяне, слыша о моей доступности и хорошем обращении с больными, пробовали иногда являться ко мне навеселе, но подобных нескромных посетителей я обыкновенно выпроваживала без всяких околичностей.

— Ты, брат, видно, ошибся, не туда зашёл. Я пьяных не осматриваю и не лечу, ступай себе с богом и приходи, когда будешь трезв, — говорила я.

Сконфуженный насмешливыми взглядами остальной публики, подгулявший пациент обыкновенно смиренно удалялся и впредь являлся ко мне уже трезвым.

Но с писарем не так-то легко было разделаться, когда он и во второй раз явился ко мне порядочно навеселе.

Отказавшись его исследовать и дать ему лекарство, я сказала, что если он снова позволит себе явиться ко мне в нетрезвом виде в приёмную, то я позову хозяина дома и прикажу его вывести.

Несмотря на это предупреждение, этот помощник волостного писаря явился ко мне в третий раз, уже совершенно пьяный, и я привела свою угрозу в исполнение.

Немедленно, конечно, последовала от него жалоба в управу, что он, дескать, явился ко мне просить лекарства от своей болезни, а я выгнала его.

На запрос управы по этому поводу я ответила, что помощника волостного писаря такого-то я действительно выгнала и всегда буду выгонять и впредь, когда он явится ко мне пьяным.

Тем дело и кончилось.

### ЗЕМСКИЕ БЮРОКРАТЫ

Чтобы подробнее рассказать об обстановке, в которой я работала, охарактеризую подробнее и деятелей земства.

Помню, как в начале моей службы глубоко возмущала меня официальная корреспонденция из управы. Так, например, в самый разгар охватившей весь уезд оспенной эпидемии, существование которой ни для кого не составляло тайны, белебеевская земская управа вдруг «открывала Америку», и я получала от неё пакет приблизительно следующего содержания:

«Отношением от такого-то числа, за таким-то номером пристав такого-то стана уведомил управу, что в деревне Карауловой свирепствует оспенная эпидемия и ежедневно умирает 5—6 ребят. Сообщая об этом, уездная земская управа просит вас немедленно принять меры к прекращению эпидемии».

Вначале подобные сообщения искренне и глубоко возмущали меня. Я знала, что подписывающему бумаги председателю и членам управы прекрасно известно, что эпидемия в уезде давно уже приняла страшные размеры и что прекратить её нельзя, а следовало предупредить.

Но эти люди, которые проводят целые утра в земской управе в бессмысленном переливании из пустого в порожнее, в покуривании папирос, в подписывании своей фамилии, пальцем не шевельнули для того, чтобы предотвратить такое страшное бедствие, как эта эпидемия. Теперь они делают вид, что только из донесения пристава узнают о ней, и предписывают принять меры к её прекращению. Как будто в самом деле врачу стоит приехать в злополучную деревню, остановившую на себе внимание власти, и издать декрет о прекращении эпидемии.

Со временем я узнала, что бумаги эти высылаются, чтобы «очистить номер». Это специальное словцо бюрократов! И вот что оно означает. Получение бумаги от исправника или станového пристава записано во «входящие», значит надо, чтобы в ответ ей какое-либо распоряжение или другая бумага, хотя бы совершенно нелепая или бессмысленная, была записана в «исходящие», и тогда дело в шляпе.

Поступив таким образом, белебеевские земцы успокаиваются, находя, что они совершили всё возможное и с чистой совестью могут усесться играть в ералаш, сплетничать и тянуть пиво или очищенную.

Всё это было, разумеется, в порядке вещей; но меня, как новичка, увлекающегося своим делом, глубоко возмущала эта халатность в общественном деле, этот бумажный механизм, заменяющий живую работу, и это позорное равнодушие представителей земства к интересам, которым они служат по общественному выбору.

Вот до чего может дойти, вот как может выродиться земское самоуправление, думалось мне. Но это были ещё только цветочки, ягодки были впереди. На многое ещё пришлось мне насмотреться.

В той губернии, где находился этот уезд, земские учреждения были введены очень недавно, около восьми лет назад. Нового суда ещё не было, но мировой институт уже существовал; нельзя сказать, однако же, чтобы эти молодые учреждения особенно роскошно принялись на чернозёмной почве края.

Во время моего поступления на земскую службу белебеевское земство вступило в третье трёхлетие своего существования и, освободившись год назад от деспотической ферулы<sup>1</sup> белебеевского туза Самодурова, хозяйничавшего в уезде с такой же бесцеремонностью и развязностью, как в собственном доме, попало в другие, но не более чисто-плотные руки.

На личности этого Самодурова стоит остановиться подробнее.

Коренной житель Белебеевского уезда, имевший дом в городе и землю в окрестностях его, Иван Михайлович Самодуров пользовался в уезде почти неограниченным влиянием и властью. Бессменно избираемый предводителем дворянства, будучи в то же время председателем уездного по крестьянским делам присутствия, воинского присутствия, почётным мировым судьёй, председателем уездного земского собрания и в течение первых двух трёхлетий со времени введения в губернии земских учреждений и

<sup>1</sup> Ферула — линейка, которой в старину наказывали непослушных школьников (лат.) (Примеч. ред.)

председателем земской управы, имея сверх того всюду близких людей, связанных с ним узами родства или взаимным обдѣлыванием делишек, Самодуров крепко держал в руках бразды правления Белебеевским уездом.

Как лицо власть имущее, водившее хлеб-соль с крупными представителями администрации, полиции и судебного ведомства, Самодуров мог насолить всякому белебеевцу, имевшему неосторожность навлечь на себя его гнев и немилость.

Средств для этого под руками было много, и в выборе их Самодуров не отличался разборчивостью. Можно было непокорного обывателя или сына его забрить в солдаты, можно было подвести его под суд, лишить должности и прочее и, в крайнем случае, пустить в ход донос и обвинения в неблагонадѣжности, в «превратных толкованиях», в предосудительном образе мыслей, словом, можно было донять, как говорит пословица, не мытьём, так катаньем.

Подобных примеров укрощения строптивых белебеевским главой мне приводили множество, и если даже в этих рассказах допускались ради красоты слога известные дополнения и прикрасы, то суть их безусловно достоверна.

Но если Самодуров умел казнить, то он умел также и миловать тех, кто служил ему верой и правдой.

Рассеянные по всему уезду его пособники в лице земских гласных, подготовлявшие ему партию на земских собраниях, волостные писаря, действовавшие согласно его инструкциям, всегда рассчитывали найти в лице Ивана Михайловича могучий оплот и защиту. За ним, как за каменной стеной, можно было совершать различные тёмные делишки и более или менее рискованные операции: безбоязненно заниматься конокрадством (конокрадство было истинным бичом края), составлять от имени сельских обществ фальшивые приговоры об открытии кабаков, делать подчистки и поправки в денежных книгах волостного правления и прочее и прочее.

Дерзость Самодурова равнялась его безнаказанности. Он восемнадцать раз был под судом и постоянно выходил сухим из воды!

Задолго до введения в крае земских учреждений Самодуров служил исправником. В это время крестьяне одной из деревень этого уезда вели тяжбу с матерью Самодурова из-за земли, принадлежащей этим крестьянам, которой мать Самодурова владела неправильно.

Недовольные решением казённой палаты, крестьяне пожаловались в сенат. Обязанный объявить крестьянам решение сената, Самодуров приезжает в деревню, но, вместо того чтобы объявить о решении дела в пользу крестьян, он пишет постановление о том, что сенат, дескать, решил дело незаконно, а потому исправник не находит нужным объявлять это постановление.

За это Самодуров, разумеется, вновь попал под суд, но с обычной своей ловкостью опять-таки сумел избежать ответственности.

В качестве председателя уездного по крестьянским делам присутствия Самодурову пришлось натолкнуться на протест в лице местного землевладельца Люпретова, башкира по происхождению, человека несомненно честного, хотя с несколько односторонними и узкими взглядами.

В течение двух трёхлетий Люпретов был уездным гласным и одно трёхлетие — непременным членом уездного по крестьянским делам присутствия. В этой роли ему приходилось не раз сталкиваться с Самодуровым, причём нередко победа оставалась на его стороне.

С Люпретовым я познакомилась при следующих обстоятельствах.

Первый раз он заехал ко мне как бы с визитом в самый разгар приёма, когда изба моя была полна народу.

Попросив его сесть и начав один из тех малозначащих разговоров, который ведётся обыкновенно людьми, не знающими друг друга, я продолжала делать перевязку и заниматься больными, а когда подали самовар, я, угощая Люпретова чаем, нашла неудобным не предложить также чай больным, находившимся в комнате и дожидавшимся своей очереди. Некоторые из них, застеснявшись, отказались, а некоторые если за самовар и стали пить чай.

На губах Люпретова блуждала ироническая усмешка, которую я приписала тому, что он, хоть и природный мусульманин, но дворянин, мирза, шокирован подобной компанией.

Я уверена, что, по крайней мере отчасти, так оно и было. Впоследствии, при более близком знакомстве, когда у нас заходил разговор об этом первом его посещении, он признавался, что подсмеивался над моим обращением с народом, который, по его выражению, до этого не дорос. Такой взгляд его нередко служил предметом споров между нами.

В Люпретове было немало барских замашек и высокомерия перед низшими.

Этой чертой Люпретова и объясняется то, что он, коренной житель уезда, которого многие крестьяне знали ещё мальчиком, был настолько мало популярен среди местного населения, что ко мне, недавно поселившейся в крае, русской, гораздо охотнее и свободнее обращались со всякими нуждами, чем к нему или к его жене. А между тем он был бесспорно честный и хороший, хотя несколько упрямый и, как говорится, тяжёлый человек.

Однако, как ни незначительны были те фразы, которыми мне удалось обменяться с Люпретовым во время первого его непродолжительного визита, как ни мало сочувствия внушала мне ясная ирония по поводу моего обращения с больными, я всё же успела разглядеть в нём человека несомненно более развитого и порядочного, чем большинство лиц, с которыми мне приходилось до сих пор сталкиваться.

Люпретов явился неумолимым преследователем конокрадов, находившихся под специальным покровительством Самодурова. При ревизии волостных правлений Люпретов нередко открывал злоупотребления волостных писарей и старшин, пособников Самодурова. Самодуров же, в свою очередь, старался не давать ходу этим делам и не рассматривал их в заседании в присутствии Люпретова. Когда же Люпретов, служба которого требовала непрерывных разъездов по уезду, уезжал из города, Самодуров вновь открывал присутствие и вкупе с другими, более податливыми членами решал по своему усмотрению все щекотливые вопросы.

Возмущённый неоднократными проделками такого рода, Люпретов несколько раз жаловался на них в губернское присутствие по крестьянским делам.

Подобный образ действий, разумеется, создал Люпретову в лице Самодурова непримиримого врага.

Вражда эта ещё более обострилась из-за столкновений в земском собрании, где Люпретов был гласным, а Самодуров — председателем управы.

Ревизионная комиссия, в которой участвовал и Люпретов, обнаружила самое беззастенчивое воровство.

Многих служащих в управе, содержателей земских станций и других Самодуров заставлял ежемесячно расписываться в получении полного жалованья, а выдавал им только половину, остальную же половину удерживал по праву сильного.

Молва о самодуровских подвигах по временам проникала в печать. Самодуров обыкновенно старался обнаружить непрошенного обличителя и выжить его из уезда, а служащим в управе запрещал выписывать и читать газеты, которые непочтительно отзывались о нём.

Всё это обнаружилось на собрании. Собрание вышло чрезвычайно бурное, и в дополнение ко всему сору, вынесенному из управы, один из гласных заявил:

— Да ведь мало ли что про кого говорят? Я, например, слышал и такие речи: вот уж кто настоящий вор, так это Иван Михайлович Самодуров!

Скандал вышел полный. Самодуров, которого нелегко было смутить, на этот раз не решился баллотироваться.

Председателем управы был выбран некто Краснобаев, при котором я и поступила на службу.

Мусульманин по религии, крестьянин по происхождению, Краснобаев окончил гимназию и затем юридический факультет Казанского университета, служил некоторое время исправляющим должность судебного следователя, но вследствие многих небрежностей по службе принуждён был выйти в отставку.

Казалось бы, что его, как человека, вышедшего из народа, близко знающего его нужды, сохранившего с ним живую связь и в то же время образованного, интеллигент-

ного, вернее всего можно было поставить во главе земского дела. Но полученное им образование, к сожалению, не облагородило его натуры, трусливой и мелкой, не закалило его характера, ничтожного и слабого, и дало лишь ему в руки орудие, неизменно выручавшее Краснобаева из различных неловких житейских и служебных положений. Орудием этим была фраза. Краснобаев мог довести своим красноречием слушателя до истомы, до полного изнеможения.

Постоянно уклоняясь от прямого ответа, рассуждая вроде того, что, с одной стороны, надо сознаться, хотя с другой — нельзя не признаться и т. д., испещряя свою речь совершенно не идущими к делу либеральными оборотами, Краснобаев буквально заговаривал, вымучивал своего собеседника и таким образом выпутывался из всевозможных затруднений.

Я живо вспоминаю, какая тоска нападала на меня всякий раз, когда мне приходилось по делам службы иметь объяснения с Краснобаевым; перспектива имеющегося обрушиться на мою голову словоизвержения приводила меня в уныние. Да и было от чего!

Иногда, твёрдо вознамерившись добиться какого-нибудь результата от Краснобаева, желая выяснить то или другое важное для моего дела обстоятельство, я требовала категорического «да» или «нет». В таких случаях Краснобаев обещал всё что угодно. Но я скоро убедилась, что придавать какое-нибудь значение его обещаниям было бы слишком большой наивностью.

При Краснобаеве беспорядки были всё те же: хроническое безденежье, лекарства не выписывались, земские служащие месяцев по пяти и более не получали жалованья и должны были пробавляться кредитом у белебеевских кулаков.

Второе после Краснобаева лицо в управской иерархии — старший член Осип Тихонович Продувной, который скорее был председателем управы, чем Краснобаев, так как он заменял его во время частых его отлучек и целый год исправлял его должность.

Этот человек был уже в прямом смысле слова тёмной личностью, мораль которой вполне передавалась словами: «Не пойман — не вор».

В дни своей юности Осип Тихонович страдал запоями, от которых его вылечила одна сердобольная барыня, и с тех пор он не брал ни капли спиртного, тем более, что принадлежал к старой вере, что, впрочем, старался по мере возможности скрывать. Полуграмотный, неотёсанный, он, тем не менее, попал в члены управы и, исправляя часто обязанности председателя, возмнил о себе выше меры.

Почувствовав свою силу, Осип Тихонович приобрёл некоторые барские замашки, которые можно было удовлетворять без всяких расходов. Так, например, он заставлял аптекаря готовить для своей супруги на земский счёт мыло и духи, а она по глупости хвасталась этим перед всеми.

Остальные два члена управы были совершенно безгласные существа, во всём подчинявшиеся Краснобаеву и Продувному.

Был в управе ещё секретарь — добродушнейшее и толстейшее существо, отличающееся крайней сонливостью. Бывало, во время земского собрания, на самом патетическом месте томительного краснобаевского спича или во время обострённой перебранки между гласными, вдруг раздаётся громкое и мерное храпение, и глазам обернувшихся на эти звуки представляется тучная фигура секретаря, сладко уснувшего где-нибудь в уголке.

Таков был личный состав управы. Мудрено ли, что среди этих людей голос человека, интересовавшегося чем-либо, кроме наполнения своего кармана, был гласом вопиющего в пустыне. И люди, любящие своё дело, способные ради него пожертвовать своими интересами, считались ими по меньшей мере несколько помешанными.

Состав земского собрания был не лучше. Несколько гласных из числа довольно крупных землевладельцев, к которым принадлежал Люпретов, и ещё человека три-четыре сравнительно интеллигентных и честных составляли оппозицию безграничному самодуровскому произволу.

Оппозиция эта была слаба и действовала зачастую вразброд. Поглощённая своими личными и хозяйственными делами, она апатично или по крайней мере с недостаточной энергией относилась к делу.

Что же касается до гласных из крестьян, которые составляли большинство, то в них-то и была истинная сила Самодурова. Всё это, без исключения, были местные кулаки. Только они одни имели средства для угощения, а иногда и денежного подарка избирателям, без чего не обходился ни один крестьянский съезд.

На земском собрании эти гласные во время баллотировки какого-нибудь вопроса устремляли свои заспанные глаза на самодуровский карандаш, который показывал, следует ли им встать или сидеть.

Одним из усерднейших клеветов Самодурова был гласный Сейфутдинов, слава о мошенничествах которого гремела даже за пределами Белебеевского уезда.

Сейфутдинов, грамотный по-русски, занимался адвокатской практикой. Он писал прошения одновременно и той и другой стороне или же намеренно упускал в прошении различные требуемые законом формальности, вследствие чего прошение возвращалось и можно было снова взять деньги за вторичное его написание.

За несколько лет до моего приезда в те края этот пройдоха служил волостным писарем и мошенничал без зазрения совести и без оглядки. Не говоря уже о взятках, он присваивал себе деньги, адресованные в волостное правление для передачи тому или иному крестьянину.

Денежные книги волостного правления подчищались и перемарывались.

В конце концов против него было возбуждено уголовное преследование; судебный следователь собрал довольно веские улики, и, казалось бы, не миновать Сейфутдинову мест более или менее отдалённых, но свойственная ему дерзость выручила его и на этот раз.

Достойные друзья его напоили следователя, а дело украли и сожгли.

Став членом Белебеевской уездной управы, бывший писарь брал со всех, кто имел какое-нибудь дело с управой и в пользу кого он мог замолвить словечко, кому, наконец, мог так или иначе помочь или помешать.

Ни одна дорога, ни один подряд не оставался без более или менее активного его участия: или он брал и исполнял его сам вместе со своими приятелями, такими же мошенниками, или же переуступал подряд за цену, за которую сам взял его.

Всего же упрощённое, к обоюдному удовольствию заинтересованных сторон, действовал он в тех случаях, когда ему нужно было принимать земские дороги, починка и исправление которых составляли натуральную повинность и сдавались за известную цену какому-нибудь крестьянину из его односельчан. Получит тот, положим, три рубля за исправление участка дороги.

— Ну, что ты, дорогу чинил? — спрашивает его Сейфутдинов.

— Нет, жду вашей милости, — следует ответ.

— А сколько взял за работу?

— Три рубля.

— Ну, так давай сюда два рубля, а рубль тебе останется.

Тот отдаёт ему два рубля и получает взамен записку, что дорога исправлена.

Понятно, в каком состоянии были дороги при таком способе их исправления!

В дополнение к беглой характеристике тех людей, с которыми мне приходилось более или менее сталкиваться по службе, упомяну ещё о братьях Семёновых, из которых один был секретарём мирового съезда, а другой — смотрителем больницы.

Оба они не были коренными жителями уезда, а представляли собой элемент пришлый. Их привлекло в Белебеевский уезд стремление к лёгкой наживе. Семёнов — секретарь мирового съезда — в короткое время успел составить себе весьма нелестную репутацию даже в Белебеевском уезде.

Он страстно желал добиться тёплого местечка мирового судьи. Для этого ему на первых порах был необходим имущественный ценз. Занялся Семёнов адвокатурой и надул мужиков, сторговавших землю и давших ему денег и доверенность для совершения купчей крепости.

Купчую крепость этот делец совершил, но только на своё имя, а от несчастных своих доверителей отделался какими-то пустяками, которые вышвырнул им от щедрот своих.

Дело было обставлено «наизаконнейшим» образом.

Таким-то путём приобрёл Семёнов желанный ценз, но вместе с ним клеймо неизгладимого в глазах всякого честного человека позора. Однако на это практические люди его закала не обращают ни малейшего внимания.

Другой братец Семёнов, смотритель земской больницы, был тоже плут, но более мелкого калибра.

Я ещё не упоминала о заведующем земской аптекой, а между тем столкновения с ним служили пробным камнем моего терпения.

В начале моей земской службы аптекой заведовал чрезвычайно жёлчный и болезненный субъект, привычный морфинист.

Зная, что лекарства необходимы к базарному дню, он нарочно задерживал отпуск их, хотя он вредил этим не мне лично, а ни в чём не повинным больным.

По свойственному мне отвращению к ябедам и дрызгам я не жаловалась в управу.

Его сменил на службе человек, старавшийся угождать всем людям без изъятия, но забывавший даже «собаки дворника, чтобы ласкова была».

Оценивая по достоинству силу Самодурова и влияние его даже в тех земских делах, к которым он не имел непосредственного отношения, новый аптекарь подделывался к нему, лебезил перед ним, никогда не забывая праздничных и поздравительных визитов и всевозможных изъявлений преданности и уважения, и в то же время насколько не стеснялся ругать его на чём свет стоит за глаза, в присутствии людей другого лагеря. Не думаю, однако же, чтобы подобная двуличность могла ввести кого-нибудь в заблуждение.

### УЕЗДНЫЙ ВРАЧ

Невольно и даже совершенно бессознательно нажила я себе недоброжелателя в уездном враче Сеймнечинском. Он служил уездным врачом в Белебеевском уезде уже много лет, нажил себе домик и кругленький капиталец и вообще представлял собой образец человека, вполне довольного собой и своим обедом, но только не своей женой.

Находясь по большей части в контрах с Самодуровым, Сеймнечинский объединялся с ним лишь во время призыва новобранцев в воинском присутствии, где Самодуров состоял председателем, а он — врачом.

Давным-давно отстав от науки и забыв и то, чему он когда-то учился, уездный врач почти совсем не занимался медицинской практикой и посвятил себя исключительно разъездам по уезду и вскрытию мёртвых тел, которые не оставляли ему времени для того, чтобы заниматься ещё и живыми людьми. Впрочем, патолого-анатомические вскрытия и судебная экспертиза в Белебеевском уезде не много выиграли от такой специализации.

Как-то, уже на второй год моей земской службы, обратился ко мне за медицинской помощью, проездом через Буздяк, один чувашин, выехавший утром того же дня из своей деревни вместе со своими односельчанами.

До путешествия и в начале его он чувствовал себя вполне здоровым, лишь не доезжая вёрст восьми—десяти до Буздяка внезапно ощутил нестерпимую, жгучую боль в животе.

Товарищи его, видя, что он захворал не на шутку, решили обратиться ко мне за советом и привезли его в Буздяк. Смертельно бледный, покрытый холодным потом, с едва ощутимым пульсом, он сидел на лавке, согнувшись в три погибели и жалуясь на невыносимую боль под ложечкой.

Об исследовании больного с диагностической целью не могло быть и речи, так как, во-первых, он не был в состоянии разогнуться, а во-вторых, самое нежное прикосновение к животу вызывало нестерпимую боль.

Предполагая отравление, я расспрашивала его и его товарищей о том, что они ели. Оказалось, что все они пили утром чай с молоком и хлебом и больше никакой пищи в этот день не принимали. Тогда я дала больному на всякий случай рвотное, которое подействовало очень скоро, но не вызвало никакого облегчения.

О продолжении путешествия, конечно, не могло быть и речи. Я поместила больного на квартиру к одному знакомому мне крестьянину и применяла лечение чисто

симптоматическое: дала ему приём наркотического и прикладывала тёплые припарки на живот, вприснула под кожу камфору для возбуждения деятельности сердца. Несмотря на мои старания, больной через три-четыре дня скончался при явлениях постепенно ослабевающей деятельности сердца и сильной боли живота, мучившей его до последней минуты.

Тело его, как скоропостижно умершего, было доставлено в его родную деревню, для того чтобы подвергнуть патолого-анатомическому вскрытию.

На обращённый ко мне запрос станового пристава о болезни и причине смерти этого крестьянина я ответила, что болезнь определить не могу. Предполагая, однако, или почечные камни и вызванные ими почечные колики, или лопнувшую аневризму какого-нибудь из более или менее крупных сосудов брюшной полости и вызванную обильным внутренним кровоотечением смерть и интересуясь узнать в точности причину смерти упомянутого больного, я убедительно просила сообщить мне, какие изменения будут найдены в его трупе при вскрытии.

Каково же было моё изумление, когда через несколько времени я получила отношение того же пристава, уведомляющего меня о том, что при вскрытии трупа никаких изменений не найдено.

Что это такое? Полнейшее невежество или просто небрежное, халатное производство вскрытия? Решить не берусь, но факт сам по себе, по моему мнению, чрезвычайно знаменателен.

### ВЫЗОВЫ К ПОТЕРПЕВШИМ

Не проходило ни одной недели, в которую бы мне не приходилось колесить по уезду на несчастных земских клячах, чтобы оказать медицинскую помощь, а главное, выдать свидетельство тому или другому пострадавшему.

В тех случаях, когда крестьяне сами приезжали или присылали за мной по поводу какого-нибудь несчастья, ожога, ранения, случайного или полученного в драке, и т. п., в рассказах их в большинстве случаев не бывало преувеличения и им можно было довериться.

Крестьяне, особенно из дальней деревни, не погонят напрасно своей лошадейки. Если они вызывают, значит им действительно нужна помощь врача.

Но бывало и иначе. Донесения, получаемые от официальных лиц и учреждений (волостных правлений, сельских урядников и прочих), по большей части производили ложную тревогу, тем более досадную, что, спеша на вызов, мне случалось иногда оставлять у себя дома на попечении фельдшера действительно опасно больных и скакать, не переводя духа, десятки вёрст, для того чтобы найти по приезде какую-нибудь ничтожную ссадину или царапину, усердно раздуваемую в кляузных целях в тягчайшие, опасные для жизни повреждения.

Неопытная вначале, я верила всем ужасам, которые описывались в присылаемых мне донесениях, и спешила, едва останавливаясь на несколько минут на станциях, чтобы переменить лошадей, опасаясь не застать уже в живых потерпевшего.

Но каково же было моё изумление, когда иной раз вместо сломанных рёбер, разбитого черепа и других ужасов, описанных в официальных донесениях, я находила ничтожный синяк или царапину.

Тщетно пыталась я внушить сельским урядникам, чтобы они не писали мне в своих донесениях по случаю какого-нибудь побойца, что «жисти» потерпевшему осталось два-три дня, как они это часто делали, особенно когда потерпевший был родной или знакомый уряднику человек. Тщетно убеждала я таких блюстителей порядка в том, что будущее сокрыто даже от всевидящего полицейского ока.

Но не одни урядники были виновниками бесцельных разъездов, не одни они эксплуатировали труд и время земского врача, и без того заваленного спешной, почти непосильной работой; на такую эксплуатацию, помимо урядников, находилось много охотников.

Впрочем, я не слишком сетовала на эти неправильные и частые вызовы, так как они способствовали моему намерению посетить возможно большее количество деревень



на моём обширном участке (185 деревень) для знакомства с местными санитарными условиями и сближения с населением.

Сознавая вполне бесполезность амбулаторной системы лечения при разъездах, я мечтала об устройстве со временем хотя бы небольшой больницы и о более правильной организации земского медицинского дела.

Тем не менее скрепя сердце я раздавала различные снадобья нашей латинской кухни, которые я возила с собой в земском ящике. Говорю — скрепя сердце, потому что ведь я не могла не знать, что, например, застарелый желудочный катар, поддерживаемый неправильным и недостаточным питанием, не пройдёт от склянки микстуры; а оставить её необходимо: ведь больным непонятны мои соображения. Они хотят получить от меня лекарство и будут недовольны, если я откажу им в нём.

Есть над чем призадуматься!



Кроме разъездов по оспопрививанию и по приглашению больных, мне, как я уже упоминала, нередко приходилось ездить по судебно-медицинским требованиям. В уезде, при господствующей в нём темноте, драки и кулачные расправы отнюдь не представляли редкость, и мне сплошь и рядом приходилось лечить людей с откушенными пальцами и губами, раны живота с выпадением внутренностей и тому подобные, более или менее тяжкие увечья.

С другой стороны, из-за страсти к тяжбам и кляюзам, поддерживаемой ходатаями по делам, отчаянными пройдохами, наживающимися на этих кляюзах, всякие, даже ничтожные, повреждения, какая-нибудь царапина или ссадина заставляли потерпевших как можно скорее обращаться к врачу не за лечением, конечно, а за получением свидетельства с кляюзными целями.

Видя, что преувеличенные вздохи и жалобы, обвязывание здоровой головы полотенцем и тому подобные манёвры не действуют на меня и не возбуждают моего доверия, эти притворщики, уже глубоко деморализованные различными чиновниками, уездным врачом и другими лицами, привыкшие к тому, что всё можно купить, не раз пробовали предлагать мне взятку.

Впрочем, эти попытки скоро прекратились, потому что первых же из этих притворщиков я прогнала вон и грозила составить акт о предложении мне взятки и передать его судебному следователю.

Угрозы эти оказывали своё действие, и за мной, повидимому, установилась репутация человека неподкупного.

Частым поводом для медицинских освидетельствований были кровопролития, вызываемые земельными неурядицами. Дело в том, что всем известная раздача башкирских земель породила, конечно, раздоры.

Значительная часть этих земель была роздана за бесценнок, чуть не даром, местным богатеям, землевладельцам (из которых некоторые, например, мои соседи — богатые татары, имели в одном Белебеевском уезде 11 тысяч десятин земли), частью же земли были поделены между коренными жителями тех мест — башкирами — и переселенцами из Рязанской, Тамбовской и других центральных губерний.

Правильного размежевания крестьянской земли не было произведено. Поэтому многие земли составляли предмет споров между соседними деревнями, и споры эти разрешились большей частью самым упрощённым способом.

Ежегодно перед началом пашни жители спорящих между собой деревень выезжали на спорные поля. Крестьяне, вооружённые кольями и дубинами, вступали в кровопролитное сражение.

Лесные порубки и происходившие при этом драки бывали также очень часто. Местность в том краю степная, безлесная; попадающийся изредка хороший строевой лес принадлежал кому-нибудь из крупных землевладельцев; крестьяне же совсем не имели леса. При таких условиях порубка не только со стороны отдельных лиц, но и целых деревень случалась тем чаще, что крестьяне считали помещиков незаконными владельцами их лесов.

Когда администрация, осаждаемая жалобами местных богачей, вмешивалась в это, то на угрозы прислать военную команду башкиры отвечали, что лес их и они будут его рубить.

При этих вторжениях, как называли их становые пристава, конечно, не обходилось без стычек с полесовщиками и лесными сторожами.

### РАЗЪЕЗДЫ

Я обыкновенно располагала свои поездки по участку, которые случались очень часто, в такое время, чтобы непременно быть дома в базарные дни. Я выезжала из Буздяка в эти дни только в крайних случаях.

Мне не раз приходилось ехать напролёт целые ночи, сбиваться с дороги, плутать в непроглядной осенней тьме, тащиться под проливным дождём несколько десятков вёрст, чтобы попасть к утру прямо на приём в базарный день.

Ни за что на свете не позволила бы я себе, несмотря ни на какое утомление, ни на какую погоду, остановиться накануне базарного дня ночевать в пути.

— Помилуйте, — ужасался как-то толстый исправник, с которым я встретила на земской станции в одну тёмную, ненастную осеннюю ночь, — неужели же вы серьёзно хотите ехать дальше под таким ливнем, в открытой плетёнке, по такой ужасной дороге? Я мужчина, притом же у меня есть крытый возок, но не решусь двинуться в такую погоду и остаюсь здесь ночевать.

Когда же он увидел, что я сажусь в повозку, и убедился, что моё намерение ехать совершенно серьёзно, он только покачал головой и заметил:

— Послушайте, право же, вы напрасно рискуете, ведь вы этим никого не удивите.

— Да я нимало не намерена кого-нибудь удивлять, — возразила я.

В самом деле, мой организм легко справлялся со всевозможными невзгодами.

Несмотря на все убеждения некоторых моих хороших знакомых, главным образом моего ближайшего соседа Люпретова, я не могла собраться купить себе крытый экипаж, никогда не находила для этого свободных денег, да, по правде сказать, я и не чувствовала в этом особенной надобности.

Мне случалось путешествовать в открытой плетёнке под таким ливнем, о котором я прежде не имела и понятия, причём смоченная до нитки одежда просыхала на мне прежде, чем представлялась возможность переменить её, купаться в речках во время весеннего половодья, сбиваться с дороги во время бурана и снежных заносов, очень нередких в тех краях, подвергаться опасности замёрзнуть зимой в степи, встречаться с волками. Из всех этих дорожных приключений я выходила цела и невредима; никогда не поплатилась за них какой-нибудь, даже самой мимолётной простудой.

Не раз во время этих поездок приходил мне в голову избитый аргумент, на который так часто ссылаются противники женщин-врачей. Они указывают на неспособность их к практической деятельности, на пресловутую женскую слабость, изнеженность. Куда же годится этот аргумент, если мне, на вид худой и слабой, оказались нипочём непогода, бессонные ночи и всевозможные лишения! Другие, более крепкие, наверное, могли бы вынести ещё больше. Но, впрочем, разве доказательства и факты имеют какое-нибудь значение для людей, которые заведомо не хотят в чём-нибудь убедиться?

Единственно, в чём проявлялась у меня эта пресловутая слабость, с чем я никак не могла свкнуться, так это с варварским обычаем местных жителей, экономящих тепло, закрывать печи в такое время, когда в них оставались не только непрогоревшие головни, но даже целые поленья.

Остановившись в какой-нибудь избе, осаждаемая больными, и не заметив сразу угара, я нередко платилась за это страшным отравлением окисью углерода.

Особенно памятен мне один случай страшного угара, от которого я провалялась довольно долго, как в самой тяжёлой болезни. Порой мне казалось, что я уже умерла, и я недоумевала, почему я ничего другого уже не чувствую, а ещё продолжаю ощущать эту мучительную головную боль?

Вот как произошёл этот случай. Приехала я зимой в двадцатиградусный мороз в сильно натопленную избу. Сейчас же пришли матери с ребятишками, которым надо было привить оспу, появилось множество больных. Занятая делом, я тогда только за-

метила, что в избе страшно угарно, когда у меня закружилась голова и перед глазами забегали зелёные круги.

Машинально я отошла от больного, которого исследовала, и вышла в другую половину избы, представлявшую сруб без окон и дверей; и там, как была в одном платье, упала на дрова.

Пролежала я там несколько часов подряд, не сознавая ничего, кроме страшной головной боли. Когда я очнулась, наступила сильнейшая тошнота и рвота, преследовавшая меня вместе с головной болью ещё двое суток. В течение по крайней мере целой недели я не могла вполне оправиться от этого страшного угара, между тем хозяева, их гости и Баскаков, просидевшие в этой избе несколько часов подряд, остались совершенно здоровыми.

После этого случая я была осторожнее и, приезжая в какую-нибудь избу, первым делом осведомлялась, закрыта ли труба, не остались ли в печи непрогоревшие головни. Но и впоследствии я иногда забывала об этой предосторожности, и отравляться окисью углерода мне приходилось нередко, потому что на первых порах я почти всё время, за исключением базарных дней, проводила в разъездах: то по приглашению трудно больных из дальних деревень, то по донесениям волостных правлений о какой-нибудь эпидемической болезни, то, наконец, по требованиям станowych приставов и судебных следователей для производства освидетельствования и выдачи судебно-медицинских актов.

\* \*  
\*

Медицинскую деятельность свою по участку я первым делом начала борьбой, хотя, к сожалению, несколько запоздавшей, с оспенной эпидемией, которая пощадила ещё некоторые деревни моего участка.

Вместо отвратительного подобия лимфы, которую я нашла у фельдшеров и «оспенников», я выписала оспенный детрит из вольно-экономического отдела Петербургского вольно-экономического общества. Получив его, я стала ездить по различным волостям моего участка, выбирая преимущественно те, которые были пощажены эпидемией, и прививать этот детрит желающим, в которых, к моему удовольствию, не было недостатка.

Успех прививки детритом превзошёл мои ожидания; на сто удачных случаев насчитывалось три-четыре неудачных. Доверие к предохранительному оспопрививанию возрастало у населения, тем более, что, верная данному слову, я не снимала с детей привитой лимфы и прививала всё детритом.

Правда, это обстоятельство ставило меня в затруднение относительно добывания лимфы. Мне приходилось тем чаще обращаться в вольно-экономическое общество, что, прослышав о том, что в Буздяке есть врач, который удачно прививает оспу, крестьяне соседнего уезда стали толпами съезжаться ко мне в базарные дни лечиться и привозили с собой детей, прося привить им оспу.

Разумеется, отказывать им в лечении или прививке оспы потому, что они жители другого уезда, было совсем не в моих правилах. Я всегда принимала их, что неоднократно навлекало на меня разные нарекания, кляузы и даже заявления одного из моих недоброжелателей, гласного, на земском собрании (впрочем, в моё отсутствие), что я раздаю земские лекарства крестьянам других уездов. При этом, конечно, не было упомянуто, что всё, что есть в этих лекарствах ценного, приобретается мною на собственный счёт, и игнорировалось постановление собрания, гласящего, что врач обязан оказывать медицинское пособие обращающимся к нему крестьянам других уездов, равно как и белебеевские крестьяне могли пользоваться медицинской помощью в других уездах.

### УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

Так и жила я в своей деревеньке, постоянно занятая, довольная, несмотря на все недостатки и земские неурядицы, счастливая сознанием, что я делаю хотя маленькое, незаметное, но несомненно полезное дело.

Меня крайне удивляли не раз обращённые ко мне вопросы:

— Неужели вы не скучаете в вашей деревне?

С каждым днём увеличивались мои познания в башкирском языке, возрастала моя популярность и доверие ко мне среди местного населения.

Народ скоро убедился, что я не чиновник, каким он до сих пор привык считать врача, отождествляя его со всяким иным начальством, разъезжающим на земских лошадях и получающим земское жалованье, а человек, всегда для них доступный и готовый помочь им, не жалея ни сил, ни даже средств.

Последнее обстоятельство особенно удивляло их, и они говорили обо мне, как мне передавали, что я непременно попала бы в рай, если бы была мусульманкой.

Репутация моя, как врача, на первых порах утвердилась благодаря следующим двум случаям.

На другой же или на третий день моего приезда в Буздяк меня пригласили к больному.

Застала я его в довольно печальном состоянии: худой, как скелет, с выдающимися скулами, он уже второй месяц страдал сильнейшим острым катаром желудочно-кишечного канала, не мог принимать никакой пищи и, отчаявшись в пользе всевозможных отчитываний местных мулл, к которым он прибегал ради исцеления, примирился уже с мыслью о близкой смерти.

Услышав о поселении в Буздяке врача, он решился на всякий случай прибегнуть к его помощи, не ожидая, впрочем, от него особенно блестящих результатов.

Ввиду крайнего истощения больного и упорных поносов я также не предвидела хорошего исхода и дала ему на всякий случай опий, танин и сделала несколько предписаний относительно диеты, если явится аппетит.

На другой день мне пришлось уехать по какому-то вызову, и я не видела моего больного целую неделю.

Зайдя к нему через восемь дней, я застала его значительно пополневшим и уже расхаживающим по комнате, тогда как в первое моё посещение он был не в состоянии встать с постели.

Я повторила назначение лекарств, и ещё через неделю больной, совершенно поправившийся, явился ко мне благодарить, приписывая мне своё исцеление, которое, к слову сказать, произошло совсем не от моего искусства, а благодаря крепкому, сильному организму больного.

Второй случай, утвердивший в населении доверие ко мне, как к врачу, и который я с гораздо большей правотой могу приписать себе, особенно памятен мне, так как я провозилась с больным более двух месяцев.

Возвращаясь из поездки домой, я была встречена на пути нарочным, посланным за мной верхом из Буздяка, где крестьянин сильно повредил себе руку, попавшую в мельничную шестерню в то время, когда мельница находилась на полном ходу.

Ямщик мой погнал лошадей во всю прыть, и я скоро очутилась в Буздяке. Здесь, на счастье больного, был получен ящик с выписанными мною из Казани перевязочными средствами, гигроскопической ватой, карболовым мылом, нодоформом, дренажными трубочками и прочим.

Обмыв руку и остановив струящуюся кровь у больного, я нашла довольно серьёзные повреждения. Кожа и подкожная клетчатка были разорваны, так же как многие сухожилия, а кость раздроблена.

Больной в ожидании моего приезда, не будучи в состоянии остановить кровотечение и страдая от боли, прибегал к шкалику с целью, как он уверял, забыться и не чувствовать боли.

Благодаря этому полуодуряющему средству он находился в особенно возбуждённом состоянии и честил злополучную мельницу отборнейшими выражениями.

Надо заметить, что больной этот был грамотный и неглупый человек, но плут и кляузник.

Вообще голос Хамзы, большого забияки и крикуна, раздавался всех громче на мирском сходе. Он свободно и даже с пошибом на красноречье владел русской речью и з совершенстве изучил российский лексикон ругательных и непечатных слов.

Принадлежа к числу богатых крестьян, он был коноводом и запевалой во всех мирских делах.

Пациент этот далеко не отличался выносливостью и терпением, и мне не раз приходилось с ним ссориться по поводу снятой без меня повязки и применения им в видах скорейшего излечения различных собственных или рекомендованных ему знающими людьми средств, вроде медвежьего сала, женского молока и тому подобных глупостей.

Впрочем, как человек от природы неглупый, он скоро убедился, что моё лечение хотя медленно, но верно ведёт к цели, и отказался от всех собственных попыток ускорить лечение, дав мне честное слово отныне не прибегать ни к женскому молоку, ни к другим патентованным деревенским средствам.

Более двух месяцев пришлось мне провозиться с этим больным. С утра уже являлась ко мне обыкновенно его посланная, дочурка лет семи-восьми, с заявлением, что отец просит поскорее прийти и сделать перевязку.

По базарным дням я отправлялась к нему не ранее, как после приёма больных, так как мне приходилось проводить у него никак не менее часа. Надо было тщательно промыть рану, очистить от кусков отделявшегося сухожилия и омертвевшей клетчатки, дезинфицировать и перевязывать рану.

Благодаря заботливому уходу, строжайшей дезинфекции и чистому содержанию раны мне удалось сохранить руку, которая хотя несколько и изменила свою форму вследствие укорочения и некоторого согнутаия пальцев, но могла служить для письма почти так же удобно, как прежде, чем он был особенно доволен.

Кроме этих двух случаев, сразу установивших мою медицинскую репутацию, были у меня и другие, мало-помалу победившие боязнь населения перед хирургической помощью.

Бывало, на первых порах придет ко мне какой-нибудь больной с нарывом, флегмоной и другими болезнями, требующими хирургического вмешательства, и на моё предложение сделать разрез боязливо отказывается и соглашается лучше обойтись совсем без помощи, нежели прибегнуть к ножу.

Но это продолжалось недолго. Две-три удачно сделанные операции произвели надлежащее впечатление и вполне примирили население с хирургическим способом лечения.

Для меня же, как начинающего молодого врача, удачные оперативные случаи составляли источник такого счастья, о котором может составить себе понятие только человек, бывший в положении, подобном моему. Поэтому я надеюсь, что читатель великодушно извинит меня, если я позволю себе останавливаться довольно подробно на моих более крупных операциях.

При моих скудных средствах, при моей убогой медицинской обстановке, при отсутствии толковых помощников эти операции составляли истинные трофеи моей земской службы, но переживать и волноваться во время приготовления к ним мне приходилось немало.

Ведь я только что сошла со школьной скамьи, где производить операции иначе, как на трупе, мне не случалось. Посоветоваться мне было не с кем, приходилось действовать на свой страх, при обстановке почти нищенской, пополняемой мною на собственные небольшие средства. Притом, как человек нервный, я вкладывала в каждое своё дело немалую долю страстности и считала удачу в каждом данном случае чуть ли не делом жизни.

Помню, как во время самой крупной из произведённых мною на земской службе операций (ампутация бедра в средней трети), опасаясь за исход операции и с ужасом подумывая о том, что больной может умереть во время хлороформирования или от кровотечения, я искренне желала не пережить подобного исхода.

Я воображала себе те обвинения, нападки и злословие, которые посыпались бы на мою голову в случае неудачи со стороны различных моих белебеевских «доброжелателей».

И, что ещё важнее, неудача поколебала бы в народе доверие к хирургической помощи, которое счастливые операции так быстро мне завоевали.

Но, впрочем, к счастью, все мои операции в земстве были благополучны.

В тех случаях, где требовалось хлороформирование, которое, разумеется, нельзя было поручить Баскакову или даже его более толковому преемнику, я приглашала фельдшера с завода, на которого я могла положиться, потому что он получил почти

медицинское образование, дойдя до четвёртого курса медицинского факультета, но по каким-то обстоятельствам принуждён был оставить университет.

У меня бывало много больных русских из соседнего уезда, которым я не отказывала в советах и в лекарствах.

Пришла ко мне одна крестьянка с липомой на спине величиной с довольно большую детскую головку, которая притом, медленно, но постепенно увеличиваясь, беспоконила больную, очень желавшую от неё избавиться.

Невежественный, но довольно самонадеянный фельдшер, к которому больная обращалась несколько времени назад, очевидно, принял опухоль за нарыв, сделал ей разрез, но, когда, к его удивлению, из отверстия показалась вместо гноя кровь и нож наткнулся на что-то эластичное и твёрдое, он поспешил остановить кровотечение и от дальнейшего производства операции отказался.

Как воспоминание об этой попытке на нижней части опухоли осталось довольно глубокое отверстие, заросшее грануляциями.

Я предложила больной операцию, на что она охотно согласилась.

С помощью фельдшера Свистова, хлороформировавшего её, я вырезала опухоль совершенно благополучно, и недели через две рана зажила.

Благодаря этой удачной операции и быстро распространившимся о ней слухам ко мне через неделю явился один из моих пациентов с раком нижней губы. Раньше он упорно отказывался от предлагаемой ему мною операции, а теперь сам упрашивал меня сделать ему её как можно скорее.

Операцию я сделала без хлороформа с полным успехом. Больного этого я встретила года через полтора без всяких признаков возврата его болезни.

Вообще мелкие операции, вроде вскрытия нарывов, вылущения маленьких опухолей (атерома), разрезов при ногтеде и флегмоне, вырезывания рака нижней губы, мне приходилось делать так часто, что я их всех не упомяну.

Особенно частой была также операция на веках, так как на моём участке чрезвычайно распространена была застарелая форма трахомы и, как результат её, выворот и заворот век.

Из всех таких случаев, относящихся к малой хирургии, особенно памятен мне следующий, имевший место также на первых порах моей земской службы.

Приезжает ко мне однажды один толстый мулла и сообщает мне что-то, чего я по моему ещё незнакомоту с языком не могу хорошенько уразуметь, поняв только, что он настойчиво приглашает меня куда-то.

С помощью переводчика дело объяснилось. Оказалось, что он женил своего сына, и так как здесь существует обычай стрелять в цель на свадьбе, то и молодой сын его, намереваясь выстрелить, зарядил ружьё, но, нечаянно спустив курок, выстрелил себе в ладонь, и хоть рана была ничтожна, но у него вот уже третий день сильно распухла рука, причём опухоль распространяется всё больше и больше.

С больным сделалась сильная лихорадка. Отец, опасаясь за его жизнь, умолял меня поехать с ним.

Хотя деревня, в которой он жил, принадлежала к участку другого врача и отстояла от меня вёрст на шестьдесят, я согласилась и немедленно поехала, заключив из рассказов отца больного, что времени терять нельзя.

И действительно, мои предположения оправдались: я застала его сына в сильном лихорадочном жару. На ладони правой руки виднелось небольшое круглое отверстие, пробитое пулей, почти совершенно затянувшееся, так что в него с трудом проходила головка зонда. Пуля, как сообщил больной, была извлечена, но, несмотря на незначительное отверстие, вся рука, начиная с ладони и до плеча и лопатки, сильно распухла.

Опухоль начинала распространяться на правую половину груди и на подмышечную впадину. Кожа плеча и предплечья и кисти руки была очень красна и напряжена, и при давлении под ней ясно ощущалась флюктуация (движение жидкости).

Не сомневаясь в том, что я имею дело с острой флегмоной (воспаление подкожной клетчатки), я не могла объяснить себе причины такого острого и быстро протекающего процесса, так как маленькая огнестрельная ранка не давала на это никаких указаний.

Однако же, сделав на ладони крестообразный разрез кожи, исходя из отверстия ранки, как из центра, я тотчас же нашла причину острогнойного отёка, так как вместе с кусочками омертвевшей клетчатки я вытащила пинцетом целую массу разбухших и пропитавшихся гноем и сукровицей бумажек.

При моих расспросах оказалось, что когда больной по неосторожности спустил курок, направив дуло ружья себе в ладонь, то пыж, состоящий из кусков бумаги, попал ему в ладонь вместе с пулей и не был оттуда извлечён. Но больной совершенно забыл об этом до тех пор, пока я не стала вытаскивать из его ладони бумажки, что сопровождалось вздохами и восклицаниями всех окружающих.

Вынув все эти бумажки и омертвевшую клетчатку и забинтовав руку, я объявила отцу больного, что лечение на этом далеко не кончено, что придётся ещё сделать большие разрезы на предплечье и плече, так как процесс за эти три дня распространился настолько, что гной при давлении свободно переливался под кожей с одного места на другое.

Если же этого не сделать, и притом как можно скорее, заключила я, то больной должен умереть от лихорадки, а если останется жив, то вместо разрезов придётся отнять ему всю руку.

— Делай, что хочешь, — ответили мне старики, — только вылечи сына. Что же он, такой молодой, будет делать без правой руки? Да ещё только что жену взял... Вот тебе и свадьба!

Я предложила старику привезти сына в Буздяк и оставить его там на квартире, предупредив, что лечение будет продолжаться долго и больной всё время будет оставаться под моим наблюдением, потому что, сделав разрезы, необходимо будет каждый день или по крайней мере через день переменять ему повязку.

Старик согласился, и с этим я уехала домой. На другой день, к вечеру, он привёз сына.

Как человек состоятельный, старик мог нанять ему в Буздяке квартиру, куда я немедленно и отправилась. Здесь я сделала больному большие разрезы на плече и предплечье, откуда вышла масса гноя и омертвевшей клетчатки, ввела в разрезы дренажные трубки, посыпанные иодоформом, и наложила антисептическую повязку.

Больной оставался в Буздяке почти два месяца, причём я ходила к нему сначала каждый день, а потом реже. Старик мулла неоднократно приставал ко мне с просьбами поскорее отпустить сына домой, так как по нём очень скучает молодая жена.

Наконец, когда я могла удовлетворить его желание, он, довольный и счастливый, увёз сына домой со здоровой рукой.

Благодаря своевременному вызову врача этот случай окончился благополучно. Но я вспоминаю другой, с катастрофическим концом, когда меня вызвали слишком поздно.

В базарный день явился ко мне один из земских гласных и настоятельно просил меня приехать к нему в деревню в 15 верстах от Буздяка. Долго уклонялся он от ответа на мой вопрос о причине, по которой он зовёт меня.

Наконец с видимой неохотой, под величайшим секретом, сообщил мне, что у него давно уже хворает дочь, девушка лет шестнадцати.

Местные жители вообще стараются скрывать болезни девушек-невест, так как, услышав, что девушка хворает, жених станет избегать её; вследствие этой боязни они нередко пропускали время, когда медицинское вмешательство могло бы ещё сохранить жизнь человека. Так было и на этот раз.

Приехав на другой день после базара к Теренгулову, я застала его дочь в совершенно безнадежном состоянии. Она была больна двусторонним экссудативным плевритом, лёгкое было тесно прижато к передней грудной стенке, деятельность сердца была чрезвычайно слаба, словом, больная была безнадежна.

— Вылечи мне дочку, — просил меня Теренгулов, — как я тебя на собрании хвалить буду!

— Мне решительно всё равно, будешь ли ты меня хвалить или бранить на собрании, — возразила я, — а девушку я вылечить не могу, она едва ли доживёт до завтрашнего дня. Почему ты не звал меня раньше?

— Да у нас, видишь ли, нехорошо, если девка хворает, станут говорить: вот доктора к ней звали. Я всё думал, не пройдёт ли так.

— Напрасно, — говорю я, — вот и пропустил время, когда можно было помочь ей. Предсказание моё оправдалось. Девушка умерла на рассвете следующего дня.



Так проходило время, в ежедневных хлопотах, в сутолоке базарных дней, в постоянных разъездах, в практическом изучении языка; народ окончательно привык ко мне.

В разъездах, при остановке в какой-нибудь деревне, мне не приходилось уже посылать старосту или сотского оповещать народ о том, что приехал врач и предлагает желающим обратиться к нему.

Теперь жители деревни сами, завидев мою незатейливую плетёнку с привязанным сзади земским ящиком с лекарствами, не дожидаясь приглашения, толпой валили на земскую станцию, где я останавливалась, и мы с фельдшером были завалены работой.

За исключением тех случаев, когда я приезжала в деревню глубокой ночью, мне никогда не удавалось напиться чаю с дороги, отдохнуть на станции.

Хотя я никогда не верила в пользу амбулаторной разъездной системы лечения, но, тем не менее, мне случалось иногда мимоездом привить оспу нескольким десяткам ребят, пригласить нуждающегося в продолжительном лечении больного в Буздяк, вскрыть какой-нибудь нарыв, словом, оказать некоторую пользу. Притом же, оставляя при разъездах хроническим больным лекарства, я вместе с тем оставляла им и сигнатурку, рекомендуя не бросать и не терять её, чтобы при случае они могли прислать её с кем-нибудь ко мне в Буздяк и получить по ней новое лекарство.

Бабы в особенности были в восторге от моей доступности и некоторого знания языка, так как я в редкие промежутки между возней с больными и приготовлением лекарств находила время побеседовать с ними и угостить их чаем. А они осыпали меня своими наивными вопросами, вроде неизбежного, где у меня муж.

В их быту отсутствие мужа у взрослой женщины — явление необычное. Удивление их по поводу моего ответа, что у меня мужа нет, было безгранично. Впрочем, они совершенно удовлетворялись моим объяснением, что женщины-доктора замуж не выходят потому, что это может мешать их службе.

Немало смеха и искреннего удовольствия доставляли мои замечания и шутки по поводу их вычерненных зубов и раскрашенных ногтей, а знание мною их песен приводило их в неописанный восторг, причём многие из них воодушевлялись и запевали какой-нибудь заунывный, однообразный мотив.

Ребятишки также быстро привыкли ко мне, и в тех деревнях, где я успела побывать раза два-три, они уже не преследовали мой экипаж криками «русская Марья!» — нарицательное имя, которым здесь называют каждую незнакомую русскую женщину.

Часто во время моих поездок вид толпы, набравшейся в избу, где я остановилась, вызывал во мне грустное чувство моего бессилия, связанного с сознанием жалкой постановки дела, которому я отдала все свои симпатии и силы.

Живо воскресает в моём воображении обстановка избы: мужчины, женщины, ребятишки, собирающиеся толпами, чтобы полечиться от своих недугов и кстати посмотреть на такую диковинку, как врач-женщина, да ещё русская. Я слышу наивные вопросы, вспоминаю восторг, возбуждаемый моими далеко не совершенными познаниями в языке, угощение чаем.

Все эти картины дороги и милы мне до сих пор. Они имеют для меня особенную прелесть, быть может, непонятную тому, кто не жил такой жизнью, не испытывал таких ощущений.

Едва ли какие бы то ни было житейские блага, какое бы то ни было комфортабельное и удобное житьё может вытеснить из моей памяти эти воспоминания...

(«Записки» остались незаконченными из-за смерти А. И. Веретенниковой).





---

---

# Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

Н. НОСОВ

★

## ПОГОВОРИМ О ПОЭЗИИ

*Заметки сатирика*

**Н**а первый взгляд может показаться, что разговор о поэзии — дело ненужное, так как читатели в основном интересуются прозой. Однако это неверно. Среди наших личных знакомых мы не встречали буквально ни одного, кто в тот или иной период своей жизни не увлекался бы поэзией и не сочинял стихов. Правда, как читатели они тоже чаще предпочитают прозу, но когда кому-либо из них придёт в голову самому сочинить что-нибудь, то каждый обязательно норовит писать стихами. Многие из них увлекались сочинением стихов в детстве и в так называемом подростковом возрасте. Одна очень хорошая наша знакомая признавалась, что сочиняла стихи, когда была совсем маленькой девочкой. В этом отношении она была совершенно исключительным ребёнком. Это дитя не любило играть во дворе со своими подругами, не лепило из песка пирожков, не наряжало кукол. Наивысшим удовольствием для него было, придя из школы и сделав уроки, приняться за писанину стихов, которыми оно во множестве наполняло тетрадки. Со временем страсть эта прошла, тетради со стихами затерялись, а в памяти сохранились всего две строчки стихов, сочинённых в восьмилетнем возрасте:

Под сенью пагоды индус,  
Смотрел на синий автобус.

И это совсем неплохо, если, конечно, принять во внимание младенческий возраст сочинительницы.

Многие начинают писать стихи в юности, когда испытывают первое чувство любви. Один наш приятель рассказывал, что всегда ощущал непреодолимую тягу к сочинительству стихов, как только влюблялся, но каждый раз, когда влюблённость подходила к концу, желание писать стихи пропадало само собой. Он совершенно серьёзно утверждал, что мог бы стать известным поэтом, если бы обладал способностью пребывать в состоянии острой влюблённости хотя бы с полгода.

Иногда желание писать стихи приходит в более зрелые годы и в таком случае носит очень навязчивый характер. Человек не знает, о чём писать, но всё же пишет и пишет, словно им движет какая-то находящаяся вне его сила. Другой приятель рассказывал нам по секрету, что пишет стихи, но сам понимает, что это — пустое занятие, так как его стихи, по его собственному выражению, не созвучны эпохе. Дело в том, что по какому-то странному предрасположению характера он может писать только о мертвецах, призраках, кладбищах и разрытых могилах. Только такая печальная тема в силах настроить его на поэтический лад, и никакая другая.

Один наш личный знакомый, журнальный редактор, уверял, что редакция, в которой он работает, ежедневно получает от разных авторов по четыре мешка стихов. Для чтения этих стихов в редакции держат целый штат литературных сотрудников. Помножив количество получаемых ежедневно стихов на число дней в году и на число журнальных редакций, этот наш знакомый редактор пришёл к выводу, что стихи пишут поголовно все, не исключая даже новорождённых младенцев.

Учитывая столь огромную тягу к сочинительству стихов, мы решили пойти, как говорится, навстречу потребителю и изложить здесь некоторые секреты поэтического

мастерства. Не имея за плечами никакого стихотворного стажа, мы задумали, однакож, подойти к делу вполне научно и познакомиться с новейшими достижениями в области поэтической продукции. Для этой цели мы отправились в книжный магазин, но там не могли предложить нам по части поэзии ничего новенького, поскольку новенькое уже всё разошлось, но зато предложили большой выбор несколько залежавшихся новинок, которые не были своевременно распроданы. Среди этих новинок были главным образом небольшие лирические томики, пролежавшие на полке и месяц, и два, и три, и даже четыре, и пять, и полгода, и год, и два, и три, и пять, и чуть ли не десять лет. Большинство этих томиков пережило несколько снижений цен, о чём свидетельствовали многочисленные штампы с обозначением новых цен на обратной стороне обложек. Так, один сборник стихов, за который в 1947 году была назначена цена шесть рублей, был переоценён несколько раз и дошёл до рубля, дав таким образом покупателю экономию по пятёрке на каждом экземпляре. Другой сборник за тот же период снизился в цене с двенадцати рублей до двух, дав экономию уже в десять рублей. Третий сборник... но не будем заниматься перечислением, скажем только, что за последние девять-десять лет вышеуказанные стихи подешевели в среднем в шесть раз.

Заинтересовавшись этим явлением, мы разговорились с продавцом, симпатичным, ещё довольно молодым человеком, хотя вполне серьёзным и любящим своё дело. Он с огорчением и обидой сообщил нам, что ему смертельно надоели разговоры о том, будто во всём виноваты книгопродавцы, которых не устают обвинять в нерасторопности поэты, чьи стихи долгое время остаются нераспроданными. На самом же деле, по его мнению, виноваты вовсе не продавцы, а покупатели, которые не сумели до сих пор воспитать в себе вкус вообще ко всякой поэзии, а любят одних поэтов больше, других почему-то меньше, третьих по какой-то неизвестной причине совсем не любят. Именно этот факт создаёт затруднения в книжной торговле и вызывает нарекания на них в чём не повинных работников прилавка.

Посочувствовав этому симпатичному молодому человеку и скупив некоторые из книг, до нашего прихода пролежавшие на прилавке последние десять лет, мы пришли домой и принялись усердно читать. Читали мы до тех пор, пока у нас не зарябило в глазах, и тогда постепенно перед нами стала вырисовываться фигура поэта — автора этих стихов. Мы увидели, что поэты — очень милые, симпатичные ребята, свойские парни, очень добродушные и непосредственные люди. Пишут они о том, что с ними случается, без каких-либо хитростей и задних мыслей. Им ужасно нравится посвящать читателей в разные подробности своей жизни. Влюбится, например, поэт и сейчас же спешит сообщить читателям:

У меня девчонка, братцы, на примете,  
Лучше я, ей-ей же, не видал на свете!

Назначит поэт свидание, а девушка опоздает или совсем не придёт — поэт и тут спешит поделиться своим горем с читателем:

Опять не пришла. Не под силу мне.  
Дышать скоро будет нечем.  
Уж я ли не ждал, не торчал в окне  
Меж двух косяков весь вечер.

Поэт ничего не сообщает о странном состоянии атмосферы, в которой, по его мнению, скоро нечем будет дышать, поскольку в его задачу входило выразить своё любовное томление, а не описывать разные феномены природы. Но вот поэту любимая девушка надоела. Поэт разлюбил и с не меньшим энтузиазмом пишет:

Я тебя не хочу встречать,  
Я тебя не хочу любить,  
Легче воду всю жизнь качать,  
На дороге камень дробить.

Поскольку в данном случае стихотворение чисто лирическое, а вовсе не на тему о радости труда, то поэт изображает дробление камня на дороге, как самое худшее, что могло бы с ним в жизни случиться. Однако, как бы там ни было, поэт всё же решил ожениться и радостно сообщает:

Не бойкая тройка  
 В мороз прозвенела —  
 К районному загсу  
 Такси подлетело.

Затем начинают вырисовываться подробности другого рода:

Выполняю просьбы, как приказы.  
 Мы вдвоём  
                   и всё же —  
   не вдвоём!  
 Выпущены в талии запасы  
 На любимом платье твоём...

И вдруг неожиданная новость:

Такие склеились дела,  
 Дела, скажу я, славные!  
 Жена мне сына родила,  
 А в доме это главное.

Если вместо сына родится дочь, то об этом сообщается в более лирическом плане:

Родилась Иринушка на Волге,  
 Поднималось солнце над водой,  
 Из роддома в полдень на двуколке  
 Привезли Иринушку домой.

Затем сын или дочь растут. Шумят. Мешают папе писать стихи. Поступают учиться. Сын, конечно, приносит двойки. Папу вызывают в школу. Потом сын становится юношей, влюбляется, женится, а папа начинает разводиться с мамой, и обо всём этом появляется регулярная информация в стихах.

Не нужно, однако, думать, что поэты только и пишут, что о любви да о своих семейных делах. Они обо всём могут. Поэт что ни увидит, о том и напишет. Увидит на небе облако — напишет про облако, увидит луну — напишет про луну. Заметит у себя на голове седой волос и сразу — готово! — уже о седине пишет и близкой старости. Останется один с соседкой по квартире — тут же и этот факт поэтически осмыслит. В общем, у него всё идёт в дело: и чернозём, и весна, и еловые шишки, и почтальонша, и няня из родильного дома, и снегоочиститель, и электропоезд, и космические лучи. В этом смысле поэт — необыкновенное существо. Он не может даже прогуляться по улице, где ему на глаза попадают то парикмахерская, то пивная, то пошивочная мастерская, то фотоателье или гастрономический магазин. Простой человек гуляет спокойно, а поэт только и ищет, с какой бы стороны прицепиться к этим предметам, чтобы получились стихи. Весь запас жизненных наблюдений, вся широта интересов и глубина мыслей поэта отпечатываются в его стихах, как на фотографической плёнке, конечно, в той степени, в какой всё это у него имеется, что читатель обычно и обнаруживает, читая стихи (от этого никуда не уйдёшь, раз уж захотел быть поэтом).

Трудность перечисления поэтических тем привела нас к необходимости разбить стихи на группы по каким-либо общим признакам. Мы всё же долго не могли найти принципа, по которому можно было бы классифицировать стихи. Помог в этом деле случай. Однажды мы попали на конференцию, на которой состоялась встреча поэта с читателями. Сначала высказывались читатели, а потом слово взял сам поэт и сказал:

— А сейчас, товарищи, я прочту вам свои последние целинные стихи.

Как только он это сказал, нам всё стало понятно: конечно же, целинными стихами на языке поэтов называются стихи, написанные о целине, точно так же, как стихи о Москве будут называться московскими, об Италии — итальянскими, об уборочной кампании — уборочными, о кукурузе — кукурузными и т. д. Классификация эта очень проста, и каждый может сам разбивать стихи на группы, какие кому по нравятся.

Покончив с вопросом о том, что пишут поэты, мы переходим к вопросу, как они пишут. Иными словами, переходим от содержания к форме. Говоря о форме, необходимо в первую очередь принять к сведению, что поэты — народ очень порывистый и

горячий. Они всё очень остро переживают и во всём любят хватать, что называется, через край. Вот, например, как описывает свои ощущения один из поэтов:

Поэма началась в груди,  
Грудь разорвать грозя.  
Теперь её —  
                                  как ни крути —  
Не написать  
                                  нельзя.

Конечно, к такому заявлению никто не отнесётся серьёзно и не поверит, что у поэта могла разорваться грудь под напором прущих изнутри рифм. Это не что иное, как обыкновенная поэтическая фантазия, которая, однакож, доводит некоторых поэтов до крайне болезненного состояния. Нафантазировавшись сверх меры, такие поэты становятся крайне мнительными и даже суеверными, начинают верить в ведьм, чертей, домашних, леших:

Случалось ли вам собирать грибы  
В лесах, где тропинки протоптаны лешим...

Поэтам полагается писать стихи не простым языком, а по возможности поэтическим. Это достигается употреблением красивых слов, а именно: высь, поднебесье, зов, клёкот, аромат, струенье, упоенье, мечта, обаяние, восторг, страсть, экстаз, миг. Большой любовью у поэтов пользуется слово «девичий»: девичий убор, девичье сердце, девичья улыбка, девичья грудь:

Так девичья грудь не ласкала меня,  
Как эта волна голубая:  
Она набегала, играя, звеня,  
Хмельной наготой полыхая.

Кстати, «нагота», «нагая», «обнажённая» — тоже излюбленные слова поэтов. У них и ветвь обнажённая, и берёзка обнажённая, и небо обнажённое, и луна обнажённая, и тело нагое или обнажённое:

И, обнажённое, атомом каждым  
Волнуясь, впиваясь, жгло,  
И пробуждением, и славой, и жаждой  
Тугое тело цвело...

Хочется попутно обратить внимание на эпитет «тугое». Поэт никогда не скажет вам просто «тело», а обязательно прибавит к нему слово «тугое», «упругое», «жаркое», «жадное», «жгучее», «трепетное» или какое-нибудь ещё. Всё это тоже очень красивые слова, чего нельзя, однако, сказать о слове «морда», в особенности в том случае, когда под мордой поэт подразумевает самое обыкновенное человеческое лицо:

Жарко на мордах и алебардах  
Рыжее солнце играло...

Кроме указанных красивых слов, существуют ещё специальные поэтические слова: осокорь, чернобыл, купырь, пупырь и другие. Смысл этих слов несколько темноват, значение их почти никому не известно, употребляются же они исключительно для поэтичности.

Не нужно, однако, думать, что слова поэтами употребляются только для красоты. Некоторые из слов несут иногда смысловую нагрузку. Есть слова, которые придают стихам философский смысл: фортуна, формула, первопричина, истина, система, гиперболоа, фосфоресценция и теорема. Другие слова придают стихам космический характер: космос, хаос, вселенная, планета, мироздание, перегной времени, звёздный рассев, верчение земли. Наконец, есть ещё слова, назначение которых — придавать стихам народный оттенок: пользительный, поблазиться, нет спасу, спозарань, глухомань, окаянство и другие.

Помимо любимых слов, у поэтов имеются также свои любимые цвета: алый, лазоревый, лиловый, бирюзовый, багряный, рдяной и пунцовый, которые можно употреблять в любых склонениях и спряжениях:

То не рёбра гор залиловели,  
Не туман багряный заалел.  
То верхушки лип забирюзели,  
Лес сосновый залазоревел.

Очень часто поэту хорошо известно всё, что мы здесь изложили, но поэт не знает, как начинать стихи. Поэту подчас кажется, что будь у него хоть одна первая строчка, а дальше стихи потекут сами собой. Для того чтобы добыть эту самую неуловимую первую строчку, можно поступать по-разному. Существует способ, по которому поэт берёт первую строчку какого-нибудь известного стихотворения, например, «Выхожу один я на дорогу», и начинает потихонечку бормотать: «Выхожу один я на дорогу, выхожу один я на дорогу, выхожу один я на дорогу...» Как будто случайно, а на самом деле в порыве бессознательного творческого вдохновения поэт заменяет слово «один» каким-нибудь другим словом, ну, хотя бы словом «спокойно», и как ни в чём не бывало бормочет дальше: «Выхожу спокойно на дорогу, выхожу спокойно на дорогу...» Почувствовав, что найденное слово прижилось в строке, он продолжает бомбардировать эту устойчивую поэтическую фразу словами, подобно физика, который бомбардирует атомное ядро нейтронами. Наконец ему удаётся вышибить из фразы слова «на дорогу» и заменить их словами «за ворота». В результате фраза не теряет своей поэтической устойчивости, но звучит уже совершенно самостоятельно. Таким образом, выкристаллизовывается искомая первая строчка стихотворения: «Выхожу спокойно за ворота». Остальное получается само собой:

Выхожу спокойно за ворота  
И, придя с товарищами в цех,  
Начинаю по гудку работу  
Без каких-нибудь особенных помех.

Или поэт, например, берёт строчку из известного всем стихотворения «Никогда я не был на Босфоре» и начинает ядерную бомбардировку, в результате которой у него может получиться ряд новых устойчивых «соединений» вроде: 1) «На Кавказе не был никогда я», 2) «На Днепре я не бывал ни разу», 3) «Не бывал на Волге я веками». Любое из этих трёх «соединений» может послужить основой для создания нового поэтического произведения, совершенно отличного от своего прототипа.

Изготовленные по вышеуказанному методу стихи принято называть подражательными, но в этом названии нет ничего зазорного, поскольку никого из поэтов никогда не упрекали за подражательность, наоборот, говорят так: «Подражательные стихи? А что в этом плохого? Кто же не писал подражательных стихов? Даже талантливые поэты начинали с подражания, и раз автор подражает, значит он ещё молод, если не телом, то душой, значит он начинающий, значит он талантливый. Как же можно возражать против каких-либо начинаний, против молодости и талантливости! Другое дело, если бы автор взял да переписал целиком чьё-либо стихотворение, ну, скажем, Пушкина, и, подписав своей фамилией, тиснул в печать, тогда это уже, конечно, да, а так что ж!»

Иногда поэту достаточно придумать только первое слово, и сейчас же за этим словом уже без всяких творческих потуг выстраивается вся первая строчка. Беда лишь в том, что многие авторы никак не могут придумать это первое слово, между тем тут и думать нечего, а надо просто начинать стихотворение со всем известного слова «ой». Попробуйте мысленно произнести «ой», и вы убедитесь, что тут же, как бы помимо вашей воли, к нему подстроятся другие недостающие вам слова:

Ой, дороженька, ты моя дальняя!  
Ой, цвела белым цветом черёмуха!  
Ой, забыть я тебя не могу!  
Ой, гудят мои старые ноженьки!  
Ой, я помню чудное мгновенье!

Сколько вы ни повторяйте «ой», каждый раз у вас будут получаться фразы, и, заметьте, всё разные. После того как наберётся достаточно стихотворений на «ой»,

можно начинать их на «ох», потом на «ах», на «эх», на «эй», на «ух» и т. д. Каждое из этих междометий придаёт особый характер стихотворению: «ой» — напевный, лирический, «ах» — грустный, элегический, «эх» — эпический, народно-былинный, «ох» — трагический, «эй» — призывный, исторический.

Другие поэты, наоборот, очень легко создают первую строчку стихотворения, а дальше, как говорится, ни тпру ни ну. Напишет такой поэт строку вроде: «Мой дядя самых честных правил», а «Когда не в шутку занемог» у него никак не получается. Это происходит от того, что данный поэт ещё недостаточно овладел речью. Между тем здесь ничего особенно сложного нет. Что такое эта пресловутая речь? А это не что иное, как самые обыкновенные слова, которые мы каждодневно употребляем при разговоре. Слов много, и если брать всё речевое богатство сразу, без строгой научной классификации, то возникает чувство растерянности, при котором не знаешь, за какое слово хвататься. Наука установила, что все слова делятся на имена существительные, прилагательные, числительные, глаголы, местоимения и т. п. Если отобрать слова однородные, то с ними уже гораздо легче будет справиться. Пользуясь, например, одними существительными с небольшой добавкой предлогов, очень нетрудно создать вполне приличное стихотворение:

Стог. Овин. Осокорь. Тишина...  
Влеск реки под горой. Холодище!  
Купыри у оврага. На небе луна.  
Тень плетня на родном пепелище.

В последнюю строчку вкралось одно прилагательное, но это отнюдь не портит стихотворения. Освоив существительные, можно постепенно вводить в стихи и другие части речи. Составив список коротеньких фраз, каждая из которых состоит только из существительного и глагола, можно путём расположения этих фраз в определённом порядке получить довольно звучные и действенные стихи:

Дышала осень. Непогода выла.  
Шумел камыш. Шепталася листва.  
Скрипел осокорь. Старость приходила.  
Деревья гнулись. Ухала сова.

Таким образом, потихоньку да полегоньку, пристёгивая к существительным глаголы, местоимения, союзы, междометия и другие части речи, можно добиться того, что стихи постепенно обрстут мясом и будут иметь вполне законченный профессиональный вид. Следует учесть, что существительные передают существо предмета и поэтому являются основой для создания поэтических картин, прилагательные придают этим картинам своеобразие, глаголы придают действенность, динамичность, междометия — эмоциональную окраску, местоимения — лиричность: «я», «она», «ты», «меня».

Наконец, последний очень важный вопрос — рифмы. Есть немало поэтов, у которых хватает совести вставлять в свои стихотворения рифмы вроде следующих:

локти — блоки,  
приказы — запасы,  
крыши — ближе,  
уши — лужи.

Подобные рифмы, как известно ещё с прошлого века по сочинениям Козьмы Пруткова, есть «рифмы негодные и уху зело вредящие». Один наш знакомый (он музыкант и играет на скрипке в оркестре) рассказывал, что если ему попадётся в стихотворении такая зловредная рифма, то он не может читать дальше, пока не исправит рифму на более благозвучную. Это у него вроде болезни. Он останавливается посреди стихотворения, словно вкопанный, и повторяет строки с негодной рифмой до тех пор, пока вместо «локти — блоки», «приказы — запасы», у него не получится «локти — блокети», «приказы — запазы». Только после такой переделки он может читать дальше. Смысл стихотворения при этом, конечно, теряется, так как в нём появляются такие слова, как «блокети», «запазы», «брыши», «луши», которые неизвестно что и обозначают.

Другой наш знакомый, человек от природы несколько раздражительный, сравнивал чтение таких стихов с быстрой ездой по неровной дороге, причём рифмы в этом

случае он уподобляет ухабам. На ином стихотворении его, как он утверждает, изрядно потряхивает, и он не может отделаться от ощущения, что вот-вот вывалится из машины. Нужно сознаться, что такие «туговатые» рифмы, хотя и очень скребут уши некоторых чересчур музыкально одарённых читателей, встречаются всё же не так часто, чтобы была необходимость кричать караул. Более распространёнными являются рифмы другого сорта. Например:

стол — пол,  
стоит — сидит,  
удаляется — появляется,  
хаживал — уваживал,  
деревянный — оловянный,  
утятина — поросятина.

Такие рифмы не действуют вредоносно на слух, но и радости от них, как от козла молока. В отличие от предыдущих, такие рифмы принято называть унылыми, поскольку они наводят уныние как на читателей, так и на самих поэтов.

Справедливость требует отметить, что в изученных нами поэтических томиках, помимо вышеуказанных, попадаются также вполне звучные и оригинальные рифмы. Так, один поэт с солидным стажем лежания на магазинных полках, выдержавших, так сказать, испытание временем. Нас успокаивает, однако, сознание того, что в каждом труде могут быть свои недостатки. Надеемся, что критика не преминет своевременно указать нам на них. Мы, со своей стороны, не собираемся успокаиваться на достигнутом, а почаще будем наведываться в книжные магазины, с тем чтобы вовремя покупать появляющиеся поэтические новинки. Накопив достаточный материал, мы проведём исследование, чтобы узнать, в чём же, наконец, разница между той поэзией, которая раскупается быстро, и той, которая имеет тенденцию залёживаться в магазинах. Вообще у нас большие планы. К стати сказать, нам бы очень хотелось провести анализ такого явления: почему, например, у Маяковского замечательно рифмуются слова, окончания которых совсем не похожи: «обнаруживая — оружие», «в слезу бы — обеззубел», «выжиг — книжек» и тысячи других, в то время как у иного незадачливого поэта не рифмуются даже слова с абсолютно одинаковыми окончаниями, например: «думает» и «хромает»? В чём тут собака зарыта?

Но не будем, как говорится, забегать вперёд.

*В декабрьской книге «Нового мира» за 1955 год Н. Носов опубликовал свои «Заметки сатирика», посвящённые литературному мастерству прозаиков. Углубившись на этот раз в область поэзии, автор остался верен своему первоначальному методу: он не счёл нужным называть имена поэтов, из чьих стихов позаимствованы им приводимые цитаты, ибо, во-первых, цитаты подобного же рода могли быть взяты и из других стихов; во-вторых, цитируя ту или иную строфу в подтверждение своей мысли, автор не имел намерения поставить под сомнение всё стихотворение в целом.*

*Как и в прошлый раз, редакция согласилась с автором и вновь ограничилась лишь проверкой приведённых цитат, слив их с книжными текстами.*



# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

## СТОЛ-ТО НЕ КРУГЛЫЙ!

«Табль ронд» — многозначительное и обязывающее название. Круглый стол, в нашем понимании, это не чайный стол, за которым собираются родственники и друзья дома поговорить о том о сём — о сегодняшней погоде, о прошлогоднем снеге. За круглым столом встречаются представители различных общественных систем, тенденций и воззрений, чтобы путём свободной дискуссии, а не взаимных оскорблений сопоставить точки зрения и поискать решения назревших проблем, будь то в области международных отношений или науки, литературы или искусства. Круглый стол символизирует равноправие, широту взглядов, терпимость и добрую волю. Мы за круглый стол и в прямом и в переносном смысле слова, за круглый стол и в политике и в литературе.

Итальянцы говорят: «Traduttore—tradittore» (переводчик — предатель). Увы, даже оставаясь верным оригиналу, перевод не всегда верен истине: «Табль ронд» — отнюдь не круглый стол.

В одном из последних номеров журнала помещено несколько отрывков из романов, которые готовятся к печати и выйдут в свет в 1956 году. Отрывки эти, как поясняет редакция, имеют своей целью дать представление о тематическом и идейном многообразии современного романа и познакомить публику с молодыми силами французской литературы. Намерение благое. Но что же это за романы?

«Солдат Буркен» Женевиёвы Серро. Это — повествование об «одном человеке», по имени Жоэль, который, будучи застигнут наводнением, не делает попытки спастись и остаётся один на чердаке своего дома. «В течение нескончаемых дней и ночей, — излагает редакция основное содержание романа, — в его мозгу, который катастрофа поразила медленно прогрессирующим безумием, рождаются, переплетаются, рассеиваются и вновь возникают чудовищные фантазмагии. Прошлое и настоящее безнадежно расплываются в каком-то тумане, в котором несчастный уже не узнаёт ни себя самого, ни других». Солдат из спасательной команды, добравшись до чердака Жоэля ценой тяжёлого ранения, умирает у него на глазах. «Жоэль, сознание которого, как молнией, разорвано появлением Буркена, пытается мысленно связать себя с миром живых».

«Чудо-старики» Мишеля Карруж. Действие романа развёртывается в Северной Африке в середине XXI века. Он основан на гипотезе медицинского изобретения, приносящего людям если не бессмертие, то по крайней мере — что, быть может, ещё предпочтительнее — возможность бесконечно возобновляемого омоложения. Этот сказочный расцвет юности, которым в первую очередь пользуются самые выдающиеся старцы города Адрая, вызывает целый ряд непредвиденных биологических и психологических последствий, поднимающих в свою очередь новые социальные, семейные и религиозные проблемы, значительно превосходящие по своему значению проблемы нашего времени». Карруж задаётся вопросом: «Каким будет поведение стариков, физически омоложенных, но оставшихся всё же стариками в силу отягощающего их сознания прошлого, во вселенной, где царствует кибернетика, где расовые и классовые различия уничтожены, мир обеспечен, а цивилизация стала космополитической».

«Предместья города» Жака Робишона. Его героиня — Люсьен Ланглуа — истеричка, влюблённая в своего сына, двенадцатилетнего Луи, и шпионящая за ним. В ней клокочет «безумная жажда насилия», и, как только представляется случай, она совер-

### Франция

«Табль ронд» («Круглый стол»), ежемесячный литературно - художественный журнал. №№ 95—96. 1955. Год издания 8-й. Издательство «Либрери Плом». Париж. Генеральный секретарь Пьер Сиприо.

★



шает своё первое преступление. Главная идея романа состоит в том, что «жестокость, свирепость, внутренняя жажда насилия или её внешние проявления суть важнейшие данные нашего мира».

Не станем останавливаться на остальных отрывках, представляющих роман исторический, «роман предвосхищения», поэтический, «чёрный» и даже «средиземноморский» роман. Тут всё есть, коли нет обмана... За круглым столом «Табль ронд» не нашлось только места для романа реалистического. В море новых произведений французских писателей его редакция не обнаружила ни одного, в котором говорилось бы о пятидесятых годах XX века, трактовались бы проблемы, волнующие человека наших дней, а не омоложенных старичков, обитающих в фантастическом мире, изображалась бы психология обыкновенных, нормальных людей, а не сумасшедших, маньяков и убийц по призыванию. Мы слишком любим и достаточно хорошо знаем французскую литературу, чтобы поверить рекомендации «Табль ронд».

Конечно, было бы по меньшей мере смешно требовать, чтобы «Табль ронд» публиковал на своих страницах именно те произведения, которые отвечают нашим вкусам и нашему пониманию задач литературы. Но хватило же объективности, скажем, у «Монд», «Эспри», «Контампорэн», «Опера», «Карфур», отнюдь не разделяющих политических и эстетических взглядов писателя-коммуниста Роже Вайяна, высоко оценить художественные достоинства его нового романа «325 000 франков». Напечатала же наша «Иностранная литература» не только «Пьеретту Амабль», но и «Обезьянку», хотя Роже Вайяна и Франсуа Мориака разделяет дистанция примерно такого же размера, как французскую «Фигаро литерер» и советскую «Литературную газету»... Нет, «Табль ронд» пока ещё не «круглый стол».

Не менее своеобразное освещение находят в «Табль ронд» и вопросы истории литературы. В этом отношении весьма характерна статья Жанны Пуарье «Странный возлюбленный: Жерар де Нерваль», опубликованная в декабрьском номере журнала.

Творчество Жерара де Нерваля, примыкавшего к «галантной», или «золотой», богеме, группировавшейся вокруг Теофиля Готье, занимает известное место во французской поэзии первой половины прошлого века. Спору нет, и любовная лирика Жерара де Нерваля заслуживает внимания историка литературы. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что в статье Жанны Пуарье речь идёт вовсе не о поэзии. С тщательностью, заслуживающей лучшего применения, мадам Пуарье анализирует любовные письма Жерара де Нерваля к актрисе Женни Колонн, довольно легкомысленной особе, не стеснявшей себя правилами строгой морали, в которую он был влюблён в 1834—1837 годы. Она сликает черновики этих писем, сопоставляет варианты и различия, подвергает критическому рассмотрению свидетельства современников, разбирает и опровергает различные гипотезы, предлагает своё истолкование тёмных мест. Какие же животрепещущие проблемы занимают мадам Пуарье в этой работе? А вот какие: имеется ли достаточно оснований полагать, что Жерар де Нерваль обладал капризной красавицей? И если да, то когда именно, при каких обстоятельствах?

Мы далеки от всякого ханжества, но нельзя не заметить, что между серьёзным литературоведением и изысканиями мадам Пуарье такая же разница, как между невидным, но благородным трудом реставратора бесценных полотен старинных мастеров и коллекционированием порнографических открыток. Когда такого рода проблемы обсуждают охочие до клубнички обыватели, это в порядке вещей. Но когда серьёзный литературный журнал предлагает их вниманию читающей публики, упорно обходя молчанием подлинные проблемы литературы и общественной жизни, это и смешно и грустно.

Если «Табль ронд» весьма мало похож на «круглый стол», то зато он очень напоминает порой пресловутое столочерчение спиритов, вызывавших с его помощью как раз тех духов, которых им угодно было слушать.

В ноябре 1955 года исполнилось сто лет со дня смерти датского теолога и мистика Серена Кьеркегора. По этому случаю редакция «Табль ронд» не преминула выпустить специальный номер журнала, в котором почётное место занимают избранные страницы из его дневника. О чём же вещает дух «великого датчанина»?

«Во всей Европе, одержимой прудерзостным мирским духом и растущим неистовством страстей, — звучит загробный голос, — люди запутались в вопросах, кото-

рые не имеют иного решения, кроме религиозного, и на которые может ответить лишь христианство, как оно уже давно ответило на них».

Затем дух почившего в бозе философа рисует зловещую картину равенства в коммунистическом обществе, где будет признано, что «не должно быть никаких различий между индивидуумами; богатство, искусство, наука — всё это дурно; все люди должны быть равны, как рабочие одной и той же фабрики, как стойла в одной и той же конюшне; они должны носить одинаковое платье, питаться одной и той же пищей, сваренной в огромном котле, получая её равными порциями в одно и то же время — по удару колокола», и т. д. и т. п.

Это писано в октябре 1848 года, когда по всей Европе уже бродил призрак коммунизма и для «священной травли этого призрака соединились все силы старой Европы — папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». Мог ли остаться в стороне от этого святого дела датский апостол фидеизма и заклятый враг демократии?

И не потому ли с таким благоговением перепечатаывает сейчас «Табль ронд» его измышления и заклинания, пытаясь воскресить глупые сказки о коммунизме, что «призрак коммунизма» давно уже обрёл плоть и кровь?

Журнал посвящает «божественному мыслителю» Кьеркегору целую серию биографических и критических статей: «Жизнь Серена Кьеркегора», «Кьеркегор, каким он был», «Читая Кьеркегора», «Актуальность Кьеркегора», «Кьеркегор и протестантство», «Подлинный облик Кьеркегора», «Кьеркегор и Клейст — трагические поэты» и т. д.

Но спириты из «Табль ронд» поостереглись вызвать дух великого славянина Адама Мицкевича, сотую годовщину смерти которого в том же месяце отмечало всё прогрессивное человечество. Они не посвятили ему не только специального номера, но даже редакционной статьи, даже короткой заметки, словом, ни единой строки. Актуальность Мицкевича вообще, и для Франции в частности, не нужно доказывать, как актуальность Кьеркегора. Но, повидимому, в том-то и беда, с точки зрения редакции «Табль ронд». Его голос слишком живо напомнил бы о том, что она силится замолчать и заставить забыть. Не он ли во время беседы польских деятелей с папой римским в марте 1848 года, когда Кьеркегор с презрением и ненавистью писал о «толпе», о «безумянской массе», сказал: «Дух божий ныне в блузах парижского народа!» Не он ли как раз тогда, когда Кьеркегор поносил печать, как «худший бич нашего времени», основал в Париже славную «Трибуну народов», сразу занявшую место на левом крыле французской прессы. Не он ли в те дни, когда Кьеркегор вместе со всей международной реакцией дрожал от ужаса перед революционной бурей, раскаты которой отозвались даже в датском захолустье, приветствовал июньское восстание парижских рабочих и клеймил Кавеньяка, который «принёс в жертву Францию героическую, сестру Польши, Францию буржуазной». Да, мятежный дух Мицкевича не может ужиться с мрачной тенью Кьеркегора. Мицкевичу, как живому среди живых, место не в «Табль ронд», а за подлинным круглым столом, который, обращаясь к писателям мира, призывал создать М. Шолохов и который будет создан и уже создаётся их общими усилиями.

«Табль ронд» всячески пытается внушить, что он всего больше сторонится политики: ведь «политика — грязное ремесло», а «Табль ронд» стоит на страже «чистого искусства», «Табль ронд» — журнал беспартийный. Во-первых, принципиально, а во-вторых, потому, что партийность... небезопасна. Статья Жан-Люка Террекса, например, так прямо и называется: «Некрасов и опасность партийности». «Некрасов» — название новой пьесы Жан-Поля Сартра, в которой писатель разоблачает и подвергает осмеянию подлые методы продажной печати, пытающейся, не останавливаясь перед стряпнёй фальшивок и грубыми провокациями, поднять антисоветскую свистопляску. По этому поводу Жан-Люк Террекс и ставит вопрос о партийности. «Партийный писатель,— замечает он,— пишет книги, статьи, выступает по радио и на митингах, иногда вступает в партию и даже дерётся за свои убеждения. Он участвует в социальной и политической жизни своего времени. Его сознание, его осознание своего времени похоже на камень, вдруг брошенный в лужу — в чёрную воду исторического становления, в чёрную воду событий,— и круги, которые от этого расходятся на её поверхности, казалось спокойной поверхности времени, достигают многочисленных и разнообразных кругов обще-

ства. Эти последние тоже находятся в движении, реагируют на выступления партийного писателя и часто ставят его под удар юстиции, прессы, правительственных декретов».

Слов нет, картина довольно верная, если отвлечься от сомнительных метафор, вроде «чёрной воды исторического становления». Но какой же уважающий себя писатель предпочтёт всему этому оставаться лежащим камнем, под который вода не течёт и о который можно разве только случайно споткнуться на широкой дороге литературы?

Желая показать всю реальность опасности, подстерегающей партийного писателя, и в частности Сартра, Террекс напоминает о том, что только за последние десять лет писатель-коллаборационист Бразийк был расстрелян, пьеса писателя-коммуниста Роже Вайяна снята с постановки, книга писателя-антисемита Бардеша запрещена, а писатель Роже Стефан недавно арестован. Поставив походя на одну доску предателя и патриота, черносотенца и честного писателя, а значит, не только оскорбив одних, но и выдав индульгенцию другим, Террекс заключает: «Весьма возможно, что завтра книги Сартра тоже будут запрещены, а он сам арестован или расстрелян». Словом: «Осторожность, осторожность, осторожность, господа!»

Совет не новый. Но при всей своей осторожности «Табль ронд», проявляющий такое любовное внимание к реакционному бреду столетней давности, рекламирующий литературу, которая уводит читателя от реальной действительности в область фантазмагорий и психологических вывертов, и призывающий художников слова отказаться от участия в общественной и политической жизни своего времени,— такой же партийный журнал, как и всякий другой, с той только разницей, что он не решается прямо сказать, к какой партии он принадлежит. И если этот вывод удивит редакторов «Табль ронд», то они проявят наивность, достойную мольеровского господина Журдена, который не знал, что он всю жизнь говорил прозой.

К. НАУМОВ.

## РАССВЕТ НАД ИНДИЕЙ

Сколько лет, моя Индия,  
Ты в томительном сне изнывала,  
Сколько лет, моя Индия,  
Смерть росой тебя покрывала!  
Дождь пронёсся счастливый,  
Наступила весна молодая:  
Невозделанной нивой  
Ты лежишь, наших рук ожидая!

Поднимись же, о Индия,  
Сгинул мрак векового страданья,  
Пробудись же, о Индия,  
Для великой поры созиданья!  
...Мы бывшее разрушим,  
Чтобы новое выстроить смело!

### *Индия*

«Ная патх» («Новый путь»), ежемесячный литературно - художественный и общественно-политический журнал. № 11. 1955. Год издания 2-й. Лакнау. Редакторы Шива Варма и Раджив Сансена.

★

«Новый караван» — так называется стихотворение, из которого мы взяли эти строки. Оно принадлежит перу талантливого индийского поэта Джнея. Эти призывные строки помогают нам представить, с какой энергией берётся индийский народ за ликвидацию губительных для страны последствий векового владычества колонизаторов.

Индия переживает пору духовного возрождения. За последние годы написаны и изданы десятки книг по истории национальной литературы и искусства, монографии о творчестве выдающихся литераторов. Индийские критики изучают творчество великих писателей прошлого. Уже вышли в свет монографии о крупнейших поэтах средневековой Индии — Тульси Дасе, Кабире, Сур Дасе, об основоположнике современной литературы хинди, выдающемся писателе и публицисте Бхаратенду Харишчандре и многих других. Все эти книги имеют огромное значение для ознакомления читателя с богатым литературным наследием, для воспитания чувства гордости за свою национальную литературу.

Но, пожалуй, ещё большую роль в этом деле играют литературно-художественные журналы. Индия — огромная многонациональная страна. В понятие «индийская литература» входит несколько десятков родственных национальных литератур, каждая из которых имеет свою исторически сложившуюся традицию. Широко известна литература Северной Индии — на языках хинди, урду, бенгали, маратхи, пенджаби, кашмири, ассамити и литература Южной Индии — на языках телугу, тамили, малаялам и других. Совершенно очевидно, что литературно-художественный журнал может полнее, чем отдельные монографии, дать широкому читателю представление об этой богатой, разноразличной и многообразной литературе.

В Индии сейчас почти на каждом языке издаётся по несколько таких журналов, и каждый из них не только ставит важные проблемы развития литературы на своём языке, но и знакомит с литературой на других индийских языках. Индеец, знающий только хинди, может прочесть в своём журнале очерк о творчестве бенгальского писателя Рабиндраната Тагора и статьи о жанре рассказа в маратхской литературе, художественные произведения, переведённые с пенджабского или ассамского языков.

Среди этих журналов, живо освещающих самые разнообразные вопросы литературной и общественно-политической жизни, видное место занимает журнал «Ная патх». Он издаётся на языке хинди. На этом языке говорят десятки миллионов людей, пишут многие современные индийские писатели, такие, как Сумитранандан Пант, Майтхили Шарана Гупта, Вриндаван Лал Варма, Яшпал, Шивамангал Синх Суман, Упендранатх Ашк, Нагарджун, Кедар, Амритрай и многие другие. Произведения этих писателей печатаются на страницах «Ная патх».

Журнал за недолгий срок своего существования напечатал немало интересных статей. Назовём работы о крупнейших индийских писателях XX века — о поэте и прозаике Джаяшанкар Прасаде и поэте Нирала, статью известного общественного и политического деятеля Данге «Некоторые вопросы индийской истории», статью прогрессивного бенгальского критика и писателя Гопал Халдара «Общество и культура в период больших общественных переворотов».

«Ная патх» не ограничивается популяризацией культурного наследия. Он многое делает для того, чтобы помочь объединению индийских писателей, искренне любящих свою страну, искренне заинтересованных в её прогрессе и процветании. «Ная патх» стремится преодолеть ту узость, которая была характерна для многих прогрессивных индийских журналов в последнее десятилетие. На страницах «Ная патх» печатаются произведения писателей, придерживающихся различных политических убеждений. Рядом с широко известными авторами и критиками читатель видит имена молодых писателей, только пришедших в литературу.

Перед нами один из последних полученных в Москве номеров «Ная патх». Он открывается большой статьёй известного общественного деятеля, поэта и критика, автора многих работ по современной литературе хинди, профессора Рам Вилас Шармы. Она озаглавлена «Свобода культуры и литературы». В ней идёт речь об одном из пресловутых конгрессов «в защиту свободы культуры», организованном по указке реакционных кругов в июне 1950 года в западном секторе Берлина. Участники этого «конгресса» стремились представить всемирное движение за мир как орудие «советского коммунизма» и призывали к войне против Советского Союза.

Рам Вилас Шарма подробно останавливается на истинных намерениях этих защитников «свободы культуры». Он говорит о том, что международная реакция прилагает все усилия, чтобы отравить общественную атмосферу в Индии и найти себе пособников в среде деятелей индийской литературы и культуры. Но, пишет Рам Вилас Шарма, «теперь в Советском Союзе и Китае побывали сотни индийцев и своими собственными глазами увидели эти страны. Стены лжи, воздвигаемые империалистами в течение тридцати лет, пали в три года. Вера индийского народа в социалистическое будущее стала ещё более твёрдой. Ныне десяткам миллионов людей победа социализма кажется неизбежной». Автор приходит к выводу, что никакие манёвры и ухищрения колонизаторов не смогут помешать расти и крепнуть дружественным чувствам, сближающим народы Индии и Советского Союза.

Тема другой большой, заслуживающей внимания статьи — новая поэзия хинди. Её автор — известный прогрессивный индийский критик и общественный деятель, про-

фессор Пракаш Чандра Гупта. П. Ч. Гупта — крупный знаток литературы хинди и много пишет о ней. В одной из последних его работ, «Демократические традиции литературы хинди», прослеживается путь развития литературы хинди, начиная с XVII века и до наших дней.

В своей статье Пракаш Чандра Гупта рассматривает поэтические произведения на языке хинди, созданные в последние два-три года. Индийская поэзия всегда была сильна своими социальными, общественными мотивами. Автор отмечает, что гражданская тема стала ведущей в современной поэзии. Прогрессивная поэзия всех стран борется сегодня за мир, за счастье и процветание человека. В ней слышится и голос современных индийских поэтов. Автор приводит отрывок из поэмы «Войны больше не будет» Нираза. Поэт призывает народы к бдительности, к готовности отразить удары поджигателей новой войны.

За последнее время, пишет Пракаш Чандра Гупта, в индийскую литературу пришло много молодых талантливых поэтов, таких, как Онкар Шривастав, Ваншидхар, Кедар Синх, Манохар Шьям Джоши и другие. «Общественные мотивы, яркий, красочный язык и песенный ритм — вот характерные особенности новой поэзии хинди» — таков вывод автора, основанный на тонком, обстоятельном анализе новых произведений индийской поэзии. В одиннадцатом номере «Ная патх» напечатано несколько стихотворений молодых поэтов. Мы находим у них все эти черты. Вот стихи Онкара Шривастава «Водолаз»: поэт ищет правду жизни, он погружается в глубины жизненного океана и там собирает драгоценные жемчужины истины.

Гражданская лирика индийских поэтов полна чудесных образов родной природы. Она исполнена любви к отчизне, зовёт к возрождению и созиданию, подобно стихам Джнея, опубликованным во втором номере «Ная патх», которые мы привели выше.

В современную индийскую поэзию пришла ещё одна новая, большая тема — тема пробудившейся Азии. Всё сильнее звучат поэтические голоса, воспевающие дружбу двух самых больших государств Азии — Китая и Индии, крепнущую дружбу между Индией и Советским Союзом. В стихотворении «По пути мира», напечатанном в одном из номеров «Ная патх», поэт Девендра Нараяна говорит:

Дружат родина Мао и родина Неру!  
Новая Азия сеет надежду, мир и веру,  
Ясный рассвет озаряет дали:  
Над Индией и Советским Союзом  
Зори единства встали!

Значительное место в «Ная патх» занимает и художественная проза. Именно благодаря журналам жанр рассказа стал особенно популярным в индийской литературе. Вот уже более полустолетия главным героем рассказов индийских писателей выступает простой человек с его радостями и невзгодами, с его надеждами на лучшее будущее. В последнем номере «Ная патх» мы познакомились с двумя новыми рассказами — «Семейное одеяло» Рамеш Чандра Бакши и «Вор» Махендра Бхаллы.

Рассказ Махендра Бхаллы — печальный рассказ. Когда-то мальчик-сирота взял золотое кольцо у девушки, которая своим ласковым обращением напомнила ему умершую мать. Мальчик просто хотел сохранить память об этой встрече. Кольцо стало для него как бы символом материнской любви, и он бережно хранил его всю свою жизнь. Но с тех пор его стали считать вором, хотя он никогда больше не совершил ни одного нечестного поступка. Вся дальнейшая жизнь бедняги была тяжкой борьбой за маленькое счастье, которого он так и не добился. Беспросветная нужда привела его на дно жизни. И вот одинокий, никому не пужный старик возвращается в деревню, где родился, чтобы хоть умереть в родных местах. С горечью и болью, обращаясь к своему случайному попутчику, старик говорит: «Посмотри на меня. Кто я? Так, ничто. Был, не был — всё равно. Если сегодня умру, то этого никто не заметит. Сегодня живу — об этом также никто не знает... Жизнь собаки... Но почему? Можешь объяснить?»

Автор не называет виновников этого, но печальная история сироты находит сочувственный отклик у читателя, будит в его памяти воспоминания о колониальной кошмаре, о временах бесправия и нищеты.

Другой рассказ запоминается читателю своим подтекстом, полным глубокого социального звучания. В Индии и сейчас ещё много таких семей, как семья Пардумана, изображённая в рассказе «Семейное одеяло» Рамеш Чандра Бахши. Для этих бедняков пропажа единственного в семье одеяла стала настоящей трагедией.

В индийских журналах и газетах часто можно встретить одноактные пьесы. Сюжеты этих пьес обычно берутся из обыденной жизни. Чаще всего это яркие жанровые сценки или незатейливые сатирические комедии, зло высмеивающие пороки человеческого характера или отрицательные явления общественной жизни. В последнем номере «Ная патх» напечатана одноактная сатирическая комедия Чхедиал Гупты «Дом чудес». В ней рассказывается, как владелец театра в погоне за прибылью готов превратить серьёзную пьесу, написанную по мотивам великого индийского поэта Калидасы, в развлекательное ревью голливудского типа. Зло высмеивая угодливых дельцов, пьеса зовёт к борьбе за утверждение подлинного национального искусства.

Представляет интерес и библиографический раздел «Ная патх», где читатель знакомится с новинками индийской литературы и новыми переводами произведений зарубежных писателей, среди которых нередко можно встретить книги русских классиков и советских писателей.

Обо всём не рассказывается в кратком обзоре. Однако нельзя не отметить ещё одну очень ценную черту этого журнала — его постоянную живую связь с читателями. Их письма он регулярно публикует, на их пожелания быстро откликается. «Ная патх» становится голосом пробуждающихся к активной жизни индийцев.

Этот краткий обзор нам хотелось бы завершить кратким послесловием. Дружественная Индия, жизнь её народа, её литература вызывают огромный интерес у советских людей. К сожалению, к нам приходит ещё очень мало индийских книг и журналов, а ведь их в Индии издаётся множество. Особенно досадно, что литературно-художественные журналы попадают в московские библиотеки чуть ли не с полугодовым опозданием. Только в январе 1956 года мы получили «самый свежий» — сентябрьский номер «Ная патх», другие журналы были представлены пока ещё августовскими номерами. А ведь литературные журналы открывают нам сегодняшний день Индии.

Н. ГАВРЮШИНА.

## ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ

Когда год спустя после капитуляции фашистской Германии в небольшом южногерманском городке Тюбингене начал выходить этот журнал, ему сразу же попытались создать репутацию трибуны независимой критической мысли. Во главе журнала встал мюнхенский литератор Карл Уде. Рассказы и очерки, с которыми Уде выступил на закате Веймарской республики, принесли ему тогда кое-какую писательскую известность. Во времена нацизма он сумел ничем не отличаться, и это помогло ему вскоре после войны начать издание нового литературного журнала.

На первый взгляд может показаться, что «Вельт унд ворт» ставит перед собой чисто литературоведческие задачи. На эту мысль наводит заглавие статьи, которой открывается один из номеров: «Вечный Симплициссимус. Форма и эволюция немецкого плутовского романа». Спору нет, «Симплициссимус» Гриммельсгаузена, выдающийся образец немецкой сатиры XVII века, был и будет объектом историко-литературных изысканий. Однако автора статьи, Гельмута Гюнтера, гораздо больше интересуют изыскания иного рода.

Тридцатилетняя война, опустошившая немецкую землю, не прошла бесследно для героя Гриммельсгаузена. Он устал от неустройства человеческого общества, разочаровался в человеческой натуре и кончил дни свои отшельником. Но не Симплициссимуса прочит Гюнтер в герои современного плутовского романа.

## ГФР

«Вельт унд ворт» («Мир и слово»), ежемесячный литературный журнал. №№ 9—12. 1955. Год издания 10-й. Издательство «Гелиополис». Тюбинген. Главный редактор Карл Уде.

★

Гюнтер утверждает, будто в настоящее время — в эпоху «тотальной мощи тотальной войны» — плутовской роман переживает второе рождение. По мнению Гюнтера, современная эпоха была бы пагубной для человечества, если бы... если бы человек не мог быть плутом. Свою точку зрения Гюнтер излагает весьма недвусмысленно. Во-первых, оказывается, что «революция мертва»; она умерла потому, что в страшных условиях современной жизни «всякое открытое сопротивление бессмысленно». Во-вторых, оказывается, плут жив и будет жить. «Он применяется, он включается, он с волками воет по-волчьи. Но он умеет петлять, он проскальзывает сквозь бреши, он извивается». Вдобавок, по Гюнтеру, нынешний плут — это новый вариант побеждённого победителя. В итоге автор статьи категорически заявляет: «Для спасения человека плут делает больше, чем любая революция».

Увенчав плута лавровым венком, Гельмут Гюнтер присуждает ему звание героя не только в литературе, но и в действительности.

А как же те немцы, которые и в гитлеровских застенках оставались верны идеям прогресса, демократии и солидарности народов? А как же тысячи простых людей по обе стороны Эльбы, которые борются за общее дело мира, за создание единой, демократической Германии? Они, «не петляя», идут прямой дорогой. Не значит ли это, что журналу «Вельт унд ворт» с ними не по пути?

Намёки Гельмута Гюнтера достаточно прозрачны, и читателю не составит труда догадаться, кто же в результате «эволюции немецкого плутовского романа» приходит сегодня на смену архаичному Симплициссимусу. Впрочем, последние сомнения на этот счёт рассеивают восторженные отзывы журнала о книгах на современную тему. Вот герой романа, написанного неким Клозе. По профессии журналист, в недавнем прошлом нацист, этот плут ловко приспосабливается к послевоенной обстановке: он устраивается кельнером в такое заведение, где не столько едят и пьют, сколько занимаются спекуляциями. Рецензент — кстати, всё тот же Гюнтер — говорит по этому поводу следующее: «Кому захочется, назидательно подняв глаза к небу, упрекнуть героя в том, что он любимыми средствами пробовал удержаться на поверхности? Тогда, после войны, нужно было иметь голову на плечах, и герой имел её. Американцы, будем надеяться, простят ему, что он так ловко обвёл их вокруг пальца. Ведь от коммерческого предприятия ничего иного и ждать не приходится». Эта рецензия Гюнтера интересна постольку, поскольку она как бы довершает его несколько абстрактные литературоведческие изыскания. Гюнтер кончает тем, что в качестве героя современности подсаживает на «трибуну независимой мысли», каковой объявляет себя «Вельт унд ворт», мелкого, прырливового, тёмного дельца.

Увлечение жанром «плутовского романа» не прошло бесследно для журнала. «Вельт унд ворт» довольно широко перенимает кое-какие современные «плутовские» приёмы, к которым, кстати говоря, систематически прибегает известная часть западно-германской прессы.

В последнее время на страницах журнала замелькали прекрасные слова, которыми принято обозначать гуманистические понятия. И это вполне понятно: невозможно в наши дни не учитывать стремления народов к миру, к дружбе. Но каков истинный смысл провозглашаемых в журнале фраз о культурных связях и общении наций?

Отметим прежде всего, что «Вельт унд ворт» не остался в стороне от пропаганды пресловутого «франко-германского культурного соглашения», подписанного в октябре 1954 года. Тогда, полтора года назад, это соглашение призвано было склонить французов к мысли, что ратификация Парижского и Лондонского договоров открывает новый простор «духовному общению» двух наций. Сегодня с помощью этого «культурного соглашения» хотят убаюкать французскую общественность и заставить её забыть об опасности, которую несёт Европе ремилитаризация Западной Германии, возрождение духа реванша и агрессии.

Не так давно, очевидно в порядке осуществления «культурного пакта», подписанного Аденауэром и Мендес-Франсом, в Мюнхене торжественно была проведена «Парижская университетская неделя». Профессора из Сорбонны выступали перед мюнхенцами с серией докладов. В государственной библиотеке устроили выставку под названием: «Десять лет духовного взаимодействия Франции и Германии». Немецкую литературу на выставке представляли сочинения... Папена и Шахта. Немало места бы-

ло уделено и произведениям отъявленного милитариста Юнгера. К общему удовлетворению, один из французских докладчиков заявил, что понятие чести останется зыбким до тех пор, пока «идея родины будет высшей и последней инстанцией». Впрочем, что же иное могут сказать те из французов, которые, прикрываясь мнимыми государственными интересами, ратовали за парижские соглашения? Конечно, они предпочли бы отнестись понятия чести к числу иллюзорных...

Другой докладчик, Морис Кольвиль, перешёл от философских проблем к историко-литературным. Его-то выступление и изложил в журнале сам главный редактор Карл Уде в статье под названием «Герман Гессе и Франция».

Герман Гессе, один из старейших немецких писателей, уже свыше тридцати лет живёт в Швейцарии. Имя Гессе, благородного гуманиста и талантливого художника, знают повсюду. В Германской Демократической Республике произведения Гессе постоянно издаются. Известно, что Ромен Роллан и Герман Гессе нашли общий язык ещё в годы первой мировой войны: они оба горячо призывали к миру. И Кольвиль и Уде понимают, что против очевидности спорить не приходится. Но они утверждают, будто в дальнейшем дружба Роллана и Гессе оборвалась из-за расхождения в политических взглядах. Зато, с их точки зрения, Герман Гессе и реакционер, антисоветский злопыхатель Андре Жид были полными единомышленниками...

«Плутовской» приём не сошёл на этот раз журналу гладко с рук. Уже через номер «Вельт унд ворт» вынужден был выступить с чем-то вроде опровержения. Оказывается, ещё в 1954 году в Цюрихе издали переписку Германа Гессе и Романа Роллана. Эта переписка неопровержимо свидетельствует о том, что писатели оставались друзьями до конца (последняя открытка, посланная Роменом Ролланом Герману Гессе, датирована августом 1940 года), что обоих писателей, несмотря на различие пройденных ими путей, сближало искреннее стремление к общему благу.

Таким образом, «Парижская университетская неделя» ознаменовалась для журнала конфузом: пришлось признаться — хоть и стыдливо — в извращении фактов. И всё же в редакции решили, что в итоге этой «недели» читательские массы достаточно подготовлены к откровенному разговору на тему о франко-германском «единении». В журнале появилась статья под многообещающим заглавием: «Немецкий солдат во французском современном романе». В годы оккупации, говорится в ней, немцы и французы были не столько врагами, сколько «сотрудниками, нередко даже симпатизирующими друг другу и любящими друг друга»; что же касается эсэсовцев, то, по словам автора статьи, представление об их зверствах «мифически преувеличено». И эта аполгия гитлеровского «нового порядка» приписывается французской литературе, французскому народу! Можно ли придумать что-либо более издевательское?!

В каждом номере «Вельт унд ворт» помещает около пятидесяти рецензий на книжные новинки, как немецкие, так и переводные. Казалось бы, о произведениях писателей ГДР журналу нетрудно сказать своё слово: ведь их книги не надо переводить. Тем не менее на страницах «Вельт унд ворт» эти произведения, как правило, не рецензировались. Три заметки, опубликованные за много месяцев, нельзя не считать исключением из правила. В первой из них просто-напросто зачёркивается вся работа «Берлинского ансамбля», руководимого Бертольдом Брехтом. Во второй с чувством горького сожаления сообщается, что Гейм-политик убивает Гейма-художника. Наибольший интерес представляет собой третья (и последняя) рецензия. В ней упомянуты сразу три книги: «Рай без блаженства» Клаудиуса, «Между Бонном и Бодензее» Йохо, «Западногерманские путевые картины» Шеера. Авторы этих книг названы «памфлетистами», сбившимися с правильного пути. Разумеется, тот факт, что журнал «Вельт унд ворт» счёл необходимым высказаться об этих книгах, сам по себе безусловно отраден. Но разве не характеризует политических и литературных симпатий журнала то обстоятельство, что на его страницах даже не упоминаются имена Анны Зегерс, Иоганнеса Бехера, Арнольда Цвейга, Вилли Бределя и других немецких писателей, живущих в Германской Демократической Республике? Невольно возникает и другой вопрос: почему журнал безмолвствует по поводу творчества таких немецких писателей, как Леонгард Франк, Альфред Дёблин, Вальтер фон Моло? Ведь их имена хорошо известны в ГФР.

Пожалуй, в критико-библиографическом отделе особенно явственно проступает политическая линия журнала. Нет-нет, а в небольших рецензиях и откликах критики



«Вельт унд ворт» отводят душу. «Потрясающая книга!» — говорится в отзыве на мемуары Франка, названные «Перед лицом виселицы» (военный преступник писал их в Нюрнбергской тюрьме). «Пламенное сердце!» — восклицает рецензент по адресу гитлеровского генерала Манштейна, автора книги «Потерянные победы».

Расточая восторги гитлеровским соратникам, журнал старается, однако, сохранить «и в самой подлости оттенок благородства». Этим, очевидно, и объясняется появление очередной саморекламной заметки, опубликованной в двенадцатом номере за прошлый год. Издатели журнала вновь заверяют своих читателей в том, что «Вельт унд ворт» в течение десяти лет не занимал никакой партийной позиции. По словам издателей, современная литературная жизнь находила на страницах журнала «зеркальное отражение», не замутнённое какими бы то ни было политическими пристрастиями. Издатели всячески подчёркивают «полную независимость» журнала, который будто бы «ничем не обязан никакой клике».

Можно было бы напомнить авторам этого манифеста «независимой мысли», что именно журнал «Вельт унд ворт» ополчился в 1954 году на Пауля Дистельбарта, автора книги «Россия сегодня», сделавшего робкую попытку помочь взаимопониманию между населением Западной Германии и советским народом. Дистельбарт был обвинён в «необъективности».

Политические пристрастия, как ни камуфлирует их журнал, сказываются даже в мелочах. Вот две коротенькие рецензии, напечатанные в разных номерах.

Рецензия на роман «Сирень в ноябре»: бульварщина! Да ещё и стоит она дорого — около тринадцати марок. Критик ругается: «Доннерветтер!»

Рецензия на роман «Ромео и Юлия в Вене»: бульварщина, но с антисоветским душком. И критик снисходительно замечает: «Мы ничего не имеем против того, чтобы авторы (роман сочинён двумя авторами.— Е. С. и Л. С.) кое-что заработали». И добавляет: «Эту книгу охотно прочитаешь в поезде, в трамвае».

Нельзя не отметить, что иногда в журнале встречаются и страницы, свидетельствующие о некоторой объективности. Под рубрикой «Взгляд в творимое» журнал публикует отрывки из ещё не изданных произведений разных авторов. В одном из таких отрывков — из романа Франца Кнеллера — слегка приоткрывается покров неизвестности над судьбой молодых героев книги. Встретившись друг с другом в первый день первой мировой войны, они ощущают в радости свидания горький привкус военного пожара; они смутно чувствуют, что «война означает кровь, слёзы, смерть и пепел». Вообще тема войны — и это не может не привлечь внимания читателей — в отдельных отрывках даётся в изображении авторов, непосредственно переживших весь её кошмар и так или иначе осуждающих её. Например, в отрывке из романа Вилли Хайнриха «Терпеливое мясо» воспроизводятся невесёлые мысли героя, который созерцает обносившиеся армейские сапоги немца, убитого на Кубани...

Однако крупницы живых мыслей, живых образов теряются в общей массе мертворождённых идей, попыток оправдать осуждённое, воскресить обречённое на гибель.

На исходе 1955 года журнал напечатал стихотворение, в котором имеются следующие строки:

Была луна. И нет луны.  
 Всё вечно. Всё уйдёт во тьму.  
 Во всём есть смысл. Всё только сны.  
 А пониманье — ни к чему.

Если это нечто вроде новогоднего пожелания, то большинству читателей оно вряд ли придётся по вкусу. Чем больше человек знает, тем правильнее он действует. Понимание прошлого и настоящего во имя будущего необходимо германскому народу, как необходимо взаимопонимание между немецким народом и народами других стран. Но «Вельт унд ворт» пока что, судя по его последним номерам, и впрямь считает, что его читателям «понимание — ни к чему». Может быть, именно поэтому редакцию нимало не смущает то обстоятельство, что многообещающее название журнала «Мир и слово» пока остаётся только названием.

Е. САШЕНКОВ, Л. СИМОНЯН.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*Публикуя ниже статью, в которой В. Ажаев рассказывает о молодых силах советской прозы, редакция представляет далее читателям нашего журнала группу критиков, участвовавших во Всесоюзном совещании молодых писателей. Их силами составлен в этом номере отдел литературной критики и книжное обозрение по вопросам литературы и искусства.*

В. АЖАЕВ

★

## МОЛОДЫЕ СИЛЫ СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ

Около тридцати лет назад начинающие авторы из одного литкружка спросили Алексея Максимовича Горького, по каким признакам можно отличить советского писателя. Горький ответил им:

«Думаю, что... таких признаков немного. К ним относится активная ненависть писателя ко всему, что угнетает человека извне его, а также изнутри, всё, что мешает свободному развитию и росту способностей человека, беспощадная ненависть к лентяям, паразитам, пошлякам, подхалимам и вообще к негодьям всех форм и сортов.

Уважение писателя к человеку как источнику творческой энергии, создателю всех вещей, всех чудес на земле...

Поэтизация писателем коллективного труда, цель которого — создание новых форм жизни, таких форм, которые совершенно исключают власть человека над человеком и бессмысленную эксплуатацию его сил...

Стремление писателя всячески повысить активное отношение читателей к жизни, внушить им уверенность в их силе, в их способности победить и в самих себе и вне себя всё то, что препятствует людям понять и почувствовать великий смысл жизни, крупнейшее значение и радость труда».

Эта заповедь остаётся непреложной и сегодня для советских писателей всех поколений. Она определяет собой и направление творческого труда каждого писателя и общую нашу заботу о развитии всей литературы, о воспитании смены, способной решить грандиозные задачи, возникающие перед художником в процессе развития социалистического общества.

Двадцатый съезд Коммунистической партии Советского Союза утвердил документ

огромной исторической важности — Директивы по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Не только советский народ, но и всё передовое человечество понимает, что означают эти директивы. Из-за цифр и кратких деловых выкладок величественно встаёт наше будущее, программа активного соревнования социализма с капитализмом.

Проект Директив по шестому пятилетнему плану был опубликован и поставлен на всенародное обсуждение в начале января нынешнего года.

Читая и изучая вместе со всеми советскими людьми эту грандиозную программу жизни народа, писатели страны Советов видели в ней и свою тему и своего героя.

Это было как раз в те дни, когда в Москве проходил пленум правления Союза писателей СССР совместно с Третьим Всесоюзным совещанием молодых литераторов.

После Второго съезда писателей прошедший пленум и совещание явились самым крупным и самым важным событием в советской литературе. Самым крупным и важным потому, что забота о литературной молодёжи является, в конечном счёте, заботой о судьбах и будущем всей нашей литературы; крупным и важным потому, наконец, что обстоятельный и прямой разговор о молодых писателях, об их творчестве неизбежно должен привести к обсуждению наиболее назревших проблем и вопросов литературы в целом.

Больше недели в Доме культуры «Правды», затем в здании ЦК ВЛКСМ и Союза писателей шла горячая, интенсивная работа. Три дня происходила дискуссия по докладам, в которой участвовали съехавшиеся

со всех концов страны писатели старших поколений и молодые литераторы. Затем все участники пленума и Всесоюзного совещания, и среди них многие писатели-москвичи, распределились на 38 групп-семинаров и дружно включились в углублённую лабораторную работу, целью которой было обсудить буквально каждое произведение каждого участника совещания. В семинарах и произошло тесное знакомство литературной молодёжи со старшими товарищами.

Теперь, когда всё это осталось позади и участники споров и дискуссий разъехались по домам, видно, что пленум и совещание созывались не зря, была проведена большая, серьёзная работа, и она принесёт нашей литературе свои богатые плоды.

Если высказать общее впечатление, то это — впечатление, что литература наша несомненно обогатилась. Мы, писатели среднего и старшего поколений, узнали, увидели в лицо десятки и десятки новых интересных, талантливых литераторов. К такому выводу единодушно пришли все участники заключительного заседания пленума, на котором подводились итоги всей работы. Писатели, руководившие семинарами, называли целые списки имён и произведений.

И второе, о чём нельзя не сказать, вспоминая пленум и совещание: в молодой литературе, представляющей собой органическую часть всей советской литературы, многое привлекает внимание, радует и волнует своими находками, ибо каждый новый талант — радостная находка. Но в ней есть немало и такого, что настораживает и заставляет всерьёз задуматься. В молодой прозе и поэзии, в молодой драматургии мы не можем не видеть недостатков и некоторых тревожных симптомов, характерных и для «старшей» литературы.

Нужно признаться, что дискуссия по ряду острых вопросов существования нашей литературы была только начата на совещании. Её, эту дискуссию, можно и должно развить, продолжить на страницах печати. Литературную общественность глубоко затрагивают все вопросы, связанные с произведениями о созидательной трудовой деятельности нашего народа, и пора о них поговорить по-настоящему. Произведений о людях труда, о типических героях нашей жизни и раньше появлялось недостаточно, а за последнее время, в частности в творчестве молодых писателей, тематика и проблематика этого рода явно отступили на второй, если не на третий план. Нужно в от-

крытую и по-настоящему поговорить об опасности «мелкотемья» и бытовизма, о том, что постановка вопросов морали у многих молодых писателей приобретает очень уж узкое звучание. Нужно обратить внимание и на то, что в произведениях некоторых молодых литераторов проявились настроения объективизма, пассивного отношения к темным сторонам жизни; на то, что мы редко встречаем, даже в хороших книгах, живые образы героев, неотразимо ведущих нас за собой.

Новый этап развития нашего государства ставит новые задачи и перед литературой. Все мы обязаны подумать об усилении боевого духа литературы, о ещё большем повышении её идейного уровня.

В этой статье речь идёт о творчестве молодых прозаиков, чьи произведения были опубликованы в последний год—два. Нам привелось прочесть множество книг и рукописей прозаических произведений и в них увидеть силу и слабость нашей литературы. Об этом шла речь в нашем докладе на пленуме. Естественно, что на материал, использованный в докладе, мы опирались, развивая основные положения этой статьи.

## 1

Из года в год всё новые и новые писатели приходят в нашу многонациональную литературу из самых глубин талантливого советского народа. Пафос требовательности и озабоченность состоянием литературы не должны помешать нам увидеть, что именно за последнее время в литературу пришло и непрерывно приходит пополнение, силу и значение которого нельзя не оценить.

Во многих городах и крупных сельских центрах страны работают литературные объединения, группирующие вокруг себя тысячи начинающих авторов. В одной только Российской Федерации насчитывается более ста таких объединений, и в них занимается около трёх тысяч начинающих. На Украине в сорока объединениях работает тысяча человек. В Белоруссии объединения созданы во всех областных городах, в них занимается до четырёхсот молодых литераторов.

За четыре последних года наши издательства выпустили только на русском языке более шестистот первых книг начинающих авторов. В это же время на украинском языке вышло в свет свыше ста первых книг; на белорусском и грузинском языках — примерно по пятидесяти; на татар-

ском — свыше тридцати книг, и так по всем союзным и автономным республикам. Тысячи первых произведений опубликованы за это же время в литературно-художественных журналах, альманахах и сборниках.

Конечно, цифры ещё не характеризуют качественного состояния молодой литературы. Но всё же они демонстрируют размах литературного движения, его широту. Нельзя не видеть, что за этими цифрами скрываются могучие резервы. И я позволю себе привести ещё одну цифру, показывающую, как молодые силы пополняют ряды профессиональной литературы. За послевоенное десятилетие в Союз писателей принято более 1 500 человек, и половину из них составляют молодые люди, впервые заявившие о себе талантливыми книгами.

В стенограммах Первого совещания молодых писателей, происходившего восемь лет назад, мы прочли пожелание одного крупного литератора, чтобы из среды участников этого совещания вышло хотя бы пять талантливых настоящих писателей. Думается, осторожная мечта нашего старшего товарища сбылась. Творческий уровень Первого совещания можно охарактеризовать тем, что из 144 его участников в последующие годы было принято в Союз писателей 93 человека. Из 279 участников Второго Всесоюзного совещания — 164 человека. Многие из этих молодых настолько ощутили вошли в нашу многонациональную литературу, что без их книг и пьес нельзя оценивать её состояние и думать о её судьбах.

Нельзя отказать себе в удовольствии перечислить хотя бы несколько имён ныне всем известных писателей — участников совещания 1947 года: С. Антонов, Д. Вааранди, С. Воронин, П. Воронько, Р. Гамзатов, С. Гесргиевская, О. Гончар, С. Гудзенко, М. Дудин, С. Капутикян, М. Карим, М. Луконин, Е. Мальцев, В. Мазурюнас, А. Межиров, С. Наровчатов, А. Недогонов, И. Нонешвили, С. Орлов, П. Панченко, Ю. Сотник, В. Тушнова, Г. Эмин.

После Второго совещания, состоявшегося в 1951 году, в литературе прозвучали новые имена: Б. Бедный, К. Ваншенкин, Д. Гранин, Д. Деятов, Е. Евтушенко, Ц. Жимбиев, Л. Забашта, С. Залыгин, Л. Карагезян, А. Ковусов, А. Кожемякин, О. Куправа, В. Лаврентьев, А. Ласуриа, А. Макаёнок, В. Огнев, В. Очеретин, В. Реймерис, В. Розов, А. Салынский, Г. Сеидбейли, В. Тендряков, А. Турков, М. Цагараев, О. Челидзе, А. Шогенцуков.

Вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что эти писатели составляют заметную и активную силу нашей литературы.

Нет нужды сейчас возвращаться к оценке и анализу произведений общеизвестных — о них много говорилось и писалось. Какие-то книги, может быть, и забылись; на некоторых быстротекущее время оставило след коррозии; но многие книги продолжают оставаться в арсенале нашей литературы, как её незыблемый фонд.

Мы знаем, процесс развития литературы — сложный процесс, и насколько он сложен в целом, настолько же сложен для каждого писателя в отдельности. У молодых писателей нет, естественно, какой-то универсальной и одинаковой творческой судьбы — пути и судьбы литераторов сугубо индивидуальны.

В обоих совещаниях молодых писателей принимали также участие люди, оказавшиеся случайными в литературе. Они появились и исчезли, их судьбы и не должны нас интересовать: видимо, литература никогда не была их призванием.

Среди участников совещаний молодых писателей оказались и такие люди, которые и сейчас так или иначе занимаются литературным трудом — редакторской работой, рецензированием чужих произведений, но их собственное творчество не получило развития. Например, в 1947 году в совещании участвовал один поэт — называть его не стану. В последующие годы он перешёл на прозу, потом обратился к литературной теории. Ни в одном из трёх жанров ему не удалось проявить самобытность. И Литературный институт, где он учился, вынужден был отказать ему в дипломе как человеку, творчески несостоятельному. В чём же тут дело? Видимо, сам он ошибся в выборе жизненного пути, поправить его не сумели, а теперь ему приходится мыкать горе, довольствоваться случайной околосоюзной и околоиздательской работой.

Иногда путь литератора оборачивается так трудно, как это получается у Н. Мельникова-Мельмана: после критики его идейно ошибочной повести «Редакция» он долго не появлялся в печати. Вспомнив о нём, я хочу обратить внимание на два обстоятельства: во-первых, у молодого писателя, видимо, не хватило мужества и сил сделать правильный вывод из критики и смело пойти вперёд; а во-вторых, критика оказалась не направляющей и воспитывающей, а карающей. После критики к судьбе моло-

дого писателя никто не проявил интереса и внимания.

В нашей литературной жизни писатель может потеряться, как иголка в сене; не торчит человек перед глазами — никто о нём не вспомнит лет десять. О писателях, которые долго молчат после первого успеха, у нас чаще всего говорят не с тревогой или хорошим огорчением, а с насмешкой.

Такие разговоры возникали в связи с именами В. Некрасова, Е. Мальцева, Ю. Трифонова и других. А между тем за фактом долгого молчания скрывалась не бездеятельность, не зазнайство, а трудные и долгие, иногда очень мучительные поиски, которые, как известно, не всегда завершаются новыми достижениями. Лишь недавно поутихли дискуссии, вызванные новым произведением В. Некрасова. Я не буду входить здесь ни в оценку этой вещи, ни продолжать дискуссии о ней, я хочу только сказать, что эта повесть, вот такая, как она есть, — свидетельство очень нелёгких поисков писателя в течение всех лет, прошедших после громкого успеха.

Кто знает Е. Мальцева, кому известно упорство, с каким он вот уже несколько лет работает над новым и новым вариантом задуманного им романа о людях нашей колхозной деревни, тот не упрекнёт его в лени. Лишь один упрёк мы сочли бы нужным бросить Е. Мальцеву — упрёк в том, что он, преодолевая противоречия и трудности на пути своего творческого развития, не учитывает того, что литератор — это не только автор романов и повестей, но и журналист, и публицист, обязанный выступать со статьями, очерками, впечатлениями, вынесенными из своих поездок; таких поездок, кстати, у Е. Мальцева за эти годы было немало.

О крупных и принципиальных трудностях роста говорит нам и пример С. Воронина, проделавшего сложный путь от первого романа «На своей земле» до последней повести «Ненужная слава». Ликвидация теории бесконфликтности оказалась плодотворной для С. Воронина, как, впрочем, и для многих наших литераторов. В последней своей повести «Ненужная слава» С. Воронин, в сущности, полемизирует сам с собой, с тем облегчённым вариантом жизни, какой мы видели в его первой книге, и с тем типично лакировочным разрешением проблемы о корыстном отношении к славе, которое имело место в его повести «Широкой дорогой». На последнюю его повесть

есть уже положительные отклики критики. Мы целиком их разделяем, радуясь успеху товарища.

Можно бы привести и другие примеры, назвать имена писателей, которые отнюдь не молчат и сами не испытывают каких-либо трудностей, — произведения их появляются часто, книга за книгой, — а читатель остаётся к ним равнодушным. Тут уж, пожалуй, захочется, чтобы книг было поменьше, а заботы о собственном росте побольше, ибо у таких писателей уровень мастерства и профессиональной выучки не повысился, а материал жизни, взятый ими для своих произведений, как-то потускнел и потерял свежесть.

В другом, совсем в другом роде поучительны судьбы тех молодых писателей, чьё творчество являет радостный пример большого закономерного роста. Мы можем тут говорить о стремительных рывках вперёд В. Тендрякова, Д. Гранина, В. Розова, И. Нонешвили, Р. Гамзатова. Можем говорить и о более равномерном поступательном движении таких писателей, как П. Воронько, Б. Бедный, С. Залыгин, А. Салынский, К. Ваншенкин. Во всех случаях это примеры серьёзного отношения к своему таланту, любви к литературе и упорной учёбы.

После этой оглядки на участников наших прошлых совещаний, на этих «бывших», что ли, молодых писателей, хотелось бы поговорить о сегодняшней литературной молодёжи, поделиться кое-какими соображениями об облике современного молодого литератора.

Чем типична биография писателя самого нового поколения? Кто таков этот молодой советский человек, в чём его отличие от молодых писателей предыдущих поколений?

Мы с полным правом можем говорить о том, что это — поколение, с молоком матери впитавшее любовь к своей социалистической Родине и верность делу коммунизма. Всё, что связано с нашим советским строем, с Советской властью, — всё это было дано им с самого рождения, причём дано уже в каком-то сформировавшемся, готовом виде.

Только часть из них была непосредственными участниками Великой Отечественной войны, и это вторая характерная черта их биографии. Даже если брать самых старших, то их война застала в возрасте восемнадцати—двадцати лет. Большинство же —

те, кому сейчас двадцать пять, двадцать восемь или стукнуло тридцать,— было застигнуто войной в возрасте десяти, тринадцати или пятнадцати лет. Но значит ли это, что юный возраст изолировал их от впечатлений военной эпохи? Напротив. Именно война формировала их, и с самых юных лет они разделили тяготы, а иные — борьбу и героические усилия своего народа.

Украинский прозаик Василий Земляк в двадцать лет стал командовать партизанским отрядом, боровшимся с немецкими оккупантами на Украине. Лидию Обухову девочкой застигла война на литовской границе, где служил её отчим, убитый в одном из первых же сражений. Илью Зверева война заставила прервать учёбу после восьмого класса школы, эвакуироваться из Донбасса в Сибирь и там не только доучиваться, но и начинать в пятнадцатилетнем возрасте трудовую жизнь. Ленинградец Михаил Шургин в июне 1941 года окончил десятилетку, а в ноябре был направлен на фронт; он командовал противотанковым орудием в боях под Москвой и Старой Руссой.

Примеры подобного рода можно умножить. Что важно в этой черте биографии наших молодых друзей?

Воевали они или война их просто сорвала с родных, насыженных мест в эвакуации, — так или иначе они в детские и юношеские годы вплотную соприкоснулись с жизнью, полной тягот и трудностей, узнали её не по книгам и отнюдь не в приукрашенном виде.

При всех трудностях, внесённых войной в их жизнь, подавляющее большинство из тех, кто вступает нынче в литературу, сумело получить высшее образование, и это тоже одна из характерных черт нового литературного поколения. Мы знаем — и справедливо много говорим — о недостатках обучения нашей молодёжи, о том, что школа часто не умеет воспитывать художественный вкус, что она не учит видеть в произведениях литературы прежде всего прекрасное; мы справедливо критикуем недостатки филологического образования, порочность такого преподавания литературы, которое приводит к несамостоятельности мышления и псевдосоциологическому, узкому пониманию произведений искусства. Всё это так. И вместе с тем наличие высшего образования у большинства молодых писателей — факт громадного значения, который нельзя не учесть, нельзя сбросить со счётов. И как

может быть иначе, если общий уровень культуры народа поднялся очень высоко и в связи с этим повысились требования читателей, часто высказывающих ныне неудовлетворённость состоянием литературы?

Мы не очень довольны постановкой дела в Литературном институте, но нас не может не радовать, что несколько десятков выпускников Литинститута, выдержав своеобразный и не очень снисходительный конкурс, заслуженно оказались в числе участников январского совещания молодых писателей.

Мы нередко толкуем о вреде так называемой ранней литературной профессионализации. Порой упрёк в ранней профессионализации служит могучим аргументом против приёма того или иного молодого литератора в Союз писателей. На мой взгляд, в том, что молодые авторы часто становятся профессиональными литературными работниками задолго до того, как они заработают право на вступление в Союз писателей, есть не только отрицательные, но и положительные стороны.

Люди, посвящающие себя с ранних лет литературе, как правило, выбирают для учёбы гуманитарные вузы. Окончив такой вуз, человек приходит на работу, скажем, в редакцию газеты. Именно там он не только проходит школу практической литературной подготовки, но, кроме того, ещё и получает возможность повседневных связей с жизнью и народом, приучается к синтетическому мышлению, к обобщению множества наблюдаемых через газету фактов.

Но когда мы говорим о нашей литературной молодёжи — точнее, о самых молодых людях из её числа,— мы не можем не думать о судьбе тех, кто вступает в литературу вскоре после вуза, ибо, при любой одарённости, за их плечами стоит всё же весьма облегчённая школа жизни и они не обладают зачастую качественно важным запасом жизненных впечатлений. Если для поколения литераторов, которым сейчас около тридцати лет, ещё типично, как уже было сказано, то или иное влияние на их судьбу суровых военных лет, то какой же реальный жизненный опыт могли накопить те начинающие писатели, чья биография складывается из семи лет «дошкольного возраста», а затем из пятнадцати лет учения в школе и в институте? В двадцать—двадцать пять лет молодой писатель, если биография его складывалась ровно и гладко, может, выходит, писать по впечатлениям

детства и юности, да ещё об увиденном в вузе и пережитом в семье родителей. Есть у него ещё, разумеется, возможность пополнить этот багаж умозрительными и приблизительными представлениями о жизни. Что ж, не так уж мало молодых литераторов пишут свои первые книги, вооружённые таким именно тощим багажом. И в этих-то книгах критики чаще всего находят потом гладкопись и схематизм.

Скудость жизненного опыта должна более всего беспокоить молодого писателя, если у него серьёзные намерения и литература для него — самое любимое и дорогое дело. Поэтому он должен рано или поздно (лучше — рано) перестраивать свою жизнь, свой быт и искать подступы к глубокому знакомству с трудовой жизнью народа.

Так именно складывалась литературная биография Юрия Трифонова: из школы он поступил в Литературный институт и первую книгу смог написать именно об институте; талант помог ему создать известную книгу «Студенты». Тут запас впечатлений оказался исчерпанным, нужно было предпринимать какие-то шаги для расширения жизненного кругозора, наступил тот трудный творческий период поисков темы и материала, в котором и сейчас находится этот талантливый и лично нам глубоко симпатичный писатель.

Таким образом, говорить нужно не о вреде «ранней профессионализации» как таковой, но о вреде отрыва от жизни (что вредно, кстати сказать, не только для молодых, но и для весьма пожилых литераторов), об опасностях бездумной эксплуатации скудного, не пополняющегося жизненного багажа.

Наша литературная молодёжь — часть советской молодёжи вообще, и она наделена теми же общими чертами, которые свойственны всей нашей молодёжи. Думая о ней, мы, люди уже зрелого возраста, не можем не испытывать радости, приносимой сознанием того, что это уже совершенно новая человеческая формация, со всем тем прекрасным, что может быть в новом человеке. Вместе с тем все мы ясно видим, что какая-то часть нашей молодёжи, в том числе и литературной, не лишена таких болезней и недостатков, как иждивенчество, самодовольство, зазнайство — черты, которые видеть в представителях нашей молодёжи неприятно и горько.

Очень обидно старшим литераторам сталкиваться с молодыми людьми, приходя-

щими в Союз писателей не за творческой помощью, не за советом, а с явным желанием добиться каких-либо ещё не заработанных ими материальных благ или пристроить скороспелое сочинение. Это — одно из проявлений того иждивенческого отношения к жизни, каким некоторые молодые люди столь огорчают своих отцов и старших братьев и какое тесно связано с непониманием своей роли и места в нашем обществе. Получив в подарок ко дню своего рождения высокое звание — гражданин Советского Союза, — такие молодые люди воспринимают многие блага жизни, в том числе возможность свободного учения и выбора профессии, как должное и само собой разумеющееся.

Наш общественный строй обязывает и в литературе и в любой другой отрасли искусства особенно благоприятствовать появлению талантов, всячески облегчать условия их роста и выдвижения. Трудно представить себе, чтобы сейчас где-нибудь, даже на самой дальней окраине страны, мог затеряться талантливый роман или талантливая книга стихов.

Правда, можно привести примеры волокиты в этой области. Очень долго, например, мыкались со своими повестями москвич Ю. Пиляр, ленинградец В. Дягилев. Но это лишь исключения из того общего правила, по которому произведения молодых авторов легко (а порой даже слишком легко) находят доступ к читателю. Подчас редакции альманахов и журналов так торопятся дать дорогу произведению начинающего писателя, что оно предстаёт перед читателем в том сыром, неприбранном, черновом виде, в котором попала к читателям журнала «Дальний Восток» повесть способной молодой писательницы М. Черкашиной «Кто в дружбу верит горячо». Это издержки системы усиленного благоприятствования молодым авторам. Наше же отношение к ним должно быть определено двумя словами: строгая доброта. Однако на практике эти два слова гуляют нередко врозь: доброта без строгости, а строгость без доброты.

Разговору о пополнении рядов профессиональных литераторов, о росте Союза писателей СССР в последние годы сопутствуют сокрушённые реплики, констатирующие «постарение» кадров литературы.

Если не остановиться перед общими цифрами о составе союза, а внимательно в них разобраться, то окажется, что так называе-

мое «постарение» касается в первую очередь людей, давно уже пребывающих в литературе, и является следствием закона природы, перед которым человек бессилён: время идёт, и по мере его движения у людей прибавляются годы. Тут ничего не попишешь: тем, кому десять лет назад было сорок, стало пятьдесят, кому было пятьдесят, стало шестьдесят...

Что же касается вновь принятого за последние десять лет пополнения, то половину его составили люди в возрасте до тридцати пяти лет. Мы не можем про них сказать, что они староваты или запоздали в своём развитии. Мы не можем этого сказать про М. Луконина, А. Межирова, Е. Винокурова, К. Ваншенкина, О. Гончара, Е. Мальцева, Ю. Трифонова, Н. Шундика, Ю. Рытхуе, Е. Евтушенко, Ц. Жимбиева, Н. Громыко, К. Мачавариани, Г. Рашидова и многих других, принятых в союз в послевоенные годы.

Накануне Третьего совещания молодых писателей мы поинтересовались, в каком возрасте начинали писать его участники, в каком возрасте опубликовал каждый из них первое своё произведение и когда выпустил первую книгу. Оказалось, что молодые поэты начинают писать довольно рано — пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет; иногда даже раньше — в двенадцать, четырнадцать; реже позднее — в двадцать, двадцать два года. И впервые начали печататься наши поэты вскоре после того, как взялись за перо. Разрыв между началом творчества и моментом опубликования первых стихов обычно один, два, три года. Но вот разрыв между первой публикацией и первой книгой значительно больше. Например, Р. Рождественский, которому сейчас двадцать три года, опубликовал первое стихотворение семнадцати лет, а книгу выпустил в этом году, то есть через шесть лет. А В. Берестов, начав писать стихи пятнадцати лет и впервые напечатавшись в двадцать четыре года, пока ещё не имеет сборника своих стихов, хотя пишет немало, печатается нередко, имеет одобрительные рецензии и от роду ему уже двадцать семь лет.

Такой же примерно разрыв между первой публикацией и первой книгой характерен и для прозаиков, с той лишь разницей, что за перо они обычно берутся чуть позже, чем поэты.

Этот разрыв объясняется, на мой взгляд, не только естественными трудностями ли-

тературной выучки, но и, пожалуй, бытующим ещё у нас недоверием к первым книгам молодых писателей: отдельные стихи или рассказы в периодике печатают охотно, а когда дело доходит до книги, возникают сомнения, подчас не очень основательные.

Существуют довольно строгие правила приёма в Союз писателей. Это справедливо, что правила строгие. Но есть и другое: препоны и ненужные условности. Как часто мы слышим по первому впечатлению правильную, а по существу неверную, равнодушную к судьбе молодого автора формулу отказа: «Отложить до выхода новой книги». А зачем откладывать, когда дело ясно, когда видно, что человек талантлив и идёт в литературу не случайно? Так ли уж надо откладывать приём в союз С. Мелешина, Л. Обуховой, В. Дягилева, Л. Пасенюка, М. Шургина, А. Володина, В. Комиссарова и многих других, достаточно ясно и убедительно засвидетельствовавших, что их литературный дебют не случаен и что профессия литератора выбрана ими по праву?

Вернёмся, однако, к вопросу, волнующему многих литераторов старшего поколения: почему среди писателей, входящих в литературу в качестве молодого пополнения, так велик всё же удельный вес людей старше тридцати лет?

Мы уже говорили, что в большинстве своём новые кадры советской литературы состоят из людей, получивших высшее образование. А тут уже арифметика железная: десять лет школы, пять-шесть института, и вот тебе уже двадцать три — двадцать четыре года. А по-настоящему входить в жизнь и, следовательно, обрести жизненный материал можно, только начав трудовую деятельность. Да ещё нужно какое-то время, чтобы человек смог творчески переварить материал жизни и написать первую значительную книгу. Тут мне хотелось бы отметить, что вообще молодёжь наша, избирающая интеллигентные профессии и, следовательно, идущая после окончания школы в вузы, весьма поздно начинает свою сознательную трудовую деятельность. Такого положения не было у поколения, к которому принадлежат, например, А. Фадеев, М. Шолохов и другие, начавшие жизнь, полную борьбы за биографию своего класса и народа, а следовательно, и за собственную биографию, намного раньше. К первому писательскому съезду это поколение играло в литературе решающую роль, причём в воз-



расте около тридцати лет! И поколение, к которому принадлежит автор этих строк,— поколение людей, вступивших в трудовую деятельность в годы первой пятилетки,— начало самостоятельную жизнь не в двадцать четыре, не в двадцать пять, а в пятнадцать-шестнадцать лет. Учиться же в вузах нам приходилось главным образом без отрыва от производства.

Нет, мы отнюдь не призываем литературную молодёжь намеренно ухудшать себе условия жизни, не уговариваем её отказаться от поступления в университеты и вузы. Мы просто хотим осмыслить объективные обстоятельства, при которых молодые писатели вступают в литературу, и при этом подчеркнуть необходимость сознательного отношения к этим обстоятельствам и с их стороны. Ведь при любых условиях главным учителем для литератора была и остаётся жизнь народа.

Лучшим же, так сказать, «литературным факультетом» высокой жизненной школы является газета. Наша советская печать воспитала многих крупнейших писателей, накрепко связала их с жизнью народа, возбудила в них активное партийное отношение к общественным явлениям, впервые научила анализу и обобщению разрозненных фактов, увиденных в повседневности. Между тем нередко приходится убеждаться в пренебрежительном отношении к газете со стороны некоторых литераторов: дескать, я создаю великий роман, а вы меня сбиваете на сочинение каких-то статей. Насколько лучше понимают свои собственные интересы те молодые авторы, которые, окончив Литературный институт либо другой гуманитарный вуз, с душой отдаются газетной работе.

## 2

Появление новых и новых талантливых людей в литературе — отрадный факт нашей жизни. Но нас интересуют не только таланты сами по себе, но и их направленность, их боевой дух, партийность, высота идеологических позиций, соответствие их творчества коренным интересам народа.

Искреннее желание жить в мире со всеми государствами не может заставить советский народ хотя бы на шаг отступить от марксистско-ленинских позиций. В своём докладе на XX съезде КПСС товарищ Н. С. Хрущёв сказал:

«Из того факта, что мы стоим за мирное сосуществование и экономическое соревно-

вание с капитализмом, никак нельзя делать вывод, что можно ослабить борьбу против буржуазной идеологии, против пережитков капитализма в сознании людей. Наша задача — неустанно разоблачать буржуазную идеологию, вскрывать её враждебный народу характер, её реакционность».

Советский народ спокойно, с сознанием своей силы, выполняет грандиозные планы дальнейшего мощного подъёма промышленности и сельского хозяйства — планы, выношенные и созданные правительством и ЦК партии при самом заинтересованном и инициативном участии тысяч и тысяч рабочих, колхозников и интеллигенции. Не декларациями и речами, а честным и самоотверженным трудом, преодолевая неизбежные в большом деле трудности, доказывают советские люди свою верность великому делу строительства коммунизма, и в этом выражается их высокая идейность.

Творческий, созидательный труд — основа основ жизни советского народа, и поэтому изображение людей труда не может не быть основой основ художественной литературы, предназначенной для широких народных масс. Главным отличительным признаком и мерилom духовной ценности советского человека является его отношение к общему социалистическому делу. Так и достоинства произведений нашей литературы должны определяться в первую очередь тем, насколько идейно глубоко, художественно убедительно и полноценно решается главная тема и проблематика типического героя советской эпохи — человека труда, существующего и развивающегося в типических обстоятельствах, то есть в связях и отношениях внутри социалистического коллектива, где сложились свои законы, мораль и нравственные нормы, позволяющие советским людям вести многогранную, духовно богатую общественную и личную жизнь.

Тематическая направленность творчества писателя почти всегда определяется его биографией и запасом определённых жизненных впечатлений. Для наших молодых литераторов естественна приверженность к темам современности, изображение сегодняшней жизни советских людей. Из числа книг и рукописей, рассмотренных на семинарах Третьего Всесоюзного совещания молодых писателей, более трети составили романы, повести, рассказы и очерковая проза о труде и мирной созидательной деятельности нашего народа, написанные как на ма-

териале колхозной деревни, так и на материале городского индустриального производства. Здесь сказано не только стремление ответить на требования партии и народа, но и органическая потребность души — молодые литераторы пишут о самом родном и близком, с чем связаны собственной жизнью.

Следующее место по удельному весу заняли произведения об Отечественной войне и о Советской Армии в дни мира, причём изображению мирного быта армии посвящено больше книг, чем военным дням, и это тоже понятно. Лишь немногие прозаические произведения, рассмотренные на семинарах, были посвящены темам интернационализма, международной солидарности, жизни трудящихся в капиталистических странах. Всего только две книги были посвящены историческим темам. Весьма случайный характер носили выдвинутые на обсуждение произведения приключенческой и научно-фантастической тематики. Не более чем два-три автора проявили органическое тяготение к этому жанру. Отмечаем это, поскольку хозяйская заинтересованность в богатстве и разнообразии литературы обязывает всех нас обратить внимание на некоторые тематические «белые пятна» в нашей молодой литературе.

Ещё одна небезинтересная черта: в отличие от прошлых лет, значительно больше половины участников Третьего совещания предстало на семинарах со сборниками и циклами рассказов и очерков; на втором месте оказались авторы повестей; романстов было всего четырнадцать. Преобладающие рассказчиков и авторов очерков — отрядный факт: во-первых, потому, что пробовать свои силы следует, думается, действительно в жанре рассказа или очерка; во-вторых, это, очевидно, свидетельствует о росте заинтересованности всей нашей литературы в важном и до недавнего времени дефицитном жанре рассказа.

Ещё одна отрядная особенность, которую хочется отметить, состоит в том, что уровень творчества большого круга участников совещания, их литературная подготовленность оказались несомненно выше, чем на прошлом совещании, четыре года назад. Во всяком случае, это с уверенностью можно отнести к рассказчикам.

Разбор некоторых конкретных произведений молодых прозаиков — участников совещания — начнём с повести Лидии Обуховой

«Глубынь-Городок», напечатанной недавно, но уже известной читателям и получившей заслуженное одобрение литературной общественности.

Самобытная повесть Л. Обуховой представляется нам достижением не только молодой писательницы, но в какой-то мере и всей нашей прозы. Вещь эта по-настоящему поэтическая, с раздумьем о людях, об их судьбах. Изображённая в ней картина полесской деревни полна красок и звучаний.

Наиболее значителен в повести принципиально интересный и важный образ секретаря райкома Ключарёва — образ, какого не приходилось встречать в книгах последних лет, если не считать ставшего нарицательным Мартынова из очерков В. Овечкина. Ценно, что Ключарёв не одинокий в книге; он живёт и действует, если можно так выразиться, в коллективе района, причём писательнице удалось показать многолюдье и разноликость этого коллектива. Мы вспоминаем юную песенницу Симу, сельского врача Антонину, молодых учителей Костю и Василия, председателей колхозов Любикова, Блищука, Грома, Валюшицкого, собирательницу фольклора Женю, старуху Меланью. Читатель всё время ощущает искреннюю, горячую заинтересованность Л. Обуховой в судьбах её героев, её взволнованно-радостное восприятие жизни. Оптимизм, светлое мироощущение отнюдь не мешают Л. Обуховой показать эту жизнь без облегчённости. Жизнь её героев далеко не безоблачна; она полна борьбы, сомнений, трудностей. Одно из проявлений таланта — это чувство деталей, свежего, искристого слова. В книге молодой писательницы нас радуют находки в описании людей, милые пейзажи белорусской деревни, умелое и тонкое использование фольклора. Вспомним, как приговаривает Меланья, бабка Симы, над приданым, вынутым из старого сундука: «Крапива — постелька моя, солёные слёзы — еда моя...»

О полюбившейся книге приятнее говорить только хорошее. Но для пользы молодого автора нужно сказать и о его просчётах. На мой взгляд, повесть Л. Обуховой по-настоящему хороша в первой своей половине. А во второй не выверена композиция, повествование кое-где начинает «буксовать». В значительной мере это связано с тем, что только во второй книге Обухова вводит одного из основных героев — нового председателя райсполкома Якушонка, хорошего, интересного, умного человека, под стать

Ключарёву. Но вошёл в повествование Якушонку не только поздно, но и не очень-то органично, да и красок на обоих хороших руководителей автору недостало. Якушонку и Ключарёву как бы стало тесно в повести, хотя в жизни они, возможно, жили бы в добром согласии, не сетуя на отсутствие конфликта.

Любование жизнью порой приводит Обухову к излишней восторженности, к стремлению чересчур просто и быстро подарить своим героям счастливые решения судеб. Не лишён основания упрёк, брошенный писательнице участниками совещания, — упрёк в непреодоленном до конца стремлении к красивости.

Однако это просчёты частные. Главным же ощущением от прочтения книги остаётся радость в связи с тем, что в литературе появился новый, звонкий и сильный голос.

Повесть молодого украинского прозаика Василия Земляка «Родная сторона» вспоминается рядом с книгой Лидии Обуховой потому, что эта книга также посвящена Полесью. Романтическая приподнятость, душевная теплота уже привлекли украинского читателя к «Родной стороне». Можно надеяться, когда повесть будет издана в русском переводе, она найдёт дорогу к читателю и у нас.

Повествуя о родном Полесье, в частности об истории Вдовьего болота, В. Земляк видит в типичной для тех мест хозяйственной проблеме прежде всего сумму обстоятельств, в которых могут проявиться характеры людей. Борьба прогрессивного и отсталого в деревне раскрывается автором на материале, позволяющем увидеть героев в самых различных жизненных столкновениях. Тут и романтическая история любви Бурчака к Зое, и выдержанный в сатирических тонах рассказ о падении Талымона Товкача, некогда известного и уважаемого в районе председателя колхоза. Возвышенное и поэтическое переплетено с очень земным, бытовым.

Возможности В. Земляка как писателя, его изобразительные средства отчётливо проявились в обрисовке такого героя, как агроном МТС Максим Шайба. Этот одинокий, раздражительный и сварливый человек, равнодушный к людям и своекорыстный, отмечен скупой и меткой деталью: в его уютном холостяцком жилье живёт только прирученная им ворона с перебитым крылом. Карканье голодной птицы, запустение и холод комнаты, в которую приходит после

работы Максим Шайба, дают для его характеристики больше, чем дали бы многие страницы описаний.

Однако, обладая способностью живописать, умея отыскать яркую зрительную деталь, В. Земляк вместе с тем слишком многое объясняет, сообщает, а не показывает — и от этого проигрывают интересно и умно разработанные поначалу характеры Зои, Павла, Живана. А в описании Товкача и Шайбы, при верно намеченном сатирическом рисунке, есть некоторый перебор, подменяющий реалистическое изображение шаржем.

Порой даже в описании крупных, бурных событий повествование течёт спокойно и монотонно. Иные острые столкновения снимаются чересчур легко. Так, находка хранящегося в архиве старого проекта облегчает Бурчаку ответ на трудную задачу: почему вода из болота не пошла по вновь прорытому каналу. Вообще важный по своему удельному весу образ Бурчака — застрельщика борьбы с косностью и отсталостью — не вполне удался молодому писателю.

Талант В. Земляка несомненен. Есть у него и что сказать людям. Поэтому особенно хочется, чтобы он сумел сделать правильные выводы из дружеского разбора, которому была подвергнута его повесть на украинском и всесоюзном совещаниях молодых писателей.

Ленинградский прозаик Михаил Шургин пришёл к совещанию с двумя, почти одновременно вышедшими в свет повестями — «Начало пути» и «Зима в Бежице». Нам хотелось бы остановиться на первой из этих двух повестей — не только потому, что она больше удалась молодому автору, но и потому, что она решает более важную тему, рассказывая о том, как выходит на самостоятельный жизненный путь и духовно формируется молодой советский рабочий.

«Начало пути» подкупает читателя сердечным отношением автора к людям труда. Главный герой повести — Дима Гордеев — начинает свою жизнь по завету погибшего на фронте отца. Старый, потомственный рабочий, отец Димы, уходя на войну, наказал жене: «сына от завода не отпускай». Он верил, что заводской коллектив будет для Димы лучшим воспитателем. И вот, окончив ремесленное училище, пареньёк приходит на завод в качестве токаря-универсала четвёртого разряда и сразу же испытывает разочарование. Дело в том, что

его мать, Ольга Сергеевна, токарь-скоростник завода, устривает так, что сын будет работать в одном с ней цехе. Мечты Димки о самостоятельности рассыпаются в прах. Все ребята как ребята, а он будет в цехе «маменькиным сынком»...

Очень хорошо М. Шургин сумел показать завод — в этом смысле его книга активно укрепляет позиции «производственной повести» и развенчивает скептические заявления о том, что техника, дескать, во что бы то ни стало заслоняет людей. Поэзия труда нашла в повести Шургина очень простое и естественное выражение. Вот как пишет он о старой закопченной заводской трубе, которую все заводские называют «пенсционерка»: «Среди старожиллов заставы «пенсционерка» имеет известность почти такую же, какой в центре города пользуется, скажем, шпиль Петропавловской крепости,— её покажет вам любой мальчишка, даже тот, который на заводе ни разу и не был. Солнце любит её больше других труб. По утрам «пенсционерка» раньше всех розовеет от зари, а тёплыми летними вечерами, когда синие тени густеют на заводском дворе, на ней дольше всех алеет полоска заката». Читая повесть, мы ни разу не поймаем себя на том, что нам наскучили картины завода, его цехов и машин. Завод мы видим глазами Димки, а эти глаза, широко открытые и жадные, не могут оторваться от всего нового и чудесного, что открывается перед ним на заводе.

Шургину удалось в книге передать атмосферу работы большого заводского коллектива и при этом создать запоминающиеся образы Ольги Сергеевны, старого рабочего Кирилла Матвеевича, целой группы сверстников Димки. Но самая большая удача писателя — главный герой, удивительно симпатичный, несмотря на все проступки, которые совершает он в повести. Не скрывая от читателя всех ошибок героя, всех его неверных шагов, автор заставляет верить в то, что в конечном счёте Димка не опозорится. В дружной и строгой заводской семье ему не дадут сбиться с пути.

Изображению жизни рабочего класса посвящены также два романа — «Моя семья» азербайджанского писателя Ахмеда Рагимова и «Беспокойные сердца» сталинградской молодой писательницы Нины Карцин. Мы ставим их рядом, поскольку оба эти крупные по объёму произведения родственны не только по теме; их объединяют некоторые общие черты. Авторы ставят перед

собой одну и ту же идейную и творческую цель: показать жизнь, труд и быт людей, объединённых в коллектив единой трудовой государственной задачей. В достижении своей цели А. Рагимов и Н. Карцин добились неравных успехов, но про оба произведения можно сказать, что им в большей или меньшей степени присущи однородные характерные недостатки и несовершенства.

Азербайджанский писатель А. Рагимов рассказывает нам о том, как в годы послевоенной пятилетки коллектив мастерских Бакинского пароходства перестраивает своё производство и как при этом меняется характер людей, как в них проявляется новое отношение к труду.

В центре романа два противопоставленных друг другу образа: Мурада Мамед-заде и Садыка Абасова. Интересно показано первое же столкновение этих двух людей, перерастающее затем в глубокий внутренний конфликт. Оба они вызваны в райком: Мурад — как главный инженер пароходства, Садык — как его подчинённый. В райкоме Мураду предлагают во имя решения важной государственной задачи пойти на некоторое понижение в должности и возглавить работы по перестройке мастерских. Мурад охотно принимает это назначение, так как у него нет склонности к кабинетной работе. Садык с не меньшей охотой и даже с энтузиазмом принимает назначение на высокий пост главного инженера. Теперь всё переменялось: Садык стал начальством над Мурадом. Выйдя из райкома, Садык показывает на машину главного инженера и говорит: «Ну, теперь по положению я должен занять место рядом с шофёром».

Друзья постепенно перестают быть друзьями; между ними растёт пропасть. Прямой, нетерпимый ко лжи, Мурад разочаровывается в своём бывшем товарище Садыке — человеку тщеславном, не любящем беспокоиться и предпочитающем лёгкие пути в жизни.

Мураду приходится преодолевать большие трудности в выполнении задачи, поставленной перед коллективом. Он действует не в безвоздушном пространстве, ему помогают многие энтузиасты; среди них хорошо выписаны фигуры мастера котельного цеха — вспыльчивого, но добрейшего дядюшки Алигулы, парторга Гусейнова, молодых рабочих Джафара и Ивана Маслова.

В конфликте двух главных героев правда и победа на стороне Мурада. Тенденция автора здесь понятна и не вызывает сомнения. Беда в том, что на каком-то этапе

автор утрачивает способность показывать отношения между Мурадом и Садыком в нарастании и во всей их сложности.

Повествование, начатое самобытно и связанное интересно, строится затем по нарочитому сценарию, умозрительно; появляются прописные назидания, и когда в конце книги автор приводит Мурада к победе, а про поумневшего Садыка просто говорит: «и вообще он стал совсем другим»,— читателю узнавать об этом становится уже неинтересно.

Не знаем, отнести ли это за счёт автора, за счёт ли переводчицы М. Юфит или редактора В. Василевского (книга издана в Москве), но в романе есть вещи, которые напрасно остались в нём, вроде таких «язысканных» описаний: «Внезапно задорный молодой смех нарушил тишину, как будто стремительно взмывал в небо радужный фазан», или таких мнимых пейзажей: «Бакинский рейд с чёрными силуэтами судов казался какой-то иллюстрацией к фантастическому роману».

Роман «Беспокойные сердца», написанный инженером сталинградского металлургического завода «Красный Октябрь» Ниной Карцин, существует пока только в рукописи и поэтому ещё имеет возможность предстать перед читателями избавленным от многих недостатков, которые в нём легко обнаружить. Однако даже и в нынешнем своём, повидимому пока ещё черновом, варианте роман «Беспокойные сердца» показался участникам его обсуждения на соещании многообещающим.

Рассказывая о жизни и работе металлургов большого приволжского завода, Нина Карцин правильно понимает свою задачу именно как исследование характеров людей. Первые сто пятьдесят страниц романа читаются легко, один за другим входят в наше сознание люди, занятые конкретным и точно показанным делом, и постепенно складывается общее впечатление коллектива, в котором люди не растворяются, не пропадают, а живут и действуют,— каждый со своим лицом и линией поведения: порывистый и увлекающийся Виктор Крылов, кроткая, слишком покорная Люба Қалмыкова, её дядя — этакий новоявленный «кулак», умюющий выжать всё из своего положения знатного сталевара, Олесь Терновой, несущий в себе знакомые и вместе с тем какие-то новые, свои черты передового советского рабочего. Их много, героев этой книги, и нет нужды всех перечислять. Важ-

но то, что они запоминаются, и это происходит оттого, что почти каждому герою автором найдено точное место внутри общего дела, и оттого (а это ещё важнее), что автор обладает даром показывать людей живыми.

Нина Карцин продумала события, происходящие сейчас в промышленности, и в своём романе коснулась тех вопросов, которые поставлены перед металлургами всей нашей страны. Тут вопрос повышения уровня техники и новые методы технологии сталеварения, борьба с корифеями устаревшей технологии, не желающими сдавать свои когда-то завоеванные позиции, избыточность практики «средних» по цеху цифр и «тепличных» передовиков, ради которых делается всё, в ущерб остальным рабочим. Лучшие страницы и эпизоды книги дают картину напряжённой жизни советского предприятия, с борьбой людей за выполнение народного плана, с трудностями и успехами в этой борьбе. Видно, как человек делает дело, а дело делает человека.

Ещё пока расплывчаты некоторые образы, такие, как учёный Виноградов или «серийный», знакомый по многим книгам парт-орг завода Романов. Суховат пока деловой, недостаточно живописный стиль изложения; далеко не всегда раскрывается средствами художественного письма техника. Во всём этом сказывается непреодоленный натурализм — слишком многое вошло с натуры непропущенным через фильтр воображения. И это относится не только к «производственному» материалу, но и к бытовому — много лишнего, необязательного и здесь. Вызывают улыбку разговоры, где герои демонстрируют образованность автора, ни к селу ни к городу вспоминая Стасова или Данте. Порою повествование отяжеляется канцеляризмами, порою примитивны портретные характеристики и описания внутреннего состояния героев.

Автору придётся много подумать и над конструкцией романа — он ещё не вполне выстроен, плохо организован. Но необходимая большая работа над рукописью может оказаться очень плодотворной, ибо роман уже и сейчас представляется принципиально интересным; от критики он не проиграет, а только выиграет.

Произведения молодых писателей, рассмотренные на семинарах Всесоюзного совещания, были разнообразны по материалу, по характеру и масштабам поднятых проблем, по национальному колориту.

На проведённом в Эстонии республиканском конкурсе новеллистов 1954 года первой премией был отмечен большой рассказ Вяйно Илуса «Осенние дни». Думается, премия была присуждена по заслугам: рассказ интересный, умный и посвящён животрепещущим проблемам колхозной деревни. Начинается он с того момента, когда в один из самых отсталых колхозов — «Метса» — приезжает молодой агроном Леа Силланди, совсем молодая девушка, сирота. Росла она в деревне у тётки. Раннее сиротство сделало её сдержанной, тихой, покладистой. Сельское хозяйство она знает не понаслышке, но, получив специальность агронома, попала в райисполком и просидела там на канцелярской работе четыре года. В колхоз поехала без возражения, однако и без особого энтузиазма, скорее, пожалуй, с некоторым страхом.

Сразу же новый агроном сталкивается с безобразиями, которые покрывает равнодушный и недалёкий председатель колхоза Койдумаа — любитель бумажной стороны дела, сторонящийся беспокойств и волнений. То, как нерешительная Леа постепенно вытягивается в борьбу колхозников за правильное ведение хозяйства, за будущее, и составляет содержание произведения.

В. Илус умно и с художественной убедительностью показывает становление характера героини в зависимости от обстоятельств. И она и другие герои обрисованы выпукло, зримо. Этот страстный рассказ по хорошему злободневен и ни в какой мере не иллюстративен. В нём сомнительными кажутся лишь фигуры людей, столь глупо и упрямо наносящие вред колхозному делу. Не беря под сомнение самый факт существования таких людей, как грубиян Сакс — главный агроном МТС или упомянутый выше Койдумаа, мы хотим подчеркнуть, что поступки их после сентябрьского Пленума выглядят странновато. Вяйно Илусу, очевидно, надо было задуматься над более сложной мотивировкой их действий.

К числу молодых рассказчиков, впервые предстающих перед читателем, относится украинец Леонид Пасенюк. Он принадлежит к поколению, оторванному войной от школы и в юношеские годы вступившему в битву с фашизмом. Демобилизовавшись из армии в 1950 году, Л. Пасенюк работал на Сталинградском тракторном, пока дух бродяжничества не потянул его к морю. С тех пор он — матрос рыболовного судна.

В прошлом году Пасенюк издал первую

книгу рассказов — «В нашем море». Эти рассказы со сквозными героями — членами экипажа рыболовного сейнера «Устрица» — привлекают свежестью наблюдений, любовью к морю.

Правда, поначалу первый рассказ сборника настораживает: «Устрица» не производит впечатления советского судна; на грязном, запущенном сейнере творятся тёмные дела; капитан и бригадир воруют чужую рыбу, сбывают её «налево». Странное, на первый взгляд, впечатление производят «салаги» — новички, недавно набранные в команду. Но вот резкая перемена: один из новичков постигает проделки капитана и бригадира; в коллективе — тревога, словно подул сильным ветром; «салаги» разоблачают негодяев и уже со второго рассказа становятся хозяевами сейнера. Уверенно и спокойно рисуя налаживающуюся жизнь маленького коллектива, Пасенюк умело показывает нам своих героев в сложных отношениях, и мы узнаём в них черты, присущие советской молодёжи. Очень удался автору образ пятнадцатилетнего Володи Вернова, потомственного моряка, который уехал из Ростова, думая попасть в мореходную школу, но не выдержал экзамена по русскому языку. Однако с помощью Михаила Граева он попадает на «Устрицу» в качестве матроса-рыбака, и под влиянием коллектива в нём раскрывается столько сил, такая жажда труда и любовь к морю, что он становится настоящим моряком, способным и на будничную вахту и на подвиг.

Не менее интересен образ радистки Кафаровой; хорошо показано, с какой осторожностью встречают на сейнере единственную девушку и как она с полной непринуждённостью хозяйки начинает наводить порядок на корабле.

Есть у Л. Пасенюка излишнее щегольство морской технической терминологией, есть неточности и небрежности языка. Естественность повествования несколько нарушена искусственным нагнетанием подвига, совершаемых один за другим героями рассказов. В первом рассказе, думается, есть «перебор» в слишком уж мрачном описании сейнера: всё столь неприглядно, будто корабль и его команда существуют вне какого-либо контроля.

Но в целом книга Л. Пасенюка производит хорошее впечатление, и она особенно радует, когда думаешь о тернистой дороге, приведшей её автора в литературу, об упорстве, с каким преодолевал он трудно-

сти литературной учёбы, осложнённой тем, что в своё время молодому писателю удалось закончить лишь семилетку и пополнить недостатки образования в школе рабочей молодёжи. Зато школа трудовой жизни дала ему жизненный опыт, эмоциональную грамотность — в этом и заключён секрет творческого успеха его первой книги.

Трудовому подвигу советских людей посвящено большинство произведений молодой очерковой прозы. А. М. Горький, как известно, рассматривал очерк как наиболее оперативный жанр, позволяющий живо откликаться на важнейшие события нашей жизни. В очерке, как ни в одном жанре прозы, соединяются оперативность, проблемность, действительность вторжения в жизнь и та полновесная, полнокровная художественность, какую мы видим в произведениях В. Овечкина, В. Тендрякова, Б. Галина, А. Злобина и других очеркистов. Наиболее интересными очерковыми книгами, оказавшимися в поле зрения участников Всесоюзного совещания молодых писателей, нам кажутся книги Ильи Зверева и Григория Бакланова.

Илья Зверев с восемнадцати лет тесно связан с газетной работой; газета и привела его в литературу. Документальная повесть И. Зверева «Николай Недвига» была опубликована в альманахе «Год 35-й» в 1952 году. Для разбора на совещании И. Зверев представил в рукописи очерковую книгу «Младший в династии». Несомненно, это пока лучшая из вещей молодого очеркиста. В истории «младшего в династии» потомственного шахтёра Григория Нуждихина, окончившего институт и назначенного на одну из шахт Мосбасса, раскрывается постепенно перед читателями сложная и многогранная жизнь угольной шахты.

В очерке есть место, где с насмешкой говорится о «скульптурных фигурах» горняков, выставленных в парке. Герои И. Зверева вовсе не похожи на эти могучие изваяния. Они живые, им отнюдь не чужды радости жизни, они не лишены многих недостатков, свойственных людям.

Заканчивается книга хорошим эпизодом: три брата Нуждихины, три горных командира, приезжают на побывку к отцу-пенсионеру, главе их шахтёрской семьи. Они с естественной гордостью показывают отцу приказ министра о лучших шахтах страны; в этом списке среди других названы три шахты, после которых в скобках следует одна и та же фамилия: Нуждихин. «Уж

не опечатка ли?» — шутивно осведомляется отец, отлично зная, что опечатки тут нет: его сыновья с честью продолжают нести шахтёрское звание, как много лет до них нёс его он.

Несколько позже, чем Зверев, пришёл в газету и Григорий Бакланов. После окончания средней школы он ушёл добровольцем на фронт, провёл в армии всю войну; демобилизовавшись, поступил в Литературный институт и окончил его, а уже затем с увлечением отдался повседневной газетной работе. Именно труд журналиста и помог ему глубоко проникнуть в жизнь колхозной деревни, отражённую в его произведениях.

Недавно опубликованный в журнале «Партийная жизнь» очерк Г. Бакланова «Запутанное дело» вызвал активные отклики читателей. Этот маленький, в несколько страничек, боевой очерк с беспощадной силой изобличает клеветников.

Самое значительное среди написанного Г. Баклановым — его большой очерк «В Снегирях», произведение незаурядное, в котором всё дышит живой жизнью, а острые, важные вопросы возникают в раскрытии сложных и ярких характеров. Центральный образ очерка, председатель колхоза Денисов, уже становится нарицательным наряду с тендряковским Чупровым.

Очень интересен также Табаков — «председатель особый». Больше трёх, четырёх лет он на одном месте не сидит: поставил колхоз на ноги — сейчас же его перебрасывают в другое отстающее хозяйство. А на прежнем месте долго живёт добрая память о нём». Удача очерка — и образ секретаря райкома Ермакова, умного и пронизательного человека, твёрдой и властной рукой лишающего Денисова «kozyрей», так перестраивающего обстановку вокруг Денисова, что тот оказывается как бы в пустоте.

Первые успехи Г. Бакланова — растущего, серьёзного, многообещающего писателя — коренятся прежде всего в тесном соприкосновении с жизнью. Немаловажное значение имеет тут и плодотворная учёба у мастеров литературы — в первую очередь, как нам кажется, у А. Н. Толстого.



Изображая советских людей, очень многие молодые прозаики показывают их не в производственных, а в личных отношениях, вынося на первый план проблемы коммунистической морали, уделяя преимуще-

ственное место в борьбе с мещанством и обывательщиной, вопросам любви, семьи и быта.

В Чите недавно появился сборник рассказов «Ночные сторожа» молодого прозаика Ильи Лаврова. Эта книга говорит о рождении в нашей литературе писателя не только талантливого, но уже и в достаточной мере сформировавшегося, хотя И. Лавров впервые начал печататься всего лишь года три назад.

Лучшие его рассказы, производящие по настоящему сильное впечатление, это «Ночные сторожа», «Надины яблони», «Дом среди сосен», «Крылышко», «Гость на свадьбе», «Вдова».

Думается, невозможно забыть рассказ «Крылышко» — о семилетней девочке, у которой в семье происходит трагедия. Мать полюбила некоего «дядю Валеру». После раздоров с мужем она уходит к любимому человеку и уводит с собой дочь. Рассказ начинается с того, что девочка прсыпается среди ночи от крика и плача и видит, как в соседней комнате перед постелью стоит отец, а на постели в рыданиях бьётся её мать. Сцена ударяет по сердцу незабываемой деталью: на половину кровати падает свет, вторая погружена в полутьмноту. Женщина, мятущаяся в рыданиях, то возникает на свету, то погружается в полутьму, и маленькой девочке она кажется то чёрной и страшной, то белой, доброй и жалкой птицей.

Если не считать повести В. Пановой «Серёжа», мы, пожалуй, не сможем назвать в нашей литературе последних лет другой истории детских переживаний, рассказанной с такой силой.

Рассказ очень печален, от него веет безнадежностью. И, к сожалению, тут речь идёт уже не о таланте, а о его направлении — почти все рассказы И. Лаврова проникнуты грустью и безысходностью. Как бы с подчеркнутой последовательностью показывается в них обыденная жизнь рядовых людей — сторожей, продавцов, парикмахеров, железнодорожных проводников, мелких служащих. Но не это, разумеется, вызывает возражения; худо то, что герои И. Лаврова — люди маленькие в самом плохом смысле слова. Они неудачники с несложившейся жизнью, и почему-то они дороги автору именно жалкой своей судьбой и беспомощностью.

Можно проследить рассказ за рассказом, и мы увидим: на них лежит печать добро-

вольно избранной автором позиции утешителя «униженных и оскорблённых». Автор поэтизирует даже страдания своих героев. Эта его позиция даже выражается словами героини из рассказа «Вдова»: «даже страдая, эта Симочка счастливая».

А как же нам, читателям, отнестись к лавровским героям? Тоже поплакать над их судьбой? Больше ничего не остаётся. И поневоле вспоминается крылатая фраза о чувствительном писателе, который делил свою славу с луковицей, также обладающей талантом извлекать слезу!

Страдающим и симпатичным Лаврову людям противопоставлены Светозаровы, Звездоглядоды, Полюнины — люди жёсткие, чёрствые и равнодушные, умеющие жить в своё удовольствие. Но хотя автор будто бы и выносит им обвинительный приговор, именно они остаются в его рассказах победителями, ибо любимых своих героев Лавров никуда не зовёт, не поднимает их на борьбу, не показывает, способны ли они на свой жизненный подвиг. От рассказов веет усталостью и явным авторским ощущением, что от скверных и пошлых людей не избавиться, что они так и будут мешать жить хорошим и честным людям. В рассказе «Крылышко» герой размышляет: «Осенью горит в лесу костёр, подойдёт охотник, протянет руки и согреется. Каждый человек должен быть таким вот костром, чтобы грелись около него».

В том, чтобы «согреть», пожалеть и утешить человека, не нашедшего радости в жизни, Лавров словно бы и видит свою единственную задачу.

Очень не новая позиция, очень! Горький называл это «застарелой болезнью русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными».

С радостью и большим огорчением прочёл я опубликованные и неопубликованные рассказы И. Лаврова. С радостью — потому, что обнаружил проявление в нашей литературе нового крупного таланта; с большим огорчением — потому, что талант этот по своей направленности не боевой, а пассивный, не освещённый большой идеей. Не знаем, каким путём пойдёт дальше этот интересный писатель — путём ли объективистской констатации теневых сторон жизни или сумеет выйти на другой путь — главный и единственно верный путь нашей литературы, литературы боевого призыва,



оптимизма, воинствующей коммунистической идейности. Но бесспорно справедлив был прямой и резкий разговор о его творчестве на совещании — разговор, достойный таланта И. Лаврова и показывающий общую заинтересованность в его правильном развитии.

По принципу контраста хочется вспомнить книгу молодого челябинского прозаика Станислава Мелешина «Семья Тасмановых», сборник рассказов, рисующих людей с большими чистыми чувствами и светлым взглядом на жизнь. Автор рассказывает о жизни и быте народа манси. Пейзажи лесотундры, жизнь мансийского стойбища, характеристики героев привлекают читателя новизной и неповторимостью. Главная проблема рассказов Мелешина — это семья, взаимоотношения «отцов и детей». Автор страстно и настойчиво утверждает, что молодёжь, уходящая из отчего дома на жизненные просторы, не должна порывать связь с взрастившей её средой.

При всех своих неоспоримых достоинствах первая книга С. Мелешина настораживает некоторой своей идилличностью. Автор впадает в противоположную крайность по сравнению с И. Лавровым. Горькая подчас правда жизни в его рассказах смягчена. Если это сознательная творческая позиция, то она может быть чревата тяжёлыми последствиями: опасаясь активно вторгаться в жизнь, автор может малопомалу скатиться к украшательству и лакировке.

Иная сторона тех же вопросов советской морали и иной круг героев предстаёт перед нами в рассказах молодой узбекской писательницы Саиды Зуннуновой, появившихся на протяжении последних двух лет на страницах республиканской печати. Изображая жизнь узбекских женщин — студенток, домохозяек, работниц, С. Зуннунова ставит проблемы борьбы с пережитками прошлого, мешающими жить женщинам Востока.

Даже и по переводам видно, что Зуннунова пишет живо и непринуждённо. Вместе с тем замечается и другое: герой каждого рассказа обязательно перестраивается, и притом весьма легко и несложно. Образность повествования нередко подменяется сухой протокольной информацией. И, наконец, чем дальше, тем яснее начинает ощущаться, что С. Зуннуновой следует подумывать над расширением тематики и проблематики рассказов, ибо она начинает перепевать самоё себя; всё те же мужья, всё

те же свекрови начнут в конце концов отвращать жизнь не только её героиням, но и её читателям.

Так же, как Л. Обухова и С. Мелешин, владимирский писатель Сергей Никитин принадлежит к числу недавних выпускников Литературного института. Его рассказы печатались в «Огоньке», в сборнике, выпущенном «Молодой гвардией». Они нашли своего читателя, и этот читатель, несомненно, отметил безусловную талантливость молодого писателя, умеющего в маленьком рассказе нарисовать акварелью кусочек жизни и живые образы людей. Никитин любит своих героев — простых советских тружеников, — и эта любовь придаёт его рассказам эмоциональность, задушевность.

Всего лишь несколько страничек занимает один из лучших рассказов С. Никитина — «Даша». Мы знакомимся с героиней у перевоза, где скопилось много грузовиков и подвод, — сорвало паром и надо выжидать. В неторопливой и тихой беседе у костра мы узнаём историю русской женщины, потерявшей в войну мужа и понесшей на себе все тяготы большой семьи и тяжёлого труда в колхозе. Дашу рисует один эпизод: неподалёку колхозники копают картошку; осень, заморозки — картошка пропадёт. Поразмыслив, женщина решает пойти и помочь колхозникам: распахать клин на своей лошади. Ожидавший вместе с Дашей у перевоза дед возражает: «Какая нам надобность лошадей на чужом поле мучить?» Но Даша не слушает его и делает то, что кажется ей естественным её долгом. Автор, следуя за ней, делится с читателем своей мыслью: «Мне казалось, что я сам стал лучше и богаче оттого, что узнал эту женщину и сердцем ощутил то обилие любви к людям, которое живёт в ней».

Интересуют С. Никитина и люди иной породы, названные им в одном из рассказов «дряню человеческой». Изобличению такой дряни посвящены рассказы «Дальние родственники», «Пропать», «Семь слов». Подчас хочется видеть в этих рассказах больше активности и страстности осуждения.

Появление большого числа новых рассказчиков — факт весьма отрадный. Об этом убедительно говорит недавно выпущенная очередная книга альманаха «Молодой Ленинград», где опубликовано двадцать пять рассказов пятнадцати молодых ленинградских прозаиков. Только двое из них

успели выпустить свои первые книги, остальные выступают пока лишь в периодической печати.

Авторами рассказов являются люди самых разнообразных специальностей — инженер и учитель, студент и геолог, искусствовед и журналист, строитель и картограф и даже, кажется, футболист.

Разнообразен поэтому и материал рассказов, герои их показаны и в городских квартирах, и в колхозе, и на просторах Крайнего Севера.

Молодые прозаики пытаются поставить главным образом серьезные вопросы коммунистической морали. Н. Дементьев рассказывает историю зазнавшегося рабочего парня; В. Беляев разоблачает пошляка, скрывшегося под красивой и импозантной внешностью; О. Грудинин показывает, как мужает воля молодого солдата. Во всех случаях молодые авторы стараются изобразить жизнь, полную борьбы и сложности отношений.

А. Шейкин в лучшем из трёх своих рассказов — «Навстречу счастью» — переносит нас в обстановку полярной экспедиции. Этот рассказ, отмеченный лиричностью и наблюдательностью, а также подлинным знанием материала, был бы просто хорошим, если бы А. Шейкин не подпортил его под конец надуманной историей любви героя рассказа, Саши Сибирцева.

Один из самых цельных рассказов в альманахе — «Бабушка» А. Володина. Этот молодой прозаик выпустил первую книгу рассказов, отмеченную несомненной даровитостью автора. В альманахе он на трёх-четырёх страницах рассказал о восьмилетнем мальчике, который идёт с бабушкой в магазин — купить трусы и майку, дозарезу нужные ему для уроков физкультуры. Мать отказала ему в этом, и мальчишка полон благодарности к бабушке, которая, несмотря на болезнь, отправилась с ним в магазин... Когда они вернулись домой и старая бабушка пошла отдыхать, соседка по квартире объяснила мальчику, что его родная бабушка живёт в деревне, а эта «всем в коридоре такая бабушка, как тебе. Мы все её бабушкой зовём». Эта неожиданная правда так горька для мальчика, что он не хочет с ней согласиться и бурно протестует. В рассказе пленяет тонкость и душевность отношений, существующих между людьми в этой обычной ленинградской квартире...

Но есть среди рассказов альманаха «Молодой Ленинград» и такие, художественность которых разрушена иллюстративностью и примитивностью решений. Например, логическая заданность испортила рассказ Евгении Васютиной «День рождения», оказавшийся лишь иллюстрацией к мысли о необходимости по-серьёзному относиться к семье, к воспитанию детей.

Естественно, рассмотреть все рассказы и новеллы, опубликованные за последнее время молодыми писателями, — задача невыполнимая. В докладе на совещании нам пришлось ограничиться теми произведениями, которые при их самобытности и явном таланте авторов дают возможность сделать некоторые выводы.

Но, прежде чем перейти к этим общим выводам, хотелось бы привести ещё несколько примеров того, как решаются в произведениях молодых литераторов такие задачи, как изображение советского человека в специфической обстановке армии — в дни войны и в дни мира; как ставятся важные вопросы международной солидарности трудящихся; каково качество «молодой прозы», адресованной нашим юным читателям.

Из ста тридцати прозаиков — участников Третьего Всесоюзного совещания молодых писателей — двадцать носили армейскую и флотскую военную форму. Закономерно, что их произведения посвящены жизни Советской Армии в дни мира и подвигу советских людей во время войны. Из числа остальных, так сказать, «гражданских» участников совещания лишь некоторые бывшие фронтовики обращались к военной теме. К ним принадлежит и куйбышевский писатель Иван Арсентьев. Он всю войну прослужил в армии лётчиком-штурмовиком, дважды был ранен, горел в самолёте. Вернувшись к мирной жизни, стал работать в Куйбышеве — мастером одного из цехов Куйбышевского подшипникового завода. Для него военная тема — дань сокровенным и дорогим воспоминаниям. Потому и первую повесть свою — «Суровый воздух» — И. Арсентьев посвятил боевым товарищам лётчикам, прошедшим многотрудный путь от предгорий Кавказа до Берлина. Способности И. Арсентьева более всего проявились в хорошо (а подчас и превосходно) написанных эпизодах воздушных боёв. Знание войны помогает автору правдиво показать сложную и вместе с тем естественную картину фронтового труда. По выразительно-

сти батальных сцен повесть «Суровый воздух» можно, пожалуй, поставить рядом с романом Н. Чуковского «Балтийское небо».

К сожалению, литературная неподготовленность начинающего прозаика, явственно сказавшаяся на его романе, не даёт возможности и дальше продолжать эту аналогию. Роману не хватает чёткой органической композиции; сюжет в нём строится хроникально; он не является основой движения и развития характеров. Это, кстати сказать, вообще один из самых распространённых недостатков произведений о войне.

Рисуя людей, И. Арсентьев как бы «вскрывает первый слой» — знакомиться с его героями интересно, но полного раскрытия образа затем не происходит, даже и тогда, когда автор пытается это сделать. Так вышло с образом Черенкова, начиная со сцены его ранения. Очень общо и потому неинтересно пишет И. Арсентьев обо всём, что должно характеризовать внутренний мир людей. О любви он пишет в таком духе: «Незнакомое, никогда не изведанное раньше чувство тянуло её...», «Сердце её гулко и быстро забилося, дыхание перехватило» и т. д.

Очевидно, И. Арсентьеву пока ещё не по силам жанр романа. Не лишне повторить в его адрес совет А. М. Горького, высказанный более тридцати лет назад одному из его учеников — ныне видному писателю: «Не пишите года два-три больших вещей, вышкольте себя на маленьких рассказах, влагая в них сложные и крупные вещи... Вам надо себя сжать, укротить словоточивость».

Повесть выпускника Литературного института — в прошлом офицера-артиллериста — Владимира Комиссарова «Гвардии лейтенант» уже получила весьма развёрнутую оценку в печати.

Не знаем, отмечалось ли в критике, что по тематике, да и по манере письма в этой вещи чувствуется полемическая переключка с «Поединком» Куприна. Если у Куприна его Ромашов бьётся в кругу чуждых ему людей, то у Комиссарова одинок пошляк и потребитель жизни Поплавский, а передовые советские люди составляют дружный и сильный коллектив. Одарённость автора, его сильная сторона проявляются в умении использовать детали, заставить каждый штрих работать на образ. Проходная реплика, походя заданный вопрос, «взмах беспокойных перчаток», странное измене-

ние голоса героя — всё это потом окажется неслучайным для внимательного читателя. Сила повести не только в изобличении отрицательных персонажей. Советская Армия — школа воспитания, и это Комиссаров сумел убедительно показать.

Его книга талантливее и интереснее многих других книг, написанных в последние годы о солдатах и офицерах в дни мира. Эти важные в воспитательном смысле произведения, к сожалению, чаще всего слишком иллюстративны.

Печать иллюстративности лежит и на повести «Курсанты» Юрия Пронякина. Мы не хотим сказать, что это произведение лишено достоинств. Нельзя не оценить хорошего знания обстоятельств жизни и учёбы курсантов пехотного училища. Да и симпатичные, жизненно верные черты образа главного героя, Владимира Хабарова, пожалуй, запомнятся читателю. Но в повести мало внутреннего эмоционального чувства — той силы, которая идёт от таланта и взволнованного ощущения жизни; автор не столько исследует характеры в их взаимосвязи, сколько занимается беллетризацией соответствующих параграфов наставлений и инструкций.

Повесть армейского писателя-дальневосточника И. Миксона «Офицеры» нам довелось прочесть сразу после повести В. Комиссарова. И невозможно было отделаться от ощущения, что попался вариант той же комиссаровской повести, к тому же более бледный вариант, во многом лишённый своеобразия первой вещи. Тот же по существу сюжет, те же ситуации, те же конфликты. У нас нет и мысли обвинить кого-то из авторов в заимствовании — они и работали-то одновременно; однако сходство — и поразительное — несомненно.

В чём тут дело? Думается, в чисто рациональном решении одной и той же задачи. Когда автор берётся за такое произведение, ему необходимо отрешиться от ложного представления, что книга о Советской Армии должна как бы художественно расшифровывать Устав Советской Армии. Строевая подготовка? Пожалуйста. Стрельбы? Пожалуйста. Эпизоды со стрельбами есть почти в любой повести. Рассуждения здесь безапелляционные, и они приводят к схеме: нерадивый солдат — он и стреляет мимо; если солдат старается — он и на стрельбище попадает прямо в яблоčko. И оттого, что в представлении авторов жизнь в армейском подразделении течёт

однообразно, по уставу, получается, что однообразно течёт она и в повестях, и оттого одна повесть похожа на другую и на третью, а все они вместе всё же не похожи на подлинную жизнь армии.

Только В. Комиссарову талант и умение помогли преодолеть эти обеднённые представления и создать хорошее произведение, способное вызвать у молодых читателей уважение и любовь к нашей армии.

Весьма важным вопросом международной солидарности и изображению жизни трудящихся в капиталистических странах посвящены очень немногие повести и рассказы молодых писателей. Из числа этих книг прежде всего обращает на себя внимание интересная, сильно написанная повесть Юрия Пиляра «Всё это было». Это гневный и взволнованный рассказ о гитлеровском лагере смерти, где автору пришлось побывать во время войны. У нас опубликовано мало произведений такого рода — и напрасно. Нужно, чтобы люди никогда не забывали жестокой правды войны. Талантливая повесть Ю. Пиляра излучает свет интернационализма, показанного очень естественно и в ярких образах. Мы видим мужественную сплочённость людей самых разнообразных национальностей — русских, французов, чехов. Сила духа, почерпнутая ими в единении и верности прогрессивным идеям, так велика, что они, безоружные и, казалось бы, беспомощные в руках вооружённых злодеев, оказываются победителями. Читая повесть Ю. Пиляра, ощущаешь гордость за таких советских людей, как Покатилов, Иван Михайлович, Сахнов, Виктор, Олег, Шурка. Эти непокорённые советские патриоты предстают живыми и неповторимыми в яркой индивидуальности их характеров.

Рассказы о зарубежной жизни молодого армянского прозаика Гайка Вартаняна также связаны с особенностями его биографии. Вартанян — репатриант\* из Ирана; отсюда — жизненный материал, послуживший ему основой для талантливых и печальных рассказов о жизни трудящихся в Иране. Особенно интересны и особенно печальны рассказы Г. Вартаняна из цикла «Дети».

Первый сборник рассказов Г. Вартаняна вышел совсем недавно. Пишет он всего четыре или пять лет. Думается, первоначальное литературное обучение уже пройдено Г. Вартаняном — об этом говорят его рассказы. Теперь молодому писателю, видимо, пора поставить перед собой более ши-

рокие задачи, и эти задачи должны опираться на жизненный материал двух взаимно обогащающих направлений: на наблюдения, почерпнутые в Иране, и на те жизненные впечатления, какие получил Г. Вартанян за девять лет жизни в Советской Армении.

Ленинградский прозаик С. Гансовский опубликовал в прошлом году повесть «Чтобы выжить», большой рассказ «Надежда» и ряд других рассказов. Все они посвящены изображению жизни американских портовых рабочих, матросов, американской интеллигенции. Произведения Гансовского хорошо читаются и запоминаются. Они увлекательно написаны, их достоинство — в острой сюжетности и композиционной слаженности. Автора можно упрекнуть за то, что он пишет о жизни, которую не видел собственными глазами, — местами даёт о себе знать некоторая умозрительность представлений. Однако упрека делать не хочется, так как заслуживает уважения и поддержки его обдуманная приверженность к избранной теме.

Нельзя не видеть, что наша писательская молодёжь обращается к проблемам международной солидарности пока лишь случайно, в силу особенностей своей биографии. Если мы хотим, чтобы эта тематика в будущем заняла подобающее ей место, мы должны подумать о возможностях более или менее обстоятельного знакомства с зарубежными странами талантливых молодых писателей, проявляющих интерес к этой тематике. Стоило бы, вероятно, подумать о посылке на своеобразную «практику» в страны народной демократии Запада и Востока лучших студентов Литературного института.

В заключение этого обзора остановимся на нескольких произведениях, адресованных юношеству. Воспитательное значение научно-фантастического и приключенческого жанра общеизвестно, спорить тут не приходится. Говорить следует о том, что в нашей «большой» литературе этот жанр не занимает ещё своего места и во многом отдален от откуп литературным поделщикам и ремесленникам. В связи с этим возрастает серьёзность идейно-творческих задач, стоящих перед талантливыми молодыми писателями, проявляющими интерес к литературе этого рода.

Немало таких произведений издано в сериях, выпускаемых Военным издательством. Большинство из них рассказывает о по-

двигах наших разведчиков в тылу врага. К сожалению, чаще всего этим книгам свойствен облегчённый показ трудностей военного времени как на фронте, так и в тылу, редкостное оглупление врага, какое-то бесшабашное шапкозакидательство в сочетании с литературным штампом.

Нередко можно услышать, как у нас, оправдывая литературные слабости приключенческих книг, ссылаются на так называемую «специфику жанра». Разумеется, приключенческой прозе присуще жанровое своеобразие: острота сюжета и интриги, динамика повествования. Но если при этом авторы отказываются от создания жизненно достоверных характеров, от изображения типических черт тех советских людей, которых они избирают себе в герои, — будь то изобретатели, учёные, работники милиции или пограничники, — цель создания полноценного произведения не может быть достигнута.

На одном из семинаров Всесоюзного совещания обсуждался научно-фантастический рассказ «Препарат «Б-308», написанный Иваном Оглы и Львом Луцким. В этом содружестве авторы — офицеры из Кронштадта — написали и напечатали уже несколько рассказов. Упомянутый рассказ стоит на среднем уровне вещей такого рода, публикуемых в печати, — он не хуже и не лучше. Следить за фабулой его довольно интересно, но выводы о литературных способностях и возможностях авторов делать трудновато. Беда в том, что и этот рассказ — сооружение, построенное из литературных «готовых блоков».

Противоположной оценки заслуживает повесть москвича Аркадия Адамова «Дело «пёстрых», печатающаяся в журнале «Юность» с № 1 за 1956 год. В этом произведении автор пытается преодолеть выдаваемые за непременную «специфику» штампы и во многом достигает успеха.

В отличие от многих других приключенческих книг, повесть А. Адамова написана не для развлечения; это серьёзная и честная попытка нарисовать некоторые стороны жизни, те её «задворки», где работники милиции ведут решительную борьбу с тёмным и мрачным преступным миром, попытка дать полнокровные характеры советских людей, проявляющиеся в этой острой и нелёгкой борьбе. Умело сделанный острый сюжет, яркие характеристики, исследование корней преступности — всё это заставляет читать книгу, не отрываясь.

Наряду с повестью А. Адамова заслуживает внимания ещё одно произведение этого жанра: повесть донбасского писателя Григория Володина «На взморье». Украинские читатели уже запомнили «Рассказы охотника», опубликованные Г. Володиным, — рассказы серьёзные, умные, в которых знание мира животных сочетается с наблюдательностью и поэтичностью. Сочно и талантливо описанные в рассказах астраханские и кизлярские камыши, заповедники, рыбацкие сёла на побережье Каспия стали фоном и для новой повести Г. Володина, где к достоинствам, проявленным прежде, прибавилось ещё и умение построить сюжет, показать разные стороны сложного человеческого характера. Нам кажется, что разбор повестей А. Адамова и Г. Володина, начатый на совещании, надо бы продолжить нашей критикой, — это может принести пользу приключенческому жанру в целом.

Считая, что прозу для юношества не следует отделять от всей нашей прозы, мы хотели бы коснуться также и двух «школьных» повестей, написанных молодыми писателями. Среди прозаических произведений участников совещания обратила на себя внимание рукопись красноярского прозаика Павла Мостовского «Книга Сашки Мостикова».

Мостовский по профессии учитель. Год назад там же, в Красноярске, у него вышла книжечка детских рассказов. «Книга Сашки Мостикова» написана в форме дневника тринадцатилетнего мальчика. Юмор, умение автора проникать в психологию подростков являются порукой тому, что книга эта может быть хорошо принята юными читателями. Так как рукопись эта пока ещё не издана, не лишне отметить такой её устранимый недостаток, как длинноты, которые в жанре дневника становятся местами нетерпимыми. Есть неправдоподобие в том, что такую огромную книгу написал не просто мальчик, а ещё и ленивый, как характеризуют его все обстоятельства. Иные размышления Сашки Мостикова заставляют усомниться: а не забыл ли Саша, что он тринадцатилетний мальчик, а не тридцатисемилетний педагог?..

В такого рода книгах юмор является непременной особенностью. И хорошо, что у Мостовского он есть. Но нельзя не вспомнить и того, что слишком уж много появилось у нас за последнее время детских книг, где героями выступают остроумные и забавные, милые, плохо причёсанные

мальчишки от восьми до тринадцати лет, такие все друг на друга похожие, что, кажется, ещё две, три, четыре такие книги — и герои, сделавшись штампом, перестанут уже вызывать улыбку...

Недавно С. Михалков выступил в «Литературной газете» со статьёй «Детям — весёлые книги». Статья эта не вызывает сомнений — конечно, детям нужны весёлые, а не скучно-дидактические книги, которые никто, кроме самодовольного автора, читать не будет! Но надо задуматься и над тем, чтобы мальчики и подростки в этих весёлых повестях и рассказах не были похожи друг на друга, как новенькие медные пятаки. В призыве к весёлости во что бы то ни стало есть своя опасность ограничения. Нам не менее нужны повести серьёзные, по-настоящему готовящие подростка к реальной жизни, со всеми её сложностями и трудностями.

Может быть, одной из таких книг могла бы стать повесть молодой дальневосточной писательницы Майи Черкашиной «Кто в дружбу верит горячо», если бы не оказали этой книге медвежьёго услугу редакторы журнала «Дальний Восток», опубликовав её на страницах журнала в явно недоделанном виде. Сейчас повесть М. Черкашиной оставляет двойственное впечатление. Есть в ней живые характеры и картины жизни камчатской школы, но всё живое едва пробивается сквозь туман плохого, неорганизованного языка. Повесть находится в таком хаотическом состоянии, какое позволительно лишь для черновика. Странно, что в редакции серьёзного журнала не нашлось редактора, который отнёсся бы к молодой писательнице требовательно, как друг.

Факт появления повести способного начинающего писателя в таком сыром и неприбранном виде говорит о довольно распроstrанённом неправильном отношении наших редакций и старших писателей к творчеству молодых. Подобную же обидную снисходительность, за которой, возможно, кроется равнодушие, проявила и местная печать, оценившая повесть Черкашиной не по заслугам высоко, без анализа и указаний на многочисленные недостатки произведения.

Таковы неравноценные, но в целом весьма обнадеживающие и радующие детали той пёстрой, разнообразной, хотя в этом кратком обзоре далеко и не полной карти-

ны, которую являет нам творчество молодых прозаиков самого последнего времени. Эта картина даёт основания сделать некоторые общие выводы из прочитанного и поделиться размышлениями о тенденциях, которые, как нам думается, наметились в нашей молодой прозе.

## 4

Требовательно приглядываясь к литературной молодёжи, иные товарищи задают вопрос: «А где же новый «Тихий Дон» или новая «Молодая гвардия?»»

Надо согласиться, такие произведения не встретились среди первых книг, с которыми приходили молодые литераторы на каждое из трёх всесоюзных совещаний. Но, скажем, год-два спустя после первого из этих совещаний появились трилогия О. Гончара, рассказы С. Антонова, стихи Р. Гамзатова. А года через три после Второго совещания мы прочитали повести В. Тендрякова и роман Д. Гранина.

Стоит напомнить также и о том, что «Тихому Дону» предшествовали рассказы М. Шолохова, собранные в книге «Лазоревая степь», а перед «Молодой гвардией» были написаны не только «Последний из удэге» и «Разгром», но — ещё раньше — и повесть «Разлив»...

Дебюты многих новых писателей были не только обнадеживающими; они порадовали читателя хорошими, полноценными произведениями. Мы без колебания поставили бы талантливую повесть Л. Обуховой в один ряд с произведениями В. Тендрякова, а книгу Г. Бакланова «В Снегирах» оценили бы, во всяком случае, не ниже последней повести Г. Николаевой. Думается, и появление рассказов И. Лаврова и С. Никитина — не менее значительный факт в нашей литературной жизни, чем в своё время рассказы С. Антонова и Б. Бедного. Примеры такого рода можно расширить и в прозе и в поэзии.

Молодым писателям принадлежат интересные и важные романы, повести, очерковые книги и рассказы на тему труда, о героях нашего времени — рабочем, колхознике.

Очень важно для всех нас попытаться обобщить опыт создания книг о людях труда, принадлежащих перу молодых и не молодых писателей. Мы убеждены, что произведения этого рода заслуживают особого внимания. Неоспоримо, что, когда писатель

берётся за создание таких книг, он не только принимается за важнейшее дело, но от-важивается на решение едва ли не самых трудных творческих задач. Будь то роман, или большая повесть, или очерковая книга — это почти всегда попытка эпического размаха. Писатель пытается в облике сложного заводского или колхозного коллектива передать черты и особенности современного общества, мысли и чаяния народа, самые насущные проблемы и вопросы, которые решает всё наше общество под руководством партии.

Вспомним «Журбиных», «Искателей» или «Глубынь-Городок» — в них, как в каплях воды, отражён свет нашей сегодняшней жизни.

Изображение людей в труде, в отношении к делу (а через это и в отношении к Родине, к строительству коммунизма) является не только целью и задачей (поскольку труд — главное в жизни советского человека), но и художественным творческим приёмом проникновения во внутренний мир людей, приёмом и способом, предоставляющим писателю новую и удивительно плодотворную возможность раскрыть духовные качества советского человека.

Советских людей объединяет в коллективе единая, поставленная народом, государством трудовая задача. И в книгах о труде сюжетом, пружиной, двигающей повествование и позволяющей показать героев в развитии, в преодолении трудностей, всё органичнее становится самое дело, будь то проектирование важного электротехнического прибора в «Искателях» Д. Гранина, или новые методы сталеварения в «Беспокойных сердцах» Н. Карцин, или осушка болот в «Родной стороне» В. Земляка. Любое важное дело, вокруг которого сосредоточиваются усилия коллектива, настолько сложно, до такой степени преисполнено трудностей, что писатель, если только он не упрощает жизни и не боится показывать противоречия действительности, приобретает бесконечные возможности изображения человека во всём богатстве духа, во всех проявлениях его характера, ума и сердца — и в неудачах, и в муках творчества, и в ожесточённой борьбе с косностью, и в полноте счастья справедливой победы.

Именно для произведений о людях труда характерна обязательная попытка создать образы положительных героев с типическими чертами наших современников. В л у ч

ших повестях и романах молодых писателей показана целая галерея людей душевно ясных и вместе с тем отнюдь не примитивных. Их духовное превосходство над противниками несомненно, и оно доказано неотразимым обаянием и подлинной духовной силой образов, а не прямым авторским утверждением. Такие образы помогают осознать всю несостоятельность формулы: «человек сложнее, чем плохой или хороший», — формулы, принятой на вооружение сторонниками объективистского изображения героя. Сия пресловутая формула отрицает по существу активную воспитательную функцию нашей литературы, ставит под сомнение закономерную читательскую заинтересованность в целеустремлённых и ясных по характеру, душевно сильных героях, могущих стать примерами для подражания.

Как бы ни был сложен человек, есть признаки, по которым мы можем и должны отличать, плохой перед нами человек или хороший. Эти признаки — в отношении человека к его труду, к общему делу, а через это — в его отношении к Родине, коммунизму, к коллективу, к законам и нормам социалистического общежития, к товарищам и близким, с которыми он связан всеми обстоятельствами жизни. Всё остальное на поверку оборачивается мнимой сложностью, как это приходилось видеть на примерах «сложных» (ни хороших, ни плохих) героев произведений, отмеченных печатью объективизма.

На прошлогоднем украинском совещании молодых писателей докладчик Л. Новиченко резко критиковал книгу своего молодого земляка В. Киселёва «Большие заботы». Мы вспомнили об этом не потому, что коренным образом расходимся с Л. Новиченко в оценке этого произведения. В общем мы его критику разделяем, хотя думается, что можно было бы бережнее оценить достоинства романа, в котором автору удалось передать атмосферу большой стройки.

Но в связи с книгой В. Киселёва Л. Новиченко сделал следующее заявление: недостатки повести гнездятся-де «в наивной эстетике упрощенческого производственного романа» и подобные книги возникают, мол, «в результате вульгаризаторского понимания литературы». Вот здесь необходимо возразить Л. Новиченко.

Думается, причины неполной удачи автора «Больших забот», да и многих других более опытных авторов книг о жизни рабо-

чего класса или колхозного крестьянства таятся в другом — в огромнейшем сопротивлении непрерывно изменяющегося сложнейшего материала жизни. Неимоверно трудна задача показать духовную жизнь коллектива, множество ежедневно и ежечасно возникающих в его жизни проблем и вопросов — и при этом изобразить каждого члена коллектива живым человеком со всеми ему присущими, индивидуальными особенностями характера. Честные писатели бьются над решением таких задач с полной мерой требовательности к себе.

Почитаешь иных критиков, и создаётся впечатление, что автор романа или повести о людях труда — этот наивный вульгаризатор и упрощенец — чуть ли не нарочито обедняет своих героев. Конечно же, прав Л. Новиченко и другие уважаемые критики: роман о социалистическом труде, равно как и произведение на любую другую тему, должен быть исследованием характеров. Мы убеждены, что именно так и понимают свою задачу и Д. Гранин, и А. Рыбаков, и В. Киселёв, и Н. Карцин. И как было бы важно и нужно, чтобы критика наша вместо дискредитации романа о людях труда путём приклеивания к нему таких этикеток, как «наивность» и «упрощенчество», попыталась бы всерьёз исследовать его эстетику, поглубже разобралась бы в немалом опыте, накопленном советской литературой, пришла бы на помощь молодым — и не только молодым — писателям в их трудных поисках путей к воплощению главной нашей темы, к эпическому изображению советского человека, советского народа в его созидательном труде.

Мы все на словах признаём, что такие книги чуть ли не самое главное в нашей литературе, и всё ещё недооцениваем то положение, что опыт создания этих книг только складывается и что после М. Шолохова, Ф. Гладкова, А. Малышкина, Ю. Крымова, В. Кочетова, Г. Николаевой, В. Кетлинской, М. Гусейна молодым литераторам — Д. Гранину, Л. Обуховой, А. Рагинову, М. Шургину — неизбежно приходится искать новые, непроторённые пути.

Что греха таить — и хорошие книги о людях труда не вполне нас удовлетворяют. Разве не справедливы упреки читателей в недостаточной стройности композиции наших романов и повестей, в хроникальности повествования, в непластичности и недоработанности образов, исчисляющихся подчас десятками в одной книге? Это в от-

носительно удачных книгах. А сколько полных неудач можно отыскать в нашей литературной практике. Мы считаем: даже и неудачи — неизбежные издержки и протори в тяжёлых, иногда мучительных творческих поисках — надо бы изучать с вниманием и заинтересованностью, памятуя, что любой писатель, решающий такие задачи, — искатель, вышедший на новые пути, и поэтому всё, что способно вооружить его в творческом поиске, должно быть бережно учтено.

Цены не было бы серьёзному исследованию, в котором ставилась бы задача показать и доказать безграничную плодотворность принципа изображения героев в труде, позволяющего с необыкновенной глубиной заглянуть в душу советского человека. И как важно было бы на примерах не вполне удачных и просто неудавшихся книг показать и то, что когда писатель не вооружён этим принципом, когда он не вполне поверил в то, что человеческий труд является благороднейшим и полноценным материалом для художника, — вот тут-то и появляются действительно упрощённые, а то и антихудожественные «производственные» романы, где всё заглушают и затемняют самодовлеющие описания трудовых процессов, и автор тщетно силится оживить бледные схемы героев всевозможными побочными бытовыми или авантюристическими линиями.

Нельзя не заметить, что произведений, посвящённых темам труда, особенно людям нашего рабочего класса и промышленного производства, мало среди всей массы романов, повестей, сборников рассказов и очерковой прозы. Больше того, нельзя не видеть, как за последние годы эта тематика и проблематика отступила если не на третье, то на второе место, уступив первое проблематике быта и домашней жизни наших людей.

В чём причины этого явления?

Во-первых, как мы уже говорили, кое-кого несомненно смущают огромные творческие трудности преодоления материала.

Во-вторых, эстетствующая критика и наши путаные литературные дискуссии создали у некоторых литераторов представление, что попытки решить эти задачи вообще мало плодотворны, что они, так сказать, относятся к литературе «не первого сорта». Наитягчайшим «массированным» критическим ударам за последние год-два под-



верглись именно произведения, написанные о жизни рабочего класса. Вспомним хотя бы статьи о последних романах В. Кочетова и А. Рыбакова, заслуживавших куда более хозяйски-бережного к себе отношения.

Нельзя пройти мимо некоторых важных подробностей съездовской и особенно после-съездовской дискуссий о новых произведениях прозы, так как в них кроется многое, объясняющее процессы, происходящие ныне и в молодой литературе. Разве сейчас не видно, как неверен был — хотя и не случаен — крен у адептов бытовизма, когда они запросто объявляли нехудожественными произведения, унижительно на сей случай называвшиеся «производственными»? Конечно, в нашей литературе есть и «производственные» книги, где техника в самом деле заслоняет людей, то есть неудачные, плохие книги. Но ведь неудачные книги не могут дискредитировать хорошие, удачные; и вряд ли именно неудачные книги (независимо от того, какой проблематике они посвящены: показу ли общественной жизни советских тружеников или изображению их личной жизни) следует использовать в качестве материала для обобщений.

Положения о трёхмерности в изображении героя, прозвучавшие в докладах на съезде, были подхвачены и истолкованы в ходе последующих дискуссий преимущественно в пользу того измерения, которое показывало человека в личных, бытовых отношениях, и, во всяком случае, это измерение предписывалось как обязательное, хотя бы изображение быта героев и не входило в творческую задачу автора. Начиная с доклада К. Симонова на съезде, проблема личной жизни и проблема общественного труда оказались вольно или невольно противопоставленными, причём опять-таки с полемическим заострением против преобладания общественного. Я уверен — о личном и общественном нельзя говорить в противопоставлении, иначе всё-таки получается, будто бы есть тонкая и сложная область интимных переживаний, когда писатель касается быта, и нет этой тонкости и сложности, когда он пишет о творческом труде, ставшем в действительности самой личной, самой интимной, тонкой и сложной областью жизни нашего человека.

В этих путаных дискуссиях спорившие стороны исходили из заранее разработанных для себя схем и установок и мало опирались на художественную практику.

А ведь писатель порою создаёт полнокровный «трёхмерный» образ, отнюдь не изображая своего героя влюблённым. У В. Овечкина его Мартынов показан преимущественно в сфере общественной деятельности. Ставший нарицательным герой гранинских «Искателей» Андрей Лобанов «трёхмерно» вырастает перед читателями именно как деятель, как работник, а не как любовник или семьянин; Лобанов как раз наименее интересно показан в своих личных отношениях... Главная ценность успеха Д. Гранина, по нашему мнению, состоит в том, что он сумел понять и показать общественный смысл жизни советского человека как органическую часть его личной жизни.

Г. Бакланову в очерке «В Снегирях» понадобилось показать своего Денисова и в личной жизни — и, надо думать, не из боязни, что критики заговорят о плоскости и обеднённости образа, а потому, что как художник он понимал: без этого он не выполнит задачи изблечения в Денисове черт перерождения под влиянием успеха и славы.

Критик З. Кедрин в прошлогодней статье «Литература вторгается в жизнь» впадала, как нам кажется, в противоположную крайность, утверждая принцип изображения героя в обстановке «конкретной производственной деятельности» как единственный и обязательный, без чего вообще, мол, не может быть достигнута художественная полноценность. Однако, повторяем, писатель может ставить перед собой самые различные задачи. Если он, предположим, захочет в повести воспеть счастливую любовь двух хороших людей, то ему для этого и не понадобится изображать «конкретную производственную деятельность» героев.

Можно привести немало примеров того, как художественная практика вступает в противоречие с искусственными тезисами и установками о ложно понятой трёхмерности. Рецепты и вульгаризаторство в литературе недопустимы. Всё зависит от задачи, которую ставит себе автор, а затем от таланта, его особенностей, его зрелости и от глубины познания жизни.

Признавая необходимость и важность многих затрагиваемых молодыми писателями проблем морали, нельзя не отметить, однако, как тенденцию, как реально возникшую опасность, всё большее преобладание в прозе, особенно новеллистической, слишком личных, «квартирных» тем

в ущерб темам более широкого общественного звучания.

Пристрастие к подробностям быта, приземлённость в показе человеческих чувств, пассивное натуралистическое изображение обывательщины — все эти тенденции нашли отражение в творчестве многих молодых прозаиков. Вместо борьбы с вредными явлениями они часто натуралистически воспроизводят картины хулиганства, иждивенчества, стилижничества. Эти темы, к сожалению, часто избираются только ради их остроты и злободневности, но реализуются авторами с непростительной лёгкостью. Многие произведения, посвящённые личным темам, не приобретают социального пафоса, общенародного звучания. В этом их главная беда и ущербность.

Несомненно положительной тенденцией молодой прозы является активное отрицание лакировочного и упрощённого изображения жизни, стремление к правдивому показу явлений действительности во всей их сложности и противоречивости. Можно подряд перечитать десятки рассказов, и, как правило, мы познакомимся не с «идеальными» героями, существующими во взвешенном состоянии, вне гроз, бурь и неприятностей окружающего мира, а с людьми реальными, живыми, чья жизнь полна не только радостей, но и неприятностей, переживаний, ошибок и поражений.

Но это прогрессивное явление порой приводит к тому, что при негативной критической направленности произведений изобличение, показ отрицательного начинает брать верх над изображением и поэтизацией нового. В книгах ныне куда больше гуляет индивидуалистов, пошляков, всякого рода фальшивых персонажей, чем нормальных, морально здоровых советских людей, которых мы все привыкли называть положительными героями.

Мы знаем, утверждать можно двумя способами: активным и гневным изобличением всего старого, отсталого и враждебного и непосредственным утверждением нового путём увлекательного, поэтического его показа. Оба способа могут выступать и в единстве. Но не может не огорчать то, что молодые писатели заметно меньше работают над разрешением творческой задачи непосредственного утверждения нашей жизни.

Напомним для примера о первой книге рассказов молодого ленинградца А. Воло-

дина, привлекая к себе внимание читателей и старших товарищей по перу. Автор этой книги талантлив; он серьёзно и упорно работает. Для него характерны пристальный взгляд на жизненные явления и попытка понять и раскрыть противоречия внутреннего мира людей, отмеченных влиянием пережитков прошлого.

В каждом почти своём рассказе А. Володин предстаёт перед нами как воинствующий противник приукрашенного представления о жизни — и это хорошая черта, дающая силу и глубину его творчеству. Однако проявляемый им преимущественный интерес к теневым сторонам действительности не может не настораживать. Крупные события жизни, большие и могучие характеры как бы далеки ему. Всё внимание и весь талант он стремится отдать обыденному, маленькому, неприметному и незначительному, будничной учрежденческой и квартирной сутолоке повседневности. Такая авторская позиция чревата опасностью; она может привести к такому моменту, когда в отборе явлений и фактов, в расстановке сил, в оценке характеров писатель утратит необходимую меру объективности и правда жизни в его произведении предстанет искажённой. В разговоре о А. Володине не следует обходить острые углы — его дарование заслуживает прямоты и резкости. В Ленинграде вокруг творчества молодого прозаика идут ожесточённые споры, и сам он, к сожалению, склонен как будто внимательнее прислушиваться к тем литераторам, которые безоговорочно его одобряют, нежели к тем, которые стараются помочь ему добрым предостережением.

Те же предостережения можно адресовать и И. Лаврову, о котором выше было сказано достаточно подробно. Однако оба эти имени — лишь частные примеры весьма широко распространившейся тенденции.

С другой стороны, необходимо упомянуть и о том, что в некоторых произведениях молодых писателей внешняя конфликтность и видимость авторской активности заменили собой вчерашнее гладкое, лакировочное изображение жизни. Если для многих старших писателей призыв писать правду жизни, раскрывая её трудности и противоречия, был плодотворным, то для какой-то части литераторов пересмотр прежней неверной авторской позиции оказался чреватым большими трудностями. То же самое происходит и с молодыми писателями.

Сколько ещё приходится читать повестей и рассказов молодых писателей с искусственно построенными псевдоконфликтами и псевдопротиворечиями!

## 5

Произведения молодых писателей тем только и отличаются от произведений мастеров, что они больше открыты для критики своим несовершенством и недостатками, проявляющимися у них по-разному: более сложно, менее сложно или элементарно — в зависимости от литературной выучки. А. М. Горький говорил, что выучек у писателя две: «одна — лыко драть, другая — лапти плести. Лыко драть — значит: копить материал, уметь видеть, слышать; уметь чувствовать за всякого другого человека, и «праведного» и грешного... Без этой выучки нечего и думать о сколько-нибудь ценном содержании произведения, без этой выучки не получится ни достоверной картины жизни, ни подлинных характеров.

«Лапти плести» — значит профессионально владеть материалом во всеоружии культуры и художественного вкуса, «уметь расположить материал так, чтоб всякая мелочь на месте была, а лишнего — ничего, чтоб всё било и в нос, и в глаза, и в лоб читателя».

В своеобразной формуле Горького много смысла. Среди литературной молодёжи есть писатели, у которых талант и большой жизненный опыт уже сочетаются с изрядным литературным опытом. В сплаве всё это даёт интересное и достаточно зрелое произведение, с какими-то, может быть, частными недостатками; словами Алексея Максимовича можно сказать — тут есть и запасённое «лыко», и умение «плести лапти».

Часто встречаются литераторы другого рода: у них есть запас важных жизненных впечатлений, интересные замыслы, способность найти новое и своё в безбрежном потоке жизни. Но налицо также и другое — элементарные прорехи в умении, недостаточная выучка (присутствует одно «лыко» без умения «плести лапти»).

Третий случай — так называемая «гладкопись», которая является результатом выучки при слабом знании жизни. Здесь, следовательно, — умение «плести лапти» при явном недостатке «лыка». В биографии молодого писателя этот случай самый

тяжёлый, поэтому с него и хочется начать разговор о мастерстве. И тут нельзя не вспомнить снова замечательные слова А. М. Горького об эмоциональной неграмотности и малограмотности литераторов.

По мнению А. М. Горького, человек практики, рабочий человек, приходится к эмоциональной грамотности путём своего большого практического опыта, его подводит к ней логика самого дела и коллективный народный опыт. Это практическая мудрость людей, которые имеют право всё в мире назвать своим, так как этот мир от начала и до конца строится и изменяется их собственными руками. Этим людям труда может не доставать интеллектуальной грамотности. Подчас они не могут глубоко оценить даже и того нового, что создаётся их же руками; но в своём повседневном, практическом отношении к действительности, к жизни, в самоотверженной и ревливой преданности общему делу они безошибочно грамотны. Горький говорит: «Логика дела, конечно, приведёт их к освоению логики идей, положенных в основу дела».

У писателя свой путь к овладению этой безошибочной грамотностью. Если он приходит к писательской работе через годы труда в другой профессии, тогда, возможно, он раньше овладеет эмоциональной грамотностью практика и труженика, практического строителя нового мира в самых конкретных вещах. Но и при этом уже сложившемся отношении к жизни, при знании её изнутри ему долго и пристально надо вглядываться в судьбы людей, чтобы проникнуть в их переживания и подлинные мотивы поступков, чтобы схватить не поверхность факта, а проникнуть в его глубину.

Задача состоит не в том, чтобы писатель сам лил сталь, или добывал уголь, или поднимал целину, хотя знание тонкостей профессии, подробностей дела нужно любому литератору, когда он пишет о людях определённого труда. Но не эти знания делают его собственно писателем, — писатель начинается там и тогда, где и когда он, кроме идейной и профессиональной грамотности, глубоко и проникновенно овладевает ещё и пониманием внутреннего мира нового человека во всей сложности его переживаний и устремлений, приводящих к каждодневным, как будто будничным, а на самом деле великим деяниям. — великим потому, что это не просто работа, а элементы строительства нового мира.

Обо всём этом думается, когда знакомишься с творчеством молодых, в чьих произведениях особенно заметна гладкопись. Такие книги не вызывают у читателя раздражения какими-либо элементарными недостатками, но и не находят горячего отклика в его сердце. Вроде бы есть в произведении всё, что «положено», — конфликты, труд, любовь, борьба старого с новым, только нет самого существенного: внутреннего эмоционального ощущения реальной жизни, проникновения в сокровенные мотивы поведения реальных людей. Авторы как бы улавливают лишь результат жизненного явления, но сложная, противоречивая диалектика человеческой жизни, движение к этим результатам ускользает.

Однако и богатый жизненный материал, и интереснейший литературный замысел пропадают совсем или теряются частично, когда автор не умеет лепить образы, не обладает способностью давать углублённый психологический рисунок.

Примером этого может явиться роман сибирского писателя В. Тычинина «Год жизни». Роман этот интересен тем, что он переносит нас в суровые и романтические места Восточной Сибири и знакомит с трудовой деятельностью рабочих и инженеров, занятых промышленной добычей золота. Автор пишет обо всём этом не умоглядно и не по беглым впечатлениям, он хорошо знает избранный им материал, и вся познавательная сторона книги интересна читателю. Но интерес этот сразу же пропадает, едва мы встречаемся на страницах книги с её героями. Все они выглядят так, будто мы их много раз уже встречали в других книгах. В. Тычинин не умеет лепить характеры, он примитивизирует своих героев, огрубляет их, лишает душевной тонкости и сложности. Потому и оказывается разрушенным его добрый замысел.

Более сложен случай, когда молодой писатель, обладающий известной выучкой и какой-то творческой зрелостью, не до конца справляется с попыткой преодолеть трудности в создании сложного, живого человеческого характера. И происходит это подчас из-за какой-то внутренней полемики с самим собой: не желая изобразить человека лишь в двух измерениях, автор как бы внушает себе: «Хороший человек не лишён недостатков, а плохой — достоинств». Естественное развитие характера нарушается заданностью, расчётом «идеального» соче-

тания плохого с хорошим или хорошего с плохим.

Так, в одной из лучших книг минувшего года — в повести Л. Обуховой «Глубынь-Городок» — слишком рациональная разработка, заданность разрушила интересно задуманный образ секретаря комсомольской организации Горбана. Герой слишком явно выступил иллюстрацией к мысли автора. Желая вывести героя, у которого призвание к технике не совпадает с его положением человека, обязанного работать с людьми, а следовательно, иметь вкус и талант к этой работе, Л. Обухова подставляет эпизоды, в которых это несовпадение между способностями и положением человека выявляется очень обнажённо и искусственно. В других, менее талантливых книгах такие недостатки можно наблюдать ещё чаще и притом в более очевидных проявлениях.

В рецензиях на романы и повести молодых писателей мы часто встречаем справедливые упреки в неумении построить стройную композицию произведения. Этот недостаток возникает обычно в результате неорганизованности писательского мышления.

Иной писатель пишет эпизод за эпизодом и не знает, где ему остановиться и поставить точку. Чаще всего «точка» — то есть логическое и жизненно-правдоподобное завершение идеи — фактически уже давно должна быть поставлена: героям в их внутренних между собой отношениях идти уже некуда. Автор же свою книгу продолжает вести по кажущейся логике событий, а не по логике внутреннего психологического развития образов. Думается, что это происходит потому, что автор не знает, куда ему надо привести своего читателя.

Другой признак неумелой композиции сказывается в авторском стремлении поставить все точки над «и», обязательно закруглить все линии и все узлы разрубить, тогда как логическое и жизненно-правдоподобное завершение идеи вовсе не требует такого разжёвывания. Книга продолжается и продолжается, а читатель уже отложил её в сторону, найдя решения проблем и художественное окончание произведения где-то задолго до фактического конца книги.

Искусством композиции, то есть умением уверенно и точно привести героя к цели, хорошо владеет ленинградец С. Гансовский;

настолько хорошо, что это во многом помогает ему преодолеть умозрительность материала его рассказов об Америке.

Пример отличной композиции — «В Снегирах» Г. Бакланова. Здесь судьбы героев, в традиционном смысле, явно не завершены. Денисов с должности председателя колхоза не снят. Как теперь, потеряв былой авторитет, он будет руководить колхозом? Удастся ли ему наладить отношения с женой и вернуть сына? Как начнёт работать новый парторг в колхозе? Автор не отвечает на эти и некоторые другие вопросы — и правильно делает, так как он уже поставил последнюю точку, и поставил её в том месте, где была уже окончательно выявлена художественными средствами главная идея: показать неизбежность краха дутых авторитетов, созданных неверной, антигосударственной системой «козырных» колхозов и благополучного «среднего уровня», тогда, когда приходит конец самой системе.

Кроме таких недостатков мастерства, сказывающихся на произведении в целом, мы, к великому сожалению, едва ли не во всех произведениях молодых писателей встречаем и другие, самые элементарные недостатки.

В десятках произведений мы видим, как примитивно, по одной и той же схеме, пишутся внешние портреты людей; всё есть: рост — высокий или низкий, лицо — открытое, широкое или худощавое, глаза — серые, задумчивые или чёрные, быстрые, походка — стремительная, нетерпеливая или, наоборот, медлительная, а впечатления от внешнего облика человека нет. Неумелость проявляется в описании пейзажа, когда есть все элементы этого пейзажа: небо той или иной синевы, облака и тучи, перечень деревьев с указанием пород и многое другое, а картины, пейзажа нет и нет.

Мы находим множество подобных примеров в описании внешних проявлений переживаний героев, в «физическом движении страстей». Такие примеры ещё А. С. Пушкин подмечал у молодых писателей своего времени: «Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч.»

Когда-то А. Твардовский метко заклеивал назойливого и надоевшего всем «деда, растущего в коммунизм», который обязательно присутствует в любой колхозной повести. В нынешних книгах «деды» заметно

поубавились в числе, но появились другие обязательные фигуры.

С лёгкой руки Г. Николаевой возник, например, кочующий образ «молодой хозяйки» — девушки-агронома из города, которая приезжает в колхоз и всё в нём переморачивает. Тендряковский председатель колхоза Чупров сейчас присутствует почти во всех повестях и очерковых книгах о колхозной деревне. Конечно, этот типический образ существует в жизни, как проявление сложных процессов, происходящих в колхозной деревне, но уже Блишук у Л. Обуховой и Товкач у В. Земляка являются более бледными вариантами того же Чупрова. Об этом стоит подумать, чтобы не получилось нежелательного для нас приглушения интереса к типическому явлению.

Вслед за Борзовым и Мартыновым штампом становится изображение плохого секретаря райкома с противопоставленной ему фигурой второго секретаря.

Слишком уже часто начинают мелькать в произведениях похожие один на другого угловатые, остроумные сотниковские подростки и их подопечные младшие братья; жёны, отставшие от мужей в культурном и общественном отношении; мужья, уходящие от семьи, а потом возвращающиеся, но гордо отвергаемые женой и детьми; одинаковые хищницы и столь же одинаковые пошляки (причём в трёх рассказах привелось повстречать пошляков, наделённых одной и той же деталью: каждый из них — чистоплюй, моет руки после того, как поздороваётся с кем-нибудь, а дверную ручку открывает рукой, обёрнутой в бумажку).

За штамп, за стандартную ситуацию и повторяющийся образ нельзя, к сожалению, ввести ни налога, ни штрафа. Но автора штрафует читатель, отворачиваясь от повести или рассказа.

Не раз приходилось слышать утверждение старших товарищей по перу, будто молодые писатели не имеют художественной индивидуальности, своего почерка: знания жизни у них, дескать, не отнимешь, а вот своего языка у них нет, и все они на одно лицо. Утверждение это нельзя принять, и нам оно представляется несправедливым, а подчас и оскорбительным.

Прозу В. Тендрякова, например, не спутаешь с прозой Д. Гранина. И вовсе не потому, что несхож жизненный материал в их произведениях. Проза В. Тендрякова, его словесная ткань, способы психологической

обрисовки героев, приёмы развития характеров совсем не те, что, скажем, у Л. Обуховой, хотя работает она, как и В. Тендряков, над материалом деревни.

Язык лучших произведений молодой прозы точен, чист и выразителен. И он в основе своей передаёт черты языка прообразов, языка живых советских людей. К сожалению, критики наши совсем не исследуют языка и стиля современных произведений литературы, а то они могли бы установить всё более заметное сближение нашего разговорного языка с литературным.

Высокий общеобразовательный уровень, то состояние культуры, при котором весь народ учится и много читает, приводит к постепенной очистке языка от бессмысленных и паразитических слов, от «одесского» и всяких иных жаргонов. Широкое участие в общественной жизни страны расширило рамки обиходного, бытового словаря. Многообразие профессий, непосредственное знакомство с наукой и техникой обогатили язык новыми понятиями, приучили к скупой и содержательной деловой точности выражения мыслей. Нельзя не заметить, что разговорный язык деревни и города стал менее контрастным, взаимно сблизились и стал ближе к литературному. Весь этот процесс нашёл безусловно органическое выражение в языке произведений литературы, в том числе в языке произведений молодых писателей. Но очистка языка не означает его нивелировки, исчезновения индивидуальных особенностей.

Констатируя успехи прозы, связанные с нашим общим культурным ростом, нужно при этом, правды ради, признать, что и в лучших произведениях молодых писателей можно найти безликие, лишённые своеобразного почерка страницы в рассказах и десятки страниц в больших повестях и романах. В их книги вторгается обезличенный, дистиллированный, лишённый красок и звучания, стёртый язык ежедневных газет. Нужно сказать, что не без вины тут и наша школа, которая при неудовлетворительной постановке преподавания русской литературы не прививает с детства вкуса к языку, не учит понимать звучную, поэтическую, сильную речь, любить её в книгах и воспитывать эту культуру в своей разговорной речи. Вошедшая, к сожалению, в быт неумная практика заранее заготовленных стандартных текстов выступлений даже на небольших собраниях и совеща-

ниях также не способствует воспитанию чувства языка.

При всём том главная причина недостаточной культуры языка у нас, у среднего и молодого поколения литераторов, — малый, иногда очень малый труд над поисками грамма радия в тоннах словесной руды. А искать слово, ощущая его на ощупь и на вкус, надо так, как советует всем нам К. Паустовский в своей книге «Золотая роза». Эта книга, на наш взгляд, имеет свои огорчительные странности и недостатки, однако всё написанное в ней о языке превосходно, волнует и тревожит, как подлинная поэзия. Прав мастер: надо жаждать свежего слова и в этой жажде чаще припадать к вечно живому роднику народной речи.

## 6

Для творчества молодых прозаиков, как мы видим, характерны те же черты, что и для всей советской литературы, — их произведения и нельзя воспринимать как нечто обособленное; они органическая часть нашей литературы. Если говорить об отличии молодой прозы, то оно, быть может, только в том, что общие для литературы тенденции, болезни и недостатки проявляются в произведениях молодых писателей с большей непосредственностью, резкостью и угловатостью. Разумеется, это не даёт права и основания говорить о них со скидкой, давать смягчённые оценки и прибегать ко всякого рода натяжкам.

Применительно ко всей литературе мы, отмечая её положительные явления и симптомы непрерывного развития, высказываем недовольство её отставанием от нашей жизни, несущейся с ураганной скоростью вперёд. Нас, любящих свою страну и свою литературу, не покидает тоска по произведениям, которые явились бы откровением, несли бы новое, совсем новое знание жизни.

Порадовавшись десяткам новых талантов, мы при этом отмечаем, что среди них нет таких, которые стали бы властителями наших умов и наших душ. Может быть, новые таланты малы и незначительны? Нет, среди писателей, о которых шла речь, есть люди крупного дарования. Но, быть может, эти таланты плохо отшлифованы и ещё тускло светят? И не в этом, пожалуй, суть

дела — о Лаврове, Бакланове, Шургине, Никитине или Обуховой не скажешь, что они только ученики и вовсе лишены мастерства. Мы не видим пока орлиных взлётов в молодой литературе, очевидно, потому, что у новых писателей пока не хватает ещё дерзания, смелости, отваги решать труднейшие задачи. Даже и в самых острых и резких произведениях мы не видим, чтобы молодые писатели ставили свои, совсем новые вопросы.

Мы приобрели новых хороших знакомых среди героев только что появившихся книг, и мы не узнали среди них таких героев, без которых немислима наша духовная жизнь, как она немислима без Чапаева, Давыдова, Павла Корчагина, молодогвардейцев, Воропаева, Журбиных. Новые книги не принесли в литературу того большого

ветра событий, какой мы ощущаем в нашей жизни.

Не хотелось бы, чтобы этот общий вывод прозвучал как зачёркивающий все ранее сказанные добрые слова о творчестве наших молодых товарищей по литературе. Нет, это сказано не для этого. Это сказано с надеждой, с большой верой в молодые силы, в их будущее, это сказано как призыв к большой смелости, к дерзновению на самые трудные задачи. Ведь в самом деле: великие цели рождают великую энергию. Народу сейчас, как никогда раньше, нужны книги, без которых невозможно было бы обойтись, которые повышали бы его активность в жизни, внушали бы ему ещё большую уверенность в своих силах и в неизбежности победы общего дела строительства коммунизма.



МАРК ЩЕГЛОВ

★

## ЕСЕНИН В НАШИ ДНИ

**В**ышло в свет и буквально в тот же день разошлось среди читателей — при полуторастатысячном тираже — двухтомное собрание стихов и поэм Сергея Есенина, выпущенное в прошлом году Гослитиздатом.

В чём причины столь постоянной и необманчивой популярности лирики Есенина, почему редко и скудно издававшийся Есенин и сейчас один из любимых русских поэтов, не потерявший ни доли своего обаяния?

...Во всём разноречии его душевных движений, в «половодья чувств» и в «буйстве глаз» Есенин — родное дитя революционной поры. Это его, скандалящего за Советскую власть, освистывали буржуа в Тенишевском зале в 1918 году; это Есенин, попав на собрание белых литераторов в Берлине, был избит, когда требовал исполнения «Интернационала», — такие факты говорят порой больше, чем иные вульгарно-социологические изыскания.

Но хотя есенинские слова: «мать моя — родина, я — большевик», звучат убедительно и пылко, для Есенина с его патриархально-крестьянскими идеалами в совершаемом у нас революционном перевороте многое оставалось непонятным и лично мучительным. Реальные революционные события, резкие перемены в деревне, даже элементарная механизация села — всё это, в представлении Есенина, гласило о гибели кроткой, созданной главным образом воображением поэта патриархальной, уединённой, с замкнутыми интересами и обычаями Руси. Крушение этого иллюзорного представления о деревенской России было закономерным, но при этом Есенину казалось, что исчезала близкая природе и глубоко поэтическая целая область жизни, а значит, и область чувств. С ней у него связывался недостижимый идеал душевного мира, ясности, чего-то радужного и покой-

ного. Драма Есенина в этом смысле усугублялась тем, что обстоятельствами жизни и литературной судьбы поэт сам стал человеком «города», более того — его рабom: всеевропейская известность, привычка к успеху, к молве, сплетающей его имя с именами знаменитых женщин и с шумными скандалами в кабаках многих столиц, а главное — мелкобуржуазная, «урбанистическая» богема, которая «обволокла» Есенина и чуть ли не сделала его своим знаменем, — всё это внесло в жизнь «последнего поэта деревни» многое тяжёлое, дисгармоничное, враждебное самому существу его светлого, родникового лирического дара.

Можно проследить, как с годами под ударами времени и истории распадается в поэзии Есенина милый его сердцу призраок Руси — «покойного уголка», страны «волхвов потайственно волхвующих»... Сначала в его совсем почти «славянофильских» деревенских картинах начинает сквозить какая-то неусидчивая «журавлиная» тоска. Рождается образ бездомного скомороха, убогого паломника и, наконец, «белобрысого босяка», «убийцы или вора», который бредёт по длинной песчаной дороге, «по ветряному свею» — «до сибирских гор». Сама радужная и идиллическая картина Руси, в которой «струится с гор зелёных золото-струйная вода», то и дело оттеняется теперь соседством иных, угрожающих напоминаний: «но и тебе из синей шири пугливо кажет темнота и кандалы твоей Сибири и горб Уральского хребта». Накануне Октября поэзия Есенина, дотоле начисто лишённая драматизма и напряжённости, берёт от жизни её тревогу и ожидание перемен. Гармония «пастушеского» восприятия жизни и природы не выдерживает реальных исторических волнений, и теперь вместо свирелей и «корових вздохов» мы слышим в стихах Есенина «ржавь и жечь», глубокое душев-



ное беспокойство, драматическое разноречие чувств, а временами как бы жестокий посылт одного из блоковских «Двенадцати»...

Пооктябрьская Россия, сразу захватившая поэта громадным размахом социального переворота, романтикой народного бунта, вошла в поэзию Есенина и воплотилась в ряд поэм, мужицки-анархических по существу, еретически-религиозных по строю их вызывающей образности.

Поистине, «Мистерия-буфф» и более раннее «Облако в штанах» В. Маяковского своеобразно дополняются есенинской «Инонией» и «Иорданской голубицей». И тут и там — поэт, восстающий с глумлениями на одряхлевший мир, и тут и там — рушащиеся матерки и тяготение к отражению современности в переосмысленных религиозных образах, и тут и там — гиперболически-жестокие счёты с богом.

Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою  
отсюда до Аляски!

(Маяковский)

Даже богу я выщиплю бороду  
Оскалом своих зубов...

(Есенин)

Но, конечно, разница между поэтами определялась отношением к основному вопросу времени. Маяковский стал поэтом победившего пролетариата, для него революция создала долгожданный новый мир, поправ бесчеловечье и анархию прошлого. И поэзия Маяковского сразу же стала как бы голосом самой революции: в ней не было никакого разлада между «личным» отношением к происходящему в стране и, так сказать, «должным», между лирическим идеалом поэта и общественной задачей поэзии. Так же как понятие «Родина» для Маяковского не существовало вне её революционного ореола, — это была новая, советская земля, которую поэт, писавший от имени народа, «завоевал и полуживую вынянчил».

Советская поэзия училась и учится у Маяковского этому поэтическому восприятию революционной действительности, умению пронизать всё «своё», личное, подчас сугубо личное, пафосом и идеей коммунистической борьбы и стройки.

Есенинская поэзия — поэзия человека, не всегда идущего «в ногу» с революционным временем. Идеалы чистоты и полноты чувств и человеческой близости, воспеваемые лирикой Есенина, это то драгоценное, к чему должен «лететь душой» всякий человек.

Но то конкретное, властно-революционное, что делалось в республике Советов во имя тех же целей, понятий исторически и общечеловечески, — то есть весь огромный смысл социалистической революции в России — оставалось для Есенина непонятым, а порой и непринятым. Это неизбежно обедняло всё содержание его поэзии.

Для Есенина, при всём том вселенском бунтарском и романтическом пафосе, которым полны его вещи 1918—1920 годов, было ясно, что революция для него лично что-то безжалостно уничтожает и отменяет: в частности, она уничтожает и отменяет возможность сугубой поэтизации патриархальных сельских «устоев» «кроткой» Руси, иллюзорного, не тронутого временем «избяного» рая во всей его старинной узорчатости и тишине. И ведь весь вселенский воинствующий и еретический гомон есенинской «Инонии» мирно погасал в конце поэмы в обычных для его поэзии буколических уютных картинах родной деревни.

Порой Есенин страстно мечтал о том, чтобы быть «жёлтым парусом в ту страну, куда мы плывём». Советская поэзия обязана творчеству Есенина такими прекрасными произведениями на революционную тему, как звучащая трагическими литаврами «Баллада о двадцати шести», как великолепный опыт революционного эпоса в форме народной частушки «Песнь о великом походе», как согретые живым восторгом человека перед Человеком стихи о Ленине, наконец, как последние «маленькие поэмы» Есенина, просто и очевидно рассказывающие о социалистических переменах в глухой рязанской стороне, столь дорогой поэту.

Но временами Есенин переставал ощущать окрыляющее его созвучие с эпохой, и тут он — «в Советской стороне... самый яростный попутчик» — погружался в какой-то «морок», отчаянно не видя, «куда несёт нас рок событий». И тогда лира Есенина кляла то, что только что славил, и в есенинские стихи приходил странный «ущерб», безразличное позёрство, грубая страсть или смертная тоска...

Сам Есенин сказал о своём горе и о своих ошибках с обезоруживающей правдивостью:

...Остался в прошлом я одной ногою,  
Стремясь догнать стальную рать,  
Скользну и падаю другою.

Раскол старого и нового в душе человека, символом которого, по словам Горького, явилась поэзия Есенина, выразился в ней

в безжалостно правдивом и обнажённо-лирическом конфликте.

Лирика Есенина, в общем, отнюдь не светлая по содержанию и образам. Она много говорит о «роковом», о смерти, о несчастиях, о слабости и тлене, об отвергнутой любви и изменившей дружбе, о загубленной жизни пропойцы и фата. Зачастую, как в «Москве кабацкой», голос её слышен с самого «дна».

«Я умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как»; «наузи, чтоб можно было никогда не просыпаться»; «скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час!»; «бродит чёрная жуть по холмам, злобу вора струит в наш сад»; «я такой же, как вы, пропащий»; «...вся в крови душа»; «не осталось ничего... только жёлтый тлен и сырость»; «...даже нежное слово горьким плодом срывается с уст»; «ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза»; и, наконец, последнее: «в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей», — сколько этих недужных, страдальческих, вызывающе-мрачных признаний и горьких наветов по адресу жизни в есенинской поэзии. Они и придают ей специфический «рыдальный» тон. Но откуда в этих неразнообразных и неутошительных строчках, когда они сопоставлены с другими, откуда в этих, казалось бы, вполне пессимистических и упадочных стихах и романах такая человеческая притягательность?

Есть поэты-мизантропы, есть декаденты, самодовольные и бессовестные. Когда Ф. Сологуб в ответ на чей-то возглас «Помоги!» стонет: «Сам я и беден и мал, сам я смертельно устал, как помочь?» — это вызывает неизбежное отвлечение.

В поэзии же Есенина тяжёлый жизненный опыт, смертельный спор душевной тьмы и света, надежд и отчаяния выразился в острейшем лирическом конфликте, который и исключает привычку к падению, оправдание его, смакование ничтожества, «откола» от мира и беспросветности. Есенинской поэзии, знавшей год от году всё большие приступы острой мрачности и обиды на «эпоху», свойственна, как никакой другой, подлинная страсть и боль по жизни, по свету. «Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне...» Неизмеримая тяга к этому празднику жизни, к любви, к яркости переживаний, к вере в себя, к сознанию собственной нужности народу, к чистоте и человечности чувств, — это внутреннее гуманистическое

побуждение поэзии Есенина спасало его стихи от «декадентства».

Ведь подчас даже в одном стихотворении у поэта соседствуют и переливаются друг в друга удивительно чистоструйное лирическое чувство и вызывающая поза, а мрачный, отпетый цинизм здруг сменяют по-детски горячие слёзы... Лирический конфликт поэзии Есенина — в рвущем душу осознании всей бездны падения («Что случилось? Что со мною стало?») и в страстном полёте к чистоте и нравственности, к счастью, которое романтически ассоциируется у него чаще всего с далёкой юностью и возвращением к милым брошенным полям, к берёзкам и черёмухам, к «белым липам» в материнском саду...

Так кабацкий завсегдатай с пустым сердцем, молодой старик, который «душой стал, как жёлтый скелет», ничтожно гордящийся каким-то своим непропитым «цилиндром» и «парой модных шгилет», словом, опустившийся и фатоватый малый — лирический герой ряда стихотворений Есенина — на глазах чудно меняется... и мы видим настоящему несчастному, одинокому и нравственно глубоко надорвавшегося человека, который страстно хочет всё начать сначала, сбросить с себя пошлые обноски, «утонуть навсегда в неизвестность», и хотя чувства его уже перезрели («целуешь, а губы, как жель», но «...горевать ещё рано...» и хочется вновь там, далеко, где «по курганам молодая шумит лебеда», начать жизнь иную, новую, мечтая о ней «по-мальчишески — в дым...»

И вот после «жуткого логова» возникают совсем иные картины, иное, подлинно поэтическое увлечение: «Мелколесье. Степь и дали. Свет луны во все концы...» Какая радость перед ликом полевой России вновь молодецки выкрикнуть: «У меня отец — крестьянин, ну, а я — крестьянский сын». А вокруг поэта — не праздные горемыки, не наглые собутыльники и не «шум и гам» божьего стойла:

...Ветерок весёлый робок и застенчив,  
По равнине голой катится бубенчик.  
Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый!  
Где-то на поляне клён танцует пьяный.  
Мы к нему подъедем, спросим — что  
такое?  
И станцуем вместе под тальянку трое.

В это время, наедине с врачующим простором родной стороны, есенинская поэзия знает такую тонкость и точность изображения и выражения, которую трудно преуве-

личить. Цвета осени и запустения «смываются» в ней всей радугой красок и оттенков, ласкающих глаз и светящих прямо в душу.

Когда Есенин пишет о родине, мы встречаем у него все степени восторга, любви «до горечи и боли», радость общения и какую-то боязнь быть отвергнутым. Возвышенное и интимное чувство, которое испытывает человек к родной земле, к родной старине, к сородичам, к самому пейзажу, звукам, запахам и краскам родных мест, — всё это передано в его стихах пылко и неповторимо, от простого и преданного признания:

Я люблю родину,  
Я очень люблю родину!..

до азартного, восторженного вызова небу:

Если крикнет рать святая:  
«Кинь ты Русь, живи в раю!»  
Я скажу: «Не надо рая,  
Дайте родину мою».

Когда Есенин хочет выразить в стихе чувство душевной воли, ясности ума и вновь открывавшейся простой мудрости: «жить нужно легче, жить нужно проще» — это рождает в его стихотворении яркий, блестящий поэзией образ «серебряного ветра», который «свещет... в шёлковом шелесте снежного шума». Поэт может увидеть в «ропоте буйных вод» вдруг «на волне звезды сиянье»; в пахучих сумерках азиатского края он чувствует, как «тихо розы бегут по полям», а в маленькой русской усадьбе, перед девичьими «белыми окнами в сад», он замечает, как «по пруду лебедем красным плавает тихий закат». Он видит в зимнем окне, что «деревья, как всадники, съехались в нашем саду», знает, как «новой свежестью ветра пахнет зреющий снег», и слышит неожиданное «море голосов воробьиных»... С острой, «прощальной» прелестью рисовал Есенин картины полевой, деревенской России, печаль и радость её раздолья, поэтические детали её скромного и милого облика, её весну и зиму, ведро и ненастье.

От бесчинной и отравленной жизни, от перспективы лечь мёртвому «на московских изогнутых улицах», под каким-нибудь траурным забором, Сергей Есенин горько и жалобно льнул к миру близких и любимых людей, к уюту, к матери, сестре, к необманчивым друзьям. Любовь ко всему родимому, к «пенатам» — родному крову, очагу, к близким — это самая светлая тема есенин-

ской лирики. Стихи Есенина, обращённые к заброшенному деревенскому дому, к старушке матери, — это драгоценные выражения русской лирики. Они стоят рядом с пушкинским «Посланием к няне». Есенин в этих стихах знает наинужнейшие и простые, совсем простые слова. «Милая, добрая, старая, нежная, с думами грустными ты не дружись, слушай — под эту гармонику снежную я расскажу про свою тебе жизнь». Поэту доставляет радость после божьего расточительства слов и чувств трогательно обласкать какими-то «домашними» словами самых дорогих на свете людей...

Из всепоглощающей нравственной духоты и опустошённости, от «чувственной вьюги» и от женщин «легкодумных, лживых и пустых» поэт постоянно с тоской тянется к ясной, незапятнанной любви... И порой в случайных объятиях перед ним укором встаёт «облик ласковый, облик милый» — первая любовь, «девушка в белом», как символ неискалеченных, романтических, отроческих чувств. И снова всё наполнено первым трепетом от «щемящего слова: милый», и как бы возвращается к поэту вся «утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств». В эти минуты есенинская лирика любви приобретает особенную эмоциональную трепетность — «окаянные» мотивы в ней то и дело сменяются и оттеняются целомудрием первой нежности, музыкальной грустью первоначальных бед и обид любви. Какие глубоко покорные, глубоко повинные и наивные строки есть, например, в посвящении «Собаке Качалова»:

...И без меня, в её уставясь взгляд,  
Ты за меня лизни ей нежно руку  
За всё, в чём был и не был виноват.

А эта чудесная, беспечно-грустная песнь, вся полная ожиданием и тревогой любви, песнь, будто бы никем не написанная, просто взятая в ночном поле:

Вижу сон. Дорога чёрная.  
Белый конь. Стопа упорная.  
И на этом на коне  
Едет милая ко мне.  
Едет, едет милая,  
Только нелюбимая.

Лишь изредка в есенинской лирике любви мы встречаемся с действительными «путяками»; это бывает в тех случаях, когда поэт, столь откровенный, начинает, что называется, «откровенничать», и тогда он не в

силах художественно возвыситься над полнотой заурядности своего чувства; тогда в есенинскую глубоко «осердеченную» лирику проникают оттенки изящной пошлости, фатовства и эмоциональной невзыскательности. Так есенинская лира сфальшивила и в некоторых из «Персидских мотивов»:

Голубая родина Фирдуси,  
Ты не можешь, память простыв,  
Позабыть о ласковом урусе  
И глазах задумчиво простых...

и т. д.

Столь же непритязательный, ложно-поэтический «флёр» есть и на некоторых последних стихах Есенина, быстро ставших «бытовыми романсами», таких, как, например, «Ты меня не любишь, не жалеешь...».

Правда, часто Есенин — вслед за А. Блоком — умел в строках избитой «романсовости» выразить «рок любви», самой банальностью фразы в каком-то её повороте показать горечь переживаемого. Но когда «разве я немного не красив», и «молодая, с чувственным оскалом... расскажи мне, скольких ты ласкала», и «добрый вечер, miss», и «только нецелованных не трогай...» — весь этот ненастоящий «дендизм» становится лирической темой, которая ничем не «повернется» в душе, прежде чем вылиться в стих, то автоматически прекращается поэзия и остаётся маленькое «интимное дело» поэта и бедная чувством нескромная «опустошённость»...

Есть в поэзии Есенина огромная скорбь об увядании и краткости жизненных сроков, страх перед вечной немотой и беспмятством. Но и здесь, в этом круге мироощущений, есть обстоятельства, резко возвышающие поэзию Есенина над уровнем «Смертяшкиных».

Не жалею, не зову, не плачу,  
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.  
Увяданья золотом охваченный,  
Я не буду больше молодым.

«Золото увяданья»... Этот образ, проходящий через всю лирику Есенина и значивший для него очень много, говорит о том, в какие тона окрашены были есенинские мысли о старости и глени. Цвета «золотой осени» — желтизна, багрец, синь; медленный листопад, как символ убывающих жизненных сил, и — при всём том — ясная «осенняя» мысль о прожитом, об утраченном, о неповторимом и острая, повышенная чув-

ствительность к прелести мира... Гуманная и оптимистическая основа этого строя чувств выражается в том, как естественно Есенин переходит от «личного» *temento togі*, от ощущения кратковременности бытия и прощального зрелища земной красоты к мысли о людях, окружающих поэта «здесь»... Горестное чувство увяданья и конца как бы обостряет страстное чувство поэта не только к «своей» жизни, но вообще — к драгоценному факту жизни, к людям, с которыми делишь хлеб и землю.

Знаю я, что в той стране не будет  
Этих нив, златящихся во мгле...  
Оттого и дороги мне люди,  
Что живут со мною на земле.

Поэт, испытывающий «дрожь» перед «сонмом уходящих», перед гибелью и вечной тьмой, находит силы говорить об истекающей жизни, как о «золоте увяданья», он готов сказать даже о своей поэзии, если ей суждена смерть: «отговорила роща золотая берёзовым весёлым языком»... Пафос есенинской поэзии не в индивидуалистической «жажде жизни», не в том, что «после нас хоть потоп», но в глубоко сочувственном зрелище природы и человеческой судьбы, в любви, нежности и благословении тому, что «пришло процвести и умереть».

Так мы подошли к самому главному, что поможет ответить на вопрос, поставленный в начале статьи: в чём тайна этой поэзии?

Есенинская лирика — лирика антииндивидуалистическая, лирика общения. В ней явно недостаёт важных тем и очень важных связей с действительностью, которые в наш век рождают идейную близость людей, она почти минует общность наших гражданских идеалов. Однако вся есенинская лирика полна какого-то естественного внутреннего расположения к людям, того, что называют «душевностью». И дело не только в том, что многие лирические миниатюры поэта имеют прямое обращение к кому-то — к женщине, другу, матери, что они предполагают в ком-то сопереживающего. Есенинская лирика по её характеру вообще немислима без того, кто воспринимает: это, так сказать, откровенность за откровенность, любовь за любовь, песня не для себя самого, не наедине, а для других — на миру. Есенин рассказывал о себе всю правду в певучих, подкупающих своей музыкальностью и какой-то «закадычной» дружеской интонацией стихах. И этот порыв к людям и поэтизацию прос-

тых человеческих чувств, весь очень доступный, эмоциональный мир поэзии Есенина мы воспринимаем глубоко и признательно. Лирику-индивидуалисту противопоставлены такие стихи:

Каждый труд благослови, удача!  
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,  
Пахарю — чтоб плуг его и кляча  
Доставали хлеба на года.

«Общительность» поэзии Есенина расширяется на всё живое, за пределы разумного и сознательно внимающего. Много раз исследователи отмечали исключительное свойство есенинского мировосприятия в стихах — поэтический «анимизм» его произведений, способность отличать живую душу во всём вокруг: в берёзке, которая шепчет поэту слова о покинувшем её возлюбленном, в цветах, с которыми поэт «выпил бы на ты», в ветре, который у Есенина может быть и «серебряным» и «косматым», наконец, в животном, потерявшем детёныша или жестоко раненном во время охоты, — во всём, что дышит, двигается, растёт и селится по земле. Это редкий дар души, подлинная близость природе, сопричастность её тайнам. Только так могли родиться изумительные есенинские «Песнь о собаке», «Корова» и «Лисица», а также знаменитый жеребёнок — «милый, милый, смешной дуралей» из «Сорокоуста».

Таким образом, «состав» поэзии Есенина сложен и противоречив. Тут и подлинно высокая струя, настоящая классика русской лирической поэзии и рядом то, что, будучи преувеличенным, создало двусмысленную славу Есенина, как «российского скандального пиита». Но и то и другое — и настроения светлые, ласковые, мажорные и

мотивы тоски, боли, печали — всё это принадлежит поэзии Есенина изнутри.

С тех пор, как «у народа, у языкотворца умер звонкий забулдыга-подмастерье», прошло тридцать лет. За это время многое преходящее в поэзии Есенина отсеклось само собой, многое выступило в ином свете, а главное — неуклонно сламываются последние попытки вульгарного отношения к сложным фактам литературы и жизни.

Проходящий через всю лирику Есенина страстный и пленительный зов: «Я верю, верю, счастье есть!», и те незабвенные минуты действительного счастья, которые знает поэзия Есенина, позволяют нам не страшиться её противоречий и — наоборот — признать и глубоко почувствовать её драму, её печаль, потому что нет ничего подлиннее и поучительнее, чем бесстрашный рассказ о себе человека, жившего в трудное и великое время.

В искусстве есть вечные юноши. Когда-то в Италии певца Собиннова звали не иначе, как «этот юноша». В поэзии Сергея Есенина тоже увлекательно и свежо звучит звонкий и нежный юношеский тенор, хватающий за душу. В ней, в этой изумительно сердечной поэзии, «то разгулье удалое, то сердечная тоска», жажда счастья, звучащая из самых недр душевной гибели, обаяние простого веселья жизни, сквозящее через тоску чувственных страстей, любовь к людям, особенно неотразимая и «пронзительная», когда «вся в крови душа»...

Не верится, что Сергею Есенину было бы сейчас шестьдесят лет, настолько его образ сросся в нашем представлении с юностью, с её удалью и печалью.

Поэтому, сколько ни пройдёт времён, а «этот юноша» всегда останется вянущим и дорог нам.



---

---

# ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

Ереван, ул. Арабкир,  
д. 12, кв. 6  
П. Зейтуняну

## ПО ПОВОДУ РАССКАЗОВ ПЕРЧА ЗЕЙТУНЯНА

Дорогой Перч Зейтунян!

Я не успела на Совещании молодых писателей сказать Вам всё, что хотела.

Вы молоды, Вам всего семнадцать лет! Но Вы уже написали несколько рассказов, и, кажется мне, в некоторых из них есть то, что в Вас обещает писателя.

Когда-то зрелый Пушкин, перечитывая своего «Кавказского пленника», написанного в юности, сказал: молодо, незрело, но многое угадано и выражено верно.

Так и в Ваших рассказах многое незрело и далеко до совершенства, но иногда то, что Вами «угадано», интересно и верно выражено.

Это значит, Вам отпущено дарование. От Вас самого, только от Вас, зависит, расцветёт оно или погаснет.

Молодость Ваша завидна — впереди десятки лет труда! Очень важно с самого начала пути знать, в чём твоя сила и в чём слабости. Я попытаюсь подсказать Вам, что, как я понимаю, Вам надо в себе беречь и развивать и с чем следует бороться.

Остановлюсь на рассказе «Посланец», который выбран мною не оттого, что он лучше или хуже других, а оттого, что достоинства и недостатки Вашего письма в нём особенно отчётливо видны.

Краткость — сестра таланта. Это мудрое наблюдение сделано Чеховым.

Разная бывает краткость. Например, краткость протокола, которому задано фиксировать суть и порядок суждений. Не ждите от протокола отбора важного от неважного, он фиксирует подряд. Но чеховское понимание художественной краткости основано прежде всего на требовании отбора.

Читая Ваши рассказы, я вижу ясно: Вы стремитесь к отбору тех необходимейших положений, обстоятельств и деталей, которые помогут Вам наиболее выразительно представить читателю героя. Так, в рассказе «Посланец» (посланец — египетский крестьянин Ахмед, который пришёл ходоком от односельчан в сказочный город Каир просить у чиновников помощи: деревню губит болото, люди мрут от малярии), в этом рассказе лаконично и точно представлен паша:

«Он вошёл в большую комнату, где сидел толстый человек и ел яблоко. Ахмед поклонился. Паша, не глядя на него, спросил:

— Зачем приехал?»

Ахмед начинает говорить, но паша не слушает его слов.

«— Этот вопрос не имеет касательства до меня,— прервал паша и начал чистить второе яблоко. Вдруг он сморщил лицо.— Тьфу, червивое!.. Зовите следующего...»

Снова послышался голос чиновника:

— Мустафа Абдел-Лафит!

Ахмед удивлённо смотрел на пашу; его охватила какая-то печаль».

Сказано всё. Не надо ничего добавлять. Перед читателем — закоренелый чиновник, равнодушный и сытый; и читателя, как и Ахмеда, охватывает печаль.

Но впереди ещё встреча. Второй паша, к которому приходит Ахмед,— чиновник другого сорта. Он так же быстро отделяется от просителя, только иным способом. Второй паша обещает: «Оставьте всё на моё усмотрение. Всё будет сделано».

И доверчивый и наивный Ахмед с успокоенным сердцем уходит домой. Только дома, далеко от Каира, он вдруг догадывается: ведь «добрый» паша даже не спросил его имени, не узнал, где село.

А крестьяне каждый вечер собираются у хижины Ахмеда и ждут...

Как ни плох подстрочник, по которому мне пришлось ознакомиться с Вашим рассказом, ощущение индивидуального авторского почерка он оставляет.

Экономия художественных средств, как мне кажется,— самая сильная черта Вашего пера. Но иногда краткость принимает у Вас характер протокольный. Например. В бедняцких кварталах Каира Ахмед постучал в первую дверь. «Вышел старик, как видно, гостеприимный человек. Он принял Ахмеда». Сказать так о старике, которому суждено сыграть определённую роль в жизни Ахмеда, значит ничего не сказать.

Вы нередко «отписываетесь», и потому пейзаж в Ваших рассказах невнятен, а внешняя обстановка незнакомой нам жизни Египта так и остаётся неизученной.

Я не хочу советовать Вам писать «подробнее». Подробность письма далеко не всегда уживается с выразительностью. Нет, оставайтесь кратким, но ищите, неустанно и упорно ищите характеристик естественных, метких и точных.

Говорят, в коротком рассказе имеет вес каждое слово. Думается мне, в любом художественном произведении слово имеет вес, и в большом романе тоже. И как жалко, что мы слишком часто позволяем себе пользоваться стёртыми словами, оттого общий рисунок получается тусклым и серым.

У Вас есть вкус к диалогу. Речь героев редко несёт у Вас только информационную функцию, чаще она служит характеристике действующих лиц. Например. Ахмед возвратился из странствий, видит родное село.

«От волнения Ахмед растерялся. Он погладил шею ослика и сказал:

— Смотри, приехали...»

Просто и верно. Он действительно взволнован, Ваш сильный Ахмед, и как хорошо, что его волнение Вы не расписываете. Я, читатель, поняла здесь решительно всё, и даже больше того, что Вами написано.

Значит, можно вызвать у читателя сложные чувства, сказав лаконично и сдержанно. Это бывает в тех случаях, когда за написанными словами угадываешь многое недосказанное, что автор ещё может сказать о своём герое. Это и называется подтекстом. В подтексте этого рассказа я читаю нежность к Ахмеду и печаль за судьбу бедняка.

Вы знаете Египет по детским воспоминаниям. Должно быть, у Вас хорошая память, что чрезвычайно для писателя важно. Но, может быть, Ваша память сохранила из когда-то прочитанных книг и какие-то литературные впечатления, ассоциации, и они невольно вплетаются в Ваши рассказы.

Мысль об этом пришла мне в голову, когда я прочитала Ваш рассказ о советской жизни — «Новые соседи».

Речь в нём идёт о первых днях совместного обучения мальчиков и девочек в школе, то есть о том, что Вы пережили сами, став советским школьником.

Казалось, Вы должны бы зорко увидеть те приметы советской жизни, которые могут и ускользнуть от привычного глаза.

Вы вернулись в Армению 8—10-летним ребёнком — всё ново, всё удивительно! Но в рассказе «Новые соседи» мало штрихов, которые говорили бы о свежести пытливого юного взора. Признаюсь, я не узнала в Вашем рассказе Армении, а дети, Ваши герои, мне показались живущими вне пространства и времени. Вы «олитературили» их.

Вас подстерегает опасность. Когда жизненные впечатления заслоняются литературными, писатель едва ли может развиваться. Но мне кажется, Вы уже поняли это. Вы собираетесь после школы работать, отложив аудиторную литературного вуза на будущее. Очень разумно Вы это решили! Пожалуй, Ваше решение убеждает меня сильнее всего в том, что если сейчас дарование в Вас угадывается, то с годами, когда придёт жизненный опыт, оно окрепнет и усилится. Вам будет что сказать людям об окружающем мире. Вас ожидают мучительные поиски: как сказать?

В этих поисках и заключается трудное счастье писателя. От души желаю Вам его.

**М. ПРИЛЕЖАЕВА.**



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. Соколов.** Место писателя в жизни. — **В. Рымашевский.** Трудное начало. — **В. Поп.** Стихи Дмитрия Вагарова. — **Н. Игнатьева.** Право любви. — **П. Бученков.** На пороге жизни. — **Ю. Ханютин.** Широта и непримиримость.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат юридических наук **Л. Савинский.** Китайские записи. — **Вал. Зорин.** Новая «Книга фактов о труде». — Член-корреспондент Академии наук СССР **А. Трайнин.** Особая точка зрения. — Доктор исторических наук **С. Утченко.** Первый том «Всемирной истории». — **Сергей Марков.** На плоту через Тихий океан.

## Литература и искусство

### Место писателя в жизни

**В** «Золотой розы» Константина Паустовского много сторон, достойных самого пристального рассмотрения.

Можно бы с успехом проследить естественную, органическую связь этого произведения со всем предыдущим творчеством автора. И увлекательным могло бы стать исследование того, как, начиная с ранних рассказов, через «Кара-Бугаз» и биографические очерки о Кипренском и Левитане до последних страниц «Беспокойной юности», находила и утверждала себя на редкость цельная творческая манера писателя, осмысленная и обобщенная в «Золотой розе». Есть у К. Паустовского малоизвестный рассказ «Оправдание», написанный в форме письма к редактору, где, между прочим, сказано: «Согласитесь, что неторопливое размышление и пристальное созерцание жизни во всех её мелочах в иные минуты так же закономерно для каждого человека нашей страны, как сон, чтение книг или любимая работа». Многие в «Золотой розе» развивают и иллюстрируют ту же самую мысль.

**Константин Паустовский.** Золотая роза. Книга о писательском труде. «Октябрь» №№ 9, 10 за 1955 год.

В другой рецензии с несомненной пользой для общего дела можно было бы поговорить о том, как сам К. Паустовский ставит в этой книге некоторые проблемы литературного мастерства. В самом деле, не слишком ли редко за последнее время вспоминаем мы в рассуждениях об искусстве о таких старых, но вовсе не устаревших понятиях, как талант, вдохновение, интуиция, воображение, наконец, и о такой немаловажной детали, как поиск «необыкновенного в обыкновенном» и «обыкновенного в необыкновенном»? В призыве «писать правду» многие, и прежде всего молодёжь, слышат и до конца осознают преимущественно второе слово — «правда», правда действительности, верная тема, жизненная идея, правильный замысел. Опытный художник напоминает о второй и неотъемлемой части этой формулы — правда в искусстве существует только тогда, когда её умеют «писать».

А разве мало в «Золотой розе» того, что принято называть познавательным материалом? Наверно, для людей многоопытных значительная часть этих открытий не нова, но для литературной молодёжи здесь содержится весьма солидное «внеклассное



чение», отлично дополняющее курс школьных и институтских программ по литературе, родной и зарубежной, по истории искусств. Можно, разумеется, написать об этом не роман, не беллетристические заметки, а научное исследование — и они написаны, они пишутся, многие такие исследования, но как ещё часто их академическая углублённость и усложнённость обратно пропорциональны читательскому интересу и спросу на них!

Не берясь судить о значении этой книги в полном её объёме (тем более, что автором обещана вторая и третья часть «Золотой розы»), ограничимся темой, которая обозначена в заголовке этой рецензии, — место писателя в жизни. Именно она представлялась нам, во-первых, главной в книге о писательском труде, во-вторых, весьма актуальной для сегодняшней литературной практики и, в-третьих, далеко не бесспорной в том частном решении, к которому с неизбежной логикой подводит читателя «Золотая роза».

Вспомним один из лучших эпизодов книги. Сидя с удочкой в зарослях, на берегу озера, писатель оказался невольным свидетелем детской игры. «Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра...

— Ишь, сопливый! — прикрикнула Нюрка. — Разговаривай у меня!

...— А ты, милая, — сказала Клава приторным, сладеньким голосом, — не бей ребятшек своих. Недолго и паморки отбить. Ты вот, как я, действуй: учи их разуму. А то вырастут обалдуи — ни себе, ни людям никакой корысти.

— Чему его учить-то? — с сердцем ответила Нюрка. — Попробуй, поучи его! Он те даст!

— Как не поучить? — возразила Клава. — Их всему надо учить. Вот увязался за нами, скулит, а кругом, гляди, один цвет не похож на другой. Их тут сотни, этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки он не знает! Даже как зовётся вот этот цвет, и то не знает.

— Курослеп, — сказал мальчик.

— Да не курослеп это, а медуница. Сам ты курослеп!

— Мядуница! — даже с некоторым восхищением повторил мальчик.

— Да не мядуница, а медуница. Скажи правильно.

— Мядуница, — поспешно повторил мальчик и тут же спросил: — А это какой, розовый?

— Это мальва. Повтори за мной — мальва!

— Ну, мальва, — согласился мальчик.

— Ты не нукай, а чисто за мной повторяй. А вот это таволга. Такая пахучая-пахучая! Такая нежная-прежная! Хочешь, сорву?..

Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрёму, ночную красавицу, гвоздику, пастишью сумку, приточную траву, иван-чай, пажму, татарник, волчье лыко, копытень, мыльный корень, мяту, анемону, шпажник, валерьяну, чебрец, зверобой, водосбор, чистотел и много других цветов и трав.

Какой же, собственно, смысл в таком эпизоде для книги о писательском труде? Немалый. Дело не только в том, что словарь литератора обогатился десятком новых слов, названиями цветов и трав, — сам взрослый ученик на этом «удивительном уроке ботаники» нежданно-негаданно получил в наследство от щедрот жизни два богатства: богатство представлений об удивительном, многоголосом мире природы, в котором так свободно и по-хозяйски распоряжаются деревенские дети, и, пожалуй, ещё более ценное богатство детской души, раскрывшейся во всей своей полноте, во всей непринуждённости, на какую способны только дети, если у них нет и тени сомнения, что кто-то, кроме сверстников, подслушивает и наблюдает их игру. Глава «Алмазный язык», завершённая этой сценой, лучшая в «Золотой розе». Она хороша и частными наблюдениями (знаете ли вы, чем отличается «спорый» дождь от «грибного», а оба они — от «слепого?»), и тонкими рассуждениями о подтексте, и запальчивой полемикой с теми, кому природа представляется «утомительной и мёртвой», для кого, «кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит», — всей своей горячей решимостью повысить в кругу наших литераторов чувство ответственности за слово, которым они пользуются, чувство любви и неослабевающего интереса к неисчерпаемым тайникам народной речи. «Тот народ, которому дан такой язык, — поистине великий и счастливый народ. Все ли мы понимаем это? Будет величайшим преступлением перед культурой, перед своей родиной, перед че-

ловечеством, если мы не будем беречь наш язык и позволим себе коверкать его».

Но перелистаем ещё несколько страниц «Золотой розы» К. Паустовского и уже в следующем номере журнала откроем главу «Старик в станционном буфете». В небольшой полупустой закуской на берегу Рижского залива собралась подвыпившая компания молодёжи. Туда же, «очевидно, погреться», зашёл худой старик со щетиной на лице. «Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатавшей рыбацкой куртки. Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала». Молодёжь шумно, аппетитно пила и ела, и «собачка не выдержала. Она подошла к столику, стала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.

— Пети! — тихо позвал старик. — Как же тебе не стыдно? Зачем ты беспокоишь людей, Пети!

...Собачка несколько раз быстро мотнула хвостиком, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделывать не может... Она как бы просила его больше её не звать и не стыдить, потому что ей самой нехорошо на душе и она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей». Один из молодых людей, увидев возле столика просящую собачонку, начал издеваться над стариком: дескать, «некультурно получается», кормить собаку надо, «нищенство у нас запрещено законом». «Молодые люди захотали». Оскорблённый старик наскрёб в карманах немного мелочи, дал эту мелочь буфетнице, и та из жалости протянула ему не один (как следовало бы по деньгам), а целых два бутерброда. Старик взял бутерброды, поблагодарил добрую женщину и вместе с виновницей своего позора вышел на платформу.

«— Ах, Пети, Пети! Глупая собака! Что же ты наделала, Пети!

Но собачка не слушала его. Она ела. Старик смотрел на неё и вытирал рукавом глаза: они у него слезились от ветра».

Вот и вся история. «Зачем я её рассказал?» — спрашивает писатель. В самом деле — зачем? «Как это ни покажется странным, я размышлял о значении подробностей в прозе, вспомнил эту историю и решил, что если её описать без одной главной подробности, без того, что собака всем

своим видом извинялась перед хозяином, без этого жеста маленькой собаки, то история эта станет грубее, чем она была на самом деле».

Но неужели же всё дело здесь в виляющем собачьем хвостике? С этим трудно, возможно согласиться. А «молодые люди с тугими красными затылками», способные походя плюнуть в душу человека, готовые и его поставить на задние лапы и заставить вилять хвостиком, — они для разговора о писательском труде не годятся? И защита человеческого достоинства тоже должна уступить место «подробностям в прозе»? Нет, пожалуй, тут не обойтись одними подробностями, как бы ни были они удачны и дороги мастеру. Нельзя ограничиваться созерцательным сочувствием и жалостью там, где надо воспитывать гнев — святой гнев гражданина ко всем и всяческим мерзостям жизни.

«В последние годы, — заключает этот эпизод К. Паустовский, — характерные подробности начали исчезать из беллетристики, особенно в вещах молодых писателей». Верно, подробности начали исчезать. Но на недавнем совещании молодых писателей говорилось и о другом: иным начинающим литераторам недостаёт в борьбе с мещанством и пошлостью активной гражданской позиции. И её тоже надо воспитывать, чтобы автор завтрашних рассказов сумел в подобной ситуации увидеть не только «характерный хвостик» собачки, но и человека в «неумело заплатавшей рыбацкой куртке», на чьё достоинство посягнули эти наглаватые пижоны с длинным рублём. Иначе говоря, нашёл бы правильную позицию в жизни.

Чем глубже вчитываешься в «Золотую розу», в эти раздумья глубокого и своеобразного художника, полные тонких и тончайших наблюдений над искусством, над его психологией и лабораторией, над спецификой творчества различных талантов, тем явственнее ощущаешь тяготение писателя всё к тем же старым «трём китам», поименованным в рассказе «Оправдание»: к «созерцанию, сосредоточенности и обобщениям».

Мы вовсе не склонны упрекать К. Паустовского за то, что в неоконченной ещё «Золотой розе» он о чём-то не говорит или хотя бы чего-то не договаривает. Мы решительно против подобных досужих домыслов и говорим об ограниченности автор-

ской позиции именно в том, что н а п и с а н о в «Золотой розе», а не в том, чего в ней нет.

Ограниченность эта, на наш взгляд, — в отстранённости от существа явлений, в пассивности, с которой писатель — герой этой книги — взирает на жизнь. Она, эта ограниченность, вызывает наибольшие возмущения, и именно это мы стремились доказать (отнюдь не исчерпывая этим анализ сложной и многогранной книги). Что греха таить, бывает, что даже талантливым нашим современникам не хватает необходимой отстранённости от факта, не хватает его осмысления — следующей ступени после познания, и из-за этого произведение искусства мельчает, теряет свою долговечность. Герой «Золотой розы» часто впадает в другую крайность: он остаётся в раздумчивом созерцании и тогда, когда первым показателем мастерства и профессиональной зрелости художника становится степень его вмешательства в конкретную жизненную проблему. Тут уже непреходящую ценность художественного создания будет определять гражданская активность его автора!

...Вглядитесь в облик лирического героя этой книги о писательском труде: он бесконечно, безгранично любит родную природу; и не только любит — он прекрасно знает её, с наслаждением созерцает каждую её былинку, недоступную для взгляда ленивого или нелюбопытного, и сосредоточенно слушает каждый её шорох, каждый звук. С природой связан для него в жизни всё. От лесного родника берут свой могучий корень такие понятия, как «народ» и «родина», в картинах золотой осени открывается для него новая сущность страны. И само искусство, которому безраздельно отдана его жизнь, его страсть, его мысль, — это тоже природа во всём своём многообразии и богатстве. Он живёт среди природы и среди искусства, созерцая и думая, вникая в их тайны и глубины. Человеческие голоса, шум проезжих дорог словно мешают ему сосредоточиться, и он идёт по жизни, выбирая в могучих среднерусских лесах безлюдные тропы...

А где-то рядом, совсем рядом шагает своей трудной пыльной дорогой другой художник — Валентин Овечкин. На этой дороге иные находки, не похожие на драгоценные тайны дремучего леса, — но какое уж тут безлюдье, какая тишина и спокойствие,

если чуть не на каждом шагу неслучайная встреча и откровенный, прямой разговор о самом существенном в жизни! Другой талант, другой опыт — другая и дорога в литературе. Могла быть и другая книга о писательском труде, но — увы — она ещё не написана...

А неподалёку от Мещерских лесов и курских полей живёт ещё один художник. Его сердцу ближе всего донские степи. В них он находит и щемящую красоту природы и орлиную душу человека-современника. Герои его произведений умеют жить, как народ живёт, — впитывая в себя и пыль наших знойных дорог и тишину нашего величавого леса. Расскажи он о том, как пишутся эти произведения, как в муках и в озарениях рождается точное, сочное, ёмкое шолоховское слово, — это была бы уже третья мудрая книга о писательском труде, и какая это была бы нужная и важная для всех нас книга! Но в ней тоже ещё не написана даже первая страница...

Константин Паустовский не стал дожидаться, пока напишут другие: он написал сам. Написал то, что ему казалось важным сказать именно сейчас, сегодня, и, разумеется, именно то, что волнует его, писателя Паустовского, а не абстрактного писателя вообще. В его книге мы находим поучительные «тайны», достоинства и ограниченность одной своеобразной писательской манеры. Но, разумеется, эта книга о писательском труде не исчерпывает темы.

Совсем недавно были напечатаны отрывки из содержательных бесед К. Федина, В. Катаева, А. Арбузова со студентами Литературного института. Огромный интерес на совещании молодых писателей вызвала беседа Л. Леонова. Всё это — готовые завязи новых книг о писательском труде, о мастерстве, о художественности. Завязи есть, когда же придёт пора собирать новый урожай?!

Конечно, сколько мастеров — столько и «секретов» мастерства, столько мнений и взглядов на творчество. Тут без спора не обойтись, и в этом объективная сложность проблемы. Константин Паустовский вступил на этот тернистый путь далеко не бесспорной «Золотой розой». В интересах литературного творчества этот начатый спор полезно было бы продолжить.

**В. СОКОЛОВ.**

✱

## Трудное начало

Повесть молодого писателя В. Логинова «Начало пути» заканчивается такими словами:

«...инструктор крайкома так и не попросился с Алёшей. Алёша понял, что борьба с этим человеком не кончилась, что пока Косов сидит в крайкоме, до тех пор он будет мешать работать. Но это не пугало Алёшу. Он чувствовал себя готовым к борьбе и не сомневался в её исходе».

Что же произошло между этими людьми? На чём столкнулись эти два человека?

А произошло вот что.

...Молодого журналиста Алексея Блиничкова командировали на месяц в районную газету «За коммунизм». И тут, в самом начале своего пути, ему пришлось встретиться с различными людьми — одних полюбил, к другим отнестись неприязненно, пришлось активно вмешаться в жизнь.

Хорошо, что автор, веря в героя, не побоялся подвергнуть его серьёзным испытаниям. Случись иначе — разверни автор картину глаже, идилличнее, — образ потускнел бы, не оставив в памяти ни следа.

А сейчас потому и симпатизируешь Блиничкову, что знаешь, как решительно выступает он против Косова, как, не колеблясь, становится на сторону Нины в её размолвке с отцом, предпочитающим личное благополучие общественным интересам.

Какой-то по-юношески крылатый задор привносит в повествование этот самый обыкновенный, в сущности, паренёк, смотрящий на жизнь широко открытыми, внимательными глазами. И понимаешь — не мог он не заметить Косова, пройти мимо него, не говоря уже о том, что не мог он примириться с ним.

Блиничков живёт, Косов существует; Блиничков — весь в действии, Косов — в бюрократическом пустословии; Блиничков строит новое, Косов приспособливается; Блиничков прост и скромен, Косов кичлив и недоступен; Блиничков видит в печати могучее средство общественного воздействия, Косов раздражённо брюзжит: «...вы... к этому вопросу касательства иметь не можете... Представьте себе, комсомолец выступает в районном партийном органе... Учит, указывает, предписывает!»

Да, Блиничков и Косов взаимно необхо-

димы в повести: именно в противопоставлении полнее всего проявляются их натуры.

Пока жизнь сводит Косова с равнодушным, опустившимся журналистом Шелавским или робко-беспрекословным редактором районной газеты Дергачёвым, он надёжно прикрыт непрерываемо-авторитетной фразой. А стоит ему столкнуться с характером сильным, цельным, вроде Алексея Блиничкова, и Косов тотчас линяет, выказывая нутрецо заурядного обывателя.

Суть человека не в должности, страстно утверждает автор, а в высокой гражданской честности, в творческом отношении к действительности, в коммунистической влюблённости в своё дело — частицу общенародного созидания.

И в этом горячо соглашаешься с автором.

Но в то же время возникает другая мысль — зачем автор обрёл Блиничкова на одиночество в борьбе с Косовым? Ему случайно сопутствует лишь Шелавский, «человек с прошлым, но без будущего». Это тем более неправомерно, что Косов, напротив, представлен в окружении сходных в известной мере с ним отрицательных персонажей. Здесь и конъюнктурщик Гарцуев, и «путешественники» — специалисты, переведённые из районного центра в колхозы, но не желающие расстаться с обжитыми квартирами, и бездеятельные райкомовцы.

Думается, что В. Логинов, чересчур увлечшись полемикой, преступил ту реальную грань, которая отделяет настоящие жизненные противоречия от нарочитой «конфликтности».

Повлияло это и на авторское суждение о редакторе Дергачёве. Конечно, он не на своём месте, однако винить в том только самого Дергачёва несправедливо. Виноваты прежде всего те, кто формально «выдвигал» Дергачёва. Он был инструктором райкома, написал раз-другой в газету, ему и предложили: «Валяй-ка ты... в редакцию... заворачивай...». В этом формально-безразличном исходном толчке, пожалуй, главная объективная причина неудачного редакторства Дергачёва.

И, наконец, о самом уязвимом: художественной убедительности.

Там, где В. Логинов поступается ею (а это случается с ним нередко), описываемое теряет зримость, действенность. «Три

дня собирал Алёша материал для своей статьи,— пишет автор.— На четвёртый день он дописал крупным, размашистым почерком последнюю страницу блокнота. В этом блокноте был подробно описан образ жизни восьми человек, работающих на периферии района, но проживающих попрежнему в районном центре».

И всё. Сказать так — значит ничего не прибавить к характеру Алексея. А ведь статья, о которой идёт речь,— кульминационная вершина повести: отсюда начинается крушение Косова и духовное возмужание Блинчикова. Умения уверить читателя средствами художественности в необходимости того или иного поступка героя — вот чего не хватает подчас молодому прозаику.

Нуждалась рукопись и в большой, требовательной работе над стилем. «Шёл мелкий, противный дождь, люди жались к заборам, под крыши домов и всячески ругали погоду... Около крыльца редакции сиротливо стоял станичный поэт Коля Добрынин... Набрякшая коллина фуражка напоминала блин, плечи его обвисли, короткие кавалерийские сапожки были густо заляпаны грязью». Казалось бы, ясно — ненастье, распутица. Между тем автор считает почему-то нужным продолжать: «Видно, не близкий путь с заречной стороны в осеннюю непогоду проделал Добрынин, промок, должен быть, до костей».

В другом месте: «Вот двадцать три года прожил, а не замечал, что звёзды такие яркие, крупные, красивые». И через несколько строк: «Сердце его жадно просило люб-

ви, потому что было этому сердцу от роду двадцать три года».

Но ещё досаднее, что В. Логинов легко мирится с собственной приверженностью к словесному штампу, за который он так гневно порицает Дергачёва. Невозможно представить, будто юный, непосредственный Блинчиков изъясняется следующим образом: «Перед отъездом я познакомился с кое-какими материалами. В отчёте о районной партконференции, опубликованном месяц назад в красной газете, говорится, что многие выступающие указывали на неудовлетворительную работу отдела пропаганды и агитации райкома партии. Другие говорили о том, что правления некоторых колхозов фактически отстранены от руководства колхозами. Ставился вопрос об отсутствии работы с сельской интеллигенцией...»

Нет, нет. Алексей Блинчиков, каким он видится в жизни, непричастен к этому. Виноваты досадная скороспелость автора, пренебрежение к выразительности письма. А жаль!

Как светится повествование, когда мелькнёт вдруг удачная речевая находка! Едва ли не весь Дергачёв раскрыт одной коротенькой репликой: «Люблю работать хóром!» Можно потратить немало строк, но выявить своеобразный дергачёвский характер лучше, чем этими словами, вряд ли удастся.

В. Логинов, как и его герой Алексей Блинчиков,— в пути, у обоих за плечами трудное, но благодарное начало.

**В. РЫМАШЕВСКИЙ.**

Ярославль

★

## Стихи Дмитрия Вакарова

**Т**усклозелёного цвета обложка, на ней красным пламенем, словно сердце самого поэта, горит факел и золотом сверкает дорогое каждому закарпатцу имя — «Дмитрий Вакаров».

Народ родной,  
лишь для тебя живу я.  
Всю жизнь свою я посвятил тебе! —

так написал четырнадцать лет тому назад двадцатилетний юноша с Верховины...

Нельзя без волнения читать страстные стихи Вакарова — этого закарпатского Фу-

чика. В них излита сама душа поэта, воплотилась его несчастливая молодость, выражены сокровенные думы и заветные стремления верховинцев, их любовь и ненависть, их борьба. Вчитываешься в строки, полные огня, гнева и ненависти к врагам трудового народа, и перед тобой, словно живой, встаёт мужественный поэт-борец, пламенный патриот, пылкий глашатай воссоединения Закарпатья с братьями на Востоке — русским и украинским народами. Стихи его (Д. Вакаров писал на русском языке) — это как бы дневник, лирический блокнот молодого борца, который всего себя посвятил великому делу освобождения народа.

**Дмитрий Вакаров. Избранные стихи. Редантор В. Ладынец. Вступительная статья М. Поповича. 88 стр. Ужгород. 1955.**

Сын верховинского бедняка, встал хлебнувший в детстве горя, нужды, нищеты, Вакаров рано вступил на путь революционной борьбы. Ещё будучи учеником Хустской гимназии, он трижды подвергался аресту. Став в 1941 году студентом Будапештского университета, Д. Вакаров устанавливает связь с подпольной партизанской группой. С этого пути — пути борьбы — поэт не сходил до конца своей краткой жизни. Хортистские прислужники схватили Вакарова в марте 1944 года и передали его гестапо. Поэт подвергался нечеловеческим пыткам в концлагерях Дахау, Навейлер, в лагере смерти Даутмерген. Там он и погиб в марте 1945 года.

В грозные дни Великой Отечественной войны, когда гитлеровская военщина рвалась к Москве, в сердце поэта отливались строки стихотворения «Незванный гость», которое окончательно созрело осенью 1941 года. Уже в это время Д. Вакаров твёрдо предсказывал неминуемый провал злодейских планов Гитлера. Поэт, уверенный в непобедимости советского народа, говорит, что «незванный гость» забыл судьбу Бонапарта. Вместо ожидаемых почестей «позор его ждёт впереди».

Любовь к обездоленным людям, к прекрасной карпатской природе, радость за трудовые успехи страны Советов, горячая вера в счастливую жизнь, которую принесут братья с багряного Востока, ненависть к угнетателям — вот круг тем, поднятых Д. Вакаровым в стихах, собранных в книжке.

Над лесами гомон птичий,  
над лесами синь небес.  
Днём и ночью пёс-лесничий  
охраняет панский лес.

Соберёшь ли хворост — кража,  
гриб сорвёшь — опять запрет.  
Лес с ружьём обходит стража  
много дней и много лет.

Видят горы, знают хаты,  
шепчет, не смолкая, лес:  
всё тут собственность магната,  
кроме синевы небес, —

с грустью пишет Д. Вакаров о Закарпатье, над которым столетиями нависали чёрные тучи чужеземного угнетения.

Однако поэт никогда не впадает в уныние. Боль за искалеченную молодость, требующую мести, и страстная жажда настоящей жизни породили в его душе строки:

Хватит молитвы,  
юность, гори!  
Жизнь наша — битва,  
мы — бунтари!

Свою судьбу и счастье поэт никогда не отделял от судьбы трудящихся, потому что он хорошо сознавал: не может быть свободным и счастливым человеком в обществе, пока угнетён народ. Только в сердце пламенного патриота, каким был Д. Вакаров, могли родиться слова:

Если плачет Верховина  
над недолей сына,  
чем я стану дорожить,  
как я буду жить?

Автор этих страстных строк далёк был от ноющих писаний тех закарпатских литераторов, которые лишь оплакивали судьбу своего народа, но не вступали на путь борьбы за его освобождение. Д. Вакаров поднялся до понимания исторической роли пролетариата. Труженики, ладони которых покрыты мозолями, — вот настоящие друзья поэта, его боевые товарищи.

На дорогу вышла масса —  
тысяча людей.  
Это вышла ярость класса  
с фабрик и полей.

Строки эти звучат, как боевая песня, как пролетарский марш.

Верой в торжество правды, в победу народа, который единодушно поднялся на борьбу, наполнены символические стихи «Будет день!».

Будет день — и будет счастье  
у лесных полян! —

уверенно заявляет поэт.

Интимная лирика Д. Вакарова так же мужественна, насквозь пронизана общественными мотивами. Личную судьбу поэт всегда связывает с судьбой народа, отчизны.

Чистая любовь к подруге вдохновляет его на революционную борьбу, потому что

Две мечты со мною:  
Родина и ты.

...Закрываешь эту «книжку небольшую», что «томов премногих тяжелей», и в памяти у тебя надолго остаются стихи талантливого поэта, прозрачные, словно хрусталь, искренние, как и вся его короткая, но славная жизнь.

Хочется поблагодарить за добросовестную и полезную работу Ужгородское издательство, редактора В. Ладыжца и составителя М. Поповича. Они выпустили в свет ценную книгу. Разыскать остальные стихи Дмитрия

Вакарова, издать полностью дорогое нашему сердцу наследие талантливого поэта — задача общественности Закарпатья.

**В. ПОП.**

Ужгород

★

## Право любви

**К**ак поступить, если тебе давно за тридцать, на руках — трое детей, оставшихся без отца, если горе и тяжёлая вдовья жизнь раньше времени состарили твоё лицо, а ты вдруг горячо полюбила человека молодого, потянулась к нему всем сердцем?

В самом деле, как быть? Подавить, затоптать это чувство? Или пойти навстречу любви, навстречу счастью, которое зовёт к себе упорно, настойчиво?

Да, совсем не просто решить это Анне Мамонтовой — героине сценария Р. Буданцевой «Соловьи поют». Ведь годы не сбросишь, как тот выцветший платок, которым привыкла она повязывать голову, и от женского стыда никуда не уйдёшь — наверняка многие на деревне будут осуждать, укорять её... А дети, что скажут они, когда почувствуют: не только им отдано её сердце? А сам Алексей? Сумеет ли верно понять и так же полно ответить на любовь? И хватит ли у неё, немолодой, уставшей от забот женщины, смелости и силы соперничать с невестой Алексея — ловкой и язвительной Дуськой?

Это вопросы не умозрительные, не придуманные автором — они возникают в действительной жизни, встают порой перед человеком во всей своей драматичности. Ведь нельзя забыть о горестных последствиях войны — о хозяйствах, где так не хватает мужских рук, о вдовах, которым бывает подчас так неуютно и холодно в пустом доме. И хорошо, что молодая сценаристка увидела в рядовой житейской истории человеческую драму, положила в основу произведения ситуацию острую и сложную.

С большой правдой рисует Р. Буданцева свою героиню: и внешний облик Нюры и то, что скрывается за ним, определяет её характер. Пожалуй, можно пройти мимо и не обратить внимания на неприметную, небрежно одетую женщину: «Лицо её постарело прежде времени, потускнело от мелких морщин. На вид ей лет сорок... В се-

ле давно привыкли к её выцветшему платку и засаленному фартуку, к молчаливому, с тихой грустью взгляду». Но как изменилась, расцвела эта женщина, поднялась на новую жизненную ступень, когда поверила в себя, в правоту своего чувства, когда сумела отвоевать своё счастье.

Робкая, неуверенная — такой выглядит Нюра в начальных эпизодах сценария, она вся погружена в заботы, придавлена тяготами своей жизни. Но вот первое же столкновение с пьяницей бригадиром Акимычем, первое испытание души — и нам приоткрывается гордый и решительный характер, неспособный на сделки с совестью. И мы понимаем, почему так сложна и драматична для Нюры неожиданно пришедшая к ней любовь, почему она то застенчиво старается скрыть своё чувство, то откровенно обнажает его, раскрывая боль и радость своего сердца.

Очень трудно правдиво и просто, без фальши и сентиментальности, показать историю любви, тонко передать все оттенки поведения и душевной взволнованности человека. Во всяком случае, в нашей кинодраматургии последних лет почти нет примеров сколько-нибудь глубокого раскрытия характера человека влюблённого, стремления психологически точно выразить его внутренние движения и порывы. Тем более радостно, что Р. Буданцевой это удалось. Удивительно правдивы поступки, слова, душевное состояние Нюры! Вот увидела она Алексея, залюбовалась, как он красиво и ловко работает, взволновалась бабья душа — посыпались суетливые, смущённые словечки: «Ой, Лёшенька...», «Держи, Лёшенька!», «На, Лёшенька!»... Неожиданно Алексей появился в бригаде, где Нюра работала поварихой, и, заметив его, «Нюра на момент застыла с поварёшкой в одной руке и с тарелкой в другой... Выплеснула из тарелки борщ себе на фартук, второпях поставила тарелку на стол перед удивлённым Акимычем. Спихватилась, взяла тарелку назад, вернулась к бидонам, но, вместо того чтобы опять наполнить её, сорвала

**Р. Буданцева. Соловьи поют. Литературный сценарий. «Искусство кино», № 11 за 1955 год.**

с себя платок... Растерянная, покрасневшая от волнения, стоит и смотрит на Алексея».

Вот так пристально, шаг за шагом, прослеживает писательница, как растёт в Нюре большое чувство, как захватывает, поглощает её эта поздняя, но пылкая любовь.

У Р. Буданцевой — строгая реалистическая манера письма. Нет в сценарии эффектных трюков, неожиданных, острых сюжетных поворотов, резких монтажных перебивок. Действие развивается плавно, жизнь раскрывается во многих подробностях, образ человека строится на тонких психологических деталях. Но эта обстоятельность авторского изложения отнюдь не переходит в скучное бытописание. В сценарии немало сильных драматических сцен, где взрываются страсти, бурно выплёскиваются чувства.

Вспомнить хотя бы помолвку Алексея и Дуськи. Как скованно чувствует себя в начале Нюра, как вся сжалась она в своей строгой белой кофточке, словно боясь, что её могут испачкать любопытные, бесцеремонные взгляды окружающих. А потом вдруг «стряхнула» эту неловкость, растянула на плечах цветастый платок, пустилась в лихой перепляс: пусть видят все, что нельзя унижить её, сломить её гордость, — и раскрылась душа богатая, смелая, красивая.

Ещё большая напряжённость, наполненность чувств в эпизоде, где Нюра сталкивается с Дуськой после того, как Алексей порвал с невестой. С вызывающей усмешкой приходит Дуська в дом к Нюре, приходит, чтобы оскорбить, высмеять её. Но Нюра спокойна. «Она по-матерински оглядела Дуську, сказала ей тихо: «Может, и уйдёт. Может, бросит. Но теперь он мой! Мой!.. Зачем ты пришла?» И Дуська «изменилась в лице, подняла над головой сжатые до боли кулаки. «— Я бы... у... убила тебя!» И вдруг, увидев в глазах Нюры жалость, уцепилась за неё, зарыдала, упала на колени: «— Отдай мне Лёшку. Век не забуду!.. Отдай! Отдай мне!»...»

Глубокий психологический материал дала сценаристка будущей исполнительнице роли Нюры. В роли нет «пустот», последовательно, логично развивается образ: от нерешительной, незаметной «Сергейчихи» к сильной духом, гордой женщине, которую подняла и возвысила большая, выстраданная любовь.

Заклучена ли в этой истории высокая нравственная идея? Да, конечно. Тема свет-

лого, цельного, глубоко человеческого чувства, которое берёт верх над условностями и предрассудками, несёт в себе большой воспитательный заряд. И тем более поучительна показанная нам судьба Нюры Мамонтовой, что история её любви сливается с рассказом о возрождении человека, о возвращении в строй хорошего работника, вновь поверившего в свои силы.

Безусловно, в жизни по-разному решаются судьбы людей, и меньше всего Р. Буданцева думала на том, чтобы найти общий для всех ответ на сложные жизненные вопросы. Рецепты здесь неуместны. Главное — в том, что писательница показала закономерность победы высоких человеческих порывов.

Тернист путь Нюры. Р. Буданцева нигде не старалась «срезать шипы», посыпать песочком её дорогу. Героиня прошла через многие трудности, и именно поэтому образ получился правдивым и волнующим. Но, по замыслу автора, разыгравшаяся драма — это драма обоюдоострая, ибо Алексей тоже пришёл к своему счастью не просто, ему тоже пришлось преодолевать барьеры.

Не сомневаюсь, что обывателям поступок Алексея, расставшегося с молодой, «завидной» невестой, у которой и фигура «ладная» и дом «полная чаша», и ушедшего к Нюре, покажется невероятным: ведь она вдова! Старше его! Трое детей! Так в жизни не бывает!.. Однако в том-то сила и достоинство сценария, что он воюет с мещанской моралью, утверждает превосходство душевной красоты над красотой внешней, но пустой; внутреннего богатства человека — над обывательской узостью и бессодержательностью.

И именно потому, что в произведении есть полемическое начало, автору надо было убедительно показать нелёгкий путь Алексея к своей любви. Важно, чтобы читатели увидели, как полюбил Алексей, поняли, что и для него любовь к Нюре была драматичной, ощутили, что эта любовь — большое, чистое, хорошее и, главное, необходимое в жизни Алексея. Сейчас же зарождающиеся, развитие чувства Алексея не показаны по-настоящему глубоко. Мимолётный, незначительный разговор Алексея с Григорием Ивановичем, его короткие реплики: «Я запутался», «...жизнь начала петлять» — мало что объясняют в его сложном душевном состоянии.

Есть просчёты и в других образах сценария.



Бесцветен образ нового председателя колхоза Григория Ивановича. Хочется почувствовать большую индивидуальность и внутреннее своеобразие характера в Дуське, которая всё-таки больше запоминается как уже не раз встречавшаяся в литературе «белокурая девушка с ямочками на круглых тугих щеках».

Интересно задуман Семён — старший сын Нюры, тяжело переживающий позднюю любовь матери. Однако то, к чему привела в итоге писательница героя, — пятиминутная игра с Алексеем в шахматы, в корне изменившая отношение к нему мальчика, неожиданное и ничем не оправданное признание Семёна матери в том, что Алексей ему «всегда нравился», — начисто снимает душевный конфликт Семёна, его хоть детскую, но трагедию.

И ещё одно. Думается, что финал сценария, когда Алексея посылают работать в соседнюю деревню, а Нюра не едет с ним потому, что не хочет бросать только наладившуюся благодаря её стараниям работу на ферме, не очень убедителен. С таким трудом было завоёвано счастье, и вряд ли мо-

гли герои сразу же, даже на время, расстаться друг с другом. Хочется, чтобы автор ещё раз «выверил жизнь» этот, на мой взгляд, непропорциональный конец.

Когда в искусстве появляется новое имя, это уже само по себе радостное событие. Но факт этот становится гораздо значительнее, если в искусство, в литературу человек приходит со своей темой, с ясно выраженными художественными пристрастиями. Вот так, по-моему, в кинодраматургию пришла Роза Буданцева. В первом её сценарии — «Салтанат» — многое требовало более опытной и уверенной писательской руки, однако там уже чувствовался свой предмет разговора с читателями и зрителями. «Соловьи поют» — произведение куда более зрелое. Здесь тему женской судьбы Р. Буданцева решает гораздо профессиональнее и значительнее. Такой рост позволяет ожидать новых серьёзных успехов молодого кинодраматурга, в чём творчестве есть драгоценные качества — знание жизни, тонкое понимание человеческой души.

Н. ИГНАТЬЕВА.

★

## На пороге жизни

Юноши и девушки кончают школу. Новые, неизведанные дороги открываются перед ними. По какой из них придётся идти в жизнь? Какую из этих дорог избрать?

Над этими вопросами действительно приходится думать десятиклассникам — героям книги «Золотая медаль» О. Донченко, украинского детского писателя, недавно умершего. Но в книге речь идёт не только о выборе будущей профессии; в ней рассказывается об учёбе, комсомольской работе, дружбе, первой любви. Автор вводит читателя в круг забот, мыслей, переживаний молодёжи, стоящей на пороге жизни. Он стремится показать, как школа, комсомольский коллектив влияют на формирование характера подростка, заботятся о том, чтобы ему в будущей творческой трудовой жизни были присущи черты, отличающие нового человека.

Автор изображает своих героев в пово-

ротные моменты их жизни, показывает изменения в характере каждого из них под влиянием жизненных обстоятельств.

Взрослеет Марийка Полишук; одарённая, увлекающаяся, но не умеющая сосредоточиться, она на пороге юности вдруг остро почувствовала свою ответственность перед друзьями, школой, комсомолом. Она начинает упорно заниматься и становится отличницей. Происходит поворот в жизни Нины Коробейник. Умная, способная девушка мучается завистью от того, что подруга опережает её, и лишь под воздействием учителей и товарищей Нина избавляется от этого низкого чувства. Лида Шепель выросла в семье, где учили беречь копейку — «первого друга в жизни». Ранний интерес к материальному благополучию засушил сердце Лиды, превратил её в «воблу», отделил от коллектива. Но комсомольцы вызвали у неё желание «быть похожей на людей», и она завоёвывает уважение товарищей... Готова была сделать ошибочный шаг Варя Лукашевич. Выйди она замуж за поманившего её провинциального ловеласа «с чёрными блестящими глазами» и «крас-

О. Донченко. Золотая медаль. Повесть. Авторизованный перевод с украинского Е. и Вл. Россельс. Редакторы А. Можсеев и А. Таланов. 308 стр. Детгиз, М. 1955.

ными губами» — фотографа Жоржа, и жизнь девушки была бы испорчена, разбита. Но и ей помогли друзья: она рассталась с Жоржем, успешно закончила школу.

Рассказ о судьбах этих девушек утверждает силу здорового комсомольского коллектива, силу высокого товарищества.

Уже говорилось, что автор умеет показывать изменения в характере героев не умогнательно, а в тесной связи с жизненными обстоятельствами. Одно из таких обстоятельств — выбор профессии. Избрать профессию, определить своё место в жизни — дело нелёгкое. Марийка, например, преисполнена самых благих намерений, но она «как в тумане»: в чём её призвание, она ещё не знает и в десятом классе. Она уже «сменила» десять профессий, последнее время ей казалось, что сна будет астрономом, но жизнь заставила сделать другой выбор. Смертельно заболела мать Марийки. Медицина оказалась бессильной перед её болезнью, и Марийка, мучительно переживая свалившееся на неё горе, решает всю жизнь посвятить медицине, чтобы избавить людей от страданий.

Виктор Перегуда твёрдо решил стать сталеваром. Отец его двадцать лет стоял у мартена, и в век стали сын тоже хочет заниматься этим почётным трудом.

Нина Коробейник серьёзно увлекалась педагогической работой: выполняла обязанности вожатой, она увидела, что в работе с детьми так же необходимо творчество, как и при литературных занятиях.

Рисуя школьную жизнь, О. Донченко подсказывает читателю, что красота нравственного облика завтрашнего учёного, педагога, сталевара, врача во многом зависит от того, какие мысли, чувства, побуждения вынесут юноши и девушки из стен родной школы сегодня; насколько верно и благотворно влияет на своих товарищей в школе комсомольский коллектив.

Однако, к сожалению, о некоторых важных вещах говорится в повести вскользь, мимоходом. Вот мелькнула в двух страницах повести учительница Евдокия Казимировна, которая ставит «тройку» ученику, ответившему на «два» (как говорят в школах: «три пишем, два в уме»), а «четвёрку» — троечнику. Чем она руководствуется в этом случае? Она не желает снижать процент успеваемости. К сожалению, такие учителя встречаются. На словах они ратуют за высокую успеваемость, а на деле борются лишь за качество оценок, не

заботясь о глубине знаний. А происходит это оттого, что у нас часто мастерство учителя определяется только цифровыми данными, «процентом» успеваемости школьников. (Чем выше процент, тем, дескать, лучше учитель.) Поэтому некоторые учителя идут на поблажки в оценке знаний учащихся и, вместо того чтобы за партой приучать школьников к труду, разлагают их. Они забывают, что государству нужна не лишняя четвёрка или пятёрка, а знание на четвёрки и пятёрки, и их забота об успеваемости фактически превращается в заботу о своём благополучии.

Итак, раз есть в повести педагог типа Евдокии Казимировны, есть и основания для серьёзного конфликта. Но автор его обошёл. Недостаток только назван, но не показаны ни причины его возникновения, ни сила общественного протеста против подобных явлений.

Трудно школе работать с такими равнодушными, развинченными учениками, как Мечик Гайдай, немало неприятностей они доставляют учителям. Но и здесь сглажены острые углы: Мечик «положен» в больницу, и вопрос о работе с «трудными» учениками с повестки дня оказывается снятым. В распушенности Мечика, как видно из самой повести, в значительной мере виноваты родители: отец даёт ему немалые деньги, на которые он играет в карты с сомнительными друзьями; мать видит, что сын не занимается, а ругать его ей жаль. Можно ли одобрить таких родителей? Ясно, что нет. Но автор сочувственно сообщает читателю sentimentalную историю о том, как отец и мать Мечика вне себя от горя разыскивают пропавшего сына, а найдя его, всё ему прощают. Вместо осуждения, автор вызывает к ним чуть ли не симпатию.

Можно бы заметить, что и положительные герои иногда слишком быстро, слишком легко добиваются успехов.

В чём дело? Являются ли эти недостатки особенностью произведения одного О. Донченко? Я думаю, что прав был учитель С. Езерский, когда он в своей статье «Поэзия воспитания» («Новый мир» № 2) писал, что многие писатели, разрабатывающие так называемую школьную тему в детской литературе, избегают в своих произведениях изображать жизнь сегодняшней школы во всей её сложности и глубине. Писатели робко говорят о проблемах, которые для школы являются наиболее болезненными.

И повесть «Золотая медаль» своими недочётами наглядно подтверждает это. Но при этом лучшие страницы книги заставляют и родителей и учителей думать над вопросами воспитания молодёжи; повесть

учит юного читателя серьёзно готовиться к тому, чтобы достойно и честно служить своему народу.

П. БУЧЕНКОВ,

Тула,

★

## Широта и непримиримость

Творческий облик Гунара Приеде, молодого латышского драматурга, неустойчив, привлекателен и обещающ.

Что составляет сильную сторону его дарования? Свежесть ли темы, искренность ли, лирическая взволнованность, неожиданные ситуации и образы?.. Но не повторяются ли эти определения — свежий, взволнованный, молодой, чистый и т. д. — применительно к каждому человеку, более или менее удачно дебютировавшему в искусстве? Не стали ли они уже общими местами? Или, вернее, не являются ли они общими признаками талантливой молодости, такими неприменными, обязательными её чертами, что, во всяком случае, ими не следует отделяться от анализа своеобразия художника?

Так вот предположим, что мы уже сказали о Г. Приеде все традиционные и в общем верные слова, сказали искренне, не кривя душой, и пойдём дальше: посмотрим, в чём же привлекательность творческой индивидуальности молодого драматурга.

Главное — он думает, и думает интеллигентно. В обеих его пьесах всё время ощущаешь настойчивое биение мысли, подчас запрятанной глубоко в подтексте, всегда окрашенной своеобразной лирической интонацией и обязательно мужественной, настойчивой, стремящейся охватить большие вопросы.

Он думает о жизни и смерти, о призвании и предназначении человека, о счастье и праве на него, о любви и долге. Он пытается найти свою меру, правильное соотношение между требовательностью и великодушием, широтой непредубеждённости и непримиримостью. Он ищет. Он решает эти проблемы для себя, для читателя, зрителя сосредоточенно, упрямо, мучительно, порой неверно и возвращается к ним с за-

видной настойчивостью. В этом его прелесть, в этом его драматический нерв.

Было бы ошибкой полагать, что всеобщность проблематики делает пьесы Г. Приеде отвлечёнными, лишает их конкретных проблем, национального колорита. Его герои не спят ночами в пугину, спорят о постройке коровника, учат детей и рисуют картины. Но суть в том, что Г. Приеде идёт дальше этих конкретных дел и проблем.

В довольно многочисленной критике на первую пьесу Г. Приеде «Лето младшего брата» её тема определялась как формирование характера, возмужание молодого человека.

Это верно, хотя и слишком общо. Так можно характеризовать каждую третью или пятую вещь. Герой мужает, характер формируется, но в чём суть этого процесса? И здесь самое интересное.

Для героя пьесы, Угиса, этого «малыша», как его шуточно называют родные, всё ясно и просто в семнадцатую весну жизни. Есть люди хорошие и есть плохие. Хорошие — те, которые поступают во всём правильно, не пьют и не курят, плохие... ну, плохие, собственно, все остальные.

В пьесе Г. Приеде по существу развёртывается скрытая полемика против шаблонного, ограниченного понимания жизни. Для очень многих писателей пьеса «Лето младшего брата» окончилась бы там, где для Г. Приеде она только начинается.

Помилуйте, чем плох Угис первого акта?! Отдыхать в каникулы не хочет, а рвётся в деревню на стройку, работать. Возмущённо одёргивает товарища, предлагавшего легкомысленную прогулку на Киш-озеро. Мрачно взирает на невесту брата Эрику, мечтающую о собственном домике. Он непримирим, требует снести коровник, построенный не совсем там и не совсем так, как следует, готов сигнализировать, чтобы убрали, сместили, наказали этого болвана Мартина Пудана — бригадира строительной бригады.

Но беда в том, что решения, оценки Угиса, в тенденции своей правильные, в конечном счёте недостаточны, неверны. Ибо он

Г. Приеде. Лето младшего брата. Постановлена Художественным театром имени Я. Райниса. Рига. Хотя и осень! Пьеса обсуждалась в рукописи на 3-м Всесоюзном совещании молодых писателей.

пока оцснивает только факты и не интересуется обстоятельствами, их породившими, видит только поступки, но не различает за ними людей.

Его противоречивость в том, что верные идейные принципы он по своей юношеской горячности, мальчишеской категоричности осуществляет скоропалительно, поверхностно.

Таков Угис Даугавиетис в начале пьесы. И если вспомнить, что у «малыша» незаурядный темперамент и завидная настойчивость, то можно понять, сколько бурь и треволнений пережил Угис, сколько тычков и ударов получил он в первое лето самостоятельной жизни. Иного бы это озлобило и очерствило, заставило бы проникнуться прочной неприязнью к людям. Но у этого «малыша» оказалась чуткая натура и хорошее сердце. Он не стал винить окружающих, он посмотрел на себя и через себя на других.

И тогда он вдруг увидел, что Эрика любит свой радиозавод, талантливо работает, и её в самом деле не очень крупная мечта о постройке дома идёт от желания женщины обзавестись своим очагом; что старым Мартином Пуданом владело одно бескорыстное желание — поскорее поднять колхозное хозяйство из разлухи — и что переделки, которые надо внести в коровник, — пустяковые, и надо было не «бить в набат», а просто помочь людям, менее Угиса сведущим в строительной технике; что легкомысленный Карлис, которого он считал бездельником и пьяницей, преданно, беззаветно любит Даце и пьёт-то, может, потому, что она не обращает на него внимания.

Так началась у «малыша» Угиса переоценка людей и самого себя, своей бездумной категоричности, представлявшейся ему принципиальностью, своей самоуверенности, казавшейся смелостью, своей неосознанной чёрствости, выступавшей добродетелью. Отсюда началось его возмужание, путь к зрелости, ибо зрелость, как утверждает автор, прежде всего в глубокой, непредвзятой оценке жизни и людей.

Знаменательно, что и другая героиня пьесы — Даце — также проходит этот путь. Быть может, лучшая сцена пьесы по своей нешаблонности и тонкой мотивированности — когда Даце вдруг понимает, что несчастный, запутавшийся в чужих махинациях Карлис с его одинокой самоотверженной любовью ближе, роднее ей, чем хороший, умный Угис.

Умейте глубже вглядываться в людей, помните, что подчас они просто невыгодно поворачиваются к вам и нужно бороться за то хорошее, что есть в них, — этот авторский призыв пробивается и в лирической подтексте любовных признаний, и в шутовском тоне объяснений друзей, и в горьком молчании одиночества. Да, люди сложны, порой хорошее и дурное причудливо переплетаются в них. И плохое видится нам резче, ибо оно задевает, коробит нас. И тогда мы порой торопимся вывести «общую линию» человеку, подводим его итог прочно и навсегда, ставим ему оценку, которая подчас мешает нам растить хорошее и корчевать дурное.

Эта тема не случайна в творчестве Г. Приеде.

На Всесоюзное совещание молодых писателей драматург привёз новую, ещё не законченную пьесу «Хотя и осень!»

Нет смысла подробно разбирать эту вещь, но её основные принципиальные мотивы, которые несомненно сохранятся при любой доработке, показательны.

«Хотя и осень!» — это рассказ о людях живущих и «существующих». О тех, кто собирает осенью обильную жатву своей творческой трудовой весны, и тех, кто с горечью выводит нулевой итог растраченной жизни. Судьба Корнелии Алсупе, прошедшей мимо своего призвания, мимо любви, мимо жизни, — предупреждение молодёжи, учителю Гедмину и медсестре Лигите, людям, ещё не нашедшим своего призвания, утерявшим цену проходящим дням.

Но пьеса не только о них.

Автор не изменяет своей излюбленной теме, заявляя два образа: безупречного, но черствоватого Дзинтара и многогрешного, но внутренне чистого Валтера.

Однако о достоинствах Валтера (как, впрочем, и о его пороках) мы узнаём только из авторских деклараций. Нам усиленно предлагают полюбить героя, уверяют, что мы не ошибёмся в выборе, но — увы — опереться нам не на что, кроме как на добрые пожелания автора. И образ Валтера построен так, что читатель, пожалуй, почувствует Дзинтару, который хочет выставить Валтера из своего дома.

Идейное кредо драматурга выражено на этот раз художественно неубедительно, но наше насторожённое и даже скептическое отношение к Валтеру было бы неверно объяснять только драматургическими просчётами пьесы. Здесь начинаешь сомне-

ваться в безупречности идейных позиций самого автора. Уже не человеколюбие, а какая-то мягкотелость угадывается порой в его стремлении оправдать Валтера во что бы то ни стало, отпустить ему все грехи — а они серьёзны.

Да, конечно, нужна гуманность, но по отношению к кому? Необходима широта взглядов, но до каких пор? На эти вопросы Г. Приеде, думается, ещё не может дать точного ответа.

Он понимает, что ответить необходимо, что великодушия нет без суровости, и, может быть, именно для того, чтобы продемонстрировать, к кому нужно быть беспощадным, вводит в «Лето младшего брата» не очень нужных для развития действия Моннику и Ояра — мелких жуликов, прохо-

димцев, играющих на человеческих слабостях. По отношению к ним и выказывает Угис свою твёрдость, обрётённую с приходом зрелости.

Но важная, принципиально верная идея доказывается здесь на явно облегчённом случае: не надо решать сложные философские вопросы, когда хватаешь за руку вора. В последней же пьесе нет пока и такого, пусть поверхностного решения.

Главное, что предстоит творчески понять, решить для себя Г. Приеде — талантливому молодому драматургу, — что гуманности нет без непримиримости, что непредубеждённости хороша только тогда, когда за ней ясность и твёрдость идейных позиций.

Ю. ХАНЮТИН.

★

## Политика и наука

### Китайские записи

В Пекине готовилось русское издание избранных произведений Мао Цзэ-дуна. Когда работа над первым томом подходила к концу, Мао Цзэ-дун принял в своей резиденции, во дворце Чжуннаньхай, группу советских и китайских филологов, работавших над переводом. Здесь, за традиционным и в хижине простого крестьянина и в кабинете члена правительства зелёным китайским чаем, завязалась беседа о Цзинганшане — родине легендарной Красной Армии Китая, о многотрудном пути китайских коммунистов, увенчанном победой в октябре 1949 года. Незаметно летело время. Оживали страницы летописи героической борьбы китайских революционеров, чьим девизом были слова Мао Цзэ-дуна: «Служение народу».

И когда беседа подходила к концу, Мао Цзэ-дун предложил переводчикам совершить поездку по стране, посетить памятные места, связанные с важнейшими событиями Великой китайской революции. Через несколько дней путешествие началось...

Среди участников беседы был видный советский филолог, большой знаток Китая, его языка и литературы Н. Т. Федоренко. Около десяти тысяч километров покрыв он за несколько месяцев в обществе своих китайских друзей Ши Чже и Жень Тянь-шена.

**Н. Федоренко.** Китайские записи. Редактор И. Ф. Трусов. 536 стр. «Советский писатель», М. 1955.

Своеобразным отчётом о поездке явилась книга «Китайские записи».

В ряду других книг о Китае она занимает своеобразное место: замечательные события далёкого и недавнего прошлого китайской революции отображены в рассказах её непосредственных участников.

Вот Яньань — легендарный «пещерный город» в лесовых горах, где молодость Китая набиралась сил и знаний для грядущих боёв. Здесь член ЦК и рядовой солдат революции, каждый на своём посту, готовил победу над врагом.

По мере того, как ширится авторское повествование, проникаешься справедливостью слов, сказанных Ши Чже: «...каждый наш город, велик он или мал, имеет свою богатую революционную историю, свои благородные революционные традиции. Революционные традиции — это самое дорогое, что досталось нам от отцов».

Эти традиции создавались в дни Наньчанского восстания 1927 года, в горах Цзинганшаня, в шанхайском «красном Чапее». И даже тот, кто не раз читал о знаменитых пятидесяти двух часах Кантонской коммуны, снова с интересом вернётся к этим памятным дням, о которых взволнованно рассказал один из ветеранов восстания в Кантоне, генерал Е Цзэнь-ин.

Кантонское восстание было потоплено в крови. Но оно, как и другие революционные выступления китайского пролетариата, под-

готовило победу в 1949 году. И когда автор воспроизводит свою беседу с прославленными китайскими военачальниками Лю Бо-ченем и Чэнь И о знаменитой Хуайхайской операции, веришь, что победа на Янцзы была одержана и кантонскими коммунарами.

С большой теплотой и сердечностью говорит Н. Федоренко о людях Китая.

Вот маршал Лю Бо-чен, получивший в боях более десяти ранений и лишившийся глаза; командующий фронтом, о котором солдаты говорили, что он «живёт скромнее китайского кули». Это ему принадлежат слова, облетевшие весь Китай: «Если же мне суждено погибнуть в борьбе за дело народа, я хочу, чтобы на моём могильном памятнике крупными буквами были высечены следующие слова: «Коммунист Лю Бо-чен». Большого мне не нужно».

Скупое, но выразительно нарисован автором и ряд других портретов. Известная всей стране молодая героиня, политкомиссар Го Цзюнь-цин, в четырнадцатилетнем возрасте выдавшая себя за юношу и вступившая в ряды 8-й Народно-революционной армии; популярный в народе слепой сказитель Хань Ци-сян, прошедший тяжёлую, полную лишений жизнь и нашедший свой путь в революции; Ли Ли — секретарь Цзианьского окружного комитета партии, участник всех походов Красной Армии по горам Цзинганшаня... Кажется, будто вместе с автором обретаешь новых друзей.

Н. Федоренко не ограничился воспроизведением рассказов участников революции. В книге много его раздумий о прошлом страны, о её замечательном настоящем, о её прекрасном будущем.

Перед нами проходят картины строящегося Шанхая; будни деревни Цзаолин в момент, когда её население делит имущество местных феодалов; целинные земли северо-запада Китая, возвращённые к жизни с помощью новых гидротехнических сооружений; всекитайская кочегарка — Шанси, край большого будущего, переживающий пору бурного промышленного развития. И нам кажутся вполне закономерными слова, которые автор посвящает китайскому народу и его коммунистической партии: «Мы увидели большой народ, охваченный таким воодушевлением, такой жаждой созидания, какой он не знал всю свою долгую и славную историю, увидели, сколь велика сила примера коммунистов, которые теперь, как некогда на полях

битв, вдохновляли народ на подвиги в титаническом мирном труде».

Но не все, с кем поездка столкнула автора, вызывают его симпатии. Однажды, во время пребывания в Шанхае, ему довелось побывать в гостях у знаменитого шанхайского антиквара — владельца уникальной коллекции ваз. Здесь, в его особняке, была представлена как бы живая история древней керамики. Одна за другой из футляров извлекались вазы «зелёного семейства», «розового семейства» и даже «чёрного семейства»; первая фарфоровая ваза; ваза, созданная тысячу двести лет назад. Но по мере того, как антиквар с гордостью демонстрировал собранные годами сокровища, у советского человека укреплялось убеждение в чудовищной несправедливости того, что сокровища эти, созданные руками талантливого народа, скрываются от их создателя за толстыми стенами особняка, зарытые в бархат. И, отдавая дань усилиям, потраченным на создание этой чудесной коллекции, автор не скрывает, что его симпатии не на стороне шанхайского антиквара, а на стороне знатного мастера фарфора из Цзиндэчжэня, который, несмотря на свой преклонный возраст, без устали колесит по стране в поисках старинных ваз для музея в своём родном городе.

Н. Федоренко — автор монографии о современной китайской литературе, связанной тесной творческой дружбой с её выдающимися представителями, переводчик трагедии Го Мо-жо «Цай Юань». Поэтому естественно, что деятелям литературы Китая он посвятил немало страниц в своей книге. Писателям Го Мо-жо, Мао Дуню, Ай Цину и другим отведён специальный раздел «Дороги и встречи». Это рассказ о месте писателя в революции, о самоотверженном служении народу, о роли и значении литературы в строительстве новой жизни.

Лучшие китайские писатели, следуя заветам великого Лу Синя, всегда были вместе с народом на переднем крае революционных битв. Поэтому к каждому из них с полным основанием могут быть отнесены слова, которыми Н. Федоренко характеризует поэта Ай Цина: «Сын народа, он сделал знаменем своей борьбы любовь к родному народу, счастье которого всегда было и счастьем самого поэта».

В «Китайских записях» много описаний природы Китая, архитектуры древних городов. Читаешь книгу — и снова вспоминает-

ся Пекин с его причудливой, изысканной архитектурой, кружевной орнаментацией дворцов, лотосовыми прудами, неповторимой игрой красок, ароматом ярких цветов; красавец Ханьчжоу, о котором китайцы любят говорить: «На небе — рай, а на земле — Ханьчжоу»; самый большой город на востоке страны — Шанхай, в котором империалисты десятилетиями тщетно пытались вытравить всё китайское...

Не всё в одинаковой мере удалось Н. Федоренко в его «Китайских записях». Некоторые главы калейдоскопичны, носят характер слишком беглых зарисовок. Но каждый, кто прочитает эту книгу, прибавит немало нового к тому, что знал о Китае и его великом народе.

*Кандидат юридических наук*  
**Л. САВИНСКИЙ.**

✱

## Новая „Книга фактов о труде“

В Соединённых Штатах любят говорить, что в Америке распространены три вида лжи — маленькая ложь, большая ложь и статистика. Действительно, американская буржуазная статистика снискала себе незавидную славу. В течение многих лет буржуазные экономисты трудятся над созданием мифа об особом «американском образе жизни», о якобы безбедном существовании трудящихся США.

В этих условиях особое значение имеет деятельность прогрессивной американской организации «Ассоциация по исследованию проблем труда», на протяжении более двух десятилетий выпускающей сборники материалов об экономической обстановке в Соединённых Штатах, о положении и борьбе американских трудящихся. Сборники выходят каждые два года и носят название «Книги фактов о труде». Публикуемые в них данные основываются на правительственных документах, на материалах официальных и общественных организаций.

Несколько месяцев назад в Нью-Йорке вышел из печати очередной, двенадцатый выпуск «Книги фактов о труде», охватывающий 1953—1954 годы. Содержание выпуска свидетельствует о том, что этот период ознаменовался обострением противоречий американской экономики, сокращением производства, ростом безработицы, ухудшением положения широких масс трудящихся.

Непосредственным результатом этого был стремительный рост безработицы. Даже по официальным данным, за короткий период безработица в Соединённых Штатах возросла втрое. В начале 1955 года количество полностью и частично безработных

составило тринадцать с половиной миллионов человек, из которых свыше трёх миллионов не имели никакого заработка. Авторы подчёркивают, что эти данные отнюдь не дают полной картины.

В поисках выхода из затруднений американские монополисты продолжают курс на милитаризацию экономики, раздувая гонку вооружений. В книге приводятся данные о том, что свыше четырёх пятых бюджета США направляется на военные нужды. Уже после выхода рецензируемого сборника американские газеты сообщили, что на будущий финансовый год власти планируют увеличение военных ассигнований более чем на миллиард долларов.

Огромные военные расходы тяжёлым бременем ложатся на плечи трудящихся. Общая сумма налогов в Соединённых Штатах составила в 1953/54 бюджетном году колоссальную цифру — свыше восьмидесяти четырёх миллиардов долларов. Авторы «Книги фактов о труде» подсчитали, что семья американского трудящегося вынуждена отдавать в виде различных налогов почти треть всех своих доходов.

Однако рост налогов коснулся не всех групп населения. В результате осуществления в 1954 году налоговой реформы налоги на крупные корпорации и предпринимателей не только не возросли, но, наоборот, сократились. Не удивительно, что прибыли монополий достигли в этот период наивысшего за всю историю страны уровня.

Особое место в книге отводится положению негрятских рабочих. В среднем по США годовой доход негрятской семьи составляет лишь 57 процентов дохода белой семьи, а в южных районах страны и того меньше. К этому следует добавить, что негрятские рабочие находятся преимущественно на тяжёлой и низкооплачиваемой работе; их в последнюю очередь

„Labor Fact Book“. 12 by. Labor Research Association. N. Y. 1955 («Книги фактов о труде». 12. Издание Ассоциации по исследованию проблем труда. Нью-Йорк. 1955).

принимают на работу и в первую очередь увольняют.

Продолжает ухудшаться и положение американских фермеров. Несмотря на то, что за эти годы цены на сельскохозяйственные продукты выросли, денежный доход фермеров сократился почти на треть и составляет примерно половину доходов трудящихся города. Дело в том, что между фермером и городским покупателем стоят крупные оптовые фирмы, скупающие сельскохозяйственную продукцию по низким ценам и продающие её втридорога.

По данным официальных переписей, количество ферм в Соединённых Штатах за последние пятнадцать лет сократилось почти на полтора миллиона. Разорившиеся фермеры превращаются в батраков, либо пополняют ряды безработных.

Нельзя без глубокого волнения читать те страницы книги, где приводятся сведения об огромном количестве несчастных случаев на предприятиях США. Это—прямое следствие усилившейся эксплуатации американских рабочих и крайне скверно поставленной охраны труда. Не желая тратить деньги на создание элементарной безопасности на производстве, предприниматели подвергают миллионы рабочих серьёзной опасности. В 1953 году в результате несчастных случаев на фабриках и заводах пострадало более двух миллионов рабочих. Около пятнадцати тысяч из них было убито, восемьдесят четыре тысячи стали инвалидами. Авторы подсчитали, что за три года войны в Корее рабочих на производстве погибло почти в полтора раза больше, чем солдат на фронте.

Книга приводит много фактов, говорящих о плохих жилищных условиях трудящихся, о запущенности школьного образования в стране, о тяжёлом положении

больниц. Тем не менее в текущем году на жилищное строительство направляется лишь... одна десятая процента федерального бюджета. Столь же мизерны ассигнования на нужды здравоохранения и просвещения.

Большое внимание уделяют авторы антирабочему законодательству, принятому последними двумя сессиями конгресса США в 1953 и 1954 годах и законодательными собраниями отдельных штатов. В восемнадцати штатах были введены так называемые «законы об охране права на труд», на основе которых предприниматели могут по существу запрещать стачки и усиливать эксплуатацию рабочих.

Так называемый «Закон 1954 года о контроле над коммунистической деятельностью» в значительной степени направлен против американского рабочего движения в целом, а также, в частности, против профсоюзов.

Наступление реакции привело к активизации борьбы американских трудящихся за свои права. Последние два года ознаменовались расширением стачечного движения. Возросли организованность базирующихся, рост их сплочённости и единства. В результате значительное количество забастовок закончилось победой рабочих—предприниматели оказались вынужденными идти на уступки.

Обширный фактический материал, собранный авторами двенадцатого выпуска «Книг фактов о труде», правдиво отражает современную американскую действительность с её глубокими противоречиями, всё более военизирующейся экономикой, обнищанием широких масс трудящихся, усиливающих сопротивление гнёту монополий.

Вал. ЗОРИН.

★

### Особая точка зрения

Несдавно в США выпущен объёмистый сборник статей «Нюрнберг». Издательство предпосылает книге свои «рекомендации», в которых указывает, что «особенно важным является, чтобы граждане США внимательно рассмотрели мнения обеих сторон на Нюрнбергском процессе».

„Nurnberg“. German Views of the War Trials. Dallas. 1955 («Нюрнберг». Германская точка зрения на суды над военными преступниками. Даллас. 1955).

Встаёт прежде всего вопрос: почему теперь, спустя девять лет после Нюрнбергского процесса, оказалось «особенно важным» информировать американских граждан о мнениях «обеих сторон» на процессе? Разве американская пресса в своё время уделяла Нюрнбергу мало внимания? Или, может быть, в связи с наметившимся некоторым ослаблением международной напряжённости оказалось полезным укрепить «дух Женевы» новым напоминанием о зло-



деяниях и разрушениях второй мировой войны и ответственности главных военных преступников?

К сожалению, сборник не оправдывает подобного предположения. Его направленность прямо противоположна, и об этом чётко и предельно ясно говорят сами издатели. По их свидетельству, «особенно важным является рассмотрение мнений обеих сторон на Нюрнбергском процессе именно в настоящий момент... потому что правительство США недавно дало понять, что его политика сильно удаляется от официальной позиции обвинения на Нюрнбергском суде».

Как же представлены в сборнике «мнения обеих сторон»? Сделано это довольно своеобразно.

В книге напечатан ряд выступлений немецких защитников, но нет ни одного выступления обвинителей. Указание издателей о том, что в сборнике представлены лишь выступления немцев, только подтверждает искусственный отбор материалов. Создаётся весьма своеобразное положение: книга о Нюрнберге, изданная в США для американцев, не приводит выступления на процессе главного обвинителя от Соединённых Штатов Р. Х. Джексона.

Надо обладать большим запасом фантазии и крепкой верой в безграничную наивность читателей, чтобы выступления защитников выдавать за мнение «обеих сторон» на Нюрнбергском процессе.

Изложенные в сборнике соображения адвокатов главных немецких преступников давно потеряли ценность новизны; ценности правовой и моральной они никогда не имели. Как известно, защитники Геринга, Риббентропа и других были недовольны тем, что гитлеровцев судили представители держав-победительниц.

На разные лады в нескольких статьях повторяется противоречащая принципам международного права нелепая попытка обосновать «неправомерность» Нюрнбергского трибунала ссылкой на то, что в момент начала гитлеровской агрессии не существовало закона, объявляющего агрессию преступлением против человечества.

Наконец, ещё один аргумент «одной» стороны: во всём повинен Гитлер и его, покойника, только и надо бы судить. Но в Нюрнберге судили не рядовых членов военной и политической машины гитлеровской Германии, а главных преступников, руководителей «третьего рейха», причинив-

ших огромные страдания германскому народу и загубивших миллионы невинных людей на обширных пространствах Европы.

Я присутствовал на Нюрнбергском процессе и слышал о вещах, с трудом воспринимаемых человеческим сознанием. Я видел вещественные доказательства гитлеровских злодеяний — продукцию убийц и палачей: сумки, изготовленные из человеческой кожи, и матрацы, набитые косами замученных женщин. Впрочем, не нужно было присутствовать на процессе, чтобы понять всю безнадёжность попыток снова и снова изобразить Геринга, Кейтеля, Риббентропа и других в роли невинных агнцев, слепо выполнявших волю фюрера.

И вот адвокаты на страницах сборника вновь мобилизуют «право» на помощь гитлеровским палачам, а авторы предисловия притаскивают им на помощь «историю». В предисловии сказано:

«Можно спросить, были ли учтены на Нюрнбергском процессе «исторические силы». Является истиной, что развитию нацистского режима способствовали многие глубокие экономические и политические факторы — как местные, так и международные. Например... угроза коммунизма в Западной и Восточной Европе... Таким образом, для Германии было невозможно (разрядка моя.— А. Т.), находясь в таких сетях, урегулировать необходимым образом своё положение мирными средствами».

Весь мир давно признал преступный характер гитлеровской агрессии, от которой тяжко пострадал и германский народ. И вот ныне, когда он стремится стать на путь создания единой, свободолюбивой и демократической Германии, пропагандируется мысль, что Гитлер начал агрессию потому, что не воевать ему «было невозможно».

Нетрудно видеть подлинные истоки этой затеи, если в полной мере учесть, что нюрнбергский приговор обращён не только к прошлому, но и к будущему. Об этом совершенно определённо говорили все главные обвинители. В речах представителей государств с различным социальным и политическим строем, предусмотрительно не воспроизведённых в сборнике, ясно и твёрдо звучала одна и та же мысль: наказание фашистских преступников необходимо не только во имя справедливого воздаяния за совершённые ими злодеяния, но и ради будущей безопасности народов.

«Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, — говорил главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко, — во имя укрепления мира во всём мире, во имя безопасности народов в будущем, — мы предъявляем подсудимым полный и справедливый счёт. Это — счёт всего человечества, счёт воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится правосудие!»

«Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, — сказал в своей вступительной речи главный обвинитель от США Р. Х. Джексон, — столь преднамеренны, злы и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся».

Сурового наказания виновных требовал и главный обвинитель от Англии Хартли

Шоукросс, «дабы все поколения знали не только о том, что выстрадало наше поколение, но также о том, что эти страдания явились результатом преступлений против законов народов, законов, которые народы мира ввели в жизнь и будут отстаивать в дальнейшем...»

Эти серьёзные предостережения пугают тех, кто, пытаясь отравить и ослабить «дух Женевы», замысливает и готовит новые враждебные миру акты. Только в их интересах — под видом объективного изложения мнений «двух сторон» — подрывать историческое значение Нюрнбергского процесса. Но это безнадежная затея: не вычеркнуть из истории и из сознания народов грозного для военных преступников нюрнбергского приговора.

*Член-корреспондент Академии наук СССР*  
**А. ТРАЙНИН.**

★

## Первый том «Всемирной истории»

**В**ышел в свет первый том десятитомного издания «Всемирная история». Этот капитальный научный труд призван осветить историю человечества с древнейших времён и до наших дней.

В подготовке «Всемирной истории» участвует ряд институтов Академии наук СССР: Институт истории, Институт истории материальной культуры, Институт востоковедения и Институт славяноведения. В качестве авторов привлечены видные советские историки. В состав главной редакции вошли академики и члены-корреспонденты Академии наук СССР — специалисты в области истории, философии, литературы.

Первые два тома посвящены истории древнего мира, третий и четвёртый — эпохе средних веков, пятый, шестой и седьмой — новой истории, восьмой, девятый и десятый — новейшей истории, то есть истории новой эры человечества, которая открывается победой Великой Октябрьской социалистической революции. Издание богато иллюстрировано, снабжено историческими картами и обширным научным аппаратом.

Потребность в таком труде давно назрела. «Всемирные истории», появившиеся в довольно большом количестве на Западе в

послевоенные годы (например, первые тома «*Historia mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Bern.*»), не могут удовлетворить читателя, который стремится понять и проследить объективные закономерности развития человеческого общества, глубоко проникнуть в суть исторического процесса, оценить творческую роль народных масс.

Буржуазные историки, отрицая идею поступательного развития общества, с давних пор придерживаются характерной для них «теории циклизма», согласно которой исторический процесс развивается кругообразно, по замкнутым и, в основном, повторяющимся друг друга циклам. Небезинтересно при этом отметить, что если раньше сторонники подобного воззрения пытались вложить в тот или иной «цикл» социально-экономическое содержание, то в последние годы в буржуазной — и в частности в англо-американской — историографии социальное-экономический анализ исторических явлений нередко вытесняется понятием сменяющихся друг друга «типов культур», культурных или даже религиозных «эпох». Преобладает тенденция подменить изучение социально-экономических отношений историей идей, «социальной психологией» или просто прославлением деятельности выдающихся, «избранных» личностей.

Чрезвычайно важно поэтому, чтобы советский и зарубежный читатель получил

«Всемирная история». Главный редактор Е. М. Жуков. Том I. Под редакцией Ю. П. Францева (ответственный редактор), И. М. Дьяконова, Г. Ф. Ильина, С. В. Киселёва, В. В. Струве. XXIV + 748 стр. Госполитиздат. М. 1955.

труд, в котором сделана попытка обобщить, осмыслить и оценить всемирно-исторический процесс с позиций марксистско-ленинского учения об обществе.

Первый том «Всемирной истории» посвящён древней истории. Он охватывает огромный исторический период: с древнейших времён, с момента выделения человека из животного мира, до середины I тысячелетия до н. э. В начальных главах даётся картина развития первобытно-общинных отношений. Со второй части тома начинается изложение истории древнейших рабовладельческих обществ. В только что указанных хронологических рамках перед читателем раскрывается история Египта, Вавилона, Ассирии, Хеттской державы, Финикии, Палестины, Урарту, Ирана. Большое внимание уделено истории Китая и Индии. Значительное место отводится истории ранне-рабовладельческих государств в Эгейском бассейне (Крит, микенская Греция) и южной Европы в первой половине I тысячелетия до н. э. (Италия, Греция).

Освещение этих стран отнюдь не исчерпывается изложением фактов и событий политической истории; авторы тщательно анализируют социально-экономические отношения того или иного рабовладельческого общества. Ярко и интересно написаны разделы по истории культуры.

Изложить содержание объёмистого тома в краткой рецензии очень трудно и, пожалуй, нецелесообразно. Вместо этого попытаемся ответить на вопрос, насколько рецензируемый труд удовлетворяет требованиям, предъявляемым к первому советскому изданию «Всемирной истории».

Безусловной заслугой авторского коллектива и редколлегии является то, что на протяжении всей книги не только проведена общая линия в оценке всемирно-исторического процесса, но марксистская точка зрения последовательно выдержана также в смысле отбора и организации всего огромного материала. Развитие производительных сил и производственных отношений в древних обществах дано не декларативно, а на большом количестве конкретных фактов. В томе нет трафаретного деления на «древний Восток» и «античный мир», которое по существу заключает в себе неизбежное противопоставление «застывшего» и «неподвижного» Востока прогрессивно развивающейся европейской цивилизации. Благодаря правильно и в целом удачно применённому принципу синхронного изло-

жения мы видим картину истории древнего мира во всём её многообразии, всемирно-исторический процесс — в его действительном развитии, то есть, говоря иными словами, мы имеем дело не с механической суммой историй отдельных стран и народов (как, например, в «Cambridge Ancient History»), но с подлинно всемирной историей.

В первом томе, на наш взгляд, учтены — поскольку это возможно осуществить в научно-популярном издании — последние достижения советской и зарубежной науки. В главе XIII («Малая Азия в период господства Хеттской державы») впервые в нашей историографии показана связь Малой Азии с островной и материковой Грецией. Главы XV и XXVIII («Ранние рабовладельческие государства в Эгейском бассейне», «Греция XI—IX вв. до н. э.») написаны с учётом недавних открытий в области дешифровки минойской письменности (так называемого линейного письма B), а следовательно, и новых представлений об эгейском мире и греческом обществе гомеровской эпохи.

Вместе с тем нельзя обойти молчанием и некоторые недостатки, тем более, что они в какой-то степени отражают слабые места нашей исторической науки о древности в целом.

Хуже всего освещена древнейшая история Европы (до образования на её территории классовых обществ). Если ещё палеолиту Европы уделено достаточно внимания, то неолит и век бронзы представлены значительно бледнее, а железный век, то есть вся первая половина I тысячелетия до н. э., дан лишь в виде небольшого раздела (глава XXVII). Это, видимо, следствие того ненормального положения, что древняя история Европы почти совсем не изучается нашими историками и археологами.

Две главы, посвящённые истории племён Европы и Азии, вызывают ряд дополнительных замечаний. Первая из этих глав написана слишком «археологично»; она сводится к перечислению культур бронзового века. Широкому читателю будет весьма затруднительно уяснить роль и место в мировом историческом процессе племён и народностей — создателей этих культур. Они остаются где-то за исторической сценой, в тени. Некоторые очень скудные данные по экономике и общественному устройству племён (например, лужицких или пле-

мён андроновской и «срубной» культур) занимают явно подчинённое место и тонут в археологическом материале.

Почему-то авторы и редакция ограничились сведениями только о европейских племенах, да к тому же лишь о племенах Южной Европы (глава XXVII). Очевидно, нужно было дать общую картину огромного мира племён на следующей ступени их исторического развития, то есть в первой половине I тысячелетия до н. э.

Наибольшие сомнения вызывают разделы, посвящённые культуре Виллановы и этрусской проблеме. Понятны трудности, стоявшие в данном случае перед редколлегией, ибо эта проблема изучена у нас ещё далеко не достаточно. Но тем более осторожно следовало формулировать некоторые выводы. Можно ли столь категорично утверждать (как это сделано на странице 630), что: «С другой стороны, культура этрусков VII—VI вв. до н. э. является во многом результатом дальнейшего развития всё той же культуры Виллановы»? Ещё более сомнительным представляется такое утверждение: «На современной ступени наших знаний правильнее всего считать, что этрусские племена сложились в Италии в условиях борьбы и взаимодействия племён-пришельцев с другими племенами, жившими на полуострове» (страница 632).

О каких «племенах-пришельцах» идёт в данном случае речь? Что это за «другие племена», жившие на полуострове? И, наконец, как доказать основное утверждение, что этрусские племена сложились лишь на территории Италии?

Из более мелких недочётов укажем на следующие.

В главе, посвящённой древнейшей Индии, вопросу о так называемом арийском вторжении отведено ровно пять строк. Несомненно, что автор и редакция имеют полное право не соглашаться с гипотезой «арийского завоевания» Индии, но значит ли это, что можно отделаться от такого сложного вопроса несколькими строками?

В главе XXIX «Греция в VIII—VI вв. до н. э. Формирование рабовладельческих государств (полисов)» даётся слишком одностороннее определение античной формы собственности.

Таковы некоторые общие и частные критические замечания, которые отнюдь не колеблют общего весьма положительного впечатления от первого тома «Всемирной истории». Его появление является несомненно крупнейшим событием в нашей историографии.

*Доктор исторических наук*  
**С. УТЧЕНКО.**

✱

## На плоту через Тихий океан

Молодой норвежский учёный Тор Хейердал жил в 1937 году в свайной хижине на одном из островов Полинезийского архипелага — Фату-Хива.

Старик полинезец однажды рассказал Хейердалу древнее предание о боге и вожде Тики; он привёл в Полинезию первых людей из большой страны за океаном. С тех пор Хейердал стал чаще всматриваться в простор лазурно-коралловой Океании.

В нескольких тысячах миль к востоку от Фату-Хивы лежала окраина Южной Америки. Воображаемая прямая пролегла от архипелага до Перу — былой страны инков. И вдруг Хейердала осенила догадка, что полинезийские изображения Тики — бога и

вождя — имеют большое сходство с огромными изваяниями в Южной Америке.

«Вероятно, с этого всё и началось», — писал впоследствии Хейердал в своей книге.

Норвежец занялся изучением «биографии» чудесного Тики, вернее, сказаний о нём. Перерыв все доступные источники, Хейердал узнал, что древнейшие памятники Перу, согласно преданиям, были выстроены предшественниками инков — народом белых богов». Эти люди пришли в Перу с Севера. Их повелитель и носил имя Кон-Тики.

Через некоторое время загадочные белые пришельцы почти все были умерщвлены. Но Кон-Тики со своими приближёнными сумел пробиться к Тихому океану, откуда пустился в плавание на запад.

**Тор Хейердал. Путешествие на «Кон-Тики». На плоту от Перу до Полинезии. Перевод с английского Т. Л. и В. И. Ровинских. Научная редакция и примечания члена-корреспондента Академии наук СССР С. В. Обручева. 288 стр. «Молодая гвардия». М. 1955.**

«Я больше не сомневался в том, что белый вождь — бог Солнце-Тики, по рассказам инков изгнанный их предками из Перу, был не кто иной, как белый вождь — бог Тики, сын солнца, которого жители всех

островов восточной части Тихого океана называют праотцем своего народа», — писал Хейердал.

Расширив и обобщив свои разыскания, он решил, что Полинезия около 500 года нашей эры была впервые заселена людьми, приплывшими из Южной Америки.

Но учёные не соглашались с Хейердалом. Известно, что в науке принята гипотеза об азиатском происхождении полинезийцев, хотя одни исследователи пытались выводить предков жителей Океании из Аравии, другие — из германских стран, из Норвегии, третьи — из Египта и даже из Атлантиды.

Потомок викингов мог увлекаться. Что это за белые люди, столь внезапно и неизвестно откуда появившиеся в эпоху Аттилы на побережье Перу? Не слишком ли повлияли на Хейердала древние саги его родины, восхвалявшие доблести и дальние странствия суровых богатырей с синими глазами?

С Хейердалом можно и нужно было спорить именно по этим вопросам. Но его вообще не слушали и лишь в лучшем случае заявляли, что древние жители Южной Америки не имели морских судов. Перуанцы или эквадорцы ни при какой погоде не могли попасть в Полинезию. Поэтому и нет никакого смысла искать связи Перу с Океанией.

Но Хейердал обнаружил в книгохранилищах описания древних южноамериканских морских плотов, такие подробные, что по ним можно было строить модели. Так он доказал, что в VI веке праперуанцы отваживались пускаться в океан. Но и этот довод также не подействовал на учёных противников Хейердала.

Тогда Хейердал принял удивительное решение. Он докажет на деле, что он прав! Учёный задумал сам повторить плавание древних перуанцев, строивших плоты из эквадорского бальзового дерева. Кормовое весло, прямоугольный парус — вот всё оснащение плота, состоящего из нескольких брёвен, связанных между собой лиановыми креплениями. Он переплывёт на таком плоту Великий океан!

Прежде чем заявить о своём необыкновенном предприятии, Хейердал проделал огромную исследовательскую работу. Он изучил историю мореплавания полинезийцев и жителей Южной Америки, природу морских течений и направления ветров, законы их взаимодействия и только тогда твёр-

дой рукой провёл на карте черту от Перу до островов Туамоту в Полинезии.

Он не думал о наградах и почестях. Хейердал осознал необходимость совершить подвиг во имя науки, причём сам он, конечно, будущее плавание подвигом не считал.

Нашлись люди, которые помогли ему. 28 апреля 1947 года плот из бальзовых деревьев, осенённый древним флагом Норвегии и изобразением солнечного Кон-Тики на парусе, отплыл от берегов Перу.

Отсюда и начинаются приключения, столь захватывающие и мастерски описанные Хейердалом. Морская фантастика превратилась в быль. Ночью смелые мореплаватели видели, как в уровень с краями плота возникали неподвижные, мерцающие зелёным светом глаза подводных страшилищ. Это были большие спруты.

Иногда на тёмной воде качались неведомые светящиеся шары около метра в поперечнике. Они то потухали, то вновь загорались, как включённые электрические лампы. Полосатые, как зебры, сигарообразные рыбы-лоцманы шли за плотом несколько тысяч миль, пока их не сманила и не увела с собой голубая акула.

Читатель с волнением следит за приключениями участников плавания. Эрику Хассельбергу пришлось вступить в единоборство с китовой акулой. Длина её тела — пятнадцать метров, весит она пятнадцать тонн. Разинутая пасть морского чуда усеяна тремя тысячами острых зубов. Мореплаватели увидели, как летает — накачивая и выпуская воду из собственного тела — кальмар, головоногий моллюск с присосками на щупальцах. Никто из зоологов, с которыми Хейердал встретился по возвращении из экспедиции, об этом не знал. Чёрной жидкостью — «кровью» кальмара — были сделаны записи в судовом журнале «Кон-Тики». Очевидно, некоторые обитатели моря опасались приближаться к большим океанским судам, но с плотом они чувствовали себя запросто.

Хейердал и его спутники изобрели водозлазную корзину. Сидя в ней, они знакомились с подводной жизнью и проводили разнообразные научные наблюдения.

И вот плот со смельчаками достиг заветной Полинезии. Расчёт Хейердала полностью оправдался: океанским течением плот принесло от берегов Перу именно к группе островов Туамоту, открытых в XIX веке русскими мореплавателями.

Плот долго лавировал вокруг рифов атолла Ангатау, но так и не мог войти внутрь привольной лагуны. Его выбросило на рифы близ острова Рароиа. Люди спаслись и вскоре перебрались с коралловой гряды на маленький необитаемый островок. Там ползали кроваво-красные раки-отшельники, росли белые цветы. Утомлённые путники легли на тёплый песок...

Хейердал посадил на этом островке кокосовую пальму и воздвиг пирамиду из коралловых глыб в честь страны и народа, давших миру Нансена и Амундсена.

Плот «Кон-Тики» против ожидания не рассыпался. Его завели в спокойную лагуну атолла.

Радиотелеграфисты уже стучали ключами, оповещая мир о подвиге «Кон-Тики». Храбрые сыны Норвегии отправились на Таити, чтобы оттуда возвратиться на родину.

«Мы находились на пути к XX веку, до которого было так далеко.

Но мы шестеро, стоявшие на палубе около наших девяти огромных бальзовых брёвен, все были живы. А на лагуне в Таити шесть белых венков лежали на воде, и ласковые волны то прибывали их к берегу, то относили назад».

Так поэтически закончил свою книгу Хейердал.

Тайна обаяния этой книги заключается в том, что её автор сочетает в своём лице учёного и поэта. Просто и задушевно, не раз прибегая к шутке, он рассказал, какие невероятные трудности приходилось преодолевать исследователю. Ведь Хейердал проплыл на утлом плоту расстояние, которое по длине превышало путь, совершённый Колумбом!

Вопрос о происхождении предков полинезийцев остался пока не разрешённым, хотя сам Хейердал попрежнему страстно верит, что они приплыли из Перу. Но прямых доказательств его правоты нет. Как честный исследователь, он заявляет об этом в послесловии к своей книге.

Всё же Хейердал доказал, что отдельные обитатели древнего Перу в разное время действительно могли достигать Полинезии, пользуясь такими средствами, как лёгкие бальзовые плоты. Теперь учёные уже прислушались к словам норвежского исследователя о том, что бывшие связи Перу с Океанией обусловили появление в Полинезии кокосовой пальмы, бутылочной тыквы, сладкого картофеля — батата, вывезенных из Южной Америки.

Огромный успех книги «Путешествие на «Кон-Тики» помог Хейердалу выпустить в свет его научную работу «Американские индейцы в Тихом океане; теория в основе экспедиции «Кон-Тики».

Надо думать, что труды Хейердала на толкнул многих исследователей на новые размышления, заставят историков и этнографов ещё упорнее заняться поисками истины о происхождении полинезийцев, которая пока подобна жемчужине, лежащей на дне Великого океана.

Издательство «Молодая гвардия» сделало прекрасный подарок читателям, выпустив «Путешествие на «Кон-Тики». Однако законное удивление вызывает то обстоятельство, что книга Хейердала — подлинное украшение современной литературы норвежского народа — переведена не с оригинала, а с 21-го (!) английского издания, вышедшего в 1954 году.

Сергей МАРКОВ.



# ОТГОЛОСКИ МИЖУВШЕГО

туда на случай, если Мартынов промахнётся. Всё это сплошной вымысел.

Отбирать факты по-своему, по-своему освещать их, привносить своё — неотъемлемое право писателя. Без воображения художника невозможно было бы самое существование исторического жанра. И, тем не менее, оставаться на почве реальных фактов, считаться с ними, проверять факты — необходимо. Читатель хочет знать правду о том, как был убит Лермонтов, и ненавидеть самое имя убийцы. И когда он — читатель — поколеблен в своём знании истории, он задаёт недоуменные вопросы.

## ИСТОЧНИК ОДНОГО НЕДОРАЗУМЕНИЯ

«Правда ли, что Мартынов не убивал Лермонтова, что Лермонтов убит выстрелом из-за кустов?»

«Удалось ли вам выяснить имя настоящего убийцы Лермонтова?»

Последние два года мне приходится устно и письменно отвечать на десятки таких вопросов. Читатели хотят точно знать, на чём основана новая версия о дуэли. Каждый раз отвечаю:

— Лермонтова убил Мартынов. Никаких новых данных, реабилитирующих Мартынова, нет. Напротив. Находятся новые отклики современников на дуэль Лермонтова с Мартыновым, и в каждом убийцей называется Мартынов. Вот строки из писем тех, кто проводил лето 1841 года в Пятигорске или с их слов сообщал знакомым первую весть:

«Мартынов... был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему прямо в сердце».

«Мартынов поступил, как убийца».

«Требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу».

Так откуда же возникла версия, что Мартынов не убивал Лермонтова?

Оказывается, источник этого недоразумения — повесть о Лермонтове К. Г. Паустовского «Разливы рек». В конце этой повести Паустовский пишет о Лермонтове: «Последнее, что он заметил на земле, — одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился другой выстрел из кустов под обрывом, на котором он стоял».

Лет тридцать назад одному пятигорскому экскурсоводу пришла мысль усилить рассказ о гибели Лермонтова некоторыми вымышленными подробностями. Выстрела Мартынова ему показалось мало. Чтобы сделать несомненным участие III отделения в убийстве Лермонтова, этот экскурсовод стал уверять, что во время дуэли в кустах находились жандармы, посаженные

туда на случай, если Мартынов промахнётся. Всё это сплошной вымысел.

Но в последнее время часто возникает ещё один недоуменный вопрос — и тут уже беллетристы ни при чём. Многие просят сообщить, верны ли рассказы о том, что Лермонтов не был убит наповал, а умер несколько часов спустя после дуэли, когда его везли в Пятигорск.

Отвечаю. Десять лет назад в г. Горьком вышел сборник, посвящённый вопросам абдоминальной хирургии. Среди статей этого сборника напечатана работа куйбышевского хирурга профессора С. П. Шиловцева. Называется она «Рана Лермонтова». Шиловцев подверг анализу протокол об освидетельствовании тела Лермонтова, составленный на третий день после дуэли и подписанный ординатором пятигорского военного госпиталя — лекарем Барклаем де Толли. Вскрытия тела не было. Барклай де Толли ограничился наружным описанием раны. Пуля вошла в правый бок ниже последнего ребра и вышла между пятым и шестым ребром с левой стороны. Барклай де Толли заключил, что от этой раны Лермонтов «мгновенно на месте поединка помер».

С. П. Шиловцев усомнился в правильности этого заключения. Основываясь на описании Барклая де Толли, он в анатомической лаборатории экспериментальным путём пришёл к выводу, что рана была очень тяжёлой, но не настолько, чтобы вызвать мгновенную смерть. Шиловцев считает, что пуля, пробив левую долю печени, ранила желудок, повредила диафрагму, прошла сквозь нижнюю долю левого лёгкого и, пробив грудную стенку слева,

повредила мягкие ткани левого плеча. Это вызвало открытый пневмоторакс. Поэт впал в предшоковое состояние. Секунданты поскакали в Пятигорск за врачом и за экипажем. В это время разразилась гроза. Полил дождь. Лермонтов продолжал лежать на том же месте, где упал. Наступило резкое охлаждение тела. Только через несколько часов прибыли извозчицы дрожки из Пятигорска. Лермонтова уложили на них и повезли по тряской, каменной дороге. К ранению, пишет Шиловцев, присоединилась травма. Развился шок. Лермонтов скончался прежде, чем его довели до дому.

Можно ли было бы спасти Лермонтова при современном состоянии хирургии? Шиловцев отвечает на этот вопрос утвердительно. Ныне, при своевременно оказанной помощи, Лермонтова можно было бы спасти. В ту пору медицина была в таких случаях бессильна.

В 1872 году с воспоминаниями о дуэли Лермонтова с Мартыновым выступил секундант — князь А. Васильчиков. В его намерения не входило рассказывать правду: это разоблачило бы Мартынова да, кроме того, было бы неприятно и ему самому. Написав о выстреле Мартынова, Васильчиков продолжал: «Лермонтов упал, как будто его скосило на месте... Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь, пуля пробилась сердце и лёгкие. Хотя признаки жизни уже, видимо, исчезли, но мы решили позвать доктора».

Судя по этому рассказу, секунданты сделали всё, что от них зависело, и даже более того. Между тем сохранилось свидетельство другого очевидца — секунданта М. Глебова, который тогда же, после дуэли, рассказывал приятелям, что Лермонтов, упав, сказал ему: «Мнша, я умираю». Слуга поэта Христофор Саникидзе утверждал, что Лермонтов простонал: «умираю», когда его везли в Пятигорск.

Эти свидетельства получают теперь подтверждение в статье профессора С. П. Шиловцева, выступившего в качестве эксперта по делу о гибели Лермонтова. Его заключение помогает восстановить картину убийства одного из величайших русских поэтов.

Иракий АНДРОНИКОВ.



## ВОССТАНИЕ ТАЙПИНОВ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ АГИТАЦИЯ «СОВРЕМЕННОКА»

Опубликованный в 1848 году Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом «Манифест Коммунистический» впервые был издан на русском языке почти два десятилетия спустя. Но это первое издание было выпущено не в России, а в Женеве, в типографии «Колокола», и проникало к русским читателям лишь нелегальным путём.

Однако уже в 1858 году читатели журнала «Современник» — журнала, как известно, легального и подцензурного — могли прочитать на страницах декабрьской книжки строки, в которых трудно не узнать слегка перефразированные, замечательные по силе своей заключительные слова «Манифеста».

Как же это произошло?

В №№ 11 и 12 «Современника» за 1858 год печаталась статья И. Березина<sup>1</sup> «Китай и отношения к нему Европы». Даже наиболее авторитетный исследователь истории «Современника» В. Евгеньев-Максимов в 1934 году отнёс её к серии этнографическо-географических работ. Но, как увидит читатель, под видом этнографии и географии «Современник» сообщил демократической части русского общества о величайшем крестьянском восстании в Китае. И сделал он это именно в тот период, когда крестьянский вопрос был центральным для всей России.

Второй раздел статьи И. Березина (в № 12) в большей части своей посвящён великой крестьянской антифеодальной войне, известной под названием восстания тайпинов, причём около тринадцати страниц из двадцати двух занято переводами обращений тайпинского вождя Хун Сю-цюаня к своим сторонникам и народу.

«Вы должны делать добро и облагораживать своё поведение,— говорится в обращениях,— вы не должны ходить по деревням и забирать чужое добро. Если вы идёте в шеренги, чтобы воевать, вы не должны отступать. Если у вас есть деньги, вы должны сделать их всеобщими, а не смотреть

<sup>1</sup> Илья Николаевич Березин (1818—1896), крупный специалист по языку и литературе Ближнего и Среднего Востока, являлся политически весьма умеренным человеком, близким к таким столпам русского либерализма, как Кавелин и Корш.



на них, как на принадлежащие тому или другому. Вы должны с соединёнными сердцами и силами вместе завоёвывать холмы и реки» («Современник», 1858, № 12, стр. 489—490).

В комментариях же автора статьи мы читаем следующие строки:

«...Китайский реформатор поместил в догматы своего учения коммунизм... так как большинство народонаселения состоит из бедных, то инсургенты могут весьма рассчитывать на содействие масс, которым терять нечего и которые между тем имеют возможность приобрести многое».

Читатель без труда узнаёт в последней фразе, относящейся к восставшим беднякам

(разрядка моя), почти дословное изложение, лишь в слабо завуалированной форме, знаменитых заключительных слов «Манифеста Коммунистической партии»:

«Пролетариям нечего... терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир»

Для читателей «Современника» публикация документов тайпинского восстания и комментарии к ним имели вполне определённый бунтарский смысл. Читатели того времени привыкли к чтению литературы на эзоповском языке. Китайские революционные документы наводили их на такие выводы, которые никак не могли появиться в прямом виде на страницах журналов в царской России.

**Ф. БЕЛЕЛЮБСКИЙ.**



# РЕПЛИКИ

## О ДОЛГОЛЕТИИ ФИЛЬМОВ

Не так давно исполнилось шестьдесят лет с момента изобретения кинематографа. Для XX века с его бешеными темпами развития это срок немалый. И действительно, за это время роль кино в формировании сознания современного человека стала огромной; по своему воздействию на широкие массы хороший фильм успешно соперничает с хорошей книгой.

Однако существует обстоятельство, которое сильно ограничивает возможности этого воздействия.

Выдающееся произведение литературы, войдя однажды в жизнь человека, живёт с ним до старости, воспитывает, как мы знаем, не одно, а многие поколения людей. Невозможно представить себе, чтобы человек, однажды с наслаждением и волнением прочитавший «Войну и мир» Толстого, или «Даму с собачкой» Чехова, или «Отца Горио» Бальзака, не захотел бы ещё и ещё раз перечитать эти шедевры мировой литературы. Нелепой и неправдоподобной показалась бы ситуация, когда житель даже небольшого города, обойдя все библиотеки, не нашёл бы там любимой книги. А ведь именно так обстоит дело с великими произведениями киноискусства. Сыграв роль в жизни одного поколения, ролики картины, за редким исключением, ложатся на полки фильмотек, и лишь по во-

сторженным рассказам родителей дети узнают, что был-де такой великолепный фильм, как, скажем, «Броненосец «Потёмкин», или «Чапаев», или «Путёвка в жизнь».

Правда, в Москве есть кинотеатр «Повторного фильма», но один такой театр — это слишком мало для многомиллионного города, да и отбор фильмов для демонстрации там носит в большинстве своём случайный характер.

Думается мне, что следовало бы в городах, во всяком случае крупных, открыть несколько кинотеатров повторного фильма. При этом, как мне кажется, особенно важно создать кинотеатры специально историко-революционных фильмов, где не только к дате или празднику можно было бы посмотреть «Ленин в Октябре», «Ленин в восемнадцатом году», «Великий гражданин», «Мы из Кронштадта», трилогию о Максиме, «Чапаева», «Последнюю ночь» и другие превосходные фильмы, которые демонстрируются недопустимо редко.

А может быть, ещё целесообразнее было бы в каждом кинотеатре выделить один-два сеанса для демонстрации старых фильмов, шире рекламируя эти фильмы в дни их показа.

При этом хочется напомнить и о таких незаслуженно забытых картинах, как «Конец Санкт-Петербурга» В. Пудовкина, «Новый Вавилон» Г. Козинцева и И. Трауберга, «Окраина» Б. Барнета, «Привидение, которое не возвращается» А. Роома, «Златые горы» С. Юткевича, «Арсенал»

А. Довженко, «Подруги» Л. Арнштама, «Семья Оппенгейм» Г. Рошала, «Процесс о трёх миллионах» Я. Протазанова и целый ряд других. Надо лучшие немые фильмы озвучить, как озвучены «Пышка» М. Ромма или чаплиновская «Золотая лихорадка».

Надо повторять на экранах и лучшие прогрессивные иностранные фильмы, заслуженно полюбившиеся нашему умному и требовательному зрителю.

Вероника ТУШНОВА.

★

## О РЕСТАВРАЦИИ ХРАМА ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

В нашей стране идут громадные реставрационные работы. План этих работ включает и московский Кремль, и Кремль Ростова Великого, и целый ряд других чудесных памятников. Храм Василия Блаженного — один из многих реставрируемых объектов. Вот об этой последней реставрации храма мы и решились поговорить.

Церковь Василия Блаженного (Покровский собор) — архитектурное произведение исключительного значения. Для Москвы это памятник, входящий в образ нашего города и придающий ему и своеобразие и очарование; мировое значение его исключительно и может быть сравнимо только с самыми выдающимися памятниками архитектуры других стран.

Поэтому вопрос о его реставрации и покраске очень важен.

Мы, видевшие его с детства, удивлялись ему и восхищались им; тем не менее всегда чувствовалось, что что-то мешает его подлин-

ному облику: не верилось в его пёстрые орнаменты, в покраску глав, делающую их тяжёлыми и одинаковыми с каменными стенами здания. Покраски XVII века и более позднего времени заслоняли от нас подлинный вид памятника и не давали нам возможности увидеть его во всей красоте.

Ныне восстановлены и почищены все каменные детали храма Василия Блаженного, все карнизы; произведено много исследований, открывающих ранние слои покрасок собора. Но кое-какие из решений, к которым пришли реставраторы в покраске, кажутся нам спорными.

Уже то, что храм в сегодняшнем виде воспроизводит покраску как бы XVI века, а частично оставлен в орнаменте XVII века, лишает его цельности.

Карнизы, связывающие все столпы храма, идущие по столпам до глав, сделаны из белого камня; следовательно, они не могли краситься — были белыми. Но странно представить себе собор с белыми горизонталями, не поддержанными другими белыми деталями, и так как все остальные выпуклые детали стен храма кирпичные, можно предположить, что они белились и составляли с белокаменными карнизами единую одежду стен.

Это подтверждает цветное изображение храма Василия Блаженного XVII века, находящееся в Оружейной палате и являющееся самым ранним известным цветным изображением памятника. Как-никак это — свидетельство очевидца. Собор на этой миниатюре изо-

бражён с розовыми стенами и с белыми деталями, одевающими все столпы храма и весь храм в целом. Архитектурно это логично.

То, что при исследовании не найдено слёв побелки известью этих деталей, может быть объяснено тем, что известковая побелка удаляется при последующих покрасках или штукатурке: этого требует прочность.

Нам представляется неправильной покраска, когда всё красное и только карнизы и некоторые случайные детали белые.

Дальше. В поисках древних покрасок реставраторы не могли, конечно, ничего найти, кроме охр, светлой и жжёной красной, разбелённых более или менее известью; и почему они взяли современные химические краски, по тонам не похожие на земляные, непонятно. Эти краски ни в тоне своём, ни в сочетании не могут дать того цельного колорита, который давали земляные краски. Цвета сейчас тяжёлые, резкие; они лишают памятник масштаба, превращают его в пёструю игрушку.

И затем последнее.

По свидетельству очевидцев и по изображению на миниатюре XVII века главы собора были металлические, из лужёного железа, и только потом, после пожара, их пёстро раскрасили.

И очень жаль, что реставраторы не осмелились придать им прежний вид. Как бы это преобразило весь памятник! Грани глав, которые при современной покраске придают им тяжесть и каменность, в металле дали бы лёгкость и воздушность.

Эти бегло выраженные мысли и сомнения приходят на ум в связи с реставрацией и особенно покраской храма Василия Блаженного. Возможно, с нашим мнением многие будут и не согласны. Хотелось бы высказать пожелание, чтобы реставрационные проекты памятников большого художественного и исторического значения перед осуществлением широко обсуждались общественностью.

*Художник В. ФАВОРСКИЙ.*

★

## О ЖУРНАЛЕ «ВОКРУГ СВЕТА»

Горячие слова реплики «Поэзия тринадцатилетних», вероятно, дошли до многих читателей; нужно надеяться — и до руководителей издательств и журналов. Но не со всеми положениями реплики можно согласиться.

Читатели старшего поколения, которые лет тридцать назад могли следить за журналами «Мир приключений», «Вокруг света», «Природа и люди», «Всемирный следопыт», «На суше и на море», помнят, какой разнообразный и порой захватывающе интересный материал печатался на их страницах. Перед войной регулярно выходил и красиво оформленный журнал «Наша страна». Эти издания рассказывали о романтике путешествий, о Советском Союзе, его природе и населении, о разных странах и народах, о многих неизвестных молодому читателю диковинных фактах, любопытных потому, что они открывали ему новое, то, чего он ещё не видел.

«Мир приключений» и старый «Вокруг света»,

«Всемирный следопыт» и частично и «На суше и на море» печатали повести и рассказы с приключенческими сюжетами.

Из всех этих журналов продолжает издаваться, к сожалению, только один — «Вокруг света». На первых порах журнал пытался возродить старые традиции. На его страницах наряду с географическими очерками и статьями печатались научно-фантастические повести и рассказы. Но со временем его профиль изменился, что и показано на заглавном листе: ежемесячный географический научно-популярный журнал. Таким образом, основная его цель — популяризация географических знаний, популяризация географии Советского Союза и всего мира. Можно ли возражать против такой задачи? Нельзя! Нужен ли журнал с таким профилем? Очень. Достаточно сказать, что «Вокруг света» издаётся в количестве 130 тысяч экземпляров, а подписаться на

него нелегко. Это ли не лучшее подтверждение широкого читательского стремления к расширению географического кругозора?

Читатель хотел бы найти в журнале увлекательные и яркие картины жизни на всех просторах земного шара. Однако всегда ли яркие и увлекательны картины, возникающие на страницах журнала? Нет, в этом смысле упрёк, брошенный в реплике А. Адалис, приходится признать справедливым. Большим статьям недостаёт эмоциональности и непосредственности, а путевой очерк порой выглядит, как простой отчёт о путешествии, и потому кажется незанимательным, серым. Теперь тематику журнала можно значительно расширить. Очень много советских учёных и литераторов ездит по всему миру, нужно их привлечь к участию в журнале. Шире следует печатать и записки иностранных путешественников. Ведь как упрёк редакции «Вокруг света» выглядит пу-

бликация записок Тора Хейердала «Путешествие на «Кон-Тики» в журнале «Юность»; они просто просились на страницы «Вокруг света». И сделать это можно было уже давно (известно, что книга впервые вышла в Норвегии в 1948 году).

Но мне кажется, что А. Адалис неправ, когда предъявляет непомерные требования к «Вокруг света». Один «тонкий» журнал не в состоянии заменить нескольких. В последние годы много говорилось и писалось о необходимости издания специального молодёжного журнала научно-фантастической и приключенческой тематики.

Не пора ли от слов перейти к делу? Это сразу позволит удовлетворить законные потребности молодого читателя в такой литературе и закончить спор о профиле «Вокруг света» и формах научной популяризации, присущей ему.

*Доктор географических наук Э. МУРЗАЕВ.*



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ.** Сборник статей и воспоминаний. Молотовское книжное издательство. 1955. 268 стр. Цена 6 р. 85 к.

Творческая и общественная жизнь П. П. Бажова исключительно многообразна. Он был писателем, журналистом, редактором, государственным деятелем, историком и краеведом. Статьи и воспоминания, составляющие сборник, освещают различные стороны этой кипучей и целеустремлённой натуры, находившей «живинку» в каждом деле. Особенно интересны и ценны приводимые в материалах высказывания Бажова о писательском труде, о высоком назначении писателя.

**КУКРЫНИКСЫ.** Автор текста Н. Соколова. «Советский художник». М. 1955. 64 стр. и иллюстрации. Цена 20 р.

Во вступительной статье о творчестве Кукрыниксов автор рассказывает, между прочим, о том, как в 1925 году были «открыты» эти талантливые художники (Кукрыниксы — псевдоним художников Куприянова, Крылова и Соколова). Трое плохо вато одетых юношей вошли к редактору журнала «Комсомолец» и сказали, что они могут рисовать шаржи. Им предложили нарисовать шаржи на сидящих в комнате поэтов. «Ни слова не говоря, ребята принялись за работу. Сначала рисовал один. Потом другой безмолвно брал рисунок и вносил в него свои штрихи, потом действовал третий. И так рисунок ходил по кругу...» Шаржи были настолько хороши, что для молодых художников специально завели отдел в журнал.

1925 годом датируется «официальное» рождение триумвирата Кукрыниксов. С этого времени талантливый коллектив много и плодотворно работает в различных областях изобразительного искусства. Книга даёт представление о многообразии их творчества.

**Б. ПУРИШЕВ.** Очерки немецкой литературы XV—XVII вв. Гослитгиздат. М. 1955. 392 стр. Цена 9 р. 60 к.

Немецкая литература к XV веку вступила в полосу бурного подъёма. В это время и в последующие два столетия она дала народу замечательные творения поэзии и прозы.

Цель свою автор, по его словам, видел в том, чтобы ближе познакомить советского читателя с творениями передовых немец-

ких писателей XV—XVII веков, которые у нас, к сожалению, ещё мало известны. И эта цель им, безусловно, достигнута.

**МАКС ПОЛЯНОВСКИЙ.** Толина пушка. Быль. Издательство Досааф. М. 1955. 48 стр. Цена 90 к.

Книжка эта невелика, и стоит она недорого. Не совсем обычное начало сразу же заинтересовывает читателя. Автор сообщает, что в один из весенних дней 1951 года в редакцию одесской газеты (где он тогда работал) пришло письмо, подписанное воинами Н-ской части. Воины просили подробнее рассказать о судьбе мальчика — Анатолия Андриенко, упомянутого в одном из очерков, напечатанных на страницах газеты. Почему же воины заинтересовались судьбой мальчика? Что он совершил? Вот об этом-то и рассказал М. Поляновский в своей книге. «Ничего в этом рассказе не выдуманно,— говорит он.— Всё написанное — подлинная советская быль».

Наших читателей, особенно молодёжь, книга эта привлечёт уже потому, что, созданная на достоверном жизненном материале, она ещё раз подтверждает, как глубоко проникло в нашу жизнь, в жизнь нашей советской семьи чувство патриотизма.

**В. В. ГОЛОВНЯ.** Аристофан. Издательство Академии наук СССР. М. 1955. 184 стр. Цена 4 р. 80 к.

2400 лет отделяют нас от того времени, когда создавались замечательные произведения Аристофана, «отца комедии». Но, как справедливо отмечает автор книги, Аристофан принадлежит к тем великим писателям прошлого, искусство которых и в наши дни сохраняет большое познавательное и эстетическое значение. В своих пьесах Аристофан ставит большие проблемы морали, религии и искусства. На страницах новой монографии в увлекательной форме рассказывается об афинской рабовладельческой демократии, в условиях которой творил Аристофан, о греческом театре того времени, о жизни великого комедиографа, даётся подробная характеристика пьес Аристофана.

**В. БАЗАНОВ.** Карелия в русской литературе и фольклористике XIX века. Очерки. Государственное издательство Карело-Финской ССР. Петрозаводск. 1955. 311 стр. Цена 7 р. 60 к.

Интерес к карельской теме в русской литературе начинается с Ломоносова, который в незаконченной поэме «Пётр Вели-

кий» изображает путешествие Петра I от Белого моря к Шлиссельбургу через Олонец. Карельской теме отдали дань Г. Р. Державин и поэт-декабрист Ф. Н. Глинка. Карелия привлекала внимание Пушкина и Некрасова, Толстого и Горького. Крупнейшие русские фольклористы занимались изучением народного творчества в Карелии.

Книга анализирует карельскую тему в отечественной литературе и русский фольклор, записанный в Карелии.

**СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ НАЦИИ СССР.** Госполитиздат. М. 1955. 304 стр. Цена 6 р. 30 к.

Коллектив авторов Института философии Академии наук СССР, подготовивший этот труд, поставил перед собой важную задачу: глубоко и всесторонне показать общие условия формирования социалистических наций, экономические и политические основы дальнейшего их развития, роль и значение дружбы советских народов в строительстве коммунистического общества. Большое место в книге уделено расцвету культуры всех социалистических наций, народностей и этнографических групп, населяющих Советский Союз.

Одна из глав посвящена формированию социалистических наций в европейских странах народной демократии и Китайской Народной Республике.

Великое содружество свободных и равноправных социалистических наций, говорится в конце книги, является воплощением того, о чём мечтают и за что борются сотни миллионов людей в колониальных и зависимых странах.

**ЕКАТЕРИНА СТРОГОВА.** История одной гипотезы. «Молодая гвардия». М. 1955. 88 стр. Цена 1 р. 30 к.

Одиннадцатилетний мальчик попросил родителей купить ему настоящую подзорную трубу.

— Я должен серьёзно исследовать небесные тела! — заявил он.

А спустя год Виктор Амбарцумян написал «Исследование о солнечных пятнах». Ребяческий, неустановившийся почерк, строчки, сползающие вниз, выдавали возраст автора. Однако «труд» этот был основан на собственных длительных наблюдениях, снабжён сносками и библиографией и имел все признаки настоящей научной работы.

В тринадцатилетнем возрасте мальчик в ряде городов Армении уже читал лекции о строении Вселенной, о происхождении солнечной системы, со знанием предмета излагал сущность теории относительности.

Очерк Е. Строговой рассказывает о жизненном пути и научной деятельности академика В. А. Амбарцумяна, вице-прези-

дента Международного астрономического союза, президента Академии наук Армянской ССР.

Автор подробно знакомит читателя с космогонической гипотезой Амбарцумяна (основанной на открытии и изучении звёздных ассоциаций), о продолжающемся процессе звёздообразования в Галактике.

**И. С. МОЛОЧЕК.** Природные богатства нашей Родины. Географгиз. М. 1955. 112 стр. Цена 1 р. 75 к.

«Почти ежедневно учёные наши, исследуя недра земли, находят в ней всё новые огромнейшие запасы каменного угля, металлических руд и удобрений, необходимых для того, чтобы усилить плодородие наших полей. Земля как бы чувствует, что родится на ней законный, настоящий, умный хозяин и, открывая недра свои, развёртывает перед ним сокровища».

Эти слова А. М. Горького могли бы служить эпиграфом к книге И. С. Молочка. Небольшие размеры книги, посвящённой столь важной и обширной теме, обусловили подчас слишком сжатый авторский рассказ. Всё же читатель получает достаточное представление о том, с каким размахом советский народ использует природные богатства своей Родины для строительства коммунизма.

**Х. ЛЮМЕР.** Военная экономика и кризис. Издательство иностранной литературы. М. 1955. 286 стр. Цена 10 р. 85 к.

Прогрессивный американский экономист Хаймэн Люмер дал в своей книге серьёзный анализ современного положения экономики США. Вооружённый большим, тщательно продуманным фактическим материалом, автор убедительно разоблачает лже-теорию о том, что милитаризация якобы ведёт к процветанию экономики, росту занятости и повышению жизненного уровня американских трудящихся.

Круг рассматриваемых в книге проблем достаточно велик. Это позволяет Х. Люмеру всесторонне осветить те пагубные последствия, которые влечёт за собой нынешняя военная экономика США.

**Е. БОРИСОВ, И. ПЯТНОВА.** О самом обыкновенном. «Молодая гвардия». М. 1955. 184 стр. Цена 4 р.

«Герои» книги научно-популярных очерков Е. Борисова и И. Пятновой — сахар, хлеб, масло, мясо, молоко. Ломоть хорошо выпеченного хлеба, как писал К. А. Тимирязев, составляет одно из величайших изобретений человечества.

Перекидывая мостик от знаний, полученных в школе на уроках физики, химии, биологии, к их практическому использованию на производстве, эта книга станет союзником учителя в деле политехнизации, поможет юношам и девушкам в выборе профессии.

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

Проект ЦК КПСС. Директивы XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 годы. 80 стр. Цена 1 р.

Н. А. Булганин. О поездке в Индию, Бирму и Афганистан. 32 стр. Цена 30 к.

Н. С. Хрущёв. Речь на четвёртой сессии Верховного Совета СССР четвёртого созыва. 40 стр. Цена 45 к.

О Государственном бюджете СССР на 1956 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 1954 год. Доклад и заключительные слова Министра финансов СССР депутата А. Г. Зверева на четвёртой сессии Верховного Совета СССР 26 и 28 декабря 1955 г. Закон о Государственном бюджете Союза Советских Социалистических Республик на 1956 год. 40 стр. Цена 50 к.

Справочный том к 4-му изданию сочинений В. И. Ленина. Часть I. 672 стр. Цена 9 р.

Во имя коммунизма. 296 стр. Цена 5 р.  
Вопросы партийной работы. 224 стр. Цена 2 р. 40 к.

П. И. Лященко. История народного хозяйства СССР. Том III. 644 стр. Цена 13 р. 50 к.

План ГОЭЛРО. 660 стр. Цена 20 р.  
Первая русская революция и международное революционное движение. Часть I. К пятидесятилетию первой русской революции 1905—1907 годов. 548 стр. Цена 12 р. 80 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Ардов. Ваши знакомые. Юмористические рассказы. 174 стр. Цена 3 р. 15 к.

С. Бытовой. На Дальнем Востоке. Повесть. 520 стр. Цена 6 р. 20 к.

В. Гольцев, Г. Леонидзе. Критико-биографический очерк. 108 стр. Цена 2 р.

И. Волошин. Молодеет земля. 204 стр. Цена 3 р.

А. Еникеев. Спасибо, товарищи! 260 стр. Цена 4 р. 75 к.

М. Кочнев. Время-полюмя. Сказы. 684 стр. Цена 11 р. 85 к.

М. Лисянский. Всегда с нами (Стихи о Ленине). 84 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Маркарян. Стихотворения. 172 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Ойслендер. Добрый климат. 92 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Письменный. В маленьком городе. Повести. Рассказы. 664 стр. Цена 11 р. 45 к.

Н. Равич. Повесть о великом поморе. 228 стр. Цена 2 р. 85 к.

В. Саянов, Колобовы. Роман в стихах. 160 стр. Цена 3 р. 60 к.

К. Симонов. Норвежский дневник. 116 стр. Цена 1 р. 55 к.

В. Щербина, А. Н. Толстой. Творческий путь. 616 стр. Цена 17 р. 20 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

Я. Гашек. Похождения храброго солдата Швейка. Перевод с чешского. 752 стр. Цена 13 р.

Гражданская поэзия Франции. В переводах Павла Антокольского. 360 стр. Цена 5 р. 25 к.

А. Грин. Избранное. 424 стр. Цена 8 р. 75 к.

Муса Джалиль. Избранное. Стихотворения и поэмы. Перевод с татарского. 344 стр. Цена 7 р. 90 к.

Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в десяти томах. Том I. 684 стр. Цена 12 р. 50 к.

В. Ермилов. Ф. М. Достоевский. 280 стр. Цена 7 р.

Д. И. Заславский. Ф. М. Достоевский. Критико-биографический очерк. 80 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. Исаковский. Сочинения в двух томах. Том 1. Стихи, поэмы, песни. 312 стр. Цена 7 р. 45 к. Том 2. Стихи, песни, переводы. 376 стр. Цена 8 р. 15 к.

С. Маршак. Стихи. Сказки. Переводы. В двух книгах. Книга первая. Стихи. Сказки. 540 стр. Цена 12 р. 30 к. Книга вторая. Избранные переводы. 584 стр. Цена 10 р. 50 к.

Г. В. Плеханов. Письма без адреса. Искусство и общественная жизнь. 248 стр. Цена 5 р.

Ник. Рыленков. Стихотворения и поэмы. 336 стр. Цена 7 р. 15 к.

Сатира и юмор. Сборник произведений советских украинских писателей. 312 стр. Цена 6 р. 50 к.

Сыма-Цянь. Избранное. Перевод с китайского. 360 стр. Цена 6 р. 85 к.

Уолт Уитмен. Листья травы. Перевод с английского. 356 стр. Цена 5 р. 50 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**С. Гарбузов, Г. Ошеверов.** Рассказ о комсомольских буднях. 160 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Юлия Друнина.** Разговор с сердцем. Стихи. 96 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Бор. Егоров, Ян Полищук, Бор. Привалов.** Не проходите мимо. Роман-фельетон. 287 стр. Цена 6 р. 30 к.

**Т. Журавлёв.** Курган. Роман. 463 стр. Цена 8 р. 45 к.

**Леонид Мартынов.** Стихи. 104 стр. Цена 2 р. 30 к.

**А. Морозов.** Тайны моделей. 320 стр. Цена 6 р. 25 к.

**А. Стекольников.** Путешествие по Болгарии. 304 стр. Цена 7 р. 65 к.

**Алексей Улесов.** Пути-дороги. Рассказ о моей жизни. 224 стр. Цена 4 р. 70 к.

**В. Чукарин.** Путь к вершинам. 208 стр. Цена 4 р. 50 к.

## ДЕТГИЗ

**Л. Безверхний и Е. Стронская.** Машина землекоп. Рассказы. 32 стр. Цена 3 р. 30 к.

**Ф. Брет-Гарт.** Степной найдёныш. Перевод с английского. 116 стр. Цена 2 р. 35 к.

**П. Капица.** В открытом море. Повесть. 200 стр. Цена 5 р. 65 к.

**Г. Караев и Л. Успенский.** 60-я параллель. Роман. 728 стр. Цена 14 р. 15 к.

**М. Матье.** День египетского мальчика. Историческая повесть. 144 стр. Цена 2 р. 90 к.

**А. Мицкевич.** Избранные произведения. 520 стр. Цена 10 р. 65 к.

**Рассказ за рассказом.** Избранные рассказы советских писателей. Книга вторая. 448 стр. Цена 8 р. 15 к.

**А. Талвир.** У нас на Буле. Перевод с чувашского. Повесть. 104 стр. Цена 2 р. 60 к.

**М. Фарадей.** История свечи. Перевод с английского. 112 стр. Цена 2 р. 75 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ  
НАУК СССР

**В. Г. Баскаков.** Мировоззрение Чернышевского. 755 стр. Цена 26 р.

**В. С. Виргинский.** Жизнь и деятельность русских механиков Черепановых. 316 стр. Цена 18 р. 90 к.

**М. М. Герасимов.** Восстановление лица по черепу. 582 стр. Цена 30 р.

**Е. Н. Мишустин.** Микроорганизмы и плодородие почвы. 247 стр. Цена 9 р. 40 к.

**Б. Ширендыб.** Народная революция в Монголии и образование МНР. 1921—1924. 157 стр. Цена 7 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

**Н. К. Круская.** Избранные педагогические произведения. 866 стр. Цена 14 р. 25 к.

**Н. Д. Молдавская.** Изучение языка художественных произведений в X классе. 160 стр. Цена 3 р. 35 к.

## МЕДГИЗ

**А. Н. Бакулев и Е. Н. Мешалкин.** Врожденные пороки сердца. Патология, клиника, хирургическое лечение. 416 стр. Цена 31 р. 35 к.

**Н. К. Боголепов и А. А. Растворова.** О предупреждении гипертонической болезни и атеросклероза. 100 стр. Цена 1 р. 60 к.  
**Заразные болезни человека.** 684 стр. Цена 29 р. 70 к.

**И. И. Мечников.** Академическое собрание сочинений. Том первый. 432 стр. Цена 23 р. 60 к.

ОМСКОЕ  
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Литературный Омск.** Сборник произведений омских писателей. 200 стр. Цена 4 р. 10 к.

**Рассказы и сказки русских писателей.** 128 стр. Цена 4 р. 20 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
УЗБЕКСКОЙ ССР

**Люди и годы** Рассказы и очерки. 544 стр. Цена 10 р. 90 к.

---

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

**Б. Н. Агапов** (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,  
**А. Ю. Кривицкий** (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв**,  
**М. К. Луконин**, **А. М. Марьямов**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

---

Сдано в набор 21/1-56 г. Подписано к печати 23/II-56 г.  
А 02627. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 10 бум. л. — 27,4 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 201.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 9 руб.